

Испытание будущим

Ф.М. Достоевский как участник современной культуры



МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Государственный институт искусствознания



Прогресс-Традиция

Москва



Леонид Баранов.
Достоевский.
1977

Л.И. Сараскина

Испытание будущим

Ф.М. Достоевский

как участник

современной культуры



Леонид Баранов.
Достоевский и Муза III.
1979



ББК 83.3
УДК 800
С 20

*Издано при финансовой поддержке Федерального агентства по печати
и массовым коммуникациям в рамках федеральной целевой программы
«Культура России»*

Сараскина Л.И.

С 20 **Испытание будущим. Ф.М. Достоевский как участник современной культуры.** – М.: Прогресс-Традиция, 2010. – 600 с., ил.

ISBN 978-5-89826-322-5

В новой монографии доктора филологических наук Л.И. Сараскиной исследуются современные рефлексии художественной литературы, литературной критики, актуальной политической публицистики, а также искусства (кино, театра, скульптуры, поэзии, ТВ) на творчество Ф.М. Достоевского. В центре внимания – многостороннее влияние писателя на современный мир. В начале XX века сложилась мощная интеллектуальная традиция – судить о России ушедшего XIX столетия через призму творческого опыта Достоевского. Опыт, накопленный за новое столетие, лишь укрепил традицию. «Магический кристалл Достоевского» остается наиболее точным инструментом понимания того, что уже случилось с Россией, и того, что может случиться с ней в будущем.

В книге показано, что вершинные творения Достоевского, продолжая оставаться вечными, на крутых виражах истории вновь оказываются остро злободневными – и новая реальность будто иллюстрирует страницы его романов. История России *после Достоевского* воспринимается как *периоды созвучий* его гениальным романам. В пяти частях этой книги сделана попытка осмыслить современные ответы на вечные вопросы Достоевского.

**ББК 83.3
УДК 800**

В оформлении книги использованы фото работ скульптора
Леонида Баранова.

На переплете:

Леонид Баранов. Достоевский. Бронза. Баден-Баден. 2004

ISBN 978-5-89826-322-5

© Л.И. Сараскина, 2010
© И.В. Орлова, оформление, 2010
© Прогресс-Традиция, 2010

Предисловие

Достоевский: Земля Обетованная

Давным-давно редактор одного литературного журнала, сочувственно относившийся к моим попыткам пробиться в большую филологическую печать, бывало, говаривал: «Ну зачем вам Достоевский? Поймите же наконец: он, конечно, хороший писатель, но он давно умер. Он лежит в земле и ничего для вас не сделает – не позвонит, к примеру, нам в редакцию и не надавит на редколлегию, не попросит напечатать еще одну вашу статью о нем. Он даже не сможет пригласить вас в ЦДЛ».

Это была сушая правда. Но как все же ошибался мой бедный и – увы! – ныне покойный доброжелатель: Достоевский стал страной, давшей мне «политическое убежище».

Только со временем, получив в этой стране «вид на жительство», я снова и снова возвращалась, как домой, к первоисточнику – к писателю, кто явил мне свое благородное и бескорыстное покровительство, наполнял живительной силой и помогал так, как редко может помочь человек человеку.

Я не раз пыталась разгадать его жизнь. Мне – почти наяву – виделась сумрачная холодная комната «мизерного» немецкого отеля у вокзала, где однажды он упал в припадке; никогда нельзя было знать заранее, в каком месте застанет его болезнь, от которой мучительно болела голова, пропадала память, тоской сжимало сердце. В один из таких дней, едва оправившись от приступа судорог, он записал в черновой тетради идею нового сочинения – о старом и больном писателе, который «впал в отупение способностей и затем в нищету» (12: 5)¹, а после, таясь от всех, «вдруг» сочинил превосходный роман. А потом это случилось в действительности – Достоевский на пороге своего пятидесятилетия, испытывая тяжелейшую, унижительную нужду и преодоляя опасное нездоровье, задумал и колоссальным напряжением написал роман, ставший одной из вершин мировой литературы, «Бесы». Роман, в котором автор не только подвел итог роковым увлечениям молодости, но и высказал нечто в высшей степени важное о самом существовании литературной профессии, о той немислимой цене, которую платил писатель за свое дело.

...Жестокое наказание, которому по воле российского монарха подвергся один литератор за публичное чтение письма другого литератора к третьему, помимо прямой исправительной цели, имело вид некоего изощренного надругательства над судьбой Достоевского. Будто кто-то долго и пристально следил за ним, выводил его жизненные планы, проникал в честолюбивые замыслы, угадывал литературные мечтания и человеческие надежды, а затем, зло посмеявшись, все отнял в одночасье.

В молодости он жаждал свободы в самом прямом смысле этого слова – а был лишен ее в самом узком. Он пожертвовал всем во имя призвания – а у него насильно отняли право писать. Он добровольно отказался от обеспеченного офицерского поприща в престижном столичном департаменте – а взамен получил солдатчину в сибирском захолустье. Он с шестнадцати лет тяготился военной муштрой и предполагал, что навсегда расстался с «фрунтом», – а попал на военную каторгу в линейный батальон. Он успел привыкнуть к независимой жизни – а был приговорен к ежеминутному, и днем и ночью, в течение четырех лет, пребыванию в казарме, в «насильственном этом коммунизме». Он хотел иметь единомышленников и друзей – а очутился среди бритых голов и клейменных лиц. В юности он написал: «Человек есть тайна» (28, кн. 1: 63); в зрелости, исходя из горького своего опыта, чуть-чуть уточнил блистательный афоризм: «Человек есть существо ко всему привыкающее, и, я думаю, это самое лучшее его определение» (4: 10).

Литераторство как профессия, образ жизни и особый способ познания имело, однако, то преимущество, что в момент самого искреннего страдания и невыносимой боли где-то на обочине сознания всегда теплилось Нечто, живое и обостренно внимательное. «Оно» слушало и смотрело, запоминало и откладывало про запас те впечатления, которые могли казаться сейчас глубоким, невыразимым горем, или, напротив, сумасшедшей, неопикуемой радостью. Проходило сколько-то времени – год или двадцать лет – и невыразимое жаждало быть выраженным, неопикуемое – нуждалось в подробнейшем описании.

Из чего вообще росли его великие романы?

«Композитор. Великий музыкант приговорен судом дать оперу...»

«Муж убил жену; но видел девятилетний сын. Скрыли труп в подполье...»

«Дети, бежавшие сами от отца...»

«Американская дуэль 2-х гимназистов за Льва Толстого...»

«Мальчик (отрок) – сокрушитель женских сердец и знаток женщин...»

«Мечтатель. Раз он вынес позорную ругань от начальника за небрежность...» (17: 6–8).

Эти наброски позднего Достоевского, претерпев множество метаморфоз, преображались затем в романы «пятикнижия», произведения с великими, вечными вопросами российской жизни, российской истории. Как удавалось – на пространстве романов с детективным элементом, с героями, социально ничтожными, а то и деклассированными, малообразованными, пребывающими вне круга российской элиты своего времени, провинциалами Скотопригоньевска или петербургскими маргиналами – поставить коренные, вековые вопросы, ни один из которых не устарел за минувшее столетие?

Достоевский ошеломляет и озадачивает. «Поражает его способность – не гонясь за космическими масштабами и людскими массами “Войны и мира”, взять ничтожно-ограниченный жизненный материал – жизнь нескольких человек в течение нескольких дней – и создать огромного значения и мощи книгу», – писал, перечитав «Преступление и наказание» в Марфинской шарашке, Солженицын-зэк в 1947 году².

Но еще в начале XX века сложилась мощная интеллектуальная традиция – судить о России ушедшего, XIX столетия через призму творческого опыта Ф.М. Достоевского. Опыт, накопленный за новое столетие, лишь укрепил традицию. Никуда не деться от того факта, что магический кристалл Достоевского и до сих пор остается наиболее надежным, наиболее точным инструментом познания и понимания того, что случилось с Россией после Достоевского, и того, что может случиться с ней в будущем.

Напомню: в 1921 году только что созданный Госиздатом московский журнал «Печать и революция», призванный отражать успехи культурной жизни победившего пролетариата, опубликовал статью видного критика-марксиста В.Ф. Переверзева, посвященную столетию со дня рождения Достоевского и ставшую впоследствии классикой литературной критики.

Всё сбылось по Достоевскому – таков был общий пафос статьи, имевшей провоцирующее название «Достоевский и революция». «Столетний юбилей Достоевского, – писал автор статьи, – нам приходится встречать в момент великого революционного сдвига, в момент катастрофического разрушения старого мира и постройки нового... Достоевский – все еще современный писатель; современность еще не изжила тех проблем, которые решаются в творчестве этого писателя. Говорить о Достоевском для нас все еще значит говорить о самых больных и глубоких вопросах нашей текущей жизни»³.

Сегодня, через восемьдесят пять лет, мы вновь можем лишь подтвердить глубокую правоту этих слов. Пережив в очередной раз «катастрофическое разрушение отжившего старого мира и постройку нового», мы въехали в новое тысячелетие с той же тяжелой рефлексией о прошлом

и с той же надеждой, о которой писал Достоевский, – «люди могут быть прекрасны и счастливы, не потеряв способности жить на земле» (25: 118).

Сама действительность назойливо напоминает о тех далеких двадцатых годах: кружатся, то отдаляясь, то приближаясь, призраки смуты и хаоса, то и дело жизнь съезживается до размеров политической борьбы, вновь огромное большинство народа озабочено проблемой выживания, вновь в недрах общественного сознания брезжит идея сильной руки, уже однажды увенчавшаяся зловещим торжеством.

Отравленные, наркотизированные политикой, страстно и болезненно воспринимая все перипетии драмы выбора неведомых дорог, мы снова находим у Достоевского самих себя, ищущих спасения то в буйстве мятежа, то в гордыне подполья, блуждающих между вечными PRO et CONTRA проклятых вопросов, мятущихся между лагерем радикалов и лагерем мракобесов.

Нашему тревожному времени для самопознания и самоопределения вновь нужна школа Достоевского: как писалось в упомянутой юбилейной статье, Достоевский помог бы нам сохранить ясность мышления и спокойную уверенность в обстановке политической смуты, правильно реагировать на все общественные перемены, не пьянея от их размаха, не впадая в панику от их катастрофических срывов. Школа Достоевского, помимо всего прочего, безошибочно помогает понять: *кто есть кто* на политическом горизонте.

Откуда такое доверие, такой пиетет? Почему автор нескольких романов стал отгадчиком будущего своей страны? Видимо, потому, что Достоевский не только русский романист, сочинитель с мировой известностью; Достоевский национальный философ России; в этом смысл его тайны и в этом причина его неизбывной актуальности для России и российской жизни.

Вершинным творениям Достоевского присуще необыкновенное свойство: продолжая оставаться «вечными», они вдруг, на каких-то крутых виражах истории, вновь оказываются остро злободневными – и новая реальность будто иллюстрирует страницы его романов. История России *после Достоевского* воспринимается порой как *периоды созвучий* тем или иным его гениальным романам.

Казалось, только что российское общество, пройдя через все фазы навязанной ему социальной утопии, познав самые страшные последствия смутного времени, выкарабкалось из трагической ситуации «Бесов», романа о дьявольском соблазне переделать мир, о бесовской одержимости силами зла и разрушения. Казалось, что политическая бесовщина, иезуитский тезис «цель оправдывает средства» настолько дискредитированы, настолько опорочены – прилюдно, публично, что им не может найтись место в новой политической реальности.

Однако если рассуждать с точки зрения самых очевидных уроков истории, нас, только что переживших опыты политического экзорцизма, опыты изгнания бесов из отечественной общественной жизни, будто взрывной волной отбросило назад, в контекст другого романа Достоевского – в контекст «Преступления и наказания». Треснули основы общества под революцией реформ. Замутилось море. Исчезли и стерлись определения и границы добра и зла... Так ощущал время Достоевский, когда увидел, что России угрожает «бес национального богатства», несущий вражду и всеобщую озлобленность.

И во времена Достоевского Россия переживала либеральные реформы и даже, как он писал, «благодетельную гласность» (18: 60). Жажда наживы и процесс накопления собственности, принимавший на глазах Достоевского злокачественные криминальные формы, порождали и *новых богатых*, и *новых бедных*: Лужиных и Свидригайловых, с одной стороны, Мармеладовых – с другой. Сегодняшнему читателю Достоевского не составит большого труда понять, с какими реалиями из его собственной жизни рифмуются страшные картины повсеместного обнищания, преступности, проституции, морального падения, изображенные в «Преступлении и наказании». Честный читатель должен будет сказать себе: трагическая судьба Мармеладовых сыграла решающую роль в окончательном созревании преступного замысла Раскольникова; горестный удел девяти десятых человечества, нравственно растоптанных и социально обездоленных, ежедневно питали бунт Родиона Раскольникова. И вот он, этот бунтарь, снова готов сказать: «Все... законодатели и установители человечества, начиная с древнейших... все до единого были преступники...» (6: 199–200) – и оправдать свое собственное преступление.

Но ведь с того самого момента, когда человек разрешит себе «кровь по совести», и начинается дьяволов водевиль бунта. Значит, опять нашему обществу, огромная часть которого живет бедно и трудно, предстоит испытать трагические коллизии романа «Бесы» – с новыми политическими бесами и новыми, усовершенствованными технологиями их воспроизводства.

Ни радикалы, ни либералы, ни консерваторы конца XX века не могли понять, почему после героев, инфицированных микробом бунта и смуты, Достоевский вывел на сцену молодого героя, зараженного «ротшильдовской идеей». Нашему современнику, однако, признание Аркадия Долгорукого из романа «Подросток» («Моя идея – это статья Ротшильдом, статья так же богатым, как Ротшильд» – 13: 66) вряд ли покажется фантастическим или безумным. Не такие ли и подобные им признания слышатся отовсюду?

Жизнь будто бы начиталась Достоевского, само время будто бы ставит эксперимент, проверяя еще один роман великого русского писателя.

Именно миллион фигурирует сегодня как единица измерения общественного идеала; именно стремление любыми средствами стать богатым и сверхбогатым внушается сегодня едва ли не через все государственные каналы нашим подросткам. «Новый русский», или «новый богатый», усилиями пропаганды рисуется как герой нашего времени, как «положительно прекрасное лицо»; чем больше за ним криминала, тем больше он герой; к нему устремлено внимание телекамер; ему отводят первые строки и полосы газет; от него, сырьевого магната, «финансового гения» (в сравнении с которым ученый, художник, военный всего лишь единица электората), ждут спасения России в виде золотого дождя.

Идея миллиона как символа новой веры, опровергнутая всем поэтическим строем романа Достоевского и всей его художественной идеологией, сорвалась с цепи и выскочила на улицу; и теперь уже не только персонажи романа «Подросток», а всё российское общество на своей шкуре узнаёт, чего стоят его национальные традиции, его культурные и духовные ценности – ввиду соблазна очень больших, внезапных и, как правило, грязных денег. Впрочем, мир дикого капитала и разгул страстей вокруг денежных мешков, выражаясь и буквально и фигурально, хорошо знаком читателю Достоевского и по роману «Идиот».

Мы живем в уникальное время, когда «работают» не *один*, а *все* романы Достоевского. Особенно поразительно, что это время сопряжено в России с тотальным сомнением, тотальным скепсисом, а может быть, и тотальным отрицанием.

Сто пятьдесят четыре года тому назад, едва выйдя из Омского острога, из каторги, полученной за государственное преступление, Достоевский писал: «Я – дитя века, дитя неверия и сомнения до сих пор и даже (я знаю это) до гробовой крышки. Каких страшных мучений стоила и стоит мне теперь эта жажда верить, которая тем сильнее в душе моей, чем более во мне доводов противных» (28, кн. 1: 176).

Подобное признание мог бы сделать сейчас едва ли не каждый русский, ибо все мы – дети неверия и сомнения куда в большей степени, чем писатель Достоевский; за словами же *каких страшных мучений стоила эта жажда верить* встает вся история России последних ста лет. За свой атеизм, роковое заблуждение молодости, Достоевский был наказан десятью годами каторги и ссылки, излечившими его от этого духовного недуга.

А всего через поколение вся Россия была захвачена в этот духовный плен; только теперь каторга и ссылка должны были лечить не от атеизма, а от веры и жажды верить. Какая страшная и какая глубинная связь между судьбой страны и судьбой ее национального писателя!

Сознанием большинства уже не владеют тоталитарные догмы – в российской жизни как будто нет Великого инквизитора, нет чуда,

нет тайны, нет авторитета, но нет по-настоящему и Христа. Более того: Великого инквизитора нет, но дело его живет; ведь идея Инквизитора как раз и состоит в том, что для политического сосуществования современного человечества необходимо устроиться без Бога, без Христа; фигура Христа как бы мешает договориться разным силам современного общества. «Зачем же ты пришел нам мешать? Ибо ты пришел нам мешать и сам это знаешь» (14: 228), – говорит у Достоевского Инквизитор. И, как мы помним, Христос Достоевского молчит и молча целует Инквизитора, девяностолетнего старца в поношенной грубой монашеской рясе.

Достоевский ставит, кажется, неразрешимые вопросы. Но он же дает ключ к пониманию конфликта, имеющего не столько метафизический, эзотерический характер, сколько политически злободневный смысл.

Разгадка самой грандиозной поэмы и самой главной *достоевской* темы – о Христе и Инквизиторе – как и загадка русской истории по Достоевскому – содержится в самой поэме. Пленник-Христос молчит и молча уходит в тьму средневекового города; кажется, Инквизитор оставил за собой последнее слово. Но единственный слушатель поэмы, Алеша, не может признать моральную и интеллектуальную победу за Инквизитором и за сочинителем поэмы Иваном Карамазовым.

Главное поэзное событие, ее разгадка и заключается в том, что Пленник молчит, а Алеша говорит. Смысл истории, таким образом, состоит не в том, что она уже произошла и ничто новое невозможно, а в том, что история жива, она развивается, продолжается и к ней возможно творческое отношение новых, творческих людей.

Если экстраполировать итоговую художественную мысль Достоевского о России – «Поэму о Великом инквизиторе» – в современную российскую политическую жизнь (при всей условности такой экстраполяции), можно увидеть несколько аспектов соотношения власти светской и церковной. Россия, за несколько столетий своего существования как империи и великой державы, привыкла иметь официальную идеологию, общую руководящую мысль, или, как принято сейчас говорить, общую национальную идею. После завершения большевистского периода русской истории, в постсоветской реальности, на фоне большого разочарования той демократией, которая пыталась предложить свои ценности, но сама же дискредитировала их, Россия оказалась в идеологическом вакууме.

Лозунг нынешней российской власти, обращенный в сторону церкви, хочется определить такой формулой: «Мы готовы заполнить наш идеологический вакуум чем угодно, пока не найдем то, что нам нужно». Если во времена старой российской государственности Церковь по

многим критериям могла считаться духовным стержнем государства, то сейчас государство чаще всего использует ее как нарядную, подчас богатую декорацию. Церковь для нынешней власти, кажется, – вопрос ее (власти) имиджа, знак респектабельности и благонадежности. Не хотелось бы думать, что церковь таким образом покупают, предлагая недвижимость в обмен на духовную независимость, нравственную и политическую самостоятельность.

Условно говоря, Пленника больше не берут в плен, не говорят ему сакраментальных слов: «Уходи и не мешай нам». Он сам нарушает молчание и может теперь говорить все что угодно; но его никто не слушает и на слова его не обращает никакого внимания. Драматическая тяжесть такого поворота исторического сценария выламывается за рамки «Поэмы о Великом инквизиторе» – подобный поворот темы Достоевским, по-видимому, не предусматривался. Наше время добавило новую ноту в трагическую симфонию о России, написанную Достоевским.

Наше духовное состояние можно было бы определить – в терминах Достоевского – как жизнь на обломках вавилонской башни. Подобный феномен Достоевский называл «кризисом свободы»: люди, получившие свободу, не знают, что с ней делать, и тяготеют к ней. «Нет у человека заботы мучительнее, как найти того, кому бы передать поскорее тот дар свободы, с которым это несчастное существо рождается. Но овладевает свободой людей лишь тот, кто успокоит их совесть» (14: 232), – полагает Великий инквизитор. Школа Достоевского помогает увидеть и распознать тех лукавых соискателей, кто обещает народу снять с него тяжкое бремя совести.

Вопрос, есть ли в сегодняшней России те духовные силы, те нравственные авторитеты, которые способны, не посягая на человеческую свободу, организовать жизнь страны, считаясь с ее традиционными ценностями, с ее цивилизационными возможностями, – ключевой политический вопрос современности.

В последнем романе Достоевского Инквизитор, загнавший Христа в тюрьму, затем отпускает его, провожая Пленника словами: «Ступай и не приходи более... не приходи вовсе... никогда, никогда!» (14: 239) Наше время добавило к этой сцене всего один нюанс: двери темницы, из которой ушел Христос, открыты настежь, запоров более нет, дверь скрипит и болтается на холодном ветру.

Свой символ веры Достоевский выразил когда-то пронзительными словами: «Если б кто мне доказал, что Христос вне истины, и *действительно* было бы, что истина вне Христа, то мне лучше хотелось бы оставаться со Христом, нежели с истиной» (28, кн. 1: 176).

Нескольким поколениям русских людей власть пыталась математически доказать, что Христос вне истины. Такой урок не проходит бес-

следно. Ныне граждане России поставлены в ситуацию тяжелейшего духовного выбора: тосковать о былом «порядке», с регламентированной и прописной истиной, проклиная дряблую, несытую, несправедливую свободу, или пытаться обрести для себя Бога и Родину, имея в душе одну лишь неутоленную жажду правды.

Достоевский уповал, что эта правда будет услышана.

«Позовите серые зипуны и спросите их самих об их нуждах, о том, чего им надо, и они скажут вам правду, и мы все, в первый раз, может быть, услышим настоящую правду» (27: 21), – писал Достоевский. Но похожа ли наша российская демократия, народное представительство на те упования Достоевского, которые он обозначил словами «позовите серые зипуны»? Боюсь, что пока не очень.

Новая ситуация, которую в России называют *постсоветской*, карикатурна: те верхи, которым надлежит знать, во имя чего они служат, не всегда это знают. И одно можно сказать о них наверняка: многие из них прошли закалку в структурах ВЛКСМ и КПСС, в школах КГБ и ФСБ, но они не прошли закалку в школе Достоевского. В одной из реплик Алеши Карамазова содержится прозрачный намек на лицо власти; к сожалению, этот намек работает и продолжает работать безотказно. Ведь в притязаниях тех, кто готов отнять чужую свободу ради якобы высоких целей, младший из братьев Карамазовых, двадцатилетний Алеша, ясно видит «самое простое желание власти, земных грязных благ, порабощения... вроде будущего крепостного права, с тем что они станут помещиками...» (14: 237). Принципиально важно, что высокая эзотерика философской поэмы-притчи Достоевского переводится в плоскость земную, в плоскость гражданской жизни и политического состояния общества. И нельзя не видеть, насколько точно, насколько емко и насколько «футурологически» звучат слова Алеши.

Реплика Алеши: «Они и в Бога не веруют, может быть. Твой страдающий инквизитор одна фантазия...» (14: 237) – потрясает правдой сегодняшнего дня. Нынешняя российская власть (вся совокупность власти) – это, метафорически говоря, не грозный, могущественный страж, который держит все в своих руках, перед которым падают ниц покоренные народы. На наших глазах происходит дробление образа, протекает его фрагментарное и осколочное, почти фантомное бытие. Инквизиторов как будто очень много, но они все очень мелкие, карликовые, мизерабельные, к тому же страшно жадные до «земных грязных благ»; из-за своей чудовищной алчности они громко враждуют друг с другом, эти разборки на глазах уставшего народа и называются у нас политической жизнью.

И опять вопрос, прямо по Достоевскому: что же лучше для простого человека – сильный, властный, могучий Инквизитор, которому под-

чиняются безусловно и беспрекословно, или много мелких бесов, которые, может быть, в сумме своей обладают не меньшей разрушительной силой?

Достоевский терзался вопросом: может ли человечество устроить земную жизнь счастливо? Если может, то как? Достоевский – и как художник, и как гражданин – был озабочен темой национального выбора для России. Он мучительно думал, какое слово скажет Россия Западу; ибо полагал, что это будет новое слово.

То, что происходило в России последние двадцать лет, можно, наверное, выразить, следующей формулой: человечество хочет устроиться без Инквизитора, без Христа, без Бога, но с их имитацией, с их дурной и безвкусной подделкой, а порой и карикатурой. Множественность карикатурных состояний – зеркало духовной смуты, в котором пребывало русское общество, лишенное идеологии, общей национальной идеи и общей социальной цели. Российское общество пережило сильнейшее искушение – поддаться карикатуре, поверить в искаженное изображение как в истину.

Но вспомним: герой Достоевского Алеша Карамазов, послушник монастыря, послан «в мир»; он не остается в замкнутом пространстве монастыря; он включается в гражданскую и политическую реальность, видя в этом обязанность гражданина и христианина. Так именно эти обязанности понимал и Достоевский.

В этом смысле Россия конца XX и начала XXI века видится не только через призму художественных прозрений Достоевского, но и через его прямое слово политического публициста.

Никакому народу не снилось такой силы обличение самого себя, на которое способен народ русский и Россия. Вера Достоевского в Россию, в ее будущее как в страну свободную и сильную, рождалась не на пустом месте. Дитя Крымской войны, Достоевский вместе со всеми русскими испытал горечь колоссального военного поражения, ощутил глубокое разочарование европейской политикой, которая всегда следует только своим собственным выгодам, рекомендуя всем эти выгоды в качестве общечеловеческих ценностей. Достоевский говорил о двойственной мере весов, которыми обмеривает и обвешивает Европа, когда дело идет о России. Достоевский знал, что такое национальное унижение, и говорил, что русским нужно самоуважение, а не самооплевание. Он писал, как, находясь на каторге, не радовался успехам противников России в Крымской войне, «а вместе с прочими товарищами моими, несчастенькими и солдатами, ощутил себя русским, желал успеха оружию русскому» (29, кн. 1: 145). Именно большевики-ленинцы много позже будут желать поражения своему правительству и призывать к «перерастанию войны империалистической в войну гражданскую».

Патриотизм Достоевского другого свойства, и у нас в стране, похоже, стали разбираться в оттенках.

Все последнее двадцатилетие Россия была похожа на огромную газету, в которой страна брала интервью у самой себя: какой ей быть, каким путем идти, каким идеалам следовать. И только в самом конце XX века приходит, кажется, более или менее ясное понимание, что такое новая Россия. Это та Россия, которая сможет честно сказать миру хорошо известные слова: «За нашу и вашу свободу». Для этого ей нужно быть страной демократической, а значит, не слабой и обессиленной, подорванной неумелыми реформами, с жадной и бесчестной властью и брошенным на произвол судьбы населением, а страной, сознающей свои национальные интересы, имеющей стратегию не только выживания, но и процветания. Такая Россия совершенно отвечает интересам великого писателя, государственника и патриота Ф.М. Достоевского.

В пяти частях этой книги сделана попытка осмыслить современные рефлексии на вечные вопросы Достоевского. Философские, идеологические, исторические, религиозные, национальные, эстетические, эмоциональные аспекты тесно переплетены между собой и составляют, как правило, единый комплекс восприятия художественной и публицистической мысли Достоевского.

В *Части I* («Человек в мире проклятых вопросов») обсуждаются самые болезненные точки мировоззрения Достоевского: мононациональная идея в славянском мире и русская идея в многонациональной России; проблематика войны и мира в контексте «имперского милитаризма»; идеи Достоевского по Восточному вопросу и его современная фаза, с рефлексиями в литературе и кинематографе; содержание и судьба *общей* идеи и ее телеотражения; «еврейский вопрос» и схема его решения у Достоевского-почвенника, на фоне идеи о «всемирном человеческом единении» и полемике о национальных «фобиях»; понятие «Америка» как миф и утопия.

Часть II («Какো веруеши али вовсе не веруеши?») сосредоточена на остроактуальных проблемах религиозной составляющей творчества Достоевского и современных дискуссиях о «православной филологии», о символе веры Достоевского, о понятии «христианский реализм», о полемике «гуманизма» и «православия», о поисках, утрате и обретении веры, о взаимодействии Церкви и Культуры. Именно религиозный аспект творчества Достоевского выходит на первый план в современных научных спорах – их отражения широко представлены в книге.

В следующих двух *Частях* – *III* («“ФМД” как культурный феномен: смыслы и символы») и *IV* («Проверка на бессмертие: “ФМД”

в кино и на театре») – на обширном материале рассмотрены наиболее яркие тенденции и реакции современной культуры – поэзии, актуальной философской прозы, политической публицистики, литературной критики, скульптуры, кинематографа, телевидения, театра – на феномен судьбы и всемирной славы Достоевского.

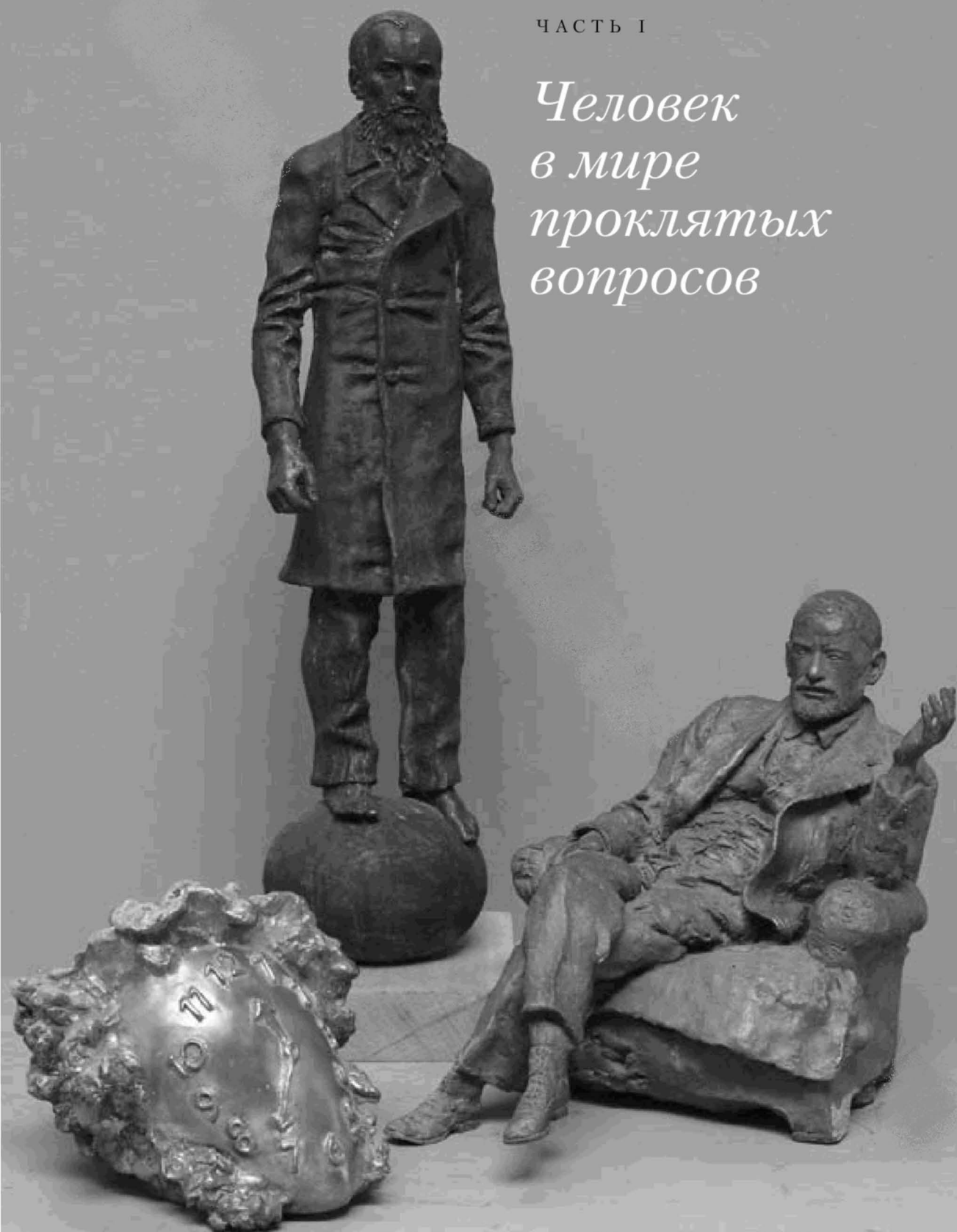
Развитие филологической, философской, искусствоведческой мысли о Достоевском, равно как и осмысление его влияния на современность, – это во многом результат длительного и плодотворного общения с широким кругом единомышленников, оппонентов, товарищей по профессии, литераторов, ученых. То есть это споры и дискуссии, закрепленные в конкретном времени, с заинтересованными и компетентными людьми. Последние разделы книги (*Часть V* «Россия через призму Достоевского. Диалоги двух десятилетий» и *Приложение* «*In memoriam*») раскрывают проблему «Достоевский и современность» в диалогах и «воспоминательных» монологах. Включение в книгу этих материалов обусловлено желанием сохранить непосредственные, временные реакции на живые тенденции и явления российской жизни последних лет – жизни, которая «начиталась Достоевского».

Примечания

- ¹ См.: *Достоевский Ф.М.* Полн. собр. соч.: В 30 т. Л.: Наука, 1972–1990. Далее в книге все цитаты из произведений Достоевского, его писем, черновых записей и подготовительных материалов приводятся в тексте по этому (полному академическому) изданию; в круглых скобках арабскими цифрами указаны том и страницы. Курсив в цитатах, кроме специально оговоренных случаев, принадлежит цитируемым авторам.
- ² Письма А.И. Солженицына к Н.А. Решетовской. 1947 // Архив А.И. Солженицына.
- ³ *Переверзев В.* Достоевский и революция // Печать и революция. 1921. № 3. С. 1.

ЧАСТЬ I

*Человек
в мире
проклятых
вопросов*



Инстинкт всечеловечности и национальная идентичность

Национальный аспект художественной идеологии и религиозной философии Ф.М. Достоевского был обозначен им в «Дневнике писателя» (1877, март) как «Pro и contra». Проблема национальной самоидентификации, существование инациональной идеи в славянском мире и русской идеи в многонациональной России представляют первостепенный интерес не только с точки зрения истории общественной мысли, но и как магистральная философская, социальная, политическая проблема современности.

1

Русская идея, в той версии официальной идеологии, при которой начался литературный путь молодого Достоевского (и его современников, людей сороковых годов), была выражена знаменитой уваровской триадой: «православие – самодержавие – народность». Она стала ответом имперской России на вызов декабристов, но, не продержавшись в таком качестве и двух десятилетий, явилась объектом самых яростных нападок со стороны той части общества, которая ждала и жаждала радикального обновления национального самосознания и государственного устройства.

Собственно, уже первый пункт триады – православие – вызывал даже у православных современников Достоевского жгучие разногласия (этого было более чем достаточно, чтобы вся конструкция испытывала перманентный кризис). Приведу несколько выразительных примеров.

А.С. Хомяков, один из основоположников славянофильства, главным условием сохранения жизнеспособности России считал православие. Но при этом православную церковь считал несовершенным институтом; так что критика современной ему церкви стоила Хомякову его богословских трудов, которые – по причине духовной цензуры – не могли быть напечатаны в России. Западник Герцен, напротив, видел своих оппонентов – славянофильскую партию, – образно говоря, в са-

ване, как живых мертвецов, которые от безвременья и безысходности бросались в самое *отчаянное православие*, в неистовство веры.

Чем детальнее обсуждалось будущее России между разными группами русских мыслителей (а порой и внутри одной группы), тем злее и ожесточеннее становился тон дискуссии. В ход шли оскорбления и, так сказать, плевки в лицо.

Ругались и переругивались друг с другом лучшие люди столетия – еще из старшего и предшествующего поколения. «Сдержанный либерализм не нравился нашим близоруким консерваторам, которые, по своему обычаю, не погнушались ни косвенными намеками, ни прямыми доносами на политическую неблагонадежность своих литературных противников. В числе первых лиц, восставших против нового духа времени, мы находим знаменитого поэта Державина...»¹ Влиятельный Шишков называл своих врагов *шайкой писак*, составивших заговор против славянских книг в пользу французских, и говорил, что вырвал бы из рук своей дочери повесть Карамзина «Наталья, боярская дочь», если бы та стала ее читать. Обвинению во лжи и разврате и всяческому поношению подверглась даже карамзинская «Бедная Лиза».

Общественное мнение, искавшее ответ на вопрос о путях развития России, то и дело попадало под политический гнет и терпело идеологический террор, далеко не всегда исходивший от властей, но почти всегда от противоположных направлений, от групп предприимчивых журналистов или литературных критиков. Это мог быть союз «Северной пчелы», «Сына Отечества» и «Библиотеки для чтения» (то есть союз Булгарина, Греча и Сенковского); это мог быть кружок революционных радикалов Белинского и Некрасова, которые, быстро разочаровавшись в дебютанте Достоевском, выдавили его из подведомственной им литературной отрасли (то есть из журналов, газет, альманахов). Это могла быть и прогрессистская диктатура Герцена, которого боялись даже в Зимнем дворце, и консервативная диктатура Победоносцева. Однако деспотизм «передовых идей» и «передовых направлений» был порой страшнее, чем деспотизм режима, и, уж во всяком случае, действовал более беспощадно и бескомпромиссно.

Вот Гоголь, в письмах к друзьям, вполне миролюбиво оценивает спор о европейских и славянских началах. Это, на его взгляд, совсем еще молодой спор, потому немудрено, что с обеих сторон «наговаривается весьма много дичи». «Все эти славянисты и европисты, или же староверы и нововеры, или же восточники и западники... мне кажутся только карикатурой на то, чем хотят быть, – все они говорят о двух разных сторонах одного и того же предмета, никак не догадываясь, что ничуть не спорят и не перечат друг другу. Один подошел слишком близко к строению, так что видит одну часть его; другой отошел от него слиш-

ком далеко, так что видит весь фасад, но по частям не видит. <...> Можно бы посоветовать им обоим – одному попробовать, хотя на время, подойти ближе, а другому отступить немного подалее. Но на это они не согласятся, потому что дух гордости обуял обоими. Всякий из них уверен, что он окончательно и положительно прав и что другой окончательно и положительно лжет»². Славянистов Гоголь называет кичливыми и строптивыми хвастунами, вообразившими, что открыли Америку, и раздувающими зернышко в репу. Европистам, которые упорствуют в своих заблуждениях, советует поднять голову и увидеть купол здания, стены которого они умеют так подробно описать.

«Выбранные места из переписки с друзьями» (1847) – последняя точка опоры Гоголя, в центре которой человек, *сгораемый желанием лучшей отчизны*, не той, о которой, не желая слышать друг друга, спорят *квасные патриоты* и *очуждеземившиеся русские*, но той, которую Гоголь называет *нашей русской Россией*. Идея служения России, подлинно русская идея, по Гоголю, – это вера в наступление праздника воскресения Христа, в грядущее братство всех людей. Чтобы любить Россию и понять ее, нужно иметь много любви к человеку и сделаться истинным христианином во всем смысле этого слова.

Но Гоголь, пытавшийся призвать спорящие стороны услышать друг друга, и представить себе не мог, как враждебно ополчится на его книгу писем вся критика и большинство публики. В солидарном неприятии гоголевских морально-религиозных наставлений на миг объединились все те, кто никогда и ни в чем не соглашался друг с другом. Западники (Герцен, Грановский, Боткин, Анненков), безоговорочно осудившие книгу Гоголя, сошлись в пункте осуждения со славянофилами (К.Т. и С.Т. Аксаковыми) и даже с церковнослужителями. Те призывали Гоголя «не парадировать набожностью» (архиепископ Иннокентий Борисов), ибо «она любит внутреннюю клеть», или упрекали, что письма его более *душевные*, чем *духовные*; они издают из себя «и свет, и тьму» (архимандрит Игнатий (Брянчанинов))³.

Той самой *общей* точкой, на которой смогли (хоть ненадолго) сойтись русские мыслители разных направлений, оказалось осуждение и неприятие, вражда и ругань. Предводителем движения ругателей и ниспровергателей стал Белинский: письма Гоголя *оскорбили* в нем чувства истины и человеческого достоинства – ведь под покровом веры и религии, утверждал критик, Гоголь проповедует ложь и безнравственность как истину и добродетель. «Проповедник кнута, апостол невежества, поборник обскурантизма и мракобесия, панегирик татарских нравов» – такими были определения Белинского о Гоголе, прежде страстно любимом писателе, в котором критик видел вождя России на ее пути к самосознанию, развитию и прогрессу. Однако в борьбе за идею о буду-

щем России вчерашний кумир становился проклятым идолом, страстная любовь оборачивалась неистовой ненавистью.

Критик, однако, был прав в одном пункте. «Я не в состоянии, – писал он Гоголю, – дать вам ни малейшего понятия о том негодовании, которое возбудила ваша книга во всех благородных сердцах, ни о тех воплях дикой радости, которые издали при появлении ее все враги ваши... От вашей книги отступились даже люди, по-видимому, одного духа с ее духом»⁴.

И это была горькая правда. Атеист Белинский категорически не принимал религиозных упований Гоголя, утверждая, что русский народ – это глубоко атеистический народ. Белинский не признавал апелляции Гоголя к церкви, которая «всегда была опорой кнута и угодницей деспотизма», «службой и опорой светской власти» и негодовал, что с ней Гоголь связывает Христово учение. «Что вы нашли общего между Ним и какою-нибудь, а тем более православной церковью? Он первый возвестил людям учение свободы, равенства и братства и мученичеством запечатлел, утвердил истину Своего учения. И оно только до тех пор и было *спасением* людей, пока не организовалось в церковь и не приняло за основание принципа ортодоксии. Церковь же явилась иерархией, стало быть, поборницей неравенства, льстецом власти, врагом и гонительницей братства между людьми, – чем продолжает быть и до сих пор. Но смысл Христова слова открыт философским движением прошлого века. И вот почему какой-нибудь Вольтер, орудием насмешки погасивший в Европе костры фанатизма и невежества, конечно, более сын Христа, плоть от плоти Его и кость от кости Его, нежели все ваши попы, архиереи, митрополиты, патриархи»⁵.

Между двумя российскими литераторами – в борьбе за Россию и ее будущее – разверзалась бездна. Ни народ, ни церковь, ни учение Христа, ни личное спасение человека – ничто не находило согласного понимания. Русская идея становилась полем битвы, ожесточения и разделения. По Белинскому, Россия видит смысл своего существования в успехах цивилизации, просвещения, гуманности, в пробуждении у народа человеческого достоинства. Ей нужны не проповеди и молитвы, а гражданские права и грамотные, ответственные законы. Потому самые живые национальные вопросы России – социальные, а не религиозные: уничтожение крепостного права, отмена телесных наказаний.

Спор Белинского и Гоголя, явивший на суд обществу две системы идей, два манифеста бытия, крайние полюсы мышления по вечному вопросу о способах улучшения жизни страны, обнажил всю трагедию глубочайшего непонимания всех всеми и факт тотального нежелания видеть в оппоненте брата, а не врага. Белинский, в пылу гнева и озлоб-

ления, не захотел разглядеть в Гоголе болезнь совести за все несчастья русской жизни и готов был согласиться с темными петербургскими слухами, будто Гоголь написал книгу с корыстной целью попасть в наставники к сыну наследника.

Этот спор окончательно развел русское общество по разным лагерям, создав в культурной среде не культ любви, а атмосферу ненависти. Этот спор, как окажется позже, будет чреват драматическими последствиями и для страны, чье будущее ставилось на карту, и для всех спорящих сторон, которые вовлекались в опасную игру.

Уже через два года после скандального обмена посланиями двух русских литературных вождей было явлено грозное предзнаменование: за чтение письма одного литератора другому был арестован третий – молодой писатель Достоевский, вместе с товарищами-петрашевцами. Военный суд нашел подсудимого виновным в том, что он, получив копию с преступного письма литератора Белинского, – читал это письмо в собраниях. Военный суд приговорил отставного инженер-поручика Достоевского, *за недонесение о распространении преступного о религии и правительстве письма литератора Белинского*, лишить на основании Свода военных постановлений чинов, всех прав состояния и подвергнуть смертной казни расстрелянием.

2

Многолетние поиски Достоевским русской идеи, которые в самом начале его поприща оказались столь беспощадны к нему самому, – это длительные, самоотверженные и тщетные попытки преодолеть бездну непонимания и вражды, уже созданную искателями-предшественниками.

На этом пути у него случались свои собственные взлеты и падения; падения неизменно были связаны с чувством гнева, когда дрожало сердце и горела душа. Тогда он хотел писать «с плетью в руке», «поазартнее и поглубже», ибо нигилисты и западники требуют «окончательной плети» (29, кн. 1: 113). В порыве негодования он мог сказать о закваске «шелудивого русского либерализма, проповеданного г<--->ками вроде букашки навозной Белинского» (29, кн. 1: 145), в общем понимая, что первый русский критик, когда-то восторженно принявший «Бедных людей», при всех своих идейных заблуждениях, был далеко не смрадным насекомым. Достоевский уповал, что русский человек, освободившись от навозных букашек, сидит уже у ног Иисусовых и что Россия «выблевала вон эту пакость, которою ее окормили, и, уж конечно, в этих выблеванных мерзавцах не осталось ничего русского» (там же). Скорее

всего, автор «Бесов» чувствовал, что выдает желаемое за действительное и что роковой выбор России еще впереди.

Но взлеты этого пути были куда более убедительны, даже грандиозны. Красноречивее всего о размахе и величии поиска свидетельствует хроника высказываний: в течение двух последних десятилетий его жизни рядом со словами «русская идея» настойчиво, упорно, едва ли не маниакально повторялись ключевые слова – *примирение, синтез, общечеловеческий идеал*.

Годы шестидесятые

«Мы предугадываем, и предугадываем с благоговением, что характер нашей будущей деятельности должен быть в высшей степени общечеловеческий, что русская идея, может быть, будет синтезом всех тех идей, которые с таким упорством, с таким мужеством развивает Европа в отдельных своих национальностях; что, может быть, всё враждебное в этих идеях найдет свое примирение и дальнейшее развитие в русской народности» (18: 37).

«Наша новая Русь поняла, что один только есть цемент, одна связь, одна почва, на которой всё сойдется и примирится, – это всеобщее духовное примирение, начало которому лежит в образовании» (18: 50).

У русского народа «инстинкт общечеловечности. Он инстинктом угадывает общечеловеческую черту даже в самых резких исключительностях других народов; тотчас же соглашает, примиряет их в своей идее, находит им место в своем умозаключении и нередко открывает точку соединения и примирения в совершенно противоположных, сопернических идеях двух различных европейских наций, – в идеях, которые сами собою, у себя дома, еще до сих пор, к несчастью, не находят способа примириться между собою, у себя дома, еще до сих пор, к несчастью, не находят способа примириться между собою, а может быть, и никогда не примирятся» (18: 55).

Годы семидесятые

«Если национальная идея русская есть, в конце концов, лишь всемирное общечеловеческое единение, то, значит, вся наша выгода в том, чтобы всем, прекратив все раздоры до времени, стать поскорее русскими и национальными. Всё спасение наше лишь в том, чтоб не спорить заранее о том, как осуществится эта идея и в какой форме, в вашей или в нашей, а в том, чтоб из кабинета всем вместе перейти прямо к делу» (25: 20).

«Если общечеловечность есть идея национальная русская, то прежде всего надо каждому стать русским, то есть самим собой, и тогда с первого шагу всё изменится. Стать русским значит перестать прези-

рать народ свой. И как только европеец увидит, что мы начали уважать народ наш и национальность нашу, так тотчас же начнет и он нас самих уважать. И действительно: чем сильнее и самостоятельнее развились бы мы в национальном духе нашем, тем сильнее и ближе отозвались бы европейской душе и, породнившись с нею, стали бы тотчас ей понятнее» (25: 23).

Год восьмидесятый. Пушкинская речь

«Стать настоящим русским и будет именно значить: стремиться внести примирение в европейские противоречия уже окончательно, указать исход европейской тоске в своей русской душе, всечеловечной и всесоединяющей, вместить в нее с братскою любовью всех наших братьев, а в конце концов, может быть, и изречь окончательное слово великой, общей гармонии, братского окончательного согласия всех племен по Христову евангельскому закону!» (26: 148).

Достоевский до конца дней был неуклонно и неколебимо уверен, что ко всемирному, всечеловечески-братскому единению людей сердце русское более всех предназначено. Пушкинская речь завершалась произительной, пророческой нотой. «Жил бы Пушкин долее, так и между нами было бы, может быть, менее недоразумений и споров, чем видим теперь. Но Бог судил иначе» (26: 148–149).

Бог не судил избавить Россию от самоубийственных споров и забрал к себе самого лучшего из ее сыновей – это было в логике пушкинской речи. Между тем в деле всеобщего примирения у Достоевского только и оставался Пушкин – как единственный неотразимый аргумент. Горький парадокс этого обстоятельства заключался, однако, в том, что на открытии памятника Пушкину сам поэт оказывался не столько объектом поклонения и возвеличивания, сколько поводом для разных политических групп скрестить шпаги, так что Достоевский накануне праздника чувствовал себя скорее воином, чем миротворцем. «Остаться здесь *я должен* и решил, что остаюсь, – писал он жене за неделю до праздника. – Дело главное в том, что во мне нуждаются не одни “Любители р<оссийской> словесности”, а вся наша партия, вся наша идея, за которую мы боремся уже 30 лет, ибо враждебная партия (Тургенев, Ковалевский и почти весь университет) решительно хочет умалить значение Пушкина как выразителя русской народности, отрицая самую народность. Оппонентами же им, с нашей стороны, лишь Иван Серг<еевич> Аксаков (Юрьев и прочие не имеют весу), но Иван Аксаков и устарел, и приелся Москве. Меня же Москва не слыхала и не видала, но мною только и интересуется. Мой голос будет иметь вес, а стало быть, и наша сторона восторжествует. Я всю жизнь за это ратовал, не могу теперь бежать с поля битвы» (30, кн. 1: 169).

Почему речь Достоевского стала, по общему признанию, историческим событием, кульминационным моментом праздника, почему его без конца вызывали, бешено аплодировали, плакали от восторга, обнимали и целовали ему руки? Почему два незнакомых старика заявили ему в экстазе: «Мы были врагами друг друга 20 лет, не говорили друг с другом, а теперь мы обнялись и помирились. Это вы нас помирили, Вы наш святой, вы наш пророк!»?

Достоевский точно знал почему. «Когда же я провозгласил в конце о *всемирном единении* людей, то зала была как в истерике, когда я закончил – я не скажу тебе про рев, про вопль восторга: люди незнакомые между публикой плакали, рыдали, обнимали друг друга и *клялись друг другу быть лучшими, не ненавидеть впредь друг друга, а любить*» (30, кн. 1: 184).

Эта волшебная, равная чуду минута всеобщей любви продлилась, как потом говорили, всего одно мгновение – после чего ненависть и злоба запылали с утроенной силой. Клявшиеся и рыдавшие, очнувшись от гипноза эфемерной любви, будто наверстывали упущенное, стремясь большее укусь автор речи и растерзать в клочья саму речь. Победа русской партии, предвкушаемая Достоевским накануне и испытанная в самый день праздника, оказалась вполне иллюзорной, – может быть, еще и потому, что сам Достоевский шел на праздник, как на бой. Пушкинский праздник, объявленный территорией любви, катастрофически быстро обернулся зоной раздора и ареной военных действий.

3

Пушкинская речь Достоевского, как всякое великое мгновение истории, раздражила участников праздника настолько, что действительно, уже «на другой день», всеобщий энтузиазм и общественное ликование уступили место досадному и раздраженному недовольству, а затем жестким, язвительным нападкам. Речь была опубликована, и критики чувствовали себя едва ли не обманутыми – они уже не находили в ней того обаяния, которое исходило от автора во время выступления, когда он буквально электризовал собрание.

Теперь критика находила, что речь была построена на фальши; что автор речи похитил у Пушкина его праздник в свою пользу и что он болен не Пушкиным, а самим собой; что любовь, к которой призывает Достоевский, – имеет оттенок мистицизма и запах постного масла; что автор речи – злостный враг народа, а от врага нельзя ждать ни любви, ни уважения к этому самому народу; что слово Достоевского о Пушкине – раздраженное словоизвержение, чревоушительный туман и лите-

ратурная кабастика; что писатель в своих литературных экскурсах чужд элементарной исторической грамотности...

Но то была критика из стана неприятеля – к ее враждебному тону Достоевский давно привык. Гораздо больнее били «свои» – «своим» Достоевский тоже знал цену. «Ваше объявление о “Руси”, – писал он И.С. Аксакову, – превосходное, здесь же нашлись люди (и представьте, во многом нашего образа мыслей), которые находят, что объявление Ваше заносчиво, туманно и *нагло*. Пусть брешут. Во многих случаях первыми врагами бывают свои же. <...> Решаю иногда совсем не читать ни нападок, ни возражений в журналах. Кстати, Кошелева статью в “Р<усской> мысли” до сих пор не читал. И не хочу. Известно, что *свои-то* первыми и нападают на своих же. Разве у нас может быть иначе?» (30, кн. 1: 226–227). Славянофил А.И. Кошелев, «свой», решительно отклонил многие из основных пунктов речи Достоевского: отзывчивость, всемирность и всечеловечность Кошелев решительно не захотел отнести к отличительным чертам русского народа.

Другой «свой», К.Н. Леонтьев, вообще отказал Достоевскому от места среди «своих». Проповедник мировой гармонии и всемирного единения людей, Достоевский мог быть приписан, по Леонтьеву, скорее к департаменту европейской гуманитарной мысли, нежели к церковно-православному ведомству. Идеалы Достоевского, провозглашенные в пушкинской речи, в глазах Леонтьева имели космополитический, еретический, даже антицерковный характер, и сам писатель воспринимался «своим» критиком в большей степени *европейцем* и *всечеловеком*, чем русским православным христианином. Да и само православие Достоевского Леонтьеву казалось слишком «розовым», уютным, нежным, сентиментальным, а не мужественным, суровым, евангельским; оно не совпадало с азбукой катехизиса – ведь Спаситель никогда не обещал «всемирного братства народов» и «мировую гармонию»...

«Г-н Леонтьев продолжает извергать на меня свои зависти. Но что же я ему могу отвечать? Ничего я такому не могу отвечать...» (27: 52) – записал Достоевский в черновиках к «Дневнику писателя» 1881 года. И в самом «Дневнике»: «Я про будущее великое значение в Европе народа русского (в которое верую) сказал было одно словцо прошлого года на пушкинских празднествах в Москве, – и меня все потом *забросали грязью и бранью*, даже и из тех, которые меня обнимали тогда за слова мои, – точно я какое *мерзкое, подлейшее дело сделал*, сказав тогда мое слово» (27: 36; курсив мой. – Л.С.).

«Но, может быть, не забудется это слово мое» (там же), – добавил Достоевский к своей итоговой дневниковой записи. Однако *изречь окончательное слово великой, общей гармонии, братского окончательного согласия всех племен по Христову евангельскому закону* оказалось

задачей непосильной даже для него. Отрезвленные соотечественники категорически отказывались признать такое слово *окончательным* и согласиться с русской идеей в «примирительной» версии Достоевского.

Русская идея оставалась областью открытых вопросов и неокончательных нравственных решений. Авторитетных мнений не существовало: Леонтьев отверг не только версию русской идеи «от Достоевского» – «христианский универсализм» Вл. Соловьева он не принял точно так же, как и пафос «всемирной любви» Достоевского. Книги Соловьева (как и публицистика Достоевского) не одобрялись с двух сторон – либералы ругали их за клерикализм, клерикалы – за либерализм. *После Достоевского* русским полемистам, занятым поиском русской идеи, в еще большей степени, чем *при Достоевском*, отказывало чувство элементарной почтительности. Отсутствие необходимой терпимости к мнению «несогласно мыслящих», резкий, порой оскорбительный тон полемики, выражения, несовместимые с тем уважением, которое должно иметь место даже и в случае серьезных разногласий с оппонентом, сводило на нет даже самые глубокие размышления о русской идее, особенно в тех случаях, когда она рифмовалась с евангельской любовью к ближнему.

Добродушный, благожелательный Вл. Соловьев, умевший прощать обидчиков и не держать зла на самых яростных своих критиков, называл В.В. Розанова Иудушкой Головлевым и находил у него только «елейно-бесстыдное пустословие»⁶. Биограф Вл. Соловьева приводит некоторые ругательные квалификации, которые допускал В.В. Розанов по адресу Вл. Соловьева: «блудница, бесстыдно потрясающая богословием», «тать, прокравшийся в церковь», «тапер на разбитых клавишах», «слепец, ушедший в букву страницы». Соловьев, со своей стороны, видел в «розановщине» сатанизм и разлагающийся труп⁷.

Идейные разногласия превращались в брань; брань разъедала самые теплые отношения, самые тесные дружбы терпели крах и погибали, превращаясь в жестокое отчуждение. Личное пристрастие Леонтьева к Соловьеву, влюбленность и почтительное изумление перед «блестящим и сердечно совестливым философом» (так его аттестовал сам Леонтьев) закончились прискорбно. За смешение светского прогресса с православием, которое допустил Соловьев в одной из своих статей Леонтьев, забыв все свои восторженные признания, называет блестящего философа негодяем, его работы – проповедями сатаны и предлагает выслать Соловьева из России («Изгнать, изгнать его из пределов Империи нужно... Употребить все усилия, чтобы Вл. Соловьева выслали навсегда или для публичного покаяния за границу»)⁸. Впрочем, и сам Соловьев, будучи снисходителен к личным слабостям и порокам, в вопросах социальной нравственности «считал нетерпимость обязательной»⁹.

«Русская идея, исторический долг России требует от нас признания нашей неразрывной связи с вселенским семейством Христа и обращения всех наших национальных дарований, всей мощи нашей империи на окончательное осуществление социальной троицы, где каждое из трех главных органических единств, церковь, государство и общество, безусловно свободно и державно, не в отъединении от двух других, поглощая или истребляя их, но в утверждении безусловной внутренней связи с ними. Восстановить на земле этот верный образ Божественной Троицы – вот в чем русская идея» – так формулировал суть русской идеи Вл. Соловьев¹⁰.

Несомненно, это могло стать великой строительной задачей для России конца XIX века, где церковь была оторвана от общества и не имела отдельного от государства голоса; где общество презирало церковь и ненавидело государство; где государство не имело никакого влияния на общество и в церкви видело всего лишь один из мелких рычагов влияния.

Однако оставалось неясным, кто сможет взять на себя эту великую миссию – восстановить Божественную Троицу? Ни по одному из «единств» – церкви, государству, обществу – ни у одного из возможных ее восстановителей не было согласия ни на йоту. Русский религиозный мыслитель Вл. Соловьев в 1892 году говорил другому русскому религиозному мыслителю, Е.Н. Трубецкому: «Ты призывал христиан всех вероисповеданий соединиться в общей борьбе против неверия; а я желал бы, наоборот, соединиться с современными неверующими против современных христиан»¹¹.

Постигая высоты и глубины богословия, разработчики русской идеи не щадили друг друга и были беспощадны к любому «неправильному» повороту учения. Как писал Достоевский, «мы и между собою не прощаем друг другу ни малейшего отклонения в убеждениях наших и чуть-чуть несогласных с нами считаем уже прямо за подлецов» (25: 16).

4

Являясь одной из самых спорных в художественном и философско-публицистическом наследии Достоевского, проблема национальной самоидентификации продолжает оставаться предметом интеллектуальных и политических поисков. Прошедшее столетие только обострило споры, только обнажило накопившиеся противоречия, а сама проблема стала намного болезненней. Однако современники Достоевского и его последователи полемизировали с автором «Дневника писателя», как правило, по сути темы. Так, Владимир Соловьев, вслед за Достоевским формулируя

национальный вопрос в России как вопрос «не о существовании, а о *достойном существовании*»¹² человека, считал, что, «если национальному эгоизму суждено возобладать в человечестве, – тогда всемирная история не имеет смысла и христианство напрасно являлось на земле»¹³.

Однако при всех различиях в понимании национальной идеи никто из единомышленников или оппонентов Достоевского не сомневался в правомочности самой темы, а право человека на национальное самопознание и самоопределение не подвергалось политическим подозрениям или гонениям. Тем более что русское сознание, исторически сложившееся прежде всего как государственническое, имперское, при слабости и размытости этнической компоненты, только в середине прошлого столетия обратилось к саморефлексии.

Пути и направления, по которым развивалась русская идея после Достоевского и Соловьева, качественно изменили ситуацию. Возникший в конце XIX века русский радикальный национализм («черная сотня») ставил задачу сдержать рост революционных тенденций в обществе, помешать кризису империи – в этом смысле он пользовался даже и монаршим покровительством. Нет сомнения, однако, что радикализм «черной сотни» вел к подрыву политической стабильности и ослаблению империи, которую «черносотенцы» пытались сохранить. Деятельность «Союза русского народа», таким образом, не только не выполнила декларируемых целей, но и нанесла колоссальный вред репутации самого поиска; обсуждать «русский фактор» стало не только неприлично, но и небезопасно.

Советская эпоха, положившая конец российской империи, пыталась покончить – раз навсегда – и с вопросом о русском национальном самосознании. Лицемерная политика пролетарского интернационализма, которая была лишь прикрытием советского империализма, препятствовала именем русского народа возникновению национальных движений нерусских этносов. На русских, как на «бывшую угнетающую нацию», возлагалась коллективная вина за реальные и мнимые прегрешения царского режима.

Но в многонациональной семье народов русские, именуемые «старшим братом» (титulyной нацией), не имели никаких привилегий; русские, будучи самым многоэтническим народом, построили единственную в истории империю, где государствообразующий народ не имел никаких преимуществ перед остальными народами и нес основное бремя государственного строительства.

В XX веке в России был снят слой за слоем культурной и военной элиты и крестьянства. Страшные удары столетия, полученные Россией, принимали на себя все населяющие ее народы, но прежде всего русские. Недаром в последние годы в научной литературе появилось понятие

«русский Холокост», «русская Катастрофа». В советское время любое упоминание о русских, специфически национальных, интересах квалифицировалось как проявление великодержавного русского шовинизма с соответствующими выводами. Лишь на время Второй мировой войны русская национальная компонента была на время включена в официальную идеологию и русские были признаны «руководящей силой в великом Советском Союзе».

Но при этом слово «русский» выступало синонимом слов «советский», «социалистический», «интернациональный». Русские рассматривались как ядро «новой исторической общности – советского народа», отечественного варианта американского «плавильного тигля» («*malting pot*»). Подразумевалось, что русские растворятся в «новой исторической общности людей», станут ее цементом, пожертвовав собой ради сохранения и стабильности СССР.

На излете советской эпохи русский народ, по оценке современных специалистов, политологов и этнологов¹⁴, оказался самым денационализированным из всех крупных этносов СССР. Создалась беспрецедентная ситуация: демократические и национальные ценности были противопоставлены друг другу. Демократическое движение всемерно поддерживало и поощряло национализмы в республиках и автономиях бывшего СССР, но жестко подавляло русское самосознание, которое рассматривалось как заведомо ущербное – антирыночное, антилиберальное и антизападное.

Между тем распад СССР поставил Россию и русских в уникальное положение: вместо народа, цементирующего империю, они стали *разделенным* народом, самым крупным разделенным народом мира (25 млн. этнических русских оказалось за пределами России). Перед Россией встала задача обретения новой идентичности, которую необходимо было решать одновременно с модернизацией по западным образцам, при этом сторонники такой модернизации проповедовали тезис о необходимости подавления ущербного, по их мнению, русского самосознания. Сложился идейно-политический парадокс, при котором Россия подлежала вхождению в глобальный мир на основе общечеловеческих ценностей, но главным препятствием такой глобализации назывался титульный этнос, составляющий 85 % населения.

Формирование национального дискурса стало одной из интеллектуальных, политических, государственных задач страны; после нескольких лет «деидеологизации» и дискуссий о вреде любых идеологий в общество был даже «вброшен» политический и государственный заказ на национальную идею, «новую идеологию для России». Было признано – на высоком государственном уровне, – что «русским» важно понять прежде всего смысл и суть общего дела, которому они причастны¹⁵.

Так возникла новая актуальность старой, «вековой темы», которой так болел Ф.М. Достоевский. «Господствующая идея настоящего времени есть идея национальная», – писал В.С. Соловьев; прошло столетие, и Россия вновь оказалась с этой идеей лицом к лицу. Рассеялась как дым «новая историческая общность – советский народ» (впрочем, не состоялась и идея «плавильного котла» в США). На пороге третьего тысячелетия весь мир столкнулся с резким всплеском национальных и националистических движений – стремлением к национальному обособлению, кажется, болеет весь мир. Идея интернационализма с треском провалилась – и финансовое объединение Европы вовсе не свидетельствует о тенденциях к стиранию национальных граней. Напротив, большинство ученых, занимающихся проблемами этнополитики, фиксируют повсеместный распад имперских структур на национальные государства и называют эту тенденцию диалектикой истории XX века.

Как воспринимаются в этом контексте идеи Достоевского? Может ли «русская идея», как ее трактовал Достоевский, стать нравственной опорой современного общества в его поисках национальной идентичности, а не остаться только фактом его литературного наследия? Является ли она только феноменом самопознания (познания своих корней) или имеет еще и перспективу деятельности и влияния? В конце концов, та глубокая национальная саморефлексия, которую выразил Достоевский и в художественном творчестве, и в публицистике, заслуживает уважения даже безотносительно к ее дальнейшему функционированию в общественном сознании. Ведь Достоевский и В.С. Соловьев первыми дали жизненный смысл витавшей в воздухе идее России как посредника между Востоком и Западом. «Только у них идея России обретает выраженные черты мессианизма, избранности русского народа для решения исторической задачи воссоединения России и Европы в братском христианском союзе»¹⁶.

Необходимо заметить, что высказывания Достоевского по национальному вопросу вызывают в отечественных умах сильнейшее раздражение. Оно более понятно в работах радикал-националистов – те укоряют Достоевского за его утопическую мечту о всемирном общечеловеческом единении на основе всеобщей любви во Христе. В кругу радикал-либералов «русская идея» по Достоевскому оценивается как праисточник (или букварь) русского национализма и шовинизма, а сам Достоевский – как виновник многих катаклизмов XX столетия.

«Русский народ – святой народ. Русский народ – богоносец. Русский народ поведает миру новое слово любви и правды... Такими песнями в течение многих лет зачаровывали нас люди самых разнообразных положений... И при всем том русский мужик явил себя в наши дни таким извергом, что мир содрогнулся и вновь заговорил о язычестве русских».

Так писал на гребне Гражданской войны петербургский священник Константин Агеев в статье с красноречивым названием «На ком вина?»¹⁷. Сегодня эту точку зрения разделяют многие историки и публицисты. Приведу лишь два высказывания. «Автор “Идиота” был одержим всеми видами “похотей” (или агрессии, как сейчас говорят). И сексуальной агрессией (мерзость которой он признавал), и ксенофобией (мерзость которой он оправдывал народностью и которой охотно предавался, да простит ему Бог!), и всякими другими»¹⁸, – пишет современный исследователь Достоевского Г.С. Померанц.

«Отношение Достоевского к Западу, к Европе, к “чужим”, – полагает другой исследователь, сотрудник Института всеобщей истории, – изменяется в процессе поиска национальной идентичности. Русскость обретается через отрицание “чужого”, а мессианизм русской национальной идеи Достоевского делает это отрицание непримиримым и агрессивным, что не слишком сочетается с тезисом о “всепримиримости” и “всецеловечности” русских. Как во всех национальных идеях крупных народов, в ней несомненно содержались ростки национализма и шовинизма»¹⁹. Автор утверждает, что любовь к родине (патриотизм) и любовь к русскому народу (национализм) «перерастает у писателя в противопоставление России другим государствам и народам, а естественное религиозное чувство – в противопоставление православия всем остальным вероисповеданиям»; самоутверждение же русскости «осуществляется все же за счет принижения прочих наций и вероисповеданий»²⁰.

И процитированные авторы, и многие другие участники сегодняшнего диалога²¹ о необходимости новой русской идеи приходят к следующим выводам:

1. Поиски русской национальной идентичности порождают сейчас (и породили у Достоевского) потребность оплевать и оклеветать Запад, представляя его царством наживы, денег и всех пороков, без будущего и идеала.

2. Выработка русской национальной идеи, с ее главным компонентом «народом-богоносцем» требует наличия противоположного персонажа – «народа-дьявола», отсюда у Достоевского и его последователей их национальные фобии – юдофобия, полонофобия, германофобия, европофобия.

3. Русская идея, даже если разработчики декларируют ее общечеловеческий характер (как это делал Достоевский), исходит из соображений о невозможности поладить с Европой, в силу подозрений о высокомерной неприязни, которую Европа питает к России.

4. Разработчики русской идеи защищаются (вслед за Достоевским) «судорогой ненависти» от каких-либо европейских нормативных представлений на эту тему.

5. Высказывание Достоевского (в письме к А.Н. Майкову 1868 г.): «Все понятия нравственные и цели русских – выше европейского мира» (28, кн. 2: 260) – и множество ему подобных свидетельствуют о крайнем шовинизме и национализме писателя, который неминуемо приобретает вообще всяким человеком, как только он встает на путь поисков национальной идентичности. На одной из общественных дискуссий даже прозвучал вывод: «Не дадут поиски новой идеологии для России нам ничего, кроме бреда, который уже был в России... Ничего, кроме ядерной гражданской войны, в конечном счете»²².

Не соглашаясь с этими выводами по существу, я могу понять природу того страха и отвращения, который вызывают неонационалистические и неоидеологические рассуждения. Человечество входит в третье тысячелетие совершенно в другом состоянии, нежели оно было при Достоевском или двадцать лет после Достоевского. История прошедшего столетия показала, что любая попытка создать человека или общество по выдуманной схеме кончается кровью, после которой все возвращается на круги своя.

5

Три катастрофы явил XX век: ГУЛАГ, Холокост и Хиросиму – и мир узнал о них почти одновременно. Эти три катастрофы стали тупиком цивилизации еще и потому, что явились итогом развития трех идеологем XX века: идеи государства социальной справедливости (в СССР), идеи национального государства (в Германии), идеи государства либеральной демократии (в США). И все три идеи (классовая, расовая и либерально-демократическая) явили свою античеловеческую сущность.

Появилась специальная отрасль знания – богословие после катастроф XX века, которое ставит вопрос, как все это могло случиться в православной России? в христианской Европе? в пуританской Америке? Богословие спрашивает само себя: какой вклад внесла в три катастрофы века христианская традиция? Богословие обязано поставить вопрос о состоятельности христианства, и богословский аспект этого вопроса звучит так: где был «русский Бог», который не спас ни интеллигенцию, ни священников, ни монахов, ни русского царя? Где был Бог, когда немецкое государство уничтожало евреев? Где был Бог, когда сбрасывались атомные бомбы на японские города? И богословский ответ сводится к древнейшему библейскому тексту: «Где был ты, Иов?»

XX век ответил, что нельзя, отстаивая теодицею, списывать на Божий план все людские зверства и безобразия, освобождая людей от от-

ветственности словами, что «нет власти не от Бога». Не надо злоупотреблять богословием, говорят современные богословы²³. Любая попытка встроить катастрофы века в Божественный план делает Бога моральным чудовищем, а вселенную – бесконечным кошмаром – или, в терминах Достоевского, «диаволовым водевилем» (10: 471). Нельзя признавать Бога, чей план мог включать в себя такое варварство. Спрашивать: «Где был Бог?» – значит освобождать людей от их ответственности.

Бог не будет вмешиваться в эти извращения подлинной человеческой свободы. Бог свободы создает людей, наделенных свободой реализовать себя в добре или избрать зло, и с бесконечным терпением ждет, что люди выберут добро. Человек, общество должны сами научиться защищать себя от будущих катастроф, чтобы защитить историю от взрывов предельного зла. Здесь, в этой цепочке размышлений, и возникает контекст Достоевского.

Морально-этический комплекс Достоевского, его апелляция к личной ответственности – и за поступки, и за намерения, и за теории, и за мысли, в которых человек хочет иметь «полный простор», – сильнейшая и неопровержимая, неотменимая сторона его художественной и публицистической мысли. Это та поправка к публицистической «русской идее» Достоевского, которая обесмысливает упреки в агрессивном увлечении русскостью.

Русская идея, понимаемая как импульс к всечеловеческому, провозглашается Достоевским в русском мире, который один виноват за все зло, творимое в отечестве. Сотни, тысячи персонажей русского, а не инородного происхождения «сочиняют» русскую жизнь, творят русскую трагедию; русская стихия с ее пороками, страстями, грехами и грехопадениями поверяется русским же решением вопроса. Оно – не в социальной переделке мира по новому штату; оно – не в организации национальных партий, оно – не в учреждении военно-политических заговоров.

Достоевский был прав, когда доказывал, что моральный нигилизм – основная угроза человеку и человечеству. Монстры XX века обнажили чудовищную объемность этого понятия. Экспериментируя за пределами этики, они дошли до дна человеческой развращенности и бросили тень на все философские учения, на все символы веры (сегодня говорится не только о ксенофобии Достоевского, но и о юдофобском потенциале Нового Завета, его антисемитских корнях²⁴, отвергается жизнеспособность образа Бога как стратега человеческой истории).

Исторические события стали безразличными для этики, а история – всего лишь этической игрой с нулевой суммой, в рамках которой моральная ответственность теряет всякий смысл. Не буду перечислять известные примеры – сошлюсь лишь на один из них. Банки Треть-

его рейха переплавляли золотые коронки и наворованные украшения жертв и отправляли золото на хранение в швейцарские банки, на чем те неплохо зарабатывали. Для экономической, как и для политической, целесообразности не существует морали. Швейцарский национальный банк заявил по этому поводу несколько лет назад: «Если без внимания оставить моральный аспект, то перевод в валюту нацистского золота и связанная с этим выгода есть только технический обмен»²⁵. Как смириться, что это случилось в самой добропорядочной стране Европы, символизирующей понятие «европейская цивилизация», в стране, которая не сомневается в своем гуманизме и идеалах справедливости? Что же тогда говорить о странах с тоталитарными режимами?

Достоевский, размышляя о русской идее, оказался более чем прав: социализм в России – это не рабочий вопрос, не вопрос смены экономического вектора; социализм придет не на смену капитализму, а на смену христианству, он захочет стать новой религией и уничтожить старую, он создаст культ своих вождей и поставит их «вместо Христа». Ни в одной стране мира социализм не принимал такого антихристианского характера, как в России. Приведу факт истории: к 1915 году русское православное духовенство насчитывало около 142 000 служителей церкви. А к 1941-му было только расстреляно 130 000 представителей православного духовенства (а сколько еще арестованных, сосланных!)²⁶.

Но Достоевский, задолго до того, как это стало историческим фактом, исследовал причины, по которым социальный утопизм радикальной русской интеллигенции стал ее новой религией и проповедовался с чисто религиозным фанатизмом. Безусловно, главная доля ответственности за церковный геноцид (как и за общенациональный геноцид) должна быть возложена на представителей русского народа, допустивших в своей стране страшную катастрофу, поддавшихся соблазну революции и насилия как самого короткого пути ко всеобщему счастью.

«Русь слиняла в два дня. Самое большое в три, – писал В.В. Розанов о революции 1917-го в «Апокалипсисе нашего времени». – Поразительно, что она разом рассыпалась вся, до подробностей, до частных... Не осталось Царства, не осталось Церкви, не осталось войска... Что же в сущности произошло? Мы все шалили. Мы шалили под солнцем и на земле, не думая, что солнце видит и земля слушает... Бог не захотел более Руси. Он гонит ее из-под солнца».

После кровопролитий революции и ГУЛАГа никто из тех, кто был вовлечен в катастрофу (прежде всего религиозную, а потом уже национальную), не может обвинять других. Русские, которые сами (вольно или невольно) поддерживали коммунистический режим, не могут обвинять в своих бедах евреев или масонов – они должны обратиться

к самоанализу и самопознанию. Это и будет решением вопроса в духе Достоевского: хочешь переделать мир – начни с себя.

В.С. Соловьев, который, в отличие от Достоевского, традиционно считается либералом, юдофилом и космополитом и который полемизировал с автором «Дневника писателя» по поводу «национального самоотречения», после его кончины попытался ответить на главный вопрос: чему служил Достоевский? какая идея вдохновляла его творчество?

Философ свидетельствовал: говоря о России, Достоевский не мог иметь в виду национального обособления. Все значение русского народа он полагал в служении истинному христианству, где нет ни эллина, ни иудея. Достоевский считал Россию избранным народом Божиим, но избранным не для соперничества с другими и не для господства над другими, а для свободного служения всем народам и осуществления вселенской церкви.

Достоевский не идеализировал народ и не поклонялся ему как кумиру. Его радовала способность русских усваивать духовную суть всех наций, ему была дорога такая черта русских, как сознание своей греховности, жажда лучшей жизни и подвига. Он считал, что русский человек способен, как бы низко он ни пал, подняться, если только признает свое дурное за дурное, а не возведет свой грех в закон и правду²⁷.

Достоевский, предвидя, что «национальное» не сотрется в ходе истории, а проявится и станет основополагающей тенденцией цивилизации XX века, нашел истинное место «национальному» на шкале высших ценностей. «Правда выше Некрасова, выше Пушкина, выше народа, выше России, выше всего...» (26: 198) Нравственная программа Достоевского, в рамках которой Россия скажет миру свое новое, здоровое и еще не слыханное миром слово, несмотря на все ужасы минувшего столетия, неотменима: усвоить здравый взгляд на свою историю, понять свой национальный интерес как часть общечеловеческих задач, вызвать у основной массы народа сочувствие всему человеческому вне различий национальности, крови и почвы.

Несомненно, эта программа может принести пользу дискуссиям о национальном характере, об исторической памяти, о базовых ценностях народа, о традициях российской цивилизации – о том, что отличает один народ от другого, что является смыслом его жизни, основой самоидентификации и без чего народ перестает существовать. Эта программа тем более актуальна, что русский народ, как свидетельствуют демографы, после столетия российских революций деградирует и вымирает.

Для решения сверхзадач по самосохранению и возрождению от народа вновь требуется, вероятно, сверхусилие, на которое русские, в силу своего национального характера, обычно бывают способны в погранич-

ной ситуации и при наличии сверхидеала (общей идеи). Глобальный проект национального возрождения, отвечающий историческим вызовам нового века, именно в силу его «всечеловечности», коснется всех народов России, ибо жизненные интересы русских как народа, образующего государство, совпадают с жизненными интересами всех народов России. Русское национальное возрождение, понятое в духе Достоевского, не только не несет никакой опасности другим народам страны, но является необходимым условием их процветания.

Русская идея тоталитарного образца (Достоевский бы сказал: «русская идея, вытасченная на улицу») – это притязание идеологии дать однозначные ответы на все вопросы человеческого бытия, и не только дать, но и навязать эти решения насильственно. Разница между ними такая же, как между любовью и проституцией. Виновата ли любовь, что жаждущий ее слабый человек идет на улицу и находит проституцию?

Достоевский показал нам ситуацию, когда один Карамазов научил, а другой Карамазов убил. Теперь мы, недостойные ученики гения, пользуемся его образами и фантазиями как дубинкой и направляем ее в неистовстве полемики против своего учителя.

Но об отсутствии малейшего тоталитарного налета и продажного пропагандистского смысла свидетельствуют слова Достоевского из его «Пушкинской речи». «Стать настоящим русским, стать вполне русским, может быть, и значит только... стать братом всех людей, *всечеловеком*... Ко всемирному, ко всечеловечески-братскому единению сердце русское, может быть, из всех народов наиболее предназначено» (26: 147–148).

Примечания

- ¹ Пятковский А.П. Из истории нашего литературного и общественного развития. СПб., 1889. С. 151.
- ² Гоголь Н.В. Споры. Из письма к Л. // Н.В. Гоголь. Духовная проза. М.: Русская книга, 1992. С. 90–91.
- ³ Цит. по: Ворopaев В.А. «Монастырь наш – Россия» // Там же. С. 20–21.
- ⁴ Белинский В.Г. Полн. собр. соч.: В 13 т. М.: АН СССР, 1953–1959. Т. 10. 1955. С. 212.
- ⁵ Там же. С. 214–215.
- ⁶ См.: Лосев А.Ф. Владимир Соловьев и его время. М.: Прогресс, 1990. С. 515.
- ⁷ Там же. С. 514.
- ⁸ Там же. С. 80.
- ⁹ Там же. С. 72.
- ¹⁰ Соловьев Вл. Русская идея / Пер. с франц. Г.А. Рачинского. М., 1911. С. 51.
- ¹¹ См.: Лосев А.Ф. Владимир Соловьев и его время. С. 589–590, 597.

- ¹² *Соловьев В.С.* Национальный вопрос в России. Вып. первый. 1883–1888 // Соловьев В.С. Литературная критика. М.: Современник, 1990. С. 292.
- ¹³ Там же. С. 296.
- ¹⁴ Здесь использованы некоторые положения и выводы, изложенные в итоговом докладе департамента политических проблем фонда «Реформа». См.: «Русский фактор» в российской политике. Патриотизм и эволюция постсоветской власти // НГ-сценарии. 2000. 14 июня.
- ¹⁵ «Ныне на повестку дня встало создание русского национального государства, – пишет главный редактор «Национальной газеты» А.Н. Севастьянов. – Основным препятствием для него остается пока недостаточное развитие русского национального самосознания и рудименты сознания имперского. Такова, в частности, инерция советского менталитета, таковы последствия коминтерновского воспитания в течение многих десятилетий... Русское национальное государство – осознанная необходимость наших дней. Значит, завтра оно станет реальностью» (НГ-сценарии. 2000. 9 февр.).
- ¹⁶ *Заикин С.П.* Национальная идея в России // Логос. Санкт-Петербургские чтения по философии культуры. Кн. 2. Российский духовный опыт. СПб., 1992. С. 37.
- ¹⁷ Слово. Киев. 1918. № 13.
- ¹⁸ *Померанц Г.* Открытость бездне. Встречи с Достоевским. М., 1990. С. 256–257.
- ¹⁹ *Оболенская С.В.* Русские и европейцы. Поиски русской национальной идентичности у Достоевского // Одиссей. Человек в истории. М.: Наука, 1998. С. 300.
- ²⁰ Там же. С. 294.
- ²¹ См., например: «Особо разрушительное воздействие (на церковь. – Л.С.) оказала идеология почвенничества, а самый большой вред делу православия у нас причинили Владимир Соловьев, Федор Достоевский и та плеяда русских мыслителей, которые в настоящее время являются кумирами современной русской интеллигенции» (Православие и российская реформа // Свободное слово. Интеллектуальная хроника. М., 1997. С. 183).
- ²² Нужна ли России новая идеология, и если нужна – то какая? // Там же. С. 207.
- ²³ См.: *Левин И.* Освенцим: Как это могло, а потому может опять случиться? // Богословие после Освенцима и ГУЛАГа. Материалы международной научной конференции. СПб., 1997. С. 39.
- ²⁴ См. об этом: *Беневич Григорий.* «Теология после Освенцима» – православная точка зрения // Там же. С. 100; *Лёзов С.* Национальная идея и христианство // Октябрь. 1990. № 10; *Чайковский Михал, ксендз.* Грех антисемитизма // Русская идея и евреи. Роковой спор: Сб. статей. М.: Наука. 1994. С. 127.
- ²⁵ *Штёр М.* Богословие после Освенцима и ГУЛАГа // Богословие после Освенцима и ГУЛАГа. С. 68.
- ²⁶ *Митрофанов Георгий, свящ.* Церковный геноцид в большевистской России: его истоки и его христианское осмысление // Там же. С. 122.
- ²⁷ *Соловьев В.С.* Три речи в память Достоевского // О Достоевском. Творчество Достоевского в русской мысли 1881–1931 годов. М., 1990. С. 43.

«Не мечем, а духом...» Максимы о войне и мире

В любом *общем* рассуждении о Достоевском присутствуют, как правило, два обязательных положения.

Первое. В чтении Достоевского нуждаются все, кто стремится понять то бедственное положение, в котором оказалось современное человечество.

Второе. Политическая «доктрина» Достоевского, вычленяемая, с одной стороны, из его художественных произведений, а с другой стороны, из его публицистики, обнаруживает существенные противоречия.

Своеобразие каждой новой точки зрения зависит обычно от мотивов и намерений как-то объяснить и идейные парадоксы Достоевского, и феномены его духовного учительства.

Но как? Время гонений на Достоевского осталось далеко позади: у себя на родине он издан, признан и прославлен, и сейчас только ленивый не цитирует Достоевского по любому поводу, а главное, в стремлении придать собственным построениям, зачастую именно политическим, глубину и убедительность. (Я опускаю все те многочисленные случаи, когда Достоевскому приписывают различного рода собственные спекуляции.) Авторитетом Достоевского пользуются и когда нужно похвалить себя за «всемирную отзывчивость», и когда требуются доказательства своей национальной исключительности, и когда речь заходит о неистребимой вере в народ-богоносец, и когда очень хочется подчеркнуть, что он (народ) – дитя неверия и сомнения (впрочем, как и сам писатель).

Однако, выдернутые из контекста и спекулятивно утилизированные, эти положения теряют всякую связь с первоисточником – ими можно прикрываться, жонглировать, но к пониманию Достоевского такие манипуляции никого еще не приблизили.

Можно ли дать объективное определение политической философии Достоевского? Как применял писатель свою философию к поли-

тическим спорам эпохи? Кто сегодня разделяет с Достоевским его политические взгляды?

Несомненно, самый трудный из этих вопросов – первый. И даже не трудный – тупиковый: ведь для того чтобы суждение о политической философии («доктрине», как любят писать западные исследователи) Достоевского могло претендовать на объективность, нужно, как минимум, рассмотреть философию каждого в отдельности из его героев-философов, понять «движение замысла» писателя в отношении героев этого типа, обозначить, хотя бы схематично, пункты солидарности автора и героя и дистанцию (историческую, культурную, интеллектуальную) между ними, иметь надежные способы выявления авторской позиции – с филологическим анализом текстов, с привлечением публицистики и писем. Но и тогда итоговое суждение, полученное в результате «исследовательского» прочтения Достоевского, вряд ли сможет оформиться в виде завершенной, окончательной и тем более объективной дефиниции – на нем неминуемо отразятся умонастроения и субъективный опыт читателя.

Однако дело не только в необъятности мира Достоевского. Дело в принципиальной *незавершенности, открытости* этого мира, многозначности и разномерности населяющих его личностей. В неповторимом синтезе искусства Достоевского, объединившем в человеке из плоти и крови самое конкретное и самое всеобще-категориальное. Самые высокие философские идеи и самые низкие политические истины так глубоко переплетены с обыденностью бытия, так погружены в эмоции и страсти, что человек вынужден ежечасно, ежеминутно подтверждать или опровергать эти идеи и эти истины своей жизнью.

Хочу сослаться на свою давнюю полемику с проф. Джеком Ф. Мэтлоком, доктором философии и послом США в СССР (1987–1991)¹. Уважаемый славист, выводя политическую доктрину из художественных произведений Достоевского, писал об «*окончательных взглядах*» писателя в «Поэме о Великом инквизиторе» на том основании, что «Поэма» – фрагмент романа, оказавшегося последним. Но можно ли не принимать в расчет тот факт, что «философская поэма» – это прежде всего «сочинение» Ивана Карамазова, вынесенное на суд Алеши, и что она, «Поэма», глубинно связана с судьбой обоих братьев и с персональной виной каждого из них за отцеубийство? и с другой стороны – что «Поэма» в своих фундаментальных положениях восходит к теории Шигалева, а вместе они как раз и образуют тот философско-политический монстр, против которого и было направлено перо Достоевского – художника, мыслителя, публициста?

И наконец, в истолковании политической философии Достоевского можно ли не учитывать той очевидности, что писатель, подобно

многим великим художникам, умел не подчиняться собственной философской логике, давая оппонентам аргументы неотразимой силы и подвергая самым суровым испытаниям идеи союзников? (Высказывались даже суждения, что доводы Великого инквизитора слишком сильны, чтобы не соответствовать взглядам самого Достоевского.)

Проф. Мэтлок понимает точку зрения Подпольного парадоксалиста как в скрытом виде и точку зрения «самого Достоевского». Почему? Потому что Подпольный предвосхищает многие из тех идей, которые подробно развиты писателем в поздних романах? Но ведь эти идеи развивают персонажи, а не автор. Вообще отождествление и рискованное сближение Достоевского с его героями – давняя болезнь литературоведения: писателю приписывали не только идеи его персонажей, но и разнообразные их поступки, вплоть до преступных.

Самый уязвимый пункт подобных подходов – в предпосылке: предъявить счет Достоевскому за его высказывания от первого лица на основании их несоответствия политической философии, вычлененной из художественных произведений. Хорошо известно, что Достоевский проявлял напряженный интерес к внутренней и международной политике России, внимательно следил за событиями в Европе и часто высказывался по актуальным политическим вопросам. Его взгляды на многие политические проблемы, стоявшие перед его современниками, известны «из первых рук» и «от первого лица». Достоевский до сих пор остается одним из самых актуальных классиков русской литературы, и не только как великий романист, но и как выдающейся философ-публицист, одним из первых в русской культуре поставивший важнейшие вопросы национального бытия. Своеобразие исторического пути России, всемирное значение русской культуры, двойственность и противоречивость русской души, нравственное и духовное здоровье общества, Россия и Европа, Россия и славянство, место России в мире, проблема будущих революций и мировых войн, непонимание интеллигенции своей страны и русского народа – это лишь некоторые темы его публицистики.

В стране давно сложилась традиция считать главные сочинения Достоевского не просто великой литературой. Они воспринимаются как «национальное священное писание», а их автор как «национальный пророк». В том смысле, что он с наибольшей полнотой и ясностью выразил в своих творениях сущность русского самосознания. Убедительный показатель этого факта – бурные, незатихающие споры вокруг поднятых Достоевским проблем. Приведу одно из недавних (2004) высказываний А.Б. Чубайса, «отца приватизации», газете «Financial Times»: «Вы знаете, я перечитывал Достоевского в последние три месяца. И я испытываю почти физическую ненависть к этому человеку. Он,

безусловно, гений, но его представление о русских как об избранном, святом народе, его культ страдания и тот ложный выбор, который он предлагает, вызывают у меня желание разорвать его на куски»².

Позже главный приватизатор так прокомментировал это свое мнение. «Я считаю, что в российской истории немного людей, нанесших такого масштаба глубинный мировоззренческий вред стране, как Достоевский. Для меня сущность Достоевского выражается в одной фразе князя Мышкина: “Да он же хуже атеиста, он же католик!” Абсолютная нетерпимость к другим мировоззрениям, к другим конфессиям (в том числе исповедуемым русскими), к другим народам (в том числе проживающим в России), отталкивающая Россию от мира, замыкающая ее в саму себя. Все это традиционно прикрываемое словами о гуманизме и патриотизме, по сути, братоубийственная и человеконенавистническая концепция»³. (Для сравнения приведу еще одно суждение А.Б. Чубайса (2000) – о Солженицыне. «Ненависти такого накала к современной России, как у А.И. Солженицына, я давно не видел даже у Г.А. Зюганова. Масштабы этой ненависти таковы, что она просто самоуничтожающа... Я знаю, что искренняя позиция Солженицына – это глубокое убеждение в том, что результаты приватизации нужно отменить. Поразительно, как логика, основанная на внешне понятных этических ценностях, может завести умного человека на позиции абсолютно человеконенавистнические. Любой, кто знает историю России, прекрасно понимает, к чему приведет пересмотр приватизации»⁴.)

Понятно, почему высокомерная откровенность Чубайса вызвала в печати шквал гнева и негодования, спровоцировала большую волну подзабытых со времен ваучерной приватизации возмущенных народных чувств.

Люди взволнованно, сердито говорили:

«Выбор между мировоззрением Достоевского и взглядами Чубайса – это выбор между совестью и бесчестьем. Между полнотою и опустошенностью. Между чистотою и скверной. Если угодно – между добром и злом, жизнью и смертью. Богом и Его отсутствием».

«Оставим на совести Чубайса приписываемые Достоевскому мысли об “избранном народе”. Он с кем-то (с кем – догадались?) намеренно перепутал и народ, и Достоевского... и о “святом народе” Федор Михайлович не говорил. Хотя народ свой Федор Михайлович действительно любил, но видел в нем и хорошее, и плохое. А если отбросить эти очевидные выдумки Чубайса, то оказывается, что ненавидит он Достоевского за его любовь к русскому народу... Кому-то непонятно, что за ненавистью Чубайса к Достоевскому стоит ненависть к народу русскому? Ведь нельзя абсурдно ненавидеть человека лишь за то, что он любит свой народ. Другое дело, когда человек любит ненавидимый

тобой народ. Ненависть дикая, генетическая, захватившая все существо “Великого Реформатора”, ставшая его идеей фикс... Может, поэтому и потерял русский народ за время реформ Чубайса уже 12 миллионов человек?!»

«Может, Анатолий Борисович возненавидел Федора Михайловича за предсказание про грядущих бесов? Такое случается: большевики, например, тоже когда-то хотели Достоевского на куски порвать».

Читатели, доискиваясь до сути, порой были несправедливы и передегивали факты. «Анатолий Борисович сказал, что перечитал всего Достоевского за три месяца. То есть по 10 томов в месяц гнал. А тут еще работа в качестве главы РАО “ЕЭС”, то да се. Вот от перенапряжения и возненавидел».

«Мы, как и в 20-е годы прошлого века, являемся свидетелями присутствия среди нас прямых хулителей России. Эти враги исторической России распространяют свои злобные бациллы среди неопытной студенческой молодежи. Вербуют сторонников дальнейшего развала страны. К сожалению, эти люди пока “встроены” в нашу жизнь. Чубайс ненавидит православие Достоевского, а с ним и всю нашу тысячелетнюю христианскую Россию. Что он ненавидит? То, что нам любо, а именно православие с его идеей жертвенного служения Богу и ближнему. Чубайс и компания хотят видеть в русском безбожника, такого же “общечеловека”, которому наплевать на свою мать, Родину, веру. Достоевский же призывал нас хранить собственные святыни и не превращаться в равнодушную “международную обшмыгу”. Ясно, что Пушкина и Достоевского эти новые революционеры чубайсята будут “списывать с корабля современности”, как и их предшественники – комиссары 20-х годов. Думаю, что и на этот раз устоит Правда, за которой четко просматриваются силуэты наших величайших гениев. А Чубайса ждет глубокое разочарование, какое уже постигло его прямого предшественника, ненавистника России Троцкого».

2

Представление о Достоевском как об узком шовинисте, империалисте и ура-патриоте, о писателе, предложившем стране и народу ложные пути, было распространено среди интеллектуалов либерального толка (как отечественных, так и западных), но и по сей день вызывает бурные, неординарные чувства. К «опасной политической доктрине» Достоевского принято относить некоторые его повторяющиеся высказывания, которые шокировали современников и продолжают волновать потомков. Одни из них уже ушли в прошлое, другие продолжают оставаться

в центре общественного внимания. Самый спорный комплекс идей составляют высказывания Достоевского на темы войны и мира. Вот как описывает их (разумеется, не разделяя точки зрения русского писателя) проф. Мэтлок: «Достоевский был яростным сторонником войны с Турцией за освобождение южных славян и овладение Константинополем. После балканских событий 1875 года Достоевский упорно настаивал на необходимости русского военного вмешательства и, когда в 1877 году Россия наконец объявила войну Турции, с восторгом откликнулся на это известие... Он был способен говорить о благах войны в терминах, напоминающих скорее этику национал-социализма, чем христианскую любовь... Когда Достоевский рассуждает о текущей политике, он рассуждает как откровенный русский шовинист, не лишенный противоречий и колебаний, но все-таки шовинист, и его любовь к России весьма часто выражается в кричащем ура-патриотизме»⁵.

Однако стоит присмотреться к «милитаристским» взглядам Достоевского повнимательнее.

«Теперь почти в каждые десять лет изменяется оружие, даже чаще. Лет через пятнадцать, может, будут стрелять уже не ружьями, а какой-нибудь молнией, какую-нибудь всежигающею электрическою струею из машины. Скажите, что можем мы изобрести в этом роде, с тем чтобы приберечь в виде сюрприза для наших соседей? Что, если лет через пятнадцать у каждой великой державы будет заведено, потаенно и про запас, по одному такому сюрпризу на всякий случай?» (21: 92).

Трудно поверить, что эти слова высказаны сто тридцать пять лет назад, задолго до изобретения лазера («всежигающей струи из машины»), за многие десятилетия до наступления эры, беспрецедентной в мировой истории, – эры смертоносной гонки вооружений, угрожающей самому существованию рода человеческого («сюрпризы на всякий случай»).

Между тем – это Достоевский, «Дневник писателя за 1873 г.». Он полагал, что Россия не вытянет такое соревнование. «Увы, мы можем только перенимать и покупать оружие у других, и много-много что сумеем починить его сами. Чтобы изобретать такие машины, нужна наука самостоятельная, а не покупная; своя, а не выписная; укоренившаяся и свободная. У нас такой науки еще не имеется; да и покупной даже нет. Возьмите опять наши железные дороги, сообразите наши пространства и нашу бедность; сравните наши капиталы с капиталами других великих держав и смекните: во что нам наша дорожная сеть, необходимая нам как великой державе, обойдется? и заметьте: там у них эти сети устроились давно и устраивались постепенно, а нам приходится догонять и спешить; там концы маленькие, а у нас сплошь вроде тихоокеанских. Мы уже и теперь больно чувствуем, во что нам обошлось лишь

начало нашей сети; каким тяжелым отвлечением капиталов в одну сторону ознаменовалось оно, в ущерб хотя бы бедному нашему земледелию и всякой другой промышленности. Тут дело не столько в денежной сумме, сколько в степени усилия нации. Впрочем, конца не будет, если по пунктам высчитывать наши нужды и наше убожество» (21: 92–93).

Ближайшая и отдаленная судьба людей земли, устройство человечества «по новому штату» (14: 213), обретение истины, спасительной для мира, «вековые» и «проклятые» вопросы, всю жизнь мучившие писателя, сейчас актуальны, как еще никогда прежде. Теперь для всех в мире уже «время близко», – писал Ф.М. Достоевский в 1877 году⁶. Сегодня мы учимся по-новому прочитывать завещанное нам, ибо многое из того, что еще век назад казалось утопией, художественным преувеличением, красным словцом, а иногда и просто бредом, требует буквального понимания. Достоевский, человек XIX века, с трудом воспринимал уже существовавшую в его время мысль, будто «будут открыты такие орудия истребления, что нельзя будет воевать»⁷.

Странно выглядели и предложения, о которых размышлял писатель: «Да и какая комическая мысль, если б было государство с разоружением и проч., где армия мечтала бы о “мечи на орала”, где начальство мечтало бы о разоружении» (24: 176).

Задумываясь о решениях проблем общечеловеческой значимости, Достоевский говорил: «Можно ли достигнуть этого оружием? и как сметь сказать заранее, прежде опыта, что в этом спасение? и это рискуя всем человечеством» (20: 172).

Теперь мы знаем, что «опыты» при помощи оружия действительно сопряжены со смертельным риском для человечества. С напряженным вниманием следит писатель в 1860-е годы за сенсационными сообщениями прессы об изобретении и изготовлении новых видов оружия – бездымного пороха в Америке, новой системы прусских пушек – и понимает, что эта слепая сила способна сыграть роковую роль в перекройке земного шара (20: 171, 377).

Сегодня высказывания такого рода, в сущности, не требуют историко-литературного комментария; в свете опыта закончившегося столетия, в контексте событий современности опасения Достоевского более чем понятны.

О предостерегающем слове Достоевского написано в наши дни немало. Стало уже аксиомой представление, что художественный мир писателя, который «весь борьба», – это мир осуждения и безоговорочного неприятия насилия. Убийство Раскольниковым старухи-процентщицы во имя идеи и в оправдание «крови по совести» обернулось мировой, все-ленской трагедией: на страницах «Братьев Карамазовых», а еще прежде в «Записных тетрадях» к «Дневнику писателя» 1875–1876 гг. Достоев-

ский провозгласил свое кредо: «В идеале общественная совесть должна сказать: пусть погибнем мы все, если спасение наше зависит лишь от замученного ребенка, – и не принять этого спасенья. Этого нельзя, но высшая справедливость должна быть *та*. Логика событий действительных, текущих, злоба дня не та, что высшей идеально-отвлеченной справедливости, хотя эта идеальная справедливость и есть всегда и везде единственное *начало жизни, дух жизни, жизнь жизни*» (24: 137).

Достоевский не верит и всеми силами протестует против иезуитской арифметики. «Смотри: с одной стороны, глупая, бессмысленная, ничтожная, злая, больная старушонка, никому не нужная и, напротив, всем вредная, которая сама не знает, для чего живет, и которая завтра же сама собой умрет. <...> с другой стороны, молодые, свежие силы, пропадающие даром без поддержки, и это тысячами, и это всюду! Сто, тысячу добрых дел и начинаний, которые можно устроить и поправить на старухины деньги, обреченные в монастырь! Сотни, тысячи, может быть, существований, направленных на дорогу; десятки семейств, спасенных от нищеты, от разложения, от гибели, от разврата, от венерических больниц, – и все это на ее деньги. Убей ее и возьми ее деньги, с тем чтобы с их помощью посвятить потом себя на служение всему человечеству и общему делу: как ты думаешь, не загладится ли одно, крошечное преступленье тысячами добрых дел? За одну жизнь – тысячи жизней, спасенных от гниения и разложения. Одна смерть и сто жизней взамен – да ведь тут арифметика! Да и что значит на общих весах жизнь этой чахоточной, глупой и злой старушонки? Не более как жизнь вши, таракана, да и того не стоит, потому что старушонка вредна. Она чужую жизнь заедает: она намереди Лизавете палец со зла укусила; чуть-чуть не отрезали!» (6: 54)

«Одна смерть и сто жизней взамен» – такая арифметика влечет смерть миллионов.

Картина самоубийства человечества художественно пережита писателем; с потрясающей силой предстает она в снах Раскольникова. «Ему грезилось в болезни, будто весь мир осужден в жертву какой-то страшной, неслыханной и невиданной моровой язвы, идущей из глубины Азии на Европу. Все должны были погибнуть, кроме некоторых, весьма немногих, избранных. Появились какие-то новые трихины, существа микроскопические, вселявшиеся в тела людей. Но эти существа были духи, одаренные умом и волей. Люди, принявшие их в себя, становились тотчас же бесноватыми и сумасшедшими. Но никогда, никогда люди не считали себя так умными и непоколебимыми в истине, как считали зараженные. Никогда не считали непоколебимее своих приговоров, своих научных выводов, своих нравственных убеждений и верований. Целые селения, целые города и народы заражались и сумасше-

ствовали. Все были в тревоге и не понимали друг друга, всякий думал, что в нем в одном и заключается истина, и мучился, глядя на других, бил себя в грудь, плакал и ломал себе руки. Не знали, кого и как судить, не могли согласиться, что считать злом, что добром. Не знали, кого обвинять, кого оправдывать. Люди убивали друг друга в какой-то бессмысленной злобе. Собирались друг на друга целыми армиями, но армии, уже в походе, вдруг начинали сами терзать себя, ряды расстраивались, воины бросались друг на друга, кололись и резались, кусали и ели друг друга. В городах целый день били в набат: созывали всех, но кто и для чего зовет, никто не знал того, а все были в тревоге. Оставили самые обыкновенные ремесла, потому что всякий предлагал свои мысли, свои поправки, и не могли согласиться; остановилось земледелие. Кое-где люди сбегались в кучи, соглашались вместе на что-нибудь, клялись не расставаться, – но тотчас же начинали что-нибудь совершенно другое, чем сейчас же сами предполагали, начинали обвинять друг друга, дрались и резались. Начались пожары, начался голод. Все и всё погибало. Язва росла и подвигалась дальше и дальше. Спасть во всем мире могли только несколько человек, это были чистые и избранные, предназначенные начать новый род людей и новую жизнь, обновить и очистить землю, но никто и нигде не видал этих людей, никто не слышал их слова и голоса» (6: 419–420).

3

Хорошо известно, что выпускник военно-инженерного учебного заведения Федор Достоевский, мечтавший о литературе, поэзии, театре, тяготился офицерскими классами. «Скорее на свободу! Свобода и призвание – дело великое. Мне снится и грезится оно опять, как не помню когда-то. Как-то расширяется душа, чтобы понять великость жизни» (28, кн. 1: 78), – пишет он в 1841 году. Навязанная волею отца военная карьера окончилась в самом начале: чуть ли не тотчас по зачислении в Санкт-Петербургскую инженерную команду Достоевский вышел в отставку. Насильно же – после четырехлетней каторги – был он определен в солдаты; и опять-таки при первой возможности и по многочисленным ходатайствам вернулся к штатской жизни.

Не пришлось Достоевскому и принять участие ни в одной из войн, бывших на его веку: во время Крымской – он отбывал солдатчину в далеком Семипалатинске, франко-прусская застала его в Дрездене, глубоко германском тылу, к моменту русско-турецкой писатель был уже далеко не молод. Встречу со смертью пережил он не на поле боя, а перед эшафотом – до исполнения смертного приговора оставалось всего

десять минут. Да и тяжелая болезнь в любой момент грозила оборвать жизнь.

Можно думать, что художническая честность не позволила Достоевскому писать о военных событиях, сражениях, о поведении человека в условиях и ситуациях войны, ибо писатель не соприкоснулся с этой стороной действительности. Так или иначе тематика и проблематика войны художественно не освоены Достоевским даже в историческом аспекте, хотя в случае необходимости писателю было бы на что опереться – в русской литературе XIX века сложилась мощная и сильная традиция батальных изображений («Полтава», «Бородино», «Севастопольские рассказы»).

Война не вписывается в поэтику Достоевского; его романы – о другом.

«Страну знобит, а омский каторжанин / Все понял и на всем поставил крест. / Вот он сейчас перемешает все / и сам над первозданным беспорядком, / Как некий дух, взнесется. Полночь бьет. / Перо скрипит, и многие страницы / Семеновским припахивают плацем...» (Анна Ахматова).

Грандиозные сражения, к которым причастны герои Достоевского, происходят не в чистом поле, не у стен осажденных крепостей. Отставной офицер Митенька Карамазов знает, какой войны он солдат.

«Страшно много тайн! Слишком много загадок угнетают на земле человека. Разгадывай как знаешь и вылезай сух из воды. Красота! Перенести я притом не могу, что иной, высший даже сердцем человек и с умом высоким, начинает с идеала Мадонны, а кончает идеалом содомским. Еще страшнее кто уже с идеалом содомским в душе не отрицает и идеала Мадонны, и горит от него сердце его, и воистину, воистину горит, как и в юные беспорочные годы. Нет, широк человек, слишком даже широк, я бы сузил. Черт знает что такое даже, вот что! Что уму представляется позором, то сердцу сплошь красотой. В содоме ли красота? Верь, что в содоме-то она и сидит для огромного большинства людей, – знал ты эту тайну или нет? Ужасно то, что красота есть не только страшная, но и таинственная вещь. Тут дьявол с Богом борется, а поле битвы – сердца людей» (14: 100).

Аустерлиц Андрея Болконского – это исповедь Ставрогина перед старцем Тихоном, это борьба Ивана Карамазова с Чертом, это поединок Великого инквизитора с Христом. Бородино Достоевского – это «Жизнь великого грешника», осуществленное в великом пятикнижии его романов.

Перед интенсивностью межличностных конфликтов, духовных напряжений, сотрясающих мир Достоевского, даже как будто блекнут картины массовых столкновений, физических напряжений войн. Тяго-

ты и ужасы войны отступают на задний план перед ужасом и кошмаром вечных Pro и Contra в сознании познающего себя человека.

И однако тот факт, что Достоевский не пропустил войну через себя как художника, не дал этой теме эстетической обработки (даже и со знаком минус), требует осмысления не только в связи с обстоятельствами личной судьбы писателя. Причины того, что в художественном мире Достоевского ставятся и решаются «проклятые» вопросы в условиях хотя и экстремальных, но не военных, значительно глубже, чем факт личного неучастия писателя в боевых действиях и военных сражениях.

Причины эти – в принципиальном подходе Достоевского к главным, стержневым проблемам миропорядка.

Каковы те силы, которые смогли бы соединить людей в «согласное общество, а не в насильственное» (25: 60)?

И вот ответ, без устали повторяемый писателем и публично, со страниц «Дневника», и в размышлениях «для себя» – в «Записных тетрадях»; «...единственно возможное разрешение вопроса, и именно русское, и не только для русских, но и для всего человечества, – есть постановка вопроса нравственная, то есть христианская» (там же).

Рано или поздно, считает Достоевский, «после рек крови и ста миллионов голов, должны же будут признать ее, ибо в ней только одной и исход» (25: 61). И еще (в записи «для себя»): «Россия, ее назначение. О покорении духом, а не мечем. *NB. Главное.* Прежнее построение Европы искусственно-политическое всё более и более падает перед стремлением к национальным народным построениям и обособлениям (представительница этого построения – Австрия). Построиться иначе – может быть, главная задача 19-го века. Тогда-то и возможны будут правильные международные отношения, и догадаются, может быть, народы, что не следует мешать друг другу и интриговать друг против друга. Потому что каждая нация, живя *для себя*, в то же время, уже тем одним, что для себя живет, – для других живет. (*NB.* Каждая нация принесет свою часть развития в общенародное целое)» (20: 191).

Такой ход мысли рождал глубочайшую, коренную догадку: «Не земля через порядок, а не порядок ли через землю и так как земля с завоеваний, то ненормальные плоды выросли только теперь» (23: 179).

Итак, неблагополучие мира – прямое последствие завоеваний, насилия, этих уродливых плодов старой цивилизации. Насильственное решение больных вопросов не способно наладить порядок на земле и устроить «согласное общество» – такова гуманистическая логика До-

стоевского, вытекающая из художнической мысли писателя, из многочисленных публицистических его выступлений.

Однако тот же «Дневник писателя», подготовительные материалы к нему, письма дают порой как бы очевидные, почти абсурдные нарушения этой логики. Вот всего лишь два эпизода-примера.

1870 год. Начало франко-прусской войны, письмо Достоевского из Дрездена племяннице Сонечке: «Насчет войны с Вами не согласен. Без войны человек деревенеет в комфорте и богатстве и совершенно теряет способность к великодушным мыслям и чувствам и неприметно ожесточается и впадает в варварство. Я говорю про народы в целом. Без страдания и не поймешь счастья. Идеал через страдание переходит, как золото через огонь. Царство небесное усилием достается. Франция слишком очерствела и измельчала. Временная боль ничего не значит: она ее перенесет и воскреснет к новой жизни и к новой мысли. А то ведь всё была старая фраза, с одной стороны, и трусость и телесные наслаждения – с другой. Наполеонова фамилья будет уже невозможна. Эта новая будущая жизнь и преобразование так важны, что страдание, хоть и тяжелое, ничего не значит. Неужели Вы не видите руки Божией? Семидесятилетняя наша русская, европейская – немецкая политика должна тоже будет измениться сама собою. Те же немцы нам откроют наконец, каковы они есть в самом деле. Вообще перемена для Европы будет великая всюду. Каков толчок! Сколько новой жизни повсеместно будет вызвано! Даже наука ведь падала в узком материализме, за отсутствием великодушной мысли. Что значит временное страдание! Вы пишете: “Изранят, убьют, а потом перевязывают и ухаживают”. Вспомните величайшие в мире слова: “Милости хочу, а не жертвы”» (29, кн. 1: 137–138).

И второй эпизод – 1877 год, начало русско-турецкой войны, «Дневник писателя»: «Не всегда война бич, иногда и спасение» (25: 98).

Как же совмещается у Достоевского, убежденного проповедника высшей нравственности, великого христианина и гуманиста два взаимоисключающих тезиса: «Мир спасет красота» и «Иногда и война – спасение»? Не выступает ли порой писатель апологетом насилия, проповедником крестовых походов, как считают иные его интерпретаторы?

Нет ничего проще, чем уличать Достоевского в противоречиях, обличать его «фантастические мысли», утопические идеи. Нет ничего проще, чем воспользоваться старой уловкой и «разделить» Достоевского на гениального художника и слабого, реакционного мыслителя. Но такое разделение если возможно, то только в восприятии критики, «не справляющейся» с Достоевским, привыкшей болезни и противоречия общества относить на счет писателя. Достоевский един и в самых патетических эпизодах своих романов, и на страницах «Дневника писателя»,

в самых уязвимых местах своих политических статей. Именно понимание целостности Достоевского как художника-мыслителя дает возможность осознать всё им написанное не как нагромождение противоречий или ошибок, а как единый идейно-художественный феномен.

Политические статьи Достоевского из «Дневника писателя» неразрывно связаны с глобальной этико-исторической концепцией его публицистики. Содержание, на первый взгляд пестрое, «Дневника писателя» образует единый комплекс взаимообусловленных проблем. Во главе угла всего здания «Дневника» – неприятие писателем обезображенного «лика мира сего» и лика России.

«Матери пьют, дети пьют, церкви пустеют, отцы разбойничают; бронзовую руку у Ивана Сусанина отпилили и в кабак снесли; а в кабак приняли! Спросите лишь одну медицину: какое может родиться поколение от таких пьяниц?» (21: 94) – таковы беды народные.

«Что такое в нынешнем образованном мире равенство? Ревнивое наблюдение друг за другом, чванство и зависть: “Он умен, он Шекспир, он тщеславится своим талантом; унижить его, истребить его”» (25: 62) – таков моральный климат интеллигенции.

«Наступает вполне торжество идей, перед которыми никнут чувства человеколюбия, жажда правды, чувства христианские, национальные и даже народной гордости европейских народов. Наступает, напротив, матерьялизм, слепая, плотоядная жажда *личного* матерьяльного обеспечения, жажда личного накопления денег всеми средствами – вот всё, что признано за высшую цель, за разумное, за свободу, вместо христианской идеи спасения лишь посредством теснейшего нравственного и братского единения людей» (25: 85) – таковы духовные ценности буржуазного миропорядка.

И Достоевский вынужден констатировать: «Человечество так дурно устроено, что не может не *поддерживать* свое дурное зданье мечом» (24: 291). А отсюда – «война лучше теперешнего положения общества» (24: 116), «*война* иногда лучше *мира*» (24: 157), «если общество нездорово и заражено, то даже такое благое дело, как долгий мир, вместо пользы обществу, обращается ему же во вред. Это вообще можно применить даже и ко всей Европе. Недаром же не проходило поколения в истории европейской, с тех пор как мы ее запомним, без войны. Итак, видно, и война необходима для чего-нибудь, целительна, облегчает человечество. Это возмутительно, если подумать отвлеченно, но на практике выходит, кажется, так, и именно потому, что для зараженного организма и такое благое дело, как мир, обращается во вред. Но все-таки полезно оказывается лишь та война, которая предпринята для идеи, для высшего и великодушного принципа, а не для матерьяльного интереса, не для жадного захвата, не из гордого насилия. Такие войны только сби-

вали нации на ложную дорогу и всегда губили их. Не мы, так дети наши увидят, чем кончит Англия. Теперь для всех в мире уже “время близко”. Да и пора» (25: 103).

Апелляция Достоевского к войне – результат последнего, крайнего отчаяния, результат тяжелых сомнений и крушения надежд на «царя-освободителя». «У нас, русских, – писал он в «Дневнике» 1877 года, – есть, конечно, две страшные силы, стоящие всех остальных во всем мире, – это всецелость и духовная нераздельность миллионов народа нашего и теснейшее единение его с монархом» (25: 9). Но Достоевскому, который уповал на единение народа и монарха как на вернейшее средство от внутренних распрей и нечаевщины, принадлежат слова горького и мужественного признания, родившегося, надо думать, не вдруг. «Я, как и Пушкин, – записывает Достоевский в январе 1881 года, за считанные дни до смерти, – слуга царю, потому что дети его, народ его не погнушаются слугой царевым. Еще больше буду слуга ему, когда он действительно поверит, что народ ему дети» (27: 86).

И вот самые сокровенные строки: «Что-то очень уж долго не верит» (там же). Это после двадцати пяти лет правления Александра II и за полтора месяца до роковых событий 1 марта!

5

Понятно, почему как в исход, как в единственное спасение бросается Достоевский-публицист в события русско-турецкой войны, которую считает великой, народной, освободительной, священной – сражением ради великодушной цели освобождения угнетенных, ради бескорыстной и святой идеи.

Буржуазный долгий мир, по мысли Достоевского (и история доказала правоту писателя), «зарождает сам потребность войны, выносит ее сам из себя как жалкое следствие, но уже не из-за великой и справедливой цели, достойной великой нации, а из-за каких-нибудь жалких биржевых интересов, из-за новых рынков, нужных эксплуататорам, из-за приобретения новых рабов, необходимых обладателям золотых мешков» (25: 102).

По поводу таких исторически неизбежных войн, в связи с франко-прусскими баталиями, Достоевский писал по адресу победившей Германии: «Помните текст Евангелия: “Взявший меч и погибнет от меча”. Нет, непрочно мечом составленное! <...> После такого духа, после такой науки – ввериться идее меча, крови, насилия и даже не подозревать, что есть дух и торжество духа, а смеяться над этим с капральскою грубостью!» (29, кн. 1: 176)

Иное дело народная война, война из-за великодушной цели, из-за освобождения угнетенных, ради бескорыстной и святой идеи. «Такая война лишь очищает зараженный воздух от скопившихся миазмов, лечит душу, прогоняет позорную трусость и лень, объявляет и ставит твердую цель, дает и уясняет идею, к осуществлению которой призвана та или другая нация. Такая война укрепляет каждую душу сознанием самопожертвования, а дух всей нации сознанием взаимной солидарности и единения всех членов, составляющих нацию» (25: 102).

Как заклинание, страстно, на сотни ладов, уверяет Достоевский своих читателей (а более всего себя самого) в бескорыстных намерениях России, в великом ее назначении. Россия, горячо верует Достоевский, призвана обновить и спасти старую буржуазную Европу, обреченную на бесконечные войны, Россия скажет «всему миру, всему европейскому человечеству и цивилизации его свое новое, здоровое и еще неслыханное миром слово» (25: 195).

Благая цель войны за освобождение славян от турецкой деспотии, цель, в которую Достоевский жаждет верить, зачаровывает его красотой и благородством, сулит невиданные перемены внутри России, вселяет надежды на объединение всех слоев русских людей под знаменем великой идеи. «Эта неслыханная война, за слабых и угнетенных, для того чтоб дать жизнь и свободу, а не отнять их, – эта давно уже теперь неслыханная в мире цель войны для всех наших верующих явилась вдруг, как факт, торжественно и знаменательно подтверждавший веру их. Это была уже не мечта, не гадание, а действительность, *начавшая совершаться*» (25: 197).

Писатель видит в России Дон Кихота, великого, простодушного и неподкупного рыцаря. «Одну Россию ничем не прельстить на неправый союз, никакой ценой» (25: 49), «Правда как солнце, ее не спрячешь: назначение России станет наконец ясно самым кривым умам, и у нас, и в Европе» (25: 50) – вот его символ веры.

Достоевский не знал и не мог знать всей закулисной стороны событий на Балканах, не обладал всей полнотой информации о видах царского правительства в русско-турецкой войне, однако все ее перипетии – будь то мученическая смерть русского солдата в турецком плену или вопрос о взятии Константинополя – он обсуждает с одной-единственной точки зрения: нравственной.

В самом прямом смысле это относится, считает Достоевский, и к способам ведения войны, ибо выбор оружия – также в компетенции совести. «Бомбардировки Одессы непозволительны. Совершенно те же *башибузуки*. У турок разрывные пули. Непременно будут. Употреблять ли и нам? Нет, стыдно, бесчестно, лучше поплатимся временным страданием, но уж зато обязанность наша тогда человеческая взять гаран-

тии и меры, чтоб уж впредь *не воевала такая страна, как Турция, ни с кем и никогда*, потому что эта страна не понимает: почему воспрещаются разрывные пули» (24: 294).

Поведение России в войне должно было, по твердому убеждению писателя, явить образец нравственного отношения к политике, согласно идеалам народной правды. Модель такой нравственной политики и пытался создавать Достоевский, прекрасно сознавая, сколь далек этот идеал от реальной политики с позиции силы, с грустью называя себя идеалистом, утопистом, мечтателем, давая недвусмысленные заголовки своим статьям: «Примирительная мечта вне науки», «Мечты и грезы».

Отнюдь не все происходящее вписывалось в эту модель. Как честный мыслитель, он не мог этого не ощущать и записал однажды: «Нет, эта война мне не дается» (24: 168). Но его вдохновляла и согревала мысль, что в оценке военных событий он вместе, заодно с народом русским. Никогда не мог Достоевский согласиться с декларацией Бакунина, услышанной им в 1867 году на Конгрессе мира в Женеве: признавая русскую армию основанием императорской власти, русский анархист открыто выражал желание, чтобы она во всякой войне, которую предпримет империя, терпела одни поражения.

Достоевский, осужденный Николаем I на каторгу, претерпевший позорный обряд-спектакль приготовления к смертной казни, возмущался впоследствии отсутствием патриотического чувства. «Мы знаем, например, вот какой факт: то, что в случае – не то что русской беды, а просто больших русских хлопот, – самая нерусская часть России, то есть какой-нибудь либерал – петербургский чиновник или студент, и те русскими становятся, русскими себя начинают чувствовать, хотя и стыдятся признаться в том. Я вон как-то зимою прочел в “Голосе” серьезное признание в передовой статье, что “мы, дескать, радовались в Крымскую кампанию успехам оружия союзников и поражению наших”. Нет, мой либерализм не доходил до этого; я был тогда еще в каторге и не радовался успеху союзников, а вместе с прочими товарищами моими, несчастненькими и солдатами, ощутил себя русским, желал успеха оружию русскому и – хоть и оставался еще тогда всё еще с сильной закваской шелудивого русского либерализма, <...> – но не считал себя нелогичным, ощущая себя русским» (29, кн. 1: 145).

Позже, в исторической ретроспективе, Достоевский расценивал возможную победу в Крымской кампании как «самую страшную беду» для России. «Я убежден, что самая страшная беда сразила бы Россию, если б мы победили, например, в Крымскую кампанию и вообще одержали бы тогда верх над союзниками! Увидав, что мы так сильны, все в Европе восстали бы на нас тогда тотчас же, с фанатической ненавистью. Они подписали бы, конечно, невыгодный для себя мир, если б были побеж-

дены, но никогда никакой мир не мог бы состояться на самом деле. Они тотчас же бы стали готовиться к новой войне, имеющей целью уже истребление России, и, главное, за них стал бы весь свет. 63-й год, например, не обошелся бы нам тогда одним обменом едких дипломатических нот: напротив, осуществился бы всеобщий крестовый поход на Россию. Мало того, этим крестовым походом некоторые европейские правительства непременно поправили бы тогда свои внутренние дела, так что он во всех отношениях был бы им выгоден. Революционные партии и все недовольные тогдашним правительством во Франции, например, немедленно примкнули бы к правительству, ввиду “священной цели” – изгнания России из Европы, и война явилась бы народной. Но нас тогда сберегла судьба, доставив перевес союзникам, а вместе с тем и сохранив всю нашу военную честь и даже еще возвеличив ее, так что поражение еще можно было перенести. Одним словом, поражение мы перенесли, но бремя победы над Европой ни за что бы не перенесли, несмотря на всю нашу живучесть и силу. Нас точно так же спасла уже раз судьба, в начале столетия, когда мы свергли с Европы иго Наполеона I, – спасла именно тем, что дала нам тогда в союзники Пруссию и Австрию. Если б мы тогда одни победили, то Европа, чуть только бы оправилась после Наполеона I, тотчас, и без Наполеона, бросилась бы опять на нас. Но, слава Богу, случилось иначе» (22: 121–122).

Достоевский никогда не принадлежал к тем, кто «боится русских успехов и русских побед» (26: 31)⁸, кто видит «русский прогресс единственно в самооплевании» (там же)⁹. «Самоуважение нам нужно, наконец, а не самооплевание» (там же), – твердил он в тот момент, когда, как казалось ему, появилась у русского общества общая точка для самоуважения.

«Народ верит, что он готов на новый, обновляющий и великий шаг. Это сам народ поднялся на войну, с царем во главе. Когда раздалось царское слово, народ хлынул в церкви, и это по всей земле русской. Когда читали царский манифест, народ крестился, и все *поздравляли* друг друга с войной. Мы это сами видели своими глазами, слышали, и всё это даже здесь в Петербурге. И опять начались те же дела, те же факты, как и в прошлом году: крестьяне в волостях жертвуют по силе своей деньги, подводы, и вдруг эти тысячи людей, как один человек, восклицают: “Да что жертвы, что подводы, мы все пойдем воевать!” Здесь в Петербурге являются жертвователи на раненых и больных воинов, дают суммы по несколько тысяч, а записываются *неизвестными*. Таких фактов множество, будут десятки тысяч подобных фактов, и никого ими не удивишь. Они означают лишь, что весь народ поднялся за истину, за святое дело, что весь народ поднялся на войну и идет» (25: 94). От этих фактов Достоевский пережил подлинное потрясение.

О неразрешимом противоречии «Не убий» и «Убий» Достоевский говорит с горечью, видя непроходимую пропасть между идеалом и действительностью. «Не проходило 25 лет в сложности и не проходило поколения, у какого бы то ни было народа Европы, без войны, и это с тех пор, как запомнит история, так что прогресс и гуманность одно, а какие-то законы – другое. Тем не менее идеал справедлив. Да и сказано самим идеалом, что меч не пройдет и что мир переродится вдруг чудом. Но зато сказано, что вторичное явление идеала будет встречено избранными, лучшими людьми, составу которых будут способствовать и все прежние лучшие люди» (24: 276).

Но кто же они, лучшие люди? И снова записи в «Дневнике».

«Лучшие люди. Где теперь и что такое теперь лучшие люди. Без лучших людей земля не стоит. Чины – пали. Дворянство пало. Все форменные установки лучшего человека – пали. Остались народные идеалы (юридический, простенький, но прямой, простой. Богатырь Илья Муромец, тоже из обиженных, но честный, правдивый, истинный). В обществе хоть и профессор, хоть и ученый, талант, но чтоб честный и истинный. Понятно, что надо бы такому мировоззрению удержаться в народе – единственное наше спасение. Но если будут почитать купцов, мамону. Эти борются, эти хотят осилить народное мировоззрение. “Были бы денежки, были бы *сизжки*”. Огромные народные потрясения, вроде войны, были бы спасительны. Война бывает каждые 25 лет. Не останавливают ее ни развитие, ничего. Значит, нормальное состояние» (24: 269–270).

Писателя и его героя из «Дневника писателя», Парадоксалиста, поражает, что христианство само признает факт войны и пророчествует: «Меч не пройдет до кончины мира» (22: 124)¹⁰. «О, без сомнения, в высшем, в нравственном смысле оно отвергает войны и требует братолюбия. Я сам первый возрадуюсь, когда раскуют мечи на орала¹¹. Но вопрос: когда это может случиться? и стоит ли расковывать теперь мечи на орала? Теперешний мир всегда и везде хуже войны, до того хуже, что даже безнравственно становится под конец его поддерживать: нечего ценить, совсем нечего сохранять, совестно и пошло сохранять. Богатство, грубость наслаждений порождают лень, а лень порождает рабов. Чтоб удержать рабов в рабском состоянии, надо отнять от них свободную волю и возможность просвещения. Ведь вы же не можете не нуждаться в рабе, кто бы вы ни были, даже если вы самый гуманнейший человек? Замечу еще, что в период мира укореняется трусливость и бесчестность. Человек по природе своей страшно склонен к трусливости и бесстыдству и отлично про себя это знает; вот почему, может быть, он так и жаждет войны, и так любит войну: он чувствует в ней лекарство. Война развивает братолюбие и соединяет народы» (22: 124–125).

Ответа на вопрос – когда же люди раскуют мечи свои на орала и копыя свои на серпы? – у писателя не было, и, кроме веры, что «мир переродится *вдруг* чудом» (24: 276), была надежда в «наступающую будущую Россию честных людей, которым нужна лишь одна правда» (25: 57). «Лучшие люди» – один из важнейших пунктов публицистики Достоевского, лейтмотив «Дневника писателя». Этим будущим, чистым сердцем людям писатель внушал: «Самообладание и самоодоление прежде всякого первого шага. Исполни сам на себе прежде, чем других заставлять, – вот в чем вся тайна первого шага» (25: 63).

И сколь ни утопическим выглядело, по мнению самого Достоевского, это «русское решение вопроса» (25: 61), оно было единственным. Именно русским, лучшим русским людям, по глубокому убеждению писателя, предстояло сказать свое слово в «решительных общемировых вопросах»¹², именно они спасут мир в момент грозящей опасности. Именно русские обязаны, проповедовал Достоевский со страниц «Дневника писателя», сказать «величайшее слово всему миру... И это слово именно будет заветом общечеловеческого единения» (25: 20).

Так интерпретировал писатель «тайну первого шага» применительно к делам общечеловеческим. «Спросите народ, спросите солдата: для чего они поднимаются, для чего идут и чего желают в начавшейся войне, – и все скажут вам, как один человек, что идут, чтоб Христу послужить и освободить угнетенных братьев, и ни один из них не думает о захвате» (25: 100). «А если так, – размышляет далее писатель, – то идея наша свята, и война наша вовсе не “вековечный и зверский инстинкт неразумных наций”, а именно первый шаг к достижению того вечного мира, в который мы имеем счастье верить, к достижению *воистину* международного единения и *воистину* человеколюбивого преуспевания! Итак, не всегда надо проповедовать один только мир, и не в мире одном, во что бы то ни стало, спасение, а иногда и в войне оно есть» (25: 100).

Итак, именно русские должны сделать первый шаг к достижению вечного мира. И сам Достоевский, один из «лучших русских», подавал тому пример: всякий раз говоря о войне, он искал, настойчиво и упорно, пути к достижению мира. Поиски правды исторической, межгосударственной приводили его к исходному пункту – к правде нравственной.

Никогда Достоевский не претендовал на роль политического идеолога, его место в жизни русского общества было качественно иным. «Отрезвляющие речи» – так называли первые читатели «Дневника писателя» страстную публицистику Достоевского. Слово Достоевского пробуждало от нравственной спячки, равнодушия, интеллектуального застоя и косности: все, что происходит в мире – на соседней улице или на другом конце планеты, – касается лично каждого.

В «Дневнике писателя», этой своеобразной симфонии о России, все и звучало вместе, оказывалось достойным и равным друг другу – судьба семилетней девочки, дочери изверга-отца, и судьба Европы; Фома Данилов, замученный русский герой, и замученная, доведенная до самоубийства Кроткая; уголовная хроника и международные события. Ко всему, о чем бы ни писал Достоевский, он применял один-единственный критерий – нравственности и правды, этического максимализма. Во все, о чем бы ни говорил Достоевский, он вкладывал высокое духовное напряжение, небывалую в публицистике искренность, исповедальность, безупречную честность.

Никогда не рассчитывал Достоевский своими публицистическими выступлениями угодить кому бы то ни было, непременно подчеркивал независимость своих суждений от любых направлений. Поразительно, что как раз консервативный лагерь, охранительная пресса в течение двух лет (1876–1877) старались не замечать публициста Достоевского. Сторонниками его были одни читатели, те самые нарождающийся русские люди, на которых, собственно, и полагался писатель.

Исследования эпистолярного архива «Дневника писателя» свидетельствуют: никто из читателей Достоевского не благодарил его за отстаивание существующего в России порядка, за поддержку политики царского режима или за проповедь войны. Никто не пишет, что под влиянием выступлений Достоевского он сделался приверженцем самодержавия или апологетом крестовых походов. Читатели благодарили Достоевского за горячую любовь к России и ее народу, за то, как пламенно и совестливо стремится он передать высокие гражданские чувства, как воспитывает собеседника, просвещает и поднимает его.

Читатели не искали в публицистике Достоевского рассудочных политических рецептов, ибо злоба дня рассматривалась в ней с точки зрения нравственного идеала. Это и вводило политические предвидения Достоевского в иную систему координат, ориентироваться в которой было не всегда просто. Проще было назвать Достоевского «плохим мыслителем», фантазером.

Рядом с разделом «Дневника писателя» за 1877 год, который называется «Не всегда война бич, иногда и спасение», находится «Сон смешного человека. Фантастический рассказ». Фантазер и мечтатель Смешной, герой рассказа, исповедуется: «Я видел истину, я видел и знаю, что люди могут быть прекрасны и счастливы, не потеряв способности жить на земле. Я не хочу и не могу верить, чтобы зло было нормальным состоянием людей. А ведь они все только над этой верой-то моей и смеются. Но как мне не веровать: я видел истину, – не то что изобрел умом, а видел, видел, и живой образ ее наполнил душу мою навеки. Я видел ее

в такой восполненной целости, что не могу поверить, чтоб ее не могло быть у людей» (25: 118).

Несомненно, что именно в этом ракурсе, в этих координатах может быть прочитан сегодня *весь* Достоевский.

Примечания

- ¹ См.: Мэтлок Д.Ф. Литература и политика: Федор Достоевский // Вопросы литературы. 1989. № 7. С. 39–60; Сараскина Л.И. В координатах понимания // Там же. С. 60–67.
- ² Financial Times. 2004. 15 нояб.
- ³ Российская газета. 2005. 27 янв.
- ⁴ Интервью Анатолия Чубайса журналу «Коммерсантъ-Власть» (2000. 28 июля).
- ⁵ Мэтлок Д.Ф. Литература и политика: Федор Достоевский // Вопросы литературы. 1989. № 7. С. 49, 51.
- ⁶ См.: «Да, Золотой Рог и Константинополь – всё это будет наше... И, во-первых, это случится само собою, именно потому, что время пришло, а если не пришло еще и теперь, то действительно время близко, все к тому признаки. Это выход естественный, это, так сказать, слово самой природы. Если не случилось этого раньше, то именно потому, что не созрело еще время» (23: 48; 25: 65).
- ⁷ «В коммунизме пойдут один на другого. Без *великой мысли* не живет человечество. Мнение, что будут открыты такие орудия истребления, что нельзя будет воевать. Вздор. В войне не ненавидят, даже любят врага. Не за что ненавидеть. Уважают врага. Сходятся, дружатся. Вовсе не жаждут крови, а прежде всего своею кровью жертвуют. Свою отдают, мир после войны всегда оживляется» (24: 72–73).
- ⁸ См.: «Есть теперь странные недоумения и странные заботы. Положительно есть русские люди, *боящиеся* даже русских успехов и русских побед. Не потому боятся они, что желают зла русским, напротив – они скорбят об всякой русской неудаче сердечно, они хорошие русские, но они боятся и удач, и побед русских, – “потому-де, что явится после победоносной войны самоуверенность, самовосхваление, шовинизм, застой”» (26: 31).
- ⁹ См.: «Россия в Крымскую войну не бессилье свое доказала, а *силу*. Тогда можно было так говорить *для реформ* будущих, но теперь дело иное, и надо сказать правду. Несмотря на *гнилое* состояние вещей, вся Европа не могла нам ничего сделать, несмотря на затраты и долги ее в тысячи миллионов» (24: 272).
- ¹⁰ Имеются в виду слова Евангелия: «Не думайте, что я пришел принести мир на землю; не мир пришел я принести, но меч» (Мф. 10: 34).
- ¹¹ Парадоксалист цитирует библейское предсказание о времени, когда люди «перекуют свои мечи на орала и копыя свои на серпы: не поднимет народ на народ меча, и не будут более учиться воевать» (Ис. 2: 4).
- ¹² См.: «Аксиома. Нам надо всегда знать и помнить, и быть убежденным, что в решительных общемировых вопросах Россия, если пожелает сказать свое слово или провести свое мировоззрение самостоятельно, – всегда встретит против себя всю Европу, без исключения, и что, в *строгом смысле слова*, – у нас в Европе нет и никогда не будет союзников» (24: 270).

Парадоксы патриотического сознания: история и география

Территорию нынешней (вернее, бывшей) Югославии современные историки и политики привычно называют «пороховым погребом», «живой раной Европы». «Балканский фактор», «балканизация» давно стали нарицательными именами для всякого безысходного переплетения национальных интересов. У России есть немалый и горький опыт причастности к решению так называемого Восточного вопроса – русско-турецкая война 1877–1878 годов, ставшая не только источником всех дальнейших осложнений на Балканском полуострове, но и причиной собственных внутренних бед.

Комплекс идей, обозначенных как Восточный вопрос, по давней традиции считается самым уязвимым местом в художественно-публицистическом наследии Достоевского. Многие декларации на эту тему в «Дневнике писателя» всегда воспринимались с большим напряжением и скепсисом, а ныне и вовсе квалифицируются как одиозные. Даже А.И. Солженицын, во многом совпадающий с Достоевским в оценках русской истории, высказался о «всеславянских» мечтах Достоевского (а также об идеях Н.Я. Данилевского) весьма нелицеприятно¹.

Между тем основной корпус идей, связанных с Восточным вопросом, обдумывался и писался Достоевским в определенной политической ситуации – когда особенно остро выявились главные тенденции и главные подводные течения европейской политики. Эти тенденции, воспринятые писателем с чувством негодования и гнева, самым серьезным образом повлияли на его геополитические представления.

В наше время в очередной раз происходит социальное, национальное, политическое переустройство России и Европы. Новая фаза Восточного вопроса не так давно на глазах всего мира решалась с помощью коврового бомбометания. Карта европейского континента перекраивается, рушатся империи, «братские» страны ускоренными темпами ищут себе новых «братьев», территориальные претензии одних стран к другим имеют сильный привкус реванша. В контексте современной политики идеи Достоевского, а также причины, их породившие, и вся история Восточного вопроса, как ее видел Достоевский, приобретают иной, чем прежде, интерес.

Сначала немного истории. В июле 1875 года крестьяне-славяне Герцеговины и Боснии подняли восстание против турецких правителей. На помощь повстанцам пришли многочисленные добровольцы из Сербии и Черногории. Когда в освободительную борьбу включились болгары, по всей Турецкой империи начались погромы славянского населения.

Осенью 1876 года Александр II решил, что он как русский царь и христианин не потерпит больше тех жестокостей и зверств, которым подвергаются славяне-повстанцы. До этого момента политическое поведение России в большом Восточном кризисе отличалось некоторой двойственностью. С одной стороны, русский государь и его канцлер князь Горчаков совместно с австрийским и германским правительствами изыскивали дипломатические средства к восстановлению мира. С другой – из России в Сербию, Черногорию и другие восставшие области посылались люди, оружие, амуниция. Было передано более двадцати миллионов рублей, на фронт рвались русские добровольцы, одному из своих генералов, Михаилу Черняеву, Александр II разрешил перейти на сербскую службу.

И хотя Александр II сочувствовал нарастанию в России патриотического чувства (вся помощь исходила от частных лиц, славянофильских кружков, общественных подписок), он поначалу искренне желал избежать войны. Армия находилась в разгаре преобразований, посреди затянувшейся на десятилетия военной реформы; союзники были ненадежны, генералитет не внушал доверия. Однако тщетность всех попыток добиться примирения, хитрость и упорство Турции, открыто попиравшей усилия европейской дипломатии, российское общественное мнение, переживавшее поражение сербов как свое национальное поражение, – все это постепенно склонило царя к военному вмешательству. В Ливадии в беседе с английским дипломатом лордом Лофтусом Александр II заявил, что его терпение истощилось, что он больше не позволит водить себя за нос, что Россия не согласна сносить непрерывные оскорбления со стороны Порты. Он не хотел бы отколоться от европейского концерта, но если Европа не расположена действовать решительно и настойчиво, то он вынужден будет действовать единолично.

11 ноября 1876 года о переменах в русской политике на Балканах было заявлено всему миру. На приеме «Московского дворянства и городского общества» в Кремле Александр II произнес речь, в которой содержались слова: «Я знаю, что вся Россия, вместе со мною, принимает живейшее участие в страданиях наших братьев по вере и происхождению». «Да поможет нам Бог выполнить наше святое дело!» – таким восклицанием заключил царь свое выступление, которое справедливо

было расценено как предвестие войны; в ответ на царское слово дворянство и купечество многих городов и губерний России ответило адресами, где выражалась готовность прийти на помощь братьям-славянам по первому призыву государя.

Известны разные логики отношения к войне, которую ведет или в которой участвует государство-отечество. Логика победы любой ценой. Логика поражения. Ура-патриотическая логика. Логика романтизма и волонтерства. Логика пацифизма. Логика империализма. Логика необходимой справедливой битвы во имя спасение от недруга. Оборонное сознание. Экспансионистское сознание. Оккупационное сознание. Желание быть завоеванным «умной нацией» (пресловутая смердяковщина). России и Европе семидесятых годов XIX столетия была хорошо знакома декларация революционера-анархиста М. Бакунина, провозглашенная им в 1867 году на Конгрессе мира в Женеве: «Признавая русскую армию основанием императорской власти, я открыто выражаю желанию, чтобы она во всякой войне, которую предпримет империя, терпела одни поражения»².

Когда Россия объявила наконец войну Турции, общее настроение внутри страны было отнюдь не пораженческим. «Высочайший манифест о вступлении российских войск в пределы Турции, данный в Килисии 12 апреля 1877 года», давно ожидаемый, был встречен с огромным энтузиазмом. Свидетель тех событий, Ф.М. Достоевский писал об этом (и мы уже цитировали это место) две недели спустя, в апрельском выпуске «Дневника писателя».

Вспоминала об этом знаменательном дне и А.Г. Достоевская. «Прочитав Манифест, Федор Михайлович велел извозчику везти нас к Казанскому собору. В соборе было немало народу, и служили непрерывные молебны перед иконой Казанской Божьей матери. Федор Михайлович тотчас скрылся в толпе. Зная, что в иные торжественные минуты он любит молиться в тиши, без свидетелей, я не пошла за ним и только полчаса спустя отыскала его в уголке собора, до того погруженного в молитвенное и умиленное настроение, что в первое мгновение он меня не признал. О поездке в банк (куда супруги Достоевские направлялись. – Л.С.) не могло быть и речи, так сильно был потрясен Федор Михайлович происшедшим событием и его великими последствиями для столь любимой им родины. Манифест муж мой отложил в число своих важных бумаг, и он находится в его архиве»³.

Патриотическая пресса подчеркивала благородство и бескорыстие целей этой войны, которые сулят невиданные перемены внутри России, вселяют надежду на объединение всех слоев русских людей под знаменем великой идеи освобождения славян. Иван Аксаков, председатель Московского славянского благотворительного комитета, на заседании,

состоявшемся после обнародования Манифеста, провозгласил: «Эта война духу России потребна... Эта война за освобождение порабощенных и угнетенных славянских братьев; это война праведная, это война подвиг, святой и великий... Но потому именно, что подвиг так возвышен и свят, для совершения его нужны чистые руки и чистое сердце»⁴.

Загвоздка, однако, как раз и заключалась в наличии «чистых рук». Романтики славянской идеи, к которым принадлежал и Достоевский, вдохновлялись нравственным, освободительным аспектом войны. «Эта неслыханная война, за слабых и угнетенных, для того чтоб дать жизнь и свободу, а не отнять их», – писал он в летнем выпуске «Дневника писателя» (июль–август 1877; 25: 197). Официальная позиция России давала для романтического отношения к войне с Портой все основания. «Мы не должны присоединять к русской империи никакой части из континентальных владений оттоманов в Европе, – разъяснялось правительственной печатью. – Это наш моральный долг». Еще до начала военных действий Россия обещала отказаться (в случае успешного хода войны) от каких бы то ни было территориальных притязаний. Между тем освобождение балканских народов от турецкого ига ценой русской крови воспринималось извне как не столь уж бескорыстное – со времен Петра I Россия стремилась утвердиться в Константинополе, добиться выходов в открытое море через проливы и увеличить свои южные владения. (Позже антирусски настроенные историки будут выражаться примерно так: осуществляя свои имперские цели, Россия иногда против своего желания способствовала освобождению балканских народов.) Не было к тому же секретом, что русский посол в Константинополе граф Игнатьев, сочувствовавший идее славянского единства, и канцлер князь Горчаков, эту идею не поощрявший, стремились использовать национальный подъем в своей практической деятельности: сначала придумывая предлоги, чтобы уклониться от Восточного вопроса, затем – чтобы вмешаться в балканские дела, не восстановив против себя всю Европу.

Так или иначе почти одновременно с патриотическим порывом в русском обществе возникло сомнение в необходимости военного решения Восточного вопроса. России нужен мир, а не война, даже если она и за святое дело. Россия только что отошла от крепостного времени, ее организм истощен и потрясен. Демократическая печать настаивала на своем праве агитировать в пользу мира: никто не имеет ни нравственного права, ни разумного основания обзывать сторонников мира туркофилами, изменниками славянскому делу, людьми, лишенными патриотизма⁵.

Несмотря на национальный подъем, объединить все слои общества вокруг одного знамени не удалось. Салтыков-Щедрин зло высмеивал

генерала Черняева, не слишком успешно воевавшего в Сербии: «Полководец Редедя защищает крепости, а также сдает оные. Согласен в отъезд. Спросить на Гороховой улице, во дворе, в палатке». Всеволод Гаршин, напротив, искренне сочувствуя истязуемым болгарам и сербам, отправился добровольцем в действующую армию. Либеральный «Вестник Европы» твердо держался линии, которую славянофилы называли «цинической»: «В том умственном тумане и жалком состоянии общественной самодеятельности, в каком наше общество находится, – со стороны общества странно затевать какие-нибудь великие подвиги... Говорят, что решение славянского вопроса решит наши собственные вопросы, что именно через него мы достигнем и возрождения нашего общества. Наивное заблуждение! Никакой “славянский союз” не даст нам того что должно быть достигнуто собственным внутренним трудом, усвоением свободной науки...»⁶

Патриотическое чувство было ущемляемо не только «либеральным цинизмом», с которым сражался Достоевский на страницах «Дневника», но и реальностью. Глеб Успенский, побывав в Сербии, писал в очерках «Из Белграда» о русских добровольцах, среди которых он встретил просто «скотов» и «нравственных уродцев». Печать сообщала о пьяной гульбе, которой предавались добровольцы; в некоторых случаях общество наперед знало, что в Сербию оно посылает людей, отсутствие которых на своих местах должно споспешествовать собственному спокойствию. Были, таким образом, люди, преданные России и славянской идее, и были люди, которым, как писал Успенский, «без помощи Славянского комитета не было бы случая попить, погулять, вспомнить помещичью или боевую старину»⁷. В заключительной части «Анны Карениной», опубликованной летом 1877 года, в разгар войны, славянский вопрос был назван модным увлечением, занятием праздной толпы, убивающей время. «Балы, концерты, обеды, спичи, дамские наряды, пиво, трактиры – все свидетельствовало о сочувствии славянам», – значилось в тексте от автора. И уже не сам Л. Толстой, а его герои выражали скептическую точку зрения и на народ, который не понимает, за каких христиан воюет Россия, и на добровольцев: «В восьмидесятимиллионном народе всегда найдутся не сотни, как теперь, а десятки тысяч людей, потерявших общественное положение, бесшабашных людей, которые всегда готовы – в шайку Пугачева, в Хиву, в Сербию...»

Современники Достоевского-публициста, первые читатели и критики «Дневника», выражали сожаление в связи с тем, что писатель об-

ращается к чуждой ему сфере политики. Так, газета «Биржевые ведомости» писала в 1876 году: «Г-н Достоевский – отвлеченный мечтатель, крайне плохой, наивный политик, который чем более старается ободрить и утешить, тем более зловещею ирониею звучат его слова в применении к реальным данным»⁸.

Публицисты либерального и радикального направления, читавшие статьи Достоевского о русско-турецкой войне, сожалели о напрасной растрате дарования. «Достоевский известен как даровитый беллетрист, но он берется не за свое дело, когда пускается в публицистику и политику. Уже с самого начала сербской войны г-н Достоевский забил тревогу и повел свое славянское пророчество», – писал публицист демократического журнала «Дело» П.Н. Ткачев. Он называл Достоевского «турецким публицистом», «чудаком-мечтателем, который до сих пор верит в возможность крестовых походов, в то время как Европа уже давно пережила период религиозного воодушевления»⁹. Вместе с тем, относясь к «странностям» Достоевского-публициста с сожалением, Ткачев отмечал благородную убежденность автора. «Г-н Достоевский вовсе и не подозревает, что в его мечтаниях решительно нет никакого фактического содержания, и мыслит он не реально, а бог знает как, – хоть святых выноси. В то же время сколько искренности, сколько любви и сколько фанатизма в его привязанности к народу, к России»¹⁰.

«О, мудрецы и эти факты отрицать будут, как и прошлогодние, – спорил Достоевский. – Мудрецы всё еще, как и недавно, продолжают смеяться над народом, хотя и заметно притихли их голоса. Почему же они смеются, откуда в них столько самоуверенности? а вот именно потому-то и продолжают они смеяться, что всё еще почитают себя силой, той самой силой, без которой ничего не поделаешь. А меж тем сила-то их приходит к концу. Близятся они к страшному краху, и когда разразится над ними крах, пустятся и они говорить другим языком, но все увидят, что они бормочут чужие слова и с чужого голоса, и отвернутся от них и обратят свое упование туда, где царь и народ его с ним (25: 95). Ему на это отвечали: «решительный чудака в политике», «фантаст», «мистик», «фанатический приверженец русской партии», «политический шут».

В критике отмечались крайние странности писателя. «Я чувствую себя совершенно неспособным говорить серьезно о прорицаниях и откровениях г-на Достоевского. Настолько же, насколько я уважаю его талант – настолько же болезненно действует на меня его славянофильское кликушество. Он говорит, не поморщившись, такие вещи, от которых вчуже продирает мороз по коже», – писал либеральный критик «Одесского вестника», С.И. Сычевский¹¹. Современная До-

стоевскому общественная мысль называла его «дилетантом славяно-бесия», а его суждения – «трескучими фразами» и «исступленными завываниями».

Критик-народник А.М. Скабический, постоянный оппонент Достоевского, язвительно писал, что Достоевский-прорицатель, воображающий, будто можно одним ударом меча в одни сутки решить все европейские, западные и восточные вопросы, более всего похож на Дон Кихота. Ребусами и шарадами называл статьи Достоевского и Глеб Успенский, уличая писателя в недостаточной трезвости его аналитической мысли. «Не определяя “положения” вещей, но объясняя его, решительно невозможно давать советов о том, что нужно делать, невозможно предсказывать, прорицать, учить и наставлять, не рискуя впасть в противоречия и свести самую горячую проповедь на ничто»¹².

...Пройдет сто двадцать семь лет, и современный русский романист изобразит события русско-турецкой войны как бы глазами тех, кто в этой войне был политическим и военным неприятелем России. «Турецкий гамбит» Б. Акунина показывает события Русско-турецкой войны 1876–1877 годов с таким культурно-историческим пафосом, какой мог быть тогда у образованного турка или у его союзника англичанина, с презрением и отвращением относящегося к военной кампании русского царя. При этом военные события пропускаются через сознание русского персонажа, который как будто не должен был чувствовать себя «внутренним турком». Русский сыщик (немецкого происхождения) Эраст Петрович Фандорин оказывается (во всем фандоринском цикле Акунина) единственным героем, кто в контексте истории способен честно служить государству, единственным, кто понимает, что такое долг и честь русского офицера. «Если живешь в г-государстве, – объясняет заикающийся после контузии Эраст Петрович легкомысленно фрондирующей героине, приехавшей на фронт к жениху, Вареньке Суворовой, – надобно либо его беречь, либо уж уезжать – иначе получается паразитизм и лакейские пересуды... Государство это не д-дом, а скорее дерево. Его не строят, оно растет само, подчиняясь закону природы, и дело это долгое. Тут не каменщик, т-тут садовник нужен»¹³.

Замечательно образованный, с выдающимися способностями, говорящий и понимающий все языки, удачливый (по прихоти фортуны, всегда выигрывает в азартные игры, хотя и не любит играть), идеальный и бесстрастный фантом сыска (неизвестно кем и для чего заброшенный сюда чудак, пытающийся вспомнить свою миссию пришелец-инопланетянин, бесконечно изумленный всем, что он видит и в чем вынужден участвовать), двадцатилетний Фандорин – живой укор для сослуживцев. Единственным достойным соперником Фандорина, соперником, который устраивает хитроумнейшую шпионскую операцию

(стоившую русской армии нескольких десятков тысяч жизней), дважды срывает штурм Плевны и удостоивается восторженного восхищения автора, является образованный, умный, ловкий до гениальности, турок Анвар. Закулисный манипулятор, серый кардинал при просвещенном султани, пролезший в расположение русской ставки под видом французского журналиста д'Эвре (в экранизации романа Анвар действует в облике скучного капитана Перепелкина, начальника штаба «белого генерала» Соболева), Анвар-эфенди и есть подлинный герой романа Б. Акунина.

Кстати, туркофилией автор награждает и русских офицеров. О патроне Анвара, Мидхат-паше, жандармский генерал Мизинов, правнук Суворова, по воле автора высказывается так: «Я был бы счастлив видеть его главой русского правительства. Но он не русский, а турок. К тому же турок, ориентирующий на Англию. Наши устремления противоположны, и потому Мидхат нам враг»¹⁴. При этом Фандорин, находясь на русской тайной дипломатической службе, тоже рассуждает «протурецки»: «Воевать с бедной Турцией, которая и без наших доблестных усилий благополучно развалилась бы, – увольте... в войне, которая для России бесполезна и даже губительна, участвовать не желаю»¹⁵. По ходу дела выясняется, что в турецком плену, куда он попал в качестве сербского волонтера, его никто не мучил – здесь его «с утра до вечера п-поили кофеем и разговаривали исключительно по-французски»¹⁶ (деталь, упомянутая как бы в пику сюжету из «Дневника писателя» о замученном в турецком плену русском солдате Фоме Данилове). Да и зачем туркам мучить Фандорина – для них он вполне *свой*: попал на фронт «за две недели до разгрома армии Черняева. А потом еще вдосталь набродился по горам, настрелялся. Слава богу, к-кажется, ни в кого не попал»¹⁷. К тому же выиграл свободу у видинского Юсуф-паши в нарды. Не удивительно, что на протяжении всей военной кампании он не смог «попасть» в шпиона Анвара, позволив ему перебить с десятков отважных и преданных делу офицеров ставки.

Когда же все-таки у ворот Константинополя Фандорин настигает шпиона (тут автору волей-неволей пришлось сохранить рисунок истории, не давшей русским войскам войти в вожделенную столицу Османской империи, находясь рядом с ней, в Сан-Стефано), Анвар (то есть разоблаченный д'Эвре) произносит речь, ради которой, кажется, и написан роман, так что автор особенно не заботится ни о стилизации, ни об исторических соответствиях. «Ваша огромная держава сегодня представляет главную опасность для цивилизации, – говорит Анвар Вареньке, взятой в заложницы. – Своими просторами, своим многочисленным, невежественным населением, своей неповоротливой и агрессивной государственной машиной. Я давно присматриваюсь к России,

я выучил язык, я много путешествовал, я читал исторические труды, я изучал ваш государственный механизм, знакомился с вашими вожжами. Вы только послушайте душку Мишеля (М.Д. Соболева, генерала. – Л.С.), который метит в новые Бонапарты! Миссия русского народа – взятие Царьграда и объединение славян? Ради чего? Ради того, чтобы Романовы снова диктовали свою волю Европе? Кошмарная перспектива!.. Россия таит в себе страшную угрозу для цивилизации. В ней бродят дикие, разрушительные силы, которые рано или поздно вырвутся наружу, и тогда миру не поздоровится. Это нестабильная, нелепая страна, впитавшая все худшее от Запада и от Востока. Россию необходимо поставить на место, укоротить ей руки. Это пойдет вам же на пользу, а Европе даст возможность и дальше развиваться в нужном направлении»¹⁸. И далее Анвар раскрывает свой коварный замысел: противнику (России) он жертвует фигуру (Турцию) ради достижения стратегического преимущества. «Османская империя погибнет, но царь Александр игры не выиграет». Такой вот турецкий гамбит, gambetto, «подножка». «Я сам разработал рисунок этой шахматной партии и в самом ее начале подставил России соблазнительную фигуру – жирную, аппетитную, слабую Турцию»¹⁹.

И как-то мимоходом пролезают в «Турецкий гамбит» черные метки по адресу противников Анвара: «османофильская» тенденция осуществляется путем прямой клеветы на героев истории. Конечно, автор страшется: в фамилиях персонажей заменены или опущены одна-две буквы (Берецагин вместо Верещагина, Соболев вместо Скобелева, Гнатьев вместо Игнатьева и т. п.). Но в портреты нарочито узнаваемых исторических персонажей добавлены только черные краски. Среди особо «пострадавших» от Б. Акунина – отец и сын Соболевы, генералы, с сохраненными подлинными биографиями, боевыми заслугами и даже инициалами, так что личность Дмитрия Ивановича и Михаила Дмитриевича Скобелевых устанавливается легко, без вариантов. И. Аксаков писал о Скобелеве-втором: «Это был не только военный гений вообще, но русский военный гений, с русским сердцем, с той широкой русской душой, какую создает подчас беспредельно широкая Русь». «Белый генерал» (так называли М.Д. Скобелева, водившего свои полки в атаку в белых одеждах и на белом коне) в одном только туркестанском походе получил пять ран от вражеских пик и сабель. «Говорили, – повествует Б. Акунин, – про генерала разное. Одни превозносили его как несравненного храбреца, рыцаря без страха и упрека, называли будущим Суворовым и даже Бонапартом, другие ругали позером и честолюбцем. В газетах писали про то, как Соболев в одиночку отбил от целой орды текинцев, получил семь ран, но не отступил; как с маленьким отрядом пересек мертвую пустыню и разгромил вдесятеро превосходящее вой-

ско грозного Абдурахман-бека, а кое-кто из Вариных знакомцев пересказывал слухи совсем иного рода – про расстрел заложников и еще что-то такое про похищенную кокандскую казну»²⁰.

«*Что-то такое*» пятнает в романе многих, воюющих не за турецкие или английские, а за русские интересы. Достается и Достоевскому. Той самой Вареньке Суворовой, перед тем как отправиться на фронт в поисках своего жениха, довелось испытать на себе гнусные «повадки» Великого Писателя, прозрачно изображенного с полным набором «достоевских» биографических и даже физиогномических примет. «Варя выучилась на стенографистку и зарабатывала до ста рублей в месяц. Вела протоколы в суде, записывала мемуары выжившего из ума генерала, покорителя Варшавы, а потом по рекомендации друзей попала стенографировать роман к Великому Писателю (обойдемся без имен, потому что закончилось некрасиво). К Великому Писателю Варя относилась с благоговением и брать плату решительно отказалась, ибо и так почитала за счастье, однако властитель дум понял ее отказ превратно. Он был ужасно старый, на шестом десятке, обремененный большим семейством и к тому же совсем некрасивый. Зато говорил красноречиво и убедительно, не поспоришь: действительно, невинность – смешной предрассудок, буржуазная мораль отвратительна, а в человеческом естестве нет ничего стыдного. Варя слушала, потом подолгу, часами советовалась с Петрушей, как быть. Петруша соглашался, что целомудрие и ханжество – оковы, навязанные женщине, но вступать с Великим Писателем в физиологические отношения решительно не советовал. Горячился, доказывал, что не такой уж он великий, хоть и с былыми заслугами, что многие передовые люди считают его реакционером. Закончилось, как уже было сказано выше, некрасиво. Однажды Великий Писатель, обрвав диктовку невероятной по силе сцены (Варя записывала со слезами на глазах), шумно задышал, зашмыгал носом, неловко обхватил русоволосую стенографистку за плечи и потащил к дивану. Какое-то время она терпела его невразумительные нашептывания и прикосновения трясущихся пальцев, которые совсем запутались в крючках и пуговках, потом вдруг отчетливо поняла – даже не поняла, а почувствовала: все это неправильно и случиться никак не может. Оттолкнула Великого Писателя, выбежала вон и больше не возвращалась»²¹.

Прием, который применил современный автор к реалиям русской истории и к русскому писателю, свидетелю этой истории, хорошо известен. Снижение образа достигается не то чтобы путем переосмысления событий, не то чтобы смещением акцентов и перетасовкой фактов, а просто грубой подтасовкой. Действие «Турецкого гамбита» приурочено к летним месяцам 1877 года, именно в это время пишутся основные военные статьи «Дневника писателя». Патриот, славянофил и при-

верженец освобождения братских народов-единоверцев писатель Достоевский опорочен, его репутация христианина, семьянина и просто порядочного человека подмочена. В лапы «Великого Писателя», которому идет шестой десяток (Достоевскому в это время действительно 55–56 лет), обремененному семейством (жена, дети, семья покойного брата Михаила), прибегающего к услугам стенографии (кроме жены, писателю никто никогда не стенографировал), создающего роман с невероятными по силе сценами (похоже) и обладающего хорошо известным красноречием (узнаваемо), – и попадает героиня романа. Портрет писателя дополнен рассуждением Пети: «не такой уж он великий, хоть и с былыми заслугами, что многие передовые люди считают его реакционером» (теперь точно не спутаешь ни с кем).

Прием, примененный к безымянному, но нарочито узнаваемому писателю, распространен на историю и ход Русско-турецкой войны, являясь ключом к роману, отмычкой к его коллизиям и характерам. Но реальную историю, как и великую литературу, здесь не принято жалеть. «Русскую литературу, – говорит Анвар Вареньке, – я, конечно, читал. Хорошая литература, не хуже английской или французской. Но литература – игрушка. В нормальной стране она не может иметь важного значения. Я ведь и сам в некотором роде литератор. Надо делом заниматься, а не сочинять душеспасительные сказки. Вон в Швейцарии великой литературы нет, а жизнь достойнее, чем в вашей России»²².

Уши автора, в «некотором роде» литератора, для кого литература – игрушка и бизнес-проект одновременно, как это и положено в «нормальных» странах, торчат за версту. Впрочем, экранизатор романа Д. Файзиев, претендовал на правду о русской истории еще меньше: предметом гордости для него были кадры (они занимают четверть экранного времени), созданные при помощи компьютерной графики: патриотическое чувство в данном случае стремилось лишь переплюнуть Голливуд по части спецэффектов. Что касается целей фильма, о них весьма выразительно высказался руководитель Первого канала К. Эрнст: «Мы не бросаем рискованную затею снимать мейнстримовское кино в стране победившего арт-хауса»²³.

3

Итак, Россия вступила в войну одна, без военных союзников. «Россия – государство низшего порядка, – объясняли берлинские газеты прямо таки в духе акунинского турка. – В конце концов мы желаем русским одержать победу над турками, однако не можем скрыть некоторого самодовольного удовольствия, что победа достается им не легко»

(25: 433). Европейской сенсацией, случившейся сразу после вступления России в войну, стала речь папы Пия IX, произнесенная на аудиенции для савойских пилигримов. «В это самое время, – значилось в этой речи, – выставила *еретическая* держава многочисленное войско для наказания неверной державы, жалуясь на то, что эта последняя несправедливо управляет и утесняет многочисленных своих подданных, исповедующих учение православное. Война уже началась. Не знаю, которая из этих двух держав победит, но знаю, что на одной из этих держав, которая называет себя православною, но есть схизматическая, тяготеет рука правосудного Бога за бесчеловечные преследования католиков...» (25: 414).

Римский первосвященник, христианин, выражал озлобление против «схизматической» России и сочувствовал «неверной» Турции. Европейская печать злорадствовала по поводу неудач русской армии под Плевной: Россия в этой войне несомненно доказала, что она одна не в состоянии разрешить Восточный вопрос. Европе поэтому остается только ждать. Пока обе *азиатские державы* до того обоюдно истощат друг друга, что ни одна из них не в состоянии будет помешать решению этого вопроса европейским ареопагом. Турцию поздравляли за то, что разрушила иллюзию военного могущества России.

Действительно, еще в июне 1877-го русские войска натолкнулись на малоизвестную доселе крепость Плевну, преграждавшую путь на юг, к Константинополю, и не смогли взять ее вплоть до декабря. Армия Осман-паши в течение четырех с половиной месяцев выдерживала осаду – русские войска в неудачных штурмах теряли огромное количество живой силы. О бездарном командовании русской армии ходили легенды. Имея в виду великого князя Николая Николаевича, главнокомандующего, говорили, что кампания ведется с целью доставить случай членам царского дома украсить георгиевскими крестами. Когда же наконец усилиями генералов Тотлебена, Скобелева, Гурко Плевна была взята и русские войска двинулись на Константинополь, армия была обескровлена. Нужно было «с честью» выходить из войны, и перемирие было заключено буквально у стен Царьграда. Россия была слаба и не могла начать все сначала.

Восточный вопрос, так, как его понимала и хотела решить Россия, решен не был. Берлинский конгресс 1878 года, вошедший в историю как дипломатическое фиаско России перед лицом европейских держав, не только не смягчил, но еще больше обострил ситуацию на Балканах, подготовив поводы для бесконечных конфликтов будущего. Три ключевые фигуры русской дипломатии – граф Игнатьев, князь Горчаков и посол в Лондоне граф Шувалов – не только не смогли договориться со своими европейскими оппонентами, но и на предварительных ста-

диях переговорного процесса открыто соперничали между собой. На самом конгрессе, продолжавшемся месяц, они не смогли отстоять ни одного пункта той политики, с которой вступали в войну, и с легкостью отдали все, что составляло цель военного вмешательства. Результаты оказались плачевными: две державы, не принимавшие в войне никакого участия, извлекли из нее самые значительные выгоды: Англия заняла Кипр, Австро-Венгрия получила Боснию и Герцеговину. Итоги военной победы России обратились как бы против нее: сербский народ, надевшийся составить единое целое, решением конгресса оказался разделенным на три группы, Болгария расчленена на три части, Македония вопреки требованиям гуманности возвращена Турции. Приобретенные Россией Батум и Карс, полученная обратно Бессарабия (утраченная в Крымской кампании) не были причиной войны и даже подрывали тот пафос бескорыстия, которым столь дорожило русское общество.

22 июня 1878 года на заседании Московского славянского благотворительного общества Иван Аксаков произнес речь, где обвинял русскую дипломатию в предательстве интересов России и славянского мира. «Самый злейший враг России и престола не мог бы сделать что-либо пагубнее для нашего внутреннего спокойствия и мира». Много позже Александр III вынесет свой приговор: «Нашим несчастьем в 1876–1877 году было то, что мы выступили вместе с народами, а не вместе с правительствами».

Исход войны, лишенной уже достигнутых практических результатов, а вместе с ними и ее моральных ценностей, обнажил военную и дипломатическую некомпетентность власти. Несостоятельность русской политики, взявшейся спасти славян и продолжавшей угнетать другие народы (о чем как об историческом грехе спустя десятилетие скажет Вл. Соловьев), моральное поражение режима во многом активизировали, а может быть, и спровоцировали партию террора. Революционное затишье семидесятых годов заканчивалось – уже в середине 1878 года по всей России ходили прокламации с изображением пистолета, кинжала и топора. Под листовками стояла подпись: «Исполнительный комитет Социально-революционной партии». Еще через год была изобретена теория одного, самого главного, последнего убийства, убивающего все прочие убийства. И за три года до этого убийства и до собственной кончины Достоевский, так надевшийся на торжество святого дела, которое спасет и умиротворит Россию, напишет: «Вся Россия стоит на какой-то окончательной точке, колеблясь над бездной» (30, кн. 1: 23). В письме студентам Московского университета (18 апреля 1878 г.) он писал: «В прогнившем обществе – ложь со всех сторон. Само себя оно сдерживать не может. Тверд и могуч лишь народ, но с народом разлад за эти два года объявился страшный. Наши сентименталисты, освобож-

дая народ от крепостного состояния, с умилением думали, что он так сейчас и войдет в ихнюю европейскую ложь, в просвещение, как они называли. Но народ оказался самостоятельным и, главное, начинает *сознательно* понимать ложь верхнего слоя русской жизни. События последних двух лет (добровольческое движение и Русско-турецкая война. – Л.С.) много озарили и вновь укрепили его. Но он различает, кроме врагов, и друзей своих. Явились грустные, мучительные факты... у нас здесь в Петербурге черт знает что. В молодежи проповедь револьверов и убеждение, что их боится правительство. Народ же они, по-прежнему презирая, считают ни во что и не замечают, что народ-то, по крайней мере, не боится их и никогда не потеряет голову. Ну что, если произойдут дальнейшие столкновения? Мы живем в мучительное время, господа!» (30, кн. 1: 24).

Его неизменно потрясало поведение Европы в этой войне. «В наше время чуть не вся Европа влюбилась в турок... Европа, ненавистью к нам, несомненно, ободрила и фанатизм турок» (26: 27, 29). Но по-прежнему верил: «Русский народ (то есть народ) весь, как один человек, хочет, чтоб великая цель войны за христианство была достигнута. Нельзя матерям не плакать над своими детьми, идущими на войну: это природа; но убеждение в святости дела остается во всей своей силе. Отцы и матери знают, на что отпускают детей: война народная» (26: 44).

По мере продвижения войны к необратимому исходу что-то мешало Достоевскому держаться за свою мечту. Уже в ноябрьском (1877) выпуске «Дневника» он поделился с читателями своей новой фантазией («Одно совсем особое словцо о славянах, которое мне давно хотелось сказать»). «Представим вдруг, что всё дело кончено, что настояниями и кровью России славяне уже освобождены, мало того, что турецкой империи уже не существует и что Балканский полуостров свободен» (26: 77). Что тогда ждет Россию? Картина будущего «славянского мира» виделась вполне мрачно.

§ 1. «По внутреннему убеждению моему, самому полному и непреодолимому, – не будет у России, и никогда еще не было, таких ненавистников, завистников, клеветников и даже явных врагов, как все эти славянские племена, чуть только их Россия освободит, а Европа согласится признать их освобожденными!» (26: 78)

§ 2. «Нам отнюдь не надо требовать с славян благодарности, к этому нам надо подготовиться вперед. Начнут же они, по освобождении, свою новую жизнь, повторяю, именно с того, что выпросят себе у Европы, у Англии и Германии, например, ручательство и покровительство их свободе, и хоть в концерте европейских держав будет и Россия, но они именно в защиту от *России* это и сделают. Начнут они непременно

с того, что внутри себя, если не прямо вслух, объявят себе и убедят себя в том, что России они не обязаны ни малейшею благодарностью, напротив, что от властолюбия России они едва спаслись при заключении мира вмешательством европейского концерта, а не вмешайся Европа, так Россия, отняв их у турок, проглотила бы их тотчас же, “имея в виду расширение границ и основание великой Всеславянской империи на порабощении славян жадному, хитрому и варварскому великорусскому племени”» (26: 78–789).

§ 3. «Признают они эту войну за великий подвиг, предпринятый для освобождения их, решите-ка это? Да ни за что на свете не признают! Напротив, выставят как политическую, а потом и научную истину, что не будь во все эти сто лет освободительницы-России, так они бы давным-давно сами сумели освободиться от турок, своею доблестью или помощью Европы... Мало того, даже о турках станут говорить с большим уважением, чем об России» (26: 79).

§ 4. «Может быть, целое столетие, или еще более, они будут беспрерывно трепетать за свою свободу и бояться властолюбия России; они будут заискивать перед европейскими государствами, будут клеветать на Россию, сплетничать на нее и интриговать против нее» (там же).

§ 5. «Особенно приятно будет для освобожденных славян высказывать и трубить на весь свет, что они племена образованные, способные к самой высшей европейской культуре, тогда как Россия – страна варварская, мрачный северный колосс, даже не чистой славянской крови, гонитель и ненавистник европейской цивилизации. У них, конечно, явятся, с самого начала, конституционное управление, парламенты, ответственные министры, ораторы, речи. Их будет это чрезвычайно утешать и восхищать» (там же).

§ 6. «Долго еще не поймут теперешние славяне, что такое Восточный вопрос! Да и славянского единения в братстве и согласии они не поймут тоже очень долго. Объяснять им это беспрерывно, делом и великим примером будет всегдашней задачей России впредь» (26: 81).

Достоевский задавал себе и своим читателям тяжелый вопрос – зачем брать России на себя такую заботу? Для чего увязать в вечных спорах славян между собой? Ответ был ему очевиден. «Для чего: для того, чтоб жить высшею жизнью, великою жизнью, светить миру великой, бескорыстной и чистой идеей, воплотить и создать в конце концов великий и мощный организм братского союза племен, создать этот организм не политическим насилием, не мечом, а убеждением, примером, любовью, бескорыстием, светом; вознести наконец всех малых сих до себя и до понятия ими материнского ее призвания – вот цель России, вот и выгоды ее, если хотите. Если нации не будут жить высшими, бескорыстными идеями и высшими целями служения человечеству,

а только будут служить одним своим “интересам”, то погибнут эти нации несомненно, окоченеют, обессилеют и умрут. А выше целей нет, как те, которые поставит перед собой Россия, служа славянам бескорыстно и не требуя от них благодарности, служа их нравственному (а не политическому лишь) воссоединению в великое целое... Выше таких целей не бывает никаких на свете. Стало быть, и “выгоднее” ничего не может быть для России, как иметь всегда перед собой эти цели, всё более и более уяснять их себе самой и всё более и более возвышаться духом в этой вечной, неустанной и доблестной работе своей для человечества» (26: 81–82).

Предвидение Достоевского о «славянской благодарности» было куда красноречивее его фантазий о доблестной работе России для человечества.

4

Есть, по-видимому, некая закономерность, что в момент распада советской империи вновь явились на свет и громко заявили о себе полузабытые понятия и символы большой геополитики. «Евразийцы» и «атлантисты» снова твердят о «славянских рубежах» и «этническом факторе», выясняют значение «исламской карты» с позиций безопасности и процветания Российского государства. Но каковы исходные токи того, что России во благо, а что во зло?

Полтора столетия тому назад Ф.И. Тютчев, обозначая границы царства русского «на север, на восток, на юг и на закат», называл в качестве его «заветных столиц» Москву, Петербург, Рим и Константинополь. Поэт мечтал, что настанут на Руси времена, когда «будет старая Москва *новейшею* из трех ее столиц». «Семь внутренних морей и семь великих рек... / От Нила до Невы, от Эльбы до Китая, / От Волги по Евфрат, от Ганга до Дуная... / Вот царство русское... и не прейдет вовек, / Как то провидел Дух и Даниил предрек» – такова «русская география» согласно Тютчеву. Ничего исключительного в панславистских настроениях Тютчева по тем временам не было: XIX век унаследовал от всей предыдущей истории и азарт завоеваний, и патриотический восторг по случаю расширения российской территории за счет сопредельных государств.

Из XVI века пришла идея Третьего Рима – великой московской империи, которая должна явиться на смену двум предыдущим и – в отличие от римской и византийской – остаться нерушимой навеки: «Третий Рим стоит, а четвертому не бывать». Созданная церковными книжниками теория «Москва – Третий Рим» оказалась мощным источником

вдохновения и для русской политической мысли, и для гражданской поэзии, знаком возвышенного патриотического умонастроения.

После столетий междоусобных войн, монголо-татарского владычества, присоединения чужих и обороны своих земель Россия вступила в XVIII век как завоеватель с отчетливо выраженными политическими интересами. Под воздействием петровских преобразований, в результате усиленной и жесткой пропаганды Северной войны и стало складываться так называемое имперское мышление, согласно которому служение отечеству трактовалось как забота о его пространственном и военном величии.

Именно этот импульс общественного сознания спустя столетие был выражен Пушкиным («Отсель грозить мы будем шведу»), Тютчевым («Да купим сей ценой кровавой России целость и покой!»), Достоевским («Константинополь должен быть наш!»). Дерзновенная мечта К. Леонтьева простиралась в своих геополитических устремлениях еще дальше – за Босфор, во Фракию и Малую Азию.

Русская история и литература знали войны, ничего общего с обороной не имевшие. Пушкин, как мы помним, вызвался сопровождать графа Паскевича-Эриванского, чтобы увидеть «блистательный поход, увенчанный взятием Арзрума», и писал о покоренных черкесах с позиций «усмирявшей» их русской армии. «Дружба мирных черкесов ненадежна: они всегда готовы помочь буйным своим единоплеменникам. У них убийство – простое телодвижение... Что делать с таковым народом?» Поручик Лермонтов, высланный на Кавказ, где все еще шла война с горцами, по свидетельству его командира, «исполнял возложенное на него поручение с отменным мужеством и хладнокровием...».

Покорение и колонизация сопредельных с Россией территорий трактовалась обычно в положительном для государства ключе. Государственная экспансия, заботясь о высокой моральной репутации, находила веские доводы в свою пользу: обуздание потенциального врага, укрепление стратегически важных границ, добровольное подчинение слабых соседей более сильному, который сулит всем мир и покой. России надлежало нарушить «вековую спячку» окраин, цивилизовать их, принести новый быт, язык, культуру, веру. Утверждалось, таким образом, «культурное право» на завоевания, внедрялась миссионерская идея православной русификации – свет просвещения темным народам. Тем же из них, кто не понимал своего счастья, всячески внушалось, что расширение пределов державы – естественная норма политического поведения, что право распоряжаться судьбой иноплеменных народов проистекает из самого существования большой империи, которая гасит мелкие конфликты и гарантирует всем своим подданным покровительство и защиту.

Многие поколения граждан российской империи свято верили, что власть Белого Царя, распространяемая на насильственно присоединенные окраины, заведомо благодатна и милостива. Русские герои гибли в военных кампаниях далеко от дома: на сопках Маньчжурии или на берегах Дуная, их подвиги славились, их поражения оплакивались – это был тот самый патриотизм, который признает безусловным приоритет интересов своего государства над соображениями морального свойства.

Поразительно, однако, как легко переключался официальный патриотизм века минувшего в новую (советскую!) государственность, как легко простодушная поэзия нового времени усвоила старые клише. Молодые, преданные своей стране поэты вслед за предшественниками продолжали грезить о большой географии: «Но мы еще дойдем до Ганга, / Но мы еще умрем в боях, / Чтоб от Японии до Англии / Сияла Родина моя». Люди, привыкшие жить в большом и могучем государстве, считали благородной каждую его акцию и справедливой любую его миссию – особенно если речь шла о внешней политике. Носители имперского сознания не имели обыкновения смотреть на историю своей географии глазами присоединенных и покоренных народов, ибо с точки зрения государственника эти народы должны были испытывать непрерывную и глубокую благодарность за близость Старшего брата, за его бескорыстие и жертвенность, ведь русским действительно всегда было хуже всех.

Что делать генетическому патриоту сейчас, когда русская география преобразуется столь стремительно, драматично и, по всей видимости, необратимо? Как удовлетворить естественное чувство гордости за свою родину, если классическая концепция, согласно которой «От Урала до Дуная, / До большой реки, / Колыхаясь и сверкая, / Двигаются полки», терпит урон? Куда употребить взрывоопасную энергию потрясения и растерянности – ведь утрата народом отечества в его привычных географических параметрах переживается как унижение и гонит людей на баррикады, в окопы, под пули...

Следует напомнить, что отнюдь не всегда с вожделием и восторгом смотрела Россия в зеркало своих военных побед. Уже во времена Древней Руси стала складываться традиция, согласно которой русский витязь – это не разбойник с большой дороги и не колонизатор, а защитник родной земли, воюющий на своей, а не на чужой территории. К чести русской литературы, государственная идея, претендующая на оправдание насилия, занимала в ней все-таки подчиненное место. А в центре была жизнь отдельного человека, находящегося в неприимимом конфликте с державной властью и имперской твердыней. На этом конфликте построены – при всех увлечениях лучших русских по-

этов государственным пафосом – и «Медный всадник» Пушкина, и «Валерик» Лермонтова.

Кроме того, отнюдь не всеми русская идея в ее государственном аспекте («Россия от моря до моря» или «Москва – Третий Рим») понималась как идея романтического милитаризма. Конечно, для современных идеологов национал-большевизма Герцен, который называл Суворова «великим живодером» за особую жестокость при подавлении польского восстания 1794 года, не авторитет: западник, либерал, демократ. Даже Лев Толстой с точки зрения казенного патриотизма был и остался национал-предателем: ведь он дерзнул в «Хаджи-Мурате» сравнить русских, разоривших чеченский аул, с бешеными собаками, крысами, ядовитыми пауками. Но Вл. Соловьев, писавший о тиранической русификации как о политической гнусности и национальном грехе, «тяжелым бременем лежащих на совести России и парализующих ее моральные силы»! Но Достоевский в своей предсмертной речи провозгласивший принцип всечеловеческого единения – взамен аморальной политики с позиции силы и выгоды! Но Бердяев, утверждавший, что национальный гений Льва Толстого был поистине русским в своей религиозной жажде преодолеть всякую национальную ограниченность, всякую тяжесть национальной плоти!

Как ни прискорбно это признавать, но, наверное, пришло время России платить по давно просроченным векселям. Конфликт между национальным эгоизмом, с одной стороны, и справедливым великодушием, с другой, трагичен и не имеет позитивного исхода. Исторический грех неправого дела когда-нибудь да отнимет у любого завоевания его практические результаты и моральные ценности. «Сила, даже победоносная, ни на что не пригодна, когда ею не руководит чистая совесть», – считал Вл. Соловьев и уточнял: «Нельзя безнаказанно написать на своем знамени свободу славянских и других народов, отнимая в то же время национальную свободу у поляков, религиозную свободу униатов и русских раскольников, гражданские права у евреев». Национальный эгоизм, удовлетворяемый насилием, превратит бывшие триумфы в поражения: «слава, купленная кровью», обернется бессилием и бесчестием. На долю России, после падения СССР, тоже выпала участь сидеть у разбитого корыта с «насмешкой горькою обманутого сына / под промотавшимся отцом».

Сегодняшний человек, живущий в русских национальных координатах и российских географических широтах, поставлен в условия, когда его самолюбие подвергается болезненным уколам, а прочно усвоенная репутация народа-освободителя трещит по швам. Когда-то облагодетельствованные окраины оплачивают за навязанную им русификацию: Чечня не хочет видеть в генерале Ермолове своего героя

и величает Шамиля, Украина ставит памятник Бандере, Сибирь вместо Ермака славит хана Кучума, Кишиневу мешает даже бронзовый Пушкин, в Прибалтике советские партизаны Второй мировой считаются спецотрядом НКВД и преследуются.

Известно, что многие великие нации в течение долгого времени одерживали победы даже и в неправом деле. Но впоследствии – и тут история не знает исключений – они тяжело платили за грехи несправедливости, воспринимая возмездие как урок и предостережение. Теперь грех неблагодарности по отношению к России, освободившей Восточную Европу от фашизма, совершает... Восточная Европа, по точному предвидению Достоевского, писавшему за сто тридцать лет до начала Второй мировой. Но это будет их урок. Урок России в другом: ностальгия по имперскому величию должна потесниться и уйти из общественного и индивидуального сознания. Это не значит, что она должна освободить место оголтелой смердяковщине. Но нужно привыкнуть к мысли, что соседу-литовцу могут не нравиться строчки Тютчева «Над русской Вильной стародавней / Родные теплятся кресты», а немца, поляка, еврея могут возмущать обидные для их национального самолюбия высказывания Достоевского. Впрочем, всем им следует помнить и о русском самолюбии: русофобия сегодня – это один из наименее порицаемых общественных грехов; по адресу русских и России в Европе и в мире как бы все позволено.

Есть смысл отказаться от амбиций, не обеспеченных реальностью, и осознать свои истинные возможности – может быть, и большие, но обретающиеся совсем не в той сфере, где они традиционно предполагаются. Наша нынешняя национальная беда не только в том, что рухнула великодержавность, притом так нелепо и бездарно, но и в том, что она сочеталась с внутренним убожеством, строилась за счет потребления природных и человеческих ресурсов и была авантюристической по своей сути, так как, осваивая чужие земли, приводила в запустение свои собственные, исконные.

Если знаток русских антиномий Бердяев был прав и обратной стороной русского самомнения является русское смирение, то сейчас пришло время как раз для смирения. В современном русском языке смирение – дискредитированное понятие. Ему придано ложное значение – покориться дурной неизбежности, пасть на колени, предаться унынию. Но если говорить о смирении как о христианской добродетели, противоположной гордыне, то это трезвое осознание своего несовершенства, острое переживание своей греховности и неправоты. Смириться в национальном смысле – значит успокоить тщеславие, избавиться от мании величия – не по карману стал вечный бой «сквозь кровь и пыль», не по карману стал соблазн революции. Смириться –

значит также и не броситься в крайность политического самоуничтожения («здесь все обречено»), или постыдной истерики («нас предали и продали»). Между спекуляциями на тему общечеловеческих ценностей и циническими манифестами о национальных выгодах есть политика, как именовал ее Вл. Соловьев, «нравственной обязательности и справедливости», диктуемая моральным законом, общим как для отдельного человека, так и для нации в целом. Между гордыней и унынием пролегает тропа смирения и труда, которые – если полагаться на суровую реальность, а не на географические мнимости, – требуют куда больше мужества и мудрости.

Примечания

- ¹ *Солженицын А.И.* «Русский вопрос» к концу XX века // Солженицын А.И. Публицистика. В 3 т. Ярославль: Верхняя Волга, 1995–1997. Т. 1. 1995. С. 661.
- ² *Бакунин М.А.* Избранные сочинения: В 5 т. Т. III. П.; М., 1920. С. 102. См. далее: «Если мы в самом деле желаем мира между нациями, мы должны желать международной справедливости. Стало быть, каждый из нас должен возвыситься над узким мелким патриотизмом, для которого своя страна – центр мира, который свое величие полагает в том, чтобы быть страшным соседям. Мы должны поставить человеческую всемирную справедливость выше всех национальных интересов. Мы должны раз навсегда покинуть ложный принцип национальности, изобретенный в последнее время деспотиями Франции, России и Пруссии, для вернейшего подавления верховного принципа – свободы. Национальность не принцип; это законный факт, как индивидуальность. Всякая национальность, большая или малая, имеет несомненное право быть сама собой, жить по своей собственной натуре. Это право есть лишь вывод из общего принципа свободы. Всякий, искренне желающий мира и международной справедливости, должен раз навсегда отказаться от всего, что называется славой, могуществом, величием отечества, от всех экономических и тщеславных интересов национализма. Пора желать абсолютного царства свободы внутренней и внешней» Закончил он свою речь следующими словами: «Всеобщий мир будет невозможен, пока существуют нынешние централизованные государства. Мы должны, стало быть, желать их разложения, чтобы на развалинах этих единств, организованных сверху вниз деспотизмом и завоеванием, могли развиваться единства свободные, организованные снизу вверх, свободной федерацией общин в провинцию, провинций в нацию, наций в Соединенные Штаты Европы».
- ³ *Достоевская А.Г.* Воспоминания. М.: Правда, 1987. С. 339–340.
- ⁴ Московские ведомости. 1877. 24 апр.
- ⁵ См.: Голос. 1876. 20 окт.
- ⁶ Вестник Европы. 1877. № 3. Отдел «Хроника». С. 370.
- ⁷ Отечественные записки. 1876. № 12. Отдел «Современное обозрение».
- ⁸ Биржевые ведомости. 1876. 4 июля.
- ⁹ Дело. 1877. № 6. С. 62–63.

- ¹⁰ Там же. С. 62.
- ¹¹ Одесский вестник. 1877. 2 нояб.
- ¹² Отечественные записки. 1980. № 6.
- ¹³ Акунин Б. Турецкий гамбит. М.: Захаров, 2004. С. 68.
- ¹⁴ Там же. С. 51.
- ¹⁵ Там же. С. 46.
- ¹⁶ Там же. С. 17.
- ¹⁷ Там же. С. 18.
- ¹⁸ Там же. С. 261.
- ¹⁹ Там же.
- ²⁰ Там же. С. 34–35.
- ²¹ Там же. С. 12–13.
- ²² Там же. С. 263.
- ²³ Известия. 2005. 18 февр.

Русский ум в поисках общей идеи

Двести лет назад, в самом конце царствования Екатерины Великой, покончил с собой ярославский помещик Владимир Опочинин, вольтерьянец, человек блестящего ума, тонкого воспитания и передовой мысли. В своем предсмертном письме-завещании он описал свое отчаяние, ощущение собственной ненужности, которые испытывал в связи с окружающей действительностью: «Отвращение к нашей русской жизни есть то самое побуждение, принудившее меня решить своевольно свою судьбу».

В те стародавние времена самоубийцы с Вольтером в руках были все же явлением исключительным. Но уже сто лет спустя исторические межеумки – так называемые «лишние люди» – стали фактом настолько обычным, что вошли в большую литературу в качестве «типичных представителей». Двадцатishестилетний персонаж из романа Достоевского «Подросток», обрусевший немец Крафт, застрелился, придя к неутешительному выводу о русских как о нации. «После него осталась вот этакая тетрадь ученых выводов о том, что русские – порода людей второстепенная, на основании френологии, краниологии и даже математики, и что, стало быть, в качестве русского совсем не стоит жить» (13: 135). Русские, решил странный молодой человек, – народ никчемный, подсобный, этакий навоз, удобряющий человечество, народ, которому предназначено послужить лить материалом для более благородного племени, а не иметь своей самостоятельной роли в судьбах других народов. Поэтому «всякая дальнейшая деятельность всякого русского человека должна быть этой идеей парализована, так сказать, у всех должны опуститься руки...» (13: 44).

«Я не понимаю, – рассуждал Крафт, – как можно, будучи под влиянием какой-нибудь господствующей мысли, которой подчиняются ваш ум и сердце вполне, жить еще чем-нибудь, что вне этой мысли?» (13: 46). Проблема заключается, однако, в том, как трудно отыскать господствующую мысль, которая спасительно, а не губительно подчинит себе ум и сердце. Так и герой Толстого перед лицом смерти с ужасом обнаруживает, что его легкая, приятная и приличная жизнь давно мертва – пуста, лжива и бессмысленна. Герой Чехова на склоне лет тоже переживает духовную драму из-за отсутствия у него *общей* идеи.

Тоска по смыслу и цельному миропониманию как явление истории и культуры универсальна и мало похожа на привычку следовать руководящей идее, спущенной сверху. Однако деваться от родного российского шараханья некуда: после стойких иллюзий обладания истиной, после многих жертв, принесенных на алтарь «всесильного и верного учения», всякие разговоры о мировоззренческой цельности вызывают скуку (а судорожные попытки найти подходящую национальную идею накануне избирательных кампаний – даже и отвращение). Демократизация общества, начавшаяся в 1985 году и проходившая под знаком деполитизации и деидеологизации, была, помимо всего прочего, еще и освобождением от панического страха перед навязанными сверху «социалистическими идеалами». Но результатом освобождения от духовного тоталитаризма стала идиосинкразия по отношению к идеалам как таковым – дескать, в свободном цивилизованном мире в них никто не нуждается.

Как всегда, мы и здесь оказались впереди всех, первопроходчиками, революционерами. Однако именно те, кто способен мыслить свободно и цивилизованно, придают идейному фактору принципиальное значение. Люди сильны до тех пор, пока они отстаивают сильную идею – эту мысль выразил, как ни странно, Зигмунд Фрейд, знаток подсознания и психоанализа. Современный человек испытывает глубокую потребность иметь идеалы, считая их не роскошью и не прихотью, а основой выживания.

Говорят, у каждого времени свои психозы и своя психотерапия. Не из советских учебников марксизма-ленинизма, а из исследований западных психологов пришло понятие «экзистенциальный вакуум». Люди живут в цивилизованном и благоустроенном мире и выглядят внешне вполне благополучно, но почему-то испытывают глубинное чувство утраты смысла жизни. Человек жалуется на мучительное ощущение пустоты, но не знает ни того, что ему нужно (как бы утратив инстинкт жизни), ни того, что он должен (как бы лишившись инерции жизни), и теряет ясное представление о своих возможных желаниях. Он способен лишь хотеть того же, чего хотят другие, или того, чего хотят от него.

Американцы, которые в порядке самоиронии говорят о себе, что ходят к психоаналитику чаще, чем к дантисту, знакомы с эффектом «бесконечного психоанализа», то есть с состоянием, когда психоаналитическая кушетка становится для человека единственно достойным, волнующим, а то и захватывающим времяпрепровождением. И это не из Достоевского, и не из Кафки, а из практики психоаналитиков известен синдром «переживания бездны», то есть состояние тотальной смыслоутраты.

У нас принято с издевкой комментировать подобные переживания, если они присущи вполне обеспеченным и устроенным людям – мол,

нам бы ваши заботы. Еще большее недоверие (если не сказать подозрение) вызывает, например, стремление многих американских студентов «прийти к мировоззрению, которое бы сделало жизнь осмысленной». Сначала достигнем их уровня жизни, а потом будем с жиру беситься, говорят у нас.

Реальность, однако, опровергает опасную иллюзию, будто человек ищет идеи лишь тогда, когда жизнь его вполне устроена. Нет жесткой последовательности в удовлетворении потребностей: сначала поест, потом морализировать. Стремление к смыслу осознается как первичное человеческое побуждение: потребность в «общей идее» возникает именно тогда, когда человеку живется хуже некуда. А главное – человеческое бытие всегда ориентировано вовне на нечто, что не является им самим; человек несет ответственность за осуществление уникального смысла своей жизни, который, в свою очередь, обязательно связан с общественно значимой идеей.

Поэтому не аристократическое высокомерие, не интеллигентское антибуржуазное негодование, не завистливая злоба маргинала, а опыт выживания человека в обществе (особенно если оно пребывает в состоянии кризиса и депрессий) заставляет усомниться в громко звучащей сегодня идее накопления и потребления как единственном способе возрождения страны. Никогда и нигде – ни на процветающем Западе, ни даже в период первоначального накопления капитала в Европе, ни тем более в России – лозунги обогащения не становились официально декларируемой государственной или общенациональной идеологией. Явочным порядком, «втихаря» отдельные граждане или отдельные слои населения наживались за счет других слоев населения, но из чувства такта, социальной профилактики и общественной безопасности власть имущие и их идеологи стеснялись на столь низменном мотиве строить государственную идею. К тому же когда общество и государство попадали в действительно опасную, депрессивную ситуацию, оно, повинувшись чувству самосохранения, находило императивно необходимую и объединяющую всех сограждан цель – ту самую общую идею, которая, как свидетельствует история, могла творить чудеса.

Идея общенационального примирения бывших противников в гражданской войне позволила Испании почти без конфликтов перейти от эры Франко к режиму постфранкистской демократии. Идея искупления своей вины и приобщения к общеевропейским ценностям позволила послевоенной Германии преодолеть нацистское прошлое. Идея мирного, коллективного, почти семейного труда преобразила разгромленную, лишенную имперских амбиций оккупированную Японию: милитаристская держава, вдохновляемая идеей мирового господства и военного преимущества, полностью поменяла – при сохране-

нии культурной и национальной сущности – свой цивилизационный статус, добилась принципиально нового уровня социальной гармонии. В конце 20-х годов в Америке, в эпоху Великой депрессии, когда рухнула американская мечта о стране, где каждый думает только о себе, а от этого хорошо всем, когда принцип «laissez faire», то есть принцип невмешательства государства в экономику, поддержанный в свое время Джефферсоном, потерпел крах, президент Рузвельт выдвинул новую идею. Его «New Deal», новый подход, признавал недостаточными заботы о личном обогащении и предписывал государству более активную роль в организации экономической и социальной жизни с акцентом на социальную справедливость. Именно с «New Deal» Америка вышла из социального потрясения, а Рузвельт вошел в историю как один из самых великих американцев.

2

В этом смысле Россия в своей исторической ретроспективе является не только не исключением, а, скорее, правилом. Если Запад, где идея личного обогащения всегда подспудно присутствовала и не требовала специальной агитации, все же изыскивал и всякий раз артикулировал идейно возвышенные (а не вульгарно-меркантильные) задачи, то Россия вообще склонна была ставить перед собой лишь элитарные в идеологическом смысле цели. Российские правящие элиты, которые заботились о создании здоровой идеологии, никогда не опускались до лозунгов и призывов, связанных с романтизацией денег и богатства. Кажется, мировая литература не имеет убедительных примеров, когда бы о герое, делающем деньги и наживающем богатство, говорилось в положительном, поучительно-назидательном смысле (достаточно вспомнить шекспировского «Венецианского купца», героев Бальзака и Золя). Русская литература тем более не дает таких примеров.

Конечно, в русском мире вообще и в мире Достоевского в частности, где действуют, страдают и через одного погибают самые разные люди, деньги играют важную роль. И в том смысле, что их катастрофически не хватает для сколько-нибудь сносной жизни бедствующих, нищенствующих героев, таких, например, как Макар Деушкин, или как семейство Мармеладовых, или семейство Раскольниковых, или семейство Ихменевых. Конечно, бедняки Достоевского мечтают о наследстве, о выигрыше (как целое десятилетие мечтал выиграть и сам писатель, сгорая и самоуничтожаясь у рулеточных столов Европы), о богатых невестах или женихах. Но страдают, мучаются и гибнут герои Достоевского вовсе не за металл. Раскольников на произвол судьбы бросает вы-

краденные у убитой им старухи-процентщицы закладные «камушки» (которыми прежде надеялся осчастливить человечество). Богач Свидригайлов стреляется по причинам, не имеющим к деньгам никакого отношения, как не из-за них стреляется и бедняк Кириллов, как не из-за них вешается и «аристократ, пошедший в демократию» Ставрогин. Не за деньги убивают Шатова Верховенский со товарищи, а Рогожин – Настасью Филипповну, и репутация Гани Иволгина, который «доползет на Васильевский за три целковых» (8: 144), хуже некуда.

В глазах всего сообщества персонажей «Идиота» Ганя, вознамерившись взять в жены бывшую содержанку Тоцкого за хороший куш, зовется подлецом, бубновым валетом (при этом называет Настасью Филипповну, способную на экстравагантные и колоритные поступки в отношении денег, «чрезвычайно русской женщиной»; 8: 104). Аглая презрительно пишет ему: «Я в торги не вступаю» (8: 71). Но даже он видит в деньгах и в их накоплении не только цифру, но и Большую Идею, эквивалент мировоззрения. «Я, князь, – говорит он Мышкину, – не по расчету в этот мрак иду... по расчету я бы ошибся наверно, потому и головой, и характером еще не крепок. Я по страсти, по влечению иду, потому что у меня цель капитальная есть. Вы вот думаете, что я семьдесят пять тысяч получу и сейчас же карету куплю. Нет-с, я тогда третьегодний старый сюртук донашивать стану и все мои клубные знакомства брошу. У нас мало выдерживающих людей, хоть и всё ростовщики, а я хочу выдержать. Тут, главное, довести до конца – вся задача! Птицын семнадцати лет на улице спал, перочинными ножичками торговал и с копейки начал; теперь у него шестьдесят тысяч, да только после какой гимнастики! Вот эту-то я всю гимнастику и перескочу, и прямо с капитала начну; чрез пятнадцать лет скажут: “вот Иволгин, король Иудейский”. Вы мне говорите, что я человек не оригинальный. Заметьте себе, милый князь, что нет ничего обиднее человеку нашего времени и племени, как сказать ему, что он не оригинален, слаб характером, без особенных талантов и человек обыкновенный. Вы меня даже хорошим подлецом не удостоили счесть, и, знаете, я вас давеча съесть за это хотел! Вы меня пуще Епанчина оскорбили, который меня считает (и без разговоров, без соблазнов, в простоте души, заметьте это) способным ему жену продать! Это, батюшка, меня давно уже бесит, и я денег хочу. Нажив деньги, знайте, – я буду человек в высшей степени оригинальный. Деньги тем всего подлее и ненавистнее, что они даже таланты дают. И будут давать до скончания мира» (8: 105).

Конечно, мелкая шушера вроде Фердыщенко готова голыми руками вытащить деньги из огня, но люди идеи (даже идеи денег) этого никогда не сделают, как не сделал этого и Ганя: скрестив руки на груди, он с безумной улыбкой безответно смотрит на огонь, не в силах отвести

взгляда от затлевшейся пачки. «Но что-то новое взошло ему в душу; как будто он поклялся выдержать пытку; он не двигался с места...» (8: 145) А когда грохнулся в обморок, все увидели, что самолюбия в нем больше, чем жажды денег...

И даже Смердяков, убив отца, не может воспользоваться выкраденными деньгами и отдает их Ивану.

«– Эти деньги с собою возьмите-с и унесите...

– Конечно, унесу! Но почему же ты мне отдаешь, если из-за них убил? – с большим удивлением посмотрел на него Иван.

– Не надо мне их вовсе-с, – дрожащим голосом проговорил Смердяков, махнув рукой. – Была такая прежняя мысль-с, что с такими деньгами жизнь начну, в Москве али пуще того за границей, такая мечта была-с, а пуще всё потому, что “всё позволено”. Это вы вправду меня учили-с, ибо много вы мне тогда этого говорили: ибо коли Бога бесконечного нет, то и нет никакой добродетели, да и не надобно ее тогда вовсе. Это вы вправду. Так я и рассудил» (15: 67). Сцена, в которой, признавшись Ивану в убийстве, он отказывается от денег как от мечты о новой жизни, слишком красноречива, чтобы ее пространно комментировать, скажем лишь, что деньги потеряли для Смердякова всякий смысл, ибо рухнула Идея.

«– Ты не глуп, – проговорил Иван, как бы пораженный; кровь ударила ему в лицо, – я прежде думал, что ты глуп. Ты теперь серьезен! – заметил он, как-то вдруг по-новому глядя на Смердякова.

– От гордости вашей думали, что я глуп. Примите деньги-то-с.

Иван взял все три пачки кредиток и сунул в карман, не обертывая их ничем.

– Завтра их на суде покажу, – сказал он.

– Никто вам там не поверит-с, благо денег-то у вас и своих теперь довольно, взяли из шкатунки да и принесли-с.

Иван встал с места.

– Повторяю тебе, если не убил тебя, то единственно потому, что ты мне на завтра нужен, помни это, не забывай!

– А что ж, убейте-с. Убейте теперь, – вдруг странно проговорил Смердяков, странно смотря на Ивана. – Не посмеете и этого-с, – прибавил он, горько усмехнувшись, – ничего не посмеете, прежний смелый человек-с!

– До завтра! – крикнул Иван и двинулся идти.

– Пойдите... покажите мне их еще раз.

Иван вынул кредитки и показал ему. Смердяков поглядел на них секунд десять» (15: 68).

Жизнь утратила всякий смысл, наутро Смердякова нашли у стенки висевшим на гвоздочке, а на столе лежала записка: «Истребляю свою жизнь своею собственною волей и охотой, чтобы никого не винить» (15: 85).

Деньги в мире Достоевского – предмет мечты и вожделения, они кажутся решением всех проблем, они провоцируют на преступление, подстрекают к дурным поступкам, толкают на безумства и чрезмерности. Они лучше многого другого проверяют человека на подлость или благородство, честь или бесчестье. Но они – только инструмент, только лакмусовая бумажка, универсальный тест. Не менее, но и не более. Ценность денег велика, но не абсолютна. *Весь* человек проверяется на иных широтах. На том поле битвы, где дьявол с Богом борется, деньгам места нет.

3

Русское общество выходило из политических передраг и смутных времен, вынося обильный запас новых политических понятий. «Это печальная выгода тревожных времен, – писал о русских смутах В.О. Ключевский, – они отнимают у людей спокойствие и довольство и взамен того дают опыты и идеи... Это и есть начало политического размышления. Его лучшая, хотя и тяжелая школа – народные перевороты. Этим объясняется обычное явление – усиленная работа политической мысли во время и тотчас после общественных потрясений»¹.

Русская история была подвижна «идеями века», которые апеллировали к народным идеалам и национальным чувствам. Собираение русских земель вокруг единого и сильного центра, укрепление государственности, освоение отсталых окраин, защита Отечества от иноземных захватчиков, помощь братьям по вере, движение за отмену крепостного права – эти и другие высокие стремления освещали смысл жизни и смысл смерти многих поколений. Даже воспитанная в духе политического космополитизма в европейском мелкокняжеском мирке с его идеалами карьеры и с его ожиданиями вакантных престолов, Екатерина Великая, стремясь сгладить впечатление после мятежного захвата власти, своим Манифестом 1762 года возвестила о новой силе, имевшей впредь направлять государственную жизнь России. Отныне всевластная и ничем не ограниченная воля самодержца рассматривалась как зло, пагубное для государства, и каждый подданный должен был повиноваться не произволу, а строгой законности. (Нечего и говорить, что принцип этот то и дело нарушала сама императрица, но ей – перед лицом просвещенной Европы – важна была хотя бы декларация о намерениях.)

Каждое новое царствование, даже если оно демонстрировало не новую идею, а идею преемственности, ощущало потребность так или иначе ее манифестировать. Можно даже утверждать, что российская власть, которая признавала законом только саму себя, но оставалась без идеологии, терпела исторический крах. Знаменитая синкретическая форму-

ла графа С.С. Уварова: «православие, самодержавие, народность», как бы ни оценивать это единство, держала империю. Империю, как известно, существуют, пока наличествует некая объединяющая сверхидея, обладающая, кроме теоретического аспекта, доступного немногим людям, и определенной энергетикой, ощущаемой людьми. Эту черту в значительной степени унаследовали даже большевики: если в начале своего правления, чудовищно эксплуатируя естественное стремление человека к осмысленной и социально ориентированной жизни, они предлагали одну за другой «идеи века» (электрификацию, индустриализацию, коллективизацию и т.д.), то конец советской империи ознаменовался прежде всего вырождением официальной идеологии.

Без большой идеи, свидетельствует русская литература, не живут ни великие нации, ни значительные личности. Главное, понять, какая из них – самая большая.

«Ну, в чем же великая мысль? – спрашивает Аркадий Долгорукий у Версилова.

– Ну, обратить камни в хлебы – вот великая мысль.

– Самая великая? Нет, взаправду, вы указали целый путь; скажите же: самая великая?

– Очень великая, друг мой, очень великая, но не самая; великая, но второстепенная, а только в данный момент великая: наестся человек и не вспомнит; напротив, тотчас скажет: “Ну вот я наелся, а теперь что делать?” Вопрос остается вековечно открытым» (13: 173).

Настоящая большая идея выше миллиона, не подвластна ему.

«– Ты Ивана не любишь, – говорит Алеша семинаристу-карьеристу Ракитину. – Иван не польстится на деньги.

– Быдто? А красота Катерины Ивановны? Не одни же тут деньги, хотя и шестьдесят тысяч вещь прельстительная.

– Иван выше смотрит. Иван и на тысячи не польстится. Иван не денег, не спокойствия ищет. Он мучения, может быть, ищет.

– Это еще что за сон? Ах вы... дворяне!

– Эх, Миша, душа его бурная. Ум его в плену. В нем мысль великая и неразрешенная. Он из тех, которым не надобно миллионов, а надобно мысль разрешить» (14: 76).

Историкам новой России еще предстоит подвести итоги неоднозначного воздействия на страну и мир той «общей» (большой) идеи, которая вошла в жизнь страны два десятилетия назад. По всем признакам и историческим прецедентам новая реальность остро нуждалась если не в идеологии, то хотя бы в системе координат. Меж тем отсутствовала даже главная линия. Центральный русский вопрос – это вопрос «зачем?», а не «что делать?» и «кто виноват?», которыми мучились революционеры-демократы XIX века, назвав эти вопросы к тому же

«проклятыми». И прежде чем не будет дан ответ на главный вопрос, нет смысла отвечать на второстепенный. «Зачем?» – это вопрос смысла жизни: зачем живет человек, зачем живет государство, зачем живет народ.

Без решения кардинального вопроса о смысле исторического существования российского государства бессмысленно заниматься каким бы то ни было реформированием, связанным с жизнедеятельностью этого государства. Одно дело, когда ставится цель, чтобы Россия кое-как выживала, влача жалкое существование среди прочих стран-изгоев; другое дело, когда Россия мыслится великой державой, имеющей свои стратегические национальные интересы; третье – когда государственные заботы направлены прежде всего на то, чтобы Россию не стерли с лица земли, чтобы воды истории ее не поглотили, чтобы она удержалась со своим названием, со своими народами, со всеми своими природными и человеческими ресурсами.

Если все же признать в качестве основополагающей цели задачу приобщения России к «нормальным», цивилизованным странам Европы и Америки, то почему эта задача решалась в течение перестроечных и постперестроечных лет таким образом, что большинству населения во многих отношениях жить стало хуже, чем до реформ? Если краеугольным камнем реформирования страны признан принцип невмешательства государства в имущественные отношения граждан (пусть и скомпрометированный исторически), то почему именно государство для начала обесценило все сбережения граждан, лишив их какой бы то ни было возможности пользоваться экономической свободой? Если общепринятым считается утверждение, что свободная конкуренция и рыночные отношения работают там, где есть условия равного старта, почему же как раз перед тем, как запустить механизмы рынка, с линии старта были бесшумно убраны миллионы «лишних» конкурентов?

Все перестроечные годы необеспеченность, беспомощность, а порой и абсурдность реформ была вопиющей (не с этим ли связана и их малая эффективность?). Убогий интеллектуальный уровень постановки вопроса о целях и смыслах реформ соответствовал столь же убогой полемике об их результатах; так называемые сторонники реформ в качестве единственного аргумента ссылались на отсутствие очередей и обилие продуктов в магазинах, так называемые противники реформ всегда протестовали, ссылаясь на недоступность большинства товаров и услуг из-за высоких цен.

Но даже если представить себе некое согласие между сторонниками и противниками, то их общий идеал выразится формулой: *хотеть и мочь купить*. Когда – вопреки собственной исторической и духовной традиции, вопреки даже поучительному опыту Запада в его стремлении не только к утилитарному бытию – во главу угла ставится стяжатель-

ство, нечего удивляться, что самые экстравагантные, но не потребительские цели будут находить в России своих приверженцев. Как природа не терпит пустоты, так человек едва сможет долго выносить бессмыслицу пустых дразнилок типа «мы сделаем ваш ваучер золотым» (на заре грандиозного умственного надувательства) или «купим всё» (в период его зрелости). Дело не в том, что человека все равно надуют или он сам обманется, а в том, что ни в какие иные игры с ним никто не играет.

Наши соотечественники не ходят к психоаналитикам, не употребляют мудреных терминов, вроде «экзистенциальный вакуум», но жалуются на пустоту и усталость, апатию и уныние. Разве только сериалы (прежде мексиканские, ныне отечественные) помогают не то чтобы обрести смысл жизни на каждый день, а просто скоротать время. Но если кто-нибудь, наскучив и сериалами, потянется митинговать, бредить далекими военными походами или тосковать по державному величию, вряд ли следует немедленно объявлять его бунтовщиком – он, как умеет, пытается лишь осуществить свое право на осмысленное бытие.

Родить, осознать и принять общую идею – прерогатива не государства, но общества. Однако, завистливо оглядываясь на Запад, общество не торопится использовать его антикризисный опыт: у нас нет виноватых, но все обвиняют друг друга; у нас не найдешь правды, но все доказывают свою правоту; у нас каждый эпизод общественного примирения предваряется потоком взаимных оскорблений. Находясь в состоянии раскола, оно вряд ли может ориентироваться на исторические прецеденты и вдохновляющие примеры. История вообще в этом случае воспринимается как политика, обращенная в прошлое. Для той части общества, которая ставит своей целью реставрацию СССР и установление социализма с человеческим лицом, идеологию сочинять не нужно – она уже есть, разработанная в подробностях и проверенная практикой. Но тому, что сейчас происходит в России, нужны иные исторические аналоги – или история вообще здесь не советчик.

Тот факт, что процесс становления новой государственности не отягощен ни грубым промыванием мозгов, ни мягкой идеологической демагогией, ни вообще какой бы то ни было мировоззренческой концепцией, может, разумеется, радовать, но заставляет задуматься об общих поставленных целях. Какой путь определен для России, если в качестве главной и единственной жизненной цели человеку предлагается лишь как-нибудь, на свой страх и риск, разжиться денежками? Когда множатся миллиардеры, неизвестно откуда взявшие свои миллиарды, и именно они становятся новой элитой, со своими недоступными приоритетами, со своей средой обитания и недостижимым уровнем жизни. Государство, признавая эту данность, как бы дает понять, кто истинный герой времени, каковы высшие цели и идеалы существования человека.

Спасительные идеи не валяются где попало. Они рождаются, когда в них есть реальная потребность. Когда нынче рассуждают о выживании России, о сбережении народа, о борьбе с бедностью, речь идет, конечно, не только о физическом воспроизводстве населения, не только о преодолении демографической катастрофы, не только о сотнях тысяч беспризорных детей. Речь идет о духовной потребности людей осознать общую цель, чтобы осуществить уникальный смысл своей жизни.

4

На протяжении веков нравственность в политике считалась синонимом близорукости и глупости, в то время как беспринципность, двуличие и вероломство – ее необходимыми слагаемыми. Мысль о том, что простые законы нравственности и справедливости, по которым стараются жить частные лица, можно перенести и на отношения между странами и народами, – явилась стержнем нового политического мышления, предложенного М.С. Горбачевым своей стране и всему миру.

Традиционное политическое мышление требует бороться за обеспечение безопасности прежде всего своей страны, новое мышление стремится ко всеобщей международной безопасности, которая есть гарант и национальной безопасности. Традиционное мышление учит, что для блага отечества можно и должно использовать противоречия между другими государствами, сталкивать их и таким образом ослаблять. Новое мышление учит, что интересы своего государства можно и должно приносить в жертву общечеловеческим ценностям и интересам. Традиционная мораль в политике – это не более чем мораль выживания, мораль по необходимости. Политическая мораль нового мышления – это выполнение моральных норм на основании внутренних потребностей общества. Утверждение такого типа морали в политике означало бы создание качественно иного мирового порядка, основанного на признании единства целей и задач человечества.

Новое политическое мышление, глобальное по своей природе, – это защита нравственных принципов, которые веками вырабатывало человеческое сознание, и приоритет общечеловеческих духовных ценностей над классовыми, национальными, групповыми, клановыми и политическими. За каждым человеком должны быть признаны неотчуждаемые права, обозначенные во «Всеобщей декларации прав человека». Она как раз исходит из представления о единой человеческой семье, в которой нации и государства всего лишь преходящие исторические формы.

Фактически провозглашенное Горбачевым новое мышление пытались применить в полном объеме «Декларацию прав» и внутри страны,

и во внешней политике. Это была попытка ненасильственной революции в сфере гуманизма – начинание беспрецедентное в нашей истории. Сталинский социализм декларировал *право пролетариата на революционное насилие*, горбачевский социализм с человеческим лицом этот тезис отвергал, как отвергал он и ленинский тезис: нравственно то, что полезно делу мировой революции.

Новый гуманизм, переведенный из рамок доктрины в ранг практики, давал основания надеяться на прорыв в будущее – ведь это был сознательный выбор между политическим идеализмом и политическим цинизмом в пользу первого. Новый гуманизм должен был привести к политическому и моральному выхолащиванию фактора силы, даже если кто-то и где-то его наращивает реально. И если новое политическое мышление действительно не содержало в себе никакого второго, тайного смысла и не было всего лишь риторикой для непосвященных, это было вполне христианское намерение – начать переделывать мир с себя. С одной только поправкой, что христианство не мыслит масштабами государств и внешнеполитических инициатив, оно мыслит категориями личной ответственности и совести. И с другой поправкой – что миссия выполнима при условии взаимности, то есть при поддержке внутри страны и со стороны мирового сообщества.

Люди «горбачевского призыва» искренне доверились благому начинанию. Вот фрагмент Морального воззвания участников советско-американского семинара «Социальные изобретения для третьего тысячелетия», проходившего в Москве, в Советском комитете защиты мира, в марте 1987 года. «Стереотипы вчерашнего дня не могут нас спасти. Национальная безопасность, национальный суверенитет – прекрасные вещи. Но сегодня нужно что-то еще. Нужно пойти на риск доверия к людям, говорящим и думающим не по-нашему. Нужен дух диалога, нужна культура несогласия, споры без ненависти. Без этого невозможен нравственный, а за ним и политический переход на глобальную точку зрения. Солидарность человечества выше всех частных принципов. <...> Каждого, кто согласен с нашей оценкой положения и разделяет нашу тревогу, мы призываем стать участником похода за нравственное оздоровление».

На конгрессах и мирных конференциях провозглашались новые политические приоритеты. Активисты гласности отвергали старые представления о патриотизме и гражданственности. Сегодня, говорили они, патриотическое воспитание – это воспитание человека, любящего свою родину как частицу мира и любящего весь мир как родину. Быть гражданином – значит не рыть другому яму, не пророчить ему неизбежную гибель. Они утверждали, что СССР больше никому не угрожает и потому армия не нужна. «Мы больше не империя зла, мы открыты всему миру. Это раньше мы были голодные волки, теперь – вполне мирные

овцы». Они доказывали военным специалистам, что все зло – в военно-промышленном комплексе, который пожирает все силы. Они изо всех сил работали на разрядку напряженности и лучшим результатом своей деятельности считали то доверие, которое обретет Запад по отношению к СССР.

Надо сказать, что мир им поверил. Вернее – разглядел всё их бесподобное легкомыслие и их невероятную глупость. Они таки доказали Западу, что не хотят больше быть мировым жандармом. Так они стали дымовой завесой для тех, кто под шумок пустил страну по миру. М.С. Горбачев вырабатывал общечеловеческое мышление для России и для всего мира, но этот мир, на который люди перестройки хотели равняться, не воспользовался гуманистической моделью и преподал урок кулачного права. Как только русские стали слабыми, их задвинули на периферию мира как страну, с которой не надо считаться.

Эпоху Горбачева назвали эпохой поисков согласия, эпохой компромисса в эру тотальных опасностей, компромисса, который стал новой, позитивной ценностью. Новое мышление назвали недостижимым идеалом, но идеалы – это ценности особого рода и общество нуждается в них. Но на практике все выглядело совершенно иначе. Мировое сообщество показало, что нет единой шкалы общечеловеческих ценностей. Потому так различаются оценки исторической роли Горбачева.

Процитирую одну из них. «Прорыв Горбачева, по сути, является выходом за пределы русско-советской парадигмы цивилизации, которая всегда основывалась на территориальной экспансии, мессианизме, а когда нельзя было расширяться территориально, то на самоизоляции. Это была цивилизация, которая консолидировалась за счет постоянного поиска внешнего и внутреннего врага, за счет военного патриотизма. Как Горбачев совершил этот прорыв? Завершив “холодную войну”, начав диалог с США, предоставив свободу Восточной и Центральной Европе, дав карт-бланш объединению Германии, он фактически ликвидировал возможность для существования русской цивилизационной модели как альтернативы либеральной демократии. Он осуществил то, что американский философ Фрэнсис Фукуяма назвал “концом истории”, имея в виду крах всех других цивилизационных сценариев и победу одного – либерализма. Именно Горбачев является отцом конца истории и разрушителем многовековой цивилизации, которая так долго пыталась бросить вызов Европе. Одновременно он является и отцом глобализации, при которой девальвируются такие понятия, как суверенитет, территориальная целостность, военная сила. <...> Это неизбежно будет конец России, как мировой державы в классическом смысле, как военизированного сверхгосударства, произвольно устанавливающего свои правила для остальных мировых игроков»².

Эта оценка – нечаянный и искренний либеральный комплимент М.С. Горбачеву. Но лучше любая хула, чем такая хвала. Ведь тогда вся риторика о новом мышлении есть всего только новая технология, хитроумный и эффективный способ разрушения ослабевшего государства чужой, более мощной силой. *Оказалось, что вызовы глобализации в XXI веке – это не совсем то, или совсем не то, что предполагало новое мышление.*

В устах Горбачева «глобализм» означал мышление, озабоченное общечеловеческими проблемами современности, и в этом смысле выступал как триумф гуманизма. Подлинными глобалистами были те наследники гуманистической классики, которые говорили о единой исторической перспективе для всего человечества по пути к миру и прогрессу. Новейший глобализм переступает через гуманизм как через пережиток устаревшей ментальности. Он не признает единства человечества и выталкивает пять шестых его на обочину существования. Согласно этой новой модели, мир делится на лидирующее «мировое общество» и «рушащиеся государства», которые считаются фактором риска и слабым звеном мироздания. Новейший глобализм делит все население Земли на *основное* (обеспечиваемое сырьем – 1 миллиард), *полуосновное* (около 1 миллиарда) и *вспомогательное*: оно нерентабельно в условиях индустриализации, оно не окупает вложенных в него средств для производства и для жизни.

«Пряников сладких», как и прогресса, всегда не хватает на всех – такова грубая изнанка нового глобализма. Жизненные ресурсы человечества глобализм стремится вырвать из рук неумелого большинства и приватизировать в пользу привилегированной расы (пресловутого «золотого миллиарда»). В этой, фигурально выражаясь, нехватке бензина – и обнаруживается убогое кредо, банальная тайна и вульгарная эзотерика нового мирового порядка, который, согласно своей проразверстке, сортирует страны и народы, выявляя «неэффективные» и «неадаптированные». Те, кто призывал военных разоружаться, теперь должны кусать локти, вспоминая былую военную мощь СССР и его политическое влияние в мире. Но характерно: пока активисты гласности мечтали о стране без армии и без оружия, какие-то молчаливые аккумуляторы люди приватизировали промышленность не в пользу демократии, а в пользу своего кармана.

И все же в риторике ранней перестройки подразумевалась модель, когда в общую копилку человечества вносятся проекты и тезисы, обобщающие исторический, культурный, хозяйственный, социальный, политический, национальный, религиозный опыт различных народов и государств. Горбачев предлагал мировому сообществу перешагнуть через то, что разделяет, ради общечеловеческих интересов. Надо по-

лагать, он рассчитывал на встречное движение мирового сообщества. Однако поведение других государств диктовалась не новым, а старым мышлением, то есть соображениями выгоды, использованием своей силы против чужой слабости. Модель глобализации по Горбачеву осталась неиспользованной возможностью. *Субъектом* глобализации отныне является только одно действующее лицо международной политики, остальным отводится роль *объектов* глобализации. Народам мира, которые в течение тысячелетий шли своим собственным путем, сегодня предлагается отказаться от своих мировоззренческих установок и принять «новый мировой порядок», постепенно обретающий безраздельный контроль над остальными странами и культурами мира.

Нет ничего более далекого от принципа общечеловеческих ценностей, чем принцип однополярного мира. Это прямо противоречит Всеобщей декларации прав человека, в частности статье 30-й: «Ничто в настоящей Декларации не может быть истолковано как предоставление какому-либо государству, группе лиц или отдельным лицам права заниматься какой-либо деятельностью или совершать действия, направленные к уничтожению прав и свобод, изложенных в настоящей Декларации». Смысл эпохи Горбачева – в том, что для общественно активных граждан это было временем надежды, высокого духовного подъема и такой интенсивности бытия, которая редко выпадает на долю рядового человека. Смысл нового мышления в его нравственном измерении, как ни парадоксально это прозвучит, видится прежде всего в том, что сам Горбачев, когда ему надо было защищаться, не применил силу и не пролил кровь, добровольно покинув вершины власти.

В этом неприятии насилия и жестокости ради самосохранения и была логика нового мышления, в ней был смысл судьбы Горбачева, в этом был и ее политический тупик. Этот раунд Россия проиграла, и на данном историческом отрезке времени российская судьба общечеловеческих ценностей весьма незавидна. Базовые ценности, которыми дорожит народ – социальная справедливость, равенство, вера в победу добра, – никак не совпадают с тем, что является ценностью глобальной элиты. Дискредитированы все понятия, которые пришли с перестройкой, – демократия, свобода слова, равенство возможностей; люди чувствуют себя обманутыми и преданными. Особенно коварным оказался термин «ценность». Произошла монетизация этого понятия – оно стало восприниматься в духе дензнаков.

Нынешнее время – время слома ценностной иерархии, время постмодернистской деконструкции и развоплощения метафор. Еще в первую шоковую терапию разговоры о *либеральных ценностях* получили в народе интерпретацию ценностей, которые украдены либералами.

Если что-то в нашей стране сегодня называют ценностью, это что-то обречено быть конвертировано в деньги и разворовано. То же и с общечеловеческими ценностями: теперь это планетарные ресурсы для призеров мирового первенства в аспекте их присвоения. Вернуть ценностям понятиям их исконное смысловое поле – достойная задача для российских политиков и российских гуманитариев.

5

Бог, создавая человечество, не думал в терминах национальности: лишь в наказание за гордыню он разделил прежде единый народ на языки и рассеял его по всей земле. В общении с Богом национальность роли не играет, и на вершинах человеческой культуры, начиная с Будды и Христа, человек не прилепляется к определенному этническому коллективу. Существует, однако, лукавая интеллектуальная традиция: трактовать апостольское – «нет ни Эллина, ни Иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, Скифа, раба, свободного, но всё и во всё Христос» (Кол. 3, 11) – не как равенство всех людей *перед Богом*, а как этический запрет признавать тот факт, что эллины, иудеи, варвары и скифы – суть разные народы, с разными судьбами *перед лицом истории*. Национальность – краеугольный камень мировых религий. И каждый народ на высоких ступенях самопознания мыслит о тайне своего национального предназначения, хочет осуществить себя так, как это было решено Свыше.

XIX век, который иногда называют веком торжества национализма, легитимизировал и поднял на высокий пьедестал национальное чувство. Вслед за другими европейскими странами, культивировавшими свои национальные идеи, отечественные философы сформулировали русскую идею, как бы наметив контуры Божественного проекта, который есть или может быть в отношении русского народа.

Русская национальная мысль издавна ощущала потребность и долг разгадать загадку России. Имелись предчувствия, что России предназначены великие мировые цели. О ней помышляли как о фантастической стране, чей дух устремлен к абсолютной, безграничной свободе и абсолютной, вечной любви, а душа, не признающая рутинного порядка, мещанского благополучия и буржуазной корысти, сгорает в пламенном искании правды и дерзновенном искании конечных вопросов бытия. Страна скитальцев и мессий, мистиков и пророков, страна, где жуткая стихия мятежа созревает в недрах покорной, инертной человеческой материи. Страна загадочных противоречий, где одинаково верны взаимоисключающие о ней тезисы, ибо только здесь обитают странники, что «града своего не имеют, но града грядущего ищут», только здесь

рабство рождается из свободы, государственный колосс из анархии, самый неистовый атеизм из самого истового религиозного чувства. В то же время только русский народ сможет познать и полюбить открытую религиозному сознанию предков идею воплощения Божества во все-ленской Церкви и истории, только он сможет осуществить социальную Троицу – триединство церкви, государства и общества. Такова русская религиозная классика, таков – конспективно – феномен, именуемый «русской идеей».

«Примирительная мечта вне науки» – так назвал Достоевский раздел «Дневника писателя», где определил русскую идею как идею *всемирного человеческого единения*. Да это и была не столько идея (которая, овладевая массами, становится силой зла), сколько свободное умствование, духовное переживание, религиозное предчувствие и гражданское упование. Он выносил на люди одно из самых спорных и щекотливых положений своей философии: «Всякий великий народ верит и должен верить, если только хочет быть долго жив, что в нем-то, и только в нем одном, и заключается спасение мира, что живет он на то, чтоб стоять во главе народов, приобщить их всех к себе воедино и вести их, в согласном хоре, к окончательной цели, всем им предназначенной» (25: 17). Однако в этой *примирительной* мечте не было ни экспансии, ни самодовольства, ни агрессии. «Вера в то, что хочешь и *можешь* сказать последнее слово миру, что обновишь наконец его избытком живой силы своей, вера в святость своих идеалов, вера в силу своей любви и жажды служения человечеству, – нет, такая вера есть залог самой высшей жизни наций, и только ею они и принесут всю ту пользу человечеству, которую предназначено им принести, всю ту часть жизненной силы своей и органической идеи своей, которую предназначено им самой природой, при создании их, уделить в наследство грядущему человечеству. Только сильная такой верой нация и имеет право на высшую жизнь» (25: 19).

В причастности к своим корням, традициям, к своему родному и кровному носителю русской идеи видели источник силы и нравственного здоровья. Они утверждали, что русский народ, как и каждый другой народ, *особый*, и в этой своей особости – ценный вариант развития человечества. В любом случае национальная идея мыслилась ее разработчиками источником внутренней национальной силы, а не показателем слабости и неполноценности. Однако в XX веке русские как этнос получили сильнейший стресс, волей-неволей оказавшись стрелочниками в крушении собственной истории. «Русский народ в целом потерпел в долготу XX века – историческое поражение, и духовное, и материальное. Десятилетиями мы платили за национальную катастрофу 1917 года, теперь платим за выход из неё – и тоже катастрофический. Мы сломали

не только коммунистическую систему, мы доламываем и остаток нашего жизненного фундамента» – так оценил А.И. Солженицын размеры национального стресса. Россия, как ее увидел писатель в 1998-м, стоит на последних рубежах перед бездной национальной гибели, перед угрозой утраты *ещё* населения, *ещё* территории, *ещё* государственности. «И последнее, что у нас ещё осталось отнять, – и отнимают, и воруют, и ломают ежедневно – сам Дух народа. Вот этой разбойной, грязнящей атмосферой, обволакивающей нас со всех сторон»³.

Русским, унаследовавшим российское государство от Советского Союза, пришлось принять на себя не *долю*, а *всю* ответственность за издержки отечественного социализма. В восприятии Запада «советское» привычно (и спекулятивно) отождествлялось с «русским», то есть лишь с одним из народов многонациональной Страны Советов. Знаменитое «Русские идут!» неминуемо должно было стать бумерангом, и оно так больно ударило по самолюбию, как только появилась новая политическая реальность: русские уходят. Русские танки, следующие в восточном направлении, разжавшийся русский кулак, отпадение «российских окраин» (Прибалтика, Средняя Азия, Закавказье) стали факторами для многих русских деморализующими. А если учесть то обстоятельство, что миллионы их в одночасье и не по своей воле оказались изгнанниками-нацменами на чужих территориях – со всеми последствиями подобного потрясения, – можно представить себе размеры национального унижения. Да что унижения: идеологи русского патриотизма твердят о глобальной национальной катастрофе. Внушить же нации, что она смертельно оскорблена и повержена в прах, все годы преобразований было проще простого – ведь и у себя дома, лишенной сбережений и социальной защиты, ей приходилось хуже многих других.

Распалаться по поводу оскорбленного национального достоинства – все равно что регулярно травиться: рано или поздно яды мести, жажда реванша разрушат больной и ослабленный мозг. Логике национального унижения, порочную и самоубийственную, трудно урезонить запретами и устрашениями – ей можно лишь противопоставить другую логику. Да, мы испытываем унижение – но из-за прежних ложно направленных и преувеличенных амбиций. Да, мы пали в собственных глазах, но не потому, что прежде очень высоко стояли, а потому, что нам перестали говорить о нашем величии. Да, мы обижены, как бывает обижен ребенок, который, повзрослев, вдруг обнаруживает, что он отнюдь не самый умный и не самый главный. Теперь, отрешаясь от ложных представлений о самих себе, мы лбом ударились о реальность. Больно, обидно, и хочется, чтобы пожалели, но это уже не логика унижения, это логика возвращения в реальность, переживаемая как унижение. У такой логики – если вспомнить исторические прецеденты – есть шанс.

Поражение в Первой мировой войне немцы пережили как жесткое национальное унижение. Чувство обиды, повернутое злобой на весь остальной мир, развилось в мощное национальное движение. Оно и породило Гитлера. После Второй мировой войны, когда рухнул «тысячелетний рейх», разгромленная Германия, поделенная на зоны оккупации, униженные, деморализованные немцы имели все основания снова и снова ковыряться в ранах. Но и нация, и страна нашли в себе силы осознать, что в своем унижении они виноваты сами. Немецкий патриотизм, стукнувшись лбом о реальность поражения и позора, обратился к внутренним проблемам, к мирному творчеству, к цивилизованному развитию. Результаты были получены еще при жизни воевавшего поколения.

Между тем Первая мировая война разорила Германию меньше, чем коммунистический и посткоммунистический режимы разорили Россию. А значит, русский патриотизм, который культивируется как протест против национального унижения, в целях компенсации может соблазняться сильными и быстродействующими средствами и заочет манипулировать специфическими атрибутами национального достоинства в виде сильной армии и мощного оружия. Все же русскому патриоту следует усвоить: Россия, при всем ее природном потенциале, великой культуре и нефтяных ресурсах, пока еще одна из самых неблагоустроенных стран Европы, с колоссальной разницей уровня жизни между столицей и провинцией, между самыми богатыми и самыми бедными. Москва стала самым дорогим городом в мире и давно перехватила у Нью-Йорка малопочтенный титул Города Желтого Дьявола, а рост благосостояния москвичей имеет один стойкий показатель – количество миллиардеров и криминальных миллиардов.

В народном сознании, традиционно не слишком уважающем культ богатства, образ новобогачей и их капиталов имеет шанс слиться с понятием бандитского капитала и бандитизма как такового, путившего корни в «лихие девяностые». Важно, что вопрос, какой национальности эти капиталы, а также их обладатели, интересует общество в последнюю очередь и роли фактически не играет. Так чувства национальные вместе с национальной идеей стихийно переключаются в классовый и социальный регистр. Россия за считанные годы превратилась в страну вопиющих классовых противоречий, по сути дела, стала классовым обществом, с разной инфраструктурой, идеологией, ценностными приоритетами, средствами массовой информации, культурой и даже верой. Парадоксальным, но вполне ожидаемым образом верхний слой (класс), обеспечив себе высочайший, никогда не виданный в России уровень потребления, востребовал самые низкие сорта культуры, заменив ее досугом, искусством – индустрией развлечений, религию – клубом и сектой, веру – оккультизмом. Парадоксальным, но тоже ожидаемым образом

вся сфера культурного и даже духовного обслуживания стала ориентироваться на этот слой (класс), повсеместно насаждая его стандарты – пресловутый глянец и гламур. «Общей идеей» в ее карикатурном, пародийном варианте стала идея «фэшн» (fashion) – моды – на людей, дома, земельные участки, машины, образ жизни, чувства и мысли, поведение и времяпровождение.

Перед русским этносом (как и перед другими этносами в составе России) появилась новая непредвиденная задача, своего рода общая, объединяющая идея: познать самих себя и свое национальное естество в условиях беспрецедентного социального неравенства, в ситуации колоссального разрыва уровней жизни, которые обнажают разницу в восприятии России как Отечества и России как зоны свободной лицензионной охоты. «Страшней того, как успели разграбить и распродать Россию, – откуда выросло из нас это жестокое, зверское племя, эти алчные грязнохваты, захватившие и звание «новых русских»? с таким смаком и шиком разжиревшие на народной беде? Ведь еще губительней нашей нужды – это повальное бесчестие, торжествующая развратная пошлость, просочившая новые верхи общества и изрыгаемая на нас изо всех телевизионных ящиков»⁴.

6

С точки зрения интересующей нас общей (национальной или социальной) идеи сегодняшнее российское телевидение (и федеральные каналы, и частные) – место гиблое. Пресловутый ящик – это поле битвы за рекламу, за голоса избирателей во время избирательных кампаний, за рейтинги, за имиджи, то есть за большие и невероятно большие деньги. Серая зона, сфера применения грубых политехнологий, массового надувательства, хитрой и нечестной игры. Скандал, драка, потасовка, оскорбления в телеэфире с точки зрения рядового телезрителя – это стыд и позор. А для авторов и ведущих передачи – это успех, рейтинг. Значит, и зовут на эфир тех, кто обеспечит искомый эффект: на телевидении все скандалисты на учете и на листе ожидания. Телевидение лишено стыда и смущения, даже чувства собственной безопасности; в одном новостном блоке могут соединиться убитые и раненые, жертвы военного конфликта или теракта с участниками презентаций, юбилеев, шоу, где едят, пьют и радуются жизни «столичные штучки» (трудно забыть, к примеру, как отмечало телевидение новый 1995 год, когда в часы штурма Грозного, приуроченного ко дню рождения министра обороны Грачева, пили-ели-веселились и сторонники, и противники этой войны, все вместе, без рефлексий и предрассудков).

Это значит, что телемассовка и телеперсонажи, независимо от политических убеждений и идеологии, находятся по одну сторону жизни. А те, кто погибал под пулями и бомбежками – по другую сторону. Самое отвратительное и бесстыдное, что когда-либо приходилось видеть по телевидению, это то, как воюющая страна не стеснялась презентовать по ящику свои торжества, как нувориши рвались продемонстрировать свою добычу под грохот канонады. Пир во время чумы продлился целое десятилетие, показав, что именно телевидение стало для «тусовки» *общей идеей*: если ты бываешь в ящике, ты жив и в порядке. Если тебя там нет – значит, тебя нет вообще.

Телевидение как институт – это вещь в себе, и занято оно не страной, а собой, только собой. Здесь делаются состояния, здесь ходят большие деньги, и мимо хищников телевидения они не проплывают просто так. Вся панорама телевизионной жизни, вся драматургия становления ТВ в новой России, описанная экспертами и телекритиками, свидетельствует о том, насколько это опасная сфера. Потому вопрос, нужно ли такое ТВ народу и стране – риторический и вполне праздный: оно самодостаточно и самоигрально. Оно играет свою игру без зрителей и, кроме рекламодателей, ни в ком не нуждается. В идеале посторонние на ТВ не нужны: поскольку телеведущие провозглашены звездами, являются светскими персонажами и заполняют глянцевого издания, они могут встречаться на своих эфирах и беседовать друг с другом, без ущерба для рейтинга, но с пользой для имиджа.

Нынешнее телевидение больно попугайничаньем: взятые напрокат лицензионные азартные игры, тупой юмор (теперь сменившийся развязным «смехом без правил» и нахальным «бла-бла-шоу»), визгливые «скандалы-интриги-расследования», подноготные сплетни о звездах, «вся правда» об их тайных детях, сестрах, братьях, родителях, любовниках и любовницах, мужьях и женах, друзьях и подругах. И кажется, звезды, зная правила игры, за редким исключением, потакают телескандалистам, пускают (а то и зазывают) бульварных репортеров в свою жизнь, охотно сотрудничают с ними, живя в слаженном телесимбиозе. «Пусть говорят» – это символ жизни телетусовки; пусть говорят и говорят, только пусть не молчат: это закон существования ТВ-персон.

В то же время мало-мальски культурный зритель, говоря о качестве отечественного телевидения, непременно скажет: в новостных программах не видно индивидуального лица каналов. Нет (или очень мало) передач интеллектуальных, просветительских. Огромный дефицит личностей на ТВ, способных к грамотной, независимой, неангажированной социальной и политической аналитике. Хорошие фильмы загнаны в глубокую ночь («Хотите смотреть – записывайте на видео», – оправдываются мэтры ТВ). Засилье передач антиинтеллек-

туальных. Отсутствие образовательного канала. Имитация серьезного обсуждения событий на многочисленных ток-шоу, где «шоу» неизменно забивает «ток» и царствует принцип «короче!», «у вас секунда». Поразительный уровень невежества телеведущих в роли комментаторов и обозревателей. Поразительный уровень необразованности и неподготовленности тех, кто берется делать документальные телефильмы «про историю».

Тенденция деинтеллектуализации и деинформатизации ТВ и перевод его в развлекательное русло прямо отвечает запросам нового верхнего класса, его общей идее.

В заключение две цитаты. Французский путешественник и отъявленный русофоб маркиз де Кюстин писал в 1839 году: «Россия – отечество разнузданных страстей и слабых характеров, мятежников и автоматов, заговорщиков и машин; здесь нет никакого посредствующего между тираном и рабом, между безумцем и животным, золотая середина здесь неизвестна, природа не терпит ее; чрезмерный холод, как и чрезмерный жар, толкает человека на крайности»⁵.

И Достоевский, чье имя воспринимается во всем мире как смысловая рифма к слову «русский». «Я никогда не мог понять мысли, что лишь одна десятая доля людей должна получать высшее развитие, а остальные девять десятых должны лишь послужить к тому материалом и средством, а сами оставаться во мраке. Я не хочу мыслить и жить иначе, как с верой, что все наши девяносто миллионов русских (или там сколько их тогда народится) будут все, когда-нибудь, образованы, очеловечены и счастливы» (22: 31).

Вопрос в том, к какому из двух образов России мы сейчас ближе.

Примечания

¹ Ключевский В.О. Сочинения: В 8 т. Т. III. Курс русской истории. Ч. 3. М.: ГИХЛ, 1957. С. 66–67.

² Шевцова Л.Ф. Перестройка: наше прошлое или будущее? // 10 лет без СССР. Материалы конференций и круглых столов, проведенных Общественно-политическим центром Горбачев-Фонда в 2001 г. М., 2002. С. 30–31.

³ Солженицын А.И. Россия в обвале. М.: Русский путь, 1998. С. 200.

⁴ Там же. С. 201.

⁵ Записки о России французского путешественника маркиза де Кюстина, изложенные и прокомментированные В. Нечаевым. М.: СП Интерпринт, 1990. С. 85.

Пространство почвы и территория крови

Как-то на литературном вечере я получила две любопытные записки. Они были написаны людьми, глубоко возмущенными – хотя и по разным причинам – ситуацией, связанной с творческим наследием писателя-классика.

«Почему Вы, в своих исследованиях о Достоевском, – значилось в первой корреспонденции, – никогда не пишете о том, что “гениальный писатель”, “защитник униженных и оскорбленных”, был заядлым славянофилом и черносотенцем, отъявленным антисемитом? Что он ненавидел поляков, евреев, немцев, французов и вообще инородцев и презирал все западное, все европейское? Неужели Вам не стыдно пропагандировать “классика”, который, может, и написал интересные романы, но был и сейчас является идейным вдохновителем так называемых русских патриотов-погромщиков?»

Вторая записка странным образом перекликалась с первой. «Вы и Вам подобные намеренно утаиваете тот очевидный факт, что русский и мировой гений Федор Михайлович Достоевский остерегал свой народ от заразы космополитизма и западничества. Что он проповедовал любовь к России как к сильному и мощному самодержавному государству и любовь к русскому народу как к уникальному и избранному Богом для великой исторической миссии. Вам выгодно представлять Достоевского как какого-то демократа-гуманиста без национальных корней. А многие другие даже стесняются называть его «русским», избегают употреблять это слово. Достоевский – последовательный борец за интересы русского народа. И только с этих позиций должно трактоваться его творчество и его публицистика. Руки тех, кто не разделяет патриотических настроений, – прочь от нашего Достоевского».

Оба текста были тщательно и разборчиво подписаны – авторы были уверены в своей правоте и не боялись огласки. Трудно было не согласиться с обоими корреспондентами по крайней мере в одном пункте: то двусмысленное замалчивание, которое долго существовало вокруг так называемых «слабостей» великого писателя, и раньше рождавшее кривотолки, сегодня, в пору полемических страстей, горячих мировоз-

зренческих столкновений, вызвало новую волну спекуляции и мелкого политического жульничества.

Теперь – когда время гонений на Достоевского далеко позади – кто только не берет его в свои союзники, стремясь придать собственным умозаключениям глубину и убедительность. Кто только не использует его тексты в целях, ничего общего не имеющих со смыслом цитируемого. Кто только не прикрывает свою интеллектуальную нищету одеждой из его высказываний.

Но мало кто из знаменосцев противостоящих идеологических лагерей в состоянии принять как «свое» (или отвергнуть как «чужое») *всего* Достоевского. При ближайшем рассмотрении комплекс идей писателя на деликатную национальную тему оказывается политически невыгодным ни так называемым «патриотам», ни так называемым «космополитам». «Весь» Достоевский не дается ни тем, ни другим в их сиюминутных интересах. Потому что сам Достоевский, какие бы взгляды на протяжении своей жизни он ни исповедовал – фурьеристские социалистические или почвенные славянофильские, – менее всего «проводил линию» своей партии, менее всего заботился о групповых интересах «деятелей движения». «Я ничего не ишу, и ничего не приму, и не мне хватать звезды за мое направление» (27: 86), – записал он в дневнике за неделю до смерти. Такая политическая позиция писателя дает право на понимание, уважение и доверие к нему и к любой его ипостаси – гуманиста, гражданина, славянофила, патриота. Она требует точного и конкретного текстуально тщательного рассмотрения.

1

«Я во многом убеждений чисто славянофильских, хотя, может быть, и не вполне славянофил. Славянофилы до сих пор понимаются различно. Для иных, даже и теперь, славянофильство, как в старину, например, для Белинского, означает лишь квас и редьку. Белинский *действительно* дальше не заходил в понимании славянофильства. Для других (и, заметим, для весьма многих, чуть не для большинства даже самих славянофилов) славянофильство означает стремление к освобождению и объединению всех славян под верховным началом России – началом, которое может быть даже и не строго политическим. И наконец, для третьих славянофильство, кроме этого объединения славян под началом России, означает и заключает в себе духовный союз всех верующих в то, что великая наша Россия, во главе объединенных славян, скажет всему миру, всему европейскому человечеству и цивилизации его свое новое, здоровое и еще неслыханное миром слово. Слово это будет ска-

зано во благо и воистину уже в соединение всего человечества новым, братским, всемирным союзом, начала которого лежат в гении славян, а преимущественно в духе великого народа русского, столь долго страдавшего, столь много веков обреченного на молчание, но всегда заключавшего в себе великие силы для будущего разъяснения и разрешения многих горьких и самых роковых недоразумений западноевропейской цивилизации. Вот к этому-то отделу убежденных и верующих принадлежу и я» (25: 195–196; «Дневник писателя за 1877 год»).

Подобные признания с оговорками звучат в публицистике Достоевского с момента возникновения этого жанра в его творчестве и до конца жизни. Признания искренни и ответственны, но вслушаемся и в оговорки.

1861 год, объявление «От редакции» журнала «Время»: «И хотя в славянофилах было много любви к родине, но чутье русского духа они потеряли. Они также ошиблись, как ошибаются те господа, большею частию чистые и наивные сердцем, которые, надев на себя древний кафтан, бархатную поддевку и шелковую рубашку с золотыми галунами, воображают, что они соединились с народным началом. Общество смотрит на них с недоумением, а народ равнодушно. Но теперь мы можем жить и действовать, а не фантазировать» (18: 115).

1861 год, статья о славянофильской газете И. Аксакова «День»: «Те же славянофилы, с тою же неутомимою враждой ко всему, что не ихнее, и с тою же неспособностью примирения; с тою же ярою нетерпимостью и мелочною, совершенно нерусскою формальностью <...>. Славянофилы имеют редкую способность не узнавать своих и ничего не понимать в современной действительности. Одно худое видеть – хуже, чем ничего не видеть. <...> Скажем прямо: предводители славянофилов известны как честные люди. А если так, то как можно сказать обо всей литературе, что она “равнодушна к скорбям народным?” Как сметь сказать “о порицании *нашей* народности, *не в силу негодующей, пылкой любви*, но в силу внутреннего нечестия, инстинктивно враждебного всякой святыне, чести и долга?” Что за фанатизм вражды! Что за резкая уверенность в самых сокровенных помышлениях противников, в сердце и совести их! Неужели любить родину и быть честным дано в виде привилегии только одним славянофилам? Кто мог сказать это, кто бы решился написать это, кроме человека в последней степени фанатического иступления!.. Да, тут почти пахнет кострами и пытками... Мы не превеличиваем» (19: 58–59).

Заметим, кстати, насколько полемика (сто сорокапятилетней давности) напоминает иные сегодняшние споры.

1863–1864 год, Записная тетрадь. «Славянофилы, нечто торжествующее, нечто вечно славящееся, а из-под этого проглядывает нечто ограниченное» (20: 179).

1864–1865 год, Записная книжка. «Славянофилы не верят ни в одно из европейских учреждений, ни в один вывод европейской жизни – для России. Они отвергают и конституционные, и социальные, и федерально-механические учения. Они верят в начала русские и уверены, что они заменят и конституцию и социализм сами из себя,нося в себе зародыши своей правды и уж, конечно, имея право так же жить и развиваться самостоятельно, как жил и развивался самостоятельно Запад» (20: 181).

1876 год, «Дневник писателя». «Вопрос о народе и о взгляде на него, о понимании его теперь у нас самый важный вопрос, в котором заключается всё наше будущее, даже, так сказать, самый практический вопрос наш теперь. И однако же, народ для нас всех – всё еще теория и продолжает стоять загадкой. Все мы, любители народа, смотрим на него как на теорию, и, кажется, ровно никто из нас не любит его таким, каким он есть в самом деле, а лишь таким, каким мы его каждый себе представили. И даже так, что если б народ русский оказался впоследствии не таким, каким мы каждый его представили, то, кажется, все мы, несмотря на всю любовь нашу к нему, тотчас бы отступились от него без всякого сожаления. Я говорю про всех, не исключая и славянофилов; те-то даже, может быть, пуще всех» (22: 44).

Итак, любовь к родине, к народу, противостояние России и Запада (Европы, во времена Достоевского), особый путь России и ее историческая миссия – стержневые проблемы его публицистики и ее полемического пафоса. Только очень предвзятый, предубежденный и в общем недобросовестный читатель увидит в направленности мысли Достоевского «заядлость» славянофила или тем паче – ксенофоба.

2

Можно ли представить казенный, напыщенный патриотизм со всеми атрибутами враждебности и нетерпимости к тому, что не «свое», провозглашающим любовь не к одной, а к двум родинам?

А Достоевский пишет («Дневник писателя за 1876 год»): «У нас – русских – две родины: наша Русь и Европа, даже и в том случае, если мы называемся славянофилами (пусть они на меня за это не сердятся). Против этого спорить не нужно. Величайшее из величайших назначений, уже признанный Русскими в своем будущем, есть назначение общечеловеческое, есть общеслужение человечеству, – не России только, не общеславянству только, но всечеловечеству» (23: 30–31).

Славянофил Достоевский, которому «положено» было проклинать и презирать Запад и западников, находит здравый смысл и историческое

оправдание даже самым последним крайностям западничества. Он не отказывает западникам в чутье русского духа и народности, он ценит их стремление к самопознанию, их желание дойти своим путем до правды.

Что же это за путь? «Славянофилы до сих пор упорно хотят видеть в западниках своих врагов и говорят о них не иначе как с презрением и проклятием, забывая или, лучше, не хотя понять, что западничество и даже самые последние его крайности были вызваны непрямым желанием самопроверки, самопознания, последней вспышкой жизни в умиравшей петровской реформе и первой вспышкой сознания, его осудившего, то есть было вызвано самим процессом жизни. Будто в западниках не было такого же чутья русского духа и народности, как в славянофилах? Было, но западники не хотели по-факирски заткнуть глаз и ушей перед некоторыми непонятными для них явлениями; они не хотели оставить их без разрешения и *во что бы ни стало* отнестись к ним враждебно, как делали славянофилы; не закрывали глаз для света и хотели дойти до правды умом, анализом, понятием» (19: 60).

Западничество, пишет Достоевский, обратилось к реализму, «тогда как славянофильство до сих пор еще стоит на смутном и неопределенном идеале своем, состоящем, *в сущности*, из некоторых удачных изучений старинного нашего быта, из страстной, но несколько книжной и отвлеченной любви к отечеству, из святой веры в народ и в его правду, а вместе с тем (зачем утаивать? отчего не высказать?) – из панорамы Москвы с Воробьевых гор, из мечтательного представления московских бар половины семнадцатого столетия, из осады Казани и Лавры и из прочих панорам, представленных во французском вкусе Карамзиным, из впечатления его же “Марфы Посадницы”, прочитанной когда-то в детстве, и наконец, из мечтательной картины полного будущего торжества над немцами, несколько даже физического, – над немцами непрощенными и даже, уже после торжества над ними, попрекаемыми» (там же).

Достоевский не то чтобы порицает мечтательный элемент славянофильства, он подчеркивает, что эта мечта иногда доводила славянофила «до совершенного неузнания своих и до полного разлада с действительностью» (там же). Потому-то западничество оказалось реальнее славянофильства, и, несмотря на все свои ошибки, «оно все-таки дальше ушло, все-таки движение осталось на его стороне, тогда как славянофильство постоянно не двигалось с места и даже вменяло это себе в большую честь» (19: 61).

И еще одно важное наблюдение: общество страстно сочувствовало западникам и разделяло все их ошибки и увлечения, тогда как постоянно принимало славянофильство за маскарад. «Где тайна этого сочувствия массы? – спрашивает Достоевский. – Тайна в том, что жизнь, хоть какая-нибудь, что действительность, что обновление, что залоги буду-

щего, что даже самый возврат на родную почву и первый шаг к тому – все-таки в руках реалистов, потому что европеизм, западничество, реализм – все-таки это возрожденная жизнь, начало сознания, начало воли, начало новых форм жизни. Западничество шло путем беспощадного анализа, и за ним шло всё, что могло идти в нашем обществе. Реалисты не боятся результатов своего анализа» (там же).

Как видим, Достоевский умел быть справедливым к своим идейным противникам, умел поднять их до своего уровня и уже на этом уровне дискутировать.

Но, видимо, и впрямь его славянофильство было специфическим, если не сказать уникальным: в «Дневнике писателя за 1877 год» провозглашен гимн святой... Европе!

«О, знаете ли вы, господа, – обращается он к читателям и возможным оппонентам, – как дорога нам, мечтателям-славянофилам, по-вашему, ненавистникам Европы, – эта самая Европа, эта “страна святых чудес”! Знаете ли вы, как дороги нам эти “чудеса”, и как любим и чтим, более чем братски любим и чтим мы великие племена, населяющие ее, и всё великое и прекрасное, совершенное ими. Знаете ли, до каких слез и сжатий сердца мучают и волнуют нас судьбы этой дорогой и *родной* нам страны, как пугают нас эти мрачные тучи, всё более и более заволакивающие ее небосклон? Никогда вы, господа, наши европейцы и западники, столь не любили Европу, сколько мы, мечтатели-славянофилы, по-вашему, исконные враги ее! Нет, нам дорога эта страна – будущая мирная победа великого христианского духа, сохранившегося на Востоке... И в опасении столкнуться с нею в текущей войне, мы всего более боимся, что Европа не поймет нас и по-прежнему, по-всегдашнему, встретит нас высокомерием, презрением и мечом своим, всё еще как диких варваров, недостойных говорить перед нею» (25: 197–198).

Достоевский принимает условия Европы и понимает их.

«Да, спрашивали мы сами себя, что же мы скажем или покажем ей, чтоб она нас поняла? У нас, по-видимому, еще так мало чего-нибудь, что могло бы быть ей *понятно* и за что бы она нас уважала? Основной, главной идеи нашей, нашего зачинающегося “нового слова” она долго, слишком долго еще не поймет. Ей надо фактов *теперь* понятных, понятных на ее *теперешний* взгляд. Она спросит нас: “Где ваша цивилизация? Усматривается ли строй экономических сил ваших в том хаосе, который видим мы все у вас. Где *ваша* наука, *ваше* искусство, *ваша* литература?”» (25: 198)

Те, кто придиричливо упрекает или, наоборот, злорадно хвалит Достоевского за ненависть к Западу, Европе и европейским нациям, видимо, десятой дорогой обходят подобные (отнюдь не единичные) признания «мечтателя-славянофила» в любви к великим европейским племенам.

Да, Достоевский свято верил, что Россия, во главе объединенных славян, скажет всему миру, всему европейскому человечеству и цивилизации его свое новое, здоровое и еще неслыханное миром слово. Что же это за слово?

Русская идея, владевшая сознанием Достоевского на протяжении двух десятилетий и провозглашенная им в Пушкинской речи, относилась, бесспорно, к разряду самых дорогих, самых главных его убеждений. Вкратце она сводилась к: следующему. Дорога петровских реформ пройдена вся без остатка. Русский человек узнал Европу, но не сделался европейцем. Когда-то он укорял себя за неспособность быть, стать европейцем, втиснуться в одну из западных форм жизни. Теперь (Достоевский пишет об этом в 1860 году) русские убедились, что они тоже отдельная национальность, в высшей степени самобытная, и их задача – «создать себе новую форму, нашу собственную, родную, взятую из почвы нашей, взятую из народного духа и из народных начал» (18: 36).

Вместе с тем русский образованный человек должен усвоить здравый взгляд на свою историю. Можно ли ориентироваться на допетровскую Русь, признавать ее за истинное, лучшее выражение жизни народной? Можно ли перестраивать, «теперешнюю» жизнь по «московскому» идеалу? «Допетровская Русь и московский период только видимостью своею могут привлекать наше к себе внимание и сочувствие. А если повнимательней взглянуть в эту, по-видимому, чудную картину, в отдалении рисующуюся нашему воображению, мы найдем, что не всё то золото в ней, что блестит... <...> Действительно, лжи и фальши в допетровской Руси – особенно в московский период – было довольно... Ложь в общественных отношениях, в которых преобладало притворство, наружное смирение, рабство и т. п. Ложь в религиозности, под которой если и не таилось грубое безверие, то по крайней мере скрывались или апатия, или ханжество. Ложь в семейных отношениях, унижавшая женщину до животного, считавшая ее за вещь, а не за личность... В допетровской, московской Руси было чрезвычайно много азиатского, восточной лени, притворства, лжи. Этот квиетизм, унылое однообразие допетровской Руси указывают на какое-то внутреннее бессилие» (20: 12).

Именно *худоба* жизни (по выражению Достоевского), которую чувствовал народ, сделала возможными петровские реформы. В русском воздухе уже носились задатки реформационной бури, народ уже заявлял свой протест против действительности. Однако новое направление исторической жизни, заданное Петром I, исказило суть народной правды. «...Петра можно назвать народным явлением настолько, насколько он выражал в себе стремление народа обновиться, дать более

простору жизни – но только до сих пор он и был народен... Выражаясь точнее, одна *идея* Петра была народна. Но Петр как факт был в высшей степени антинароден... Во-первых, он изменил народному духу в деспотизме своих реформаторских приемов, сделав дело преобразования не делом всего народа, а делом *своего* только произвола. Деспотизм вовсе не в духе русского народа... Он слишком миролюбив и любит добиваться своих целей путем мира, постепенно. А у Петра пылали костры и воздвигались эшафоты для людей, не сочувствовавших его преобразованиям... То самое, что реформа главным образом обращена была на внешность, было уже изменою народному духу... Русский народ не любит гоняться за внешностью: он больше всего ценит дух, мысль, *суть* дела... <...> И чем сильнее было на него посягательство сверху, тем сильнее он сплачивался, сжимался» (20: 15).

Петровские реформы ожесточили народ, утверждает Достоевский. Народ «отрекся от своих реформаторов и пошел своей дорогой – врозь с путями высшего общества» (там же). Поэтому в неразвитости, невежестве народа виноваты, считает Достоевский, не чужеземцы, не инородцы, а «*мы сами*» – образованное сословие, виновато то раздвоение русского общества, то отсутствие общих интересов у высшего общества с низшим, которые сложились исторически. Нам нужен один народ, а не два – вот главный тезис Достоевского. «Ведь тогда только и можем мы хлопотать об общечеловечном, когда разовьем в себе национальное... <...> Прежде чем хлопотать об ограждении интересов всего человечества во всем мире, – нужно стараться оградить их у себя дома» (20: 19).

Достоевский делает важную оговорку: под национальностью разумеется не та национальная исключительность, «которая весьма часто противоречит интересам всего человечества. Нет, мы разумеем тут истинную национальность, которая всегда действует в интересе всех народов» (там же).

Достоевский поясняет: судьба распределила между народами, какие именно из общих задач должен развивать в себе тот или иной народ. При этом резких различий в народных задачах нет, ибо в основе каждой народности лежит общий человеческий идеал. И если бы каждый из народов понимал истинные свои интересы, между ними никогда бы не было антагонизма. «Разные народы, разрабатывающие общечеловеческие задачи, можно сравнить с специалистами науки; каждый из них специально занимается своим предметом, к которому, предпочтительно пред другими, чувствует особенную охоту» (там же).

Будущее значение русских в великой семье всех народов не в том, чтобы оградиться китайскими стенами от человечества. Русские, которые говорили на всех языках, понимали все цивилизации, сочувствовали интересам каждого европейского народа, понимали смысл

и разумность явлений, совершенно им чуждых, могут понять и свое предназначение.

Характер будущей деятельности русских, считает Достоевский, «должен быть в высшей степени общечеловеческий», а русская идея, может быть, будет «синтезом всех тех идей, которые с таким упорством, с таким мужеством развивает Европа в отдельных своих национальностях» (18: 37).

Все самобытное в русском характере, все его резкие особенности и отличия от характера европейского видятся Достоевскому, как высокосинтетическая способность к всепримиримости, всечеловечности, всемирной отзывчивости. Русский человек со всеми уживается и во всё вживается. И вот, пожалуй, самое главное: русский «сочувствует всему человеческому вне различия национальности, крови и почвы. Он находит и немедленно допускает разумность во всем, в чем хоть сколько-нибудь есть общечеловеческого интереса. У него инстинкт общечеловечности. Он инстинктом угадывает общечеловеческую черту даже в самых резких исключительностях других народов» (18: 55).

Итак, высокая способность русских образованных людей к совершенному и полноценному духовному освоению европейского наследия и является в глазах Достоевского главным доказательством их народной сущности: именно «инстинктом общечеловечности» глубинно связаны неграмотный народ и образованное меньшинство. Именно в этом – тайна величия и главный смысл народности Пушкина.

Но что же в таком случае может быть общего между русской идеей Достоевского и тем обидчивым, нетерпимым патриотизмом (не говоря уже о национализме и шовинизме), который стремится присвоить авторитет Достоевского и прикрыться им на случай возможных упреков?

В «Дневнике писателя за 1877 год» названо несколько взаимосвязанных тезисов.

«А между тем нам от Европы никак нельзя отказаться. Европа нам второе отечество, – я первый страстно исповедую это и всегда исповедовал. Европа нам *почти* так же *всем* дорога, как Россия; в ней всё Афетово племя, а наша идея – объединение всех наций этого племени, и даже дальше, гораздо дальше, до Сима и Хама. Как же быть?

Стать русскими во-первых и прежде всего. Если общечеловечность есть идея национальная русская, то прежде всего надо каждому стать русским, то есть самим собой, и тогда с первого шагу всё изменится. Стать русским значит перестать презирать народ свой. И как только европеец увидит, что мы начали уважать народ наш и национальность нашу, так тотчас же начнет и он нас самих уважать. И действительно: чем сильнее и самостоятельнее развились бы мы в национальном духе нашем, тем сильнее и ближе отозвались бы европейской душе и, пород-

нившись с нею, стали бы тотчас ей понятнее. Тогда не отвертывались бы от вас высокомерно, а выслушивали бы нас. Мы и на вид тогда станем совсем другие. Став самими собой, мы получим наконец облик человеческий, а не обезьяний. Мы получим вид свободного существа, а не раба, не лакея, не Потугина; нас сочтут тогда за людей, а не за международную обшмыгу, не за стрюцких европеизма, либерализма и социализма» (25: 23).

Итак, программа ясна: перестать презирать народ свой и относиться к Европе как к своему второму отечеству.

То самое величайшее слово, которое, по Достоевскому, призвана сказать Россия всему миру, и должно быть заветом *общечеловеческого* единения.

4

Говорить о любви Достоевского к своей родине и к своему народу, при всей инфляции подобных слов, «легко и приятно». В его патристическом чувстве нет ничего фанфарного и показного, ничего тщеславного и сварливого, ничего натужного и крикливого. В нем много горечи, истинной боли и надежды. Обстоятельствами почти всей русской истории, размышляет Достоевский в «Дневнике писателя» (1876), народ русский «до того был предан разврату и до того был развращаем, соблазняем и постоянно мучим, что еще удивительно, как он дожил, сохранив человеческий образ, а не то что сохранив красоту его» (22: 43).

«В русском человеке из простонародья нужно уметь отвлекать красоту его от наносного варварства. <...> Он сохранил и красоту своего образа. Кто истинный друг человечества, у кого хоть раз билось сердце по страданиям народа, тот поймет и извинит всю непроходимую наносную грязь, в которую погружен народ наш, и сумеет отыскать в этой грязи бриллианты. Повторяю: судите русский народ не по тем мерзостям, которые он так часто делает, а по тем великим и святым вещам, по которым он и в самой мерзости своей постоянно воздыхает. <...> А идеалы его сильны и святы, и они-то и спасли его в века мучений; они срослись с душой его искони и наградили ее навеки простодушием и честностью, искренностью и широким всеоткрытым умом, и всё это в самом привлекательном гармоническом соединении. А если притом и так много грязи, то русский человек и тоскует от нее всего более сам, и верит, что всё это – лишь наносное и временное, наваждение диавольское, что кончится тьма и что непременно воссияет когда-нибудь вечный свет (там же).

Но если чем и силен народ безоговорочно, если что и держит его во всех прошлых и нынешних мытарствах, так это, убеждает Достоевский пятнадцатью годами раньше, «полная способность самой здоровой над собой критики, самого трезвого на себя взгляда и отсутствие всякого самовозвышения, вредящего свободе действия» (18: 55).

Достоевский, который двадцать с лишним лет подряд твердил, что русская нация – необыкновенное явление в истории всего человечества, настойчиво подчеркивал: способность самоосуждения он признает «за лучшую сторону русской природы, за ее особенность», за то, чего у «господ иноземцев» вовсе нет (18: 56).

«На нашей памяти, – как мы бранили себя славянами за то, что не могли сделаться теперешними европейцами. Неужели ж нельзя сознаться теперь, что мы тогда говорили вздор?» (там же). Писатель предрекал, что упражняться в самоосуждении русским предстоит чем дальше, тем больше, что та беспощадно-страшная сила, с которой проявляется на Руси способность к самоосуждению, – лучшее свидетельство не слабости, а жизненной силы и выживаемости народа.

«Узкая национальность не в духе русском. Народ наш с беспощадной силой выставляет на вид свои недостатки и пред целым светом готов толковать о своих язвах, беспощадно бичевать самого себя; иногда даже он несправедлив к самому себе, – во имя негодующей любви к правде, истине... С какой, например, силой эта способность осуждения, самобичевания проявилась в Гоголе, Щедрина и всей этой отрицательной литературе, которая гораздо живучее, жизненней, чем положительнейшая литература времен очаковских и покоренья Крыма» (20: 22).

И еще одно высказывание.

«И неужели это сознание человеком болезни не есть уже залог его выздоровления, его способности оправиться от болезни... Не та болезнь опасна, которая на виду у всех, которой причины все знают, а та, которая кроется глубоко внутри, которая еще не вышла наружу и которая тем сильнее портит организм, чем, по неведению, долее она остается непримеченною. Так и в обществе... Сила самоосуждения прежде всего – сила: она указывает на то, что в обществе есть еще силы. В осуждении зла непременно кроется любовь к добру: негодование на общественные язвы, болезни – предполагает страстную тоску о здоровье» (там же).

Учитывается ли этот «классический» контекст в сегодняшних дискуссиях о русофобии и русофобах? Не утратили ли подобные дискуссии истинной точки отсчета и здравых критериев, без которых Достоевский автоматически может быть отнесен к категории «фобов»?

Впрочем, последний вопрос сознательно риторичен. Я читаю в одном из толстых журналов: «Россия не была пьяной страной. Россия была ТРЕЗВОЙ СТРАНОЙ. Скажу как историк: широко бытующая

молва о том, что-де на Руси-матушке всегда пили, что “веселие Руси – есть питье”, – злонамеренная, злоязычная ложь, пущенная в оборот врагами нашего народа».

Послушаем Достоевского. Автор «Дневника писателя» и редактор «Гражданина», консервативного печатного органа, никак не связанного с нигилистами и национальными ненавистниками, из номера в номер поднимает один и тот же тревожный вопрос: как исцелить страну от язвы всенародного пьянства. Сообщается: «бюджет кабака» составил в 1872 году 166,5 миллиона рублей при общем бюджете на 1873 году 517 миллионов рублей (см.: 21: 440). Достоевский комментирует: «Чуть не половину теперешнего бюджета нашего оплачивает водка, то есть потеперешнему народное пьянство и народный разврат, – стало быть, вся народная будущность. Мы, так сказать, будущностью нашею платим за наш величавый бюджет великой европейской державы. Мы подсекаем дерево в самом корне, чтобы достать поскорее плод. И кто же хотел этого? это случилось невольно, само собой, строгим историческим ходом событий» (21: 94).

Достоевский читает сообщение в журнале «Гражданин»: «В Костроме на днях (июль 1972 г. – Л.С.) от памятника Сусанину отломили бронзовую руку, которую нашли в кабаке»¹. Заметка настолько впечатлила его, что он (повторим цитату) пишет в «Дневнике писателя»: «Матери пьют, дети пьют, церкви пустеют, отцы разбойничают; бронзовую руку у Ивана Сусанина отпилили и в кабак снесли; а в кабак приняли! Спросите лишь одну медицину: какое может родиться поколение от таких пьяниц?» (21: 94)

Достоевский опасается: бессовестные ростовщики-кабатчики в самом скором времени будут пить народную кровь и питаться развратом и унижением народным, но «так как они будут платить бюджет, то, стало быть, их же надо будет поддерживать. Мечта скверная, мечта ужасная, и – слава Богу, что это только лишь сон! Сон титулярного советника Поприщина, я с этим согласен. Но не сбыться ему! Не раз уже приходилось народу выручать себя! Он найдет в себе охранительную силу, которую всегда находил; найдет в себе начала, охраняющие и спасающие, – вот те самые, которых ни за что не находит в нем наша интеллигенция. Не захочет он сам кабака; захочет труда и порядка, захочет чести, а не кабака!..» (21: 95)

Не будучи «врагом своего народа», Достоевский не был и льстецом его; не хотел закрывать глаза на «варварство и мерзости», не хотел идеализировать «скверну», которая есть в гуще народной, – не мог канонизировать зло. Потому он и защищал народ свой, что тот унижен и обездолен, часто лишен облика и достоинства человеческого и живет не сознательной жизнью, а «на степени стихийного существования»².

Не боясь прослыть русофобом, он честно писал о народных бедах и язвах; не стесняясь быть патриотом, он учил своего читателя «смотреть на народ без плевка» (22: 113); не оскорблять «черных людей» глумливыми насмешками и блудными анекдотами. Народная правда виделась Достоевскому и в мужике Марее, и в Пушкине, и в Христе, которого любит и почитает русский человек. Любовь к народу, по Достоевскому, – чувство не агрессивное и не фанатическое, а истинно христианское, евангельское, апостольское: «Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине; все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит» (1 Кор. 13: 4–7).

5

Процитирую весьма выразительный документ, датированный 23 февраля 1988 года, написанный «на 33 листах, за восемью подписями, с двумя печатями на каждой странице» (таких «документов» за годы гласности накопились десятки).

«Заявление форуму справедливости» (так называется документ) цитирует «Дневник писателя» Достоевского: «Всякий, кто искренно захотел истины, тот уже страшно силен. <...> Кто хочет приносить пользу, тот и с буквально связанными руками может сделать бездну добра» (25: 62).

И здесь же, будто в продолжение цитаты, составители документа делают свой основополагающий вывод из высказывания Достоевского: «Вот и “Память” взяла на себя инициативу в разоблачении международного сионистско-масонского синдиката, действующего и в нашей стране».

Именем Достоевского, зовущим делать добро, приносить пользу и служить истине, освящаются разоблачительские инициативы, санкционируется охота на ведьм. Но Достоевский *нигде, никогда и никого* не призывал к подобным акциям! Достоевский никогда не искал среди чужеземцев или инородцев виновных и ответственных за русские беды – тому доказательство и вся его публицистика, и все его художественное творчество: сотни действующих лиц русского происхождения «сочиняют» русскую жизнь, творят русскую трагедию. Они, русские, изобретают свои или заимствуют чужие теории, они же решают, как по этим теориям перевернуть Россию вверх дном.

Русская чиновница-ростовщица Алена Ивановна берет с нищих русских студентов «жидовские» проценты, а русский студент Раскольников лущит «вредную» (но русскую!) старушонку топориком. Рус-

ский либерал, интеллигент, профессор Степан Трофимович Верховенский проигрывает своего крепостного, русского мужика Федуку, в карты, и тот становится убийцей и беглым каторжником.

Русский дворянин Версиков на глазах своего чистого русского семейства вдребезги разбивает икону, а его незаконнорожденный сын, Аркадий Долгорукий, мечтает «стать Ротшильдом» или «таким, как он»³ и получить вожделенные миллионы, не брезгуя их национальной спецификой. Русские купцы швыряются сотнями тысяч рублей ради того, чтобы русские дворяне ползли за кредитками на коленях и вытаскивали их из огня.

Люди, увы, русские, а не «жиды и полячишки», «ненавистные немцы или французы», обуреваемы жадностью и алчностью. Лужин и Свидригайлов, Рогожин и Тоцкий, Ставрогин и Верховенский, семейства Карамазовых и Епанчиных, семинарист-карьерист Ракитин, монах-фанатик Ферапонт – всё это русский мир, русская стихия с ее пороками, страстями, грехами и грехопадениями. (Отношение Достоевского к русским как к нации часто трактуют как общее проявление его мизантропии, в которой отношение к евреям или полякам всего лишь частный случай. В том же, как именно он изобразил русских, каких персонажей и с какими атрибутами вывел, какими «особенностями» наградил, особенно бдительные патриоты видят даже тайную русофобию: писатель, выходец из литовской семьи, то есть исконный, природный европеец, западник, осознанно или неосознанно потакает западной установке.)

Достоевский, несомненно, ощущал себя русским; он учил, следуя идеалам народной правды, искать не в селе, а в себе. И в том самом выпуске «Дневника писателя», процитированного в вышеупомянутом документе, он дает совет людям с чистым сердцем и совестью: «самообладание и самоодоление прежде всякого первого шага. Исполни сам на себе прежде, чем других заставлять, – вот в чем вся тайна первого шага» (25: 63).

Именно в деятельной любви и в самоодолении, а не в агрессивной подозрительности и маниакальной боязни заговоров заключено, согласно Достоевскому, «русское решение вопроса» (25: 61). Хочешь переделать мир – начни с себя. Достоевский, в отличие от радикалов разных оттенков, неоднократно заявлял нечто противоположное намерению переделывать мир. «Чтоб победить весь мир, надо победить только себя. Победи себя и победишь мир» (9: 139). «Чтобы переделать мир по-новому, надо, – проповедует старец Зосима в «Братьях Карамазовых», – чтобы люди сами психически повернулись на другую дорогу. Раньше, чем не сделаешься в самом деле всякому братом, не наступит братства. Никогда люди никакою наукой и никакою выгодой не сумеют безобидно разделить в собственности своей и в правах своих. Всё

будет для каждого мало, и всё будут роптать, завидовать и истреблять друг друга» (14: 275).

6

Устойчивый миф об антисемитизме Достоевского, о его ненависти к еврейской нации – не сегодняшнего происхождения. Автор «Дневника писателя» получал в свое время письма читателей с вопросами по этому поводу; порой корреспонденции содержали обиду, упрек, недоумение. В мартовском выпуске «Дневника писателя» за 1877 год Достоевский дает необходимые пояснения в связи с «еврейским вопросом».

Примечательна оговорка. «Поднять такой величины вопрос, как положение еврея в России и о положении России, имеющей в числе сынов своих три миллиона евреев, – я не в силах. *Вопрос этот не в моих размерах*» (25: 74; курсив мой. – Л.С.). Это пишет о себе Достоевский!

Тем не менее начинает он с главного – с писем от читателей-евреев.

«С некоторого времени я стал получать от них письма, и они серьезно и с горечью упрекают меня за то, что я на них “нападаю”, что я “ненавижу жида”, ненавижу не за пороки его, “не как эксплуататора”, а именно как племя, то есть вроде того, что: “Иуда, дескать, Христа продал”. Пишут это “образованные” евреи, то есть из таких, которые (я заметил это, но отнюдь не обобщаю мою заметку, оговариваюсь заранее) – которые всегда как бы постараются дать вам знать, что они, при своем образовании, давно уже не разделяют “предрассудков” своей нации, своих религиозных обрядов не исполняют, как прочие мелкие евреи, считают это ниже своего просвещения, да и в Бога, дескать, не веруем» (25: 74–75).

Писатель обращается к своим корреспондентам с чередой вопросов.

«Всего удивительнее мне то: как это и откуда я попал в ненавистники еврея как народа, как нации? Как эксплуататора и за некоторые пороки мне осуждать еврея отчасти дозволяется самими же этими господами, но – но лишь на словах: на деле трудно найти что-нибудь раздражительнее и щепетильнее образованного еврея и обидчивее его, как еврея. Но опять-таки: когда и чем заявил я ненависть к еврею как к народу? Так как в сердце моем этой ненависти не было никогда, и те из евреев, которые знакомы со мной и были в сношениях со мной, это знают, то я, с самого начала и прежде всякого слова, с себя это обвинение снимаю, раз навсегда, с тем, чтоб уж потом об этом и не упоминать особенно» (25: 75).

Далее всякий рассуждающий на эти темы должен определиться: если он не верит признанию писателя, то весь последующий текст

можно и не читать. Если же все-таки исходить из презумпции доверия к честности Достоевского (в чем, кстати, ему никогда не отказывали самые серьезные его оппоненты), тогда имеет смысл вникнуть в логику и в предысторию аргументации писателя на данную тему.

Еще в начале своего публицистического поприща, в шестидесятые годы, Достоевский как издатель журнала «Время» решительно выступает против национализма крайних славянофильских изданий. «Узкая национальность не в духе русском» (20: 22), – заявлял он. «Время» регулярно публикует статьи о бедственном положении еврейского населения, проживающего в чертах оседлости Российской империи. «Евреи стеснены весьма значительно, – сообщается в десятом номере журнала за 1862 год, – и огромное количество их живет в крайней бедности... Живут они обыкновенно в страшной тесноте и в своих занятиях, ремеслах соперничают друг с другом до последней крайности, чтобы каким-нибудь образом просуществовать. В каком-нибудь крошечном местечке случается встретить двух или даже трех весьма искусных ювелиров, десятков слесарей, двадцать кузнецов и множество других ремесленников... И толпятся они таким образом и у самой границы соседней губернии, где они не имеют прав гражданства. Если есть хоть тень правды в том, что евреи вредят христианскому населению того края, в котором они живут, разоряя крестьян своим настойчивым добыванием барышей, то на это есть одна только причина: невозможность вселиться туда, где нужна их работа, где они могут быть полезны прямым честным трудом»⁴.

В полемике с газетой «День», которая усмотрела угрозу для христианства в тех евреях, которые благодаря реформам получили высшее образование, «Время» в 1862 году писало: «Против кого вы воюете? Не это ли называется слепую враждою, которая ведь очень последовательна, то есть до конца неразумна? Если бы в иудействе было что-нибудь вредное для христианства, охранение от этого вреда, очевидно, может заключаться только в его вере. “День” ищет другой охраны: он желал бы видеть его в законе; ему стоит еще сделать шаг – и он будет искать в огне и мече»⁵.

Пятнадцать лет спустя Достоевский вновь возвращается к этой теме.

Двадцать пятый том Полного собрания сочинений Достоевского, то есть «Дневник писателя за 1877 год», где в мартовском выпуске содержатся главы о еврейском вопросе, – предмет пристального, пристрастного, порой болезненного интереса современного читателя обеих национальностей.

Достоевский признает имеющиеся факты розни, неприязни между евреями и русскими. Однако, во-первых, категорически отрицает (ссылаясь и на собственный личный опыт) существование в русском про-

стонародье предвзятой, априорной, тупой, религиозной ненависти к евреям, а во-вторых, настоятельно подчеркивает, что мотивы национальных несимпатий или антипатий скопились не с одной, а с обеих сторон. Русским часто несимпатично самомнение и высокомерие евреев, у русских же народ еще невежествен, необразован, экономически неразвит – что евреи любят подчеркивать. Очевидно: дело не в национально-племенной разнице, а в различных социальных ролях этих народов.

Достоевский размышляет: «Уж не потому ли обвиняют меня в “ненависти”, что я называю иногда еврея “жидом?” Но, во-первых, я не думал, чтоб это было так обидно, а во-вторых, слово “жид”, сколько помню, я упоминал всегда для обозначения известной идеи: “жид, жи-довщина, жидовское царство” и проч. Тут обозначалось известное понятие, направление, характеристика века. Можно спорить об этой идее, не соглашаясь с нею, но не обижаться словом» (25: 75).

Насколько известно из писем читателей – корреспондентов Достоевского, да и из сегодняшних дискуссий, касающихся русско-еврейского вопроса, писатель недооценивал как раз «обиды словом». Его слова: «я не думаю, чтоб это было так обидно» – задевали и обижали куда больней, чем все прочие рассуждения. Но оставим в стороне пока чисто эмоциональную сторону проблемы и попробуем разобраться с самой идеей, «характеристикой века», направлением. Что имеет в виду Достоевский?

«Жидовство», «идея жидовская», «охватывающая весь мир, вместо “неудавшегося” христианства» (25: 85) – это, по мнению писателя, прежде всего идея *буржуазности*. «Всяк за себя и только за себя и всякое общение между людьми единственно для себя» (25: 84) – таким видит Достоевский нравственный принцип большинства «теперешних» людей. Достоевский пишет об этом принципе как об основной идее буржуазии, заместивший собою в конце прошлого столетия прежний мировой строй и ставшей *главной* идеей всего нынешнего столетия во всем европейском мире. Именно девятнадцатый век возвел – столь откровенно и столь наглядно – в высший принцип всегдашние устремления человека к материальному достатку, узаконил представление о свободе как о личном богатстве.

«Наступает вполне торжество идей, перед которыми никнут чувства человеколюбия, жажда правды, чувства христианские, национальные и даже народной гордости европейских народов. Наступает, напротив, матерьялизм, слепая, плотоядная жажда *личного* матерьяльного обеспечения, жажда личного накопления денег всеми средствами – вот всё, что признано за высшую цель, за разумное, за свободу, вместо христианской идеи спасения лишь посредством теснейшего нравственного и братского единения людей» (25: 85).

Опять же вряд ли здесь уместно сколько-нибудь подробное обсуждение проблемы – что представлял собой XIX век и насколько справедливы те характеристики, которые предлагает в «Дневнике писателя» Достоевский. Во всяком случае, в определениях своей эпохи как эпохи буржуазной и в отождествлении буржуазности с «еврейским духом» Достоевский не был оригинален; скорее даже можно сказать, что он повторял некие расхожие стереотипные формулы – и об особом ростовщическом духе («жидовство»), и о безжалостной эксплуатации русского крестьянства со стороны еврея-капиталиста, и о том, что «еврей любит торговать чужим трудом!» (там же), любит посредническую деятельность, и о том, что «верхушка евреев воцаряется над человечеством всё сильнее и тверже и стремится дать миру свой облик и свою суть» (там же).

Важно другое: в самых жестких обвинениях, которые предъявляет Достоевский по адресу еврейского народа во все сорок веков его бытия, – и в самом деле содержатся характеристики социального порядка, нежели национального или религиозного. Очевидно: никогда не был Достоевский врагом еврейского гено типа, никогда не испытывал к нему ненависти как к народу.

Да, Достоевский произносит много горьких слов по адресу еврей-ростовщика, религиозного фанатика, националиста. Да, Достоевский рассуждает о дурных качествах в еврейском народе, может быть, излишне горячо, запальчиво и страстно (как он вообще рассуждает обо всем). Среди упреков и обвинений есть наверняка и весьма обидные – писатель и здесь не смог «не перейти черту». Если собрать вместе и вынуть из «Дневника писателя» все эти высказывания, они смогут, по-видимому, вызвать сомнение в широте национальных взглядов писателя. Но тот, кто из живого текста захочет получить цитатник, а из русского писателя сотворить вульгарного антисемита, явно будет одержим недобрым намерением. Заметим, такая выемка азартно совершается с обеих сторон, и теми, кто уличает Достоевского в лютом антисемитизме как в постыдном антихристианском грехе, и теми, кто упивается количеством словоупотреблений «жид» и производных от него. Заметим также, что пропорции «тех» и «других» всегда примерно равны.

Как бы там ни было, выводы Достоевского о путях решения еврейского, точнее сказать, русско-еврейского вопроса заслуживают самого пристального внимания. По высшему христианскому принципу, по Христову закону Достоевский стоит за полное и окончательное уравнивание прав евреев с коренным населением в формальном законодательстве. Достоевский мечтает («буди! буди!») о полном и духовном единении племен. Он умоляет своих оппонентов и корреспондентов-евреев «быть к нам, русским, снисходительнее и справедливее» (25: 87). Он рассужда-

ет: «Если высокомерие их, если всегдашняя “скорбная брезгливость” евреев к русскому племени есть только предубеждение, “исторический нарост”, а не кроется в каких-нибудь гораздо более глубоких тайнах его закона и строя, – то да рассеется всё это скорее» (там же).

Вслушаемся в его слова: «Да сойдемся мы единым духом, в полном братстве, на взаимную помощь и на великое дело служения земле нашей, государству и отечеству нашему! Да смягчатся взаимные обвинения, да исчезнет всегдашняя экзальтация этих обвинений, мешающая ясному пониманию вещей. А за русский народ поручиться можно: о, он примет еврея в самое полное братство с собою, несмотря на различие в вере, и с совершенным уважением к историческому факту этого различия, но все-таки для братства, для полного братства *нужно братство с обеих сторон*» (там же).

7

Счастливое подтверждение мечты о возможности *братства с обеих сторон* Достоевский получает в самом скором времени – из письма молодой еврейской девушки. История доктора Гинденбурга, немца 84 лет, который 58 лет лечил многонациональное население Минска, отдавая беднякам последнее и являя высокий нравственный пример самоотверженного служения людям, потрясла писателя. В строках нехитрого текста корреспондентки он находит воплощение невозможного, казалось бы, идеала. «Хоронили его (доктора-протестанта. – Л.С.) как святого. Все бедняки заперли лавки и бежали за гробом. У евреев есть мальчики, которые при похоронах распевают псалмы, но запрещается провожать иноверца этими псалмами. Тут перед гробом, во время процессии, ходили мальчики и громко распевали эти псалмы. Во всех синагогах молились за его душу, также колокола всех церквей звонили все время процессии <...>. Над его могилой держали речь пастор и еврейский раввин, и оба плакали...» (25: 90)

Итак, человек, который соединил над своим гробом весь город, которого оплакивали вместе русские бабы и бедные еврейки, для кого пелись молитвы на всех языках и звучали колокола всех церквей, – такой человек, или, как говорит о нем Достоевский, «общий человек», и символизирует разрешение «еврейского вопроса» (25: 91–92).

Капля камень точит, а «общие человеки», уверяет писатель, побеждают мир, соединяя его. «На земле лучше и делать-то нечего, как верить в то, что *это* сбыться может и сбудется» (25: 91).

Можно представить себе, какое мужество нужно было иметь русскому писателю и патриоту Достоевскому, чтобы с такой безоглядно-

стью написать: «Правда выше Некрасова, выше Пушкина, выше народа, выше России, выше всего, а потому надо желать одной правды и искать ее, несмотря на все те выгоды, которые мы можем потерять из-за нее, и даже несмотря на все те преследования и гонения, которые мы можем получить из-за нее» (26: 198–199). Уместно вспомнить и другое его высказывание – о Христе и истине: «Если б кто мне доказал, что Христос вне истины, и *действительно* было бы, что истина вне Христа, то мне лучше хотелось бы оставаться со Христом, нежели с истиной» (28, кн. 1: 176).

Шкала высших ценностей, по Достоевскому, достоверно доказывает: национальное на ней не главенствует, а идет вслед – за верой и правдой.

В этой позиции, однако, не было ничего исключительного: она лишь подтверждала изначальный принцип христианства – о том, что для него перед Богом нет ни эллина, ни иудея. Ставить же национальное или племенное выше всего как раз и было выражением взгляда ветхозаветного или языческого. Но это *уже* другой разговор, к Достоевскому не относящийся.

Если кто-нибудь из тех, кто так яростно сражается со своим идейным противником посредством Достоевского (используя его тексты то ли как щит, то ли как меч), все-таки обратит на писателя взор непредубежденный, он не прогадает. Ему станет очевидна совершенная бессмысленность вопроса, так часто возникающего в полемическом запале: «Достоевский: *чей* он?» Достоевский принадлежит *всем*, и тот, кто объявляет наследие писателя своей вотчиной, поступает противно духу Достоевского. Ни тем, кто ищет в наследии писателя опору для юдофобских упражнений, ни тем, кто надеется решить еврейский, или русско-еврейский вопрос только «воздушным путем» (то есть тотальным отъездом всех русских евреев из России), Достоевский не союзник и не помощник.

Эти полемические размышления хочется закончить еще одной «запиской из зала», откликом-публикацией на болезную тему.

«...Было в русской литературе нечто такое (правдолюбие? совесть? человечность?), что сделало ее не только выдающимся явлением мировой культуры, но и духовным прибежищем для многих поколений русских евреев. Сейчас наступило время рефлексии по поводу вчерашнего прошлого и нашего, еврейского, в нем участия. Но и даже перед дальней дорогой, даже стоя в очереди за авиабилетом... не следует пускаться в бесперспективный нигилизм отчуждения. Воздушным путем вопрос не решается. Перелетев в Америку или в Израиль, где Достоевского читают и чтят, мы продолжаем быть евреями. Чем может быть обогащена еврейская национальная культура – глухой памятью о нанесенных обидах или высокой мерой понимания духовных ценно-

стей тех народов, с которыми мы оказались связанными на протяжении веков?»

Речь здесь и шла – о высокой мере понимания, которой одинаково лишены и те, кто, назвав Достоевского антисемитом и ксенофобом, предают его анафеме, и те, кто ему за это же одобрительно рукоплещет. Имеет смысл коснуться в этой связи и польской темы. В романе «Братья Карамазовы» (знаменитая сцена в Мокром, когда Митя «отбивает» Грушеньку у заезжего, но «прежнего и бесспорного» поляка), обнаруживается политическая, а не национальная составляющая. Ибо на месте пана Муссяловича (когда-то бравого офицера, ясного сокола, который соблазнил Грушеньку, а потом бросил ее ради выгодной женитьбы) мог быть кто угодно – француз, немец, но больше всего русский – такие русские бесчисленно встречаются, например, у Островского, ибо сама тема не имеет в мировой литературе национальной компоненты. Но вот Митя Карамазов пьет за Польшу, и панове с удовольствием пьют вместе с ним; когда же он пьет за Россию, панове воздерживаются. «Как же вы, панове, как же так?» – недоумевает Митя. «За Россию в пределах до семьсот семьдесят второго года!» – гордо провозглашает пан Врублевский. «Бардзо пенкне!» (14: 383) – кричит другой пан, и оба осушают свои стаканы. Здесь и обнаруживается польская тема, в чистейшем виде, с несомненной политической, а не национально-этнической подоплекой. «Если я ему сказал подлеца, – говорит Митя, – не значит, что я всей Польше сказал подлеца. Не составляет один лайдак Польши» (14: 398), – резонно считает Митя, человек грубый, малообразованный, к тому же из военных. Но в сердце даже такого русского живет справедливый, честный и нравственный подход к исторически болезненной русско-польской теме.

9

Историк, культуролог, филолог, при обращении к национальным стереотипам должен пытаться увидеть их глубинное объяснение, связанное с более важными структурами мышления, чем мышление в национальных тонах. Несомненно, национальные характеристики личности проявляются в каждом человеке; но личность, действующая в истории, оставляет в ней след благодаря поступкам, в которых национальная составляющая является лишь фоном, иногда более ярким, иногда менее. Но почти всегда именно фон лежит на поверхности, и в таком качестве фигурирует как доминанта личности. Стереотипы национального свойства почти всегда следствие поверхностного, бытового взгляда на историю, на мотивы событий. Марина Мнишек не по-

тому оставила зловещий след в русской истории, что она полька, а потому, что она покусилась на святая святых. Она – ради власти – пошла на чудовищный и заведомый обман и стала самозванкой в квадрате: фальшивой московской царицей и женой Лжедмитрия I, затем Лжедмитрия II, фальшивой матерью сына, которого тоже не пожалела ради миража московского трона. Это тоже одна из составляющих большой русско-польской темы.

Ось русско-еврейского вопроса, как его чувствовал Достоевский и как полтора столетия спустя его показал Солженицын, находится в плоскости отношения всех народов России к российской государственности. Поразительным образом эта тема выходит на первый план и сегодня.

Вот, например, как выглядит в «Красном Колесе» настрой «прогрессивной» (то есть левой) столичной интеллигенции в 1914 году. «Русская история может вызывать только смех и отвращение, да есть ли она вообще, была ли?»; «стыдно было быть русским»; «нет никакой родины; отечество есть реакционная выдумка»; «патриотизм – повальная эпидемия глупости, иезуитское понятие»; «для всего российского общества *честный* человек – это враг правительства и властей». «А вы не боитесь, что коллеги вас обзовут патриотами?» – спрашивали тех недалеких, кто все-таки шел на войну, ибо «теперь надо было защищать это чертово отечество». Слово «патриот» в канун Первой мировой значило только «черносотенец» и ничего больше. «Царизм был разбит, – пишет Солженицын, – когда в русской литературе установилось, что вывести образ жандарма или городского хотя бы с долей симпатии – есть черносотенное подхалимство».

Россия гибла оттого, что верхушка образованного общества боялась прослыть *непрогрессивной*. Богатые люди сотни тысяч рублей жертвовали на революцию; легкое касание к революции и большие симпатии к ней считались обязательными для всякого порядочного человека в России. Девушки-студентки, замороженные террором, шли в революцию; а к властям «устоялась такая накалённая непримиримость, что иные интеллигенты даже в симфоническом концерте хлопали креслами и уходили, если в свою ложу вошёл губернатор». Всякая телеграмма сочувствия пострадавшим от террора должностным лицам вызывала либеральное негодование, и тот, кто не одобрял теракты, сам воспринимался как каратель.

Всё русское общество десятилетиями имело антинациональный характер и было непримиримо к государству. Сказать о государственном строе – «вонючая монархия» – было среди прогрессивной интеллигенции хорошим тоном. В обществе считалось, что террористы творят народное дело, и думские деятели то и дело требовали амнистии террори-

стам и цареубийцам, отказываясь вынести моральное осуждение террору. Именно в таком идейном контексте происходит первосентябрьский теракт Богрова, названный «венцом русского террора». Про самого же убийцу сказано: «Как и *все гимназисты того времени*, он жадно вживался в либеральные и революционные учения. Постоянное сочувствие к революции и ненависть к реакции густилась в нём, как и *во всей русской учащейся молодежи...* Мальчик до слёз отчаяния отстаивает путь не только революционного изменения строя, но полного уничтожения основ государственного порядка».

Поразительный факт: киевская еврейская молодежь носит траур по Богрову, убийце Столыпина. Казалось бы: неотразимый аргумент для антисемита. Убили государственного деятеля, который настойчиво и открыто декларировал русские национальные интересы, русское представительство в Думе. Который создал режиму «ненормальную» устойчивость и не стыдился всеми обруганного слова «патриот». Однако на каком общественном фоне был возможен публичный траур по террористу? Только на фоне постыдной снисходительности властей к остальным (русским!!!) виновникам убийства Столыпина, на фоне тотального предательства всей жизни его и его дела. Солженицын показал, как почти вся российская публичность и печатность открыто насмеялась над памятью Столыпина, как всеобщая жажда прослыть левыми и либеральными охватила и дворянство, в общем злобном хоре клеймившее «проклятый режим».

Так из каждой национальной фобии, которые время от времени вспыхивают и воспаляются в России, торчат длинные политические уши. Один из персонажей «Красного Колеса», русский генерал, на которого в генеральном штабе и в военном министерстве косо смотрят по причине его абсолютной преданности армии и монархии (такие взгляды неприличны! не приняты!), ставит точный диагноз русской болезни. «Не от войны мы в катастрофе. Не от потерь и не от дурного снабжения. Мы в катастрофе оттого, что уже завоёваны левым духом! Прежде всякой этой войны страна уже была расшатана языками и бомбами. Давно стало опасно мешать революции и безопасно ей помогать. Отрицатели всех русских начал, орда революционная, саранча из бездны! – ругательствуют, богохульствуют – и никто не смеет им возражать... Патенты на честность раздают левые... И мы – тоже немеем перед левыми, русоненавистническими фразами, так как они признаны естественно современными... Три клейма, три заразы подчинили нас всех: спорить с левыми – черносотенство, спорить с молодёжью – охранительство, спорить с евреями – антисемитизм. И так вынуждают не только без борьбы, но даже без спора, без возражений отдавать Россию... Это – смертельная болезнь: помутнение национального

духа... Появилась кучка пляшущих рожистых бесов – и взбаламутила всю Россию. Тут есть какой-то мировой процесс. Это – не просто политический поворот, это космическое завихрение. Эта нечисть, может быть, только начинает с России, а наслана на весь мир? Достоевскому довелось быть у первых лет этого наслания – и он сразу его понял, нас предупредил. Но мы не вняли. А теперь – уже почву рвут у нас из-под ног».

Очевидно: центральный вопрос русско-еврейских отношений находится, и по Достоевскому, и по Солженицыну, не в плоскости крови, а в плоскости почвы, в плоскости отношения всех граждан России к своему Отечеству. Если государство «подходит» гражданину по слабости и аморфности, по удобству и выгоде – ловить рыбку в мутной воде – это один поворот. Если государство «подходит» ему сильным, сознающим и отстаивающим свои национальные интересы, – это другой поворот. Кто выиграет (и кто проиграет?), если Россия будет сильным государством, в котором правит закон и порядок?

В «Августе Четырнадцатого» есть поучительная сцена. Ростовский инженер Илья Исаакович Архангелогородский принял участие в патриотической манифестации ростовских евреев. Хоральная синагога была убрана трехцветными флагами и портретом царя, на богослужении молились о победе русскому оружию, пели «Боже, царя храни!», потом тысяч двадцать евреев с плакатами «Да здравствует великая единая Россия» шли по улицам, митинговали у памятника Александра Второго, и была послана всеподданнейшая телеграмма царю.

Радикально настроенные дети Архангелогородского намереваются «принципиально и воспитательно» проработать отца в связи с «так называемой патриотической акцией». Мудрый Илья Исаакович пытается объясниться. «Пути истории – сложнее, чем вам хочется руки приложить. Страна, где ты живёшь, попала в беду. Так что правильно: пропадай, чёрт с тобой? Или: я тоже хочу тебе помочь, я – твой? Живя в этой стране, надо для себя решить однажды и уже придерживаться: ты действительно ей принадлежишь душой? Или нет? Если нет – можно её разваливать, можно из нее уехать, не имеет разницы... Но если да – надо включиться в терпеливый процесс истории: работать, убеждать и понемножечку сдвигать...» Распаленная «позорным» поступком отца, Соня Архангелогородская, его дочь, кричит: «Какую Россию ты поддерживаешь в “бедѣ”? Какую ты Россию собираешься строить?.. Патриотизм? в этой стране – патриотизм? Он сразу становится погромищиной!... Чёрной сотне ты кланяться ходил, а не родине!» И оставалось Ильѣ Исааковичу только горестно заключить: «С этой стороны – чёрная сотня! с этой стороны – красная сотня! а посредине... десяток работников хотят пробиться – нельзя... Раздавят, расплющат!»

И вот еще один спор. Два русских офицера – на страницах «Октябрь Шестнадцатого» – размышляют о призыве на войну евреев и неевреев: если евреи лишены какой-то части российских прав, нельзя с них спрашивать и полной любви к России. И не оскорбительно допустить, что многие больше сочувствуют Германии, где пользуются всеми правами. «Какой же выход? Кому же начинать?» – спрашивает первый. «Что ты так заботишься, кому начинать? Хоть бы и никому... Почему они во всех штабах засели, это справедливо? Это – не обидно? Говорю тебе: ты ещё глупой, с ними не жил, не знаешь. Это народ такой особенный, сцепленный, пролазчивый. Это не зря, что они Христа распяли».

В этой точке спор неожиданно достигает высочайшего напряжения. «А думаешь – мы бы не распяли? Если б Он не из Назарета, а из Суздаля пришёл, к нам первым, – мы б, русские, Его не распяли?.. Да любой народ отверг бы и предал Его! – понимаешь? Любой! Это – в замысле. Невместимо это никому: пришёл – и прямо говорит, что он – от Бога, что он – сын Божий и принёс нам Божью волю! Кто это перенесёт? Как не побить? Как не распять? и за меньшее побивали. Нестерпимо человечеству принять откровение прямо от Бога. Надо ему долго ползти и тыкаться, чтобы – из своего опыта, будто».

Офицер, сказавший эти слова, – подпоручик Саня Лаженицын, персонаж, чьим биографическим прототипом является отец Солженицына. Своему отцу автор доверяет выразить самые сокровенные мысли на самую сокровенную, самую раскаленную тему. И добиться моральной победы над оппонентом – в обыденной жизни непробиваемым. Разве это не убедительное доказательство глубинно христианского понимания Солженицыным русско-еврейского вопроса? Разве евангельское – «нет различия между Иудеем и Эллином, потому что один Господь у всех» (Рим. 10, 12) – не торжествует на страницах солженицынской эпопеи?

Труднее всего прочерчивать среднюю линию общественного развития и общественного поведения. Об этом много раз было сказано и написано Солженицыным. Средняя линия требует самого твердого мужества, самого расчетливого терпения, самого точного знания. В чем же эта линия – применительно к нашей дискуссии? Снова обращаюсь к «Красному Колесу». «Апрель Семнадцатого». В интеллигентном еврейском доме собрались знакомые, чтобы обсудить события, сотрясающие Россию. Должны ли русские евреи во времена великой смуты быть заодно с теми, кто рвет и терзает Россию – страну проживания?

«Если российская смута разыграется – мы же, евреи, больше всех и пострадаем», – полагает один из гостей. Ему возражают: ход истории – к безграничной свободе и демократии; «где свобода и самоопределение – там и воздух еврея!» «Нет, – грустно настаивает первый спорщик, старик-вдовец. – Где закон и порядок – вот там воздух еврея. Если нет

власти и порядка – то евреи теряют из первых... Надо понять, что наше благоденствие – уже связано с этой страной впредь навеки».

Солженицын, как никто из современников, знает уроки истории последнего столетия; поэтому он призывает помнить завет пророка Иеремии иудеям, переселенным в Вавилон. «И заботьтесь о благосостоянии города, в который Я переселил вас, и молитесь за него Господу; ибо при благосостоянии его и вам будет мир» (Иер. 29: 7).

Нельзя не видеть, насколько актуален этот завет и сегодня, – особенно если иметь в виду ту *непредвиденность последствий*, которая обнажилась в тесных переплетениях российской исторической жизни с судьбой российского еврейства.

Примечания

¹ Гражданин. 1873. № 3. 15 янв. С. 69.

² См. фрагмент полемической статьи В.Г. Авсеенко «Опять о народности и о культурных типах» (Русский вестник. 1876. Т. 122. № 3). «Дело в том, что народ наш не дал нам идеала деятельной личности. Всё прекрасное, что мы замечаем в нем и что наша литература, к ее великой чести, приучила нас любить в нем, является только *на степени стихийного существования*, замкнутого, идиллического (?) быта или пассивной жизни» (С. 370). Достоевский цитирует выделенное курсивом высказывание в «Дневнике писателя за 1876 год» (22: 104, 113).

³ «Моя идея – это статья Ротшильдом. Я приглашаю читателя к спокойствию и к серьезности. Я повторяю: моя идея – это статья Ротшильдом, статья так же богатым, как Ротшильд; не просто богатым, а именно как Ротшильд. <...> – Слышали, – скажут мне, – не новость. Всякий фатер в Германии повторяет это своим детям, а между тем ваш Ротшильд (то есть покойный Джеймс Ротшильд, парижский, я о нем говорю) был всего только один, а фатеров миллионы» (13: 66).

⁴ Время. 1862. № 10.

⁵ Время. 1862. № 1–2.

Америка как миф и утопия: бегство в никуда

Восприятие Достоевским и его героями Америки – часть большой темы «Достоевский: Россия и Запад». Отношение России к Западу и Запада к России со времен петровских реформ было центральной проблемой российской политической, философской, а также художественной мысли, глубочайшей, зачастую весьма болезненной, интеллектуальной рефлексией. Каким путем пойдет Россия в своем развитии – проторенным западным или неким новым, особенным? Станет ли Россия западной страной, то есть, рассуждая в терминах эпохи, «передовой» и «благополучной»? Именно эти вопросы были в XIX веке ключевыми вопросами русской общественной мысли, именно они разделили русских мыслителей на славянофилов и западников. Этот цивилизационный спор до сих пор остается актуальным, и время ничуть не снизило его остроту.

В контексте XIX столетия термин «Запад» чаще всего обозначал только Европу, о которой Достоевский писал много, подробно, вдохновенно. Достоевский-почвенник надеялся примирить противоречия России и Европы, мечтал о синтезе двух равноценных и равнозначных начал: родной почвы и западной культуры. В 1862 году Достоевский *впервые* в жизни оказался за границей и путешествовал по городам Европы два с половиной месяца, по заранее составленному маршруту. Замечательно его признание в «Зимних заметках о летних впечатлениях» – очерках, написанных через полгода после поездки. «За границей я не был ни разу; рвался я туда чуть не с моего первого детства, еще тогда, когда в долгие зимние вечера, за неумением грамоте, слушал, разиня рот и замирая от восторга и ужаса, как родители читали на сон грядущий романы Радклиф, от которых я потом бредил во сне в лихорадке. Вырвался я наконец за границу сорока лет от роду, и, уж разумеется, мне хотелось не только как можно более осмотреть, но даже всё осмотреть, непременно всё, несмотря на срок» (5: 46). Замечательно признание – и замечательны выражения, которые употребляет Достоевский применительно к своей поездке: «рвался» и «вырвался», слова, которые так понятны всякому русскому человеку и которые привычно ассоциируются скорее с западниками, чем с почвенниками.

Именно тогда, в 1862-м, назвал Достоевский *весь дальний Запад*, то есть Западную Европу – «страной святых чудес», прибегнув к метафоре из стихотворения А.С. Хомякова. Святые чудеса, процветавшие на Западе, – это его философия, наука, искусство, литература; это идеи гуманизма, свободы, равенства и братства, это вера в счастливое будущее человечества, это колоссальное богатство западной цивилизации, которым восхищались лучшие русские умы.

«У нас – русских, – писал Достоевский в «Дневнике писателя» в 1876 году, и здесь нельзя не повторить этой цитаты, – две родины: наша Русь и Европа... Против этого спорить не нужно. Величайшее из величайших назначений, уже сознанных русскими в своем будущем, есть назначение общечеловеческое, есть общеслужение человечеству, – не России только, не общеславянству только, но всечеловечеству» (23: 30–31).

Русским не стыдно по-настоящему любить Европу – ведь многое из того, что от нее взято и пересажено на родную почву, не копировалось рабски, а прививалось к своему организму, вживалось в плоть и кровь. Достоевский уверен: всякий европейский поэт, мыслитель, филантроп, кроме земли своей, из всего мира, наиболее бывает понят и принят всегда в России. Болеть за всех – это и есть назначение русского культурного человека: один лишь русский получил способность становиться наиболее русским именно тогда, когда он наиболее европеец.

«Я во Франции – француз, с немцем – немец, с древним греком – грек и тем самым наиболее русский, – говорит Андрей Версилов, герой романа «Подросток». – Тем самым я – настоящий русский и наиболее служу для России, ибо выставляю ее главную мысль. <...> Русскому Европа так же драгоценна, как Россия: каждый камень в ней мил и дорог. Европа так же была отечеством нашим, как и Россия. О, более! Нельзя более любить Россию, чем люблю ее я, но я никогда не упрекал себя за то, что Венеция, Рим, Париж, сокровища их наук и искусств, вся история их – мне милей, чем Россия» (13: 377).

Но это – о Европе. Для Достоевского «страна святых чудес» – это европейский Запад: Англия, Франция, Германия, Италия, Испания...

Америка, где Достоевский, как известно, никогда не был, никогда же и не была предметом его мечтаний, куда бы он «рвался» или хотел «вырваться». Анна Григорьевна Достоевская вспоминала о первых днях знакомства с писателем, когда работала у него стенографкой. «Однажды, находясь в каком-то особенном тревожном настроении, Федор Ми-

хайлович поведал мне, что стоит в настоящий момент на рубеже и что ему представляются три пути: или поехать на Восток, в Константинополь и Иерусалим, и, может быть, там навсегда остаться; или поехать за границу на рулетку и погрузиться всею душою в так захватывающую его всегда игру; или, наконец, жениться во второй раз и искать счастья и радости в семье. Решение этих вопросов, которые должны были коренным образом изменить его столь неудачно сложившуюся жизнь, очень заботило Федора Михайловича, и он, видя меня дружески к нему расположенной, спросил меня, что бы я ему посоветовала?»¹

Известно, что будущая жена посоветовала выбрать именно третий путь – жениться во второй раз, но весьма характерно, что первый путь назывался Востоком, а второй – заграницей, то есть Европой, но никак не Америкой.

Американские рефлексии, при ближайшем рассмотрении, не имели с европейскими переживаниями писателя ничего общего. Америка ни в какой степени, ни в какое время не включалась Достоевским в комплекс понятий «Запад – “страна святых чудес”».

Между тем русское образованное общество уже в конце пятидесятых – начале шестидесятых активно интересовалось Америкой. Живой отклик находила Гражданская война между Севером и Югом (1861–1865) и борьба за освобождение негров. Журналы и газеты 1860-х годов проводили параллели между крепостным состоянием крестьян в России и положением американских рабов. В 1857 году вышел русский перевод романа Г. Бичер-Стоу «Хижина дяди Тома»; в 1862-м в приложении к журналу братьев Достоевских «Время» был опубликован перевод романа Р. Хильдрета «Белый раб». Оба автора были сторонниками освобождения негров. В 1861 году, в момент великого освобождения крестьян в России, журнал «Время», пытаясь ответить на вопрос: «Что такое американский негр?» в Южных Штатах, писал: «Он есть вещь, которую владелец может променять, продать, отдать внаем, заложить, проиграть в карты, подарить или передать по наследству»². Журнал возмущался, что невольника бьют, секут, унижают нравственно, что он лишен прав на защиту и самозащиту, что его удел в любом состоянии работать на плантациях. И что уже близок час, когда все это кончится и все люди между собой будут братья и сограждане.

Вместе с тем в России было хорошо известно, что в Америку из Европы уезжают отнюдь не лучшие люди. В учебнике уголовного права, изданном в 1863 году В.Д. Спасовичем, в разделе V «Ссылка английская в Америку» говорилось, что отправкой в Америку «государство избавлялось разом от всех мазуриков, бродяг, отъявленных злодеев и людей подозрительных»³.

Историки, изучавшие современное им состояние Соединенных Штатов, утверждали, что американские колонисты состоят из испорченных и негодных классов населения больших английских городов. Достоевский хорошо знал книгу А. Токвиля «Демократия в Америке» (она обсуждалась еще на собраниях у Петрашевского), в которой давался критический анализ американской демократии. Никаких иллюзий по отношению к Америке Достоевский не имел – напротив.

Америка в глазах Достоевского и его героев – это *terra incognita*, место далекое, глухое, чуждое и непонятное, земля неизвестная и неизведанная. Достоевский часто употребляет выражение: «открыли Америку» в значении «изобрели колесо», но ни одного географического названия, ни одного имени и почти никаких культурных, исторических реалий, связанных с Америкой, не встретим мы на всем пространстве сочинений писателя.

Молодой жене Достоевского, Анне Григорьевне, в 1867 году в Дрездене снится дурной сон (который она записывает в свой стенографический дневник), будто бы непонятным образом она попадает в Северную Америку, в Нью-Йорк, где у нее есть родственники. «Немного полежала, заснула и видела другой сон, что будто бы я в С<еверной> Ам<ерике>, в Нью-Йорке, где у меня есть три родственника мамыны, с которыми я очень подружилась, что потом у них сделался на чердаке пожар, но мои вещи были спасены. Затем я, не знаю как, очутилась уж в Дрездене, но все-таки намеревалась опять ехать в Нью-Йорк. Потом я встала»⁴.

И это, собственно, все. Несколько попутных слов в «Дневнике писателя за 1877 год» об освобождении негров и размышления о том, какие силы смогут снова воспользоваться вакантным племенем. «Я только что прочел в мартовской книжке “Вестника Европы” известие о том, что евреи в Америке, Южных Штатах, уже набросились всей массой на многомиллионную массу освобожденных негров и уже прибрали ее к рукам по-своему, известным и вековечным своим “золотым промыслом” и пользуясь неопытностью и пороками эксплуатируемого племени. Представьте же себе, когда я прочел это, мне тотчас же вспомнилось, что мне еще пять лет тому приходило это самое на ум, именно то, что вот ведь негры от рабовладельцев теперь освобождены, а ведь им не уцелеть, потому что на эту свежую жертвочку как раз набросаются евреи, которых столь много на свете» (25: 78).

Несколько слов об управлении Америкой. «Свое цельное управление имеют лишь три нации: Англия, Россия и Америка (?). До этих идей надо додуматься. Если их не понимают, то не потому, что идеи глупы, а потому, что непонимающие головы глупы» («Дневник писателя за 1876 год»; 24: 86).

Несколько слов о том, что Америка когда-нибудь в будущем может изобрести новое оружие, от которого радикально изменится мир. «Ну, а случай в отдаленном будущем (оружие) (Америка изобре<ла>.) Тогда всё переменится. Границы нарушатся...» (20: 189).

Но все это когда-нибудь, в далеком будущем, а в настоящем – Америка Достоевского – это эпиграф и рифма к сюжету *бегства из России*.

В 1873 году Достоевский читает в газете («С.-Петербургские ведомости», 13 ноября) перепечатку из «Камско-Волжской газеты», которая сообщает, что на днях три гимназиста 2-й Казанской гимназии, 3-го класса, привлечены к ответственности по обвинению в каком-то преступлении, имеющем связь с их предполагавшимся бегством в Америку.

«Двадцать лет назад, – пишет Достоевский, – известие о каких-то бегущих в Америку гимназистах из 3-го класса гимназии показалось бы мне сумбуром. Но уж в одном том обстоятельстве, что *теперь* это не кажется мне сумбуром, а вещью, которую, напротив, *я понимаю*, уже в одном этом я вижу в ней и ее оправдание! <...> Я знаю, что это не первые гимназисты, что уже бежали раньше их и другие, а те потому, что бежали старшие братья и отцы их. Помните вы рассказ у Кельсиева о бедном офицерике, бежавшем *пешком*, через Торнео и Стокгольм, к Герцену в Лондон, где тот определил его в свою типографию наборщиком? Помните рассказ самого Герцена о том *кадете*, который отправился, кажется, на Филиппинские острова заводить коммуну и оставил ему 20 000 франков на будущих эмигрантов? А между тем всё это уже древняя история! С тех пор бежали в Америку изведать “свободный труд в свободном государстве” старики, отцы, братья, девы, гвардейские офицеры... разве только что не было одних семинаристов. Винить ли таких маленьких детей, этих трех гимназистов, если и их слабыми головенками одолели *великие идеи* о “свободном труде в свободном государстве” и о коммуне и об общеевропейском человеке; винить ли за то, что вся эта дребедень кажется им религией, а абсентизм и измена отечеству – добродетелью?» (21: 135)

Достоевский мучительно переживает за русскую провинцию и молодых учителей, которые приезжают на место службы, ничего не знают, недоверчивы и мнительны. После первых, иногда самых горячих и благородных усилий они быстро утомляются, смотрят угрюмо, начинают считать свое место за нечто переходное к лучшему, а потом – или спиваются окончательно, или за лишние десять рублей бросают все и бегут куда угодно, даже даром бегут, даже в Америку, «чтоб испытать свободный труд в свободном государстве». Там, в Америке, «какой-нибудь гнуснейший антрепренер» морит такого беглеца «на грубой ручной работе, обсчитывает и даже тузит его кулаками, а он за каждым тузом

воскликает про себя в умилении: “Боже, как эти же самые тузы на моей родине ретроградны и неблагородны и как, напротив, они здесь благодородны, вкусны и либеральны!” и долго еще так ему будет казаться; не изменять же из-за таких пустяков своим убеждениям!» (21: 96).

Бегство в Америку, по Достоевскому, – это прежде всего либеральный миф, распространяющийся в русской среде как пожар. Достоевский высмеивает тех, кто готов пресмыкаться перед либеральным вздором, у кого закрыты глаза на истинное положение вещей.

2

В «Бесах» «великую либеральную идею» испробовали на себе Шатов и Кириллов. «Третьего года, – рассказывает Шатов, – мы отправились втроем на эмигрантском пароходе в Американские Штаты на последние деньжишки, “чтобы испробовать на себе жизнь американского рабочего и таким образом личным опытом проверить на себе состояние человека в самом тяжелом его общественном положении”» (10: 111). Источником для этого эпизода Достоевскому послужили путевые заметки русского путешественника Павла Ивановича Огородникова (1837–1884) «От Нью-Йорка до Сан-Франциско и обратно в Россию», которые были опубликованы как раз в 1870 году, во время работы писателя над романом⁵.

(«Да вы бы лучше для этого куда-нибудь в губернию нашу отправились в страдную пору, “чтоб испытать личным опытом”, а то понесло в Америку!» (10: 111) – иронизирует Хроникер.)

Пребывание в Америке, для тех, кто смог вернуться обратно, становится вехой, но вехой вполне формальной, лишенной содержания: было время ДО Америки, теперь время – ПОСЛЕ Америки. «Мне известно, – говорит Ставрогин Шатову, – что вы вступили в это (тайное. – Л.С.) общество за границей, два года тому назад, и еще при старой его организации, как раз пред вашей поездкой в Америку и, кажется, тотчас же после нашего последнего разговора, о котором вы так много написали мне из Америки в вашем письме. Кстати, извините, что я не ответил вам тоже письмом...» (10: 191–192)

Америка не может повлиять на мировоззрение человека, она может быть лишь местом, где внезапно внутренние процессы обостряются и проявляются. С человеком происходит нечто важное не потому, что он в Америке, а потому, что Америка для него пустыня и он максимально предоставлен себе, своему одиночеству. Ставрогин говорит Шатову:

«– В Америке вы переменили ваши мысли и, возвратясь в Швейцарию, хотели отказаться (от участия в тайном обществе. – Л.С.). Они

вам ничего не ответили, но поручили принять здесь, в России, от кого-то какую-то типографию и хранить ее до сдачи лицу, которое к вам от них явится. Я не знаю всего в полной точности, но ведь в главном, кажется, так? Вы же, в надежде или под условием, что это будет последним их требованием и что вас после того отпустят совсем, взялись» (10: 192).

Америка участвует в сюжете как единица времени, а не места. «У нас ходил неясный, но достоверный слух, что жена его (Шатова. – Л.С.) некоторое время находилась в связи с Николаем Ставрогиным в Париже и именно года два тому назад, значит, когда Шатов был в Америке, – правда, уже давно после того, как оставила его в Женеве» (10: 112). Побывать в Америке вместе – все равно что на войне или в разведке. «Кириллов, мы вместе лежали в Америке... Ко мне пришла жена... Я... Давайте чаю... Надо самовар» (10: 436).

Американская история невнятна и лишена красок: нет ни имен, ни названий, ни адресов.

«– Мы там нанялись в работники к одному эксплуататору; всех нас, русских, собралось у него человек шесть – студенты, даже помещики из своих поместий, даже офицеры были, и всё с тою же величественною целью. Ну и работали, мокли, мучились, уставали, наконец я и Кириллов ушли – заболели, не выдержали. Эксплуататор-хозяин нас при расчете обсчитал, вместо тридцати долларов по условию заплатил мне восемь, а ему пятнадцать; тоже и бивали нас там не раз. Ну тут-то без работы мы и пролежали с Кирилловым в городишке на полу четыре месяца рядом; он об одном думал, а я о другом.

– Неужто хозяин вас бил, это в Америке-то? Ну как, должно быть, вы ругали его!

– Ничуть. Мы, напротив, тотчас решили с Кирилловым, что “мы, русские, пред американцами маленькие ребяташки и нужно родиться в Америке или по крайней мере сжиться долгими годами с американцами, чтобы стать с ними в уровень”. Да что: когда с нас за копеечную вещь спрашивали по доллару, то мы платили не только с удовольствием, но даже с увлечением. Мы всё хвалили: спиритизм, закон Линча, револьверы, бродяг. Раз мы едем, а человек полез в мой карман, вынул мою головную щетку и стал причесываться; мы только переглянулись с Кирилловым и решили, что это хорошо и что это нам очень нравится...» (10: 111–112)

В книге П.И. Огородникова имелся эпизод бесцеремонного вторжения американца («янки») в вагон для эмигрантов. «Подостлав под себя мое пальто и облокотившись на подушку, он, не обращая внимания на мой вопросительно-удивленный взгляд, невозмутимо перелистывал знакомый уже вам самоучитель английского языка. Я тихо дотронулся

до его плеча, заявляя тем, что я хозяин пальто, подушечки, самоучителя и места – сам налицо». И далее: «...приметив выглядывавшую из моего сака головную щеточку, вынул ее, повертел в руках, снял шляпу и, небрежно причесав свои волосы, положив ее не обратно, а на подушечку... Искренность этой американской бесцеремонности мне *понравилась*»⁶.

В письме к Н.Н. Страхову от 2 (14) декабря 1870 года Достоевский писал: «Огородникову американец плюнул в глаза, а он пишет: это мне понравилось. Из русского ему нравится, и он с почтением говорит лишь о студенте Я., явившемся в глубь Америки, чтоб узнать на опыте, каково работать американскому работнику» (29, кн. 1: 152–153).

Боязнь увидеть явление в его истинном свете, наперекор общепринятому мнению, страх прослыть нелиберальным (критикуя порядки в Америке) – это и есть типично либеральное поведение.

Любопытно, что, пребывая в Америке, в каком-то неназванном заштатном городишке, Шатов и Кириллов заняты отнюдь не Америкой. «В Америке я лежал три месяца на соломе, рядом с одним... несчастным, и узнал от него, – скажет Шатов Ставрогину, – что в то же самое время, когда вы насаждали в моем сердце Бога и родину, – в то же самое время, даже, может быть, в те же самые дни, вы отравили сердце этого несчастного, этого маньяка, Кириллова, ядом... Вы утверждали в нем ложь и клевету и довели разум его до иступления» (10: 197).

Америка воспринимается как конечный пункт побега, как место, куда бегут от действительности, от дурных обстоятельств. Америка – это когда бегут не КУДА, а ОТКУДА. Америка – это способ изменить судьбу, переменить участь, разобраться в себе, уйти в себя. Америка нужна не ради Америки, а ради самого бегства.

Не столько действительно *бежать в Америку*, сколько *хотеть бежать в Америку* – становится часто навязчивой идеей заблудших душ, их соблазном и искушением. Уехать в Америку – значит оборвать все связи с привычным кругом.

Беседуют персонажи «Подростка», Аркадий Долгоруков и Крафт:

«– Прощайте, Крафт! Зачем лезть к людям, которые вас не хотят? Не лучше ли всё порвать, – а?

– А потом куда?..

– К себе, к себе! Все порвать и уйти к себе!

– В Америку?

– В Америку! К себе, к одному себе! Вот в чем вся “моя идея”, Крафт! – сказал я восторженно.

Он как-то любопытно посмотрел на меня.

– А у вас есть это место: “к себе”?

– Есть. До свиданья, Крафт; благодарю вас и жалею, что вас утрудил!» (13: 60)

Но Америка не в состоянии ничем помочь Аркадию, попавшему в беду: бегством в Америку от себя и от дурной славы не убежишь.

«Чем доказать, что я – не вор? – сокрушается Аркадий Долгорукий после жестокого конфуза на рулетке. – Разве это теперь возможно? Уехать в Америку? Ну что ж этим докажешь? Версиров первый поверит, что я украл! “Идея”? Какая “идея”? Что теперь “идея”? Через пятьдесят лет, через сто лет я буду идти, и всегда найдется человек, который скажет, указывая на меня: “Вот это – вор”. Он начал с того “свою идею”, что украл деньги с рулетки...”» (13: 268)

3

Про Америку во времена Достоевского писали хаотично, часто это были просто небылицы. «Кто не слышал? Все эти анекдоты – верх непорядочности; но знай, – говорит Версиров Аркадию, – что этот тип непорядочного гораздо глубже и дальше распространен, чем мы думаем. Желание соврать, с целью осчастливить своего ближнего, ты встретишь даже и в самом порядочном нашем обществе, ибо все мы страдаем этою неводержанностью сердец наших. Только у нас в другом роде рассказы; что у нас об одной Америке рассказывают, так это – страсть, и государственные даже люди! Я и сам, признаюсь, принадлежу к этому непорядочному типу и всю жизнь страдал от того...» (13: 168)

Еще хуже обстоит дело с Америкой у простолюдинов. К герою «Записок из Мертвого дома», образованному человеку А.И. Горянчикову, подходит «на зоне» другой заключенный, арестант Петров, «из кантонистов и грамотный».

«А вот я хотел вас, Александр Петрович, спросить: правда ли, говорят, есть такие обезьяны, у которых руки до пяток, а величиной с самого высокого человека?

– Да, есть такие.

– Какие же это?

Я объяснил, сколько знал, и это.

– А где же они живут?

– В жарких землях. На острове Суматре есть.

– Это в Америке, что ли? Как это говорят, будто там люди вниз головой ходят?

– Не вниз головой. Это вы про антиподов спрашиваете.

Я объяснил, что такое Америка и, по возможности, что такое антиподы. Он слушал так же внимательно, как будто нарочно прибежал для одних антиподов» (4: 83–84).

Незнание Америки, мифы об Америке приобретают характер гоме-рически зловещий и анекдотический.

Бежать в Америку – означает бежать в неизвестность. Америка хороша для побега лишь тем, что она далеко и там никого не ищут, а убежавший туда замечает следы и имеет шанс раствориться в чужом мире. Америка является в бреду как единственное место в мире, где не найдут. О ней в бреду и лихорадке вспоминает Родион Раскольников.

«Бред ли это всё со мной продолжается или взаправду? Кажется, взаправду... А, вспомнил: бежать! скорее бежать, непременно, непременно бежать! Да... А куда? А где мое платье? Сапогов нет! Убрали! Спрята-ли! Понимаю! А, вот пальто – проглядели! Вот и деньги на столе, слава Богу! Вот и вексель... Я возьму деньги и уйду, и другую квартиру найму, они не сыщут!.. Да, а адресный стол? Найдут! Разумихин найдет. Луч-ше совсем бежать... далеко... В Америку, и наплевать на них! И вексель взять... он там пригодится. Чего еще-то взять? Они думают, что я бо-лен!» (6: 99–100)

В Америку бегут, как на Луну – место, где нет законов, установле-ний и представлений о добре и зле. Именно эту мысль выражает Сви-дригайлов, подслушав признание Раскольникова Соне. «Если вы убеж-дены, что у дверей нельзя подслушивать, а старушенок можно лущить чем попало, в свое удовольствие, так уезжайте куда-нибудь поскорее в Америку! Бегите, молодой человек! Может, есть еще время. Я искрен-но говорю. Денег, что ли, нет? Я дам на дорогу» (6: 373).

В Америку не едут с трезвой головой, для определенного дела или просто в гости, на каникулы, в отпуск, навестить родных или для пу-тешествия, как в Европу. Туда бегут навсегда, навеки, и все понимают, что бегство в Америку – это последняя крайность, на которую может решиться человек, последняя точка, до которой он дошел, угол, куда он загнан непреодолимыми обстоятельствами. «Я, Софья Семеновна, мо-жет, в Америку уеду, – сказал Свидригайлов, – и так как мы видимся с вами, вероятно, в последний раз, то я пришел кой-какие распоряже-ния сделать» (6: 384).

Отъезд в Америку – это метафора в той самой степени, в какой Аме-рика – это миф: покончить разом все счеты, сжечь все корабли, ускольз-нуть из бытия в небытие – вот что такое Америка Свидригайлова.

В черновиках к «Преступлению и наказанию» разрабатывается фи-нал с «участием Америки».

«Раскольников застрелиться идет. *Свидригайлов*. Я в Америку хоть сейчас рад, да как-то никто не хочет. Свидригайлов Раскольникову на Сенной:

– Застрелитесь, да я, может быть, застрелюсь.

Вы заметили, что в последнее время больше странностей. Там две утопленницы, там выбросился и закрыл кассу. Время становится игровое. Разве не похоже на пауков?» (7: 204)

И вот последние минуты перед трагическим финалом «игрового времени», исполненным метафизического отчаяния пополам с циническим эпатажем. Свидригайлов долго ищет подходящее к случаю место. Он уже принял решение и знает, что оно окончательно и бесповоротно. «Ну, в Америку собираться да дождя бояться, хе-хе! Прощайте, голубчик, Софья Семеновна! Живите и много живите, вы другим пригодитесь. Кстати... скажите-ка господину Разумихину, что я велел ему кланяться. Так-таки и передайте: Аркадий, дескать, Иванович Свидригайлов кланяется. Да непременно же» (6: 385). Он вышел, оставив Соню в изумлении, в испуге и в каком-то неясном и тяжелом подозрении.

Распоряжения были, как известно, щедрые, денежные; Свидригайлов обеспечил и Соню, и сирот Мармеладовых. Так же щедр Аркадий Иванович был со своей юной невестой, но прощание затянулось, ему не терпится поскорее покончить счета. «Он начинал дрожать и одну минуту с каким-то особенным любопытством и даже с вопросом посмотрел на черную воду Малой Невы» (6: 388). Оказалось, не то, слишком холодно и мокро. Не подошла и страшная клоака – отель «Адрианополь», душный и тесный номер, с оборванцем лакеем. «Вот, кажется, теперь должно быть всё равно насчет этой эстетики и комфорта, а тут-то именно и разборчив стал, точно зверь, который непременно место себе выбирает... в подобном же случае» (6: 389).

Наконец место найдено. Свидригайлов остается наедине с нелепым сторожем большого дома с каланчой, который он разглядел в густом тумане, ища «официального свидетеля». Полицейский дом Петербургской стороны (Пожарный отдел) на углу Съезжинского и Большого проспекта – таков точный адрес этого «большого дома». «У запертых больших ворот дома стоял, прислонясь к ним плечом, небольшой человечек, закутанный в серое солдатское пальто и в медной ахиллесовской каске. Дремлющим взглядом, холодно покосился он на подошедшего Свидригайлова. На лице его виднелась та вековая брюзгливая скорбь, которая так кисло отпечаталась на всех без исключения лицах еврейского племени. Оба они, Свидригайлов и Ахиллес, несколько времени, молча, рассматривали один другого. Ахиллесу наконец показалось непорядком, что человек не пьян, а стоит перед ним в трех шагах, глядит в упор и ничего не говорит.

– А-зе, сто-зе вам и здесь на-а-до? – проговорил он, все еще не шевелясь и не изменяя своего положения.

– Да ничего, брат, здравствуй! – ответил Свидригайлов.

- Здесь не места.
- Я, брат, еду в чужие края.
- В чужие края?
- В Америку.
- В Америку?

Свидригайлов вынул револьвер и взвел курок. Ахиллес приподнял брови.

- А-зе, сто-зе, эти сутки (шутки) здесь не места!
- Да почему же бы и не место?
- А потому-зе, сто не места.
- Ну, брат, это всё равно. Место хорошее; коли тебя станут спрашивать, так и отвечай, что поехал, дескать, в Америку.

Он приставил револьвер к своему правому виску.

- А-зе здесь нельзя, здесь не места! – восторгнулся Ахиллес, расширяя всё больше и больше зрачки.

Свидригайлов спустил курок» (6: 394–395).

Пулей в висок на глазах напуганного дежурного в пожарной каске, с издёвкой названного Ахиллесом, ибо как раз Ахиллеса изображали в шлеме, увенчанном нависшим вперед гребнем...

Сам Ахиллес, который с ужасом (скандал, допросы, потеря места) наблюдает за неуместными возле пожарной полицейской части приготовлениями прохожего...

Жалкий лепет убогого «иногородца», который твердит свое малодушное «не здесь» и не имеет сил ничего изменить...

Страх остаться совсем одному со своим адом, и потому нужен «официальный свидетель», даже такой, даже в таком месте...

И револьвер, его собственный старый револьвер, из которого уже стреляла в него Дуня Раскольников. Но – не попала.

Так выглядит и так кончается «Америка» Свидригайлова.

Самое радикальное, бесповоротное бегство в небытие.

И вот, наконец, драматическая коллизия романа «Братья Карамазовы». Митя арестован по подозрению в убийстве отца; Иван не сомневается, что он и есть убийца, а значит, каторги ему не избежать. Он планирует устроить брату побег, собирает нужные сведения, готовит деньги. Десять тысяч на побег, двадцать тысяч на Америку, а на десять тысяч можно великолепный побег устроить.

Митя взбудоражен. «А с другой стороны, совесть-то? От страдания ведь убежал! Было указание – отверг указание, был путь очище-

ния – поворотил налево кругом. Иван говорит, что в Америке “при добрых наклонностях” можно больше пользы принести, чем под землей... Америка что, Америка опять суета! Да и мошенничества тоже, я думаю, много в Америке-то. От распятья убежал!» (15: 34) – корит себя только за мысль об Америке Митя Карамазов.

Америка для него – это не способ избежать наказания, а способ заменить одно наказание другим, одно зло другим злом. «Если я и убегу, даже с деньгами и паспортом и даже в Америку, то меня еще ободряет та мысль, что не на радость убегу, не на счастье, а воистину на другую каторгу, не хуже, может быть, этой!.. Я эту Америку, черт ее дери, уже теперь ненавижу. Пусть Груша будет со мной, но посмотри на нее: ну американка ль она? Она русская, вся до косточки русская, она по матери родной земле затоскует, и я буду видеть каждый час, что это она для меня тоскует, для меня такой крест взяла, а чем она виновата? А я-то разве вынесу тамошних смердов, хоть они, может быть, все до одного лучше меня? Ненавижу я эту Америку уж теперь! И хоть будь они там все до единого машинисты необъятные какие али что – черт с ними, не мои они люди, не моей души! Россию люблю, Алексей, русского Бога люблю, хоть я сам и подлец! Да я там издохну! – воскликнул он, вдруг засверкав глазами. Голос его задрожал от слез» (15: 186).

Но поразительно: в горячечном воображении Мити Карамазова Америка рисуется как единственный в его положении беглого каторжника шанс вернуться в Россию.

«– Ну так вот как я решил, Алексей, слушай! – начал он опять, подавив волнение, – с Грушей туда приедем – и там тотчас пахать, работать, с дикими медведями, в уединении, где-нибудь подальше. Ведь и там же найдется какое-нибудь место подальше! Там, говорят, есть еще краснокожие, где-то там у них на краю горизонта, ну так вот в тот край, к последним могиканам (слабые следы Митиной начитанности обнаруживают отдаленное знакомство с Фенимором Купером. – Л.С.). Ну и тотчас за грамматику, я и Груша. Работа и грамматика, и так чтобы года три. В эти три года англискому языку научимся как самые что ни на есть англичане. И только что выучимся – конец Америке! Бежим сюда, в Россию, американскими гражданами. Не беспокойся, сюда в городишко не явимся. Спрячемся куда-нибудь подальше, на север, али на юг. Я к тому времени изменюсь, она тоже, там, в Америке, мне доктор какую-нибудь бородавку подделает, даром же они механики. А нет, так я себе один глаз проколю, бороду отпущу в аршин, седую (по России-то поседею) – авось не узнают. А узнают, пусть ссылают, всё равно, значит, не судьба! Здесь тоже будем где-нибудь в глуши землю пахать, а я всю жизнь американца из себя представлять буду. Зато померем на родной земле. Вот мой план, и сие непреложно» (15: 186).

Как известно, Митя не добрался до Америки, а остался в Отечестве отбывать двадцатилетнюю каторгу. Утопический план Ивана не сработал и сработать не мог бы ни при каких обстоятельствах. Америка для героев Достоевского остается либеральной, а стало быть, по мысли Достоевского, вредной утопией: местом, куда скрываются от закона, местом, куда бегут с чужими деньгами, местом, где никто не спрашивает о привезенных капиталах, местом, где человека не ищут и где он никогда не станет своим.

В глазах Достоевского, верящего во всемирность, всечеловечность русского человека, Америка – это еще и место всеобщего разъединения и обособления. «Право, мне всё кажется, что у нас наступила какая-то эпоха всеобщего “обособления”. Все обособляются, уединяются, всякому хочется выдумать что-нибудь свое собственное, новое и неслыханное. <...> Слышал я и еще на днях рассказ об одном новом слове: был некто “нигилистом”, отрицал, пострадал и, после долгих передрыг и даже заточений, обрел в сердце своем вдруг религиозное чувство. Что ж, вы думаете, он тотчас сделал? Он мигом “уединился и обособился”, нашу христианскую веру тотчас же и тщательно обошел, всё это прежнее устранил и немедленно выдумал свою веру, тоже христианскую, но зато “свою собственную”. У него жена и дети. С женой он не живет, а дети в чужих руках. Он на днях бежал в Америку, очень может быть, чтоб проповедовать там новую веру. <...> Многие, и, может быть, очень многие, действительно тоскуют и страдают; они в самом деле и серьезнейшим образом порвали все прежние связи и *принуждены* начинать сначала, ибо свету им никто не дает. А мудрецы и руководители только им поддакивают, иные страха ради иудейского (как-де не пустить его в Америку: в Америку бежать все-таки либерально), а иные так просто наживаются на их счет. Так и гибнут свежие силы» (22: 80–81).

Русский человек, бежавший из дома, залетевший в Америку и оставшийся там навсегда, считает Достоевский, определенно потерянным для Отечества.

Ни одного своего героя писатель не подверг подобной участи.

Примечания

¹ Достоевская А.Г. Воспоминания. М.: Правда, 1987. С. 80–81.

² Время. 1861. № 4. С. 494.

³ См.: 7: 396.

⁴ Достоевская А.Г. Дневник 1867 года. М.: Наука, 1993. С. 68.

⁵ См.: Заря. 1870. № 4–6, 9, 11–12.

⁶ Заря. 1870. № 11. С. 14.

ЧАСТЬ II

*Како веруеши
али вове
не веруеши?*



...Я скажу Вам про себя, что я – дитя века, дитя неверия и сомнения до сих пор и даже (я знаю это) до гробовой крышки. Каких страшных мучений стоила и стоит мне теперь эта жажда верить, которая тем сильнее в душе моей, чем более во мне доводов противных. И, однако же, Бог посылает мне иногда минуты, в которые я совершенно спокоен; в эти минуты я люблю и нахожу, что другими любим, и в такие-то минуты я сложил себе символ веры, в котором всё для меня ясно и свято. Этот символ очень прост, вот он: верить, что нет ничего прекраснее, глубже, симпатичнее, разумнее, мужественнее и совершеннее Христа, и не только нет, но с ревнивою любовью говорю себе, что и не может быть. Мало того, если б кто мне доказал, что Христос вне истины, и *действительно* было бы, что истина вне Христа, то мне лучше хотелось бы оставаться со Христом, нежели с истиной...

Ф.М. Достоевский – Н.Д. Фонвизиной (28, кн. 1: 176)

«Нужны примеры...» Достоевский как христианский писатель

Один из самых дискутируемых вопросов современной филологии (как, очевидно, и искусствознания в целом), навязанный ей т.н. «религиозными филологами», это вопрос о том, нуждается ли она, современная филология, в уточняющем определении – политическом, конфессиональном, партийном? То есть: корректны ли пресловутые «православная филология», «православное искусствознание» (и, как курьез, «православные шахматы»)? Является ли мировоззренческая позиция или теоретическая установка филолога (искусствоведа) заведомо выигрышной (или заведомо проигрышной) для понимания художественной картины мира? Может ли филолог, ссылаясь на свою идейную позицию (на свою религиозность или на свою партийность) как на теоретический и в конечном счете решающий аргумент, возводить ее, эту позицию, в концептуальное отличие, или даже в концептуальное превосходство?

Все помнят, что филология, философия, искусствознание советского времени официально позиционировали себя как сферы знания, оснащенные марксистско-ленинской методологией и в силу этого считавшиеся неуязвимыми. Все также помнят, что идеологическое литературоведение (искусствознание) советского времени декларировало свое превосходство именно в силу незыблемости, как тогда казалось, идеологического фундамента. Потому оно и относилось к фактам и фигурантам литературы и искусства то как к приятным попутчикам, то как к нежелательным, опасным свидетелям.

Ныне филологию раскалывают два подхода – отношение к литературе *как к игре* и утилитарное отношение к ней как к *средству*. Если литература – игра, бессмысленно искать в ней высокое содержание и нравственный потенциал, с нее вообще нет никакого спроса. Если литература – средство, а цель как нечто более высокое находится за ее пределами, то она всего лишь техническая, служебная, подсобная

сфера, которую можно поправлять, направлять, исправлять, и даже ею руководить. Идеологическая филология с ее заданными нормативами неизбежно приходит к требованию «*правильного*» изучения, а также стремится «*поправить*» писателя и его текст.

Но и эти два подхода не причина, а следствие. Причина же – в самом статусе искусства, в границах его свободы. Если искусство вписано в состав идеологии (устава, катехизиса), отношение к нему будет утилитарно, а внутреннее стремление человека к творчеству – скованно и несвободно. Определяя статус искусства как явления свободного и самодержавного, можно вспомнить классическую формулу С.Н. Булгакова: «Искусство должно быть свободно и от религии (конечно, это не значит, что от Бога), и от этики (хотя и не от Добра)»¹.

«Что происходит с классическими текстами, читаемыми глазами религиозного филолога наших дней? – размышляет один из самых ярких оппонентов «религиозной филологии» С.Г. Бочаров. – Они теряют свою свободу, теряют себя, перестают быть самими собой. Перед судом религиозной филологии сама поэзия утрачивает ту свободу и сложность своего положения между лежащей перед ней жизнью и высшим духовным началом и свободу вопрошания в обе стороны, какую она обрела на независимом своем пути в лице в том числе и тех художников, что стали предметом внимания наших филологов»². Бочаров пишет о духовной цензуре такой филологии, о ее недоверии к нерегламентированному рискованному свободному смыслу литературных текстов, недоверии к литературе как таковой. Путь по миру искусства, полагают религиозные филологи, надо пройти быстрее, не задерживаясь и не погружаясь в него, ибо цель филологии простирается *за пределы литературы* – дальше и выше.

О том, что литература не *игра* и не *средство*, не проводник и не посредник, не движение и не путь, а *цель* (в том самом пушкинском смысле слова: «цель поэзии – поэзия»), и говорят сегодня филологи и искусствоведы в полемике с «клерикалами». Филологи, не признающие, что пушкинское «цель поэзии – поэзия» – сказано поэтом не только для поэтов, но и для филологов, совершают тяжелые деформации текстов. О причудливых, непредсказуемых, неожиданных порослях Красоты, которые способны пробиться туда, куда не пробиваются слишком явные и прямые поросли Правды и Добра, и так выполнить работу за всех трёх, прекрасно сказал Солженицын в Нобелевской лекции: «Убедительность истинно художественного произведения совершенно неопровержима и подчиняет себе даже противящееся сердце»; «произведение художественное свою проверку несёт само в себе»³.

Замечу, что самоценность искусства, его суверенность, его свободный статус нуждаются в защите не в момент, когда свободы мало (а зна-

чит, защищать ее легче), а в момент, когда ее, этой свободы, безбрежно много, и мы видим, что именно эта безоглядная свобода, без тормозов и берегов, есть главное испытание для искусства. И все равно: только понятое в своей *самоценности*, оно проявляется как подлинно творческая, преобразующая сила и может помочь человеку и миру. Утверждение свободного статуса искусства, когда в обществе зреет желание приструнить эту свободу, звучит сегодня как *служение* культуре.

Любая идеологическая (прежде всего религиозная) филология, как утверждает Бочаров, перестает быть ПРОБЛЕМНОЙ и становится ТЕНДЕНЦИОЗНОЙ. В интерпретациях тенденциозной (или концептуальной) критики русские классики предстают *беспроблемными* писателями, поэтами и публицистами, целиком вписанными в тот или иной cateхизис (или, напротив, вообще лишенными там прописки). Различие между *проблемным* и *концептуальным* определяет нерв современной литературной науки, которая, едва преодолев один стереотип идеологической заданности и нормативности, устремилась к другому стандарту «недоверчивого чтения», изглаживая из творчества писателя (которого она комментирует, трактует, интерпретирует) всё проблемное, несогласованное, негармоничное, спорное.

Получается, что такими, какими писатели-классики были на самом деле, они оказываются не нужны *концептуальному* идеологическому литературоведению, как были не нужны они и официальному советскому литературоведению. Тот самый случай – слишком широк русский писатель, и филолог-идеолог его бы с удовольствием сузил – подправил, приладил к норме.

Тезис, необычайно важный для современной филологии и критики, звучит так: *проблемность абсолютна, концептуальность подозрительна*. Этот тезис соответствует духу русской литературы, которая вся, целиком, состоит не из ответов и рецептов, правил и инструкций, а из вопросов. Причем не только тех, что потакают злобе дня («кто виноват?» и «что делать?»), но и тех, что бьются в беспредельности: «есть ли Бог?», «есть ли бессмертие?», «как веруеши али вовсе не веруеши?». Свободное вопрошание о мире Божьем, универсальном предмете поэзии, в его проблемном, нерешенном, историческом, преходящем состоянии, и составляет плоть искусства. В утверждении *самоценности* литературы и искусства – высший смысл филологической работы современности.

Проблемы «религиозной филологии» имеют и личностные аспекты. Когда в начале 90-х годов прошлого столетия вместе со всей хлы-

нувшей на Россию гласностью свободной от партийных догм оказалась также и вся филологическая наука, казалось, что путь к вере, к церкви для любого филолога и литератора, и вообще для всякого российского гражданина, окажется вдохновенным творческим актом. И каждый человек сможет идти к Истине самостоятельно, свободно, никого и ничего не боясь, не оглядываясь по сторонам. Многие из того, что происходило, быть может, так и было. Но многое пошло, к сожалению, по накатанному пути, когда обращение к вере стало эквивалентом вступления в новую правящую партию. При этом прежнее «единственно верное учение» легко и без всякой внутренней работы со стороны своих адептов уступило место другому учению, и вчерашний приверженец коммунистической идеи, активист и функционер компартии так же спокойно и бестрепетно стал членом церкви и овладел привычной для себя ролью парткомиссара (хотя сейчас это называется иначе).

Для каждого верующего православного человека православие – это полнота откровения. Но это совсем не значит, что каждый православный филолог и каждый православный литературовед-искусствовед заведомо несет *в себе* полноту истины, что само по себе православное (или любое другое) вероисповедание дает кому бы то ни было право провозглашать *себя* глашатаем истины. *Стоять под знаменем – это не значит быть этим самым знаменем.* Более того, на каждом шагу приходится видеть, как перекусившиеся партфункционеры, комиссарствующие теперь от имени православия, ничуть не улучшили свои «личные показатели», что переход из партии коммунистов в партию церкви отнюдь не повлиял на них благим образом. Напротив, все их личные несовершенства только усилились.

Вообще, в «лихие девяностые» казалось, что обращение человека к Богу, к вере заставит его прежде всего думать о добре, о любви к ближнему, об отношении к другому как к брату. На деле получилось, что обращение к Богу для иных наших филологов стало возможностью начальствовать над русской литературой, буквально «ведать» и «заведовать» ею от имени полноты истины, применять к ней дисциплинарные меры, сверять ее с пунктами катехизиса, отлучать, анафематствовать и т. п.

За последние десять лет появилось множество охотников щипать, кусать, обгладывать и проглатывать русскую литературу целыми кусками. Советское время ее щипало по-своему. Постмодернизм – по-своему. Русская литература как ценность не существует в культуре постмодернизма. Все ценностное в ней сломлено: низкое и высокое, ложное и истинное, профанное и сакральное. Но холодное уставное религиозное литературоведение, которое существует как катехизис, как некая схема, как норматив, тоже стремится навязать литературе свои правила, тоже норовит отнять у русской литературы ту свободу поиска, то право на

выбор, которые ей присущи. Такое литературоведение тоже подходит к русской литературе с партийными мерками: игнорирует невыгодные факты, сужает поле обзора, не хочет замечать вещи противоречивые, для того чтобы придать явлению нужный формат. Такие подмены совершаются и опытными руками, и руками совсем неловкими, а потому подтасовки могут быть и грубыми, и искусными. Но в любом случае они не перестают быть подтасовками. Речь идет как бы о злоупотреблении «партбилетом»: попытка перекроить историю литературы вообще и исказить творческий путь отдельно взятого писателя под знаменем религиозным, поскольку именно это знамя сейчас оказалось победоносным.

Многие исследователи, называющие себя «религиозными филологами», декларируют свое православие как право на главенство в науке о литературе, как знак своей собственной научной безупречности, как пропуск на вершины профессии. Однако религиозная вера не дает автоматически никаких профессиональных приоритетов. Жесткие дискуссии о «правильности» истолкования текстов имеют место и внутри корпорации «религиозных филологов», так что следующим шагом непременно станет спор о том, кто более православный...

В советское время религиозная вера была личной тайной верующего, и вера была более красивая, более духовно здоровая. Теперь, когда вера стала для многих ценностью статусной, знаком лояльности, она мало выигрывает по духовной части. Когда люди стесняются своих религиозных сомнений, когда сомнения называются дурной болезнью, когда все неясное и нерешенное загоняется в подполье, ничего, кроме подполья, и не родится. Если православный исследователь хочет доминировать в своей профессиональной сфере над неверующими или инакововерующими коллегами, то это не полнота истины, а жажда власти. Как сказал Алеша Карамазов о Великом инквизиторе, это «самое простое желание власти, земных грязных благ, порабощения» (14: 237). Полнота откровения православия – да, Христос как Истина – да. Но при чем здесь исследователь православного (или любого другого) вероисповедания? Да еще окрашенного высокомерием, надменностью, апломбом? Христос страдал, а «религиозные филологи» хотят именем Христа быть комиссарами, начальниками литературы.

Часто русскую литературу новые комиссары побивают тем, что она, дескать, заражена ядом секулярного гуманизма, стесняются называть Достоевского великим гуманистом. Что это значит? Это значит, что русскую литературу, как и русского читателя, хотят заново воцерковить, катехизировать. Нет сомнения в необходимости духовного совершенствования. Но как его добиваться? Какими методами? Катехизировать русскую литературу методом диспансеризации, уколom от туберкуле-

за? Так не получится. Невозможно катехизировать методом диспансеризации, невозможно воцерковить народ по методу коллективизации, сразу, всех скопом, и дать отчетность к Рождеству или Пасхе. Духовная работа – путь медленный, бережный, осторожный, очень чуткий, очень внимательный. И это путь, где нет начальственных окриков.

Православные исследователи, которые декларируют на первом месте свою православность, не похожи один на другого. И часто – это отнюдь не лучшие люди по человеческим и профессиональным меркам. Да и русская религиозная философия в лице лучших ее представителей, была вся воцерковленная, православная, духовно посвященная. Но люди были разные, с разным человеческим опытом, и потому писали разные тексты, и у них выходили разные Пушкины и разные Лермонтовы, разные Достоевские и разные Львы Толстые.

3

Каждая эпоха, уверовавшая в свою идейную устойчивость и эстетическую незыблемость, любила провозглашать: истинное постижение Достоевского только теперь и начинается; только сейчас рухнули наконец оковы, мешавшие подлинному прочтению великих произведений русского классика. Но и для нынешнего времени с его идейной ненаполненностью, этической неразборчивостью и эстетической всеядностью такой ответ был бы нечестен по духу и неточен по букве. У всякой эпохи свои оковы. Новая ситуация пока лишь поменяла знаки, но она все так же не справляется с безмерной духовной свободой и бездонной глубиной Достоевского, которые и вознесли его на вершину мировой литературы. Споры о Достоевском касаются, как всегда, не частных, а самой сути дела.

В Достоевском всегда искали потенциал *правды*. Той правды, которая «выше Некрасова, выше Пушкина, выше народа, выше России, выше всего» (26: 198). Но в нем также искали потенциал *пользы* – как бы это его *приспособить* и направить на выполнение конкретных политических, государственных или конфессиональных задач. Советская пропаганда рекомендовала обращаться к Достоевскому как к умелому оппоненту капиталистического строя, борцу с *официальной* религией и русским дворянством, как к критику либерализма и утопического мелкобуржуазного социализма. Считалось, что знать Достоевского и полезно, и необходимо – но не всему народу, а тем представителям советской интеллигенции, кто занят борьбой с классовым врагом на идеологическом фронте. Достоевскому вменяли обязательства, которых он сам на себя никогда не взял бы.

Теперь от него тоже ожидают учительства, водительства и духовного руководства. Предполагается, что он возьмет за руку своего читателя и поведет его к некоему конечному пункту, ибо этот пункт как бы и есть истинная цель читателя Достоевского. Писатель же, честно отработав маршрут, может вернуться к исходной точке за новой порцией идущих к финишу – ибо дошедшие, поблагодарив доброго проводника, уже не испытывают в нем никакой нужды.

В Достоевском хотели бы видеть лишь *средство* – мощное, эффективное, безотказное – для достижения результата, который находится уже за пределами мысли и слова писателя.

Но Достоевский *не есть средство*. Достоевский, как и вообще литература и искусство, *есть цель*.

Только этим обстоятельством и можно оправдать напряженную сосредоточенность, даже «зацикленность» на Достоевском – и у русского историка литературы, и прежде всего у самой русской литературы. Только воспринятый как цель, Достоевский открывает что-то сущностное, основополагающее читающему, думающему, пишущему о нем. Только понятый в своей собственной величайшей ценности, *самоценности*, он проявляется как подлинно творческая, преобразующая сила, действительно способная восстановить человека (или, по слову А. Блока, «помочь в немой борьбе»), – а не как очередная новомодная инструкция по применению.

Именно *как к цели* сам Достоевский относился к Пушкину, который ушел и унес с собой свою великую тайну, «и вот мы теперь без него эту тайну разгадываем» (26: 149). Достоевскому не казалась малой такая миссия – разгадывать тайну гения. Ему не казалась унижительной и задача разгадывания любого, самого мизерного человека, который тоже есть тайна. И он еще в ранней юности сказал о тайне человека пророческие слова: «Ее надо разгадать, и ежели будешь ее разгадывать всю жизнь, то не говори, что потерял время; я занимаюсь этой тайной, ибо хочу быть человеком» (28, кн. 1: 63). Замечу: Достоевский не имел в виду тайну *русского* человека, тайну *чувственного, природного* человека или тайну *духовного, благодатного* человека. Он полагался на универсальное значение этого слова, на его самый общий смысл: *человек как каждый из людей, высшее из земных созданий, одаренное разумом, свободной волей и словесной речью* (В. Даль).

Мир Достоевского христоцентричен – этот вывод, преодолев атеистические десятилетия, выговорило наконец-то наше время. «Сияющая личность Христа, пресветлый лик Богочеловека, его нравственная недостижимость, его чудесная и чудотворная красота» (21: 10) – это был тот идеал, который Достоевский утверждал всей мощью своего гения.

Но мир Достоевского еще и антиномичен. В этом мире «страшно много тайн»: Бог «задал одни загадки», и они «угнетают на земле человека». Здесь «берега сходятся, и все противоречия вместе живут». Здесь обитает *широкий* человек Достоевского, сознание которого разорвано, сердце горит, душой правит и ангел, и злое насекомое. В одиночестве, на свой страх и риск, он обречен разгадывать тайны мира. Ум и сердце *широкого* человека находятся в вечной войне: «что уму представляется позором, то сердцу сплошь красотой». Иной же начинает с идеала Мадонны, а кончает идеалом Содомским. «Еще страшнее кто уже с идеалом Содомским в душе не отрицает и идеала Мадонны». *Широкий* человек пытается постичь тайну красоты – как тайну мироздания, но с ужасом обнаруживает, что «в Содоме» красота и сидит для огромного большинства людей. В мире Достоевского красота есть не только спасающая сила (согласно загадочной формуле писателя «красота спасет мир»), красота еще и страшная, таинственная стихия. «Тут дьявол с Богом борется, а поле битвы – сердца людей» (14: 100).

Попытки описывать мир Достоевского так, будто все мучительные тайны уже разгаданы, все *широкие* люди *сужены* до нормы, а противоречивые идеалы сведены к одному утвержденному образцу, – занятия бесплодные и безнадежные: они в прямом смысле *бьют мимо цели*.

4

Прочтение и интерпретация текстов Достоевского, типы видения и трактовки романов и публицистики писателя имеют прямую зависимость от идеологической направленности интерпретатора. Описание картины мира у Достоевского жестко связано с мировоззренческой установкой и идейной тенденцией критика. Эта зависимость возникла не сегодня и не вчера. Еще современная писателю либерально-демократическая критика исходила в оценке поздних романов писателя из своих партийных позиций. Так, было распространено утверждение, что в 1870-е годы религиозно-философская проповедь писателя приобрела зловещий оттенок антигуманного клерикализма, направленного на подавление свободы человеческого духа. Роман «Братья Карамазовы» эта критика (например, Михайловский, Антонович) характеризовала как *средневековое среднестатистическое чтение*.

«В “Братьях Карамазовых” вместо гуманитарного элемента выступает элемент теологический или мистико-аскетический. Здесь нет всепрощающей любви ко всем и ко всему, а есть строгий, неумолимый аскетический ригоризм, сурово анафемствующий всех отверженцев, отмеченных печатью высшего проклятия. Подобно всем теологическим

зелотам, художник обнаружил здесь крайнюю нетерпимость ко всякому иноверию, ко всякому разногласящему мнению. К внешним практическим действиям он снисходителен и гуманно терпим; но он безжалостен к иноверию, а тем паче к безверию. Он простит самое страшное внешнее преступление, но в нем не найдется и капли жалости к самому безобидному теологическому сомнению, а тем более отрицанию... Здесь люди рассматриваются и классифицируются с другой, совершенно особой точки зрения: одесную избранные овцы, а ошуюю – отверженные козлица. Настоящих людей с плотью и духом, со смесью добра и зла здесь нет, а есть только с одной стороны святые, праведники, стоящие выше всяких человеческих слабостей, словом, ангелы во плоти, обязанные всем своим величием и своею праведностью своей твердой, ясной, несомневающейся и неколеблющейся вере, а с другой стороны нераскаянные и непробудные грешники, сомневающиеся и неверующие и вместе с верой потерявшие всякую духовную любовь, стыд и совесть, всякую нравственность, всякое человеческое подобие, – словом, воплощенные дьяволы, с наслаждением предающиеся злу и сеющие его повсюду»⁴.

Достоевский, по мнению критика, бросил всякую политику и общественность, отложил в сторону всякие житейские вопросы, а ударился в субъективность, «зарылся... в ту таинственную область, где гнездятся восторженная вера, всерешающая мистика и созерцательный самозаклученный аскетизм... Убедить и других последовать тем же путем, то есть бросить всякие гражданские идеалы, всякие мирские злобы дня, и искать свободы и правды только внутри себя и притом по указаниям и под руководством монастыря и скитских старцев, – такова мысль, такова цель, такова тенденция как романа “Братья Карамазовы”, так и речи Достоевского о Пушкине и его полемики по поводу этой речи».

Картина мира в «Братьях Карамазовых», как она виделась демократической критике 1880 годов, мрачна и карикатурна. Разумеется, антигуманизм, клерикализм, подавление человеческой свободы, всевластие церкви, которые критика усмотрела в последнем романе Достоевского, получали в ее глазах крайне отрицательную оценку. Однако в этой картине читателю идеологически неангажированному трудно узнать последний роман и его героев: это тот самый случай, когда тенденция не просто исказила, а заслонила и закрыла собою текст.

Но вот прошло сто двадцать лет, и оценки поменялись. Согласно новым веяниям, на первый план выступили религиозные реалии творчества Достоевского, только теперь со знаком плюс. Ныне исследователи стесняются говорить о «гуманизме» Достоевского, о его социальной страстности, беря в скобки (или показывая как нечто третьестепенное) высокий интерес писателя к земной жизни человека, «заикленность» романиста и публициста на русской и европейской истории, на теме зем-

ного счастья человека и его достойном существовании, мечты писателя о мировой гармонии. Ко всем этим смыслам прикреплены скомпрометированные понятия: «экономический человек», «политический человек», «абстрактный гуманизм» и т. п. Религиозные аспекты творчества Достоевского как будто конкурируют с социальными и историческими смыслами, подменяют и вытесняют их, трактовка «вечного» вытесняет стихию злободневного. Однако предлагаемые выводы, кажется, сильно расходятся с реальной картиной мира Достоевского как писателя, предсказывающего историю.

Между тем мир Достоевского жаждет правды и справедливости не когда-нибудь в иной жизни, а здесь, в реальном человеческом и земном измерении. Этой жаждой жил и сам Достоевский, с его острым чувством справедливости – ведь узаконенное социальное неравенство он вообще выводит за пределы христианской этики. «Люди могут быть прекрасны и счастливы, не потеряв способности жить на земле. Я не хочу и не могу верить, чтобы зло было нормальным состоянием людей» (25: 118), – писал Достоевский. Но ведь в Священном Писании нет ни единого упоминания о счастье в земной жизни человека. Ни разу не употреблено само слово «счастье» – ни в Евангелии, ни в посланиях Апостолов. Ничего не говорится в Священном Писании и о мировой гармонии, о всечеловечестве или всемирности – столь дорогих для Достоевского понятиях. Но – вопреки канону – в счастье человека на земле писатель свято верит и берет эту веру под свою духовную ответственность. Счастье – это жизнь, осознанная как дар. Счастье – «в светлом взгляде на жизнь и в безупречности сердца, а не во внешнем» (28, кн. 1: 196). Высшее счастье – «увериться в милосердии людей и в любви их друг к другу» (26: 188). Земное счастье человека, по Достоевскому, *законно* и в самом высшем, и в самом обыденном, житейском смысле – таком, например, как иметь родное дитя...

Мысль Достоевского напряженно билась между утверждением земли во имя земного счастья человека и отрицанием земли во имя его бесконечности. Горнило сомнений и накал атеистического отрицания, лично пережитые Достоевским, никогда не были позой или жестом лояльности в сторону прогрессистов. Равно и осанна Достоевского не была сигналом для *клерикалов*, которые подозрительно относились к *неправильному* христианству Достоевского. Для официального православия личное православие Достоевского всегда было слишком широким, слишком свободным, слишком независимым.

«Вникните в православие, – обращался к своему читателю Достоевский в 1876 году, – это вовсе не одна только церковность и обрядность, это живое чувство, обратившееся у народа нашего в одну из тех основных живых сил, без которых не живут нации. В русском христианстве,

по-настоящему, даже и мистицизма нет вовсе, в нем одно человеколюбие, один Христов образ» (23: 130)⁵.

Какой вывод следует из этого высказывания? Что Христов образ – это одно человеколюбие, то есть всеми обруганный гуманизм? Или что любое человеколюбие (милосердие, сострадание, любовь к ближнему) имеет в основе своей Христов образ, лишенный всякой мистики (сверхъестественного, иносказательного, сокрытого) и доступный человеческому пониманию?

В этой связи возникает вопрос о главной мысли и идее романа «Братья Карамазовы», идее, о которой Достоевский в 1878 году поведал В. Соловьеву в Оптиной пустыни: «Церковь как положительный общественный идеал». И другой вопрос: имеет ли отношение запечатленный в романе «Братья Карамазовы» «лик земной» к будущему России? Можно ли о «Братьях Карамазовых» говорить как о русской трагедии, как о романе, предсказавшем историю лет на сто вперед? Решил ли Достоевский первоначальную задачу (как ее сформулировал философ) или в романе была решена иная задача?

5

Вывод положительный, который находим в ряде исследований последнего времени⁶, представляется большой натяжкой, идеологической подгонкой, когда желаемое выдается за действительное. Он вызывает массу вопросов. Ведь это еще и оценка истории, оценка состояния страны последней трети XIX века. Достоевский предвидел страшный русский XX век, который мы, русские, по слову Солженицына, проиграли. Перестал ли Достоевский, великий христианский писатель, быть в «Братьях Карамазовых» критическим реалистом и провидцем? Ведь в России, где религия была частью государственной идеологии, случилось тотальное отпадение народа (а не только интеллигенции) от христианской веры и идеалов православия. Ведь все известные русские нигилисты были выходцами из православных семей и учили в детстве Закон Божий. Почему так легко отринули православные свою веру и почему в России после Достоевского победили бесы? Есть ли вина исторического православия в том, что пало православное государство? Насколько закономерен и неизбежен процесс оскудения любви и веры, остывания христианской цивилизации, о чем писали в конце XIX века многие русские мыслители?

Обо всем этом писал и Достоевский. Критикуя историческое православие, он передал старцу Зосиме для его проповеди один из самых горьких пунктов своих сомнений (оставшийся в черновиках к роману):

«Что теперь для народа священник? Святое лицо, когда он во храме или у тайн. А дома у себя – он для народа стяжатель. Так нельзя жить. И веры не убережешь, пожалуй. Устанет народ веровать, воистину так. Что за слова Христовы без примера? А ты и слова-то Христовы ему за деньги продаешь... Правду ли говорят маловерные, что не от попов спасение, что вне храма спасение? Может, и правда. Страшно сие» (15: 253).

Что происходит в «Братьях Карамазовых»? На глазах мирян и монашеской братии сначала заочно, а потом и публично разыгрывается опасное соперничество за звание праведника, в которое – так же как в соперничество отца и сына Карамазовых – втянут весь город. В противостоянии двух монахов есть, конечно, много анекдотически недостойного, но есть суть, от которой невозможно отмахнуться. Проповеди старца Зосимы о важности покаяния, о самоотверженной любви к ближнему, о потребности в правде, о молитве за всех и даже за самоубийц прекрасны своей возвышенной любовью и предельным милосердием. Однако в художественном мире «Братьев Карамазовых», где сопоставлены два недостойных соперничества, отца и сына, с одной стороны, и старцев-монахов, с другой, эти проповеди производят до странности противоречивое действие и становятся тотальным психогенным раздражителем. *Весь город наблюдает за этими двумя соперничествами, которые зреют параллельно, и все нетерпеливо ждут, на чьей стороне будет победа. Никто не может, а главное, и не хочет помешать назревающему скандалу.*

Всё решает смерть каждого из пары соперников – старика Карамазова из семейной пары и старца Зосимы из монашеской пары, при этом Зосима, покинув сей мир чуть раньше, невольно уступает поле битвы силам злого соблазна. Соперничество монахов скандально выходит наружу тотчас по успении старца: его кончина будто освобождает всех от обязанностей долга, любви и доверия. Оглушительное известие о тлетворном духе естественно радует неверующих, но поразительно, что среди верующих нашлось возрадовавшихся даже более самих неверующих, ибо, по изречению Зосимы, «любят люди падение праведного и позор его» (14: 298). В стенах монастыря и за его пределами разыгрывается недостойный фарс, где правят разнузданность, соблазн и провокация, фарс тем более опасный, что прежде тлетворный дух, даже если он исходил от гробов самых смиренных, не вызывал ни малейшего волнения. Сказывается закоренелая вражда к старчеству, затаившаяся в монастыре, и зависть к святости усопшего. Очевиден печальный парадокс: Зосима, который воздвиг вокруг себя целый мир любви, породил завистников и ожесточенных врагов в монастыре и в миру, вызвал из бездны ненасытимую злобу. Многие из врагов его, ощутив запах тлена, безмерно торжествовали, люди преданные – оскорбились и обиделись. Иноки не хотели скрывать радости, явно сиявшей в озлобленных взо-

рах, полагая, что сам Господь допустил, чтобы меньшинство временно одержало верх. Люди говорили друг другу безнадежные слова, дескать, провонял старец, и возрастало при этих словах некое зловещее торжество: будто тут указание Божие и перст его. Начиналось «нечто очень неблагоприятное», и даже «все любившие покойного старца» «страшно чего-то вдруг испугались», «враги же старчества, яко новшества, гордо подняли голову» (14: 301).

Вряд ли в такой картине церковной жизни, изображенной в романе, можно усмотреть положительный общественный идеал.

В сознании монашеской братии и мирян завещание Зосимы, который лишился славы и потерпел срам, тотально поставлено под сомнение: неправильно учил, по-модному веровал, огня материального во аде не признавал, постов не содержал по чину схимы своей, вишневое варенье ел, чай распивал, конфетой от барынь-прихожанок прельщался, чреву жертвовал, инокам от снов про нечистую силу слабительное (пурганец) давал, себя же за святого почитал. Апофеозом позора и провокации становится появление Ферапонта, который пришел березовым веником выметать из его кельи чертей. Истинный смысл претензий Ферапонта оскорбительно примитивен: над Зосимой «станут петь канон преславный», «а надо мной, когда подохну, всего-то лишь... стихирчик малый» (14: 303–304).

«Падение праведного и позор его» торжествуют повсеместно – в семье, в обществе, в церкви. Разорваны человеческие связи, и червь точит общественную ткань, от чего она дряхлеет и распадается. Над миром стоит зарево ненависти и разъединения, из зияющего пролома в стене церкви потянуло призраком смерти, и крайне подорваны силы, которые могли бы еще на единый исторический миг задержать любовь и веру в холодеющем мире.

В скором времени, предупреждает Достоевский в публицистике 1977 года, появится «куча вопросов, страшная масса всё новых, никогда не бывавших, до сих пор в народе неслыханных» (25: 174). Кто ответит на эти вопросы народу? «Ну кто всего ближе стоит к народу? Духовенство? Но духовенство наше не отвечает на вопросы народа давно уже. Кроме иных, еще горящих огнем ревности о Христе священников, часто незаметных, никому не известных, именно потому что ничего не ищут для себя, а живут лишь для паствы, – кроме этих и, увы, весьма, кажется, немногих, остальные, если уж очень потребуются от них ответы, – ответят на вопросы, пожалуй, еще доносом на них. Другие до того отдаляют от себя паству несоразмерными ни с чем поборами, что к ним не придет никто спрашивать» (25: 174)⁷.

Мир на глазах Достоевского делался неспособным к христианству и заявлял об этом, не чувствуя ни страха, ни раскаяния. События рома-

на как знамения времени свидетельствуют о расшатанных до основания нравственных началах, о безвременном одряхлении общественного организма, когда только уголовные дела еще тревожно напоминают «о какой-то общей беде, прижившейся с нами и с которой, как со всеобщим злом, уже трудно бороться» (15: 124). Общество морально анестезировано и потеряло чувствительность к трагической безалаберщине настоящей минуты, оно способно лишь смаковать сильные ощущения.

Монастырь и миряне разделены взаимным непониманием и неуважением – об этом с горечью говорит Зосима. Светские люди не доверяют монастырю и его обитателям. Монастырь, в свою очередь, смотрит на мирян с еще бóльшим осуждением. «Живут лишь для зависти друг другу, для плотоугодия и чванства... Но вскоре вместо вина упьются и кровью, к тому их ведут» (14: 284–285). Состояние мира как общественного договора в «Братьях Карамазовых» катастрофически тревожно, тупиково. Этот тупик имеет сильный запах крови: поучения Зосимы исполнены мрачных предчувствий: «кротким и смиренным» (14: 288) противостоят умные и образованные, и в этом противостоянии не виден мирный выход.

6

Русские богоискатели конца XIX – начала XX века, заболевшие религиозным беспокойством, стремились преодолеть барьер, существовавший между «культурным слоем» и «простым народом», а также между Церковью и интеллигенцией. Они понимали, что если сама Церковь не выведет народ «из темноты» и не найдет точек соприкосновения с просвещенной Россией, то на путь ложной истины и народ, и интеллигенцию выведут нигилисты, атеисты и революционеры. Как известно, русские богоискатели не успели выполнить эту работу. Россия конца XIX века являлась страной, где церковь была оторвана от общества и не имела отдельного от государства голоса; где общество презирало церковь и ненавидело государство; где государство не имело никакого влияния на общество и в церкви видело всего лишь один из мелких рычагов влияния.

«Должно помнить, – писал акад. Панченко, – что не в ладах с Церковью были почти все, притом из самых выдающихся, богословы-«непрофессионалы», то есть не принадлежавшие к духовному сословию религиозные философы. В этом смысле схожи и апологет латинства Чаадаев, и православнейший славянофил Хомяков, и чаявший «воскресения предков» Федоров, и «восточный католик» Соловьев с его «Вечной Женственностью». Значит, это общее явление, и ему надлежит

искать общее, эпохальное и национально-историческое объяснение»⁸. В этот перечень можно добавить и старца Зосиму, которого, как известно, не признало *своим* официальное православие времен Достоевского.

Секуляризация общественного сознания, как свидетельствуют исторические источники и сама русская художественная культура, завершилась в России уже к началу XX века. Церковь как социальный институт уже тогда перестала быть востребована обществом, и ее официальное положение как церкви «господствующей» оказывалось в высшей степени двусмысленным.

Значит, не большевики, пришедшие к власти, разрушили веру – а потому-то они и пришли к власти, что вера была роковым образом подорвана, так что Церковь не смогла удержать страну от развала и гибели. Монархическая триада Российской империи «православие – самодержавие – народность» не смогла остановить революцию. Не государственный атеизм стал причиной фактической утраты Церковью социальной базы – сама коммунистическая идеократия, непременной составляющей которой был атеизм, стала возможна вследствие утраты Церковью какой-либо серьезной социальной, да и духовной роли в России еще задолго до появления большевиков на политической сцене. «Образно говоря, коммунистический режим в 1918–1922 годах оказался в роли бульдозера, лишь подтолкнувшего насквозь прогнившее здание российской институциональной религиозности, чтоб оно рухнуло и до сих пор оставалось в руинах»⁹.

В «Красном Колесе» А.И. Солженицын воспроизводит духовную атмосферу российского общества накануне первой русской революции, когда уже взрывались бомбы и гремели револьверы террористов. Духовенство тогда задумалось: не от нездоровья ли Церкви, окаменевшей под дланью государства, – нездоровье общества? Ведь для культурного круга к тому моменту было решено окончательно и бесповоротно, что всякая вера в небесное есть смехотворный вздор, бессовестный обман, а уж в церковь ходить – просто стыдно, говорят: «как в Союз русского народа». Однако противники церковных реформ, пишет Солженицын, «возражали умело: что Церковь не есть учреждение человеческое, и потому не нужна в ней внешняя перемена и не должна к ней прикладываться человеческая энергия. Что писатель Достоевский оболгал её, будто она-де парализована, а она – организм вечной жизни, и вхождение в ту жизнь никому не закрыто»¹⁰. Как трагически просчитались тогда «благорасплывшиеся водители» Церкви... Не потому пала монархия, что произошла революция, утверждает Солженицын, – а революция произошла потому, что бескрайне ослабла монархия, и монархическое чувство выветривалось в миллионах сознаний вместе с чувством христианским. Все это написано Солженицыным постфактум. Достоев-

ский в «Братьях Карамазовых» и в поздней публицистике предвидел это на много десятилетий вперед.

Значение Достоевского как христианского писателя с русской и мировой судьбой не укрепляется, а ослабляется – оттого что из интерпретаций его романов вымываются социальные, национальные, исторические и даже политические смыслы, и также весь его критический пафос.

7

Еще один стереотип, продиктованный идеологической тенденцией прочтения, связан с трактовкой положительного идеала Достоевского, интерпретацией его художественного завещания, с идеей воскресения в романе, открытым финалом «Братьев Карамазовых». То есть так или иначе с образом Алеши Карамазова. Путь и пример Алеши многими исследователями видятся как ориентир для всех будущих поколений читателей в их настоящей жизни, в момент чтения романа.

Открытость финала (герои молоды, и у них все впереди) могла казаться перспективной только современникам Достоевского; для поздних его читателей будущее молодых героев было уже их собственным трагическим прошлым. Но как же не видеть драматичность сюжета с Алешей? Финал романа (разговор Алеши с мальчиками у Илюшина камня) трактуют в воскресительном, спасительном, мажорном духе – ведь Алеша приглашает мальчиков никогда не забывать друг друга и помнить славного, храброго, доброго Илюшечку. Но почему в поминальном перечне Алеши отсутствует имя отца и брата? Ведь для всеобщего воскресения надо вспомнить всех без исключения отцов и братьев.

Почему-то не замечается болезненное бесчувствие Алеши, его инфантильная готовность – на фоне своей собственной семейной трагедии – переключиться на память о *чужом* отце, но совершенно забыть о собственном грешном родителе. Радость и веселье, которые демонстрирует у камня Алеша, еще «башмаков не износивший» с похорон отца и брата (о похоронах, кстати, мы так ничего и не знаем – событие и сцена похорон остались за кадром, братьям нет до них дела, покойников как бы некому хоронить), этически неуместны. Восторг Алеши у камня – это все же *пир во время чумы*. Иван по мысли, а Алеша по факту поступают согласно тезису: «Сторож я, что ли, моему брату Дмитрию?» (14: 211). В этом мире уже настолько никто никому не сторож, будто и сторожить совсем нечего и незачем. Потому и гибнет семья Карамазовых, как полвека спустя погибает Российская империя. Отпущенный

Алеше, раннему человеколюбцу, нравственный ресурс действенной христианской любви оказался не востребован и не задействован, ибо завет старца Зосимы – быть в миру, около обоих братьев – не был им исполнен. Алеша на сутки опаздывает сделать главный поступок своей жизни. Ведь выполнить свой христианский и сыновний долг перед семьей нужно было не когда-нибудь вообще, не в разговорах с милыми его сердцу мальчиками у камня, а немедленно, в ситуации вполне безобразной. Роковая минута, когда Алеша бунтует против тленного духа, выбивает из его сознания «обязанность страшную» – непременно быть около отца и Мити.

Роман содержит неотразимые улики моральной виновности Алеши. Он пришел к Груше *«именно в вечер того дня, который закончился трагической катастрофой, послужившею основой настоящему делу»* (15: 100; курсив мой. – Л.С.). Митя едет в Мокрое – и *«это была та самая ночь, а может, и тот самый час, когда Алеша, упав на землю, “исступленно клялся любить ее во веки веков”»* (14: 369; курсив мой. – Л.С.). Но в тот самый час, когда он целовал землю и предавался религиозному экстазу, земля в квартале от него обагрилась кровью отца, и уже никакие подвиги в будущем не смогут стереть эту кровь. Он целовал землю, хотел всех простить, пал слабым юношей, а стал «твердым на всю жизнь бойцом» (14: 328), – читаем мы, но времени и поприща для борьбы у него не осталось. Как скажет на суде прокурор, Алеша, убоясь общественного цинизма и разврата, бросается в материнские объятия родной земли, чтобы «заснуть и даже всю жизнь проспать, лишь бы не видеть пугающих [его] ужасов» (15: 127). Алеша буквально *проспал* трагедию в своей семье, и этим прискорбным фактом исчерпывается его романное бытие в качестве сына и брата. Нет сомнения, что это обстоятельство было глубоко осознано автором романа. «Я» героя, то есть закон личности, роковым образом воспрепятствовал выполнению сыновнего долга, на что подвигал его завет пронизательного старца Зосимы. Тогда какой пример должны брать с Алеши читатели романа? И в чем применительно к Алеше прочитывается художественное завещание романа? Скорее, в том, как надо беречь свой дом, любить и жалеть ближнего, даже если это грешный отец и непотребный брат. И идти в этой любви до конца, выполняя завет и долг. Как видим, вполне христианская, хотя и будничная, не слишком восторженная мысль.

Судьба распорядилась так, что продолжение «Братьев Карамазовых» не было написано. Открытый финал романа стал движением к эпилогу российской империи, которая во времена Достоевского стояла, по его выражению, «колеблясь над бездной». В том и суть понятия «Достоевский – пророк», ибо пророк – это человек, провидящий свой век. Его ничто не собьет с пути, в какофонии мирских звуков он слы-

шит божественный глас, в сумятице событий, интересов, заблуждений, обольщений и надежд он видит ход времени.

Без того Достоевского, который предсказал историю России на столет вперед, предупредил о падении человечества в XIX веке и о грядущей катастрофе века XX, уже не представить нравственный ландшафт человечества на стыке столетий.

Нельзя, полагал Бердяев, буквально идти путем Достоевского, нельзя жить «по Достоевскому», погружаясь в трагедию и тьму, как его герои. Трудно и опасно перетолковывать Достоевского нормативно, согласно букве катехизиса. Но можно учиться у Достоевского открывать свет во тьме, видеть образ Божий в самом падшем человеке. «Именно Достоевский много дает для христианства будущего, для торжества вечного Евангелия, религии свободы и любви. Многие омертвело в христианстве, и в нем выработались трупные яды, отравляющие духовные источники жизни. Многие в христианстве подобно уже не живому организму, а минералу. Наступило окостенение. Мы мертвыми устами произносим мертвые слова, от которых отлетел дух... Христианство, превращенное в мертвую схоластику, в исповедание бездушных отвлеченных форм, подвергшихся клерикальному вырождению, не может быть возрождающей силой»¹¹.

Достоевский, как пламенно верил Бердяев, расплавляет окостеневшие души, проводит их через огненное крещение. Он расчищает почву для творческого возрождения духа, для нового, живого христианства. Ощущая повсюду в мире преддверие страшных катастроф и глубинных потрясений, обнаруживая и в России, и в Европе вулканическую почву бытия, Бердяев указывал на Достоевского, открывателя духовной глубины в человеке, как на величайшую ценность, которой оправдывает русский народ свое бытие в мире, то, на что может указать он на Страшном суде народов.

Картина мира Достоевского, провидящая историю, ее бездны и катастрофы, противится истолкованию этого мира в тенденциозном ключе, когда интересы и приоритеты концепции важнее, чем полнота содержания.

Имеет смысл привести в качестве заключения рассуждение и современного философа, В. Можегова. «Жизнь для другого, ради другого – это ведь и есть суть христианства. И когда это теряется, то и всё остальное теряет смысл. Поэтому мы и получаем в итоге: сверху – «православную цивилизацию», а внизу – большевизм, или сверху – «католическую цивилизацию», а внизу – фашизм. И когда мы сейчас ругаем либеральный мир, мы должны спросить себя: а почему же он победил? Архимандрит Софроний Сахаров (ученик преподобного Силуана Афонского) называл массовый отход современного человека от Церкви

реакцией естественной совести человека на грехи исторического христианства. Сотни лет людям говорили о Боге, государства называли себя “христианскими”, но при этом носили только маску благочестия. И само историческое христианство оказалось не способным отстоять ни человека, ни любовь к человеку перед государствами и всевозможными идеологиями»¹². Философ приглашает разобраться наконец, «что для нас самих является святыней – “православная цивилизация”, золотой крест на куполе или человеческая душа... Христианам доверено Откровение не для того, чтобы они замыкались в чувстве надменных “владельцев истины”, но чтобы с сознанием своей высочайшей ответственности несли его в мир». Выбор Достоевского, если исходить из этой логики, очевиден: святыня для него – человеческая душа; Откровение, которое так взволнованно и страстно было воспринято им, он столь же страстно и взволнованно принес в мир.

8

В статье «Русская трагедия» С.Н. Булгаков писал, что роман «Бесы», как и вообще все творчество Достоевского, принадлежит к искусству символическому, только внешне прикрытому бытовой оболочкой, что символизм здесь есть восхождение *a realibus ad realiora*, от реального к более реальному, «постижение высших реальностей в символах низшего мира». Анализируя «Бесов» как «символическую трагедию», Булгаков говорит: какая разница, кто с кем борется: эсеры, эсдеки, кадеты, черносотенцы... Это не имеет ровно никакого значения. «Не в политической инстанции обсуждается здесь дело революции и произносится над ней приговор. Здесь иное, высшее судьбище».

Все так. Но любопытно вспомнить, когда была написана «Русская трагедия». Она была написана в 1914 году, то есть в «мирное время», за несколько месяцев до начала Первой мировой войны, и потому построена в этакое «надмирное ключе», в котором сегодня работает «религиозная филология». «Русская трагедия» была прочитана в Религиозно-философском обществе 2 февраля 1914 года; Булгаков описывает «символический реализм» Достоевского, феномен духовной провокации и заявляет, что дело не в политике... Булгаков рассуждает об этом, имея в виду опыт 1905 года и первой русской революции. Но сколько в его прекрасной статье высокомерия к миру «феноменального, временного, производного» – в пользу «ноуменального и сверхвременного». Фокус в том, что «производное» уже через самое малое время схватило всех не только за пятки, но и за головы. «Политика не может составить основы трагедии, мир политики остается вне трагического», – пишет

он в 1914-м. В 1918 году, когда уже случились Первая мировая война и Октябрьский переворот, так бы уже не написал никто из единомышленников Булгакова. В 1922 году даже марксист В. Переверзев, имея в виду политический аспект бесовщины, признал: «Все сбылось по Достоевскому». Они все тогда поняли: если не разбираться с «символами низшего мира», не анализировать их скрупулезно, то можно трагически прозевать и «постижение высших реальностей». А у Достоевского, как раз в русле его борьбы с утилитаристами, есть все: и низменные политические страсти, и высшие ценности в сердцах людей, за которые дьявол с Богом борется.

Достоевского волновала не только вечность, но и злободневность, не только вневременная, символическая Россия, но и современная ему, конкретная Россия, с уже воплощенными в политическом облике бесами революционного подполья. Выводя рассмотрение многоуровневой формулы «реализм в высшем смысле» на уровень только «высших реальностей», «религиозная филология» рискует опять ничего не понять в исторической реальности. Испытывая «соблазн богословия», хотя филологи в богословии не большие специалисты, они не хотят замечать уже явленный исторический опыт, показавший, что борьба Бога и дьявола проходит именно на уровнях низших реальностей.

Такое высокомерие к «подробностям текущего», которые Достоевский изучал в «мельчайшей точности» (29, кн. 2: 77–78), представляется *изменой* духу великого писателя, положившего себе за правило прочитывать все сколько-нибудь значимые политические газеты, погруженного в заботы своего времени и своей страны. Достаточно перечитать последний, посмертный выпуск «Дневника писателя». О чем он? О падении рубля и об оздоровлении финансов; о различиях европейских и русских подходов к экономике. О современной литературе, которая потеряла «смысл текущего» (27: 8). О неутоленной жажде правды в народе русском и неустанным поисками этой правды. Об оставленности народа на одни свои силы и о русском социализме, понимаемом как «всесветное единение во имя Христова» (27: 19). О том, что же такое Азия и не в ней ли наш будущий стратегический геополитический ресурс. О «выбывших из списков» героях-богатырях генерала Скобелева и многом другом, что и составляет ЦЕЛОЕ – мир Достоевского, и художника, и публициста.

Однако сегодня вводят даже специальные термины, за которыми можно спрятаться, лишь бы не видеть этого целого. Достоевского читают «сквозь Евангелие», находят немало совпадений и радостно констатируют, что Иван – это «человек третьего часа», а Смердяков – двенадцатого (или наоборот). Эти качества кажутся более важными, чем все социальные, национальные, личностные или исторические свойства

героев, вместе взятые. Тот русский мир, та живая действительность, та историчность, которыми столь дорожил Достоевский, утекают меж пальцев в песок. И мы обращаемся в тех сумасшедших, которые настолько прервали всякие сношения с действительностью, что умерли для настоящего, обратились в каких-то древних греков или в средневековых рыцарей и прокисли в антологиях (см.: 18: 98). Между тем Достоевский писал: «Чем более человек способен откликаться на историческое и общечеловеческое, тем шире его природа, тем богаче его жизнь» (18: 99). Так же и искусство: оно «никогда не оставляло человека, всегда отвечало его потребностям и его идеалу <...>. Оно всегда будет жить с человеком его настоящей жизнью; больше оно ничего не может сделать. Следственно, оно останется навсегда верно действительности» (18: 101). Здесь, по-видимому, и надо искать «высший смысл» для реализма Достоевского.

Примечания

- ¹ Булгаков С.Н. Свет невечерний. М.: Республика, 1994. С. 327.
- ² Бочаров С.Г. Сюжеты русской литературы. М.: Языки русской культуры, 1999. С. 595.
- ³ Солженицын А.И. Публицистика. В 3 т. Т. 1. Ярославль: Верхнее-Вожское книжное изд-во, 1995. С. 9–10.
- ⁴ Антонович М.А. Мистико-аскетический роман // Ф.М. Достоевский в русской критике. М.: ГИХЛ, 1956. С. 262.
- ⁵ Ср. с вариантом черновика: «Изучите православие, это не одна только церковность и обрядность; это живое чувство, вполне, вот те живые силы, без которых нельзя жить народам. В нем даже мистицизма нет – в нем одно человеколюбие, один Христов образ» (24: 264).
- ⁶ См., напр., статьи В.Н. Захарова, К.А. Степаняна, Б.Н. Тарасова в сборнике: Роман Ф.М. Достоевского «Братья Карамазовы»: современное состояние изучения. М.: Наука, 2007.
- ⁷ Уже спустя двадцать пять лет ситуация с духовенством обострилась чрезвычайно. У государства, всячески подчеркивавшего приверженность идее церковно-государственного союза, не хватало средств для того, чтобы обеспечить жизнь будущих пастырей Церкви. Учащиеся духовных школ (как правило, дети клириков), выбирали семинарское образование вовсе не потому, что хотели стать, как их родители, священно- и церковнослужителями. Просто это была единственная возможность получить среднее образование. Религиозный энтузиазм в семинариях погасал, молодежь устремлялась на гражданскую службу: на прииски, в промышленные предприятия. Об этом в статье «Бегство из духовного сословия» (Новый путь. 1904. № 8) писал В.В. Розанов, видя одну из причин «бегства» в материальной неустроенности православных пастырей. О стремлении порвать с духовным сословием, материально зависимым от паствы, свидетельствовали многие священники (см.: Фирсов С. Русская Церковь накануне перемен (ко-

нец 1890-х – 1918 гг.). М.: Культурный центр «Духовная Библиотека». 2002. С. 23–53).

- ⁸ *Панченко А.* Несколько страниц из истории русской души // Толстой Л.Н. Исповедь. В чем моя вера? Л.: Художественная литература, 1991. С. 355.
- ⁹ Там же. С. 60–61.
- ¹⁰ *Солженицын А.И.* Красное Колесо. Узел III. Март Семнадцатого // Собрание сочинений: В 20 т. Т. 18. Вермонт–Париж: YMCA-PRESS, 1988. С. 231. Имеется в виду выражение Достоевского из материалов к предсмертному выпуску «Дневника писателя» (1881) «Церковь в параличе с Петра Великого» (27: 49).
- ¹¹ *Бердяев Н.А.* Миросозерцание Достоевского // Бердяев Н.А. Собрание сочинений: В 5 т. Т. 5. С. 377.
- ¹² Спасёт ли православие христианскую цивилизацию?: Круглый стол «ЛГ» // Литературная газета. 2007. 4–10 июля.

«Путь неба» или «смысл жизни»? Русские писатели на путях богоискательства

В последнее десятилетие в российской историко-филологической и философской мысли активно проявляет себя тенденция, согласно которой духовное бунтарство Л.Н. Толстого, «горнило сомнений» Ф.М. Достоевского, трагическое отрицание христианства у В.В. Розанова, религиозные поиски русских мыслителей вне уставного церковного православия (Вл. Соловьева или Н.Ф. Федорова) рассматриваются едва ли не как свидетельства индивидуального духовного уродства, как тяжелые заблуждения одиноких умов на фоне всеобщего духовного благополучия и благочестия. Расхождения с официальным православием толкуются как отступничество, богоискательство видится не иначе как богохульство.

Подобная тенденция, давно известная под названием ферапонтовщины (по имени персонажа «Братьев Карамазовых» монаха Ферапонта), наблюдалась и в XIX веке. Образец был дан: заносчивый и не в меру ретивый монах-отшельник, пришедший к старцу Зосиме (авторитету которого он некрасиво и недостойно завидует), публично выражает претензии к умирающему оппоненту (см.: 14: 303–304). Апофеозом постыдной провокации становится появление в келье старца Зосимы Ферапонта, когда тот стал березовым веником выметать чертей.

Парадоксальным образом березовый веник был неоднократно применен и к Ф.М. Достоевскому.

Так, К.Н. Леонтьев упрекал Достоевского за то, что писатель хочет *учить* монахов, а не сам учиться у них; за то, что, созрев сердцем до элементарных требований православия, писать и проповедовать *правильно он не может*. За то, что в «Пушкинской речи» очень мало *истинно религиозного содержания*, так что по сути своей это «космополитическая выходка» автора «Братьев Карамазовых»¹. Леонтьев настойчиво обличал Достоевского в нецерковности его православия: герои в лучшем случае читают только Евангелие, а «чтобы быть православным, *необходимо Евангелие читать сквозь стекла святоотеческого учения*; а иначе из самого Св. Писания можно извлечь и скопчество, и лютеранство, и молоканство, и другие лжеучения, которых так много и которые все сами себя выводят прямо из Евангелия (или вообще из Библии)»². Леонтьев

подозревал Достоевского в том, что во время создания «Преступления и наказания» он очень мало думал о настоящем (т.е. о церковном) православии: Соня Мармеладова «молебнов не служит, духовников и монахов для совета не ищет, к чудотворным иконам и мощам не прикладывается»³.

Даже и в «Бесах», несмотря на пламенные рассуждения о Христе, действующие лица говорят «все-таки не совсем православно, не святоотечески, не по-церковному», так что христианство у Достоевского и в этом романе тоже какое-то «неопределенно-евангельское». И в «Братьях Карамазовых», где Достоевский, по мнению Леонтьева, из всех сил «пытается выйти на *настоящий церковный* путь», многое не то и не так: монахи говорят совсем не то, что надо, и не так, как надо; мало говорится о богослужении и монастырских послушаниях; нет ни одной церковной службы, ни одного молебна; и постник Ферапонт почему-то изображен неблагоприятно и насмешливо; и от тела Зосимы *для чего-то* исходит *тлетворный дух*. «*Не так бы*, положим, обо всем этом нужно было писать...»⁴

Совершенно очевидно, что высказывания К. Леонтьева и других представителей официального православия в отношении к Л.Н. Толстому должны были быть намного жестче и непримиримей. Так, в 1891 году Леонтьев пишет и публикует в журнале «Гражданин» статью «Над могилой Пазухина». Сетую на то, что уходят из жизни лучшие русские силы, он не может скрыть досады, что «хороший», «правильный» А.Д. Пазухин, публицист-социолог консервативного направления, сотрудник Министерства внутренних дел, ушел (как ушли обер-прокурор Синода граф Д.А. Толстой, два столпа русской церкви Алексей и Никанор), а «плохим» – ничего не делается («скольких низких рок щадит», по слову В.А. Жуковского).

Среди самых плохих – журнал «Вестник Европы», попавший в трясину эгалитаризма, «Аякс мистической и философской мысли» Вл. Соловьев и, конечно, Л.Н. Толстой. «И старый безумец Лев Толстой продолжает безнаказанно и беспрепятственно проповедовать, что Бога нет, что всякое государство есть зло и, наконец, что пора прекратить само существование самого рода человеческого на земле. И если он (Толстой. – Л.С.) не только жив и свободен, но и мы сами все, враги его бредней, увеличиваем его преступную славу, возражая ему!.. Как же быть? Что делать? Чему верить? На что надеяться? Разные течения жизни и мысли русской теперь так противоположны и сильны. <...> Религия везде почти в презрении или открыто гонима»⁵.

Страшные это слова – *безнаказанно и беспрепятственно*. Значит, нужны наказания и препятствия? Слова еще более страшные – *если он жив и свободен*. Значит, лучше, чтоб его не было вообще или не было,

по крайней мере, на свободе? Христианин – желает своему несогласно мыслящему и несогласно верующему соотечественнику (а значит, вероятно, врагу) смерти или неволи (или смерти в неволе)?

Праведный Иоанн Кронштадтский, ныне (1990) канонизированный и причисленный к лику святых, неоднократно и чрезвычайно резко выступал против Л. Толстого, видя в нем лишь «графа», далекого не только от церкви, но и от народа⁶. В своем ответе на обращение Толстого к духовенству Иоанн Кронштадтский называл писателя дерзким, отъявленным безбожником, подобным Иуде-предателю, ужасным богохульником, извратившим свою нравственную личность до уродливости и омерзения, гнусным клеветником, дерзким соблазнителем русского юношества, порождением ехидны; он сравнивал Толстого с апокалипсическим драконом, полагая, что писатель попал под власть и влияние сатаны. «Толстой возгордился, как сатана, и не признает нужды покаяния... Толстой мечтает о себе как о совершенном человеке или сверхчеловеке, как мечтал известный сумасшедший Ницше; между тем, что в людях высоко, то есть мерзость пред Богом... Ну, кто же, православные, кто такой Лев Толстой? Это Лев рыкающий, ищущий кого поглотить. И скольких он поглотил чрез свои лъстивые листки! Берегитесь его»⁷.

В недавно опубликованном интимном дневнике о. Иоанна Кронштадтского имеется запись 1908 года, сделанная накануне дня рождения и восьмидесятилетнего юбилея Толстого (это событие широко отмечали в России и во всем мире): «6 сентября. Господи, не допусти Льву Толстому, еретику, превзошедшему всех еретиков, достигнуть до праздника Рождества Пресвятой Богородицы, Которую он похулил ужасно и хулит. Возьми его с земли – это труп зловонный, гордостью своею посмрадивший всю землю. Аминь». Запись сделана в 9 часов вечера, так что, по сути, это вечерняя молитва, где отец Иоанн просит Бога о скорейшей кончине другого человека...⁸

Это ли христианство? Христианство ли это? – резонно спросит сегодня каждый читатель Толстого. Русская православная церковь ни тогда, ни теперь, сто лет спустя, не комментирует слова святого праведника в том смысле, что это было всего только его личное мнение (а не мнение всей Церкви); что иные священнослужители думали и думают иначе, чем он; что ТАК и ТАКИМ языком говорить о великом русском писателе невозможно, неэтично, некорректно и т.п. Русская православная церковь не решается пока что взять назад жестокую ругань о. Иоанна Кронштадтского по адресу Толстого, оставляя вековой конфликт тлеть – и он тлеет, то затухая, то вновь разгораясь.

«Ныне действующая православная церковь, – считает директор музея-заповедника «Ясная Поляна», праправнук Л.Н. Толстого, – с учетом опыта XX века и уже начала XXI могла бы пересмотреть свое сино-

дальное решение столетней давности и публично выразить свое какое-то новое отношение к Толстому. Не как к еретику, врагу православия и т. п. Проблема в том, что со стороны Толстого мы ничего сделать не можем. А вот Церковь со своей стороны сделать что-то может. Да, тут должно быть неординарное и очень тонкое решение. Такое решение, которое бы эту разрубленную сто лет назад рану как-то подлатало. Именно тонкое и мудрое решение. Чтобы оно не оскорбляло ортодоксально верующих православных людей и в то же время не отлучало Толстого от современного верующего читателя. Это не должна быть отмена определения Синода. Это должно быть именно новое, в новых исторических условиях публично высказанное отношение Церкви к одному из лучших сынов России»⁹.

1

Есть множество схем, описывающих феномен Толстого-художника и Толстого-проповедника (подобные схемы применяются не только к Толстому).

1. Полный безверия писатель-романист, возомнивший о себе как об учителе человечества, проповедует свои безумные атеистические мысли, смущая и сбивая с толку православный народ православной страны. Тот, кто любит свое православное отечество, свою веру и свой народ, должен пресечь безумного старца.

2. Великий мастер прозы, автор первоклассных романов должен быть обсуждаем только в этом качестве. Все остальное – блажь и недоразумение. Следует отделить Толстого-художника от Толстого-проповедника: вся его философия, вместе взятая, и все богоискательство не стоят и страницы «Анны Карениной».

3. Величайший художник России, открыв для себя новую религию и следуя ей, пришел к выводу о том, что искусство безбожно, ибо основано на воображении, обмане, подтасовке, без всякого сожаления пожертвовал великим даром художника, довольствуясь ролью проповедника сомнительной в его случае проповеди, в которой тем не менее он всеми силами рвался к истине. Мучительный поиск истины, правдоискательство были для него дороже, чем легкая иллюзия правды. Толстого интересовала не будничная правда, но бессмертная истина, не просто правда, но озаряющий весь мир свет правды.

4. Лев Толстой не только величайший писатель, но и творец Нового христианства. «Лев Толстой, краса русской жизни, великий писатель мира, перешел все грани в трагедии творчества, вынес трагедию, не упал в эпилептический припадок, как Достоевский, не умер, как Гоголь,

с ним русская литература пошла в далекое странствие, к Новому граду, ему увиденному»¹⁰. Толстой – магнит, притягивающий весь мир.

Многие схемы (например, про «Россию, которую мы потеряли», когда пришли бесы-большевики и погубили великую православную державу) – больше пропаганда, чем история. Потому вопрос о вере и неверии Л.Н. Толстого, Ф.М. Достоевского и других писателей-классиков лучше видится на фоне магистральных поисков русской и европейской мысли.

В 1901 году Русская православная церковь засвидетельствовала факт отпадения Л. Толстого от церковного православия – ибо великий писатель «явно пред всеми отрекся от вскормившей и воспитавшей его Матери, Церкви Православной, и посвятил свою литературную деятельность и данный ему от Бога талант на распространение в народе учений, противных Христу и Церкви, и на истребление в умах и сердцах людей веры отеческой, веры православной, которая утвердила вселенную, которою жили и спасались наши предки и которою доселе держалась и крепка была Русь Святая» (из «Определения Святейшего Синода от 20–23 февраля 1901 г. № 557 с посланием верным чадам Православной Греко-Российской Церкви о графе Льве Толстом»).

Отпадение Толстого Церковь считала бесспорным и объясняла, что оно страшнее, чем отлучение, что Толстого даже и не нужно было отлучать, потому что он сам сознательно отошел от Церкви, открыто заявив в своих сочинениях о полном несогласии с ней.

Однако формальное определение Синода сопровождалось таким набором частных высказываний духовно авторитетных людей, которые должны были воздействовать на общество, может быть, гораздо сильнее, чем сам факт отлучения. В глазах русского общества православный фундаментализм выставил Толстого преступником, злодеем, кощунником, едва ли не сатанистом.

«В сердце Толстого совершилось что-то страшное, и я думаю, что если б перед ним предстал в духовном всеоружии сам апостол Павел, – душа Толстого не открылась бы слову Апостола», – это на «Религиозно-философском собрании» в Петербурге в 1902 году говорил В.А. Тернавцев¹¹. Напомню ответ Л.Н. Толстого на Свидетельство Синода об отпадении от Церкви, которое всем образованным русским обществом было воспринято именно как отлучение от Церкви, изгнание из нее, как своего рода церковная анафема. «Постановление Синода, – писал Толстой, – произвольно, потому что обвиняет меня одного в неверии во все пункты, написанные в постановлении, тогда как не только многие, но *почти все образованные люди разделяют* такое неверие и беспрестанно выражают его и в разговорах, и в чтении, и в брошюрах, и в книгах»¹².

Стоит обратить внимание на толстовское определение «почти все образованные люди».

Как свидетельствовал В.А. Тернавцев на одном из собраний Религиозно-философского общества, «дар почти пророческого ясновидения он употребил против Дарителя. И если Церковь русская – действительно Церковь, она не могла молчать.... Здесь Церковь совершила акт огромного нравственного значения: *Россия благочестивая отторглась от России мыслящей*»¹³.

Огромная, непреодолимая пропасть между одной Россией, Россией церковной, монашеской, и Россией светской, университетской, культурной была наконец зафиксирована и провозглашена как свершившийся факт.

Современники Толстого середины XIX – начала XX века стали свидетелями величайшего духовного неблагополучия Церкви, где стояли неверующие под видом верующих. Оказывается, можно было числиться в Церкви, не веря в нее, можно было молиться и поститься, но верить в добро и любовь. Обман казался тем страшнее, что исходил не только от людей, пропивших веру в ночных заведениях, но и от добропорядочных, образованных русских граждан, зачастую имевших и общественный авторитет, и власть, и даже сан.

Писатели русского золотого века и русского серебряного века увидели окончательное отпадение от веры едва ли не всего русского образованного сословия – вера в Бога и в бессмертие души не вписывалась в понятие «прогресс», в понятие «научное мышление»; религиозное просвещение не справлялось с веяниями времени.

Основной факт русской жизни, современной Достоевскому и Толстому, заключался в том, что не только заблудшие нигилисты, а подавляющее большинство православного русского общества: генералы и генеральши, inferнальные купцы и флигель-адъютанты, барышни и сановники, англomаны и мелкие чиновники – все люди воспитанные, образованные и даже часто приятные – уж настолько потеряли представление о любви христианства и о самой сути его, что *любящий святой* мог быть для них только идиотом или, в лучшем случае, «Иванушкой-дурачком». Рассуждая таким образом, русский религиозный писатель С.И. Фудель с горечью воспроизводил ситуацию романа Ф.М. Достоевского «Идиот».

Почему мыслящие люди, которыми Россия вправе могла гордиться, оказались в лице Толстого отторгнуты от Церкви? Почему Толстой, желая блага России, и Церковь, тоже желающая ей блага, почему эти силы столкнулись столь роковым образом?

Почему Толстой не мог молчать и говорил о своей вере совсем не то, что требовала от него Россия благочестивая, – это самая суть проблемы.

В том, что Толстой писал о Христе, собраны воедино *разные* чувствования и переживания. Но это интуиции **ВЕРУЮЩЕГО ЧЕЛОВЕКА**, пристально читающего Евангелие и воспринимающего Слово буквально. В этом смысле он, будучи безмерно одарен, не погрешил против Дарителя. Толстой, как и большинство инаковерующих до него, выступал против официальной церкви, считая, что она действует *вопреки* Евангелию. Толстой писал: «Верю, что для преуспевания в любви есть только одно средство: молитва, – не молитва общественная в храмах, прямо запрещенная Христом (Мф. 6: 5–13), а молитва, образец которой дан нам Христом, – уединенная, состоящая в восстановлении и укреплении в своем сознании смысла своей жизни и своей зависимости только от воли Бога».

С Толстым случилось то же самое, что и с другими инаковерующими, колеблющимися, сомневающимися до него. *Христианская Церковь никогда не могла одержать верх над своими идейными противниками чисто богословскими методами, силой убеждения, а не силой принуждения или изгнания.*

Церковь не поощряла сомнений. Она предупреждала верующих, что «чрезмерная пытливость» не угодна Богу, и требовала слепой, нерассуждающей веры. Источником ересей всегда являлась только Библия, которую еретики противопоставляли церкви и церковному учению. Библия в руках еретиков становится опаснейшим оружием против Церкви – в 1231 булла папы Григория IX запрещает мирянам читать Библию. С середины XIII века верующим запрещалось иметь Библию и читать ее даже на латинском языке – это было прерогативой духовенства.

«Если и был у нас человек, который хотя бы отчасти рискнул принять загадочные и явно опасные слова евангельских заповедей, так это был Лев Толстой»¹⁴, – писал Л. Шестов.

Почему опасные и почему загадочные?

Любая религия, любое политическое или социальное учение, любая философская доктрина, едва оформившись, неизбежно получают контроверзу: ересь как тень следует за любой мыслью и любой верой. То, что когда-либо было придумано, написано, пересказано одними людьми в одно время, всегда может быть оспорено другими людьми в это же самое или во всякое другое время.

«Допросы», то есть вопросы к христианству (православию) возникают у людей едкого, нервного ума: православие, как писал В.В. Розанов, *в высшей степени отвечает гармоническому духу, но в высшей степени не отвечает потревоженному духу*¹⁵. Потревоженный дух был уже у первых ропотников и ругателей, ждущих, что Царство Божие наступит в самое ближайшее время, как обещало Евангелие («Некоторые

из стоящих здесь, еще не вкусят смерти, а уже увидят Сына человеческого»; Мф. 16, 28).

2

Но русский образованный современник Толстого имел потревоженный дух («сумятица и буря, злость и нервы») и уже привык рассуждать. На точке, что есть вера Христова, не могли сойтись русские писатели весь XIX век. Белинский не признавал апелляции Гоголя к церкви, которая «всегда была опорой кнута и угодницей деспотизма», «службой и опорой светской власти», и негодовал, что с ней Гоголь связывает Христово учение. Повторим цитату: «Что вы нашли общего между Ним и какою-нибудь, а тем более православной церковью? Он первый возвестил людям учение свободы, равенства и братства и мученичеством запечатлел, утвердил истину Своего учения. И оно только до тех пор и было *спасением* людей, пока не организовалось в церковь и не приняло за основание принципа ортодоксии. Церковь же явилась иерархией, стало быть, поборницей неравенства, льстецом власти, врагом и гонительницею братства между людьми, – чем продолжает быть и до сих пор. Но смысл Христова слова открыт философским движением прошлого века. И вот почему какой-нибудь Вольтер, орудием насмешки погасивший в Европе костры фанатизма и невежества, конечно, более сын Христа, плоть от плоти Его и кость от кости Его, нежели все ваши попы, архиереи, митрополиты, патриархи»¹⁶.

И это была правда: в то время как в XVIII веке просвещенные европейцы осуждали пытки, применяемые инквизицией, церковь продолжала их защищать. Применения насилия против врагов церкви защищал папа Пий IX, современник Достоевского, в своем «Силлабусе».

По Белинскому, Россия видит смысл своего существования в успехах цивилизации, просвещения, гуманности, в пробуждении у народа человеческого достоинства. Ей нужны не проповеди и молитвы, а гражданские права и грамотные, ответственные законы. Потому самые живые национальные вопросы России – социальные, а не религиозные: уничтожение крепостного права, отмена телесных наказаний.

Спор Белинского и Гоголя, явивший на суд обществу две системы идей, два манифеста бытия, крайние полюсы мышления по вечному вопросу о способах улучшения жизни страны, обнажил всю трагедию глубочайшего непонимания всех всеми и факт тотального нежелания видеть в оппоненте брата, а не врага. Отсутствие необходимой терпимости к мнениям «несогласно мыслящих», резкий, порой оскорбительный тон полемики, выражения, несовместимые с тем уважением, которое

должно иметь место даже и в случае серьезных разногласий с оппонентом, сводили на нет даже самые глубокие размышления о вере, особенно в тех случаях, когда они рифмовались с декларацией евангельской любви к ближнему.

Русское духовенство, как свидетельствовали внимательные современники, мало интересовалось Толстым-писателем: «не имело терпения» прочесть его романы, находя их скучными и бессодержательными. «Большинство духовенства, и высшего и низшего, не читало – иначе как случайно и в отрывках – даже “Войну и мир”, и совершенно не имеет понятия о других превосходных и небольших произведениях Толстого. <...> Поэтому, когда вопрос зашел об отлучении Толстого от Церкви, то духовенству субъективно он представился совершенно иначе, чем всему русскому обществу, наконец – чем России. Для Церкви и духовенства “отлучить Толстого” значило выразить, что начал еретичествовать и оскорблять Церковь “один из литераторов, незаслуженно превознесенный, который писал романы из пустой жизни светского общества, совершенно уже не христианской по нравственности и быту”. О Толстом знали только, т. е. знало духовенство, что он изображал балы, скачки, увеселения, охоту, сражения – все “до духовных предметов не относящееся”. <...> Все это казалось “вздором и баловством барской души”, праздной без работы и серьезного служебного долга»¹⁷.

Между тем Л.Н. Толстой, совершенно в духе своего времени, в разгар славы и творческого расцвета «переменил участь» – был художником, а стал религиозным философом. Поворот к религии и богоискательству, который совершился с Толстым в семидесятые годы XIX столетия, это, быть может, не столько религиозный поиск одиночки-богоискателя Толстого, сколько сильнейший отголосок религиозного напряжения, брожения, смятения, духовной тревоги и даже духовного надрыва его времени. Народ, плохо понимавший существо православия, потянулся в секты; в «Дневнике писателя» 1876 и 1877 годов Достоевский пишет о появившихся в России сектах хлыстов, штундистов, молокан. «Кстати, что такое эта несчастная штунда? Несколько русских рабочих у немецких колонистов поняли, что немцы живут богаче русских и что это оттого, что порядок у них другой. Случившиеся тут пасторы разъяснили, что лучшие эти порядки оттого, что вера другая. Вот и соединились кучки русских темных людей, стали слушать, как толкуют Евангелие, стали сами читать и толковать и – произошло то, что всегда происходило в таких случаях. <...> Без сомнения они (секты. – Л.С.) вышли из одного и того же невежества, то есть из совершенного незнания своей религии» (25: 10, 12).

Но не только темные простолюдины блуждали в поисках новой веры, пытаясь толковать Евангелие на свой страх и на свою совесть,

а главное – «с самого начала, с самого то есть сотворения мира, с того, что такое есть человек и что женщина, что хорошо и что дурно и даже: есть ли Бог или нет его?» (25: 11), толковать с таким азартом и жадой, будто добытое веками драгоценное достояние православной веры уже ничего не значило и ничего не стоило. Тем же самым было занято и образованное общество, едва ли не впервые после школьного катехизиса открывавшее для себя Евангелие, которое становилось источником религиозно-философского творчества многих высоких умов и порывистых душ.

Андрей Белый, провозглашая Л. Толстого творцом нового христианства, выразил общую тоску неудовлетворенности христианством старым, официальным православием. Поиск Новой Церкви – это лейтмотив духовных исканий всего Серебряного века. Поиск правильной веры в православной стране (уже имеющей правильную веру) стал к началу двадцатого века (еще до всяких большевиков) явлением повседневым, на чем сходились и отшатнувшийся народ, и беспокойная интеллигенция.

О Достоевском как творце нового христианства писал, как помним, Бердяев. «Именно Достоевский много дает для христианства будущего, для торжества вечного Евангелия, религии свободы и любви. Многие омертвело в христианстве, и в нем выработались трупные яды, отравляющие духовные источники жизни. Многие в христианстве подобно уже не живому организму, а минералу. Наступило окостенение. Мы мертвыми устами произносим мертвые слова, от которых отлетел дух... Христианство, превращенное в мертвую схоластику, в исповедание бездушных отвлеченных форм, подвергшихся клерикальному вырождению, не может быть возрождающей силой»¹⁸.

В самых модных литературных салонах Петербурга (например, у Мережковского и Гиппиус) говорилось следующее: Церковь нужна, как лик религии евангельской, христианской, религии Плоти и Крови. Существующая Церковь не может от строения своего удовлетворить ни нас, ни людей, нам близких по времени»¹⁹. Даже сектантство, старообрядчество, эзотерика закрытых религиозных общин многим казались духовно более глубоким и более народным явлением, чем традиционное, официальное православие. Здесь – сердцевина, ядро проблемы.

Так, Н.Ф. Федоров, ровесник Толстого, учит «взыскующих града небесного», и в числе его учеников – Вл. Соловьев, для которого Федоров – «дорогой учитель и утешитель». Так и В.В. Розанов, гениальный ученик Достоевского, сочиняет свое языческое богословие, свой «Апокалипсис». Многие русские собеседники-богоискатели ищут Бога, в которого, как Шатов у Достоевского, они неистово *хотят верить*.

И получается, по слову Розанова, что «правильное», официальное христианство, держится... холодностью, равнодушием. «Страшное дело: “стойте, не шевелитесь, – *не горячитесь, главное – не горячитесь*: иначе все рассыплется”, – вот лозунг времен, лозунг *религии, Церкви!*.. От этого выходит, что “впадали в ересь” все “горячо веровавшие”: поразительная черта в Христианстве!»²⁰

Толстого, вместе с Достоевским и Гоголем, Розанов причисляет к великим мистикам нашей литературы²¹, хотя Толстой и разошелся с Церковью бесповоротно («Они не понимали друг друга: даже не знали»²²).

Стоит напомнить и другие слова В.В. Розанова. «Толстой, при полной наличности ужасных и преступных его заблуждений, ошибок и дерзких слов, есть огромное религиозное явление, может быть – величайший феномен религиозной русской истории за 19 веков, хотя и искаженный. Но дуб, криво выросший, все не есть безличное “учреждение”, которое никак не выросло, а сделано руками»²³.

Упрек Толстому в том, что он «не мог молчать», не стал молчать и в вопросах веры, мне кажется вообще не корректным по отношению к писателю, который жил с ощущением своей правды, положил на алтарь этой правды свое художественное творчество. Хвалить Толстого за то, что он обличал язвы своего века и пороки своего государства, и ругать его за то, что он обличал неправду современной ему религиозной жизни, бессмысленно; в его глазах это одно и то же. «Мир погибнет, если я остановлюсь», – это высказывание Толстого (напоминание о не любимом им Наполеоне) лучше всего выражает его самосознание.

Несомненно, что Л. Толстой – один из искателей Истины. Он был куда ближе к ним, нежели к своему герою Стиве Облонскому, который выстаивал православную службу с каким-то «затеканием ног» и жил, как огромное большинство людей его круга, в коконе религиозного и церковного равнодушия. Так жил пушкинский Онегин, которому было чуждо даже бытовое православие, так жил цвет русского дворянства, в среде которого принято было потешаться над страстной религиозностью чудаков-одинок.

«Отпадение мое от веры, – признавался Толстой, – произошло во мне так же, как оно происходило и происходит теперь в людях нашего склада образования. Оно, как мне кажется, происходит в большинстве случаев так: люди живут так, как все живут, а все живут на основании начал... не имеющих ничего общего с вероучением... вероучение... исповедуется... вдали от жизни и независимо от нее... По жизни человека, делам его... никак нельзя узнать, верующий он или нет»²⁴.

История русской мятущейся души, отпавшей от веры, место которой в сердце человека заняли культура, обиход, обычай, обязанность, жгуче интересовала Достоевского, и он, намереваясь посвятить такому человеку огромный роман «Атеизм», собирался прочесть для этого «чуть не целую библиотеку атеистов, католиков и православных». «Лицо есть: русский человек нашего общества, и в летах, не очень образованный, но и не необразованный, не без чинов, – *вдруг*, уже в летах, теряет веру в Бога. Всю жизнь он занимался одной только службой, из колеи не выходил и до 45 лет ничем не отличился. (Разгадка психологическая; глубокое чувство, человек и русский человек.) Потеря веры в Бога действует на него колоссально. <...> Он шныряет по новым поколениям, по атеистам, по славянам и европейцам, по русским изуверам и пустынножителям, по священникам; сильно, между прочим, попадает на крючок иезуиту, пропагатору, поляку; спускается от него в глубину хлыстовщины – и под конец обретает и Христа и русскую землю, русского Христа и русского Бога» (28, кн. 2: 329).

Толстой пишет свою «Исповедь» (1879) десять лет спустя после неосуществленного замысла Достоевского, семь лет спустя после «Исповеди Ставрогина» и в то самое время, когда Достоевский сочиняет для Ивана Карамазова «Поэму о Великом инквизиторе».

Достоевский, обещавший (в письме к А.Н. Майкову), что его герой, *вдруг* потерявший веру, после многих испытаний и искушений обретет русского Христа, не смог *насильно* этого сделать ни в отношении Ставрогина, ни в отношении Ивана Карамазова. Не обрел русского Христа, как его понимала официальная Церковь, и Лев Толстой, а нашел свою, самодельную веру, стремясь изобличить «ложное церковное христианство» и утвердить «истинное его понимание», искренне веря, что проповедует не толстовство, а именно Евангелие. Для Толстого Евангелие – это не метафизика Богочеловечества, а практическое учение о делании добра, ибо то, что человек делает для другого человека, он делает для Бога. На этом завете Христовом (Мф. 25: 40) держится вся христианская этика, в которой для Толстого – единственный смысл и нерв христианства.

Именно Достоевский, лет на тридцать раньше Толстого, поднимает вопрос о совместимости веры и образования. «Дело в настоящем вопросе: можно ли веровать, быв цивилизованным, т.е. европейцем? – т.е. веровать безусловно – в божественность сына Божия Иисуса Христа (ибо вся вера только в этом и состоит... Уничтожьте в вере одно что-нибудь – и нравственное основание христианства рухнет всё, ибо всё связано» (11: 178). «Действительно, – комментировал Н. Лосский, – величайшая трудность для современного образованного человека за-

ключается в учении, что Иисус, родившийся в Палестине 20 веков тому назад и распятый на кресте, был не просто человек, а воплотившийся Бог. Возможно, что у Достоевского возникали иногда сомнения относительно этого догмата, но они могли быть, по крайней мере в последние десять лет его жизни, только кратковременными, преходящими»²⁵. Цивилизация дает на это ответ фактами и ответ отрицательный: никому из европейцев не удалось удержать чистого понимания Христа²⁶.

Так можно ли существовать обществу без веры – одной лишь наукой? Возможна ли нравственность вне веры? И отсюда вытекает главный, роковой вопрос: «Если православие невозможно для просвещенного (а через 100 лет половина России просветится), то, стало быть, всё это фокус-покус, и вся сила России временная. Ибо, чтоб была вечная, нужна полная вера во всё. Но возможно ли веровать?» (11: 179)

Последний пункт Достоевский считает главным, огненным вопросом существования России: можно ли веровать во всё, во что православие велит веровать? «В этом *всё*, весь узел жизни для русского народа и всё его назначение и бытие впереди» (там же).

Но образованная Россия, современная Достоевскому и Толстому, полагала, что религия вредна, ибо подавляет образование ума и заставляет человека быть добрым не по собственному убеждению, а из страха наказания. Вслед за деятелями Просвещения, великими сторонниками разума, русское образованное общество обращается к Священному Писанию с категорическими вопросами: подлинен ли текст Евангелия, достоверно ли то, что в нем написано. Тогда казалось, что наука всесильна, что в ее компетенции подвергнуть филологическому анатомированию не только тексты Священного Писания, но научно проанализировать его метафизическую сущность.

История библейской критики не менее поучительна и драматична, чем история научного естествознания. Известное высказывание Тертуллиана: «Нам после Христа не нужна никакая любознательность, после Евангелия не нужно никакого исследования» – не оправдалось. Сопоставляя тексты, обнаруживая противоречия в Писании, люди шли той же дорогой, по которой шел греческий философ II века Цельс, античный критик христианского вероучения, и античный писатель Порфирий. Оба просеивали Священное Писание сквозь сито здравого смысла, и «Правдивое слово» («*Alethes logos*») Цельса (направленное против библейской космогонии и основных догматов христианства), известное нам лишь по обширным цитатам из Оригена («Против Цельса»), вызывало живейшее беспокойство у христианских апологетов.

Критический и аналитический подходы, критерий разума, дух скептицизма и свободомыслия, свойственные Новому времени, не могли не коснуться и твердынь религии. Метод сравнительного изучения

религий, внутренний и внешний анализ Священного Писания овладел умами просвещенных европейцев. Наряду с рационалистической критикой вырабатывался аналитический подход к древним памятникам человечества, употреблялись приемы их послойного исследования и истолкования. Анатомически препарируется сантиметр за сантиметром Писания, ученые выявляли его древнейшую основу и позднейшие наросты, разнородные включения, различные редакции, исследовали земные корни христианства. Всем им, без исключения, казалось, что они действуют во благо науки и человечества.

Заметим, что многие представители рационалистической критики были или священниками или профессиональными знатоками Библии: и французский священник Жан Мелье, и Шарль Дюпюи, теолог по образованию, родоначальник мифологической школы происхождения христианства, и Давид Штраус, получивший теологическое образование в Тюбингенском университете, и Бруно Бауэр, профессор теологического факультета Берлинского университета (его лекции слушал Карл Маркс), и Эрнест Ренан, «бессмертный», член Французской академии, получивший католическое образование в Париже.

Книгу Д. Штрауса «Жизнь Иисуса, критически переработанная» (1835–1836), имевшую огромное влияние на европейские и русские умы, Белинский назвал концом Средневековья Европы в сфере религии. Библейская хронология, история, этика, само божественное откровение становились предметом филологического и культурно-исторического анализа. Метод нерассуждающей веры и метод критического чтения источников радикально не совпадали. Уже в наше время, с трибуны международного конгресса историков в Риме в 1955 году прозвучал призыв папы Пия XII изъять Христа из компетенции рассуждающей науки и оставить его всецело в области иррациональной веры.

Можно ли полагать, что увлечение рационализмом, критицизмом, аналитикой, сферой «рассуждающей» науки было лишним, роковым, тупиковым зигзагом развития христианской цивилизации? Думаю, что нет. Человечество было обязано пройти этот путь, знать все его соблазны, все вершины и все падения. Человечество обязано было в полной мере оценить, что такое разум, – хотя бы для того, чтобы дать себе отчет: что такое ум, оставленный на самого себя. Только опытным путем можно было понять, что нравственные начала в человеке, полагающемся на одни свои силы, условны. Вспомним, что писал Достоевский в черновиках к «Бесам»: «Сообразите, что значит зверь, как не мир, оставивший веру; ум, оставшийся на себя одного, отвергший, на основании науки, возможность непосредственного сношения с Богом, возможность Откровения и чуда появления Бога на земле» (11: 186). Неверие сродно человеку потому, писал там же Достоевский, что он «ум ставит выше

всего, а так как ум свойствен только человеческому организму, то и не понимает и не хочет жизни в другом виде, т. е. загробной, не верит, что она выше. С другой стороны – человеку свойственно по натуре чувство отчаяния и проклятия, ибо ум человека так устроен, что поминутно не верит в себя, не удовлетворяется сам собою, и существование свое человек потому склонен считать недостаточным» (11: 183–184). Это написано летом 1870 года, вне всякой связи с Толстым, но кажется, что именно о Толстом.

4

Дар мысли, дар рассуждения – это не слабая, а сильная сторона Толстого. Он анализировал свою жизнь, свои убеждения, свои занятия и приходил к выводу, что они не улучшают человека. Он увидел тщетность понятия-суеверия «ПРОГРЕСС», он видел тщету всего, он не мог ответить себе на самый главный вопрос ЗАЧЕМ? Зачем Я? Зачем Человечество? Его не удовлетворяли знания, науки, они не давали ответов на главные вопросы. Так, и у Достоевского его Князь-Ставрогин рассуждает: «Наука нравственного удовлетворения не дает; на главные вопросы не отвечает» (11: 177). Нет ничего более опрометчивого, чем называть Толстого *позитивистом*. Он перебрал все позитивные знания, он увидел их беспомощность. Наука не давала ответа на вопросы Толстого. Мудрый умирает, как и глупый, участь доброго и злого одинакова. Блуждание в знаниях только усиливало отчаяние.

Толстой перебрал все рациональные выходы и ответы и нашел четыре возможных выхода: 1. Неведение. 2. Эпикурейство. 3. Выход силы и энергии. Жизнь есть зло – надо уничтожить ее. 4. Выход слабости – тянуть лямку. Вера требовала отречения от разума, поскольку только она давала возможность жить и отвечала на вопрос ЗАЧЕМ. Вера есть знание смысла человеческой жизни, вследствие которого человек не уничтожает себя, а живет.

Вера большинства людей его круга – была эпикурейским утешением, рассеянием, забавой, почти игрой. Однако религиозная вера – это дар. Судьба же дала Толстому вместо мистического дара – дар литературный. Вряд ли следует считать это духовным уродством – человек, родившийся без ног или рук, с шестью пальцами или жабрами вместо легких. И кто сказал, что нужно быть одаренным по тому или иному рецепту, по тем или иным прописям? Вряд ли можно согласиться с мнением тех, кто считал Толстого религиозно бездарным. Может быть, вера, которую изобретал Толстой, была менее вдохновенна, чем учение Христа. Наверное, не столь долговечна. Церковь ответила на его поиски

несогласием и считала, что освободилась от инакомыслящего и инакововерящего. От еретика.

Через две недели после гибели Александра II Победоносцев получил письмо от Л.Н. Толстого с просьбой передать послание новому государю. Оно было написано в связи с предстоящим смертным приговором участникам покушения на Александра II – членам партии «Народная воля» Желябову, Рысакову, Михайлову, Кибальчичу, Перовской. Толстой умолял сына убитого царя помиловать убийц его отца. «Более ужасного положения нельзя себе представить, более ужасного потому, что нельзя представить себе более сильного искушения зла, – писал Толстой. <...> Как воск от лица огня, растает всякая революционная борьба перед царем человеком, исполняющим закон Христа»²⁷. Письмо Толстого Александру III ставило вопрос о том, что, убивая революционеров, нельзя бороться с ними. С ними надо бороться духовно, то есть поставить против них такой идеал, который был бы выше их идеала.

Толстой надеялся на помощь Победоносцева. «Милостивый государь Константин Петрович! Я знаю Вас за христианина и... мне этого достаточно, чтобы смело обратиться к Вам с важной и трудной просьбой передать государю письмо, написанное по поводу страшных событий последнего времени...»²⁸ Победоносцев отвечал ему в совершенно иной тональности. «Прочитав письмо Ваше, я увидел, что Ваша вера одна, а моя церковная другая, и что наш Христос – не ваш Христос. Своего я знаю мужем силы и истины, исцеляющим расслабленных, а в Вашем показались мне черты расслабленного, который сам требует исцеления. Вот почему я по своей вере не мог исполнить Ваше поручение»²⁹. Кто же из них двоих был больше христианином?

Толстой не принимал христианство как одну только метафизику. Он с энтузиазмом и вдохновением пытался вернуть евангельской этике подобающее место как религии любви. Практическое христианство – научиться делать добро для другого человека, а не только говорить о добре цитатами из Евангелия. Толстой чувствовал, что ждать больше нельзя, что наступают времена и сроки. В России всегда было так мало милосердия и ненасилия...

Церковь не просто лишила Толстого звания члена Церкви, не просто зафиксировала факт, что учение Толстого не имеет ничего общего с церковным учением. Это было сделано по соображениям политически принципиальным, а не потому, что всех тех, кто не разделял с Церковью ее догматов, отлучали от нее автоматически. «У нас есть направление позитивистов, – говорил на Религиозно-философском собрании в Петербурге архимандрит Сергей, – но они своего учения не распространяют и своих последователей десятками тысяч не считают. У нас есть позитивисты, но они излагают свое учение в форме таких

книг, которые не всем доступны. Л. Толстой всем доступен и имел много последователей»³⁰. Русская Церковь видела, что Л. Толстой опасен для членов русского общества именно потому, что не состоял в духовном союзе с Церковью. «Л. Толстой господствовал над обществом и был для многих опасен. Он действовал против христианства, а между тем он прикрывался христианством и Евангелием. Потому Церковь и объявила об отпадении Л. Толстого от церкви»³¹.

Сторонники Синодального определения говорили тогда, что Толстой, написавший свою догматику, выдавал ее за настоящую православную и что он и был отлучен, чтобы его не принимали за настоящего православного богослова. Обсуждался вопрос: идет ли христианство против науки, может ли Церковь отлучать от своего общения представителей науки. Нет и нет, говорили представители духовенства. «Одно дело ума, другое дело сердца, одно дело наука, философия, другое пропаганда. Л. Толстой опасен не как ученый, а потому что стал кумиром и для себя и для других»³².

И еще один фрагмент заседания Религиозно-философского общества в Петербурге. Священник Иоанн Янышев резонно заметил: «Все противники Церкви – и Ницше, и Спенсер, и Дарвин – разобраны по ниточке в духовной литературе и опровергнуты. Почему не читают ее?» Знаменателен и ответ одного из участников заседания, Е.А. Егорова: «Очевидно, у духовных писателей нет той силы дарования, которая заставляла бы их читать...»³³

А народ слушал Толстого, считал голосом совести и справедливости, нетерпимым ко лжи и социальным контрастам. Слушал потому, что был «оставлен на одни свои силы».

Стоит внимательно отнестись к словам Д. Мережковского, говорившего о том, что такое была и чем стала вера народа. «Никогда еще до такой степени, как в настоящее время, крестьянство не было противоположно христианству... “Нет земли” – эта, некогда тихая жалоба превратилась в отчаянный вопль, рев мятежа крестьянского и всенародного. Вопит земля, а небо глухо... Христианство, уйдя на небо, покинуло землю, и крестьянство, отчаявшись в правде земной, готово отчаяться и в правде небесной. Земля – без неба, небо без земли»³⁴. «Русский народ-богоносец сделался безбожнейшим изо всех народов и крестьянство перестало быть христианством. Крестьянство ищет земли, только земли, как будто окончательно забыв о небе и отчаявшись в правде небесной. Церковь что-то лепечет о Боге, но такое жалкое, что, кажется, сама себя не слышит и не понимает. Самодержавие, подписывая конституцию, и не вспомнило, что оно – “православное” и что нельзя отречься ему от помазания, не спросясь у тех, у кого оно приняло это помазание»³⁵.

«Переход в социализм и, значит, в атеизм совершился у мужиков, у солдат до того легко, точно “в баню сходили и окатились новой водой”. Это совершенно точно, это действительность, а не дикий кошмар»³⁶ – это писал В.В. Розанов, свидетель русского революционного апокалипсиса.

«Не было такого насилия, такого кощунства, такого непотребства самодержавной власти, которые не благословлялись бы православной церковью»³⁷. «После тысячелетних усилий создать что-нибудь похожее на политически реальное тело Россия создала, вместо тела, призрак, чудовищную химеру, полубога, полузверя – православное самодержавие, которое давит Россию как бред»³⁸.

Русский интеллигент, пока он остается собою, то есть русским европейцем, не может понять православия, так же как Европа не понимает его, – вот общее убеждение той самой мыслящей России, которую отделили от России благочестивой. Что такое в своих последних и метафизических основах вера православного народа в православного царя? 9 января 1905 года: люди пошлю к царю, думая, что у них одна вера и что они царицы дети. «И лицо русской земли было залито русской кровью». Под личиной Христа народ увидел лицо Зверя. Самодержец явился самозванцем Христа³⁹.

Нельзя не видеть, насколько глубоко входили эти политические смыслы в духовный бунт Толстого против господствующей государственной Церкви.

5

Исчерпывает ли религиозная *мысль* Толстого всю глубину его религиозного *существа*? Несомненно, нет. Не только он верит в Бога, но даже верит в него так, как немногие из пребывающих в христианстве. Достоевский писал, что глубочайшая христианская мысль выражена в примирении Вронского с Карениным над умирающей Анной. Пронзительное прикосновение к христианству – Платон Каратаев. Вопрос веры и неверия Толстого – это не только вопрос его личной религиозности. Это вопрос всего пути русской культуры за 300 лет после Петра, которого его современник писатель Феофан Прокопович называл Христом. Это весь диапазон проблемы Кесаря и Бога, церкви и государства.

Выступая с докладом на заседании Религиозно-философского общества с рефератом «Лев Толстой и русская церковь», Д.С. Мережковский утверждал: «Главное, следует помнить, что со стороны Л. Толстого в его отпадении от христианства не было злого умысла, злой воли: ка-

жется, он сделал все, что мог, – боролся, мучился, искал. У него было здесь, на земле, великое алкание Бога, просто не верится, чтобы это ему и там не зачлось. <...> Между таким писателем, как Л. Толстой, и всеми его читателями есть чувство взаимной ответственности, как бы тайная круговая порука: ты за нас – мы за тебя; не можем мы тебя покинуть, если бы даже ты сам покинул нас; ты слишком нам родной; ты – мы сами в нашей последней сущности. Мы не можем, не хотим спастись без тебя: вместе спасемся, или вместе погибнем. Так нам кажется, потому что мы любим его»⁴⁰.

Толстого ругают за его избыточный морализм так, как будто бы общественная мораль – это наше самое сильное место. Религиозное литературоведение поругивает русских писателей за их гуманизм, за «лелеющую душу гуманность» – так, будто бы гуманистическое начало когда-либо торжествовало на русской почве, в русской социальной и государственной жизни. Лесков называл Толстого «великим русским писателем своей родины» и христианином-практиком⁴¹. То есть христианином по совести, по помышлениям, по поступкам. Это признание дорогого стоит в наше время, когда быть христианином и модно, и престижно, и статусно, когда православие воспринимают не как потребность сердца, а как государственную религию, к которой обязан прикнудить каждый государственный чиновник ради служебного положения. Очевидно: Толстой был бы яростным противником исповедания веры как членства в правящей партии. «Везде может быть истинное религиозное чувство, но только не в соединении с государственным насилием церкви»⁴², – писал он.

Снова процитирую слова Лескова, сказанные почти за двадцать лет до отлучения Толстого (письмо к А.С. Суворину, 9 октября 1883 г.): «Христианство есть учение *жизненное*, а не отвлеченное, и испорчено оно тем, что его делали отвлеченностью. “Все религии хороши, пока их не испортили жрецы”. У нас византизм, а не христианство, и Толстой против этого бьется с достоинством, желая указать в Евангелии не столько “путь к небу”, сколько “*смысл жизни*”. Есть места, где он даже соприкасается с идеями Бокля. Старое христианство просто, видимо, отжило и для “смысла жизни” уже ничего сделать не может. На церковность не для чего злиться, но хлопотать надо не о ней. Ее время прошло и никогда более не возвратится, между тем как цели христианства *вечны*»⁴³.

Это к вопросу об отношении русских писателей к Толстому. Стоит обратить внимание также, насколько примирительно, с какой надеждой прозвучало в 1902 году слово Мережковского о конфликте Толстого и Церкви. «Нельзя было Церкви не засвидетельствовать об отпадении Толстого *как мыслителя* от христианства. Но, может быть, это не последнее слово Церкви о нем...»⁴⁴.

По-видимому, и сегодня, столетие спустя, остается лишь отдаленная надежда на сближение позиций. «Как известно, – пояснил представитель Московского патриархата, секретарь по взаимоотношениям Церкви и общества Отдела внешних церковных связей священник Михаил Дудко, – Святейший Синод лишь констатировал, что Толстой находится вне Церкви. Сам Толстой не хотел быть членом Православной церкви, он никогда не раскаивался в своих воззрениях, которые поставили его вне Церкви, и зачастую высказывался оскорбительно как к отдельным ее представителям, так и к Церкви в целом». «Разумеется, – заметил священник, – человек, может отказаться от своих заблуждений, и вернуться в лоно Церкви через покаяние, но за него никто этого не может сделать, ни родственники, ни сочувствующие». По его мнению, «некоторые малоизвестные факты биографии Льва Толстого свидетельствуют о том, что у писателя возникали желания о примирении с Церковью, но, к сожалению, по разным причинам, в том числе благодаря влиянию окружавших его людей, такое примирение не состоялось». Представитель Московского патриархата подчеркнул, что, «вынося акт об отлучении, Церковь не посылает человека в ад и не определяет посмертную участь, так как это может сделать только Бог, однако Церковь констатирует, что тот или иной человек не верит в то, что является предметом веры Церкви, и живет не так, как предписывает жить Церковь. Сегодня пересматривать решение Святейшего синода – это значит проявлять неуважение к самому Толстому, к его открыто выраженной воле и к тому несомненному факту, что сам он отнюдь не хотел быть членом Русской православной церкви. Сегодня мы можем только молиться о том, чтобы Господь помиловал его», – сказал в заключение отец Михаил Дудко, пояснив, что это можно делать только в частной, а не в общецерковной молитве⁴⁵.

Дискуссия продолжается. И как тут не вспомнить пушкинское «Безверие», которому почти двести лет и которое все о том же: «ум ищет божества, а сердце не находит».

О вы, которые с язвительным упреком,
Считая мрачное безверие пороком,
Бежите в ужасе того, кто с первых лет
Безумно погасил отрадный сердцу свет;
Смирите гордости жестокой иступленье:
Имеет он права на ваше снисхождение,
На слезы жалости; внемлите брата стон,
Несчастный не злодей, собою страдает он...

Примечания

- ¹ *Леонтьев К.Н.* О всемирной любви. Примечание 1885 года // Леонтьев К.Н. Цветущая сложность. Избр. статьи. С. 159.
- ² Там же. С. 144.
- ³ Там же.
- ⁴ Там же. С. 145–146.
- ⁵ *Леонтьев К.Н.* Избранное. М.: Московский рабочий, 1993. С. 282.
- ⁶ См., напр.: Против графа Льва Н. Толстого, других еретиков и сектантов нашего времени и раскольников (1902), о душепагубном еретичестве гр. Л.Н. Толстого (1905).
- ⁷ Ответ о. Иоанна Кронштадтского на обращение гр. Л.Н. Толстого к духовенству // Духовная трагедия Льва Толстого. М.: Отчий дом, 1995. С. 99.
- ⁸ См. об этом: *Басинский П.* Горький. М.: Молодая гвардия, 2005. С. 107.
- ⁹ См.: Российская газета. 2006. 3 марта.
- ¹⁰ *Белый Андрей.* Трагедия творчества. Достоевский и Толстой // О Достоевском. Творчество Достоевского в русской мысли 1881–1931 годов: Сб. статей. М.: Книга, 1990. С. 144, 161.
- ¹¹ Записки религиозно-философских собраний в С.-Петербурге. СПб., 1902. С. 83.
- ¹² Ответ Л. Толстого Синоду // Листки Свободного Слова. 1902. № 22. С. 2.
- ¹³ Записки религиозно-философских собраний в С.-Петербурге. С. 83.
- ¹⁴ *Шестов Л.* Пророческий дар // О Достоевском. Творчество Достоевского в русской мысли 1881–1931 годов: Сб. статей. М.: Книга, 1990. С. 125.
- ¹⁵ *Розанов В.В.* Уединенное // Розанов В.В. Религия и культура: Сб. статей. Т. 2. М., 1990. С. 254.
- ¹⁶ *Белинский В.Г.* Полн. собр. соч.: В 13 т. М.: АН СССР, 1953–1959. Т. 10. 1955. С. 214–215.
- ¹⁷ *Розанов В.В.* Л.Н. Толстой и Русская Церковь // Розанов В.В. Религия и культура: Сб. статей. Т. 1. М., 1990. С. 358–359.
- ¹⁸ *Бердяев Н.А.* Миросозерцание Достоевского // Бердяев Н.А. Собр. соч.: В 5 т. Paris: YMCA-PRESS, 1997. Т. 5. С. 377.
- ¹⁹ *Гиппиус З.Н.* Дневники. В 2 т. М., 1999. Т. 1. С. 138.
- ²⁰ *Розанов В.В.* Русская Церковь // Розанов В.В. Религия и культура: Сб. статей. Т. 1. М., 1990. С. 354.
- ²¹ См.: *Розанов В.В.* Смысл аскетизма // Там же. С. 225.
- ²² *Розанов В.В.* Л.Н. Толстой и Русская Церковь // Там же. С. 357.
- ²³ Записки религиозно-философских собраний в С.-Петербурге. С. 101.
- ²⁴ *Толстой Л.Н.* Полн. собр. соч.: В 90 т. М.; Л.: ГИЗ – Гослитиздат, 1928–1964. Т. 23. С. 2.
- ²⁵ *Лосский Н.* Достоевский и его христианское миропонимание. Нью-Йорк: Изд-во имени Чехова, 1953. С. 105.
- ²⁶ «Надо вообще заметить, – писал Н. Лосский, – что насмешливое и абсолютное отрицание таких чудес, как непорочное зачатие, свидетельствует о крайне поверх-

ностном характере современного просвещения. Каждый научный закон подлечит множеству ограничений, и только немногие из этих ограничительных условий известны науке. К тому же биологические процессы и вообще подчинены не законам, а только правилам, которые могут быть отменены творческой изобретательностью организма, вырабатывающего новые пути жизни. <...> Таким образом, вера простых людей в чудесное рождение Иисуса Христа свидетельствует о свободе их духа; наоборот, люди, горделиво называющие себя “свободомыслящими”, своим решительным отрицанием чудес свидетельствуют о том, что ум их наивно и рабски подчиняется преходящим теориям науки» (Там же. С. 172).

27 *Толстой Л.Н.* Полн. собр. соч.: В 90 т. Т. 63. 1934. С. 45, 52.

28 Там же. С. 57.

29 Там же. С. 59.

30 Записки религиозно-философских собраний в С.-Петербурге. С. 96.

31 Там же.

32 Там же. С. 97.

33 Там же. С. 87.

34 *Мережковский Д.* Пророк русской революции (К юбилею Достоевского) // О Достоевском. Творчество Достоевского в русской мысли 1881–1931 годов: Сб. статей. М.: Книга, 1990. С. 88.

35 Там же. С. 107.

36 *Розанов В.В.* Апокалипсис нашего времени. М., 1990. С. 7.

37 *Мережковский Д.С.* Пророк русской революции. С. 91.

38 Там же. С. 117.

39 Там же. С. 103–104.

40 Записки религиозно-философских собраний в С.-Петербурге. С. 71–72.

41 *Лесков Н.С.* Собр. соч.: В 11 т. М.: ГИХЛ, 1958. Т. 11. С. 156.

42 *Толстой Л.Н.* Полн. собр. соч.: В 90 т. Т. 55. С. 106.

43 *Лесков Н.С.* Собр. соч.: В 11 т. Т. 11. С. 287.

44 Записки религиозно-философских собраний в С.-Петербурге. С. 73.

45 См.: www.pravoslavie.ru/cgi-bin/news.cgi?item=2r060303172500

«Я дитя неверия и сомнения...» Символ веры в русской литературе XIX века

Единственный раз, когда на всем пространстве своих изданных сочинений, черновиков и писем Достоевский употребляет словосочетание «символ веры», – это вынесенные в эпиграф знаменитые строки из его письма к Н.Д. Фонвизинной, которое было написано сразу по выходе из Омского острога, перед отбытием в семипалатинскую ссылку.

Этот фрагмент обширного письма – обязательная, хрестоматийная цитата в исследованиях о религиозности Достоевского – подается в работах последнего десятилетия как текст, которому новое время вынесло приговор окончательный, обжалованию не подлежащий. Символ веры образца 1854 года, длительное время считавшийся *квинтэссенцией* религиозного чувства Достоевского, ныне, таким образом, радикально переосмыслен – как *ненастоящий* символ веры, как «*так называемый*» символ веры, символ веры в недоверчивых, скептических, порою дерзких кавычках.

Можно говорить о складывающейся *традиции недоверия Достоевскому* – от легкого укора до тяжелого упрека – в связи с этим символом веры. Достоевский обвиняется в том, что вера, выраженная таким символом, неполна, неправильна, нецерковна. Что в развитии религиозных представлений Достоевского этот символ веры занимает весьма скромное место. Что это, скорее, помеха на пути *правильного* религиозного развития писателя, а, может быть, даже и «лишний» этап.

«В сформулированном *сredo* Достоевского *еще отсутствует* специфический религиозный момент», – пишет, например, Б.Н. Тихомиров¹, одним из первых (1994) предложивший переосмыслить «старые» представления о символе веры Достоевского (в духе «нового», религиозного литературоведения). Слова из письма Фонвизинной, по мнению исследователя, «*не есть развитие* “символа веры” писателя, тем более не есть его квинтэссенция; и, уж во всяком случае, *нельзя сказать*, что здесь “всё... ясно и свято”»². Представление об Иисусе как об идеале человека, подчеркивает исследователь, *еще* не отменяет безверия. «В письме к Фонвизинной, где Достоевский не только допускает возможность существования “доказательств”, “что Христос вне истины”, но также допускает и реальное положение вещей, при котором “действительно

было бы, что истина вне Христа»³. (Замечу, что сослагательное наклонение здесь трактуется некорректно: как и любое «контрфактическое» высказывание типа: «а если бы солнце упало на землю», оно вовсе не означает допущения реальности.)

Несколькими годами позже (1998) «покушение» на символ веры Достоевского предпринял и В.А. Котельников. «Достоевский был глубоко проникнут духом Нового времени <...>. Он долго оставался под влиянием секулярного гуманизма Ренессанса и Просвещения. Его мысль и воображение *рано* сосредоточились на человеке тварном, природно-историческом <...>. ...Достоевский – ученик Вольтера, ученик гораздо более верный и последовательный, чем то обыкновенно считают. <...> Ни традиционное христианское воспитание, ни опека Церкви, ни чтение Св. Писания не привели его в юности к выработке *правильного, твердого веросознания* – в этом Достоевский похож на многих своих современников»⁴. «Правильное, твердое веросознание» трактуется исследователем как некий точный норматив, от которого молодой Достоевский был *еще* очень далек и к которому должен был так или иначе прийти. В этом смысле символ веры 1854 года – всего-навсего первый (даже пробный) шаг на пути к «правильной, твердой» вере. «Конечно, это *еще* не Христос Евангелия, не Христос Церкви – это идеал человечества, увиденный еще глазами гуманиста, но возлюбленный уже сердцем христианина, которое и подсказало Достоевскому, что Иисус не лучший из людей, а безмерно выше всего человеческого, выше всякой земной истины. Достоевский совершает свой решающий выбор. Это *первая ступень* на пути восстановления Христа в его душе, утверждения Его образа и веры в Него»⁵.

Диалектика между «еще» и «уже», схема развития веры Достоевского от «гуманистических» импульсов к «истинно православному» канону очень увлекает автора, но почему-то он толкует «христодицею Достоевского» как путь *возвращения* писателя. «Медленно и трудно возвращается Достоевский к церковному христианству, не скоро избавляется от либерально-интеллигентского недоверия к духовенству, однако в верховное совершенство Христа верит все тверже, все вдохновеннее»⁶. Но почему же, собственно, Достоевский *возвращается* к церковному христианству, если (по мнению автора) его не было у писателя даже и в юности?

Символ веры Достоевского 1854 года вызывает у исследователей, приверженцев религиозного литературоведения, раздражение – почти

такое же, какое у К.Н. Леонтьева вызывали все заветные идеи Достоевского. Любовь, гуманность, гармония, Христос – «только прощающий», это, по Леонтьеву, моральный идеализм, измена настоящей религии, никчемные «прибавки к вере», «“исправления” XIX века»⁷. Ни любовь, ни гуманность, ни сострадание, ни помощь ближнему не весят, в глазах Леонтьева, почти ничего, или же весят очень мало: «Спасая одного, я, может быть, врежé кому-нибудь другому»⁸. Христианство, как его толкует Леонтьев, не верит в прочность «автономических» добродетелей человека, а долгое благоденствие и покой души считает вредным. «Горе, страдание, разорение, обиду христианство зовет даже иногда *по-сещением Божиим*. А гуманность простая хочет стереть с лица земли эти *полезные* нам обиды, разорения и горести...»⁹ Не о любви бы надо печься первым делом Достоевскому, если он истинный христианин, а о страхе Божьем, но «отчего же г. Достоевский не говорит прямо об этом страхе? Не потому ли, что *идея любви привлекательнее?*»¹⁰.

«Усердно молю Бога, – писал К.Н. Леонтьев В.В. Розанову из Оптиной пустыни в апреле 1891 года, – чтобы Вы поскорее *переросли Достоевского* с его “гармониями”, которых никогда не будет, да и не нужно. Его монашество – сочиненное. И учение от Зосимы – ложное; и весь стиль его бесед фальшивый»¹¹. В другом письме (май 1891) Леонтьев сообщает Розанову «добрую весть» – о «современном, весьма сильном религиозном движении в среде русской образованной молодежи (идут в священники, в монахи, ездят к старцам, советуются с духовниками, решаются даже поститься; *Достоевским, слава Богу, уже не удовлетворяются, а хотят настоящего православия...*)»¹². Стоит процитировать и постскрипtum данного письма. «Лет 6 тому назад Соловьев, почти тотчас же вслед за произнесением где-то трех речей в пользу Достоевского (где между прочим он возражал и мне, на мою критику пушкинской речи Достоевского, и утверждал, что Христианство Достоевского было настоящее святоотеческое), написал мне письмо, в котором есть следующее, весьма злое место о том же самом Федоре Михайловиче: “Достоевский горячо верил в существование религии и нередко рассматривал ее в подозрительную трубу, как отдаленный предмет, но стать на действительную религиозную почву никогда не умел”. По-моему, это злая и печальная правда!»¹³

И самое, пожалуй, примечательное в оценках Леонтьева – это его отношение к образу Христа у Достоевского. Леонтьев не знал и не мог знать письма Достоевского к Н.Д. Фонвизинной, содержащее символ веры, – оно впервые было опубликовано только в 1892 году¹⁴, вскоре после смерти Леонтьева (1891). Леонтьев судил о Христе Достоевского по «Великому инквизитору», и этот Христос ни в коем случае не убеждал сурового критика в том, что «Братья Карамазовы» – вершина

в постижении писателем христианства, этап обретения осанны (то есть твердой, правильной, церковной веры, настоящего православия). По мнению Леонтьева, здесь все те же никуда не годные «прибавки», все те же «исправления». Вера Достоевского кажется Леонтьеву одинаково слабой и нежизнеспособной на всем протяжении творческого пути писателя. «Ведь я, признаюсь, хотя и не совсем на стороне “Инквизитора”, но уж, конечно, и не на стороне того безжизненно-всепрощающего Христа, которого сочинил сам Достоевский. И то, и другое – крайность. А евангельская и святоотеческая *истина в середине*. Я спрашивал у монахов, и они подтвердили мое мнение. *Действительные* инквизиторы в Бога и Христа веровали, конечно, *посильнее самого Федора Михайловича*. Иван Карамазов, устами которого Федор Михайлович хочет унижить католичество, совершенно не прав. Инквизиторы, благодаря *общей* жестокости века, впадали в ужасные и бесполезные крайности; но крайности религиозного фанатизма объяснить безверием – это уж слишком оригинальное “празднословие”»¹⁵.

Вслед за К.Н. Леонтьевым современные исследователи (тоже, видимо, в поисках настоящего православия) применяют к вере Достоевского нормативы «веросознания» леонтьевского образца. Того самого «твердого, правильного веросознания», на фоне которого и в сравнении с которым «розовое» христианство Достоевского (с культом любви и мировой гармонии) осознавалось прежде (самим Леонтьевым) и осознается теперь (религиозными литературоведами) как недостаточно церковное. С той, пожалуй, только разницей, что Леонтьев вообще не увидел у Достоевского ни осанны, ни христорожденья, а современные религиозные критики Достоевского лишают его веру «твердого основания» пока только на важнейшем этапе 1854 года, когда был сформулирован «символ веры».

«Все помнят *так называемый* “символ веры” Достоевского, – обозначает свое отношение к предмету разговора Т.А. Касаткина (1998), – из его в высшей степени странного письма к весьма необычной корреспондентке <...>. Действительно, в этом описании (“ничего прекраснее, глубже, симпатичнее, разумнее, мужественнее и совершеннее”) нет ни одного определения, выводящего Христа за те пределы, в которых может быть описан “вполне прекрасный человек”. Именно поэтому и возможна вторая часть “символа веры”, противопоставляющая истину и Христа»¹⁶. Христос вне истины – это, полагает автор, Христос «вне своей божественной сущности, вне бессмертия»¹⁷.

Выражение «Христос вне истины», вычлененное из символа веры Достоевского, а также из общего контекста его письма и прочитанное как «Христос вне своей божественной сущности», выступает, таким образом, как синоним неверия. Дескать, Достоевский довольствуется

здесь всего лишь «гуманистическим», а не «церковным» Христом, «положительно прекрасным человеком», а не сыном Божиим. Тем Христом, которого Достоевский знал, читая Гегеля или Штрауса¹⁸. Тем «безжизненно-всепрощающим Христом», которого, по мнению Леонтьева, Достоевский «сочинил» в ущерб истине.

Но странно: упрекая Достоевского в неверии, в приверженности секулярному гуманизму и моральному идеализму, прежние и нынешние критики писателя в упор *не видят присутствия Бога* в символе веры 1854 года. Однако Бог, который *посылает* Достоевскому минуты любви, покоя, ясности и святости, в символе веры все же весит, наверное, несколько больше, чем в строке из басни Крылова «Вороне как-то Бог послал кусочек сыру». Однако в современной исследовательской среде культивируется норма – *не верить Достоевскому на слово* и уличать его, по примеру Леонтьева, в «празднословии». Религиозность Достоевского подвергается «отрицательному» рецензированию со стороны скорее правоверной (то есть идеологической), чем православной критики, точно так же, как в советское время мировоззрение Достоевского подвергалось критике марксистской: Достоевский «не понял», «не учел», «не увидел» и т. п.

Однако каждого «идейного» критика всегда сможет затмить кто-то еще более «идейный», кто-то, кто еще более «тверд», «правилен», «верен учению». Так было и в случае Леонтьева: несмотря на всю «церковность» и «правильность» его религиозных деклараций, он как философ и мыслитель удостоился от современников характеристик не совсем адекватных его мнению о себе. Ферапонтовский подход – недоверие к вере верующих – был, как ни странно, применен и к самому Леонтьеву: его обвиняли в демонизме, историческом сатанизме, аморализме, цинизме, нищезанстве и прочих, весьма далеких от православия, уклонах¹⁹. С другой стороны, С.Н. Трубецкой, говорил о дилетантизме Леонтьева во многих центральных философских вопросах и об отсутствии у него «настоящего исторического образования и еще более философского понимания истории»²⁰.

Настойчивое, согласное оппонирование символу веры Достоевского в современных исследованиях, достигнув уже некоего критического качества, вызывает соображения, обратные расчетным.

2

Хочу обратить внимание на факторы, которыми, кажется, сильно пренебрегают исследователи. А именно: адресат и реальные обстоятельства письма²¹.

Личность Н.Д. Фонвизиной (1803–1869), жены декабриста М.А. Фонвизина, которая после смерти мужа связала свою судьбу с лицейским другом Пушкина, умирающим И.И. Пушным (Фонвизина и Пущин прожили вместе всего два года); которая, по одной из версий (а именно эта версия признавалась ссыльными декабристами), была бесспорным прототипом Татьяны Лариной; женщина, которую Лев Толстой хотел сделать героиней своего романа о декабристах, когда прочитал рукопись ее «Исповеди», – достаточно подробно описана в литературе²². Хорошо известны и обстоятельства знакомства с ней Достоевского в январе 1850 года в Тобольске, в пересыльной тюрьме. Достоевский сам трижды писал об этом – в письме к брату²³, в «Записках из Мертвого дома»²⁴, в «Дневнике писателя за 1873 год»²⁵.

К моменту выхода Достоевского из омского острога их знакомству исполнилось четыре года. В течение этих лет между омским каторжанином и политической ссыльной с местопребыванием в Тобольске (куда Фонвизины попали после Нерчинских рудников, Енисейска и Красноярска), через неведомый нам тайный канал, велась тайная же переписка, от которой, к величайшему сожалению, дошло до нас всего по одному письму с каждой стороны. Фонвизина к тому же едва ли не единственный корреспондент Достоевского за все годы, проведенные им на каторге.

Достоевский пишет женщине-легенде, героине сибирской колонии декабристов, ангелу-хранителю многих узников. Она для него – «чудная душа, испытанная 25-летним горем и самоотвержением», «великая страдальца», женщина, исполнившая высочайший нравственный долг, «самый свободный долг, какой только может быть». «С каким удовольствием я читаю письма Ваши, драгоценнейшая Наталья Дмитриевна! Вы превосходно пишете их, или, лучше сказать, письма Ваши идут прямо из Вашего доброго, человеколюбивого сердца легко и без натяжки», – пишет он ей. Письмо Н.Д. Фонвизиной от 8 ноября 1853 года, дошедшее до нас, – как раз то самое, на которое и отвечает зимой 1854-го Достоевский.

Ее письмо к нему – это страстная исповедь. Фонвизина рассказывает о той поре своей жизни, когда ей довелось испытать полное земное счастье; и о той поре, когда ей выпало беспредельное, неукротимое горе; и о том, как хваталась она за любую неприятность или болезнь, лишь бы они отвлекли ее от убивающей печали. Прибегая к тайнописи, она пишет о том, как после ссылки приняла изгнанников Россия (Фонвизины вернулись домой в мае 1853-го), та Россия, которую они считали матерью родимой, а увидели мачехой противной, и любовь к матери обернулась отвращением к мачехе – набеленной, нарумяненной, жеманной, завистливой, злой. «Душа словно вывихнутая кость... Здесь все пусто,

все заросло крапивой, полынью и репейником», – записывает она в это самое время в своем путевом дневнике²⁶.

Она находит проникновенные слова о божественном промысле. «Как же не благодарить Бога за то, что Он, зная природу каждого из нас, все в жизни каждого уравнивает, чтобы все поучало и умудряло ответом. От нас зависит всем пользоваться и собирать нравственное неотъемлемое людьми сокровище», – пишет она Достоевскому²⁷. Сердечный тон, естественность, глубокая откровенность, взволнованность корреспондентки вызывает у Достоевского ответное желание – открыть ей свои сокровенные мысли. Письма Достоевского и Фонвизиной – это проникновенные размышления духовно близких людей о смысле человеческого бытия, о вере и истине, об очищении души через страдание, о нравственной силе, способной одолеть жизненные испытания и просветлить душу.

«Я слышал от многих, что Вы очень религиозны, Наталья Дмитриевна», – пишет ей Достоевский. Кто эти «многие» и что он мог слышать о ней от них? Конечно, в Тобольске: о ней говорили все, с кем он находился в остроге; и потом в Омске, в разговоре с С.Ф. Дуровым, которого Фонвизина объявила своим племянником и получила, таким образом, право регулярно писать ему письма и передавать посылки с провизией и теплой одеждой. Дуров до конца своих дней оставался в тесной дружбе с «родной тетенькой» (они оба умерли в 1869 г.), посылал ей свои стихи. «Она была женщина в высшей степени религиозная и умная, – вспоминала М.Д. Францева, дочь тобольского прокурора. – На меня, как на девочку с пылким воображением и восприимчивой натурой, Наталья Дмитриевна имела громадное нравственное влияние. Она была замечательно умна, образованна, необыкновенно красноречива и в высшей степени духовно-религиозно развита. В ней так много было увлекательного, особенно когда она говорила, что перед ней невольно преклонялись все, кто только слушал ее. <...> Высокая религиозность ее проявлялась не в одних внешних формах обрядового исполнения, но и в глубоком развитии видения духовного; она в полном смысле слова жила внутренней духовной жизнью. С ней редко кто мог выдержать какой-нибудь спор, духовный ли, философский или политический»²⁸.

Достоевский многое знает о ней. Он мог слышать волнующую историю ее молодости, когда, под влиянием страстных религиозных исканий, в жажде страдания, с пылкими мечтами о мученичестве, она носила под платьем вериги, спала на голом полу, голодала, испытывала себя огнем и железом, ночи проводила в молитве, а потом бежала из родительского дома в мужском платье, чтобы постричься в монахини. И как родители, уже после пострига дочери, упростили ее выйти замуж за немолодого двоюродного дядю, страстно привязанного к ней и су-

мевшего оказать семье Фонвизиных серьезную услугу. Она покорилась судьбе: «надо было отца из беды выкупать».

Достоевский знает, что, вернувшись в Россию после двадцатипятилетней ссылки, она уже не застала в живых двух своих сыновей, которых оставила на попечение родных совсем маленькими: двух и трех с половиной лет. Они росли без родителей, зная их только по портретам и письмам; мать и отец никогда больше не увидели сыновей – те умерли молодыми людьми один за другим, от туберкулеза. Дмитрий (тоже принадлежавший к кружку петрашевцев) скончался в октябре 1850-го, в Одессе, куда уехал на лечение, и потому избежал наказания, хотя приказ о его аресте был уже подписан. Михаил скончался через год. В Сибири же годовалым младенцем умер третий ребенок Фонвизиных – его не спасло даже врачебное искусство знаменитого доктора-декабриста Ф.Б. Вольфа. За время ссылки умерли отец и мать Н.Д. Фонвизиной.

Достоевский пишет ей после всех этих жестоких потерь – а в это время угасает и через два месяца, в апреле 1854-го, умрет и муж ее, Д.А. Фонвизин. «Вы с грустью нашли опять родину. Я понимаю это; я несколько раз думал, что если вернусь когда-нибудь на родину, то встречу в моих впечатлениях более страдания, чем отрады», – пишет Достоевский. Он обращается к своей тайной корреспондентке как к товарищу по несчастью. По такому несчастью, в котором только и *яснеет истина*. «Я не жил Вашею жизнью и не знаю многого в ней, как и всякий человек в жизни другого, но человеческое чувство в нас всеобщее, и, кажется, при возврате на родину всякому изгнаннику приходится переживать вновь, в сознании и воспоминании, всё свое прошедшее горе».

Понятия *человек, человеческое чувство, человечность* – ключевые в их переписке. Он чувствует как бы за нее, что может испытать изгнанник, вернувшийся на родину после изгнания; как тяжелы могут быть первые минуты свободы. «Не потому, что Вы религиозны, – пишет Достоевский, – но потому, что сам пережил и прочувствовал это, скажу Вам, что в такие минуты жаждешь, как “травы иссохшая”, веры, и находишь ее, собственно, потому, что в несчастье яснее истина».

Исстрадавшаяся душа, пораженная долгим горем, жаждет веры и обретает ее – ибо *в вере* (а не в сомнении или неверии) и содержится истина. Достоевский, для которого *в несчастье яснее вера*, вспоминает молитву страждущего, когда тот «унывает и изливает пред Господом печаль свою». «Сердце мое поражено, и иссохло, как трава... Дни мои – как уклоняющаяся тень; и я иссох, как трава»²⁹.

Не потому, что его тайная корреспондентка религиозна, он пишет ей, а потому, что чувствует в себе способность понять и разделить ее страдание. Не потому он утешает ее, что обязан женщине, подарившей ему Евангелие, дать полный отчет о *правильности и твердости* своей

веры. А потому, что минуты страдания, общие с нею, дают ему жажду веры и саму веру – так же, как и ей силу веры дают долгие годы страданий.

3

Письмо Фонвизиной к Достоевскому от 8 ноября 1853 года – это письмо-исповедь и письмо-утешение. Не как наставница в катехизисе, которая экзаменует подопечного, обращается она к Достоевскому, а как страдающая душа. Ответ Достоевского Фонвизиной – письмо-сострадание, опыт братской любви к сестре, нуждающейся в утешении. В переписке с Фонвизиной Достоевский – впервые в жизни – проходит настоящую школу сострадания, лучшего учителя веры, как понимал ее и апостол Павел. «Но будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас»³⁰. Именно этот характер письма Достоевского дает право полагаться на подлинность его чувства и искренность его веры.

Достоевский имел возможность оценить деликатность своей корреспондентки в проявлениях религиозного чувства: никакого парада, никаких деклараций, ничего напускного, ничего показного. «В начале каторги он думал, что она замучит его религией, будет заговаривать о Евангелии и навязывать ему книги. Но, к величайшему его удивлению, она ни разу не заговаривала об этом, ни разу даже не предложила ему Евангелия» (6: 422).

Он в вышеприведенной цитате – это Родион Раскольников, она – это Соня (в финале «Преступления и наказания»). «Под подушкой его лежало Евангелие. Он взял его машинально. Эта книга принадлежала ей, была та самая, из которой она читала ему о воскресении Лазаря. <...> Он сам попросил его у ней незадолго до своей болезни, и она молча принесла ему книгу. До сих пор он ее и не раскрывал. Он не раскрыл ее и теперь, но одна мысль промелькнула в нем: “Разве могут ее убеждения не быть теперь и моими убеждениями? Ее чувства, ее стремления, по крайней мере...”» (там же).

Так же было и с самим Достоевским. Когда зимой 1850 года Фонвизина вручала ему Евангелие, она (по свидетельству дочери писателя, знавшей семейное предание из уст родителей) просила внимательно просмотреть страницы. Однако набожная дарительница не отсылала несчастного узника к цитатам из Нового Завета. Она спрятала между склеенными страницами единственной дозволенной в остроге книги 25 рублей. Таков был изумительный почерк ее веры, точная человеческая формула участия в судьбе каторжника. Евангелие было единствен-

ной книгой в остроге, а 25 рублей – единственными деньгами, которые оказались у Достоевского в первый год его каторги, они и дали ему возможность выжить³¹.

Замечу, что именно это Евангелие Достоевский хранил всю свою жизнь. Именно это Евангелие всегда лежало перед ним на письменном столе, и «он часто, задумав или сомневаясь в чем-либо, открывал наудачу это Евангелие и прочитывал то, что стояло на первой странице (левой от читавшего)»³². Именно этому Евангелию решил довериться Достоевский в свой смертный час, и он в последний раз, *наудачу*, открыл книгу, которая сказала ему те самые, роковые слова: «не удерживай, ибо так надлежит нам исполнить великую правду»³³. Именно это Евангелие Достоевский распорядился отдать своему сыну-наследнику.

Именно этот экземпляр Евангелия описывает Достоевский в «Преступлении и наказании»; и выходит, что Лизавета дала Соне, по ее просьбе, Евангелие Достоевского, подаренное Фонвизиной, а потом Соня молча принесла святую книгу в острог, по просьбе каторжника. Значит, именно оно раскрыто перед Соней, читающей Раскольникову «про Лазаря». «Это был Новый завет в русском переводе. Книга была старая, подержанная, в кожаном переплете» (6: 248).

Склеенные страницы, которые иной фарисей счел бы порчей са크рального предмета, в глазах Достоевского – неотразимый аргумент добра и любви. И был еще один аргумент – когда Фонвизина смогла навестить в Тобольском остроге Петрашевского. «На меня вдруг напала такая жалость, такая тоска о несчастном, так живо представилось мне его горькое, безотрадное положение, что я решилась подвергнуться всем возможным опасностям, лишь бы дойти до него»³⁴. И она, зашив в ладанке 20 рублей серебром и образок, отправилась в острог к обедне, под предлогом раздачи милостыни пробралась в тюремную больницу и увиделась-таки с больным Петрашевским (от которого узнала о причастности своего старшего сына к крамольному кружку). Она смогла пробраться и в другую камеру, и четверо узников – Спешнев, Григорьев, Львов и Толль – вскочили с нар при ее появлении. «Я уселась вместе с ними и, смотря на эту бедную молодежь, слезы мои, долго сдержанные, прорвались наружу – я так заплакала, что и они смутились и принялись утешать меня»³⁵. Позже Фонвизина писала брату мужа о своих тобольских беседах с Дуровым и Достоевским: «Господь такую нежную материнскую любовь к ним влил в мое сердце, что и на их сердцах это отразилось»³⁶.

Жалость, нежность, а также спасительная кредитка между страницами Евангелия, ладанка с зашитыми в ней деньгами и образком – это образы любви, как ее понимала глубоко религиозная Фонвизина. А «крошечный серебряный образок на шнурке, из тех, какие носят

иногда вместе с нательным крестом», привезенный из Киева, от мощей Варвары-великомученицы, который в отчаянную минуту надевает Мите Карамазову на шею мадам Хохлакова, желающая его «спасти» и «благословить на новую жизнь и на новые подвиги» (14: 349), – становится в руках маловерной дамы изощренным издевательством над несчастным просителем. Когда Хохлакова надевает образок Мите на шею, и Митя «в большом смущении» «принагнулся и стал ей помогать и наконец вправил себе образок чрез галстук и ворот рубашки на грудь» (там же), – это выглядит как насилие.

Превратна участь этого образка. Хохлакова говорит Петру Ильичу Перхотину: «Если он (Митя. – Л.С.) убил теперь не меня, а только отца своего, то, наверное, потому, что тут видимый перст Божий, меня охранявший, да и сверх того, сам он постыдился убить, потому что я ему сама, здесь, на этом месте, надела на шею образок с мощей Варвары-великомученицы... И как же я была близка в ту минуту от смерти, я ведь совсем подошла к нему, вплоть, и он всю свою шею мне вытянул!.. Знаете, я не верю в чудеса, но этот образок и это явное чудо со мною теперь – это меня потрясает, и я начинаю опять верить во всё что угодно» (14: 404). Здесь каждое слов – ложь и фальшь, искажение и перевертыш. Символично, что далее следы образка теряются – о нем более ничего не было сказано, и он исчезает с Митиной шеи, как и та ладанка, в которую были зашиты Катины деньги. Так кредитка может стать знаком истинной веры, а ни в чем не повинный образок – атрибутом пародии и карикатуры: все зависит от того, в чьих руках окажется сакральное и обыденное.

Человечность, сострадательность, прямое участие в человеке, деятельная доброта – вот истинные коды его переписки с Фонвизиной. Каторжанину и ссыльной невдомек, что их исповедальные письма могут быть подвергнуты тесту на «правильность и твердость веросознания», что принципы человечности и сострадания, которые торжествуют в их эпистолярном общении, когда-нибудь, кто-нибудь объяснит губительным влиянием секулярного гуманизма или вольтерьянства. Напротив, именно сострадание – самое точное, самое прочное свидетельство христианской веры.

Экземпляр Евангелия, подаренного Достоевскому в Тобольске Н.Д. Фонвизиной, таит пометы писателя, сделанные уже после каторги и полностью вошедшие в замысел романа о «прекрасном человеке». «Заповедь новую вам даю, да любите друг друга; как Я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга»; «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих»³⁷.

«Сострадание – всё христианство» (9: 270) – так звучит в черновиках к «Идиоту» сокровенное убеждение князя Мышкина. В основной

текст романа этот афоризм войдет как фундаментальное положение, относящееся к сущности христианства: «Сострадание есть главнейший и, может быть, единственный закон бытия всего человечества» (8: 192).

«Если нет Бога, – возражает князю Мышкину (и Достоевскому) религиозный филолог, – то действительно “сострадание – всё христианство”, и это значит, что христианства нет»³⁸. Но возражение в данном случае обращено не по адресу: в символе веры Достоевского Бог – есть (если только видеть это слово у Достоевского и верить этому слову). Мысль Достоевского в таком случае проста: кто бы и как бы ни декларировал свою веру в Бога, но сострадать не умел и не хотел, тому нечего делать в христианстве: без сострадания, главнейшего закона человеческого бытия, христианства просто нет и в помине. Здесь и в самом деле стержневой вопрос понимания христианства: что́ есть его сердцевина – любовь, братолюбие и сострадание (качества, которые Леонтьев считал «изменой христианству», укоряя Достоевского за «общегуманитарные» пророчества) или «некая мистика, при коей “братолюбие” не особенно и важно?»³⁹ («Даже в монашеских общежитиях, – утверждал Леонтьев, пытаясь доказать *неважность* братолюбия, – опытные старцы не очень-то позволяют увлекаться деятельною и горячею любовью, а прежде всего учат *послушанию, принижению, пассивному прощению обид*»⁴⁰).

Прямой ответ на этот стержневой вопрос Достоевский давал и в символе веры 1854 года, и много позже. Повторим цитату. «Вникните в православие, – обращался к своему читателю в 1876 году автор «Дневника писателя», – это вовсе не одна только церковность и обрядность, это живое чувство, обратившееся у народа нашего в одну из тех основных живых сил, без которых не живут нации. В русском христианстве, по-настоящему, даже и мистицизма нет вовсе, в нем одно человеколюбие, один Христов образ» (23: 130).

Шестью годами раньше (1870), работая над «Бесами», Достоевский, как мы уже писали выше, предельно заостряет вопрос о том, в чем же именно состоит православная вера. «Можно ли веровать, быв цивилизованным, т.е. европейцем? – т.е. веровать безусловно – в божественность сына Божия Иисуса Христа (ибо вся вера только в этом и состоит)» (11: 178). Споры эти, как считал Достоевский, на века: «мир полон ими и долго еще будет полон» (11: 179).

Высказывание 1876 года в системе религиозных убеждений Достоевского не отменяет высказывания 1870 года; они, эти высказывания, не противоречат друг другу, но, напротив, невозможны одно без другого. Безусловная вера в божественность Иисуса Христа не исключает, а именно подразумевает наличие у верующего живого чувства, «одного человеколюбия», без которого вера, лишенная теплоты и сердечности, превращается в фанатизм и изуверство.

Очевидно: *человеческое* у Достоевского не *второстепенно* и не *второсортно*, а *первостепенно* и *принципиально*, и этот статус человека в мире Достоевского следует принять как данность, как непротиворечивость. Достоевский, как писал Н.А. Бердяев, «раскрывает Христа в *глубине человека*, через страдальческий *путь человека*, через *свободу*. Религия Достоевского по типу своему противоположна авторитарно-трансцендентному типу религиозности. Это – самая свободная религия, какую видел мир, дышащая пафосом свободы»⁴¹.

В переписке Достоевского с Фонвизиной мы и видим как раз живое, свободное чувство, обратившееся в животворную силу.

Трудно представить поэтому более нелепую, более фальшивую ситуацию, если бы тридцатитрехлетний Достоевский сообщил пламенно религиозной пятидесятилетней женщине, которая находится в тяжёлом несчастье вот уже четверть века, которая оплакивает потерю всех своих детей, которая вернулась из изгнания как в пустыню, которая относилась к нему, каторжнику, все четыре года его каторги как гений сострадания, если бы он сообщил ей, вместо слов утешения (в чем теперь нуждается уже она), и в ответ на ее исповедальное письмо – отчет о догматическом содержании своей веры и о ее полном соответствии катехизису. «Я целомудрие имею...» (10; 202) – говорят в таких случаях герои Достоевского.

4

В письме Достоевского к Фонвизинной присутствуют два сознательно противопоставленных временных пласта:

- *минуты* возвращения после изгнания, когда нахлынут воспоминания и вернется все прошедшее горе;
- *минуты*, когда узник, как “трава иссохшая”, жаждет веры и находит ее;
- *минуты*, которые Бог посылает иногда узнику, и тогда тот совершенно спокоен;
- *минуты*, когда узник любит сам и находит, что другими любим;
- *минуты*, когда он сложил в себе символ веры, в котором всё для него ясно и свято.

Пятикратно Достоевский говорит об особых минутах своего бытия, противостоящих всей остальной его жизни, в которой он дитя века, дитя неверия и сомнения до сих пор и даже до гробовой крышки. В символе веры – вся панорама отпущенного писателю времени: прошедшее (до сих пор), настоящее (время письма) и будущее (даже до гробовой крышки). О временах и сроках своих религиозных мучений Достоевский скажет

и позже, спустя шестнадцать лет, разрабатывая в 1870 году план романа «Житие великого грешника». «Главный вопрос, который проведется во всех частях, – тот самый, которым я мучился сознательно и бессознательно всю мою жизнь, – существование Божие» (29, кн. 1: 117).

Итак, на одной чаше весов – век, целая жизнь вплоть до самого конца (наполненные сомнениями и неверием), на другой – минуты веры или жажды веры. Но даже и минуты эти даются тяжким трудом души. «Каких страшных мучений стоила и стоит мне теперь эта жажда верить, которая тем сильнее в душе моей, чем более во мне доводов противных»). Течение времени требует признания, в том что «доводов противных» становится больше, а не меньше.

Тем драгоценней для Достоевского минуты, когда «всё ясно и свято», тем отраднее ему «верить, что нет ничего прекраснее, глубже, симпатичнее, разумнее, мужественнее и совершеннее Христа». Он на своем опыте убедился в том, как прекрасна, глубока, симпатична, разумна, мужественна, совершенна может быть христианская любовь. Здесь все слова на своем месте, и всё наполнено реальным смыслом и проверено личной практикой. Он мог еще сказать, что эта любовь – отважна, самоотверженна, сострадательна, что она не ищет своего. Ничего лучше этой любви и этой истины нет и не может быть. Он, дитя неверия и сомнения, до сих пор и до самого своего конца, знает это достоверно, потому что испытал минуты совершенного покоя, когда его оставляют мучительные доводы отрицания, когда он любит сам и любим другими.

Христос и никто другой – вот что означает символ веры 1854 года. Христос – навсегда, Христос – в те самые минуты покоя, любви, ясности и святости, которые посылает ему иногда Бог. Христос, который принят в сердце им, человеком эпохи, полной неверия и сомнения, каким он, Достоевский, обречен оставаться всю жизнь, до гробовой крышки. С Христом – до конца, до смертного часа. С Христом, с Ним, а не против Него – во что бы то ни стало и что бы там ни было.

Итак, шесть определений Христа, которые повергают в недоумение людей авторитарно-трансцендентного, как сказал Бердяев, типа религиозности. Шесть определений, которые замечательно характеризуют идеального человека. Шесть определений, которые разительно отличаются от сущностных признаков Бога: всемогущего, всеведующего, всезнающего, всеблагого, всепрощающего, милосердного, доброго, вечного, милостивого, бессмертного, святого; Спасителя, Искупителя, Исправителя, Человеколюбца...

Но потому-то Достоевский и принял в свою душу Христа как Бога, поскольку сумел полюбить Его как абсолют человека. Свое ощущение Бога, и свое чувство «сияющей личности Христа» Достоевский вынес с каторги. Ведь именно в эти четыре года он читал Евангелие – *толь-*

ко одно Евангелие, единственную книгу, разрешенную в тюрьме. Он мальчика-татарина учил читать по Евангелию⁴², по Нагорной проповеди. Он умилялся, когда старшие братья мальчика говорили об Исе-пророке словами Корана, что Иса «делал великие чудеса; что он сделал из глины птицу, дунул на нее, и она полетела... И что это и у них в книгах написано» (4: 54).

«Я только там и жил здоровой, счастливой жизнью, я там себя понял, голубчик... Христа понял... русского человека понял и почувствовал, что и я сам русский, что я один из русского народа. Все мои самые лучшие мысли приходили тогда в голову, теперь они только возвращаются, да и то не так ясно»⁴³. Это признание было сделано после 1873-го, 20 лет спустя. «Не говорите же мне, что я не знаю народа! Я его знаю: от него я принял вновь в мою душу Христа, которого узнал в родительском доме еще ребенком и которого утратил было, когда преобразился в свою очередь в «европейского либерала»» (26: 152). Это признание сделано еще позже, в 1880-м. Достоевский, прожив после 1854 года еще 26 лет, никогда не дезавуировал тот свой, единственный на всю жизнь, символ веры.

Значит, если верить словам Достоевского 1873 года и словам Достоевского 1880 года, символ веры 1854 года – это результат того, что он уже понял Христа, понял и принял Его в свою душу, а не свидетельство того, что он Его еще не понял. Понял, что Христос – лучший, идеал, и это-то и есть истина. Та самая истина, которая яснеет в несчастье.

Ведь в своем символе веры Достоевский оппонирует некоей мысли, некоему чувству; следы этого спора видны в конструкции фразы.

Он *не* говорит: «верить, что Христос самый прекрасный, глубокий, симпатичный, разумный, мужественный и совершенный».

Он говорит: верить, «что нет ничего прекраснее, глубже, симпатичнее, разумнее, мужественнее и совершеннее Христа», говорит в опровержении некоего невысказанного здесь мнения, будто есть нечто лучше веры в Христа. Отрицая подобную мысль, он убеждает себя: «И не только нет, но с ревнивою любовью говорю себе, что и не может быть».

И его загадочная формула, вторая часть символа веры, «если б кто мне доказал, что Христос вне истины, и действительно было бы, что истина вне Христа, то мне лучше хотелось бы оставаться со Христом, нежели с истиной» – если оставаться в логике письма Достоевского и не вносить в нее иную, внеположенную логику – может означать следующее: если бы кто-то доказал ему, что есть или может быть что-то еще более прекрасное, более глубокое, более симпатичное, более разумнее, более мужественное, более совершенное, то есть некий другой идеал, некая иная истина, иная вера, то он, Достоевский, этот иной идеал, эту иную истину, эту иную веру не принял бы, а остался бы со Христом, Которого понял и полюбил на каторге.

Фигура недоверия слову Достоевского может означать в данном случае одно: не Бог (тогда кто?) посылает автору письма минуты покоя, ясности и святости; эти минуты – вовсе не минуты покоя, так как в них нет ни ясности, ни святости; Достоевский обманывает читателя и обманывается сам, утверждая, что понял и полюбил Христа еще тогда, на каторге. Можно, конечно, и вообще заявить, что Достоевский так никогда и не понял Христа, так и не приблизился к пониманию истинного православия.

5

«Величайшая трудность для современного образованного человека заключается в учении, что Иисус, родившийся в Палестине 20 веков назад и распятый на кресте, был не просто человек, а воплотившийся Бог. Возможно, что у Достоевского возникали иногда сомнения относительно этого догмата», – писал Н. Лосский⁴⁴. Несомненно возникали.

Но есть важнейшее свидетельство, что уже в момент письма 1854 года у Достоевского было ясное понимание вопроса: надо, повторяю, только хотеть верить писателю на слово.

Процитирую фрагмент этого свидетельства:

Иль не для вас всходил на крест Господь
И дал на смерть Свою Святую плоть?
Смотрите все – Он распят и поныне,
И вновь течет Его святая кровь!..
Вновь язвен Он, вновь принял скорбь и муки,
Вновь плачут очи тяжкою слезой,
Вновь распростерты Божеские руки
И тмится небо страшною грозой!
То муки братий нам единоверных
И стон церквей в гоненьях беспримерных!
Он Телом Божьим их велел назвать,
Он Сам, глава всей веры православной!
С неверными на церковь воевать,
То подвиг темный, грешный и бесславный!
Христианин за турка на Христа!
Христианин – защитник Магомета!
Позор на вас, отступники креста,
Гасители Божественного света!
Но с нами Бог! Ура! Наш подвиг свят,
И за Христа кто жизнь отдать не рад!

Итак, это – стихотворение Достоевского «На европейские события в 1854 году» (2: 403–406), написанное в Семипалатинске в апреле 1854 года, через два с небольшим месяца после письма Фонвизинной, через полтора месяца после приезда в Семипалатинск. Оно предназначалось для публикации в «С.-Петербургских ведомостях», о чем через военные инстанции было доложено в III Отделение собственной Его Величества канцелярии генералу Л.В. Дубельту, который, однако, не дал своего согласия на публикацию. Впервые стихотворение было опубликовано, когда Достоевского уже не было в живых, в 1883 году, в «Гражданине»⁴⁵, и, таким образом, Леонтьев имел возможность его прочесть.

Современные интерпретаторы объясняют факт написания стихотворения лишь тяжелой обстановкой семипалатинской казармы, где оно создавалось, бедственным положением политического ссыльного, который отчаянно стремился во что бы то ни стало вернуться в литературу. Стихотворение якобы и понадобилось автору как публичное заявление о своей политической благонадежности, как выражение верноподданнических чувств. Он якобы *вынужден* был придерживаться сугубо официальных формул и клише русской периодической печати военного времени, выражавшей правительственные взгляды. Идя вслед за официозом, писатель якобы всего лишь переносил в свои стихи темы и образы, общие для патриотической поэзии начала Крымской войны, отвечавшей правительственным представлениям о событиях⁴⁶.

Здесь – то же самое, правда, с иным политическим подтекстом, неверие в искренность Достоевского.

Мне, однако, трудно представить себе, что Достоевский был способен ради возможных поблажек грубо лгать, выставя на своем патриотическом знамени заведомо фальшивый для него символ веры, если бы действительно Христос в Его божественной ипостаси был бы ему неведом или чужд.

К. Мочульский считал, что новое мировоззрение, которому Достоевский оставался верен всю жизнь, сложилось уже в 1854 году, и назвал это мировоззрение «церковно-монархическим империализмом»⁴⁷.

Достоевский определял испытанные им чувства как трезвое осознание себя патриотом великой империи. Очевидно: именно в период Крымской войны сложились его убеждения об особой роли России в деле освобождения славян от турецкого владычества. Именно эти убеждения будут вдохновлять автора «Дневника писателя» и двадцать лет после Крымской кампании, во времена Русско-турецкой войны 1876–1877 годов. В стихотворении «На европейские события в 1854 году», написанном в связи с началом Крымской войны, Достоев-

ский увидел, угадал серьезную *религиозную составляющую* конфликта. Восточная война началась осенью 1853 года, в марте 1854-го Англия и Франция заключили с Турцией союзный договор, обязуясь поддерживать ее в войне с Россией, затем объявили России войну и вскоре заключили дипломатические соглашения с Пруссией и Австрией, гарантировавшие неучастие этих стран в войне.

Инспирированный Францией двухлетний спор с Россией о «святых местах» закончился тем, что в январе 1853 года ключи от Вифлеемского храма (церковь Яслей Господних) и Иерусалимского храма (церковь Гроба Господня) были демонстративно отняты у православной общины, которой они традиционно принадлежали, и под давлением Парижа переданы турецкими властями Палестины католикам. Официальной причиной объявления войны стало заступничество двух крупнейших европейских стран за Турцию и их нежелание поддержать Россию в споре с Турцией о «святых местах»⁴⁸. Идеолог Восточной войны, кардинал Сибур, архиепископ Парижский, интерпретируя факт возвращения католикам некоторых привилегий в Палестине, отнятых турками у православных («ключ от Гроба Господня»), утверждал: «Война, в которую вступила Франция с Россией, не есть война политическая, но война священная. Это не война государства с государством, народа с народом, но единственно война религиозная. Все другие основания, выставляемые кабинетами, в сущности, не более как предлоги, а истинная причина, угодная Богу, есть необходимость отогнать ересь... укротить, сокрушить её. Такова признанная цель этого нового крестового похода, и такова же была скрытая цель и всех прежних крестовых походов, хотя участвовавшие в них и не признавались в этом»⁴⁹.

Стихотворение 1854 года – это тоже символ веры Достоевского, символ веры в Россию, как бы ни относиться к имперской составляющей этой веры. Свои чувства и убеждения Достоевский сознательно ориентировал на пушкинские стихи «Клеветникам России»⁵⁰. По примеру Пушкина Достоевский обращался к западным дипломатам и журналистам, отвечал на обвинения, вызванные восточной политикой России, и возмущался вопиющей, абсурдной для христианина ситуацией: «Христианин за турка на Христа! / Христианин – защитник Магомета! / Позор на вас, отступники креста, / Гасители Божественного света!» (2: 405).

Христос письма – это Христос личной исповеди, Христос сердечного утешения. Христос стихотворения – это Христос общественной проповеди, патриотического манифеста.

Как не уместен был бы Христос проповеди и манифеста в интимно-религиозном письме к страдающему другу, так же был бы неуместен Христос интимной исповеди в патриотическом манифесте.

Но, смею утверждать, Христос письма и Христос стихотворения – это один и тот же Христос в сердце одного и того же человека, в одном и том же 1854 году.

Примечания

- ¹ *Тихомиров Б.Н.* О «христологии» Достоевского // Достоевский. Материалы и исследования. Т. 11. СПб.: Наука, 1994. С. 102 (курсив в цитатах автора мой. – Л.С.).
- ² Там же. С. 103.
- ³ Там же.
- ⁴ *Котельников В.А.* Христодицея Достоевского // Достоевский и мировая культура. Альманах № 11. СПб.: Серебряный век, 1998. С. 20–21 (курсив в цитатах автора мой. – Л.С.).
- ⁵ Там же. С. 23.
- ⁶ Там же.
- ⁷ См. письмо К.Н. Леонтьева к В.В. Розанову от 24–27 мая 1891 г. // О Великом инквизиторе: Достоевский и последующие. М.: Мол. гвардия, 1992. С. 188.
- ⁸ *Леонтьев К.Н.* О всемирной любви. Примечание 1885 года // Леонтьев К.Н. Цветущая сложность: Избр. статьи. М.: Мол. гвардия, 1992. С. 150.
- ⁹ Там же.
- ¹⁰ Там же. С. 151.
- ¹¹ См. письмо К.Н. Леонтьева к В.В. Розанову от 13 апреля 1891 г. // О Великом инквизиторе: Достоевский и последующие. С. 184.
- ¹² См. письмо К.Н. Леонтьева к В.В. Розанову от 24–27 мая 1891 г. // Там же. С. 188 (курсив мой. – Л.С.).
- ¹³ Там же.
- ¹⁴ См.: 28, кн. 1: 457.
- ¹⁵ См. письмо К.Н. Леонтьева к В.В. Розанову от 24–27 мая 1891 г. // О великом инквизиторе: Достоевский и последующие. С. 188.
- ¹⁶ *Касаткина Т.А.* «Христос вне истины» в творчестве Достоевского // Достоевский и мировая культура. Альманах № 11. С. 113–114 (курсив мой. – Л.С.).
- ¹⁷ Там же. С. 114.
- ¹⁸ См. об этом: *Никитина Ф.Г.* Достоевский против Гегеля // Достоевский и мировая культура. Альманах. № 20. СПб.: Серебряный век, 2004. С. 132–147.
- ¹⁹ См. об этом: *Лосев А.Ф.* Владимир Соловьев и его время. М.: Прогресс, 1990. С. 526–537.
- ²⁰ *Трубецкой С.Н.* Разочарованный славянофил // Трубецкой С.Н. Собр. соч. Т. 1. М., 1907. С. 198.
- ²¹ Письмо Достоевского было послано неофициальным путем (неизвестно, каким именно), до отъезда в Семипалатинск, куда ссыльный Достоевский был отправлен 23 февраля 1954 г. Другие письма Достоевского к Н.Д. Фонвизинной не сохранились; подлинник письма 1854 г. неизвестен.

- 22 См.: *Кайдаш С.Н.* Сила слабых. Женщины в истории России (XI–XIX век). М.: Советская Россия, 1989. С. 181–227; *Громыко М.М.* Сибирские друзья и знакомые Ф.М. Достоевского. 1850–1854 гг. Новосибирск: Наука, 1985. С. 69–116.
- 23 См.: «Участие, живейшая симпатия почти целым счастьем наградили нас. Ссыл-ные старого времени (то есть не они, а жены их) заботились об нас, как об родне. Что за чудные души, испытанные 25-летним горем и самоотвержением. Мы ви-дели их мельком, ибо нас держали строго. Но они присылали нам пищу, одежду, утешали и ободряли нас. Я, поехавший налегке, не взявши даже своего платья, раскаялся в этом. Мне даже прислали платья» (28, I; 169).
- 24 См.: «При вступлении в острог у меня было несколько денег; в руках с собой было немного, из опасения, чтоб не отобрали, но на всякий случай было спрятано, то есть заклеено, в переплете Евангелия, которое можно было пронести в острог, несколько рублей. Эту книгу, с заклеенными в ней деньгами, подарили мне еще в Тобольске те, которые тоже страдали в ссылке и считали время ее уже десяти-летиями и которые во всяком несчастном уже давно привыкли видеть брата. Есть в Сибири, и почти всегда не переводится, несколько лиц, которые, кажется, на-значением жизни своей поставляют себе братский уход за “несчастливыми”, состра-дание и соболезнование о них, точно о родных детях, совершенно бескорыстное, святое» (4; 67).
- 25 См.: «В Тобольске, когда мы в ожидании дальнейшей участи сидели в остроге на пересыльном дворе, жены декабристов умолили смотрителя острога и устрои-ли в квартире его тайное свидание с нами. Мы увидели этих великих страдальцев, добровольно последовавших за своими мужьями в Сибирь. Они бросили всё: знатность, богатство, связи и родных, всем пожертвовали для высочайшего нрав-ственного долга, самого свободного долга, какой только может быть. Ни в чем не-повинные, они в долгие двадцать пять лет перенесли всё, что перенесли их осуж-денные мужья. Свидание продолжалось час. Они благословили нас в новый путь, перекрестили и каждого оделили Евангелием – единственная книга, позволен-ная в остроге. Четыре года пролежала она под моей подушкой в каторге. Я читал ее иногда и читал другим» (21; 12).
- 26 Цит. по: *Кайдаш С.Н.* Сила слабых. С. 194.
- 27 Цит. по: *Громыко М.М.* Сибирские друзья и знакомые Ф.М. Достоевского. С. 74.
- 28 Из воспоминаний Марии Францевой // Декабристы в воспоминаниях современ-ников. М., 1988. С. 382–402.
- 29 Пс. 101: 1, 5, 12.
- 30 Еф. 4: 32.
- 31 См.: «Они (жены декабристов. – Л.С.) передали моему отцу Библию, единствен-ную книгу, разрешенную в тюрьме. Улучив момент, когда полицейский повернул-ся к ним спиной, одна из дам сказала моему отцу по-французски, что он должен хорошо просмотреть книгу, когда останется один. Между двумя склеенными страницами Библии Достоевский нашел 25-рублевую банкноту. На эти деньги отец смог купить немного белья, мыло и табак, несколько улучшить свою грубую пищу и раздобыть белый хлеб. За все годы, проведенные на каторге, у него не было других денег» (*Достоевская Л.Ф.* Достоевский в изображении своей дочери. СПб.: Андреев и сыновья, 1992. С. 56–57).
- 32 *Достоевская А.Г.* Воспоминания. М.: Правда, 1987. С. 396.

- 33 Там же. Ср.: «Иисус сказал ему в ответ: оставь теперь; ибо так надлежит нам исполнить всякую правду» (Мф. 3: 15).
- 34 Цит. по: *Громыко М.М.* Сибирские друзья и знакомые Ф.М. Достоевского. С. 76.
- 35 Там же.
- 36 Там же. С. 79.
- 37 Ин. 15: 34; 15: 13. См.: О маргиналиях Достоевского в Евангелии от Иоанна: 9; 396.
- 38 *Касаткина Т.А.* «Христос вне истины» в творчестве Достоевского // Достоевский и мировая культура. Альманах № 11. С. 118.
- 39 Именно так ставил вопрос В.В. Розанов в примечании к письму К.Н. Леонтьева, размышляя о его книге «Наши новые христиане, гр. Л.Н. Толстой и Ф.М. Достоевский». «Но если уж “изменой христианству” показалась Леонтьеву “любовь” названных писателей, призыв их к “братолюбию”, то чем могло бы показаться, в отношении к христианству, “алкивиаство”, “красивые страсти” самого Леонтьева?» (См. примечания В.В. Розанова к письму К.Н. Леонтьева к В.В. Розанову от 13 июня 1891 г. // О Великом инквизиторе: Достоевский и последующие С. 191).
- 40 *Леонтьев К.Н.* О всемирной любви // Леонтьев К.Н. Цветущая сложность. Избранные статьи. С. 151.
- 41 См.: *Бердяев Н.А.* Миросозерцание Достоевского // Бердяев Н.А. Собр. соч: В 5 т. Т. 5. Paris: YMCA-Press, 1997. С. 226 (курсив мой. – Л.С).
- 42 См. фрагмент «Записок из Мертвого дома»: «У меня был русский перевод Нового Завета – книга, не запрещенная в остроге...» (4; 53–54)
- 43 См.: Ф.М. Достоевский в воспоминаниях современников: В 2 т. М.: 1964. Т. 1. С. 199–200.
- 44 *Лосский Н.* Достоевский и его христианское миропонимание. С. 106.
- 45 См.: 2: 519.
- 46 См.: 2: 520–521.
- 47 *Мочульский К.Н.* Гоголь, Соловьев, Достоевский. М.: Республика, 1995. С. 299.
- 48 См.: *Тарле Е.В.* Крымская война. Т. 1–2. М.; Л.: АН СССР, 1950. Т. 1. С. 435–485; *Казарин В.* «Битва за Ясли Господни». Чем на самом деле закончилась Крымская война // Литературная газета. 2005. 2–8 февраля.
- 49 Цит. по: *Казарин В.* «Битва за Ясли Господни». Чем на самом деле закончилась Крымская война // Литературная газета. 2005. 2–8 февраля.
- 50 См.: *Гроссман Л.П.* Гражданская смерть Достоевского // Литературное наследство. Т. 22–24. М.: Наука, 1935. С. 683–692.

«Кто не с нами, тот против нас...» Библейские истоки революционного лозунга

После романа Ф.М. Достоевского «Бесы» и его центральной политической главы «У наших» отношение к такой категории, как «наши» – «не наши» в сознании русского читателя перестало быть стилистически нейтральным. Местоимение «наши» прекратило свое бытие в качестве «плюсового» знака принадлежности к «правильному» идейному течению (как это было, например, в «Былом и думах» Герцена) и родилось заново как сатирический символ – карикатура на партийное единомыслие. От этого нового смысла уже невозможно отрешиться: именно «наши» Достоевского навсегда отпечатались в сознании русского читателя как политическое клеймо.

Проблема, кто есть «наши» и как их отделить от «чужих», представлена в «Бесах» в неистощимом разнообразии вариантов. «Мне, мне именно такого надо, как вы», – восклицает Петр Верховенский (10: 324). «Раз навсегда рассмотрите ближе: ваш ли я человек, и оставьте меня в покое», – не соглашается с ним Ставрогин (10: 321). И конечно, нельзя не процитировать самый знаменитый пассаж из главы «Иван-Царевич»: «Наших много, ужасно много, и сами того не знают!» (10: 324)¹

В романе «Братья Карамазовых» различие «свои – чужие» присутствует на уровне поведения, характера. Отец говорит о сыне: «Не наша совсем душа. <...> Иван не наш человек, эти люди, как Иван, это, брат, не наши люди, это пыль поднявшаяся» (14: 159).

Немаловажно видеть фазы существования лозунга. Пока фиксируются лишь идейные различия, он служит средством опознания «своего». Однако в процессе борьбы стороны перестают довольствоваться моральной победой и переходят к уничтожению политического противника. Логика этого процесса отчетливо сформулирована в «Сне смешного человека»: «Явились союзы, но уже друг против друга. <...> В каждом союзе поднялось свое знамя. <...> Началась борьба за разьединение, за обособление, за личность, за мое и твое» (25: 116).

В «Бесах» партийный лозунг «Кто не с нами...» становится манифестом расправы с чужаками и отступниками, карающим мечом заговорщиков. В логике лозунга совершается показательная казнь Шатова – ибо он уже не с «нашими» и, стало быть, ренегат, опаснее любого еретика. Одна из самых кровавых российских прокламаций «Молодая Россия», которая появилась в Петербурге в мае 1862 года, стала предтечей нечаевского «Катехизиса революционера» и в этом качестве была использована в «Бесах». В «Молодой России» развернута политическая программа по реализации «социальной и демократической республики русской» и содержится главный рецепт революции – не останавливаться ни перед чем. «Мы будем последователями не только жалких революционеров 48 года, но и великих террористов 92 года. Мы не испугаемся, если увидим, что для ниспровержения современного порядка придется пролить втрое больше крови, чем пролито якобинцами в 90-х годах... и тогда бей императорскую партию, не жалея, как не жалеет она нас теперь, бей на площадях, если эта подлая сволочь осмелится выйти на них, бей в домах, бей в тесных переулках городов, бей на широких улицах столиц, бей по деревням и селам. Помни, что тогда, *кто будет не с нами, тот будет против; кто против, тот наш враг*; а врагов следует истреблять всеми способами...»².

Свое впечатление от прокламации Достоевский вспоминал в «Дневнике писателя», в 1873 году. «Однажды утром я нашел у дверей моей квартиры, на ручке замка, одну из самых замечательных прокламаций из всех, которые тогда появлялись; а появлялось их тогда довольно. <...> Ничего нельзя было представить нелепее и глупее. Содержания возмутительного, в самой смешной форме, какую только их злодей мог бы им выдумать, чтобы их же зарезать. Мне ужасно стало досадно и было грустно весь день. Всё это было тогда еще внове и до того вблизи, что даже и в этих людей вполне всмотреться было тогда еще трудно. Трудно именно потому, что как-то не верилось, чтобы под всей этой сумятицей скрывался такой пустяк. Я не про движение тогдашнее говорю, в его целом, а говорю только про людей. Что до движения, то это было тяжелое, болезненное, но роковое своею историческою последовательностью явление, которое будет иметь свою серьезную страницу в петербургском периоде нашей истории. Да и страница эта, кажется, еще далеко не дописана. <...> Но я жалел не о неудаче их. Собственно разбрасывателей прокламаций я не знал ни единого, не знаю и до сих пор; но тем-то и грустно было, что явление это представлялось мне не единичным, не глупенькою проделкой таких-то вот именно лиц, до которых нет дела. Тут подавлял один факт: уровень

образования, развития и хоть какого-нибудь понимания действительности, подавлял ужасно. <...> Пугала именно степень этого ничтожества» (21: 25).

Между тем в черновиках к роману «Бесы» обсуждается принципиально иной подход к инакомыслию, нежели тот, который насаждает среди «своих» автор «Молодой России» студент П.Г. Зайчневский и персонаж «Бесов» Петр Верховенский. Верховенский-старший пытается внушить сыну: «Вы говорите: кто не за нас, тот против нас, и всех с противоположными убеждениями обрекаете смерти, забывая, что спор есть во всяком случае развитие дела. А уж с какой злобой не признаете тех, кто даже действовать будет против вас, будучи не согласен с вашими убеждениями?»

«Всё это вздор и тонкости!» – отвечает Петруша (11: 105).

Но это как раз не вздор и не тонкости, а самая суть, сердцевина дела. Любая религия, любое политическое или социальное учение, любая философская доктрина, едва оформившись, неизбежно получают контроверзу: ересь как тень следует за любой мыслью и любой верой. То, что когда-либо было придумано, написано, пересказано одними людьми в одно время, всегда может быть оспорено другими людьми в это же самое или во всякое другое время. Весь вопрос в том, *как* следует относиться к фрондёру и еретику, к тому, кто почему-либо оказался «не с нами». Всё сводится к вопросу о санкциях, о тех оргвыводах, которые делаются «одними» из факта существования «других».

2

Несмотря на то что лозунг «Кто не с нами...» был художественно дискредитирован Достоевским и стал нарицательным символом человеческой вражды и разделения, время – *и до, и после* Достоевского – обнаружило его невероятную живучесть.

Вновь и вновь стирается дурная репутация формулы, и она в который уже раз за много сотен лет насыщается новой силой и энергией. С ее помощью определяется круг политических противников и возможных соратников; и всеми воюющими сторонами она признается наиболее удобной и эффективной. Формула «Кто не с нами...» лежит в основе всех современных информационных войн и, кажется, вообще всех локальных конфликтов.

В самые последние годы лозунг приобрел и глобальное значение. Речь идет о грозном предупреждении тогда еще действующего американского президента, обращенном ко всем странам мира, ко всему человечеству: «Одно из двух – вы либо с нами, либо против нас». («В этом

конфликте нейтралитета быть не может», – говорилось в его выступлении от 7 октября 2001 года.)

Это высказывание вызвало огромный поток комментариев – не только политических, но и философских, богословских. Комментаторы обращали внимание на то, что призывы Джорджа Буша-младшего к нации и миру поражают навязчивостью, с какой заявляет о себе архаичное и чуждое гибкой политической мысли нового времени дихотомическое деление мира на «своих» и «чужих». Причем с социологической точки зрения поведение американского президента отнюдь не бессмысленно: рост его личного рейтинга в тот год доказывал, что выражаемая им позиция соответствует мнению большинства населения Соединенных Штатов.

В исторической памяти американцев, считают эксперты, отнюдь не стерся код формирования нации: когда несколько веков назад гонимые европейские протестанты в поисках новой земли переселились в Америку и образовали там свое государство, создав ядро американского общества, традиционно состоящее из «белых англо-саксонских протестантов» (w.a.s.p.). Эта ядерная часть американской нации точно уловила импульс, вложенный в послание президента. Протестантизм, отвергший посредничество Церкви между человеком и Богом и оставивший своих верующих наедине с их религиозным чувством, воспитал у своей паствы пафос бескомпромиссного следования вере. «Или–или» стало доминантой личного поведения протестанта: в логике «или–или» человек – или слуга Божий (=протестант) – или он не достоин называться человеком³.

Показательно, что мир воспринял высказывание американского экс-президента как сознательную апелляцию к Евангелию – к речению Христа: «Кто не со Мной, тот против Меня» (Мф. 12, 30). Таким образом, президент поставил себя *на место Христа*, а слушателей обратил в свою паству, эксплуатируя фактор ее экзальтированной религиозности. Жесткая позиция, занятая США в отношении удара возмездия, практически исключила для всех остальных стран не только возможность нейтралитета в грядущем конфликте, но и возможность как-то влиять на него.

Чрезвычайно интересно, что в связи с заявлением политика столь высокого ранга в мировом сообществе возник вопрос: почему был использован «жесткий» революционный лозунг «Кто не с нами...»? Ведь в Священном Писании есть и *прямо противоположная* (именно так она сегодня воспринимается экспертами) формулировка: «Кто не против Меня, Тот со Мной». Таким образом, показателен не сам факт обращения к религиозным текстам, а выбор одной из двух формулировок с более категоричным оттенком.

Уместно в этой связи вспомнить высказывание еще одного знаменитого американца, Джорджа Вашингтона: «Невозможно правильно управлять миром без Бога и Библии – но немаловажно, *какую цитату из библейского свода выбирает для себя такой мировой менеджер*».

3

Обратимся к текстам Священного Писания и, оставаясь в их логике, сравним формулу: «Кто не со Мной, тот против Меня» с формулой: «Кто не с нами, тот против нас».

В первой формуле речь идет о договоре Христа с учениками, и, значит, субъектом договора выступает не человек, а Сын Божий и Пославший Его Отец. Во втором высказывании речь идет о политическом договоре людей, действующих по принципу «или–или».

Случай первый: договор-завещание Бога со своим народом, зафиксированный в Ветхом Завете. Принципиальный вопрос – следует ли выводить библейские (ветхозаветные) тексты за границы своего исторического контекста? Существует весьма авторитетное представление, что сами по себе ветхозаветные правила и законы неприменимы к тем народам и людям, кто, по рождению и местопребыванию, находится за пределами этого договора. Договор Бога с Моисеем касается, если следовать логике самого договора, только богоизбранного народа, то есть иудеев. Новый Завет строится как будто на принципиально иных основаниях, и исполнение Ветхозаветного закона не налагается на людей, вступивших в жизнь новой Церкви. Однако христианство, взявшее от Христа Новый Завет, унаследовало, по замыслу Христа (пришедшего «не нарушить Завет, но исполнить»), и Старый Завет (Мф. 5: 17). Очевидно, что Завет, касающийся договора Бога с иудеями, каким-то проблематичным образом касается и христиан.

Итак: «И сказал Господь Моисею на горе Синае» (Лев. 25: 1).

В случае послушания Господь дает полные гарантии обеспеченной и безопасной жизни, рисует картину процветания и благоденствия. «Если вы будете поступать по уставам Моим, и заповеди Мои будете хранить и исполнять их: То Я дам вам дожди в свое время, и земля даст произрастания свои, и деревья полевые дадут плод свой» (Лев. 26: 3–4).

Далее, однако, излагается программа «божественной хирургии» – перечень грозных санкций и наказаний в том случае, если народ проявит непослушание. «Если же не послушаете Меня, и не будете исполнять все заповедей сих <...>. То и Я поступлю с вами так: пошлю на вас ужас, чахлость и горячку, от которых истомятся глаза и измучится душа,

и будете сеять семена ваши напрасно, и враги ваши съедят их» (Лев. 26: 14, 16) (курсив мой. – Л. С.).

При условии дальнейшего непослушания происходит резкая эскалация наказаний и их качественное ужесточение. «Если и при всем том не послушаете Меня, то Я всемерно увеличу наказание за грехи ваши; И сломя гордое упорство ваше, и небо ваше сделаю, как железо, и землю вашу, как медь» (Лев. 26: 18, 19).

Семикратное увеличение наказания своему народу повторяется еще трижды⁴. За то, говорит Господь, что люди «совершали преступления против Меня и шли против Меня, *За что* и Я шел против них» (Лев. 26: 40–41). Господь грозит стереть с лица земли препирающихся с Ним, возгреметь на них с небес, пойти против них войной и выжечь их дотла⁵.

Гнев всесильного и всемогущего Бога по отношению к строптивым и непокорным человеческим созданиям кажется беспредельным и неистощимым. Совершенно очевидно, что адресные санкции Бога (к тем, кто *против Него*, то есть к тем, кто верует в других богов, не исполняет или нарушает закон), несимметричны, не равны вине человека. Вернее, богоборческая вина человека заслуживает в глазах Господа именно такое наказание.

Согласно логике Ветхого Завета, существует всего два принципа существования человека относительно Бога: человек или покорен Богу, или Бог пойдет против него всеокрушающей войной. Действует логика «или – или»; третьего не дано; нейтрального отношения человека к Богу нет и быть не может.

В контексте Ветхого Завета чрезвычайно важны значение, объем и последствия этого «против». Первые из десяти заповедей, изложенные в книге «Исход» (и повторенные в книге «Второзаконие», 5: 7–21), содержат основополагающее требование: «Да не будет у тебя других богов перед лицом Моим» (Исх. 20: 3). Наказание за измену СВОЕМУ Богу изложено здесь же, в десяти заповедях: «Не поклоняйся им (чужим богам, идолам и кумирам. – Л.С.) и не служи им; ибо Я Господь, Бог твой, Бог ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого *рода*, ненавидящих Меня, И творящий милость до тысячи родов любящим Меня и соблюдающим заповеди Мои» (Исх. 20: 5–6).

И вот как в этой связи выражает свой богоборческий протест девица Виргинская, студентка-нигилистка из «Бесов» (глава «У наших»): «Я вам именно говорила давеча, что нас всех учили по катехизису: “Если будешь почитать своего отца и своих родителей, то будешь долголетним и тебе дано будет богатство”. Это в десяти заповедях. Если Бог нашел необходимым за любовь предлагать награду, стало быть, ваш Бог безнравствен» (10: 307).

Интересно, что девица Виргинская, цитируя ветхозаветную заповедь о почитании родителей («Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь, Бог твой, дает тебе» – Исх. 20: 12), добавляет «отсебятину» о богатстве, которая в заповеди отсутствует. Однако это, скорее всего невольное, прибавление красноречиво свидетельствует о духе Ветхого Завета, строящем договор Бога с народом по принципу наказаний и наград, кнута и пряника. Гимназист, донельзя раздраженный умствующей девицей, оставляет без внимания неточность цитаты, но вносит свою поправку: «О заповеди “Чти отца твоего и мать твою”, которую вы не сумели прочесть, и что она безнравственна, – уже с Белинского всем в России известно» (10: 308)⁶.

4

Итак, ветхозаветный тезис «Кто не со Мной, тот против Меня» – выражал безоговорочное осуждение, а вслед за осуждением и наказание для всех богоотступников, инаковерующих и инакомыслящих.

Между тем история христианства показала, как много подчас зависело от восприятия обществом библейских источников, от прочтения, трактовки и использования той или иной цитаты в тех или иных практических, идейных и политических целях.

Так, один из первых историков-апологетов инквизиции, сицилийский инквизитор испанец Луис Парамо, стремясь оправдать деятельность священного трибунала, прямо ссылаясь на Бога, который, согласно Парамо, был первым инквизитором, а первыми еретиками, соответственно, были первые Его человеческие творения – Адам и Ева. Бог, утверждал Парамо, изгнал провинившихся перед Ним Адама и Еву, предварительно учинив им тайный допрос и суд. «Инквизиторы, – писал Парамо в труде «О происхождении и развитии святой инквизиции» (Мадрид, 1598), – следуют точно такой процедуре, которую переняли они от самого Бога»⁷. Первым инквизитором Нового Завета, согласно Парамо, был Иисус Христос, а после Него – апостолы Петр и Павел, передавшие судебные функции папам и епископам.

Автор книги об инквизиционном процессе и суде над Галилеем Марино Марини, один из ближайших сотрудников папы Пия IX (современника Достоевского), в том же духе писал об ответственности за практику священных трибуналов Нового Завета. «Инквизиционный трибунал столь древний, что следует считать Иисуса Христа его основателем и законодателем»⁸. В качестве доказательства правоты инквизиции неизменно цитировалось Евангелие от Иоанна: «Кто не

пребудет во Мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет; а такие *ветви* собирают и бросают в огонь, и они сгорают» (Ин. 15: 6). Этот стих Евангелия инквизиция считала прямым и бесспорным указанием на практику костров как на самый правильный (и самый эффективный!) метод борьбы с еретиками.

В таком же духе прочитывались и писания апостолов. Так, апологеты инквизиции ссылались на примеры Божественного суда над нечестивыми и еретиками из посланий Петра: «Были и лжепророки в народе, как и у вас будут лжеучители, которые введут пагубные ереси и, отвергаясь искупившего их Господа, навлекут сами на себя скорую гибель» (2 Пет. 2: 1). Особенно часто в оправдание своих действий цитировалось другое место этого послания: «*Конечно* знает Господь, как избавлять благочестивых от искушения, а беззаконников соблюдать ко дню суда, для наказания, а наипаче тех, которые идут вслед скверных похотей плоти, презируют начальства, дерзки, своевольны и не страшатся злословить высших» (2 Пет. 2: 9–10). Подобное суждение находим и у апостола Павла: «Всякая душа да будет покорна высшим властям: ибо нет власти не от Бога, существующие же власти от Бога установлены. Посему противящийся власти противится Божию установлению; а противящиеся сами навлекут на себя осуждение. <...> И потому надобно повиноваться не только из *страха* наказания, но и по совести» (Рим. 13: 1–2, 5)⁹.

Инквизиция не видела никакой разницы в тактике наказаний для инаковерующих, рекомендованной Ветхим и Новым Заветами. Напротив, декларировалась полная преемственность двух разделов Библии. Для подкрепления тезиса о непротиворечивости Священного Писания в части санкций для вероотступников цитировалось послание апостола Иуды: «Как Содом и Гоморра и окрестные города, подобно им блудодействовавшие и ходившие за иною плотию, подвергшись казни огня вечного, поставлены им в пример, – так точно будет и с сими мечтателями (то есть с неверующими «ропотниками» и «ругателями». – Л.С.), которые оскверняют плоть, отвергают начальства и злословят высокие власти» (Иуд. 1: 7–8).

Неукоснительная строгость к инаковерующим обнаруживалась и в посланиях апостола Павла. «Но если бы даже мы, или Ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема. Как прежде мы сказали, *так* и теперь еще говорю: кто благовествует вам не то, что вы приняли, да будет анафема» (Гал. 1: 8–9).

Именно в Священном Писании инквизиция находила заведомое и спасительное оправдание своим целям и методам. Идеологи и практики преследования еретиков с полным сознанием собственной правоты цитировали Пятую книгу Моисееву «Второзаконие». «Если будет

уговаривать тебя тайно брат твой, сын матери твоей, или сын твой, или дочь твоя, или жена на лоне твоём, или друг твой, который для тебя, как душа твоя, говоря: “пойдем и будем служить богам иным, которых не знал ты и отцы твои”, Богам тех народов, которые вокруг тебя, близких к тебе или отдаленных от тебя, от одного края земли до другого; То не соглашайся с ним и не слушай его; и да не пощадит его глаз твой, не жалей его и не прикрывай его; Но убей его: твоя рука прежде *всех* должна быть на нем, чтоб убить его, а потом руки всего народа» (Втор. 13: 6–9).

Потому главная задача инквизиции, как считал французский инквизитор XIV века Бернар Ги, – есть тотальное и повсеместное истребление ереси; «ересь не может быть уничтожена, если не будут истреблены еретики; еретики не могут быть уничтожены, если не будут истреблены вместе с ними их укрыватели, сочувствующие и защитники»¹⁰.

Итак, договор Бога и человека – это договор по вертикали отношений. Важно, однако, увидеть, что ветхозаветное «око за око и зуб за зуб» – это регламентация поведения не по вертикали, не между человеком и Богом, а по горизонтали, то есть между людьми. И если между Богом и человеком отношения регламентируются как жесткая асимметрия, то отношения между людьми подчиняются строгой и справедливой симметрии¹¹.

В соответствии с ней регламентируется, например, расплата за вред, причиненный в драке: «Кто сделает повреждение на теле ближнего своего, тому должно сделать то же, что он сделал. Перелом за перелом, око за око, зуб за зуб: как он сделал повреждение на *теле* человека, так и ему должно сделать» (Лев. 24: 19–20).

Именно эту *симметрию расплаты* и справедливого ветхозаветного отмщения в человеческих отношениях и отвергает Христос, предлагая *парадоксальную асимметрию*, парадоксальную в том смысле, что она как бы усугубляет утраты и так уже пострадавшей стороны. «Вы слышали, что сказано: “око за око, и зуб за зуб”, – говорит Христос. – А Я говорю вам: не противься злему» (Мф. 5: 38)¹².

5

Но как выстраиваются в Новом Завете вертикальные отношения: Христа и человека?

Каждому читающему Евангелие бросается в глаза некоторое различие в словах Христа, когда Он говорит о тех, кто не с Ним, и о тех, кто не против Его учеников.

Контекст первый: Он говорит о тех, кто с Ним и кто не с Ним.

Сын Человеческий доказал фарисеям, что Он есть не раб, а господин субботы, исцелив сухорукого именно в субботу. Был исцелен также и бесноватый немой и слепой, на что фарисеи вынесли вердикт: Христос, дескать, исцеляет силою веельзевула, князя бесовского. Христос доказывает обратное, то есть что Он изгоняет бесов Духом Божиим¹³.

В отношении Себя Самого Иисус говорит: «Кто не со Мною, тот против Меня; и кто не собирает со Мною, тот расточает. Посему говорю Вам: всякий грех и хула простятся человекам, а хула на Духа не простится человекам; Если кто скажет слово на Сына Человеческого, простится ему; если же кто скажет на Духа Святого, не простится ему ни в сем веке, ни в будущем» (Мф. 12: 30–32).

То же самое почти дословно повторено в Евангелии от Луки¹⁴.

Но ведь тот, кто «не со Мною», то есть не с Христом, тот, абстрактно рассуждая, может быть и сам по себе, в третьей или вообще в какой-то иной позиции: он может самоопределяться не по отношению ко Христу, а пребывать в иной системе координат.

Однако, исходя из высказывания Христа «Кто не со Мной...», по отношению к Нему нельзя быть нейтральным, невосприятие Его или неприятие Его неизбежно оборачивается враждой к Нему. В христианской духовной традиции в этом пункте нет промежуточного состояния, то есть состояния «между Христом и веельзевулом», нет нейтралитета и нет остановок: камень, переставший лететь вверх, уже падает.

Рассказав эти притчи, Иисус обращается к иерусалимским посланцам с грозным предостережением. Не только фарисеи (обладавшие огромным авторитетом среди народа, так что их клевета играла зловещую роль), но и те, кто следует за ними, отвергнув Иисуса, могут оказаться против Бога.

В евангельской традиции заложен принцип: что бы человек ни делал сам по себе, отдельно от Христа, не во имя Его, не для Него, безотносительно к Нему, а для себя или для кого-то другого, по сути своей считается враждебным: оно, это дело, «расточает», то есть бессмысленно тратит усилия человека¹⁵. Стремление развить в себе любые творческие способности не во Христе, не для служения Церкви, а для «расширения» своего сознания, выражения своей самости – это, по Евангелию, собирание себе дров и хвороста для вечного гееннского огня, куда будет ввергнуто всякое растение, не Отцом (Небесным) насажденное. «Я есмь Лоза, а вы ветви; кто пребывает во Мне, и Я в нем, тот приносит много плода; ибо без Меня не можете делать ничего» (Ин. 15: 5).

Невозможность нейтралитета человека в его отношении к Христу влечет за собой особые последствия. Человек, который решил быть с Ним, стоит перед тяжелым выбором, о котором его предупреждает Иисус. «Думаете ли вы, что Я пришел дать мир земле? нет, говорю вам,

но разделение; Ибо отныне пятеро в одном доме станут разделяться: трое против двух, и двое против трех; Отец будет против сына, и сын против отца; мать против дочери и дочь против матери; свекровь против невестки своей, и невестка против свекрови своей» (Лк. 12: 51–53).

Значит, тому, кто избрал для себя путь быть с Ним, возможно, придется идти против своей семьи, против тех своих родных и близких – родителей и детей, сестер и братьев, кто пока (или уже!) не с Ним.

Таким образом, тезис «Кто не со Мной, тот против Меня» может быть приравнен к другой вероятной формуле Иисуса: кто со Мной, тот может оказаться против тех своих близких, которые против Меня. Слушающий проповеди Христовы должен либо уверовать а Него, либо стать врагом Его. Третьего не дано. Кто со Мной, как бы говорит Иисус, тот враг тому, кто против Меня. Ведь сказано: «Если кто приходит ко Мне, и не возненавидит отца своего и матери, и жены и детей, и братьев и сестер, а притом и самой жизни своей, тот не может быть Моим учеником. И кто не несет креста своего и идет за Мною, не может быть Моим учеником <...> Так всякий из вас, кто не отрешится от всего, что́ имеет, не может быть Моим учеником» (Лк. 14: 26–27, 33). Более того, врагом человека, который решил быть с Христом и готов быть Его учеником, становится (условно говоря) его собственный правый глаз и правая рука – если соблазняют его.

Нельзя, однако, не задаться вопросом: имеет ли какие-нибудь культурные, религиозные, исторические ограничения тезис Иисуса «Кто не со Мной...»? Кому он может быть адресован, а кому – нет; на кого он распространяется «по праву», а на кого, по определению, – нет? Ведь, согласно Евангелиям, Иисус родился иудеем, в Иудее жил и только в Иудее проповедовал. Первый адресат Его проповеди – религиозные евреи, которым Он предложил Новое Слово. Позже это Слово, распространяясь далеко за пределы Израиля и завоевывая мир, встречало на своем пути и препятствия. Трудно сказать, была ли, например, адресована проповедь Христа современному Ему Востоку – Индии, Китаю, Японии. К моменту рождения Христова и в Индии, и в Китае, и в Японии были свои религии, и христианство лишь в малой степени коснулось этих мест. Индуизм, конфуцианство, буддизм существовали задолго до христианства, существуют и поныне. Потому вряд ли уместно адресовать им (а также мусульманам) предупреждение Иисуса: «Кто не со Мной...» Таким образом, признавая право на существование разных мировых религий, а также право выбора религии любым человеком независимо от места рождения, культурных традиций и исторических приоритетов, мы тем самым стоим перед фактом неабсолютности христианства (как и любой другой религии).

Но тогда встает еще один вопрос: кого считает своим врагом человек, живущий в христианской традиции? Как следует относиться к врагу?

В Старом Завете Господь говорит Моисею: «Не мсти и не имей злобы на сынов народа твоего; но люби ближнего твоего, как самого себя» (Лев. 19: 18).

В Новом Завете Христос проповедует народу (Нагорная проповедь): «Вы слышали, что сказано: “люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего”. А Я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас» (Мф. 5: 43–44).

Может ли здесь идти речь о тех самых врагах, которые враждуют с человеком, поскольку они против Христа? Очевидно, нет: любить врагов, по логике Нового Завета, можно, только если это враги личные, бытовые, даже кровные, но только не враги по духу, по духовному состоянию – с Христом или против Него.

Знаменитый митрополит московский Филарет (Дроздов), ныне святой, говорил: «Люби врагов своих, сокрушай врагов Отечества, гнушайся врагами Божиими»¹⁶. Преподобный Феодосий, игумен Киево-Печерского монастыря, в XI веке учил примерно тому же: «Живите мирно не только с друзьями, но и с врагами, но только со своими врагами, а не с врагами Божиими»¹⁷. Кажется, вполне понятное и красивое различие. Но простота тут действительно только кажущаяся.

Своих врагов мы себе создаем сами и сами же должны с этой враждой справляться. Врагов Отечества нам зачастую назначает Отечество: и если это не внешний враг, не захватчик и оккупант, которого действительно следует сокрушать с оружием в руках, а пресловутый «враг народа», объявленный властями, то с *сокрушением* уже не так все просто: на нашей памяти много было таких «врагов», которых впоследствии реабилитировали: Отечество вынуждено было признать свои ошибки и злоупотребления.

Но вот кто такие *враги Божии* – кто их назначает? Ведь не Господь же Сам. Их тоже назначают люди (или церковные структуры), по тем или иным человеческим, а не Божеским, резонам, а резоны человеческие бывают и мелко корыстными, и сугубо политическими, и просто ведомственными.

Мы должны прислушиваться КО ВСЕМ таким назначениям и названиям? Кто судьи? Кто вещает от имени Бога? Если прислушаться ко всем, кто хотел бы другого объявить врагом Бога (исчадием ада, апокалипсическим зверем, порождением ехидны и т.п.), нам придется

истребить целый пласт русской духовной культуры и философии, которая занималась самостоятельным богоискательством и богостроительством, зачастую в обход рекомендациям официальной Церкви или в прямом конфликте с ней.

Какова все же логика высказываний Христа в отношении того человека, который не с НИМ? Что будет с теми, кто не с Ним, в аспекте наказаний и лишений? Никаких материальных условий, никакого юридического контракта, наподобие того, что прописано в Ветхом Завете, Новый Завет, кажется, не содержит. Решения Иисуса в отношении к тем, кто не хочет быть с Ним, весьма поучительны.

Евангелие от Луки содержит рассказ о том, как, намереваясь идти в Иерусалим, Иисус послал впереди себя вестников; те вошли в селение Самарянское, но *там* отказались принять Его. «Видя то, ученики Его Иаков и Иоанн сказали: “Господи! хочешь ли, мы скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их, как Илия сделал?” Но Он, обратившись к ним, запретил им и сказал: не знаете, какого вы духа; Ибо Сын Человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать» (Лк. 9: 54–56). Еще выразительнее это сказано в Евангелии от Иоанна: «Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был чрез Него» (Ин. 3: 17)¹⁸.

Поразительный эпизод происходит и в Гефсимании. Один из учеников Иисуса, апостол Петр, своим мечом ударил раба первосвященника, пришедшего арестовать Христа, и отсек рабу ухо. Иисус говорит Петру: «Возврати меч твой в его место, ибо все, взявшие меч, мечем погибнут» (Мф. 26: 52). Евангелие от Луки свидетельствует о том, что, коснувшись уха раба, Иисус исцелил раненого (Лк. 22: 51); Евангелие от Иоанна вносит и другие уточнения: рабу было отсечено правое ухо, имя рабу было Малх (Ин. 18: 10)¹⁹.

Но решения Иисуса не всегда в пользу врагов: суда и расправы еретикам, ропотникам, ругателям, нечестивым, неверным – похоже, не миновать.

«Змии, порождения ехиднины! как убежите вы от осуждения в геенну», – говорит Он книжникам и фарисеям (Мф. 23: 33). «Да придет на вас вся кровь праведная, пролитая на земле» (Мф. 23: 35).

Так же и те, кто поступает вопреки правилам, подлежат геенне огненной (Мф. 5: 22, 29–30; 18, 9)²⁰. «Печь огненная, плач и скрежет зубов» (Мф. 13: 41–42) ожидают всех делающих беззаконие. Божественным санкциям подлежат все бесчувственные к проповеди Христа города и люди. «Огонь пришел Я низвести на землю, и как желал бы, чтобы уже возгорелся! Крещением должен Я креститься; и как Я томлюсь, пока сие совершится!» (Лк. 12: 49–50) Он говорит также, что Содому, который подвергся суровому наказанию Отца (об этом рассказывает

Ветхий Завет), «в день оный» будет отраднее, нежели городу, который отказался принять учеников Христовых. Ибо, говорит Христос, «Не думайте, что Я пришел нарушить закон или пророков; не нарушить пришел Я, но исполнить. Ибо истинно говорю вам: доколе не прейдет небо и земля, ни одна йота или ни одна черта не прейдет из закона, пока не исполнится все» (Мф. 5: 17–18)²¹.

7

Но вот Христос говорит о взаимоотношениях Своих учеников с другими людьми.

Случай первый. Если кто-то отвергает ученика Христова, тот отвергает и Христа, и Отца, Пославшего Его. «Слушающий вас (учеников) Меня слушает, и отвергающий вас Меня отвергается, а отвергающий-ся Меня отвергается Пославшего Меня» (Лк. 10: 16).

То есть: кто против учеников Христа, тот против Сына Божия, а кто против Сына, тот и против Отца.

Случай второй: некто приемлет Слово Иисуса помимо учеников Его. В Капернауме произошел разговор между Иисусом и Его учеником Иоанном. «...Иоанн сказал: Учитель! мы видели человека, который именем Твоим изгоняет бесов, а не ходит за нами; и запретили ему, потому что не ходит за нами. Иисус сказал: не запрещайте ему; ибо никто, сотворивший чудо именем Моим, не может вскоре злословить Меня. Ибо кто не против вас, тот за вас» (Мк. 9: 38–40). То же – и в Евангелии от Луки. «Иоанн сказал: Наставник! мы видели человека, именем Твоим изгоняющего бесов, и запретили ему, потому что он не ходит с нами. Иисус сказал ему: не запрещайте; ибо, кто не против вас, тот за вас» (Лк. 9: 49–50).

Итак, в отношениях между разными Своими учениками Иисус предлагает иную логику, нежели в Своем бескомпромиссном отношении к врагам-фарисеям, клеветавшим на Него. Речения евангелистов Марка и Луки свидетельствуют о симпатиях к Иисусу не только среди тех, кто следовал за Ним и формально считался Его учеником, но также и среди тех, кто формально не следовал за ними и ходил какими-то своими путями.

Когда же ученики (в лице Иоанна) жалуются Христу на некоего человека, который именем Христовым совершает чудеса, а с ними не ходит, они (ученики) проявляют обычную человеческую ревность к таким чужакам-одиночкам или, как бы мы сегодня сказали, неформалам. Учеников Христа можно понять. Если этот неизвестный настолько верит Христу, что именем Его изгоняет бесов, как он может не следовать

путем Двенадцати апостолов? Разве их путь неверен, ошибочен? Нет, путь Двенадцати верен – но, по-видимому, не единствен: возможен, очевидно, и иной опыт.

Характерно, что евангелисты почти ничего не рассказывают о людях, которые не ходили за учениками Христа, но ходили по путям Иисуса. Лишь иногда, вскользь, можно узнать, что их, ходивших отдельно от остальных учеников, было при жизни Иисуса не так уж и мало. Так, апостол Павел сообщает о том, что нашел в Ефесе общину «некоторых учеников», человек около двенадцати, не слыхавших о Духе Святом и крестившихся крещением Иоанновым. Апостол Павел своей апостольской властью передает этим двенадцати дар Святого Духа, и «они стали говорить *иными* языками и пророчествовать» (Деян. 19: 1–7). Апостол Павел свидетельствовал также о том, что Христос Воскресший явился, помимо апостолов, еще «более нежели пятистам братьев в одно время, из которых большая часть доныне в живых, а некоторые и почили» (1 Кор. 15: 6).

Можно еще вспомнить про Иосифа с Никодимом, которые хоронили Иисуса. «Иосиф из Аримафеи, ученик Иисуса, но тайный – из страха от Иудеев, просил Пилата, чтобы снять Тело Иисуса; и Пилат позволил. Он пошел и снял Тело Иисуса. Пришел также и Никодим, приходивший прежде к Иисусу ночью, и принес состав из смирны и алая, литр около ста. Итак они взяли Тело Иисуса и обвили его пеленами с благовониями, как обыкновенно погребают Иудеи. На том месте, где Он распят, был сад, и в саду гроб новый, в котором еще никто не был положен: Там положили Иисуса ради пятницы Иудейской, потому что гроб был близко» (Ин. 19: 38–42)²².

Евангелие свидетельствует, что Христос отнюдь не потакает ревности Своих учеников. Ведь именно в словах «а с нами не ходит» (или: «за нами не ходит») содержится зародыш будущей формулы: «кто не с нами, тот против нас», имеющий отношение только к человеческому поведению и человеческим взаимоотношениям. Христос как бы говорит Своим ученикам: не запрещайте людям ходить своими путями во имя Мое и исцелять именем Моим.

Он отрицает логику учеников, согласно которой «кто ходит не с ними», с учениками, и проповедует именем Христовым отдельно, тот против Христа и заслуживает запрещения. Он предлагает ученикам формулу терпимости, дружественности: кто не против той благой вести, которую вы несете людям Моим именем, тот, значит, – за эту весть, а значит, и за вас. Независимо от того, как пока связаны одни ученики с другими, и разные группы между собой. «По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою» (Ин. 13: 35).

Слова Христа, сказанные ученикам («не запрещайте»), получали и более жесткие, категоричные толкования. В сочинении Блаженного Августина «О согласии Евангелистов»²³ сказано: Христос «хочет внушить ту мысль, что настолько человек не с Ним, насколько он против Него; и насколько он не против Него, настолько он с Ним. Например, тот, кто изгонял бесов именем Христа, но не следовал за Его учениками, конечно, не был против них и был с ними настолько, насколько употреблял силу во имя Христово; в том же, что он не следовал им, он не был с ними и был против них. А так как ученики запрещали ему делать именно то, в чем он был с ними, то Господь и сказал: «Не запрещайте ему». Запрещать же следовало то, что он был вне их общества, дабы споспешествовать единству Церкви, и именно так поступает Вселенская Церковь, когда осуждает у еретиков не общие с ними священнодействия, ибо в этом еретики не против Церкви, но с Церковью, а осуждает и запрещает разделение и отделение (т.е. ереси и расколы), а также противные миру и истине лжеучения, ибо в этом они против нас, поскольку не с нами»²⁴.

В любом случае, очевидно, что формула Христа «Кто не со Мной, тот против Меня» не имеет ничего общего с формулой: «Кто не с нами, тот против нас».

Источником второй формулы первая формула однозначно не является и являться не может, так как первая имеет в виду отношения Бога и человека, а вторая относится к тем перегородкам, которые строит сам человек между собой и своим ближним. Иисус не сторонник второй формулы и ставит ей четкий ограничитель: если речь идет об отношениях людей, верующих в Него, но идущих своими путями, они не враждебны друг другу.

Однако люди сами склонны совершать подмену, подставляя себя под слова Христа. Высказывание «Кто не со Мной», заявленное от имени человека, вызывает, как правило, резкую неприязнь и отдает религиозным самозванством.

8

Вновь возвращаемся к центральному спору отца и сына Верховенских.

«Вы говорите: кто не за нас, тот против нас, и всех с противоположными убеждениями обрекаете смерти, забывая, что спор есть во всяком случае развитие дела (11: 105).

Чрезвычайно важно, что способ действия своего сына Верховенский-отец квалифицирует словами «*взамен Христа*». «О, карикатура! Поми-

луй, кричу ему, да неужто ты себя такого, как есть, людям взамен Христа предложить желаешь?» (10: 171).

Те, кто присваивает себе изречение Христа («кто не со Мной, тот против Меня») и подставляет себя под Него, – те забывают, что никто из людей не может говорить от имени Христа, ибо человек ограничен и грешен. Поэтому если кто-то «не с ним», или не с тем, что этот человек понимает о себе, это не значит ещё, что этот кто-то «против Христа».

Другое дело, что разные люди могут «собирать со Христом», но в отношении друг друга быть как враги. Значит, они просто не видят друг друга, не видят друг в друге ТО, что есть в них от Христа, поскольку они разделены какой-нибудь перегородкой непонимания и вражды...

И вот главный вопрос: распространяется ли принцип терпимости на людей, живущих в иных духовных координатах, исповедующих иные истины и имеющих иных учителей? Вопрос обращен не к Священному Писанию, а к Достоевскому.

Кредо Достоевского – верить, «что нет ничего прекраснее, глубже, симпатичнее, разумнее, мужественнее и совершеннее Христа»²⁵. Достоевскому хотелось бы в любом случае оставаться со Христом, быть с Ним, а не против Него – во что бы то ни стало и что бы там ни было, а также кем бы и чем бы Он ни был.

Но мог ли бы Достоевский сказать о себе – кто не с Христом (еще или уже), тот против него, Достоевского, и тот его вечный враг? Что принцип христианской любви и понимания распространяется только на учеников Одного Учителя?

В романах Достоевского действуют герои противоположных убеждений. Им всем автор «Бесов» предлагает не вражду, а спор, полемику, дискуссию – о ценностях, о вере, об учителях и об истине. Их всех он приобщает к опыту рефлексии, осмысленного мироощущения, духовного творчества.

Достоевский, отвергая, вслед за Христом, революционную формулу «кто не нами, тот против нас», вместе с Христом предпочитая дружественную формулу «кто не против вас, тот за вас», выступает вместе с тем как человек Нового времени, дерзновенно соединивший человеческую правду культуры и правду христианства. Он преодолевает архаическое разделение мира на своих и чужих, пресловутую логику «или–или» и распространяет искомую формулу («кто не против вас...») на гораздо более широкий круг. Его творческое послание обращено не только к своим собратьям по вере в Христа, но ко всем, кто этой веры не имеет, кто ее уже потерял или пока не нашел. А также к тем, кто верует в другие истины и других богов. Православие Достоевского не смеши-

вается с правоверием (то есть с идеологией) и обрядоверием, где всякое изменение воспринимается как измена. Он всех без исключения приглашает к разговору, никому не грозя санкциями. Духовное послание Достоевского ко всем без исключения читателям – это самое фундаментальное опровержение лозунга «Кто не с нами, тот против нас».

Эта расширение читательской аудитории более чем понятно – оно фиксирует те изменения в мире, которые произошли за время *«после Священного Писания»*. Еще Тертуллиан (150–222), христианский богослов из Карфагена, задавал себе вопрос: «Что есть общего у философа с христианином? Между учеником Греции и учеником Неба? Между искателем истины и искателем вечной жизни? Что общего между Афинами и Иерусалимом, между Академией и Церковью?» Отвечал он на этот вопрос вполне парадоксально: «Нам после Христа не нужна никакая любознательность; после Евангелия не нужно никакого исследования»²⁶.

Однако эти парадоксы не были поддержаны дальнейшим историческим опытом: христианское человечество не пошло путем Тертуллиана, а сохранило и Христа, и Академию, и Церковь, оно развивало и богословие, и философскую любознательность. Оно даже изобрело атеизм – понятие, неизвестное Священному Писанию²⁷, но слишком хорошо знакомое читателю Достоевского.

В творчестве Достоевского мы видим могучий творческий синтез: оставаясь со Христом, он вместе с тем проявлял высшую философскую любознательность и колоссальный интерес к земной истории, человеческое искание правды и жажду социальной справедливости.

Тертуллиан считал, что Бог выше всех законов, которые стремится навязать Ему философствующий разум, что к Нему и Его действиям абсолютно неприменимы естественные человеческие вопросы «почему?» и «зачем?».

Но Достоевский, которого, как и его героев, всю жизнь Бог мучил, постоянно задавал эти естественные человеческие вопросы²⁸. И Христос, и Священное Писание, сохраняя статус непреложного Абсолюта, тем не менее также вводятся Достоевским «в сферу вопрошания, участвуют в “большом диалоге” романа, – справедливо отмечает современный исследователь. – И позицию автора по отношению к Христу и Писанию также характеризует внутренне-диалогическая установка»²⁹.

В этом большом диалоге нет и не может быть чужих. Здесь все *свои*.

Примечания

- ¹ См.: «Наши не те только, которые режут и жгут, да делают классические выстрелы или кусаются. Такие только мешают. <...> Слушайте, я их всех сосчитал: учитель, смеющийся с детьми над их богом и над их колыбелью, уже наш. Адвокат, защищающий образованного убийцу тем, что он развитее своих жертв и, чтобы денег добыть, не мог не убить, уже наш. Школьники, убивающие мужика, чтоб испытать ощущение, наши, наши. Присяжные, оправдывающие преступников сплошь, наши. Прокурор, трепещущий в суде, что он недостаточно либерален, наш, наш. Администраторы, литераторы, о, наших много, ужасно много, и сами того не знают!» (10: 324)
- ² Цит. по: Политические процессы 60-х годов. М.; Пг., 1923. С. 264, 269.
- ³ Возникает предположение, считали эксперты, что общественное мнение Соединенных Штатов стремительно возвращается к состоянию экзальтированной религиозности с оттенком нетерпимости, то есть становится фундаменталистским. Это подтверждалось господствующими в Америке начала тысячелетия настроениями – усилением консервативной критики нравов, введением цензуры в средствах массовой информации. Интересно, что США при этом *de facto* отказываются от ценностей «свободного мира» и уподобляются своим оппонентам. Под идеологемами, вышитыми на знаменах противостоящих лагерей, скрываются удивительно похожие духовные миры, и похожи они как раз тем, что управляются неумолимо строгой логикой «или – или». Показательно, что финансовый магнат Дж. Сорос за инициацию фундаментализма открыто выражал ненависть и презрение к Дж. Бушу-младшему в статьях, интервью, рекламных объявлениях и в своей новой книге «Пузырь американского превосходства». Сорос даже сравнивал Буша к нацистам: «Когда я слышу из уст Буша “Кто не с нами, тот против нас”, это мне напоминает немцев». В интервью «Вашингтон пост» Сорос заявил, что политика Буша воскрешает в его памяти лозунг, который нацисты писали на стенах: «Враг слушает!» (См.: <http://www.mn.ru/print.php?2004-32-23>).
- ⁴ См.: «Если же *после сего* пойдете против Меня и не захотите слушать Меня, то Я прибавлю вам ударов всемеро за грехи ваши. Пошлю на вас зверей полевых, которые лишат вас детей, истребят скот ваш, и вас уменьшат, так что опустеют дороги ваши. Если и после сего не исправитесь и пойдете против Меня, То и Я пойду против вас, и поражу вас всемеро за грехи ваши. И наведу на вас мстительный меч в отмщение за завет; если же вы укроетесь в города ваши, то пошлю на вас язву, и преданы будете в руки врага. Хлеб, подкрепляющий *человека*, истреблю у вас, десять женщин будут печь хлеб ваш в одной печи, и будут отдавать хлеб ваш весом; вы будете есть, и не будете сыты. Если же и после сего не послушаете Меня и пойдете против Меня, То и Я в ярости пойду против вас, и накажу вас всемеро за грехи ваши. И будете есть плоть сынов ваших, и плоть дочерей ваших будете есть. Разорю высоты ваши, и разрушу столбы ваши, и повергну трупы ваши на обломки идолов ваших (то есть речь идет о наказании за поклонение иным богам. – Л.С.), и возгнушается душа Моя вами. Города ваши сделаю пустынею, и опустошу святилища ваши, и не буду обонять приятного благоухания *жертв* ваших. Опустошу землю *вашу*, так что изумятся о ней враги ваши, поселившиеся на ней. А вас рассею между народами, и обнажу вслед вас меч, и будет земля ваша пуста и города разрушены» (Лев. 26: 21–33).
- ⁵ Как указывает Первая книга Царств, «Господь сотрет препирающихся с Ним; с небес возгремит на них» (Цар. 2: 10). То же говорит и Книга пророка Исайи:

«Гнева нет во Мне. Но если бы кто противопоставил Мне *в нем* (то есть в возлюбленном винограду) волчцы и терны, Я войною пойду против него, выжгу его совсем» (Ис. 27: 4).

- 6 Принято говорить об объективной исторической необходимости во времена Ветхого Завета сильных жестокостей и серьезных санкций (политика «кнута и пряника») против провинившихся, маловерующих или разуверившихся людей. «У человечества тоже, видимо, есть возрастные категории. Древний мир не знал свободы совести и свободы вероисповедания – это приобретение самых последних времен и следствие, быть может, иссыхания религиозного духа, охлаждения его. Ведь заряд религиозной нетерпимости присущ всем великим религиям. Но, быть может, есть и постепенное развитие от внешнего правопорядка к внутреннему самосознанию, т.е. от закона к благодати» (фрагмент письма игумена Вениамина Новика к автору статьи. С.-Петербург, 24 декабря 2004 г.).
- 7 Цит. по: *Le Manuel des Inquisiteurs, a l'usage des Inquisitions d'Espagne et de Portugal*. Lisbonne, DCCLXII. P. 182–183.
- 8 См.: *Marini M. Galileo e L'Inquisizione. Memorie storico-critiche dirette alla Romana Academia di Archeologia*. Roma, 1850. P. 11.
- 9 Атеистическая традиция, напротив, усматривает в апостольском запрещении дерзить начальству и спорить с любым руководством проповедь социального смирения и покорности; буквально: апостолы состоят на службе у эксплуататорского государства и господствующих классов.
- 10 См.: *Guidonis B. OFP. Practica Inquisitionis heretice pravitatis*. Paris. 1886. P. 217.
- 11 «Когда дерутся люди, и ударят беременную женщину, и она выкинет, но не будет *другого* вреда, то взять с *виновного* пеню, какую наложит на него муж той женщины, и он должен заплатить при посредниках; А если будет вред, то отдай душу за душу, Глаз за глаз, зуб за зуб, руку за руку, ногу за ногу, Обожжение за обожжение, рану за рану, ушиб за ушиб» (Исх. 21: 22–25).
- 12 См. также: «Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую; И кто захочет судиться с тобою и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду; И кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два» (Мф. 5: 39–40). «Ударившему тебя по щеке, подставь и другую; и отнимающему у тебя верхнюю одежду не препятствуй взять и рубашку» (Лк. 6: 29). «Никому не давайте злом на зло, *но* пекитесь о добром пред всеми человеками» (Рим. 12: 17). «Смотрите, чтобы кто кому не воздал злом на зло; но всегда ищите добра и друг другу во всем» (1 Фес. 5: 15).
- 13 См.: «Если сатана сатану изгоняет, то он разделится сам с собою: как же устоит царство его?» (Мф. 12: 26)
- 14 См.: «Однажды изгнал Он беса, который был нем; и когда бес вышел, немой стал говорить, и народ удивился. Некоторые же из них говорили: Он изгоняет бесов силою веельзевула, князя бесовского. А другие, искушая, требовали от Него знамений с неба» (Лк. 11: 14–16). Лука дословно повторяет ход мысли и слова Христа, переданные в Евангелии от Матфея. «Кто не со Мною, тот против Меня; и кто не собирает со Мною, тот расточает» (Лк. 11: 23).
- 15 Как указал мне о. Николай Балашов, такое толкование возможно, но несколько произвольно: первоначальный евангельский контекст подразумевал «собираение» или «расточение» Нового Израиля, то есть народа Божия.
- 16 На это высказывание мне указал о. Николай Балашов.

- 17 То же.
- 18 Упомянутый эпизод Евангелия указан мне о. Александром Ранне и о. Николаем Балашовым.
- 19 Об этом эпизоде напомнил мне о. Александр Ранне, сравнив его со стихотворением Б. Пастернака «Гефсиманский сад». «Пётр дал мечом отпор головорезам / И ухо одному из них отсёк. / Но слышит: / “Спор нельзя решить железом, / Вложи свой меч на место, человек...”»
- 20 Согласно Нагорной проповеди, геенне огненной подлежит тот, кто скажет на брата «безумный».
- 21 «Не верующий уже осужден, потому что не уверовал во имя едиnorodного Сына Божия. Суд же состоит в том, что свет пришел в мир; но люди более возлюбили тьму, нежели свет <...>. Верующий в Сына имеет жизнь вечную; а не верующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем» (Ин. 3: 18–19, 36).
- 22 На этот эпизод указал мне о. Николай Балашов.
- 23 См.: *Августин Блаженный*. О согласии Евангелистов. Книга четвертая, глава 5, № 6 // <http://www.svitlo.net/nasled/uchitel/awgust/sogl4.htm> Данный источник указал мне о. Николай Балашов.
- 24 См. также современное толкование двух формул: «Два евангельских изречения, нередко воспринимаемые как выражение двух противоположных точек зрения (“терпимой” и “нетерпимой”), на деле имеют совершенно идентичный смысл. “Кто не против вас, тот за вас”; но “кто не со Мною, тот против Меня”; всякий, кто не становится под одно “знамя”, тем самым обязывается верностью другому “знамени”. “Знамя” стоит против “знамени”, и “знамение” против “знамения”» (*Аверинцев С.С.* Символика раннего Средневековья (К постановке вопроса) // http://www.geocities.com/katz_us_il/aver/avr-3.html Данный источник также был указан мне о. Николаем Балашовым.
- 25 См.: «Бог посылает мне иногда минуты, в которые я совершенно спокоен; в эти минуты я люблю и нахожу, что другими любим, и в такие-то минуты я сложил в себе символ веры, в котором всё для меня ясно и свято. Этот символ очень прост, вот он: верить, что нет ничего прекраснее, глубже, симпатичнее, разумнее, мужественнее и совершеннее Христа, и не только нет, но с ревнивою любовью говорю себе, что и не может быть. Мало того, если б кто мне доказал, что Христос вне истины, и действительно было бы, что истина вне Христа, то мне лучше хотелось бы оставаться со Христом, нежели с истиной» (28, кн. 1: 176).
- 26 Цит. по: Новая философская энциклопедия в четырех томах. Т. IV. М.: Мысль, 2001. С. 58.
- 27 Понятия: «атеизм» и «атеист», «безбожие» и «безбожник», «атеистический» и «безбожный» – у Достоевского смыслообразующие, мирообразующие. Это модели мировосприятия, с которыми спорит Достоевский. Библии и Евангелию слова «атеизм» или «атеист» вообще не известны, они не употреблены там ни разу, ни в каком контексте. Слово «безбожие» [atheon] мы находим у Плутарха [atheotes], безбожный [atheos] – отвергающий общепризнанных богов (у Платона). Хотя эти слова были во времена Платона (4 в. до н. э.) и у Плутарха (40–120 гг. н. э.), их нет в Священном Писании. Оно еще не работало с этими смыслами.
- 28 «Меня Бог всю жизнь мучил», – говорит Кириллов в «Бесах» (10: 94); «Меня Бог мучит, – вторит ему Митя Карамазов. – Одно только это и мучит. А что как Его

нет? Что если прав Ракитин, что это идея искусственная в человечестве? Тогда, если Его нет, то человек шеф земли, мироздания. Великолепно! Только как он будет добродетелен без Бога-то? Вопрос! Я всё про это. Ибо кого же он будет тогда любить, человек-то? Кому благодарен-то будет, кому гимн-то воспоеет? Ракитин смеется. Ракитин говорит, что можно любить человечество и без Бога» (15: 32). И о себе самом писал Достоевский: «Каких страшных мучений стоила и стоит мне теперь эта жажда верить, которая тем сильнее в душе моей, чем более во мне доводов противных» (28, кн. 1: 176).

29

См.: *Тихомиров Б.Н.* К спорам о художественном методе Достоевского (проблема «реализма в высшем смысле») // рукопись.

«Мы – страна православная...» Религиозный проект в споре со светской культурой

Всякий раз, когда происходят серьезные обсуждения проблем взаимодействия Церкви и Культуры, участники называют себя «мы». Это «мы», как бы по умолчанию, объединяет и уважаемых представителей духовенства, и филологов, и учителей, и школьников. Такое объединение, конечно, отрадно – оно свидетельствует, как минимум, о наличии общих задач и готовности к их солидарному решению.

Однако, провозглашая это многообещающее «мы», стороны дискуссии ведут обсуждение *как бы изнутри*, не в логике «Церковь и Культура», а в логике «Церковь и Церковь», «церковнослужители и миряне». То есть так, как будто между институтом «Церковь» и институтом «Культура» не осталось никаких зазоров – в виде разногласий и противоречий. И будто участники разговора все вместе, рука об руку, работают на укрепление и усиление Православного Отечества, хранилища православной культуры. И будто они все уже нашли дорогу к Храму, и никто не стоит в тяжелом раздумье у его внешних стен, а также далеко за этими стенами. Однако при внимательном и неангажированном рассмотрении оказывается, что это далеко не так.

Письмо десяти академиков-естественников АН РФ к президенту России (22 июля 2007 года) об угрозе клерикализации страны в целом и науки в частности, об экспансии РПЦ в светский мир, о «захвате» сфер образования и попытке насадить в обществе обязательную церковность, и даже о попытке «вползания» Закона Божия в школьное преподавание, равно как и дискуссии по этому поводу доказывают, что желаемой гармонии между церковью и наукой, церковью и культурой, а также церковью и обществом не наблюдается. Бурная реакция церковных и околоцерковных кругов на письмо ученых (вплоть до угроз уголовной ответственности за резкие антицерковные высказывания академика В. Гинзбурга), попытка увидеть в письме тайную подоплеку, чуть ли не заговор антинациональных сил против России и, как ми-

нимум, отголоски воинствующего атеизма советского образца – лишь подтверждает наличие больших расхождений в подходах к проблеме. Имеет смысл привести один из примеров полемики – даже не между «клерикалами» и «безбожниками», а между людьми вполне мирскими, обретающимися внутри культуры.

Гендиректор киноконцерна «Мосфильм», известный режиссер Карен Шахназаров выразил недоумение нападками некоторых представителей академических кругов на Русскую церковь в связи с усилением ее влияния на общество. «Россия – страна православная. Кому не нравится, тот может найти другую страну. Прекрасно понимаю, что последние мои слова звучат крайне неполиткорректно, но что поделать?» – написал К. Шахназаров в статье «Символы веры»¹. Он назвал «довольно странными» обвинения Церкви со стороны ряда ученых в «клерикализации» общества, напомнив, что «близость Церкви к верховной власти заложена в самой нашей исторической традиции», и подчеркнул, что не видит «ничего страшного» в том, что «Церковь во все времена была сложная, важная, во многом государствообразующая машина». Комментируя споры вокруг преподавания в школах «Основ православной культуры», он отметил, что не видит ничего дурного в возвращении общества к «прежней, христианской», идеологии, и добавил, что «лучше в школах изучать историю православия, нежели, скажем, историю национал-социализма». По словам Шахназарова, Церковь во все времена способствовала становлению государственной власти, и ничего страшного он в этом не видит. «Да и какую страну ни возьми, даже самую что ни на есть светскую, влияние Церкви на общественное устройство переоценить трудно. И в исламе, и у католиков, чьи заявления о совершенной самостоятельности святого престола не должны заслонять истинное положение дел, Церковь – один из важнейших государственных институтов. Так устроен мир, так почему же нас это так пугает? Потому, что патриарх Алексей II поддерживает президента? Неужели если бы он, напротив, постоянно критиковал власть, кому-то стало бы легче?»

Читатели журнала, как об этом свидетельствуют интернет-отклики, были крайне возмущены фразой Шахназарова: «Россия – страна православная, кому не нравится, тот может найти другую страну». Приведу самый вежливый, внятный (среди десятков ругательных и непечатных откликов) ответ Шахназарову, показывающий, какой взрывной силой обладают подобные «приглашения».

«Мне не нравится, что Россия – такая православная страна, где старики и старухи отброшены на обочину жизни и живут в бедности и забвении. Мне не нравится, что Россия – такая православная страна, в которой убивают православных священников, детей и просто друг друга. Мне не нравится, что Россия – такая православная страна, в которой

блудить стало так же обычно, как пить воду. Где детей в детских домах больше, чем их было после Отечественной войны. Мне не нравится, что Россия – такая православная страна, в которой воровство и коррупция достигли невиданного размаха. Мне не нравится, что Россия – такая православная страна, где ложь, измена и предательство перестали быть неприемлемыми. Где черное называют белым, а белое – черным. Мне не нравится, что Россия – такая православная страна, в которой похоть плоти, похоть очей и гордость житейская стали образом жизни для молодого поколения и не только для него. Страна, в которой большинство просто не знает Десяти заповедей, не говоря уже о желании им следовать, не может называться православной. Потому что православие заключается в поклонении Богу, а поклонение Ему – это исполнение Его заповедей. И к какой бы церкви вы ни принадлежали, вы – православный, если любите Бога и людей. Когда к Варламу Шаламову пришла женщина и спросила его, что ей делать и как жить, он ответил: “Соблюдай Десять заповедей”. Подумал и добавил: “И одиннадцатую – не учи другого жить”. Представьте себе, что в нашей стране, нет, хотя бы в одном городе или поселке все люди соблюдают только одну заповедь, например не воруют. Это трудно представить, особенно нам, русским людям, но попробуйте. Замки, решетки, видеокамеры, сейфы, шлагбаумы, ограждающие сетки, рамки на выходе из магазинов, высокие заборы, сигнализации, ключи (сколько их!), сторожевые собаки, охранники и милиционеры (а их-то сколько!) – все будет лишним. Какая экономия, сколько сил и средств можно будет использовать “в мирных целях” сколько людей займется нормальной работой. (А то у нас каждый второй следит за каждым первым.) Утопия – скажете вы? Нет, просто одна сторона Царства Божьего – Православной Страны, – которую мы каждый раз приглашаем к нам, когда читаем “Отче наш”: “Да приидет Царствие Твое”. Я жил в атеистической стране, и мне это не нравилось. Меня убеждают, что сейчас я живу в православной стране, и мне это тоже не нравится. Не уверен, что мне понравится жить и в евангельской стране, потому что и среди евангельских христиан немало “Шахназаровых”, которые если не православным, так иеговистам или мормонам укажут на дверь в “другую страну”»².

Ученых-академиков (которых церковная пресса назвала безбожниками) поддержали правозащитники, предупредившие, что в России «формируется новая национально-религиозная идеология, пронизанная отрицанием демократии, ксенофобией и культом власти». Представители РПЦ сочли это новыми гонениями на церковь, их поддержали представители националистических движений. «Светское государство современного типа, обязательно включающее в себя момент атеизма или антиклерикализма, находится в кризисном состоянии. В гумани-

тарных кругах активно обсуждается тот факт, что государства такого типа переживают упадок. В исламе, на который сегодня ссылаются как на наиболее жесткую, активную и успешную религию, исламская община – умма – представляет собой одновременно и веру, и государство. Светское государство в противостоянии с ним обречено на поражение»³, – объяснил в ходе дискуссии православный публицист Ю. Кузнецов.

«Скандал вокруг “письма десяти”, – считает газета «НГ-Религии», – показал, что в церковных кругах склонны ставить знак равенства между атеистами и сторонниками светского государства. Получается, что всякий, кто задается вопросом о границах влияния Церкви в современном обществе, рискует быть обвиненным в симпатиях к большевистским комиссарам»⁴. Однако сегодняшние атеисты, при всем их неприятии клерикализма, вовсе не похожи на прежних «воинствующих безбожников» первых лет советской власти; они, как убеждают опросы, все больше эволюционируют в сторону агностицизма, мировоззрения, вообще не ставящего вопрос о существовании Бога. А главное, опыта открытой дискуссии между православными верующими и атеистами или агностиками в России нет или почти нет.

2

Конечно, можно эффектно играть понятием «культура», производя его от слова «культ», и утверждать, что цели современной Культуры и современной Церкви едины. Можно, глубоко веруя и служа Богу, как верил и служил о. Павел Флоренский, ставить «культ» превыше всего. «Из культа исходит все, – писал он в 1918 году, – что затем обмирщается в культуре: философия, наука, формы общественности, искусство. Культ (и его основа – таинство Причащения) есть священная и единственная основа для живой мысли, творчества, общественности»⁵.

Оба слова – «культ» и «культура» – действительно произошли от одного латинского глагола «colere»: возделывать, взращивать, обрабатывать. Среди других его значений – почитать, уважать, поклоняться. В новоевропейских языках значения разошлись: слово «культ» закрепилось за религиозной сферой, а слово «культура» имеет в основном светскую историю. К тому же «культура», когда мы употребляем это понятие в качестве института, включает и деятелей культуры, и учреждения культуры, и современное состояние культуры, в том числе и ее взаимоотношения с Церковью.

Поясню на одном близком примере. Что именно и с какой целью нужно изучать в культуре филологу-литературоведу? Знать Святое

Писание, чтобы лучше понимать творчество изучаемого писателя в качестве конечной для профессии цели? Или, погрузившись в творчество Пушкина, Достоевского, Толстого, прийти к Богу, к Церкви, уверовать (как это случилось со многими исследователями русской классической литературы) и – в идеале – служить уже не столько литературе, образованию, сколько Богу, став священником или уйти в монашество (на этом пути оказались единицы)? Именно так объяснила мне в 2002 году свой путь к Богу и к Церкви монахиня ордена кармелиток в Венеции: «Достоевский был моим Евангелием, до того как я пришла к Богу, теперь же у меня есть настоящее Евангелие, и Достоевского я больше не читаю». Но все же каждый исследователь должен понимать, в чем отличие пути светского ученого, обладающего свободой совести, от священствующего или монашествующего. Нужно, повторюсь, отдавать себе отчет – писатель нужен *как цель* (изучить его как можно полнее и глубже, чтобы понять) или *как средство* (как первого вероучителя, наставника, проводника, пока эстафету не перехватят другие, может быть, более строгие учителя, например Отцы Церкви) – и в соответствии с этим строить свою жизнь в профессии. Нужно понимать, каковы цели светского изучения литературы и каковы цели религиозного служения Богу.

В этом контексте самоуверенно-солидарное «мы» уже никак не работает, оно просто не соответствует действительности. Реальность такова, что по конституции Россия – светское государство. *Православная Россия* ныне – это страна массового атеизма (теперь уже не принудительного, как в советские времена, а вполне и сознательно добровольного, хотя по соображениям новой квазирелигиозной политкорректности в этом стало неловко признаваться). Церковь отделена не только от государства, но и от общества, от культуры, отделена не только законодательно, по конституции, но и по факту ежедневного бытия, по желанию общества и светской культуры (ее деятелей и ее учреждений). И теперь, когда Церковь, после многих десятилетий угнетения, стала подниматься на ноги, укрепляться и обретать силу, нельзя не видеть, что общество, напротив, социально расколото, пребывает в состоянии серьезного духовного неблагополучия и очень по-разному смотрит на укрепление Церкви и ее возрастающее влияние. А также на те болезненные проблемы *внутри* Церкви, которые выходят *наружу*.

У нас нет единства в оценке характера нашей культуры. Культура должна оставаться светской, отделенной от Православия, или культура

должна пониматься как часть Православия? *Что часть чего*: Церковь – часть Культуры или Культура – часть Церкви? Каким должно быть в обществе отношения к атеизму и атеистам? Атеизм и атеистическое мировоззрение – это постыдное искажение ума или законное (то есть согласное с законом РФ о свободе совести) представление о мире? Атеист – это изгой общества, моральный урод, которому нет места в меняющемся мире, или это столь же суверенный в глазах Церкви и православного народа человек, имеющий право именно так, а не иначе воспринимать мир? И как должен вести себя православный церковный человек по отношению к атеисту – побивать его камнями, подвергать остракизму, презирать и преследовать или терпеливо и смиренно сосуществовать с ним в профессии и в бытовой жизни, не проявляя высокомерия и надменности?

Вообще, сегодня, когда православная церковь пребывает в периоде зримого благополучия и расцвета (в печати используется в этой связи термин «триумфализм»), должен ли православный человек, искренне верующий в то, что духовная истина с ним, испытывать чувства превосходства над неверующими или инаковерующими (живущими «вне истины»)? Ведь религиозная ситуация в стране определяется, во-первых, наложением православного, исламского, протестантского факторов. Во-вторых, сосуществованием двух картин мира – гуманистической и теоцентрической: они признаны равноправными по влиянию на происходящее в мире⁶. Как заявлял в бытность свою митрополитом нынешний патриарх Кирилл, одна из главных проблем современной России заключается в столкновении противоречащих друг другу мировоззренческих позиций. Одно основано на приоритете прав и свобод личности, другое – на традиционных ценностях коллективизма и государственничества. «Если мы хотим стабильности России, мы должны спокойно добиться гармонизации этих двух точек зрения в смысле идей и в смысле кадровой политики»⁷. Нельзя не видеть и третий фактор: «Сегодня в обществе атмосфера уже не постреволюционного атеизма, а посткоммунистического сатанизма, когда не только взрослые детей, но и одни дети могут развращать других, начиная с яслей и детского сада»⁸.

Кроме того: что все-таки ждет православное сообщество от русских атеистов, своих потенциальных единоверцев? Что они рано или поздно перевоспитаются, уверуют и придут в Церковь, и тогда их примут как братьев? А пока что, до прихода в Церковь, соотечественник-атеист соотечественнику-православному «и не друг, и не враг, а так»? Или надо полагать, что атеисты до конца останутся «моральными уродами», кончеными людьми, не имеющими никаких моральных устоев и совести? Что это именно по их адресу сказано: коль скоро для вас Бога не существует – вы и ведете себя так, будто вам все позволено?

Как работает в наше время известное высказывание Ставрогина–Шатова из «Бесов» Достоевского: «Атеист не может быть русским, атеист тотчас же перестает быть русским, не православный не может быть русским» (10: 197)? Сегодня этот тезис буквально воспроизводят многие ревнители православия (без скидки на те роковые изменения, которые произошли в России *после Достоевского*). «Чтобы русский человек почувствовал себя русским, он прежде всего должен быть православным», – утверждал в 2004 году А. Крутов, заместитель председателя Госдумы по информационной политике. «Человека делает русским его принадлежность к православию», – говорит и о. Александр Макаров, сотрудник Отдела внешних церковных связей Московской патриархии⁹.

Однако если в нынешней ситуации попробовать составить демографическую картину России в соответствии с этими тезисами, то из состава русского народа придется исключить огромный процент населения, оставив в числе русских, имеющих право так называться, только русских православных. То есть мы сами, своими руками, нарисует такую демографическую картину России, в которой русские составят удручающее меньшинство.

Но современный атеист не хочет эти истины применять к себе и тем более признавать их безусловность. Современный атеист (как правило, это образованный человек и законопослушный, уважаемый гражданин) страстно настаивает, что хотя в Бога он не верит, но совесть у него есть и русским он себя сознает по принадлежности к русскому языку и русской культуре. «Великая русская культура в огромной мере формировалась в русле православия. Но только этим тезисом вопрос не исчерпывается, – резонно замечает политолог К. Мяло. – Мы не можем игнорировать тот факт, что среди ярких фигур в русской культуре есть люди с исключительно русским типом поведения – подобно Белинскому страстные, порывистые, горячие, мечущиеся в поисках правды, однако далекие от церкви. Так что же, так и будем производить селекцию русской культуры? Наверное, французская культура сложилась на основании католичества. Но из этого же не следует, что француз – это католик, а католик – это француз»¹⁰.

Но те, кто все же стремится произвести селекцию русской культуры по конфессиональному признаку, рискуют вывести за ее пределы многих и многих выдающихся людей, в частности, многих русских писателей; среди них и Чехов, и Л. Толстой, и Тургенев, и Набоков...

Споры вокруг дорогих истин расширяют свою географию. Так, американский философ-прагматик Р. Рорти, у которого в России множество почитателей среди молодежи и студенчества (он часто читает лекции в московских университетах), утверждает, что тезис Достоевского «Бога нет – все дозволено» сейчас не работает; на самом деле он

никогда и не работал. Это вообще ложная дилемма, считает он, а вместе с ним огромное число людей во всем мире. Практика показала, доказывает Р. Рорти, что даже для тех людей, для кого Бога нет, далеко не все позволено; принцип морали не связан жестко с верой в единого Бога. «Бесконечное теряет свое очарование, – пишет философ. – Здравый смысл говорит нам, что все конечно. То есть говорит, что, когда мы умрем, наши тела истлеют; что каждое поколение будет решать одни проблемы, лишь создавая новые; что наши потомки будут воспринимать с недоверчивым презрением многое из содеянного нами и что продвижение человечества к большей свободе и большей справедливости возможно, но не неизбежно. Мы постепенно свыкаемся, что мы – всего лишь сообразительные животные, улучшающие себя по ходу своего существования. Секуляризация духовной культуры, которую помогли осуществить такие мыслители, как Спиноза и Кант, создала в нас привычку думать скорее горизонтально, чем вертикально – т. е. соотносить, как бы нам обеспечить хотя бы чуть лучшее будущее, вместо того чтобы поднимать очи горе в поисках всеохватной системы координат или опускать взор в несказанные глубины души»¹¹.

Приведу еще одно высказывание. Культовый (в новом употреблении этого слова) кинорежиссер, кумир, которому поклоняются далеко за пределами Испании, награжденный всеми мыслимыми кинопремиями, известный во всем мире Педро Альмодовар (его фильм «Дурное воспитание» (2004) демонстрировался на Московском кинофестивале) сказал недавно специально для русского тележурнала следующее: «Если обернуться назад в историю, все худшее, что случилось с Испанией, идет от церкви. Сам я в Бога не верю, так сложилось... Меня тревожит ситуация, когда при нынешнем правительстве в Испании церковь вновь начинает усиливать свои позиции, ограничивая свободу личности. Например, говоря о реформе образования, правительство рассматривает предложение церкви снова разделить в школах мальчиков и девочек. Допустить такое нельзя! Религиозное воспитание влияет на неокрепшие мозги. Когда восьмилетнему ребенку внушают, что он виноват фактом своего рождения и должен понести за это наказание, это неправильно. Если люди, пришедшие к вере в сознательном возрасте, отказываются от радостей жизни, это их дело, их позиция. Но воспитывать детей в страхе перед жизнью, готовить их к несчастьям – преступно»¹². Знаменательно, что Ватикан отрицательно отнесся к картине «Дурное воспитание», повествующей о педофилии в католическом колледже, и официально заявил о «смехотворности обвинений в содомии в католических школах». Актер Г. Берналь, киногерой Альмодовара, высказался очень нелестно по адресу Ватикана. «Ватикан – это средоточие лжи в католическом мире. Судите сами: если церковь до сих

пор не покаялась в том, что помогала Гитлеру и Муссолини, то какое им дело до педофилии в отдельно взятой школе?»¹³ – а скандалы в католическом мире продолжают волновать европейскую прессу. «Дурное воспитание» стало новым символом, но уже не из мира кино, а названием шокирующей информации о тысячах детей-сирот в ирландских приютах, систематически подвергавшихся побоям, сексуальному насилию со стороны воспитателей, монахов и монахинь (!). Ирландские и британские журналисты называют происходившее в сиротских заведениях ГУЛАГом, новым Холокостом. Указываются три причины, по которым служители Церкви становятся главными фигурантами скандалов с педофилической окраской. «Во-первых, это чрезмерное почтение к церковной иерархии. Во-вторых, это религиозный авторитаризм иерархов, инертность их мышления. В-третьих, тошнотворный клерикализм – продукт религиозной культуры, обернувшийся против нее самой»¹⁴.

4

Как должен воспринимать верующий, православный, церковный человек атеистические признания людей культуры? Как должна относиться к ним Церковь? Так, будто ни совести, ни национальности («русскости», «испанскости» и т. п.) у них, у атеистов-прагматиков, все же нет по определению, или возможны иные подходы? Следует ли по-прежнему утверждать, что, пребывая в шкуре атеиста, даже и понять нельзя, что это такое – совесть? Или, видя живые примеры, признать, что атеист живет по десяти заповедям, сам того не ведая?

Как следует понимать пророчества старца Зосимы из «Братьев Камазовых», произнесенные почти 130 лет назад, применительно ко дню сегодняшнему: «Народ встретит атеиста и поборет его, и станет единая православная Русь» (14: 285)? Как работают и работают ли сегодня в практике православного поведения и в опыте православного сознания слова из духовного завещания старца Зосимы: «Не ненавидьте атеистов, злоучителей, материалистов, даже злых из них, не токмо добрых, ибо и из них много добрых, наипаче в наше время. Поминайте их на молитве тако: спаси всех, Господи, за кого некому помолиться, спаси и тех, кто не хочет Тебе молиться. И прибавьте тут же: не по гордости моей молю о сем, Господи, ибо и сам мерзок есмь паче всех и вся...» (14: 149). Относятся ли к современному атеисту слова старца Тихона из «Бесов»: «Полный атеизм почтеннее светского равнодушия <...>. Совершенный атеист стоит на предпоследней верхней ступени до совершеннейшей веры (там перешагнет ли ее, нет ли), а равнодушный никакой веры не имеет, кроме дурного страха» (11: 10).

Почему все чаще слышатся призывы к защите прав атеизма на существование и к защите прав атеистов – на образ мыслей? Академик РАН, лауреат Нобелевской премии В. Гинзбург провозгласил в одной из телепередач: «Благодарю Бога, что он создал меня атеистом!» Знаменитый физик ставит православие в один ряд со лженаукой и требует, чтобы атеистическое мировоззрение было должным образом отражено на телевидении¹⁵. Он утверждает: сегодня, когда укрепилась государственная мода на православие, нужно иметь гражданское мужество, чтобы отстаивать права атеизма на существование¹⁶. Известный правозащитник С.А. Ковалев, один из самых агрессивных и непримиримых противников русского православия, заявил недавно: «Традиционное русское православие – это вообще антихристианская секта»¹⁷. Сахаровский центр устраивает в центре Москвы выставку «Осторожно, религия!», которая провоцирует погром (уничтожение и порчу экспонатов) группой верующих, затем следуют цепь судебных процессов, ожесточенная полемика в обществе и обвинения РПЦ в «православном фундаментализме».

От кого же атеисты хотят защититься? От государства? От Церкви? Почему на наших глазах возрождается злобный воинствующий атеизм, вступающий в противостояние с... агрессивными неофитами, которые часто ведут себя как советские комсорги или «комиссары в пыльных шлемах» и, похоже, ждут своего часа, чтобы поруководить умами и душами?

Такие опасения слышны со страниц газет, из многочисленных теледебатов, и я знаю о них не понаслышке от коллег по Академии образования, по Институту искусствознания, по Институту философии РАН. Большое здание Института философии РАН на Волхонке, многие окна которого смотрят прямо на Храм Христа Спасителя, – свидетель жарких споров подобного рода; «философский пароход», прописанный по этому адресу, почти весь сплошь атеистический. Философы с Волхонки больше всего боятся православизации всей страны, клерикализации науки, наступления Церкви на светское государство, на культуру, попадания свободной мысли в духовную и административную зависимость от «церковных догм и установлений». Именно здесь чаще всего приходилось слышать, что современная РПЦ «зомбирует общество». Но ведь в случае чего этот пароход не вышлют же за кольцевую дорогу, за стокилометровый рубеж или за океан, подальше от столицы и от Храма Христа?!

В чем же подоплека этих страхов? Почему Церковь, едва встав на ноги после многолетнего советского коммунистического гнета, стала объектом нападок со стороны общества?

Чрезвычайно важно понять логику сегодняшних оппонентов Церкви. По моему глубокому убеждению, мы (при любом содержании данного местоимения) обязаны выслушивать все голоса, стремиться их понимать – как стремился понимать Достоевский все *pro et contra* своего времени. Ведь, нельзя игнорировать то обстоятельство, что вся совокупная политическая и духовная бесовщина родилась не в атеистическом СССР, а в Российской империи – православном государстве, где в обязательном порядке изучался Закон Божий, где Церковь не была отделена от государства, где существовала серьезная духовная цензура. Секуляризация общественного сознания, как свидетельствуют серьезные исторические источники и сама русская художественная культура, завершилась в России уже к началу XX века. Церковь как социальный институт уже тогда перестала быть востребована обществом. Официальное положение РПЦ как «господствующей» оказывалось в высшей степени двусмысленным. Ведь все государственные служащие и учащиеся начальных, средних и высших учебных заведений, в чьих паспортах и метриках в графе «вероисповедание» стояла запись «православное», были обязаны ежегодно предоставлять по начальству справку об исповеди и причастии¹⁸.

Н.А. Бердяев в 1907 году писал о безнадежном состоянии исторической церкви. «Она омертвела, выродилась, превратилась в быт, соблазнилась искушениями и творится в ней мерзость запустения, слишком часто напоминает она блудницу»¹⁹. Приведу одно из современных рассуждений о вере и церкви. «Бог один. Почему же в мире так много религий, а в религиях так много конфессий? Почему каждая утверждает, что только она знает дорогу к спасению? Почему они так агрессивны, так враждуют между собой? Религиозные войны унесли миллионы жизней и продолжают уносить. Да и нынешний международный терроризм силен своей религиозной подоплекой. Очень трудно представить себе, что для Бога имеет значение, из какого здания исходит обращенная к нему молитва и на каком языке она звучит. Неужели для Него важно, два или три пальца прикладывает верующий ко лбу и груди, два или три раза в конце проповеди священнослужитель произносит слово “аминь”? Трудно поверить, что обряды, придуманные самими людьми, важнее для Всевышнего, чем доброта, любовь к людям, сострадание, забота о старых и малых, пунктуальное следование десяти заповедям (или хотя бы только одной заповеди – “не убий”). Больше всего смущает, даже удручает до сих пор идущая война церквей и конфессий, в основном “холодная”, но временами переходящая в “горячую” – силовой передел церковных зданий в Западной Украине и т.д. О какой

любви, кротости и всепрощения может тут идти речь! Да и “холодная” война православных, католиков, лютеран, баптистов и т.д. слишком уж напоминает “спор хозяйствующих субъектов”: ведь борьба идет не за истину, а за цифру прихожан, за монополию “своей” территории, за власть, влияние и в конечном счете – за деньги... Раздражают постоянные, с нажимом, уверения, что только данная религиозная контора обладает эксклюзивным правом на спасение души, а все прочие – нет, что вне церковной общины спасение невозможно вообще. Чем подтверждены эти претензии на роль посредника между человеком и Богом? Бог ведь дал каждому из нас свой прямой телефон... в нас с детства заложено замечательное средство общения с творцом – наша совесть. Кто-то ведь ясно дает нам понять, хорошо мы поступаем или плохо... Во всем этом так много земного, что для небесного места почти не остается»²⁰.

Как возражать и что противопоставить верующему, но не церковному автору этого рассуждения, известному писателю? Каждый из нас обязан продумывать свой ответ, иметь свою реплику в диалоге. «Я, – говорил известный историк литературы В.В. Кожин, – всю жизнь, хоть и крещенный бабушками, прожил в стороне от церкви. И хотя я никогда не был атеистом, но было бы по меньшей мере странно сегодня – как подсвечник! – выставять себя верующим... Меня поражает, когда на глазах творятся неестественные метаморфозы: вчера был атеистом с партийным билетом, кусал верующих, а сегодня демонстративно крестится на каждом шагу – это ведь называется “по обстоятельствам”... Если уж ты веришь, то верь не по обстоятельствам, а вопреки обстоятельствам»²¹.

«Начало восстановления России, – пишет известный писатель и признанный классик современной литературы Б. Васильев, – не в неумелом держании свечи в храме, не в неуклюжих поклонах и не в столь же неуклюжих, неотработанных, с детства не поставленных осенениях себя крестом. Оно – в постижении Учения Христа. Но готовы ли мы к такому постижению? Язычество въелось в наши души за три поколения безбожников, с восторгом сокрушавших храмы, и никакое восстановление их нам не поможет, потому что восстановление Веры может быть осуществимо только через семью. Через ее обычаи, разъяснения, пример старших»²².

Вот типичное мнение русского, неверующего, нецерковного образованного человека (иногда он называет себя агностиком) о месте Церкви и Культуры.

Тезис 1. Культура в нашей стране, считает он, должна быть в целом секулярной, и религиозные организации не должны в ней господствовать. Доминирующее положение одной из религий невозможно было бы установить без насилия – если не физического, то морального. Нельзя отмахнуться от культурного развития России XVIII–XX ве-

ков, которое во многом шло на противостоянии традиционным религиям и выводило ее за пределы чисто религиозного мировоззрения. Делать вид, что этого ничего не было и восстанавливать православие в чистом виде, говоря, что русская культура – это православие и только православие – это обеднение и ограничение, искажение русской культуры. Но это также и упрощение в историческом смысле; в России есть мусульманское меньшинство, и если принять, что религия должна стоять в центре культуры, то как сочетать православие и ислам? Это одна из существенных причин, почему нельзя ставить религию в центр русской культуры.

Тезис 2. Почему введение религии в центр культуры могло бы быть только насильственным? Потому что все-таки православная вера и приход к ней – в условиях современного мира, для человека, обладающего информацией обо всем мире, – это не нечто само собой разумеющееся. Поэтому установление религии в центре культуры означало бы подавление свободы совести и свободы мысли, без которых невозможно существование современного государства. Нельзя не видеть, что в мире доминируют те страны, которые смогли максимально освободить индивидуальную энергию человека, энергию человеческой свободы. Это в основном протестантские страны (в большей степени, чем католические): англосаксы, французы, немцы, западноевропейцы. Они максимально мобилизовали свободу человеческой личности. Можно спорить, хорошо это или плохо, можно утверждать, что энергия личности высвобождена во зло всему остальному миру. Но если Россия не найдет равных источников человеческой энергии, она не сможет конкурировать с этими странами.

Тезис 3. Основа нынешнего развития России – это ее вестернизация, начатая Петром I. Все элементы современного развития, начиная с естественнонаучного знания и гуманитарных наук (политические, философские, социальные идеи) и кончая конкретными техническими достижениями, не возникли изнутри православия, а были взяты в культуре Западной Европы и западном христианстве. Мыслители русского религиозного возрождения мечтали о синтезе православной традиции и новоевропейской культуры. Достоевский утверждал, что у русских две родины – Россия и Европа. Таких мыслителей не очень принимала официальная православная церковь, потом они все были сметены советским режимом, и проект синтеза остался незавершенным. Помимо всего прочего, РПЦ сама не готова занять руководящее место в современной культуре; на слишком многие вопросы у нее нет ответов, или они не попадают в цель. Если весь народ России обратится к православию (представим себе такую гипотетическую возможность), для церкви это станет непосильным бременем.

Тезис 4. В Западной Европе нет прецедента, чтобы церковь становилась в центр культуры. Чтобы православию приобрести действительно влиятельное место в российском обществе, ему надо сначала самому впитать и переварить современную культуру. Пока что оно не готово стать влиятельной силой в современной культуре. Если церковь боится диалога с католиками, боится любого инаковерия, боится проповедников с Запада, боится сект и всего того, что не есть она сама, плохо знает (или совсем не знает) современную отечественную культуру, как она может разговаривать с миром? Она не готова к диалогу и со светской культурой. Сторонники свободы совести и свободы религии полагают, что православию нужно свободно развиваться в свободном мире на основе духовной состязательности. Но православие не признает духовной состязательности. Потому страшно представить себе, если православие получит власть в обществе. Почему страшно? Потому что обязательно последует духовная цензура, запрет на издание книг, фильмов, спектаклей, светской культуры. То есть диктатура агрессивных невежественных «ферапонтов» (вспомним персонажа «Братьев Карамазовых») и новых православных неофитов, дорвавшихся до первенства и главенства. То есть такая духовная цензура, какая уже была и в Российской империи, и в Советском Союзе.

6

«Как вы относитесь к введению в школе Закона Божьего?» – спросили недавно у телеведущего В. Познера, яростного критика православия. – «Отношусь к этому исключительно плохо. Я считаю, что изучать религию полезно, но преподавать в школе ее должен светский человек, а не раввин, поп и так далее. У нас светское государство, и я не хочу, чтобы мои деньги, то есть налоги, которые я плачу, шли на это. Об этом я говорил много, громко и неоднократно»²³.

В. Познер действительно много раз заявлял, что главный враг России – это православие. «Пусть он попробует в Америке сказать что-то против религии, да от него мокрого места не останется!» – горячо высказалась в этой связи одна из газет²⁴. «Крещенный в католичество, по воспитанию и восприятию мира так называемый фаустовский экономический человек, Познер интуитивно не приемлет сами основы православной цивилизации, – не веры, а именно цивилизации! – но, не понимая сути своего постоянного раздражения “странностями” России, неосознанно переводит вероучительные разногласия в плоскость межнациональных конфликтов, к которым возвращается до навязчивости часто»²⁵.

Глобалистские критики православия извне и изнутри России утверждают, что традиционная российская цивилизация и православие «тормозят модернизацию», а традиционная российская личность «органически тяготеет к тоталитаризму». Глубинная ментальность народов России и весь исторический опыт государства Российского объявляются потенциально опасными, и Россию как хранителя православия считают «ахиллесовой пятой человечества». Еще в 1993 году американский советолог Збигнев Бжезинский заявил: главная опасность для России, или исторически обусловленное препятствие для ее будущего полного вхождения в семью высокоразвитых стран, заключается в том, что «на смену коммунизму может прийти некая форма традиционного православия, замешанная на шовинизме и выражающаяся в имперских рефлексиях»²⁶.

Однако тревожные голоса, призывающие поставить заслон «клерикализации общества», раздаются не только со стороны штатных критиков православия, адептов глобализма. Озабочены, встревожены также и православные философы, пишущие о мерзости духовного оскудения, о трагическом разрыве Церкви с Культурой. «Церковь должна вобрать в себя весь размах человеческого чувства, разума, искания, – утверждает современный философ. – Она должна вернуть себя культуре, которую отлучила от себя, когда свободе искания стала предпочитать исполнение обрядов. Когда церковь сумеет без страха принять богатство жизни, она возвратит искателю, художнику, философу уверенность в создаваемой им культуре. Ощутив себя не рискованной авантюрой, а службой Бога, творчество соединится со святостью»²⁷.

Особенно остро стоит вопрос об образовании – допускать или не допускать в среднюю школу Закон Божий или хотя бы факультативный курс «Основы православной культуры». Споры об этом не утихают уже несколько лет. И речь идет отнюдь не о сопротивлении атеистов-чиновников, а об огромном числе родителей, учителей, писателей, общественных деятелей. Массовая школа, как показывают многочисленные опросы, вообще не хочет никакого сотрудничества с Церковью. Приведу характерный диалог. «Когда мы, – говорит журналисту центральной газеты священник из старинного города Кимры, охваченного, как пожаром, детской наркоманией, – хотим прийти в школу и поговорить с ребятами, с родителями о страшной опасности наркотиков, от нашей помощи чаще всего отказываются.

– Может, это связано с недавней дискуссией по поводу введения курса православной культуры? Многие пугаются, что это принесет в школу конфликты.

– Нет, это просто гордыня, самолюбие. «Попы придут и будут нас учить», – вот чего они боятся»²⁸.

Открывая в Государственном Кремлевском дворце съездов XII Рождественские чтения (январь 2004), Алексей II сделал почти сенсационное заявление. Он предложил возродить дореволюционную традицию знакомства школьников с житиями святых, которые всегда были излюбленным чтением, полагались в основу образования и воспитания и составляли основу для создания великой страны и великой культуры. По мнению покойного патриарха, детей и юношество следует назидать представлениями о святости и реальными примерами нравственного совершенства, достигнутого в борьбе с грехом.

Разговоры о сотрудничестве Патриархии и Министерства образования ведутся с конца 90-х годов. До 2003 года бывший министр образования РФ В. Филиппов относился к идее преподавания «Основ православной культуры» (ОПК) отрицательно. В августе 2003 года был издан компромиссный приказ: предоставить школам право факультативно изучать не только православие, но и любую другую религию. В начале 2004-го министр ответил готовностью включить в школьную программу факультатив «ОПК».

Интеллигенция, школьные и вузовские педагоги, культурная общественность были взволнованы. Оказалось, что по вопросу о введении в общеобразовательные средние школы уроков Закона Божьего или факультатива «Основ православной культуры» нет не только единого мнения – мнения с каждым новым витком полемики поляризовались все сильнее.

7

СТОРОННИКИ введения православия в среднюю школу мотивируют свои требования тем фактом, что христианство лежит в основе русской и европейской культур. Без знания основ православия невозможно понять истинный смысл художественных произведений. Дети часто не подозревают о религиозных сюжетах, лежащих в основе произведений культуры. Изучение религии формирует ментальность учащихся. История России без истории религии народов, ее населявших, – неполная. Надо, чтобы дети в полном объеме получали знания на эту тему, а значит, необходимо организовать какой-нибудь элементарный ликбез. Пусть попробуют изучать религию в контексте всемирной истории, истории искусств – ведь нет даже элементарных знаний о культуре своей страны, которая развивалась в церквях, монастырских библиотеках. Изучение православия в школе его сторонники называют возвращением блудного сына – из аморального и невежественного советского прошлого к истокам традиционной культуры. «Современное светское

образование, – утверждал зам. министра образования Л. Гребнев, – может быть качественным только в том случае, если оно включает в себя религиозные ценности, культовые основы той национальной культуры, в рамках которой ведется это образование. Чтобы хорошо знать русский язык, надо хоть что-то понимать в русской культуре, а для этого, в свою очередь, необходимо знать основы православия»²⁹. Чтобы христианство стало фактором педагогического воздействия, необходимо, считает ректор Русского Христианского гуманитарного института Д. Бурлака, «создать обучающие программные продукты различных структурных уровней – курсы, дисциплины, блоки дисциплин, модели образовательного процесса в целом, и реализовать их в светской аудитории»³⁰.

Многие сторонники введения в школу ОПК исходят из соображения «может, польза и небольшая, но вреда никакого». Потому что в самом тезисе «нельзя учить православия инаковерующих» содержится лицемерие: ибо подавляющее большинство граждан нашей страны – просто неверующие; они не верят ни по православному, ни по какому-либо другому образцу. Они ни во что не верят, они «никаковерующие», и этот факт подтвержден многими социологическими исследованиями. Почему же априори считается, что нерусские семьи, живущие в России, вдруг оскорбятся, если их дети познакомятся с православной культурой – основополагающей культурой той страны, где они живут и собираются жить дальше? Если же все-таки речь идет об инаковерующих семьях, они всегда могут освободить своих детей от изучения православия, как это было до революции. Когда церковь предлагает ввести изучение в школе ОПК, речь идет не о вмешательстве церкви в дела государства, а о ее помощи воспитанию молодежи. Ведь религия не учит плохому. Церковь помогает обществу избавиться от многих пороков – преступности, пьянства, наркомании, детской беспризорности. Что плохого в том, что дети узнают о Сергии Радонежском, о святых Борисе и Глебе?

Два аргумента – нравственный и эстетический – целиком за изучение православия. Даже самый свирепый атеист согласится с тем, что вся мировая культура стоит на плечах Библии. Не зная Святого Писания, мы тонем в омуте невежества – нам недоступны мировые шедевры живописи, литературы, музыки. Сейчас обскурантами становятся те, кто противится приходу религии в школу. Ратуя за прогресс, они хотят оставить детей в советском прошлом – невежественном и аморальном. Место религии в сознании человека все равно остается незанятым – просто на ее месте появляется оккультизм, суеверия и сектантство. Десятки лет антицерковной пропаганды вымарали из народной памяти все прекрасное, высокое, героическое, что связывалось с православием, а взамен оставили портреты тупых, жадных, злых попов, черносотен-

ные лозунги и призывы к пастве терпеть эксплуататоров. Настоящая история православной церкви, ее место в российском обществе – тайна за семью печатями. Знание этой истории входит в государственные интересы. Ведь российским гражданам надо уметь не только презирать свою страну, не только испытывать за нее мучительную боль, стыд и неловкость, видеть в ней не только кровавые преступления, но и гордиться ею; не отпихивать с брезгливой гримасой ее многовековую историю, а почувствовать в ней высокий смысл, красоту, величие.

Кому выгодно запрещать преподавание ОПК? Тем, кто хотел бы превратить русских молодых людей в «западного экономического человека», эгоиста и индивидуалиста, оторванного от своих родовых корней, забывшего, кто он есть.

ПРОТИВНИКИ изучения религии в школе мотивируют свой протест, исходя из концепции России как светского государства. Если допускать в светское образование православие, то надо допустить туда и все другие конфессии. Какую религию можно преподавать в школе? Как в нашей многоконфессиональной стране можно заставить учеников массовой школы изучать одно только православие? Навязывать школьникам какую-либо одну веру нельзя. Никакого обязательного изучения религии в школах не должно быть. Для изучения религии во всем мире существуют воскресные школы – православные, иудейские, протестантские, лютеранские. И трех часов в неделю вполне достаточно. Главное – в школе не должно быть насильственного изучения религии. Не должно быть конфессионального влияния на детей. Навязывание знаний об одной религии может привести к ответной реакции со стороны представителей других конфессий. Нужно оставаться только в рамках общеобразовательной культуры.

РАДИКАЛЬНЫЕ ПРОТИВНИКИ полагают, что ни в коем случае, даже факультативно, нельзя изучать православие в школе. Кроме того, что наша страна светская и многоконфессиональная, РПЦ сейчас является безусловным тормозом общественного развития нашей страны. Не мир, но меч принесет в страну преподавание основ православия в российских школах. Идеологическое принуждение в сфере образования приносило всегда только отрицательный результат. Уроки Закона Божьего, если верить многим страницам русской литературы, навевали на школьников отчаянную скуку – и это в условиях поголовной религиозности населения и поточной подготовки квалифицированных преподавательских кадров для обучения Закону Божьему. Возможно, детям из буддийских, мусульманских, католических, иудейских семей разрешат не посещать уроки ОПК. И русские дети только утвердятся во мнении, что те «верят неправильно», что «они другие», «не наши», и это станет причиной межконфессиональной розни в классе.

«Сегодня мы введем в школы “Основы православия”, завтра объявим православие государственной религией, а послезавтра проснемся в тоталитарной стране... Нелепо “назидать юношество” представлениями о мировой культуре и морали, основанными только на житиях православных святых. И без того наша православная церковь стоит особняком – и довольно агрессивным – к остальному христианскому миру (даже к христианскому!). Теперь она желает стать наставником всей молодой России – без национальных и религиозных ограничений. В ведь мы хотим принести мир в наше больное общество. Мир, а не меч!»³¹ «Идея введения в систему среднего образования курса ОПК есть не что иное, как попытка РПЦ каким-то образом гарантировать свое привилегированное место в обществе и обеспечить стабильность своего существования. Цель сама по себе неплоха – она естественна для любого сообщества людей, что бы их ни объединяло. Плох метод ее достижения: внедряться в ослабленную систему, преследуя главным образом собственные цели, в живой природе называется “паразитизм”. Увы, это не оскорбление, это термин»³².

И вот как откликнулись читатели на обсуждение в прессе темы «Православие в школе». Приведу лишь самые радикальные точки зрения³³. «Воспитывать в детях морально-нравственные качества может не только религия – но и этика, эстетика, литература, искусство. Ведь не только в религиозных семьях рождаются высокодуховные, воспитанные дети. Почему возрождение России видится только через насильственное внедрение православия?»

«Не нравится настырность нашей православной церкви, которая всеми способами старается насадить религию в светских школах. Такое впечатление, что церковь разными путями идет к одной цели – «зомбировать» подрастающее поколение. Она хочет поставить себя выше президента. А это уже борьба за власть».

«Прежде чем изучать религии – надо изучить Декларацию прав народов мира, Конституцию своей страны. А Уголовный кодекс надо знать как “Отче наш”».

Отечественная пресса пишет о попытках «воцерковления» светской системы образования, как правило, весьма негативно. Скептически цитировалось, например, выступление председателя координационного совета по взаимодействию Министерства образования и Московской патриархии архиепископа Калужского и Боровского Климента на конференции «Изучение православной культуры в светской школе», которая состоялась в рамках традиционных Рождественских чтений. По его словам, современная школа напрочь утратила воспитательную функцию, поэтому ее должна взять на себя церковь. Но церковь не имеет возможности влиять на школьную молодежь, ибо школьники в церковь не

ходят. Говоря о новом предмете (ОПК), владыка подчеркнул, что речь идет не об изучении истории религии. Православие – не одна из конфессий, это ось общественного развития. «Главное, чтобы ученик смог ответить на Божью любовь праведной жизнью без греха»³⁴. Почему-то, недоверчиво замечает обозреватель газеты, нести Божью любовь в массы должны именно православные священники. Особенно возмутил светскую прессу комментарий заместителя министра образования Л. Гребнева. Раскритиковав духовную нищету западной культуры, он заявил: «Существуют два вопроса: “кто виноват?” и “что делать?”. Оба очень вредны. Вопрос “кто виноват?” чужд православному. Последний обязан нести ответственность за первородный грех; постановкой подобного вопроса христианин снимает с себя всю вину. “Что делать?” – еще один вопрос, которого всякий православный должен чураться. Ибо очевидно: тот, кто прочитал Новый Завет, подобный вопрос не задаст себе никогда»³⁵.

Педагогическая общественность восприняла это выступление как декларацию министерских инициатив по выращиванию послушного электората, который не будет задавать власти неприятных вопросов. Но и с точки зрения историка русской литературы запрет на «проклятые вопросы» выглядит малоубедительно: ведь сформулированы они были писателями XIX века, жившими в православном государстве и знавшими Новый Завет. Так что если следовать логике чиновника Минобразования, надо отменить всю ту литературу, которая на протяжении столетия «мучилась Богом» и болела «проклятыми вопросами». Фактически это и происходит в школе, где литература перестала быть ведущим, обязательным предметом. При отсутствии в школе полноценного изучения отечественной литературы уместно поставить вопрос: на каком поле будут сеять знания ОПК? Ответ очевиден – на поле диком, голом, на почве каменистой. И само собой возникает опасное подозрение – не воспринимают ли русскую литературу сторонники введения ОПК в школу как конкурирующий предмет, претендующий на то место в душе школьника, которое должно принадлежать Закону Божьему?

Все же неподготовленность проекта ОПК как со стороны РПЦ, так и со стороны Министерства образования глубже всего проявилась в вопросе, кто именно будет учить школьников основам православия. Многочисленные опросы убедительно продемонстрировали солидарное стремление российского общества к сохранению светского характера школьного образования.

– «Это должно быть светское преподавание. Предмет может называться “Основы христианской культуры” или “Основы православия”»³⁶.

– Курс «Основы православной культуры» может изучаться в рамках курса «Основы мирового искусства».

– История религии может стать частью курса обычной истории.

– Наибольшие возражения курс ОПК может вызвать у физиков и биологов, которым предложат изложить принципиально иную версию образования вселенной – за шесть дней.

– Историю современных религий можно и нужно изучать в школах, если ее будут преподавать не священники, а специально подготовленные историки. Но где их взять? Редкая школа располагает преподавателями, одновременно сведущими в религии, истории, философии, литературе, истории искусств.

– Если ОПК будет спецкурсом по выбору, на него сможет пойти только тот, кто хочет и получит зачет. Остальные пойдут на другие спецкурсы.

– Курс ОПК требует не религиозного вещания, не проповеди и наизидания, а именно преподавания, взаимодействия, вопросов-ответов, философских бесед, дискуссий, споров – тогда он принесет пользу.

– Если ОПК будут преподавать священники, то нет гарантии, что они это время не станут использовать на подготовку кадров для своих конфессий.

– На какие деньги будет издаваться учебник по курсу ОПК? Вряд ли удастся обойтись без помощи Церкви, а брать деньги у РПЦ – значит впасть в зависимость от одной конфессии. Пусть РПЦ больше внимания уделяет работе с людьми и детьми, которые тянутся в секты, принимают ислам и воюют на стороне террористов.

«Попытки ввести изучение религиозных предметов в школе вообще шокируют и вызывают опасение, что инициаторы давно не общались с детьми школьного возраста. Если вы хотите оттолкнуть детей от религии – заставьте их учить источники. А еще лучше – сдавать экзамены» – такую позицию озвучил год назад председатель думского комитета по законодательству П. Крашенинников³⁷.

Кажется, Министерство образования решило остановиться на самом мягком варианте – введении курса истории мировых религий со светским преподавателем-историком. Это значит, что Церковь и Культура, Церковь и общество учатся прислушиваться друг к другу. «Единственное, что теперь всерьез может помешать детям узнать основы православной культуры, – это сами православные, – пишет диакон Андрей Кураев, советуя, как использовать Закон о свободе совести для защи-

ты православия в школе. – Православие вновь будут изгнано из школ, если православные будут вести себя агрессивно. Если православный педагог в обычной школе будет вести себя как цензор, если он присвоит себе право идеологически цензурировать курсы других преподавателей – то быть беде. Увы, и с этим уже нередко приходится встречаться. Педагоги, обратившиеся в православие, требуют отмены уроков по изучению теории эволюции (“атеизм!”), Льва Толстого (“еретик!”), Пушкина (“растлитель!”)... Бывают случаи, когда детей даже отлучают от народных сказок (“там лешие и нечисть!”). В общем, если православный педагог будет помнить о “факультативности” своей веры, то есть о том, что самое главное в его жизни, мягко говоря, неочевидно для всех остальных – как детей, так и коллег, – то будет меньше поводов для взаимных недоумений между Церковью и школой. Тогда мы сможем говорить друг с другом уже не на языке статей закона, а на языке более уважительном и человеческом. И вместо “вы обязаны” будем говорить: “давайте попробуем”»³⁸.

Школьный курс по основам православной культуры является предметом культурологическим (а не религиозным), и поэтому его нужно преподавать в школе так, как необходимо преподавать математику. Так считает (и считал прежде) новый патриарх Кирилл (Гундяев)³⁹. Изучать религию в школе следует с «исследовательских позиций», заявлял в Страсбурге и ныне покойный патриарх Алексий II 2 октября 2007 года. Реализовывать эту в целом правильную программу можно по-разному, утверждает московский священник Георгий Кочетков. «К сожалению, в Церкви произошел некий соблазн, когда многие восприняли это как введение Закона Божьего в школах. Конечно, в школах может преподаваться катехизис для желающих, это нормально. Но это, во-первых, должно быть делом добровольным, во-вторых, об этом надо говорить открыто, не надо делать этого исподтишка. Меня лично расстраивает вся эта ситуация как некая двойная игра. Хотите преподавать катехизис в школе, говорите об этом открыто. Да, сейчас этого нельзя, и, наверное, нужно было бы очень серьезно исследовать, насколько это целесообразно (исходя из опыта того же дореволюционного времени). Но кто хочет, пусть говорит об этом открыто. Но, увы, есть некоторая нечестность в этой ситуации как со стороны защитников обязательного курса “Основ православной культуры”, так и со стороны тех, кто отрицательно относится к этому»⁴⁰.

Деятели РПЦ сами признаются в неподготовленности проекта ОПК, о его кадровой необеспеченности. «Знают ли нынешние педагоги, призванные на преподавание основ православной культуры, имена классиков своей науки? Держали ли они в руках эти книги? Помнят ли цвета их обложек? Хуже того – знают ли эти книги те священники, что

на епархиальных курсах переподготовки натаскивали этих “мобилизованных культурологов”? Боюсь, что для большинства новых “культурологов” история их предмета начинается с трехлетней давности учебника Аллы Бородиной – учебника цвета зеленой скуки...» Авторы учебников и методичек по курсу ОПК, пишет А. Кураев, «писали совсем не то, что объявили. Объявили – “культурологию”, изготовили – “Закон Божий”... и вот на парты светских школ легли учебники с выражениями “Наш Спаситель”, “Господь наш Иисус Христос...”»⁴¹ Анализ ряда учебников и методических пособий по курсу ОПК, по оценке о. Петра Мещеринова, свидетельствует: «Все они никакого отношения собственно к культуре не имеют, – все они – переложение учебника Закона Божия Серафима Слободского, даже его структура полностью соблюдена. Учебнику первого класса предлагается за год усвоить семинарский курс по догматическому, сравнительному и литургическому богословию»⁴².

Самое обнадеживающее обстоятельство в данном случае то, что с критикой перегибов в сфере ускоренного воцерковления народа выступают не светские критики Церкви, а служители Церкви. Чему-то учатся и ученые. Десять лет назад, обсуждая в Старой Руссе проблемы взаимодействия Церкви и Культуры, некоторые из филологов, тогда только что пришедшие к вере, нетерпеливо ставили вопрос о скорейшем отлучении от преподавания русской литературы в школах и вузах неверующих и нецерковных преподавателей. Хотели, так сказать, произвести «новую культурную революцию», взяв штурмом твердыни безбожного образования. Были и иные экзотические предложения – например, ввести православную цензуру для научных докладов, присылаемых на Старорусские Достоевские чтения.

Но всего за десять лет все, или почти все, поняли простую вещь, что скорость хороша для совсем иных занятий. «Я за то, – сказал В. Лукин, подводя итоги недавней дискуссии о роли Церкви в обществе, – чтобы Церковь укрепляла свои позиции. Но не с помощью административных рычагов и преференций, а исключительно за счет собственного авторитета, морального влияния среди бедных и богатых, властных и невластных. А государство наше пусть будет властью, которая к Церкви прислушивается, а не перед которым прислуживают»⁴³.

Примечания

¹ См.: Итоги. 2007. 30 июля.

² См.: <http://gazeta.mirt.ru/?2-1-717>

³ Российская газета. 2007. 7 авг.

⁴ НГ-Религии. 2007. 1 авг.

- 5 *Флоренский Павел, свящ.* Культ, религия и культура: Лекция, прочитанная 5–7 мая 1918 г. в Московской духовной академии // Богословские труды. Сб. 17. М., 1977. С. 117.
- 6 Патриарх Московский и всея Руси Алексей II. Мир на перепутье // НГ-Религии. 1999. 23 июня.
- 7 Цит. по: Благовест-Инфо. 2000. № 12.
- 8 См.: Ответы протоиерея Александра Шаргунова // Русский дом. 2004. № 6. С. 47.
- 9 См.: Все ли народы России равны?: Круглый стол «ЛГ» // Литературная газета. 2004. 23–29 июня.
- 10 Там же.
- 11 *Рорти Ричард.* Универсализм, романтизм, гуманизм. М.: РГГУ, 2004. С. 29–30.
- 12 *Альмодовар П.* «Жить надо всеми страстями и перечувствовать все» // Семь дней. 2004. 14–20 июня. С. 71.
- 13 *Бернальдо С.* Берналь сыграет и плевков на асфальте // Вечерняя Москва. 2004. 24 июня.
- 14 См.: НГ-Религии. 2009. 3 июня.
- 15 «Возражения против всякого рода лженауки, в частности астрологии, тоже должным образом не отражены в достаточной мере. Критика рекламы всяческого мракобесия, шаманов, колдунов, которым ТВ уделяет немало места, практически отсутствует на экране» (*Гинзбург В.* Вернем Россию на телеэкран! // Литературная газета. 2004. 28 янв. – 3 февр.).
- 16 Цит. по: Телепрограмма Александра Архангельского «Тем временем». Эфир 7 июня 2004. 21.40.
- 17 Цит. по: Телепрограмма «Постскриптум» с Алексеем Пушковым. Эфир 19 июня 2004. 21.00.
- 18 См.: *Павлов И.* РПЦ в контексте политической трансформации России // Диалогос: Религия и общество 2000. Альманах. М., 2001. С. 60.
- 19 *Бердяев Н.* Новое религиозное сознание и общественность. М., 1999. С. 275.
- 20 См. об этом: *Жуховицкий Л.* Верующий, но не церковный // Вечерняя Москва. 2004. 20 мая.
- 21 *Споров Б.* Кто же такой Кожин? // День литературы. 2004. Май.
- 22 *Шевелев И.* Испытание мифов // Московские новости. 21–27 мая.
- 23 *Познер В.В.* Эфир не может быть оппозиционным // Вечерняя Москва. 2004. 26 мая.
- 24 Российская культура: возрождение или перерождение?: Круглый стол «ЛГ» // Литературная газета. 2004. 26 мая – 1 июня.
- 25 *Салуцкий А.* «Времена» безвременья // Литературная газета. 2004. 26 мая – 1 июня.
- 26 См.: Независимая газета. 1993. 2 сент.
- 27 *Бибихин В.В.* Бердяев о церкви // КИФА. Издание Преображенского содружества братств. 2004. № 3 (март).
- 28 *Шеваров Д.* «Утоли зиму и огонь!» // Труд. 2004. 1 июня; Он же. Место спасения // Первое сентября. 2004. 5 июня.

- 29 Православие в школе: за и против // Вечерняя Москва. 2004. 29 янв.
- 30 *Бурлака Д.* Россия и преобразования // Диа-Логос: Религия и общество 2000. Альманах. М., 2001. С. 83.
- 31 *Ерофеев Н.* Не мир, но меч (Православие в школе: за и против) // Вечерняя Москва. 2004. 29 янв.
- 32 *Минаев С.* Православие и школа: дискуссия продолжается // Вечерняя Москва. 2004. 19 февр.
- 33 Православие и школа: дискуссия продолжается // Там же.
- 34 Цит. по: Новая газета. 2004. 29 янв. – 1 февр.
- 35 *Васюнин И.* Вопрос «кто виноват?» чужд православному // Новая газета. 2004. 29 янв. – 1 февр.
- 36 *Николаева О.* Нужно ли изучать религию в школе? и если нужно, то как? // Вечерняя Москва. 2004. 29 янв.
- 37 *Гайванов А.* Ждут ли Россию аутодафе // НГ-Религии. 2003. 4 июня.
- 38 *Кураев А., диакон.* Давайте попробуем // Труд. 2003. 9 авг.
- 39 См.: *Щипков Д.* Дебют Сергея Попова и бенефис митрополита Кирилла // НГ-Религии. 2004. 2 июня.
- 40 *Кольмагина А.* Катехизатор всея Руси // НГ-Религии. 2003. 21 мая.
- 41 Московские новости. 2006. 22–28 сент.
- 42 Там же.
- 43 Российская газета. 2007. 7 авг.

ЧАСТЬ III

*«ФМД»
как культурный
феномен:
смыслы
и символы*





Леонид Баранов.

Открытие памятника Пушкину.

2006

Музыка, которая не умирает. Достоевский как бренд, миф и клад

Полтора века русская (и мировая) культура впитывала мысли, образы, идеи Достоевского. О его влиянии на русских и зарубежных писателей XX века написана целая литература.

«Достоевский – всадник в пустыни, с одним колчаном стрел. И капает кровь, куда попадает его стрела... Достоевский живет в нас. Его музыка никогда не умрет»¹, – сказал Розанов столетие назад. Русская литература, возникшая *после* Достоевского – самое убедительное доказательство неумирания музыки Достоевского. Эта музыка звучит всегда – если звучит сама литература.

О Достоевском – в созвучиях и притяжениях, подражаниях и преодолениях, спорах и состязаниях – мне доводилось писать уже не раз². Идеи и образы Достоевского на рубеже XIX и XX столетий вдохновляли Бунина и Горького, Короленко и Волошина, Блока, Андрея Белого, Пастернака, Замятина, Булгакова, Платонова, писателей и поэтов русской эмиграции – Набокова, Г. Иванова, Ходасевича, Шмелева, Берберову и др. Его влияния не избежал – в той или иной степени – ни один из серьезных русских философов, мыслителей и писателей современности. И не только русских. Достоевский не сходит с повестки дня мировой культуры и на рубеже XX–XXI столетий.

1

Один из распространенных признаков культурной «достоевскомагии» (если оставить в стороне банальное стремление масскульта паразитировать на имени писателя, давая игорным заведениям или точкам общепита названия «Достоевский», «Братья Карамазовы», «У Свидригайлова», «Каморка Раскольниковова» и т.п. или использовать его высказывания в рекламных целях) – присуждение тому или иному национальному писателю почетного титула «наш Достоевский». Так, «японским Достоевским» давно (и заслуженно) назван Акутагава Рюноскэ³. Титул «американского Достоевского» носил писатель Сол Беллоу (Соломон Белов), получивший его за роман «Дар Гумбольдта». Бен-

гальским (индийским) Достоевским (за роман «Дом и мир») называли Рабиндраната Тагора. Есть мексиканские, испанские, даже китайские Достоевские.

Иные писатели сами производят себя в ученики и последователи Достоевского. Так, Юз Алешковский, о котором в контексте Достоевского думать как-то не принято, с гордостью заявляет: «Я не фантаст. Я реалист. Если на то пошло – последователь и ученик верный Федора Михайловича Достоевского, исповедующий принципы и возможности реализма фантастического, ибо действительность невероятна. Это настолько невероятно, что случается ежеминутно. Почти дословно цитирую. Так что никаких рациональных замыслов нет»⁴. Дословно – недословно, но смысл таков: «Ах, друг мой! – писал в 1867-м Достоевский А.Н. Майкову. – Совершенно другие я понятия имею о действительности и реализме, чем наши реалисты и критики. Мой идеализм – реальнее ихнего. Господи! Порассказать толково то, что мы все, русские, пережили в последние 10 лет в нашем духовном развитии, – да разве не закричат реалисты, что это фантазия! А между тем это исконный, настоящий реализм! Это-то и есть реализм, только глубже, а у них мелко плавает» (28, кн. 2: 329).

О своей сильнейшей тяге к Достоевскому, которая порой напоминает любовь-ненависть, особенно много говорят в Польше – хотя Польша как католическая страна ориентирована на иной «кодекс действительности», нежели Россия. «Не будем забывать, – считает польский писатель Чеслав Милош, – что два самых больших христианских праздника – Рождество и Пасха – для каждой страны значимы по-своему. В Польше самый большой праздник – Рождество, рождение невинного Младенца, который спасет мир. В России самый великий праздник – Пасха, как воскресение Человека, который встает из гроба и возвращается к новой жизни. Это ключ к совершенно новому подходу в понимании мира. Польскую литературу отличает некоторая детскость, она пытается показать, что мир в принципе добр...»⁵

Причину восхищения многих поляков русской литературой, считающих, что она самая значительная литература мира, Чеслав Милош тоже объясняет фактором Достоевского. «Лично я пережил знакомство с русской литературой, читая в Америке лекции о Достоевском. Из русских писателей я преподавал только его, потому что только он меня интересовал... в США я чувствовал себя странно, если не сказать забавно, как поляк и католик, преподающий Достоевского по-английски и толкующий его антипольское почти что умопомешательство...»⁶ Милош к тому же считает, что обращение Достоевского к национальной идее произошло после его бесед с поляками на каторге в Омске. «Простые крестьяне, убивавшие топором, говорили: мы виноваты, нам дано по за-

слугам. А поляки считали себя невиновными, они были политическими заключенными и не признавали власти царя, что приводило Достоевского в ярость». «Имперское» чувство Достоевского нравится Милошу куда меньше, чем его романы. Впрочем, даже Иосиф Бродский, друг Милоша, тоже казался писателю-поляку глубоко русским патриотом и «немного империалистом»⁷.

Достоевский с его «русской глубиной», при всей зачарованности им восточно-европейских писателей, – объект подозрений: кому нужна его глубина, если она достается слишком дорогой ценой? «Иван Карамазов возвращает билет из-за единственной слезы ребенка, но позволяет себе лгать в другом. Полагаю, – пишет Милош, – что в этом большая опасность для русской литературы. Плачут над человеком, но по отношению к другим народам готовы к жестокостям, представляя это как нечто благородное, доброе. В такой “глубине” и есть опасность “ложной чувствительности”, о которой писал Бердяев...»⁸

В 1986 году «Континент» опубликовал в переводе с английского статью Иосифа Бродского «Почему Милан Кундера несправедлив к Достоевскому». Текст Бродского стал ответом на эссе Милана Кундеры, опубликованным в книжном приложении к «New York Times». Кундера, чешский писатель и диссидент, эмигрировавший на Запад в 1975 году, автор романов «Книга смеха и забвения», «Невыносимая легкость бытия» и др., увидел в событиях 1968 года (советская оккупация Чехословакии) закономерное продолжение давней русской экспансии в Европу и стремление навязать европейцам свои национальные ценности. Ответственным за это в глазах Кундеры оказался не советский режим, а русский менталитет и его ярчайший выразитель Достоевский. Если для Европы, согласно Кундере, характерно равновесие между рациональностью и чувством, то в русском менталитете – «иное равновесие (или неуравновешенность), в котором мы и находим знаменитую загадку русской души (как ее глубину, так и ее жестокость)». Не «всечеловечность», а «вселюдоедность» присуща русскому писателю (и русскому народу), полагает Кундера.

И. Бродский, однако, напомнил чеху, что тоталитарная система в той же мере является продуктом западного рационализма, как и восточного эмоционального радикализма. Необходимо разделять понятия «русское» и «советское». Кундера, согласно Бродскому, «стремится быть европейцем более, чем сами европейцы», его представления и о европейской цивилизации, и о Достоевском являются искаженными и односторонними. Взрывы агрессии столь же характерны для Европы, как и для России, а «последняя мировая война была гражданской войной западной цивилизации»⁹. Бродивший по Европе «призрак коммунизма» осесть был вынужден на Востоке. Тем не менее этот призрак нигде

не встречал сопротивления сильнее, чем в России, начиная с «Бесов» Достоевского. В Чехии такого сопротивление было меньше. «Даже если свести романы Достоевского к тому редуцированному уровню, который предлагает Кундера, совершенно очевидно, что эти романы не о чувствах как таковых, но об иерархии чувств. Более того, чувства эти являются реакцией на высказанные мысли, большая часть которых – мысли глубоко рациональные, подобранные, между прочим, на Западе. Большинство романов Достоевского являются по сути развязками событий, начало которых имело место вне России, на Западе. Именно с Запада возвращается душевнобольным князь Мышкин; именно там поднабрался своих атеистических идей Иван Карамазов; для Верховенского младшего Запад был и источником его политического радикализма»¹⁰.

Отвечая на вопрос: «Чем вызваны постоянные повторения в ваших романах российской темы?» японский прозаик Харуки Мураками, который заслужил в России название «культового», то есть, по логике принятого словоупотребления, усиленно переводимого, читаемого и продаваемого, сказал: «В подростковом возрасте я был сильно увлечен русской литературой, и, я думаю, это, несомненно, повлияло на мое творчество. “Войну и мир” я прочел три раза, “Братьев Карамазовых” перечитывал четырежды – я и до сих пор считаю его идеальным романом. Достоевский и сейчас, причем в еще большей степени, для меня – *кумир литературы...*»¹¹

К произведениям Достоевского по-прежнему прибегают как к последнему средству – экстренно объяснить мировые катастрофы, понять свою душу в минуты безысходности, подготовиться к уходу в мир иной. Известно, что перед арестом Саддам Хусейн читал «Преступление и наказание» (книга в числе немногих была с ним в бункере), и это вызвало во всем мире новую волну интереса к русскому романисту и его сочинениям. Этот же роман читал экс-президент США перед поездкой в Россию. «Перед своим первым приездом в Москву президент Буш спешит поглубже узнать русскую душу. Готовясь к встрече с В. Путиным, Джордж попросил своего помощника по национальной безопасности Кондолизу Райс дать ему хорошую книжку хорошего русского писателя. Подумав, Кондолиза принесла своего любимого Достоевского – “Преступление и наказание”. Приученный супругой читать в постели, Джордж открывает теперь ее всякий раз перед сном»¹².

Новость номер один обросла деталями. По словам бывшего министра иностранных дел России Игоря Иванова, в ходе его встречи с Джорджем Бушем в Вашингтоне (2002) тогдашний глава Белого дома рассказал ему, что читает Достоевского, чтобы «по-настоящему прочувствовать атмосферу Санкт-Петербурга». Во время официального визита в Россию 23–26 мая 2002 года Буш посетил Москву и Петербург.

По словам Иванова, ему было «очень приятно слышать, что политик, у которого множество проблем, тем не менее находит время, чтобы приобщиться к нашей культуре, и это еще раз доказывает, какой у отечественной культуры великий потенциал». РИА «Новости» уточняло, что роман Достоевского Бушу дала советник президента США по национальной безопасности Кондолиза Райс, которая считает «Преступление и наказание» своей самой любимой книгой.

Мировые СМИ сообщали, что перед поездкой в Россию Райс дала Бушу несколько книг для того, чтобы глава Белого дома, «мог лучше узнать русскую душу». Супруга экс-президента США Лора Буш, имеющая педагогическое и библиотечное образование, тоже считает своей самой любимой книгой роман Достоевского, только не «Преступление и наказание», а «Братья Карамазовы». В 2000 году, в самый разгар предвыборной президентской гонки в США, будущая «первая леди» заявила в одном из интервью газете «Нью-Йорк таймс», что очень любила читать классическую русскую литературу во время учебы в университете Хьюстона в штате Техас. Говоря о романе Достоевского, Лора Буш сообщила, что самым запомнившимся местом в «Братьях Карамазовых» для нее была глава «Великий инквизитор», в которой Иван и Алексей Карамазовы говорили о свободе веры.

Один из самых известных современных французских интеллектуалов, чьи постоянные нападки по адресу тоталитарных обществ вызывают наибольшую полемику, Андре Глюксман, после 11 сентября 2001 года начал писать книгу «Достоевский на Манхэттене» (в 2006-м она вышла в русском переводе в издательстве «У-Фактория»). «Я бы порекомендовал ЦРУ читать Достоевского; если бы агенты этого управления прочитали романы русского писателя раньше, их было бы не так-то легко обмануть. ЦРУ недооценило своего противника. Агенты управления решили, что это лишь “сумасшедшие от Аллаха”, мистики. Из-за своего невежества они не смогли обнаружить в Бен Ладене и его сторонниках кульговость, сводившуюся к тому, что эти люди направили всю свою энергию на восстание против Запада, обучившего их, – объяснил Глюксман. – Общим пунктом для всех вооруженных нигилистов является аксиома “все дозволено”. В литературе XIX столетия, в произведениях Достоевского подобная реальность четко фиксируется в описании группы одержимых, взбесившихся. Одни герои утверждают, что они верят в Бога, другие – что нет. Но и те и другие оказываются тем не менее способными убивать и других, и себя... В своей книге я обращаюсь к теме стремления к разрушению, которое характерно для многих людей, как бедных, так и богатых. По моему мнению, литература – это единственная наука, которая может помочь справиться со злом. Читая произведения Чехова, Достоевского, Флобера, можно достичь понима-

ния этого внутреннего стремления ко злу, понимания того, что древние греки называли “помешательством насилия”. Лишь литература может проанализировать это стремление и иссушить его истоки.

По мнению Глюксмана, стертое выражение из Достоевского «Если Бога нет, то всё позволено» приобретает в современном мире первоначальный – дерзновенный и волнующий – смысл. Русский гений почувствовал язву будущего, точившую коллективное тело человечества на всем протяжении XX века. Это язва нигилизма – того, что вдохновлял Ставрогина проповедовать полярные идеи Шатову и Кириллову, а Петру Верховенскому лелеять мысль о всеобщем и тотальном разрушении. «Призрак бродит по планете, призрак нигилизма» – так Глюксман «оживляет» марксистскую фразеологию. Независимо от национальности и религии, интернационал нигилистов роет в каждой культуре пропасть, в которую под лозунгом: «Нечего терять, нечего спасать» толкает людей. Нигилизм, об опасности которого предупреждал Достоевский полтора века назад, только сейчас становится универсальным мировым недугом. Глюксман готов рассматривать персонажей «Бесов» как человеческие типы на все времена и как очевидные предтечи современных Бен Ладенов¹³. Недалекий губернатор фон Лембке понадеялся приручить Петра Верховенского и даже упрочить с его помощью свою карьеру (Петрушаде может раскрыть заговор революционеров), но коварный заговорщик знает свою пользу и обводит Лембке вокруг пальца (то есть «кидает», по современной воровской терминологии). По этой же схеме, полагает Глюксман, Аль-Каида, созданная и выращенная американской внешней разведкой, 11 сентября 2001 года «кинула» ЦРУ: знай руководство Управления сюжет «Бесов», оно не попало бы на крючок террористов.

Преподобный Иустин (Попович), великий сербский богослов (в Сербии Достоевского читают, как Евангелие), в своей книге «Достоевский о Европе и славянстве» писал: «Начиная с моих пятнадцати лет Достоевский – мой учитель. Признаюсь – и мой мучитель. Уже тогда он увлек меня и покорила своей проблематикой. Я понял, что его проблемы – это вечные проблемы человеческого духа. <...> Ему до тонкостей знакомы не только Евангелие, но и апокалипсис европейского человека. Апокалипсис со всеми его безднами, страхами и ужасами. Если на нашей планете есть что-то страшнее самого страшного, то это, без сомнения, апокалипсис европейца. Достоевский его поэтически предчувствовал и пророчески предсказал, а мы в него уже вошли»¹⁴. Это было написано в июне 1940 года, накануне Второй мировой войны. Иустин называет Достоевского печальным пророком Европы: «Его пророчества исполняются на наших глазах, и сердце обливается кровью»¹⁵. В каких-то главных пунктах эта мысль точно соприкасается с тем злом, которое теперь грозит миру и которое описал Глюксман после катастрофы в Нью-Йорке.

Как это ни парадоксально, но современная отечественная литература и культура в своем стремлении усвоить главные уроки Достоевского, доверившись его дару предвидеть историю, не торопится. Конечно, есть филология и философия, есть серьезная критика и публицистика, работающие в одном смысловом и культурном поле с «Дневником писателя» и адекватно разговаривающие о вечных вопросах. Но в последнее десятилетие возобладала тенденция облегченного (даже уцененного) отношения и к смыслам, и к символам. Впрочем, символы (слова, названия, узнаваемые цитаты) как раз остались, в них по-прежнему нуждаются, но смысла в них становится все меньше, или он искажен до неузнаваемости. Скольжение по периферии смыслового поля, цепляние за отдельные (общеизвестные и узнаваемые) атрибуты «бренда» и жонглирование ими – это и есть новая методика освоения классических авторов.

Считается, что к снижению культурных смыслов и утилизации литературных символов причастны несостоявшиеся писатели, филологи и культурологи, пошедшие в рекламный бизнес, – это они используют авторитет, имя знаменитого писателя в рекламных щитах, подтасовывая слова или подсовывая фразы, которых писатель никогда не говорил или говорил в совершенно других ситуациях и контекстах. Получается *как бы Достоевский, почти как Достоевский*, потом – *вместо Достоевского*: имитация, подмена, фантом, «архискверное подражание архискверному Достоевскому» (как говаривал В.И. Ленин про украинского писателя В. Винниченко). «Как-то незаметно мы вступили в “культуру” усвоения косвенных признаков авторитетного, – пишет современный критик. – Мы охотно примем макароны Гоголя, рулетку Достоевского (как только не неистовствует масскульт, выжимая из игровой биографии писателя все до последней капли! – Л.С.), шаль Ахматовой, – все вкусы, все слабости, более того – все пороки любимых и уважаемых нами бессмертных. Их творения представляют интерес уже не для всех. Их судьбы, их страдания, их смерти совсем никому не интересны, если не содержат в себе чего-то “скандального” вроде нетрадиционной ориентации или самоубийства. Ведь скандалы тоже хорошо продаются. Но вот кем оказываются выставлены те, на кого эти рекламные приёмы с использованием культурных авторитетов рассчитаны?»¹⁶

Как фальшивый «отечественный» аспирин, то есть лекарство-пустышка без лечебного вещества (или с минимальным его количеством), стоящий много дешевле, чем его полноценный зарубежный аналог, так и символы из Достоевского, лишённые смыслов, обрушиваются на читателя, кино- и телезрителя. Писатель и его творчество пре-

вращаются в актуальный литературно-социальный миф и опознаются по мотивам и приемам. Особенно «везет» Раскольникову. В 2006 году на экраны вышел фильм Ф. Янковского «Меченосец», который был назван режиссером драмой (хотя в нем нет ни характеров, ни судеб). В ладони главного героя затаился меч невиданной силы и размера. Из чувства справедливости и святого мщения (родную мать избивает сожитель) герой рубит нехорошего человека в куски. А дальше идет по жизни, оставляя за собой кровавый фарш из порубленных мечом обидчиков и просто сомнительных личностей. При этом не герой, Меченосец Саша, владеет мечом, а меч владеет им, и избавиться от своего «таланта» ему невозможно. Но и никаких рефлексий в виде мук совести, переживания он, в отличие от Раскольникова, не испытывает – не то что из-за чужой старухи, но и из-за родного отца, который тоже попался под горячую руку (с мечом в ладони): отец не платил алиментов. Что уж говорить про сокамерников – здесь сплошная расчлененка... Зрители, которые не забыли про категории добра и зла, смотрят на вакханалию крови с большим недоумением. Но эстетика и мораль фильма содержат одно объяснение: ныне время жатвы, сенокос.

Почему от бездонного колодца – русской классики – так боятся отойти интеллектуально робкие, нравственно незрелые художники кино и театра, а также современные литературные подражатели? Почему без усталости черпают из него, творя свои сочинения и разрабатывая свои версии «по мотивам»? Почему столько убийц и душегубов на экране и на страницах романов? Почему вообще произошли эти убийства, тупо задуманные (или вообще случившиеся спонтанно, «как дыхание»), грубо сработанные (убийцы не заботятся ни об алиби, ни о заматывании следов), легко раскрываемые (пойманный убийца рассказывает обо всем охотно, подробно, без сожаления, страха и раскаяния)? Никого не корчит от боли, никто не впадает в депрессию, никому и в голову не приходит каяться. Современный кинематограф «про убийства и убийц», где весь криминал вершится механично, бездушно, автоматически, конечно, «близок» к Достоевскому, у которого уголовщина почти в каждом романе. Но нынешние киношные убийцы бесчеловечно спокойны; чувство душевной боли от них так же далеко, как и ощущение ужаса и вины. Никаких рефлексий и сомнений. «Мальчики кровавые в глазах» не мелькают, бессонница не мучает, видения не досаждают: трезвый холодный ум, четкие действия, легкое настроение. Убил, а потом поел и пошел спать.

Но... «Но герои Достоевского отнюдь не мертвы и не тупы, они трепещут, мучаются, им открываются бездны, – пишет В. Новодворская, рецензируя фильм К. Серебренникова «Изображая жертву». – Они платят за свои деяния даже не каторгой, не острогом (недаром Порфирий Петрович говорит, что не посадит Раскольникова в острог “на покой”).

Они платят адскими муками, рассудком, жизнью. Ставрогин, толкнувший Федьку Каторжного на убийство своей безумной жены и ее мерзкого брата, капитана Лебядкина, вешается. Рогожин, зарезавший Настасью Филипповну, сходит с ума. Князь Мышкин, не сумевший спасти ни одного из персонажей “Идиота”, опять впадает в слабоумие. Настасья Филипповна платит жизнью за соблазн, гордыню и грехопадение. Раскольников, убив двух старушек, проходит через страшные терзания духа, звонит в звоночек роковой квартиры, сам на себя доносит и идет на каторгу. Нет у Достоевского развязок: “они жили долго и счастливо и умерли в один день”. Его герои платят сполна еще в земной жизни. Они много думают о Боге, их терзания – это муки живой совести, свидетельство самых высоких идеалов, которые они обрели в жизненной грязи. Над житейской суетой, грязью, скверной и преступлением земного беззакония героям Достоевского (и всей русской классики, и даже не только русской) сияет немеркнущий свет. “Если нет Бога, то какой же я штабс-капитан?” – это не единственная угроза. Если Бога нет, то и человека, выходит, нет. А есть тупой автомат без человеческого разума и человеческий эмоций»¹⁷.

Современная литература, замечает критик (увы, В. Новодворскую заботят только уголовные убийства, на «святой террор», как увидим далее, она аналогию с Достоевским не распространяет), «ужасна тем, что в ней нет ни третьего, ни четвертого, ни пятого измерения, что ее герои не верят ни во что и у них нет бессмертной души. Нет Бога, нет человека, нет идеала, нет смысла жизни, нет культуры, нет человеческого общества. Все ушло на уровень простейших, к инфузориям... Смерть у Серебрянникова немотивированна и тем особенно страшна. А свободное падение продолжается вечно, потому что без Идеала и Истины нет ни раскаяния, ни искупления»¹⁸. Добавим к этому, что Достоевский, работая над «Преступлением и наказанием», писал в черновых материалах: «ГЛАВНАЯ АНАТОМИЯ РОМАНА. Непременно поставить ход дела на настоящую точку и уничтожить неопределенность, т. е. *так или так* объяснить всё убийство и поставить его характер и отношения ясно» (7: 141–142). Современная массовая литература («экшн») поступает ровно наоборот: она уничтожает всякую определенность мотивов и объяснений, или предлагает объяснения примитивные, элементарные: захотелось, было скучно, от нечего делать и т. п.

Преступления без наказания. Кровь без совести. Убийцы без раскаяния. Герои, не задающие себе вопросов. Люди, которых Бог не «мучит» и которым «мысль разрешить» не надо – ни в принципе, ни в своем конкретном случае. Человеческая мелкота и мелкотравчатость, не ведающая, что значит разлад с собой. Низкий уровень разговора, отсутствие идей и даже понятий. Сниженная планка тем и проблем: глобальные во-

просы – жизнь, смерть, смысл – идут по рубрике «папино кино». Если тебя невзначай убили – тебе просто не повезло, «ничего личного». Кого из преступников, кто сегодня стал героем дня и героем экрана, волнуют страдания бедного студента Родиона Раскольникова?

В неотвратимость наказания никто не верит – кроме, кажется, служебной собаки Мухтара (Мухи), романтического пса, «почти человека», из бесконечного сериала, названного милым собачьим именем, и это понятно, ибо герои-люди безлики. Справедливость – понятие, столь же стародавнее, как и муки совести. «Лох», – сказали бы Роде его товарищи по ремеслу. Или «лузер». Закономерный итог развития массовой культуры, которая катком проходит по личности и нивелирует ее. Никакой трагической изнанки, никакого душевного подполья; все просто, как пятка. Шевеление пальцев, а не мозгов. Шелест купюр и вечная охота за серебристым кейсом («верни бабки, ублюдок») – лейтмотив нынешнего кинематографа, начиная от голливудской «Миссия невыполнима» с ее высокими технологиями, паролками из книги Иова и заветной суммой в десять миллионов долларов, за которую продают оптом весь список агентов по Восточной Европе, и кончая тупым доморощенным тамбовским бандитством. Качество сыска (в сериалах последнего времени) как будто улучшается, но человеческие качества преступников, маньяков, серийных убийц и их мотивы неуклонно снижаются. Кажется, что они уже и не люди вовсе.

Понятно, почему на фоне *таких* убийц Багров («Брат-2») становится народным героем, а фильм – культовым: Данила, недавний разведчик спецназа, воевавший в Чечне, схватывается с убийцами в дорожных пиджаках, с корыстными растлителями и мерзавцами, денежными мешками, выступает мстителем за боевого товарища, восстанавливает справедливость – так, как он ее понимает. «В чем сила, брат?» – риторически спрашивает он старшего брата, уверенного, что в деньгах вся сила мира. «Деньги правят миром, и сильнее тот, у кого их больше». «*Не в деньгах сила, а в правде*», – говорит Данила, и эту максиму не смог выговорить ни один герой современного кинематографа, да и современной литературы. Выговорить так, чтобы сказанное было убедительно и достоверно. «Вот скажи мне, американец, – обращается Данила к негодяю мистеру Менису, – в чем сила? Разве в деньгах? Вот и брат говорит, что в деньгах. У кого правда, тот и сильнее. Ты обманул кого-то, и что, сильнее стал? Нет. Потому что обманул. А тот, кого ты обманул, стал сильнее, потому что за ним правда».

Абсолютное большинство зрителей сочувствует Даниле, солидарны с ним, и с этим трудно что-либо поделать. «Русские на войне своих не бросают». «Я узнал, что у меня / Есть огромная семья... Это Родина моя, / Всех люблю на свете я». «Поехали домой (то есть в Россию, из

Америки. – Л.С.), *там хорошо*». «Он брат мой». «Русские не сдаются». «– Вы гангстеры? – Нет, мы русские». «Мальчик, ты не понял, водочки нам принеси, мы домой летим». Нигде русская тема не звучит столь обжигающе, лихо, пугающе, простодушно, лирично, как в этом фильме. Завораживающий герой, который будто мстит сразу за всех, кого обманули и ограбили, предали и убили. Мрачная сказка о русском богатыре XXI века, который в одиночку разметал всю погань человеческую, и всех недочеловеков. «Здесь вообще всё *просто так*, кроме денег», – говорит подруга Данилы, проститутка Даша об Америке и ее пресловутом «How are you?», но кажется, что обо всем мире. Микроб расправы («Народной расправы»!) беспощаден и неумолим, как чума. Но убийца и блудница – эта вечная символическая пара – выступает в «Брате-2» в старой по форме, но в новой по содержанию роли. Абсолютный успех фильма – в страстной тоске массового зрителя по правде и справедливости. Страстной, но неутоленной. Фильм-симптом, фильм-предупреждение.

3

В либеральной и демократической критике и беллетристике середины XIX века широкое хождение получила формула «среда заела» как объяснение причин, способствующих трагическому прозябанию «лишних людей», толкающих их в объятия порока или преступления. Достоевский, в противовес этой формуле, утверждал мысль об активности человеческой природы, о ее способности противиться влиянию среды. В «Преступлении и наказании» Разумихин, в присутствии следователя Порфирия Петровича говорит Раскольникову: «Началось с воззрения социалистов. Известно воззрение: преступление есть протест против ненормальности социального устройства – и только, и ничего больше, и никаких причин больше не допускается, – и ничего!.. Я тебе книжки ихние покажу: всё у них потому, что “среда заела”, – и ничего больше! Любимая фраза! Отсюда прямо, что если общество устроить нормально, то разом и все преступления исчезнут, так как не для чего будет протестовать, и все в один миг станут праведными. Натура не берется в расчет, натура изгоняется, природы не полагается! у них не человечество, развившись историческим, *живым* путем до конца, само собою обратится наконец в нормальное общество, а, напротив, социальная система, выйдя из какой-нибудь математической головы, тотчас же и устроит всё человечество и в один миг сделает его праведным и безгрешным, раньше всякого *живого* процесса, без всякого исторического и живого пути! Оттого-то они так инстинктивно и не любят историю: “безобразия одни в ней да глупости” – и всё одною только глупостью объясняется! Отто-

го так и не любят *живого* процесса жизни: не надо *живой души*! Живая душа жизни потребует, живая душа не послушается механики, живая душа подозрительна, живая душа ретроградна! а тут хоть и мертвечинкой припахивает, из каучука сделать можно, – зато не живая, зато без воли, зато рабская, не взбунтуется!» (6: 196–197)

В письме к В.А. Алексееву (1876) Достоевский уже «от себя» пишет то же самое: «Нынешний *социализм* в Европе, да и у нас, везде устраняет Христа и хлопочет прежде всего о хлебе, призывает науку и утверждает, что причиною всех бедствий человеческих одно – *нищета*, борьба за существование, “среда заела”. На это Христос отвечал: «не одним хлебом бывает жив человек», – то есть сказал аксиому и о духовном происхождении человека. Дьяволова идея могла подходить только к человеку-скоту, Христос же знал, что хлебом одним не оживишь человека. Если при том не будет жизни духовной, идеала Красоты, то затоскует человек, умрет, с ума сойдет, убьет себя или пустится в языческие фантазии. А так как Христос в Себе и в Слове своем нес идеал Красоты, то и решил: лучше вселить в души идеал Красоты; имея его в душе, все станут один другому братьями и тогда, конечно, работая друг на друга, будут и богаты. Тогда как дай им хлеба, и они от скуки станут, пожалуй, врагами друг другу.

Но если дать и Красоту и Хлеб вместе? Тогда будет отнят у человека *труд, личность, самопожертвование своим добром ради ближнего* – одним словом, отнята вся жизнь, идеал жизни. И потому лучше возвестить один свет духовный» (29, кн. 2: 85).

Здесь – философия личности, концепция человека как существа духовного, то, что именуется антропологией Достоевского. Человек в окружении – ловушке – смыслов и целей своей жизни. Здесь огненное кольцо, в котором оказывается преступное сознание: почему убил? из-за чего? как докатился? в чем первопричина? Докопаться до истоков преступного сознания и поведения – значит, понять мотив преступления и раскрыть его. Ведь в конце концов задача писателя, описывающего преступление и преступника, не только раскрыть дело и его подоплеку, но и – как максимум – восстановить душу погибшего человека, поставить его на путь истинной, живой жизни. Заблуждения гордого ума, хитрые уловки совести, соблазн проверить идею, преступление-эксперимент, бунт сердца, противящегося преступным решениям разума, явка с повинной, справедливое наказание, долгое и мучительное исправление, раскаяние, надежда на воскрешение – вот цепочка Достоевского, протянутая в истории с Раскольниковым.

Но писатель отчетливо сознавал: не все так линейно, *не все так обязательно* – исправления (как и раскаяния) может и не случиться. Он набрасывал предисловие к «Подростку»: «Только я один вывел трагизм подполья, состоящий в страдании, в самоказни, в сознании лучшего

и в невозможности достичь его и, главное, в ярком убеждении этих несчастных, что и все таковы, а стало быть, не стоит и исправляться! Что может поддержать исправляющихся? Награда, вера? Награды – не от кого! Веры – не в кого! Еще шаг отсюда, и вот крайний разврат, преступление (убийство). Тайна» (16: 329). После «Бесов» он убеждался: «Болконский исправился при виде того, как отрезали ногу у Анатоля, и мы все плакали над этим исправлением, но настоящий подпольный не исправился бы» (16: 330).

Очевидно, сегодняшняя культурная ситуация подразумевает именно этот вариант – подполье без трагизма, самоказни и страдания; без убеждений и представлений о лучшем. Ситуация, когда роковой (и бесповоротный) шаг в крайний разврат, в преступление и в убийство уже сделан и не выглядит трагедией – преступное подполье стало едва ли не нормой существования. Предвидел Достоевский и общественную реакцию на такой исход: «Факты. Проходят мимо. Не замечают. *Нет граждан*, и ничто не хочет поднатужиться и заставить себя думать и замечать» (16: 329). Современная массовая литература (беллетристика, романистика) воспроизводит именно эту схему, сопрягая преступность, ставшую привычной, убийц, превратившихся в привычных персонажей, в неотъемлемый событийный фон, с безразличием и слепотой общества, которое ничего не замечает и проходит мимо. «*Нет граждан*» – диагноз, который поставил Достоевский нашему обществу и нашему времени сто тридцать лет назад.

«Можно не понимать писателя по двум причинам – или потому, что он пишет неясно, или через собственную умственную несложность. Я полагаю, что вы не понимаете по сей последней причине» (16: 407). Кажется, это обращение Достоевского адресовано дню сегодняшнему, его *культурной и умственной несложности*. Современная литература (а вместе с ней и кинематограф), кажется, намеренно упрощают *код истории, а внутри нее и код преступности*, облегчают «биографию» сознания, едва держась за внешнюю биографию героя. Деградирует, как сказали бы криминалисты, объяснительная и доказательная база дела, необходимая в реальном уголовном расследовании, но еще более важная в художественном произведении.

Обращусь к Б. Акунину и его «классическому криминальному роману» (жанровое определение автора) «Статский советник», имевшему громкий кинематографический эквивалент. 1891 год, царствование Александра III, два десятилетия спустя после нечаевского процесса, десятилетие спустя после гибели от рук бомбистов императора Александра II. Об опасности превращения террористов как специального отряда, который только охраняет, оберегает партию революции от ударов врагов, защищается (так говорили о себе землевольцы в конце 1870-х), в *корпорацию*

убийц, в фабрику тайных казней предупреждали друг друга едва ли не все участники русского революционного движения. Они чувствовали ловушку истории, роковую неизбежность – убийство ради высокой цели почему-то неизбежно оборачивается убийством для целей низких, а потом и убийством ради убийства. Эту логику, вслед за Достоевским, описал Ю. Трифонов в романе «Нетерпение». Мы надеемся этой казнью, – говорит Андрей Желябов Вере Фигнер, – приобрести *некую власть* над историей, повернуть колесо российской фортуны. Убиваем ради блага России! в этот-то вся трагическая сложность: мечтаем о мирном процветании, а вынуждены убивать, стремимся к земскому собору, чтоб убеждать словами, а сами готовим снаряды, чтоб убеждать динамитом»¹⁹.

В «Статском советнике», согласно историческим аналогам (созданной Азефом Боевой организации), свирепствует «Боевая группа» («БГ»), объявившая войну царским генералам и жандармам. Господа нигилисты исполнены чувства мщения, вынашивают и приводят в исполнение кровавые планы. Русская Аль-Каида, безупречные герои террора. Но кто они, Бен Ладены старого образца? Григорий Гринберг, кличка Грин, взятая в честь Игнатия Гриневицкого, цареубийцы. Стальной дисциплины человек, прошедший Акатуйский каторжный острог, где закалились его воля и выдержка. До шестнадцати лет сын аптекаря-еврея был примерным мальчиком, обычным гимназистом, отличником, любившим Некрасова и Лермонтова. Но: семью в числе других еврейских семей выслали за черту оседлости, и гимназист с родителями оказывается в маленьком южном городе, где после известия об убийстве царя-императора начинается еврейский погром. «Пожгли синагогу, пошарили по хатам, кому ребра помяли, кого за пейсы оттащали, а к вечеру, когда в шинкарском погребе отыскивались припрятанные бочки с вином, кое-кто из парней и до жидовских девок добрался»²⁰. Погромщики разнесли отцову аптеку, до смерти напугали родителей, учинили погром в доме, разорвали книги, порубили соседей. «Тупость и злоба мира требовали ответного действия, и Грин знал, что выбора у него нет»: с черным тяжелым револьвером он пошел на погромщиков и выстрелил в толпу пять раз. Так в двадцать лет он стал мстителем, потом каторжником, потом революционером и террористом. Типичная жертва обстоятельств, продукт тупой и злобной среды. Судьба стального убийцы и террориста обстоятельно (с нарочитыми преувеличениями) мотивирована – по известному стандарту: «преступление есть протест против ненормальности социального устройства – и только, и ничего больше, и никаких причин больше не допускается». С момента первого выстрела террор был необходим Грину «как воздух, как глоток воды в пустыне» (55).

Среди членов «БГ» – Николай Селезнев, по кличке Рахмет, уланский корнет, который подался в революционеры от жажды приключений,

из острого любопытства. «Молодой офицер на смотре заступился перед полковником за своего солдата, в ответ на площадную брань вызвал командира на дуэль, а когда оскорбитель вызова не принял, застрелил его на глазах всего полка» (49); но застрелил не по чувству чести, а потому, что все смотрели. Знакомое клише: барин, пошедший в революцию по необыкновенной способности к преступлению. Он плеснет в лицо врага серной кислотой, просто чтобы поглядеть, как из живого человека вытекают глаза, отваливаются нос и губы (49). Семнадцатилетний мальчик, сын повешенного цареубийцы и народоволки, умершей в каземате от протестной голодовки, воспитанник Грина, по кличке Снегирь. «Рожден от невенчаных родителей, в церкви не крещен, воспитан товарищами отца и матери. Первый свободный человек будущей свободной России. Без мусора в голове, без мути в душе. Когда-нибудь подобные мальчишки станут самыми обычными, но сейчас он был один такой, ценнейший продукт мучительной эволюции» (52). Барышня-графиня, единственная дочь графа Добринского, пошедшая в революцию от несчастной любви к товарищу детства, революционеру, связанная «БГ», по кличке Игла.

Однако клише Акунина работают в романе против его героических персонажей. Обиженный жизнью террорист, старатель революции, сначала убивает предателя Рахмета (вольно же было держать в группе хладнокровного убийцу, которым движет одно любопытство!), потом впутывается в разбойный «экс» (партии ведь нужны деньги!), идя на дело вместе с безжалостным «специалистом» уголовником Козырем, с которым они убивают ни в чем не повинных курьеров-экспедиторов, а потом режут друг друга из-за неверной потаскушки Жюли, предавшей по очереди их всех, работающей и на охранку, и на жандармское управление, и на революционеров. Все предают всех, на всех кровь и грязь, в которой тонут идеи, принципы, убеждения, цели. И даже такой асс террора, как Грин, заглатывает крючок некоего доброхота «ТГ» и становится простым исполнителем его замыслов. Загадочный «ТГ» оказывается – кто бы мог подумать! – главным сыскарем, присланным из Петербурга. Князь Пожарский, фигура демоническая, inferнальная и невероятно банальная: столбовой дворянин, слуга престола, ради своей карьеры убирает руками террористов всех своих соперников по служебной лестнице. Грину и не снилась подобная степень негодяйства и человеческого падения, которую демонстрирует ему сиятельный князь, Рюрикович, потомок варягов. Он и есть «третий радующийся», на латыни «терциус гауденс» – именно так раскрывается аббревиатура «ТГ»: «Полиция истребляет вас, вы истребляете тех, кто мешает мне, а я смотрю на ваши забавы и радуюсь» (274).

«Достоевский на Манхэттене», серия вторая, *московская*, сказал бы, наверное, Андре Глюксман об этом «классическом криминальном ро-

мане». Сделанный по лекалам Достоевского, «Статский советник» воспроизводит все ту же схему: симбиоз власти и террора, их потребность друг в друге. «Ей почему-то казалось, – говорит Хроникер о честолюбивой губернаторской супруге Юлии фон Лембке, – что в губернии непременно укрывается государственный заговор. Петр Степанович своим молчанием в одних случаях и намеками в других способствовал укоренению ее странной идеи. Она же воображала его в связях со всем, что есть в России революционного, но в то же время ей преданным до обожания. Открытие заговора, благодарность из Петербурга, карьера впереди, воздействие “лаской” на молодежь для удержания ее на краю, – всё это вполне уживалось в фантастической ее голове. Ведь спасла же она, покорила же она Петра Степановича (в этом она была почему-то неотразимо уверена), спасет и других. Никто, никто из них не погибнет, она спасет их всех; она их рассортирует; она так о них доложит; она поступит в видах высшей справедливости, и даже, может быть, история и весь русский либерализм благословят ее имя; а заговор всё-таки будет открыт. Все выгоды разом» (10: 268).

У Акунина акценты подлости и корысти резко смещены в сторону власти. Акунин поставил России безоговорочный диагноз: всех хороших – умных, смелых – она вытесняет в оппозицию. Плохих привлекает в качестве опор власти. Циник и мерзавец Пожарский с удовольствием объясняет Фандорину (потомку крестоносцев): «“БГ” – мое приемное дитя. Я выпестовал эту организацию, обеспечил ей имя и репутацию. Она дала мне уже всё, что могла, теперь пришло время поставить в этой истории точку. Сегодня я уничтожу Грина. Слава, которую я создал этому несгибаемому господину, поможет мне подняться еще на несколько ступеней, приблизит меня к конечной цели» (269).

На фоне такой власти группа террора – это уже не Петруши Верховенские; это истинные герои (так что зря Достоевский клеветал на революционную молодежь!), которых опустила, запутала, использовала и уничтожила мерзкая российская власть. «Жил на свете рыцарь бедный / По прозванью Храбрый Грин» (48): для своего романтического героя сочинитель Б.А. не пожалел даже бессмертных стихов, пусть и переиначенных. Узнав о роли Пожарского, Грин воистину сокрушен: «Даже во время еврейского погрома Грин не чувствовал себя таким несчастным, как в эти минуты, перечеркнувшие весь смысл трудной, изобиловавшей жертвами борьбы. Как жить дальше – вот над этим теперь следовало думать, и он знал, что найти ответ будет непросто» (276).

Жить и думать ему не придется, он погибнет как герой, утянув за собой и Пожарского, но так и не узнает всю глубину падения власти. Ведь даже великий князь, покровитель Пожарского, ставший генерал-губернатором на Москве (а Пожарский, если бы не погиб вместе с Гри-

ном и Жюли, взорванный Иглой, был бы его правой рукой), даже его высочество, уже оповещенный Фандориным о роли Пожарского в деле «БГ», говорит: «Я, кстати, совершенно не сержусь на Глеба (Пожарского. – Л.С.) за его шалости. По-своему они даже остроумны. Я вообще очень многое позволяю тем, кто мне искренне предан...» Он рвет рапорт Фандорина и велит забыть историю: «Ничего этого не было. Престиж власти дороже всего, в том числе и истины. Это тебе еще предстоит усвоить» (281). По идеологии «Статского советника» российская власть на всех ее уровнях заведомо хуже самого отвратительного убийцы, самого безжалостного террориста, и, стало быть, террор оправдан. Что называется, привет Аль-Каиде. Уроки «Бесов» не то что не усвоены, но перечеркнуты жирным крестом.

Показательно, что Н. Михалков, выступивший в роли генерального продюсера и художественного руководителя одноименного фильма (2005), снятого его кинокомпанией (режиссер – Ф. Янковский), сам сыграл авантюрного кукловода «БГ» Пожарского (живописная харизматичность прикрывает бесовскую суть). Согласно своему видению проблемы, Михалков скорректировал монологи своего персонажа, лишив их запредельного цинизма, и добился от сценариста Б.А. иного финала. То есть обиженный на власть Фандорин все же остается служить государству (в романе он уходит в отставку, выбирая «частную жизнь»). Ради кинематографа и связанных с ним радостей, сценарист-романист согласился на радикальную перемену: то есть «отдал» конфуцианца Фандорина гнусной, циничной системе. Хотя, по версии Б. Акунина, только Фандорин один и знает всеобщий неотменимый закон: «Зло злом искореняя...» (270), то есть зло пожирает само себя (или, по версии Ивана Карамазова, «один гад съест другую гадину, обоим туда и дорога!»). «Этот Фандорин, – размышляет кинокритик, – не ищет, “где оскорбленному есть чувству уголок”, не уходит в частный сыск, а благоразумно слушается совета старика-слуги и соглашается принять пост обер-полицмейстера. Если у Акунина он больше идеалист, то в фильме – скорее, коллаборационист, стремящийся в клан хозяев. К кормушке. Интеллектуал, но не интеллигент. И вполне логичный в поступках пустоглазый прагматик»²¹. Тень такого Фандорина разоблачительно падает и на автора сценария...

4

Синдром «б'акунинской» зависимости (спор-диалог с Достоевским, начатый еще в «Турецком гамбите») амбициозен и простирается весьма далеко. Собственно, беллетрист Б. Акунин этого и не скрывает. «Лично для меня Достоевский актуален тем, что меня тоже волнуют занимаю-

щие его проблемы. Этот автор берedit мне мозг и душу. А еще я, как кот от валерьянки, пьянею от его языка»²², – признается он интервьюеру. Кажется, однако, что Достоевский, который берedit душу, сильно ему мешает, так что, пустившись в новое приключение с ФМД, автор намерен заменить его... собой: вместо ФМД – «Ф.М.» работы «Б.А.». «В “Ф.М.”, – замечает интервьюер о новом романе Акунина, – сильно просветительское начало – возникает желание прочитать или перечитать “Преступление и наказание”. Но результат такого обращения к первоисточнику непредсказуем: кому-то после “Ф.М.” “Преступление...” покажется тяжелым и занудным, кто-то может обидеться на вас за фамильярное обращение с классикой – такое уже случалось с другими вашими произведениями. А на какой результат рассчитываете вы?» Автор «Ф.М.» скромно отвечает: «Хуже, чем есть, не будет. Сейчас этот роман у большинства наших соотечественников ассоциируется лишь с двойкой по литературе. Только и помнят, что какой-то Раскольников какую-то старуху топором тюкнул. Я очень рассчитываю на то, что многие прочтут или перечтут “Преступление и наказание”. Для того придумана целая азартная игра: в моей книге спрятан настоящий бриллиантовый перстень. Старинный, баснословно дорогой. Чтобы получить его, нужно первым разгадать код, а ключ к коду надо поискать у Достоевского. Пусть знают: чтение обогащает»²³.

Здесь уместно процитировать фрагмент критической статьи А. Латыниной об «ФМ»-зависимости Акунина (при том, что на вопрос, чем Достоевский актуален сегодня, Акунин отвечает «Труду»: «Не знаю. Не думал об этом»²⁴). «Русская классика – это питательная среда романов Акунина. Его герои живут не в XIX веке, воссозданном по историческим источникам, а в мире Достоевского, Тургенева, Лескова. Узнаваемость персонажей, словно сошедших со страниц известных книг, – принципиальная черта его стиля. Эраст Фандорин потому и пришелся многим по душе, что был помещен в привычный литературный мир. Подобная игра с классикой рассчитана на читательское соучастие, но автор милосерден и к тем, кто не ведает о правилах игры. Лучше, если читатель романа “Пелагия и Красный петух” помнит “Поэму о Великом инквизиторе” Достоевского и способен оценить вопрос обер-прокурора Святейшего синода Константина Победина нелепому сектанту: “Зачем ты пришел мне мешать?” – тот буквально повторяет вопрос Великого инквизитора Христу. Но роман будет понятен и тем, кто “Братьев Карамазовых” не читал, о десятках последующих литературно-философских толкований Поэмы не ведал, о письме Достоевского к Константину Победоносцеву с объяснением ее смысла никогда не слышал, да и вообще не сопоставит Константина Победина ни с Победоносцевым, ни с Великим инквизитором. Читатель, знакомый с Достоевским, лучше оценит совершенно

ставрогинский поступок актера Терпсихорова в романе “Пелагия и Черный монах”, прыгнувшего, рискуя жизнью, с обрыва, чтобы спасти котенка, – а потом равнодушно швыряющего его к ногам маленькой девочки: сумасшедший до того вжился в роль Николая Ставрогина, что играет ее в жизни. Психиатр Донат Саввич Коровин, любопытное сочетание наследника миллионного купеческого состояния и фанатика медицины, поведение своего пациента объясняет. А вот что другая дама в том же романе, эффектно появляющаяся на коне, тоже играет роковую героиню Достоевского, что-то вроде Настасьи Филипповны или Лизы Тушиной (не оттуда ли и конь?), – никак не сказано. Читателю, помнящему обстоятельства жизни Достоевского, мучительный роман с Аполлинарией Суловой и вереницу его непредсказуемых, страстных и гордых героинь, забавно наблюдать, как Акунин иронически снижает этот излюбленный тип Достоевского. Но тем, кто никаких аллюзий здесь не увидит, роман все равно понятен. Читатель неподготовленный просто лишается дополнительных коннотаций, которые и составляют для многих главную прелесть чтения Акунина. Но никто ведь его к этой игре не принуждает»²⁵.

«Ф.М.», двухтомный роман Акунина, изданный неслыханным ныне тиражом 300 000 экземпляров, уже прямо о Достоевском, вокруг Достоевского, с его портретом на обложке (работы Перова)²⁶. Интрига «Ф.М.» – рукопись, написанная якобы Достоевским, якобы по заказу коварного и корыстного издателя Ф.Т. Стелловского, якобы «найденная» неким доктором филологии, достоевсковедом-фанатиком (он, конечно же, законсервированное чудовище, извращенец и монстр), якобы в полицейских архивах 1865 года. Неизвестный текст Достоевского под названием «Теорийка» – якобы первоначальный вариант «Преступления и наказания», выполненный в формате детектива, с горой трупов и морем крови. Все знакомые герои на месте и в своих ролях – Раскольников с его «теоретической» статьей; следователь Порфирий Петрович (как и Фандорины, он тоже из захудалых немцев фон Дор(е)нов, только стал не Фандориным, а Федориным; Соня и остальные Мармеладовы, Лужин, Разумихин, Свидригайлов («главный убивец»). Рукопись, предусмотрительно разделенная на четыре части, сразу же становится объектом вожделения отвратительных, алчных, ни перед чем не останавливающихся персонажей; ради обладания «Теориейкой» они готовы на все и идут до конца. Зачем им Достоевский?

Рукопись – дорогой, но весьма опасный товар, увлекающий охотников в рискованные, а то и в смертельные приключения. За нее готовы платить сотни тысяч, миллионы долларов (охотники специально следят за аукционами). Аппетиты у всех волчьи, в глазах мерцает «бабло», доллары «снутся и мерещатся». Неизвестный Достоевский – это прежде всего выгодная инвестиция; «культурно-историческое сокровище»

должно преобразить жизнь его обладателя. «Я буду издавать повесть сам, – мечтает главный охотник за «Теориейкой», депутат Государственный думы Сивуха (по ходу дела окажется, что он потомок и наследник того самого Стелловского), организатор охоты, – буду продавать права во все страны, буду давать интервью, вести переговоры об экранизациях и театральных постановках. Это мировая сенсация, вне зависимости от литературных достоинств произведения» (Т. 2: 191–192).

Желание стать пожизненным (и завещать наследнику) издателем-продюсером текста Достоевского побуждает депутата (и его сумасшедшего сына, изощенного, изобретательного убийцу) нанять частного сыщика, Николаса Фандорина, внука знаменитого Эраста Петровича. Он и разыскивает рукопись, а также старинный перстень с бриллиантом, якобы подаренный писателю неким П.П. (Порфирием Петровичем). Николасу приходится иметь дело с лютыми негодьями, наркоманами, человеческим отребьем, по ходу дела разгадывать шарады, ребусы, загадки и вообще вариться в густом вареве из цитат, аллюзий, намеков, сравнений из Достоевского, подложных писем (перемешанных с подлинными). Игра в Достоевского с картинками (Акунин иллюстрирует и свои «мысли», и места действия, и реквизит романа) навязчива, бессмысленна, но крайне амбициозна.

Ведь на самом деле это за его, акунинской *подделкой* гоняются депутаты, коллекционеры, литагенты. Это ее собирается издавать и экранизировать дальновидный Сивуха-Стелловский. Это она объявляется культурно-историческим сокровищем, которым можно торговать со всеми странами. Это она должна стать мировой сенсацией, «вне зависимости от литературных достоинств». Здесь давняя идея автора «Ф.М.» – Акунин *вместо* Достоевского – выступает как уже готовый и осуществленный (овеществленный) проект. Кому нужно это длинное, тяжелое (никто не читает, ничего, кроме топора Раскольниковова, не помнит) повествование-первоисточник? А здесь, в «Ф.М.», такая забавная смесь: загадки, шарады, перстни, оборотни, депутаты, сексопаты, Рублевка, путаны, трансвеститы, реанимобили с убийцами, ниньзи, аквариумы с акулами и трупы – трупов на порядок больше, чем в оригинале. Проект Акунина – двойная подмена: кровь льется за «ништяк», за «фуфло» (как сказал бы, знай он правду, Рулет, наркоман, «заточенный» под Раскольниковова). Экспертиза рукописи, выполненная специалисткой по архивам Достоевского (отвратительной старухой, жадной до денег, уволенной из архива за воровство документов) и давшей утвердительное заключение о ее подлинности, – ложна, как ложна и личность экспертши, вот уже много лет тайно живущей под именем своей покойной сестры-близняшки, чье место в жизни она заняла. В «Ф.М.» каждый – самозванец, каждый хочет казаться не тем, кто он есть, занять чужое место, жить под чужой личиной.

Но насколько оправданна претензия Акунина, пишущего под Достоевского и играющего в Достоевского? Надо отдать должное критике, все же не потерявшей голову от сайтов с шарадами и прочими манками. «Персонажи Акунина плоски и статичны, даже если они носят имена героев Достоевского и время от времени произносят слова из великого романа. Не получается у Акунина объяснить, почему Порфирий Петрович начинает подозревать Раскольникова, не получается показать, что там на душе у Свидригайлова, почему он изобрел свою завиральную теорию, согласно которой уничтожением пары-тройки мерзавцев, “смертоносных бацилл”, можно искупить собственные грехи. Играть с Достоевским получается, а вот писать под Достоевского – никак» (А. Латынина). Может быть, осознав провал, Акунин обрывает рукопись единственной честной на весь «Ф.М.» фразой: «Здесь, на середине предложения, повесть заканчивалась, причем последним абзацем, яростно перечеркнутым крест-накрест, было криво и крупно написано: *“Мочи нет! Всё чушь! Надо не так, не про то! и начать по-другому!”*» (Т. 2: 240–241)

Очень хочется думать, что это «не так, не про то!» – и в самом деле подлинные слова Достоевского про «всю эту чушь». Что это его, Достоевского, протест против постмодернистской попытки превратить «пятикнижие» в игру со спецэффектами, шарадами и монстрами. Что истинный читатель не попадется на акунинский крючок и не пустится в погоню за фальшивыми бриллиантами, не поверит ложной экспертизе и астрономическим тиражам подделки, не отдаст своего Достоевского масскульту, где прочно и комфортно обосновались фальшивки, имитации, пустышки – на замену подлинника. Ведь поддельные листы рукописи Достоевского изготавливались как хороший «фальшак» – писались на подлинной бумаге XIX века специально изготовленными по тогдашним рецептам чернилами, а почерк Достоевского имитировал известный питерский каллиграф Юрий Глобов.

На сайте «Полит.ру. Культура» висит объявление: «Борису Акунину установят памятник к выходу его нового романа “Ф.М.”. В книжном магазине “Москва” на Тверской улице откроют памятник популярному писателю Борису Акунину. На церемонии открытия памятника состоится презентация новой книги писателя “Ф.М.”, сообщает РИА “Новости”. Как обещают организаторы, “покупатели будут вызваны на допрос с пристрастием”. Давших самые точные показания посетителей, а также всех журналистов, пришедших на это мероприятие, ждет сюрприз, заверили они. Открытие памятника состоится в рамках ежегодного

праздника “Книжная бессонница”, нынешняя тема которого “Жизнь – бесконечный детектив”. Книга Бориса Акунина “Ф.М.” – 25-я по счету, написана автором по мотивам “Преступления и наказания” Федора Достоевского. Борис Акунин, по его признанию, не случайно обратился именно к этому произведению Достоевского: в 2006-м исполняется 140 лет выхода романа в свет. Сам автор считает Достоевского “живее любых писателей современности” и с большим удовольствием “поместил классика русской литературы в свой игровой контекст”²⁷.

Кажется, мечта Сивухи («буду продавать права во все страны, буду давать интервью, вести переговоры...») смело и успешно воплощена Акуниным. «То, что случилось с Акуниным, прямо вытекает из истории русской рыночной литературы. Согласившись на роль беллетриста и даже бравируя ею, писатель признает себя частью индустрии развлечений. Скромность скромностью, но литератор обязан ставить себе великие или хотя бы серьезные задачи. Пока Акунин не позволял превратить себя в бренд, он писал книги. Сегодня он производит проекты. А проект – это как бы и не продукт, а декларация о намерениях. Таковы все последние тексты Акунина, из которых торчит единственное намерение – не напрягая читателя, позабавить его. Читатель отлично чувствует это. И потому серьезный успех Акунина позади»²⁸.

...Рассуждая о новых веяниях в оперном искусстве, великая певица Г. Вишневская, с горечью говорит: «Оперу целенаправленно убивают режиссеры, пользующиеся возможностью безнаказанно уродовать наследие великих композиторов. Люди самовыражаются, извращая форму и пытаясь прикрыть свою бездарность. Много ли ума нужно, чтобы выпустить “Аиду”, герои которой расхаживают по сцене в камуфляже и с автоматами наперевес? Или переодеть персонажей “Риголетто” в обезьян, как это сделали в Германии? Валять дурака все научились. Называю таких деятелей мародерами, паразитирующими на гениальных произведениях. Беззастенчиво раздевают классиков на глазах у честного народа и выдают это безобразие за творческий поиск»²⁹.

Кажется, что Вишневская говорит прямо о литературе...

Примечания

- ¹ Розанов В.В. Опавшие листья. Короб второй // Розанов В.В. Уединенное. Т. 2. М.: Правда, 1990. С. 523.
- ² См.: Сараскина Л.И. «Бесы»: роман-предупреждение. М.: Советский писатель, 1990; Сараскина Л.И. Достоевский в созвучиях и притяжениях: от Пушкина до Солженицына. М.: Русский путь, 2006.
- ³ См.: Сараскина Л.И. «Японский Достоевский» Акутагава Рюноскэ // Сараскина Л.И. «Бесы»: роман-предупреждение. С. 167–224.

- 4 См.: Независимая газета. 1997. 5 февр.
5 Собеседник. 2003. 20–26 мая.
6 Там же.
7 Там же.
8 Там же.
9 Континент. 1986. № 4. С. 229–244.
10 Там же. С. 238.
11 Труд. 2003. 11 сент.
12 Комсомольская правда. 2002. 21 мая.
13 Высказывания Глюксмана цит по: Форум ИноСМИ.Ru.
14 *Иустин (Попович), преп.* Достоевский о Европе и славянстве. М.; СПб.: Сретенский монастырь, 2002. С. 13–14.
15 Там же. С. 14.
16 *Горлова Н.* Божий дар и яичница в одной тарелке // Литературная газета. 2005. 2–8 марта.
17 Новое время. 2006. 27 авг. С. 40.
18 Там же.
19 *Трифонов Ю.* Нетерпение. Повесть об Андрее Желябове. М.: 1973. С. 468–469.
20 *Акунин Б.* Статский советник. М.: Захаров. 1999–2005. С. 43. Далее ссылки на роман даются в тексте, в круглых скобках.
21 *Боброва Н.* Матерый бес молодого подмял // Вечерняя Москва. 2005. 19 апр.
22 Труд. 2006. 17 мая.
23 Там же.
24 Там же.
25 См.: Новый мир, 2006, № 10.
26 *Акунин Борис. Ф.М. Т. 1–2.* М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2006. Ссылки на это издание даются в тексте, в круглых скобках.
27 См.: <http://www.polit.ru/culture/2006/05/18/akunin.html>
28 См.: <http://kariera.idr.ru/items/?item=1182&prn> «Все разгадали намек на революционера, заключенный в хитрой фамилии, и лишь продвинутые японисты знали, что “акунин” в переводе с японского – хитрый, опытный злодей, – пишет автор заметки, критик А. Гамалов. – Акунин – чуть ли не единственный современный русский прозаик, чьи книги изданы в десятках стран, а права на их экранизацию закупили в Штатах. Его квартира с видом на Кремль приобретена на литературные заработки. Но человека оценивают не по тому, чего он добился, а по тому, чего мог добиться. У Акунина были все шансы стать русским писателем № 1, но он им не стал».
29 Итоги. 2007. № 41. С. 85.

Пряное, пьянящее, с запахом тлена. Кровь как быт русского вольнодумца

Когда легендарную Веру Засулич, стрелявшую в петербургского полицмейстера генерала Трепова и тяжело ранившую его двумя пистолетными выстрелами, судимую уголовным судом, а затем оправданную присяжными заседателями и выпущенную на свободу, возбужденная толпа подхватила на руки и понесла к дому пострадавшего, по стихийной демонстрации был открыт огонь: были убитые и раненые.

Когда динамитчик Степан Халтурин, под видом мастерового нанявшийся выполнять ремонтные работы подвальных помещений Зимнего дворца, приготовил и взорвал мину под столовой царя, взрывом были уничтожены десятки солдат караульного помещения и несколько человек из дворцовой прислуги.

Когда бомбометатель Рысаков на Екатерининском канале в С.-Петербурге бросил свой сверток под ноги лошадям царского кортежа, были убиты не только лошади, но и два казак из сопровождения и случайный прохожий – мальчик, тащивший на салазках корзину с провизией.

Когда банда экспроприаторов, руководимая Кобой-Сталиным, совершала вооруженное нападение и экспроприацию денег Государственного банка в Тифлисе во время их перевозки, от взрыва десятка бомб на Эриванской площади погибло трое и было ранено более пятидесяти человек.

Меня всегда мучил вопрос: известны ли имена этих случайно пострадавших людей? Занимались ли их судьбой историки-исследователи, литераторы-биографы или статистики? Интересовались ли роковым – для жертв перечисленных терактов – стечением обстоятельств философы, публицисты или, что особенно интересно, правозащитники?

Знаю наверняка: нет, никто и никогда *случайными* жертвами у нас не занимался, хватало «законных». Разве вот однажды обратили внимание, что убийце, пришедшему с топориком на заранее спланированную акцию, помимо своего объекта, подвернулась под руку случайно здесь оказавшаяся беременная дурочка, а потом еще один дурачок вознамерился было вину за чужое преступление взять на себя, а после – мать преступника ума лишилась и умерла с горя. Так что вместо одной, «законной», жертвы образовалось пять – если считать также и неродив-

шегося младенца. Подвела арифметика – правда, только в этом одном конкретном случае.

Что касается прочих – будь то романтическая Вера или зловещий Коба, – их такая арифметика нисколько не смущала: они одинаково (именно одинаково!) «дерзнули» и через закон (при всей несоизмеримости вины) переступили.

Какое-то время казалось: нет уж, на такой крючок никто, ни за что, никогда уже не попадет. Наглотались цифр – вместе с кровью, лагерной пылью и прахом безымянных могил. Не соблазнятся более ни романтикой бомбометательства, ни вожделием «последнего, главного убийства», ни демонической Красотой святого мщения в виде теракта. Разобрались и в «крови по совести», и в наполеоновском «право имею» (которое в родной стране лишилось своего люциферского блеска и предстало сплошным свинством, хамством и жлобством), и в заманчивой, но такой обманчивой арифметике.

Но – нет. Снова порченная кровь русского либерал-радикализма, который в своих последних пределах смыкается с леворадикальной революционностью, лихорадит мозг, а воспаленный мозг дергает истощенные нервы. Сердце, отравленное героикой, душа, наркотизированная пафосом борьбы, бредит Савинковым и Желябовым, Каляевым и Гриневицким, военной демократией и краснопресненскими баррикадами...

1

Впрочем, проще всего возражать анониму – тут тебе и безоглядный полемический простор, и ничем не стесненное чувство собственной правоты, и неуязвимость личной позиции. Но когда речь идет о человеке, которого травили и гнали, мучили арестами и допросами, человеку бескомпромиссной судьбы и безусловной личной смелости, граничащей с безрассудством? Об одаренной, образованной и не очень счастливой женщине?

Да, вступать в полемику по поводу идеалов политической борьбы с ней, Валерией Новодворской, – дело неблагодарное.

Ведь это она в 15 лет требовала послать ее добровольцем во Вьетнам, а в 19 – организовала подпольную студенческую группу из 10 человек для подготовки вооруженного восстания против брежневского режима. Это она разбрасывала листовки во Дворце съездов в День Конституции в 1968 году, за что была арестована и помещена в психиатрическую спецтюрьму. И в то время, пока ее сверстницы выходили замуж, рожали детей, устраивали свой быт или защищали диссертации, она

подвергалась многократным арестам, объявляла голодовки, содержалась в тюрьмах и психиатрических лечебницах. Короче, жила жизнью профессионального революционера в условиях тоталитарного строя.

Следовало бы, наверное, испытывать к Валерии Ильиничне Новодворской чувство благодарности – ведь в каком-то смысле она боролась с «проклятым режимом», не щадя молодости и здоровья, и делала это вместо других, здоровых и благополучных. Но даже если ею руководили семейные гены революционизма, если зов предков, старых большевиков-подпольщиков, гнал ее прочь от обыденности, все равно: свой выбор она сделала сама, по своей доброй воле, а не идя навстречу пожеланиям обывательской массы или будучи уполномочена западными спецслужбами. Именно за это Валерия Новодворская и презирает всех тех, кому чужд пафос героизма и самоотречения.

«Я же не могла предположить, будучи верным последователем Софьи Перовской, Александра Ульянова и Германа Лопатина, – пишет она в своей книге «По ту сторону отчаяния», – что всем все до лампочки именно при капитализме и что это и есть нормальный порядок вещей! Если бы я родилась где-то в 1917-м или даже в 1905 году, никакой трагедии бы не было. “Оптимистическая трагедия” Вишневского – это же пастораль! Разве умереть от руки врагов на руках друзей – это несчастье? Это же мечта каждого настоящего большевика, и здесь я большевиков понимаю и с ними солидаризируюсь. Попытка пойти против течения в 20, 30, 40-е годы не привела бы меня к личной трагедии. ВЧК или НКВД действовали оперативно и радикально. Причем обе стороны были бы довольны: НКВД уничтожил бы одного подлинного врага народа среди мириад мнимых, а я бы обрела судьбу из моей любимой (до сих пор!) песни: “Ты только прикажи, и я не струшу, товарищ Время, товарищ Время”. Уже одна только любимая песня меня выдает с головой. Павке Корчагину она бы пришлось по вкусу... И вкусы-то у нас одинаковые! То ли сработали гены прадедушки – старого эсдека, основателя смоленской подпольной типографии, уморившего своим беспутным поведением отца-дворянина, помещика и тайного советника, и женившегося в Тобольском остроге на крестьянке, получившей образование и ставшей революционеркой; то ли сказались хромосомы дедушки – старого большевика, комиссара в коннице Буденного; а может быть, сыграл свою роль и пращур из XVI века, Михаил Новодворский, псковский воевода при Иоанне Грозном, убитый на дуэли князем Курбским за попытку встать на дороге, не дать уйти в Литву (однако не донес по инстанции!)... Словом, мои мирные родители взирали на меня как на гадкого утенка. Однако мой большевизм был абсолютно неидеологизированного характера. Белые мне нравились не меньше красных. Главное – и те и другие имели великую идею и служили России...

Я очень рано стала примериваться, где бы поставить свою баррикаду...»¹

Самое главное – баррикада, пафос борьбы, а с кем – время покажет. Враг найдется сам.

В нашем литературном обиходе – с подачи буревестников революции – прекрасно прижились и пользуются неизменным успехом поэтические клише, клеймящие терпеливых обывателей и напуганных мещан. «Глупый пингвин робко прячет тело жирное в утесах...», «Им, гагарам, недоступно наслаждение битвой жизни...». Испытывая симпатию к этим охаянным птицам, не могу не заметить, какой солидный вклад вносит Новодворская в обличительный лексикон радикал-революционера. Так называемые простые люди и их жизнь – «бессмыслица, коровья жвачка повседневности, привычное рабство, растительное существование». Люди интеллигентской мысли и сам стиль русской жизни – «трясина, запах гнили, болотные огни... Личность утонула, ее тащит вниз, и вот этот-то последний миг – судорожные попытки ухватиться за соломинку, обезумевшие глаза, животные вопли страха, отвратительное чавканье топи над головой и пузыри на поверхности»².

Таким видит В. Новодворская и мир Достоевского.

«Не следует думать, что к 1967 году я плохо знала Чехова, Достоевского, Гаршина, Тургенева. Я их отлично знала, но не считала своими. Это было “чуждое мне мировоззрение”. Рефлексии во мне было не больше, чем в д’Артаньяне или в Робин Гуде. И сейчас, когда я пишу эти строки, эти фольклорные личности для меня важнее и роднее братьев Карамазовых, князя Мышкина и Лаевского с Ивановым. Ну и Бог с ними! Спасибо большевикам за мое гражданское воспитание. В сущности, они восстановили в России культ добродетелей Рима: Отечество, Честь, Долг, Слава, Мужество. Со щитом или на щите – и никаких сантиментов. Человек и гражданин – это синонимы. Хорошо бы это осталось нам на память об СССР, но ведь даже в 1965 году такие идеи были уже антиквариатом»³.

Да, русская действительность и запечатлевший ее русский классический роман в полной мере соприкоснулись с людьми слабыми, маленькими и даже ничтожными, с теми, которым больно и страшно. Дерзнув хоть в малом заявить свою волю, они мучились сомнениями и колебаниями, совестились и калялись. Русская литература вообще и Достоевский в частности, эта, по В. Новодворской, секта интеллигентов, «болтливых, как старые бабы, и бесплодных, как евнухи», действительно занималась человеком, которому плохо.

Но ради кого старается Новодворская в своем революционном порыве? Ведь сильным и благополучным она и сама не больно-то нужна. Значит, все-таки ради слабых и тщедушных, обреченных на растительное существование, тех самых «маленьких человечков»? Но они не борцы, не герои. И если даже отвлечься от мысли, что, несмотря на свою ничтожность, не уполномочивали бороться за свое светлое будущее ту же Новодворскую, остается еще одна неподъемная проблема: после всех битв и сражений, а также после окончательной победы сил революции так или иначе наступают будни, та самая коровья жвачка повседневности. При этом люди, может быть и осчастливленные борцами, все равно будут тянуть свою лямку: обзаводиться семьями, бытом. То есть кончат трясиной, если выражаться языком Новодворской. За что же их так презирать, так оскорбительно третировать? Ведь выбор простой, обыденной жизни – это их свободный выбор, и в этом смысле он равноценен выбору, сделанному Новодворской.

Но бунтарское чистоплюйство, но шумное, назойливое, кичливое презрение к малым делам в практической, повседневной жизни, но истерическое неприятие положительных основ бытия – разве не этот тотальный нигилизм стал предтечей, а потом и мотором большевизма, с которым столь неистово сражается Новодворская?

Задолго до Новодворской, в 1926 году, соколы ленинско-сталинской идеологии, ненавидевшие автора «Бесов» за то, что он до последних глубин понял их сущность, предприняли громкую попытку реабилитировать Нечаева. «Попытка умышленного извращения исторического Нечаева и нечаевского движения, данная Достоевским в его романе “Бесы”, является самым позорным местом из всего литературного наследия “писателя земли русской” с его выпадами против зарождавшегося в то время в России революционного движения», – писал автор специальной брошюры, выпущенной издательством «Московский рабочий»⁴.

Как будто идя по следу вождя революции, для кого «Бесы» были «реакционной гадостью», повторяет свой приговор и В. Новодворская: «Достоевский совершил великий грех – он оклеветал революцию, он оболгал, опошлил ее в “Бесах”, он, словно мародер, отнял у казненных за землю и волю то, чего у них и враги не отнимали: имя в потомстве, бессмертие, честь. Нечаев – это был тот же Раскольников революции, но “Бесы” – пасквиль не на нечаевщину. Роман оскверняет прах Желябова, Перовской, Млодецкого. В российском болоте били чистые родники – от Радищева до Каляева»⁵. «Достоевский унизился до грубых памфлетов на революционеров и раболепных писем Романовым. Эти черты деятельности Достоевского после возвращения его с каторги не

могут вызвать ничего, кроме возмущения и негодования, и, если бы ими ограничивалась его деятельность, – интерес к ней должен бы быть равен интересу к деятельности немалочисленных идейных прислужников торжествующей буржуазии, т. е. приближаться к нулю» – так писал в 1934-м победивший сталинизм, прикрывшись зонтиком издательства «Academia»: печатался 3-й том писем Достоевского, и под таким «конвоем», сквозь зубы его выпускали в свет⁶.

Пересмотр революционной деятельности Нечаева и его историческая реабилитация были выдвинуты партийными историками сталинского типа как ближайшие задачи исторической науки; смысл такой реабилитации виделся прежде всего в том, чтобы победоносно завершившееся революционное сражение опознало и осознало своих провозвестников и первопроходцев. Нечаев, политический провокатор, авантюрист и маньяк был объявлен предтечей – народным героем, пионером русского большевизма. «Созданная Нечаевым партия “Народной расправы” в истории революционной борьбы являлась первой попыткой организации боевой революционной партии, строго законспирированной и централистически построенной от верха до низу, представлявшей собою в зародыше как бы схему современной развернутой организации»⁷. В угаре победы автор сделал сенсационное и крайне рискованное признание: «Все, что рисовалось Нечаеву в ту отдаленную эпоху, но что, в силу исторически не зависящих от него причин, не было достаточно обосновано, – все это нашло свое глубочайшее и полное воплощение в методах и тактике политической борьбы Российской Коммунистической Партии на протяжении 25-летней ее истории»⁸.

Такое признание отнюдь не было ни хвастовством, ни преувеличением. Знаменитый историк М.Н. Покровский писал в 1924 году: «В конце 60-х годов складывается в русских революционных кружках план, который впоследствии сильно осмеивался меньшевиками и который реализовался буква в букву 25 октября старого стиля 1917 г., – план *назначенной* революции. Этот план назначенной революции, правда, в очень наивных формах, *появляется у нас впервые в нечаевских кружках*»⁹.

Нет ничего удивительного в столь невыгодном для В. Новодворской родстве и сходстве. «Странные сближения» лишний раз подтвердили: смотреть в зеркало «Бесов», в силу его уникальной оптики, невыносимо для людей, больных одной болезнью, одержимых одним недугом, даже если отражающиеся в нем считают друг друга смертельными врагами. Независимо от направленности политических фобий их роднит общая гримаса ненависти – при одном лишь упоминании о страшном уродце, маньяке политического честолюбия, на которого так не хочется быть похожим... И В. Новодворская, как и многие до нее, на ком «шапка горит», торопится откреститься, отмежеваться и дать отпор: мы – не та-

кие, какими изобразил нас Достоевский; не мы – прототипы бесов; те, кого показал Достоевский, не имеют с нами ничего общего.

4

Между тем в серии статей и интервью, публиковавшихся в течение двух десятилетий в самых разных СМИ, В. Новодворская, укорененная в печальной традиции радикал-революционерка, провозгласила крестовый поход идей.

Я бы погрешила против истины, если бы заподозрила вождя похода в намерении все-таки куда-нибудь прийти. Никакого светлого будущего – надо отдать должное агитатору крестового похода – она не обещает. Не обещает даже мало-мальски спокойной, мирной жизни («нам все равно не жить на кухнях, но не ужиться и в супермаркетах»). Всех тех, кто готов соблазниться, она прельщает романтикой дальних дорог, приключениями, столь же увлекательными, сколь и опасными. Но, несмотря на несколько неожиданный для нонконформиста-идеолога новых крестовых походов комсомольско-молодежный пафос, в походном марше отчетливо различимы три-четыре знакомые мелодии.

Первая из них – «мы проповедуем любовь священным словом отрицанья». Что отрицают современные нигилисты, трубадуры крестовых походов? Да все то же самое, что и когда бы то ни было: семью, «прозаическую» любовь («секс с разговорами»), кухонное диссидентство, нравственную рефлексию интеллигентов, слабых, негероических персонажей отечественной литературы (Достоевский с Чеховым здесь особенно провинились), саму Россию с ее смирением и терпением. Короче говоря, «тут всё обречено и приговорено. Россия, как она есть, не имеет будущего. Я сделался немцем и вменяю себе это в честь» («Бесы», Кармазинов; 10: 287).

Недорога и сама жизнь. И этот мотив громче всего, с маниакальной повторяемостью и подчеркнутой бесшабашностью звучит в каждом, буквально в каждом печатном и телевизионном выступлении В. Новодворской.

«Я ощутила радостную уверенность, что ночью меня расстреляют, и очень обрадовалась за народ, до которого теперь дойдет, что покончить с этой властью можно только революционным, а не парламентским путем».

«Здесь нельзя победить задешево. Очиститься от общей исторической вины перед поколениями казненных и перед сегодняшними жертвами можно только ценой жизни. Меньшей цены я не признаю».

«Рано мы собрались жить, нам еще умирать и умирать».

Собственно говоря, о каких жизнях идет речь? Кому это «умирать и умирать»? Готова ли В. Новодворская заплатить за свободу только своей жизнью или еще и чужой (пусть даже это будут люди из ее партии)?

Да, любимый поэт В. Новодворской Н.А. Некрасов писал: «Дело прочно, когда под ним струится кровь». Но имел-то он в виду право каждого только на свою кровь. А В. Новодворская даже Достоевского обвиняет в том, что не смог достойно умереть. «У Достоевского, – настаивает она, – была возможность утонуть не в болоте – это когда он стоял на эшафоте на Семеновском плацу... Однако кончил великий писатель именно трясиной (Победоносцев, “Бесы”, консерватизм, семья, картеж, “Гражданин”) – вместе со своими героями» (тут все свалено в кучу: семья и картеж – это 1860-е, «Бесы» и «Гражданин» – это начало 1870-х, Победоносцев – это конец 1870-х; так что на «трясину» отведено целых 20 лет жизни Достоевского).

А далее добавляет (уже как будто только по поводу героев): «Ничтожная душа (это Достоевский! – Л.С.), действующая в слепоте и бессознательности, эшафота недостойна, ей каторга в самый раз. Хорошо в этих вопросах разбиралась российская власть. Она удостоила эшафота лишь тех, кто и в самом деле право имел, – народовольцев, эсеров, инсургентов, которые встали выше жалких законов государства и дерзнули сказать по Савинкову: я так хочу»¹⁰.

Не дай бог найдется человек циничный и бесцеремонный и задаст свой подлый вопрос: «Как же это вы, Валерия Ильинична, при вашем-то настроении и сиюминутной готовности погибнуть за правое дело, не то что эшафота, но и каторги не сподобились, а пробавляетесь исправительно-трудовыми работами, платите в госбюджет штрафы за уличное хулиганство да еще чай с начальником Лефортовской тюрьмы гоняете? Где же ваша революционная жертвенность? Или опять власти виноваты – не удостоили вас эшафота?»

Но я принципиальный противник вопросов жестоких и беспощадных. К тому же искренне верю и в способность, и в готовность В. Новодворской умереть героем. И когда она утверждает, что «здесь нельзя победить задешево», я спрашиваю: ваша цена? Уверены ли вы, что хватит на все про все одной вашей жизни, коли ее вам не жалко? а если не хватит, на какое количество вы рассчитываете? и по какому праву на них претендуете? Неужто все эти будущие герои пришли и сказали вам: вот наши жизни, возьмите их и располагайте ими по своему усмотрению?

Однако вопросам моим, я уверена, суждено оставаться риторическими, ибо В. Новодворская, в сущности, на все это уже ответила – в старых, но не добрых традициях: «Отлично! Революция впереди. Не совершённая революция всегда самая прекрасная». «Я понимаю, что имею право на нее, понимаю, что я не дрожащая тварь».

Заявляя свое исключительное Право на революционное насилие, провозглашая культ силы, взбадриваясь примерами из «героического революционного прошлого», ностальгируя по цареубийцам и бомбистам, вынашивая идеалы мятежа, бунта и раскола, Новодворская затекает опасную игру в Большой Террор. Разумеется, пока только идеологическую игру (в том смысле, что она научит, а убивать будет кто-то другой, ее прилежный ученик). Эту игру хочется назвать провокацией – прелюдией к политической реакции.

В свое время (в 1969 году) Новодворская сочинила стихотворение, посвященное Виктору Ильину, 22 января того же 1969 года стрелявшему в Л.И. Брежнева. Вооруженный двумя пистолетами и переодетый в милицмейскую форму, 21-летний младший лейтенант Советской армии Ильин совершил нападение на правительственный кортеж, выезжавший из Боровицких ворот Кремля. Спустя три дня в «Правде» было помещено короткое сообщение о провокационном акте – выстрелах, произведенных по автомашине, в которой следовали космонавты Береговой, Николаева-Терешкова, Николаев и Леонов. На самом же деле это была попытка покушения на Генерального секретаря ЦК КПСС Л.И. Брежнева, который встречался с космонавтами. Свой план Ильин вынашивал год-полтора, еще около месяца ушло на подготовку теракта. В январе он оказался в отпуске, приехал в Москву, где остановился у знакомого милиционера. В день покушения Ильин надел его шинель (хозяин об этом даже не знал), вложил в рукава пистолеты и спокойно прошел к Кремлю. Ильин не знал, в какой машине ехал Брежнев и, пропустив первую машину с охраной, собирался стрелять по следующим двум. Он выпустил за шесть секунд 16 пуль – все в одну машину (из-за нервного напряжения не успел перенести огонь на вторую), в которой находились космонавты. Одна пуля попала в водителя, который умер, две ушли в воздух, одна ранила в плечо офицера кортежа, а остальные изрешетили машину. Покушавшегося сразу же схватили и доставили на Лубянку, где уже было человек сто генералов и полковников КГБ во главе с Андроповым.

После следствия, длившегося три месяца, Ильин еще год провел в Лефортове. Дело было закрытое, суд так и не состоялся. Экспертиза в Институте судебной медицины им. Сербского признала Ильина психически больным, и его отправили в Казанскую спецбольницу, где он провел в одиночной палате 18 лет. В 1988 году его перевели в ленинградскую больницу, а спецрежим заменили обычным строгим режимом. После выписки Ильин еще около года прожил в больнице, так как ему было некуда и не к кому податься. Позже он получил вторую группу инвалидности, квартиру и пенсию. Сегодня Виктор Иванович гуляет по городу, собирает грибы в лесу, варит варенье, читает книги, смотрит

телевизор и сам дает интервью. Он ни о чем не жалеет и единственное из-за чего страдает – что убил человека и что десятки невиновных людей тогда пострадали из-за него.

Кажется, Новодворская, отметившая событие стихотворением «СВОБОДА. Юноше (В. Ильину), стрелявшему в Брежнева, посвящается», ни о ком не пожалела. Стихотворение распространялось по Москве в списках, и его посвящение было не меньшим вызовом, чем сам текст.

Свобода плакать и молиться,
Высмеивать и отрицать,
Свобода жаждою томиться,
Свобода жажду утолять.

Свобода радости и горя,
Свобода сжечь все корабли,
Свобода удалиться в море,
Отказываясь от земли.

Свобода ниспровергнуть стены,
Свобода возвести их вновь,
Свобода крови, жгущей вены,
На ненависть и на любовь.

Свобода истерзаться ложью,
Свобода растоптать кумир –
По тягостному бездорожью
Побег в неосвещенный мир.

Свобода презирать и драться,
Свобода действовать и мстить,
Рукою дерзкой святотатца
Писать: не верить, не кадить.

Свобода в исступленье боя
Традиций разорвать кольцо
И выстрелить с глухой тоскою
В самодовольное лицо.

Свобода бросить на допросах
Тем, чье творенье – произвол,
В лицо, как склянку купороса,
Всю ненависть свою и боль.

Свобода в мятеже высоком
Под воплей обозленных гром
Уйти, как прожил, – одиноким
Еретиком и гордецом.

Свобода у стены тюремной,
Повязкой не закрыв лица,
Принять рассвета откровенье
В могучей музыке конца.

В девяти строфах стихотворения слово «свобода» употреблено 17, а с заголовком 18 (восемнадцать!) раз, и эта свобода горяча, величественна, патетична. Не названо только два качества свободы – свобода не убивать неповинных, *случайных* людей и свобода этих людей не умирать от *случайных* пуль. «Еретик и гордец» Ильин спустя 18 лет жалел об убитом водителе. Но Новодворская о нем даже не упомянула, согласно революционному принципу «лес рубят – щепки летят». К тому же, по ее мировоззренческой установке, застреленный шофер не достоин ни жалости, ни упоминания: наверняка носил погоны, наверняка служил в «конторе». Ее реакция, скорее всего, была бы похожа на известный школьный анекдот: «Почему Ильин, стрелявший в Брежнева, промахнулся? – Все рвали у него из рук пистолет: “Дай мне, дай мне стрельнуть!”»

5

Среди имен, любимых Новодворской, – имя народовольца-террориста И.О. Млодецкого. И, наверное, она помнит о письме двадцатипятилетнего писателя Всеволода Гаршина М.Т. Лорис-Меликову от 21 февраля 1880 года по поводу казни народовольца И.О. Млодецкого, назначенной на следующий день. А днем раньше, 20 февраля 1880 года, Млодецкий совершил покушение на главного начальника особой Верховной распорядительной комиссии по охранению государственного порядка и общественного спокойствия графа М.Т. Лорис-Меликова. В знак протеста против административного произвола И. Млодецкий выстрелил в диктатора, но промахнулся. В тот же день было произведено следствие, на 22 февраля назначена казнь. Приговор стал известен в городе. Желая спасти Млодецкого, Гаршин 21 февраля обратился с письмом к Лорис-Меликову и накануне казни явился к нему, умоляя пощадить осужденного. Заступничество Гаршина, разумеется, успеха не имело, и Млодецкий был казнен. В связи с этим

душевные страдания Гаршина чрезвычайно обострились и перешли в психическое заболевание, от которого ему удалось оправиться лишь через полтора-два года.

«Ваше сиятельство, – обращался Гаршин к графу Лорис-Меликову, счастливо избежавшему пули Млодецкого, – простите преступника! В Вашей власти не убить его, не убить человеческую жизнь (о, как мало ценится она человечеством всех партий!) – и в то же время казнить идею, наделавшую уже столько горя, пролившую столько крови и слез виновных и невиновных. Кто знает, быть может, в недалеком будущем она прольет их еще больше. Пишу Вам это, не грозя Вам: чем я могу грозить Вам? Но любя Вас, как честного человека и единственного могущего и мощного слугу правды в России, правды, думаю, вечной. Вы – сила, Ваше сиятельство, сила, которая не должна вступать в союз с насилием, не должна действовать одним оружием с убийцами и взрывателями невинной молодежи. Помните растерзанные трупы пятого февраля, помните их! Но помните также, что не виселицами и не каторгами, не кинжалами, револьверами и динамитом изменяются идеи, ложные и истинные, но примерами нравственного самоотречения. Простите человека, убивавшего Вас! Этим Вы казните, вернее скажу, положите начало казни идеи, его пославшей на смерть и убийство, этим же Вы совершенно убьете нравственную силу людей, вложивших в его руку револьвер, направленный вчера против Вашей честной груди. Ваше сиятельство! В наше время, знаю я, трудно поверить, что могут быть люди, действующие без корыстных целей. Не верьте мне, – этого мне и не нужно, – но поверьте правде, которую Вы найдете в моем письме, и позвольте принести Вам глубокое и искреннее уважение Всеволода Гаршина. Подписываюсь во избежание предположения мистификации»¹¹.

К письму была приписка: «Сейчас услышал я, что завтра казнь. Неужели? Человек власти и чести! умоляю Вас, умиротворите страсти, умоляю Вас ради преступника, ради меня, ради Вас, ради государя, ради Родины и всего мира, ради Бога»¹².

Гаршина не услышали, как и год спустя, перед судом и казнью первомартовцев, не услышали Льва Толстого, который также просил помиловать цареубийц во имя идеалов добра и любви.

Но была все же и другая сторона дела – Лорис-Меликов. За неделю до покушения, 14 февраля 1889 года, он выступил с воззванием «К жителям столицы», в котором изложил программу действий Комиссии «в борьбе с преступными проявлениями, разрушающими основные начала гражданского порядка, без которого немыслимо развитие никакого благоустроенного государства». Речь шла о «ряде неслыханных злодейских попыток к потрясению общественного строя государства и к покушению на священную особу государя императора»¹³. То есть покушение

на Лорис-Меликова имело превентивный характер. Убийца стрелял не в наказание за жестокость «диктатора» (Лорис-Меликов, даже по оценке Гаршина, – человек честный и слуга правды), а по самому намерению навести в государстве порядок и пресечь террор.

Новодворская жалеет лишь о том, что Млодецкий, целившийся в автора «диктатуры сердца», не попал. Но вот Достоевский относился к Лорис-Меликову и его деятельности с симпатией, желал «замирения», хотел, чтобы «злая воля» была пресечена, уничтожена. Покушение смутило писателя, и он боялся реакции. «Да знает ли он, отчего всё это происходит, твердо ли знает он причины? Ведь у нас всё злодеев хотят видеть...»¹⁴ Достоевский присутствовал на этой казни – через повешение, на Семеновском плацу, спустя тридцать один год после своего несостоявшегося расстрела, на том же месте, такой же холодной зимой. Его мучительно волновала судьба нового поколения революционеров. «Важно не количество, а настроение и упорство преступников, еще никогда и нигде неслыханное», – записывал он в последней записной книжке, намереваясь рассмотреть жгучую проблему в «Дневнике писателя на 1881 год» (27: 51).

Достоевский был против смертной казни как средства политической борьбы, но он не называл убийц-террористов героями, а называл их преступниками. Он пытался понять суть русского нигилизма, доискаться до причин. «Говорят: наше общество не консервативно. Правда, самый исторический ход вещей (с Петра) сделал его не консервативным. А главное: он не видит, что сохранять. Всё у него отнято, до самой законной инициативы. Все права русского человека – отрицательные. Дайте ему что положительного и увидите, что он будет тоже консервативен. Ведь было бы что охранять. *Не консервативен он потому, что нечего охранять.* Чем хуже тем лучше – это ведь не одна только фраза у нас, а к несчастью – самое дело» (27: 50).

Здесь Достоевский попал в самую точку, определив на столетие вперед идеологию и практику русского радикализма. Он (радикализм) не замечает и не считает «случайных» жертв, он действует превентивно и метит в потенциального соперника, он не испытывает сострадания к своим «законным» жертвам, не знает раскаяния и любит себя. Для него действительно – чем хуже, тем лучше: в «замиренной» стране ему делать нечего, ибо его лозунг – непримиримость и вечная война. Поэтому, когда снова, с какой-то зловещей закономерностью является идея, посылающая людей на смерть и кровь, и когда все слова по поводу этой идеи уже сказаны, остается лишь эстетический аспект дела.

«Последуем совету Савинкова, – пишет В. Новодворская, развивая свою идею: не бремя долга, а радость игры. – Я не говорю: я должен.

Я говорю: я так хочу. Почему? Не все ли равно. Я так хочу. Пью вино цельное. Ибо мой предел – алый меч»¹⁵.

Ах, как красиво, как обольстительно, какой он душка, этот Савинков, так умел красиво убить! Какая эстетическая штучка и сама В. Новодворская: «Идея не будет давить нам на шею, как ярмо, – она будет летать по нашему знаку, как сокол, бросаться на добычу, настигать ее, приносить к нашим ногам, парить в поднебесье и по зову возвращаться на нашу вышитую рыцарскую перчатку. Обойдемся без железных доспехов. Облечемся в свободу и мечту»¹⁶.

Новодворская все же лицемерит. Она не может не знать про алый меч Савинкова, великого террориста, фанатика подполья, вождя боевиков, «честно» работавших на провокатора Азефа. Делает вид, будто не существует жутких страниц «Коня вороного», где Савинков, сам Савинков, повествует о кровавом кошмаре, из которого складывались физическое бытие и внутренний мир супербомбиста и профессионального убийцы. Пасьянс Гражданской войны – это не стихи Гумилева и алый меч неотразимого героя-убийцы, а склизкий от крови пол подвала. Там не идея давит на шею, а душный, тошнотворный, трупный запах, смрад разлагающейся человечины. А это уже мало эстетическое зрелище, не то что вышитая рыцарская перчатка. Да и кто же ее должен вышивать, пока легко, гордо и красиво будет скакать Новодворская навстречу мечте?

Сто лет назад, в начале XX века, в Российской империи совершалось около 600 терактов в год. От рук бомбистов и иных «героев террора» погибло около 17 тысяч человек. Однако Савинков – ярчайшая фигура русского террора – вовсе не такой романтик и рыцарь террора, каким его рисует Новодворская. Как говорит о нем К. Шахназаров, автор фильма «Всадник по имени смерть», снятого по повести Б. Ропшина (Бориса Савинкова) «Конь бледный», он «человек мучающийся, человек в разладе с самим собой». «В нем самом живет тот разлад, который наступил с приходом XX века. Ведь что такое конец XIX века? С одной стороны, Достоевский, с другой – Ницше. Два полюса. Достоевский, который сказал: если Бога нет, все позволено. И Ницше, выбросивший на свалку мораль. В Жорже, как в человеке начала прошлого века, эти явления сошлись. Они его разломали»¹⁷.

Мечтательница, пустившаяся в поход за идеей, радостно, с редким и завидным задором рисует милые ее сердцу картинки в духе не Достоевского, но как раз Ницше. «По дороге нам встретятся немало драконов, которых нужно побороть, оборотней, которых нужно разоблачить и устранить, рабов, которых нужно освободить, красавиц, которых нужно спасти от колдунов и великанов. В дороге скучно не будет»¹⁸.

Неизвестно, ожидаются ли в этой веселой экспедиции случайные жертвы?

Перебирая одно за другим многочисленные интервью, эссе, очерки и выступления Новодворской, невольно делаешь вывод, что подобный ансамбль идей полностью, до последних черточек описан Достоевским (правда, в романах Достоевского действуют *герои*-идеологи, но не *героини*). Щадя даже и своих отрицательных персонажей, болеющих радикал-либерализмом, заботясь о художественности, писатель «раздает» им всем – Кармазинову, Верховенскому (старшему и младшему), Смердякову и прочим – лишь понемногу из «концентрата». В неразбавленном виде он являет собой пародию, карикатуру. Новодворская, сосредоточив в одном лице все клише и все стереотипы радикализма, предстает именно как карикатура на идейного радикала, как гротеск и пародия на правого ультралиберала, машущего своим правым крылом синхронно сопернику слева.

Вот представления Новодворской о трагедии Хиросимы. «Я думаю, здесь надо довериться самим японцам. Сами японцы каждый год в годовщину этой бомбардировки не американцев проклинали. А проклинали свой собственный империализм, свою военщину, роковое решение начать войну с Соединенными Штатами, бомбежку Перл-Харбора, свой изоляционизм. Нельзя сказать, конечно, что они благодарят Соединенные Штаты: спасибо, что вы сбросили на нас атомную бомбу. Но представьте себе, если бы этого не случилось, чем бы была Япония. Она не была бы второй экономикой в мире. Она не была бы доброй, светлой, либеральной страной. И роботов бы у них никаких бы не было, и “Тойот” никаких бы не было. Это было бы что-то вроде сегодняшнего царства Уго Чавеса или Эво Моралеса, такой вот заповедник для туристов, причем проникнутый совершенно несовременными ценностями. Милитаризм, экспансионизм, ненависть, желание завоевать мир. Все сложно. То, что случилось на территории Германии с мирным населением, когда летающие крепости, самолеты, бомбили и Берлин и другие города... Там ведь все сносили с лица земли. И мирные жители гибли...»¹⁹

Сокрушительная логика: цель оправдывает средства, результат – оправдывает самые дурные средства. По этой логике (Новодворская все же постеснялась это выговорить) жаль, что не на СССР упали атомные бомбы, а он сам бомбил мирное население Германии...

Вот ее представления о России – какой бы она хотела видеть свою страну. «Я хотела бы ее видеть конфедерацией. Сегодняшняя власть изображает державность и использует все для запугивания соседей. Нужно отказаться от единого доминирующего центра, как было сделано в Соединенных Штатах. Сила государства и его слава не в размерах, а в цивилизованности. *Государство такого размера, как наше, не может*

существовать с единым центром. Соединенные Штаты тоже не сразу пришли к существующему варианту, и центры были разные, до Нью-Йорка была Филадельфия... Если вдруг Великобритания захотела бы завоевать Россию, я не из тех, кто стал бы этому противиться»²⁰.

Смердяков, как мы помним, соглашался на наполеоновскую Францию: «В двенадцатом году было на Россию великое нашествие императора Наполеона французского первого, отца нынешнему, и хорошо, кабы нас тогда покорили эти самые французы: умная нация покорила бы весьма глупую-с и присоединила к себе. Совсем даже были бы другие порядки-с» (14: 205).

Вот ее представления о себе. «Я вольнодумец. Это самое широкое определение, в которое входит и понятие “правозащитник”. Но я не являюсь политиком. Политики – это крайне мерзкие и неискренние типы. Они хотят что-то поиметь от народа и поэтому ему все время врут. Политик – вечный соискатель какого-нибудь стула или портфеля: иначе ему жизнь не жизнь... Так что можно еще считать меня профессиональным безработным либеральным революционером, который не имеет ни революционной ситуации, ни подходящих для этого дела масс, поэтому выступает с чисто теоретических позиций, что, собственно говоря, всегда и делала несчастная русская интеллигенция»²¹.

Да, Новодворская не политик, хотя и возглавляет карликовую партию. Она идеолог-теоретик вроде Шигалева, который на бумаге считает, сколько миллионов голов нужно пустить в дело для осуществления системы переустройства мира. Под пером литератора Новодворской Россия в момент шоковой терапии – это хлев со скотиной. «А дальше, – размышляет она в курсе лекций по русской истории, – приходит Егор Тимурович Гайдар, и то, что он сделал, конечно, трудно переоценить. Он дал стране пинка, большого, хорошего, смачного пинка в зад, он выгнал ее из барачков. Колючая проволока висит гирляндами, столбы повалены, хлеба нет, корыто перевернуто. Надо идти в чистое поле и добывать себе хлеб насущный. Это и есть приватизация, а также либерализация цен, возвращение к реальному положению вещей, возвращение из вымышленного, выдуманного мира в мир реальный... и здесь страна показала, во сколько она расценивает свободу, во сколько она расценивает независимость и самостоятельность и сколько у нее гордости и чувства чести. Когда всех выгнали из хлева, раздались вопли: где наше пойло, почему не налили? Где наша зарплата, где наша кормежка, где наши вклады, где наши сбережения? И эти вопросы задают люди, которые 70 лет носили воду в решете и толкли ее в ступе»²².

«Катакомбный историк», как рекомендует себя Новодворская, в заключительной лекции курса («Свободу не подарят, свободу нужно взять») предельно обнажает свою политическую программу. «Россия –

гигантский корабль, дредноут, броненосец. Я веду ее туда, где из горьких вод Атлантики поднимается окрыленный и мощный символ свободного мира: грозная и прекрасная женщина со светочем и книгой, осеняющая и возглавляющая всех, кто готов стать под знамена свободы и знания, независимости, гордыни и мужества. Россия должна уплыть на Запад: с Магаданом, Якутией, Уральским хребтом, Байкалом. И сколько бы канатов ни пришлось обрубить, сколько балласта ни пришлось сбросить, я не пожалею и не остановлюсь. И не оглянусь назад»²³.

Только на первый взгляд эта романтическая одиссея с маяком в виде статуи Свободы кажется свежей и новой. На самом деле – образ мыслей заимствованный, типологический, как музейная мебель. Литератор из «Бесов» Кармазинов, на чей век «Европы хватит», рассуждает: «Россия есть теперь по преимуществу то место в целом мире, где всё что угодно может произойти без малейшего отпора. Я понимаю слишком хорошо, почему русские с состоянием все хлынули за границу и с каждым годом больше и больше. Тут просто инстинкт. Если кораблю потонуть, то крысы первые из него выселяются. Святая Русь – страна деревянная, нищая и... опасная, страна тщеславных нищих в высших слоях своих, а в огромном большинстве живет в избушках на курьих ножках. Она обрадуется всякому выходу, стоит только растолковать. Одно правительство еще хочет сопротивляться, но машет дубиной в темноте и бьет по своим... Я сделался немцем и вменяю это себе в честь» (10: 287).

«Делаться немцем» Новодворской нет смысла – натуральным немцам (впрочем, как и французам с англичанами) она и ее правый радикализм не нужны ни в теории, ни на практике. Рулить и вести корабль (на словах и в мечтах) можно только здесь, дома, ведь «для настоящего дела» нет ни подходящих масс, ни революционной ситуации. И только медиа-шоу в силу собственной специфики нуждаются в фигурах узнаваемых, экстравагантных и эпатажных. Соль, перец, прочие сильные специи, а также яд в несмертельных дозах неплохо развлекают пресыщенных зрителей многочисленных ток-шоу. Учитывая печальный опыт работы радикальных идей в России, нынешнее «цирковое» их использование – не самый плохой вариант.

...Еще до выхода книги в интернет-прессе возникла полемика в связи с Достоевским, Новодворской и новым радикал-либерализмом. Ю.А. Богомолов, ссылаясь на мои заметки о «русских вольнодумцах», констатировал: «Только шарахнешься от радикал-патриотов с их словословиями во славу сталинизма и криками: “Все, что ни было тогда, –

к лучшему!”, как натыкаешься на радикал-либералов, восклицающих: “Все, что ни есть сегодня в России, – к худшему”. “Страна-ублюдок”, – ставит диагноз своей стране одна из известных либеральных публицистов. А чему здесь удивляться: идеологическая картина страны так же симметрична, как симметрична природа. Ненависть на одном фланге не может не аукнуться ненавистью – на другом»²⁴.

Отвечая оппоненту (а косвенно и автору этой книги), Новодворская пишет: «“Бесы” – мой любимый роман Достоевского, а Достоевский – любимый писатель. Здесь опять наш экзорцист (имеется в виду Ю. Богомолов. – Л.С.) не угадал. Я только хочу сказать, что не все либералы были как Степан Трофимович, не все народовольцы – как Савинков, позер и эгоист, дважды предавший товарищей, или как урод Нечаев. Человеческие качества Ивана Каляева и Веры Фигнер отмечали многие историки. “Народная воля”, при всей ее неправоте – это все-таки не “Аль-Каида” (и даже не эсеры-максималисты, взорвавшие вместо Столыпина его посетителей и домашних). Я никогда бы не стала участвовать в “Народной воле”, ибо Александр II и его администрация смерти не заслуживали и социальное зло такими методами не лечится»²⁵.

Сегодня к своему «детскому большевизму» (неужели «детство» относится и к 1993 году?) Новодворская склонна отнестись уже «с иронией и осуждением». Но вот Смердякова и смердяковщину на поругание не отдаст ни за что. «Чем мы с ДС (партией Демократический Союз. – Л.С.) не устраиваем автора? Дело доходит до Смердякова. А что у нас с ним общего? 1. Смердяков считает, что французы живут лучше и свободней нас. 2. Смердяков считает, что война с Наполеоном была несчастьем для России. 3. Смердяков считает, что Россия хуже Запада устроена политически и экономически. 4. Смердяков предлагает с Западом не воевать. Откуда все это знает лакей Смердяков? У Ивана Карамазова книг достал и начитался. И дорого яичко ко Христову дню: как раз у нас маленькая победоносная война с Британским советом. А либералы видят в Британии друга, пример, покровителя, но отнюдь не врага. И вот уже в ход идет имя Каспарова, который в США ездит и по-английски говорит. Юрий Богомолов и его вдохновители хотят, чтобы мы довольствовались той помойкой, которую нам обстроила чекистская власть. Западники и адепты Страсбургского суда, Европарламента и Пакта о гражданских и политических правах – вот враги отечественной автократии. Ценить Запад, желать такой участи для России – это значит “шакалить”. От нас опять хотят, чтобы мы полюбили свою власть. Оргвыводы Юрия Александровича Богомолова и Михаила Андреевича Суслова совпадают. И не надо тревожить прах Достоевского, за гробом которого курсистки несли кандалы. Фаддей Булгарин, Михаил Леон-

тьев и Владислав Сурков дают Юрию Богомолу достаточную идеологическую базу»²⁶.

И Богомол как опытный полемист немедленно реагирует на «уловки» радикал-либерала. «Радикализм – великий уравниватель в бесчеловечности. Непримиримые идейные противники (скажем, Проханов, Лимонов и Новодворская) еще полагают, что находятся по разные стороны баррикады, а на деле уже стоят плечом к плечу в едином строю. Что же касается Смердякова, чей образ мыслей бросил тень на некоторые соображения Новодворской, то здесь библиотека Карамазова ни при чем. Как видим, речь у Смердякова (как и у Новодворской) идет не о том, чтобы Россия не воевала с Западом, а о том, чтобы она была завоевана Западом. Смердяков – лакей. Ему важно, чтобы у него всегда был барин. Пусть даже в масштабе чужой страны. И хорошо, чтобы благородный. Мой “оргвывод”: Смердяков мыслит и рассуждает совершенно как Новодворская – тоталитарно»²⁷.

Достоевский, как справедливо отмечает Богомол, сегодня «едва ли не самый востребованный гость из Прошлого. И пожалуй, самый авторитетный эксперт по проклятым вопросам современной русской жизни»²⁸.

Примечания

- ¹ См.: *Новодворская В.И.* По ту сторону отчаяния. М.: Новости, 1993 (Серия «Время. События. Люди»). С. 38.
- ² Столица. 1992. № 14.
- ³ *Новодворская В.И.* По ту сторону отчаяния. С. 48.
- ⁴ *Гамбаров А.* В спорах о Нечаеве. К вопросу об исторической реабилитации Нечаева. М.: Московский рабочий, 1926. С. 31.
- ⁵ *Новодворская В.И.* По ту сторону отчаяния. С. 90.
- ⁶ *Достоевский Ф.М.* Письма. Т. III. От издательства. М.; Л.: Academia, 1934. С. 1.
- ⁷ *Гамбаров А.* В спорах о Нечаеве. К вопросу об исторической реабилитации Нечаева. С. 11.
- ⁸ Там же. С. 146.
- ⁹ *Покровский М.Н.* Очерки по истории революционного движения 19 и 20 вв. М.: 1924. С. 64.
- ¹⁰ Столица. 1992. № 14.
- ¹¹ *Гаршин В.М.* Избранные письма 1874–1887 гг. // Гаршин В.М. Сочинения: Рассказы. Очерки. Статьи. Письма / Сост. В.И. Порудоминский. М.: Сов. Россия, 1984. С. 400.
- ¹² Там же. Гаршин «ворвался к одному высокопоставленному лицу в Петербурге, добился, что лицо это разбудили, и стал умолять его на коленях, в слезах, от глу-

бины души, с воплями раздиравшегося на части сердца о снисхождении к какому-то лицу, подлежавшему строгому наказанию. Говорят, что высокое лицо сказало ему несколько успокоительных слов и он ушел. Но он не спал всю ночь, быть может, весь предшествовавший день; он охрип именно от напряженной мольбы, от крика о милосердии, и, зная сам, что, по тысяче причин, просьба его – дело невыполнимое, стал уже хворать, болеть, пил стаканами рижский бальзам, плакал, потом скрылся из Петербурга, оказался где-то в чьем-то имении, в Тульской губ<ернии>, верхом на лошади, в одном сюртуке, потом пешком, по грязи доплелся до Ясной Поляны, потом еще куда-то ушел, словом, поступал “как сумасшедший”, пока не дошел до состояния, в котором больного кладут в больницу» (*Успенский Г.И. Смерть В.М. Гаршина // Успенский Г.И. Собр. соч.: В 9 т. Т. 9. Статьи. Письма. М.: ГИХЛ, 1957. С. 146*).

13 Правительственный вестник. 1880. 15 февр.

14 См. свидетельство А.С. Суворина: Новое время. 1881. 1 февр.

15 Столица. 1992. № 14.

16 Там же.

17 *Шумяцкая О.* Достоевский против Ницше // Московские новости. 2004. 23–29 апр.

18 Столица. 1992. № 14.

19 Эфир радиостанции «Эхо Москвы». «Без дураков». Новая еженедельная программа Сергея Корзуна. Ведущий: Сергей Корзун. Гость: правозащитник Валерия Новодворская. 2007. 19 июля.

20 Там же.

21 Фигуры и лица. 2001. 28 июня // <http://www.top-manager.ru/?a=1&id=1399>

22 *Новодворская В.И.* Мой Карфаген обязан быть разрушен: Из философии истории России. М.: Олимп, 1999. С. 200. Из анонса следует: «Книга представляет собой сборник лекций по философии истории России, прочитанных В. Новодворской в Российском государственном гуманитарном университете (РГГУ). В ней автор, пользуясь своим необычайным литературным талантом, дает совершенно новую оценку истории России, поясняет, почему мы так отличаемся от стран Запада и почему у нас так плохо прививаются идеи либерализма. Книга неизбежно вызовет бурную реакцию историков, отстаивающих традиционную трактовку российской истории».

23 Там же. С. 275.

24 *Богомолов Ю.* «Ведь у нас всё злодеев хотят видеть...» // <http://sunrus.livejournal.com/70093.html>

25 *Новодворская В.* Что там ангелы поют такими злыми голосами? // <http://grani.ru/Society/Law/m.133020.html>

26 Там же.

27 *Богомолов Ю.* Валерия Ильинична сердится // <http://grani.ru/Culture/Literature/m.133149.html>

28 *Богомолов Ю.* «Ведь у нас всё злодеев хотят видеть...» // <http://sunrus.livejournal.com/70093.html>

Активисты хаоса в режиме action. Принцип «всё дозволено» в актуальной философской прозе

Роман петербургского прозаика Павла Крусанова «Укус ангела»¹ стал событием в том слое элитарной интеллектуальной литературы, которое отмечается полемическими рецензиями в престижных изданиях, обсуждениями в модных литературных клубах, а также стихийными читательскими конференциями, участником которых мне приходилось бывать несколько раз, и однажды даже в присутствии автора, П. Крусанова, в ноябре 2000 года, в Петербурге, в стенах его родного издательства «Амфора», у Вадима Назарова (писателя, издателя, автора идеи и оформления серии «Новый век»).

Роман «Укус ангела» получил ту самую известность, которая не может не радовать сердце современного автора и современного издателя. Приведу лишь два из многих анонсов. «Великолепный питерский писатель, один из лучших современных прозаиков, открытие 2000 года, звезда издательства “Амфора”, лауреат Премии года журнала “Октябрь”... Павел Крусанов – писатель настолько хороший (см. “Укус ангела”), что разные идиоты даже обвиняют его в фашизме. Что, безусловно, происходит с людьми безупречно творческими»². «Павел Крусанов владеет всем арсеналом русской литературы от жития и оды до самых последних ее экспериментов в области нового романа. Эта книга полна на глазах сбывающихся пророчеств и прозрачных глубин, на дне которых рыбы беседуют с ангелами. Крусанов написал роман в 65 000 слов, каждое из которых лежит на своем месте, как камень на мостовой»³.

Думаю, сегодня можно говорить о формировании направления, которое, как мне кажется, сложилось на современной петербургской (а может быть, и общероссийской) литературной сцене. Несомненными лидерами этого направления выступают, конечно, сам Крусанов, а также другой автор, теснейшим образом связанный с философией и идеологией романа «Укус ангела». Речь идет об Александре Секацком и его трактате-романе «Моги и их могущества»⁴.

Вновь процитирую анонсы. «Александр Секацкий – это наш питерский Вольтер». «Тексты Секацкого – едва ли не самое яркое и значительное явление на актуальной философской сцене Петербурга»⁵. «Александр Секацкий – философ, оказавший весьма заметное влия-

ние на интеллектуальную атмосферу сегодняшнего Петербурга. Его тексты неожиданны, парадоксальны, провокационны: меньше всего он боится “смутить одного из малых сих”. Секацкий обходится без риторических пауз, сохраняя верность сути дела. Перед нами философия в ее современном звучании – философия, способная ответить за себя»⁶. Даже если учесть поправку на рекламу, данная декларация позволяет говорить не только о самооценке, но и о некой тенденции самосознания, которая оказалась не просто востребованной, но и, несомненно, знаковой.

1

Критика уже писала о романе Крусанова, что сюжет «Укуса ангела» – альтернативная история Российской империи; его смысл (или один из смыслов) – грядущие геополитические баталии, когда стратегическим партнером России явится Китай, а естественным стратегическим противником – атлантисты, штурмовой отряд Запада. В этой альтернативной истории, обошедшейся без Октябрьского переворота и Второй мировой войны, императором России становится сын китайской девушки-хунхузки и русского офицера Иван Некитаев, любимец женщин и армии, герой всех последних войн, человек немыслимой жестокости и нечеловеческой мужской привлекательности, губернатор Царьграда – мы видим, таким образом, что сакраментальный вопрос о Константинополе (чьим он должен быть?) решается у Крусанова наконец-то в пользу России.

Критика отмечала также, что философией романа выступает агрессивная военная доктрина и программа литературной реконкисты, что в геополитический дискурс романа вмонтированы мифологемы в качестве секретного оружия – нибелунги сражаются в Штутгарте с кубанскими казаками, на Саратов обрушиваются полчища летучих мышей, пьющих кровь у младенцев, а на Европу посылаются Псы Гекаты как свежий аргумент геополитики и последнее средство, которое призвано спасти Империю от расползания и крушения. «Крусанов спустил на Европу всех собак. Унижение Европы для русской словесности беспрецедентное. “Укус ангела” – вырванный шмат мяса из тела европейской культуры. Какая муха укусила Крусанова? Как этот роман будет сосуществовать со всеми прочими текстами русской литературы? Абсолютно непонятно» – так заканчивается один из разборов этого романа, окрестивший «Укус ангела» «русскими челюстями»⁷.

Пружина романа, самого идеологического (идеологически агрессивного) текста последнего десятилетия, – прежде всего в философии

власти, тесно завязанной на сверхсекретные политтехнологии, которые должны обеспечить России ее истинного владыку. Россия изнемогает; люди-немоги не в силах сделать те самые *три шага в сторону*, которые встряхнут ползающую во прахе и ничтожестве Святую Русь.

И только старый мог-пламенник способен найти России ее государя, помазанника небесного, который повенчается со страной, пребывающей без него во вдовстве. Мог должен отыскать *природного* государя, *меченого* – такого, будто ангел его поцеловал, но не с печалью, а со страстью, с прикусом. Именно моги, по версии романа, обнаруживают и приводят к власти в России Ивана Некитаева, прозванного Чумой, – дерзкого, непредсказуемого, бешеного, безжалостного, невероятно удачливого, – который завоюет для России весь мир.

Для воссоздания царства сакральной иерархии со священным государем на вершине требуется ритуально очистить мир, высвободить хаос, вызвать из потусторонних сфер демонические силы, чтобы погрузить землю в вакханалию дикого ужаса и начисто стереть прежнюю матрицу мира. «Бог снес мир, как наседка – яйцо. Но устал его высиживать и пошел поклевать зернышек. Теперь мир обречен. День ото дня он становится хуже и в конце концов протухнет. Тогда Бог выбросит мир в помойное ведро – это и будет светопреставление... Я не хочу, чтобы мир протух. Я хочу вывести из него цыпленка или разбить в яичницу» (К.: 158–159)⁸, – говорит Некитаев, уже созревший к действию.

Моги – это и есть тот рычаг, который обновит протухший мир (вспомним знаменитый рецепт из «Бесов»: «Нам ведь только на раз рычаг, чтобы Землю поднять» (10: 325)). Старый Василеостровский мог Бадняк, самый искусный из всех могов империи, распознает в тринадцатилетнем кадете Некитаеве государя Руси небесной. Государя, который сможет приручить страх, сказав себе однажды, что ужасом владеет всегда кто-то один. И тот, кто владеет ужасом, владеет миром.

Моги и их могущества – это и есть секретная политическая технология осуществления хаоса, рецепт по претворению Божьего дара в яичницу. Мир, как его видят моги, разделен на могов и немогов. «Человек становится могом, присваивая себе могущество, доступное ему, но по ряду причин не данное природой непосредственно» (С.: 13). Для обретения скрытого могущества нужна дерзость и решительность, нужно «отменить расписание», бросить вызов миру запредельных возможностей, адаптировать себя в нем. Моги не признают священной серьезности таинственных сил; они с этими силами работают. Мог не отрицает наличие замысла, он стремится увидеть этот замысел в инерции каждодневной запрограммированности, он хочет так освоиться в божественном миропорядке, чтобы, овладев им технологически, его сокрушить.

Философия и религия раз и навсегда заменены у могов – практиками, то есть совокупностью приемов, техник и процедур. Нравственность и этика могов жестко ограничена – любознательностью и дерзостью. Классический вопрос: «Человек я или тварь дрожащая, тварь я дрожащая или право имею?» – экстремально продвинут: согласно идеологии *можества*, Раскольников выглядит всего лишь хвастливым немогом, ибо дело не в том, *имеешь ли ты право*, а в том, *можешь ты или не можешь*. Раскольников – не смог, осуществив свое *право убить* как жалкий и сентиментальный *немог*. Таким образом, тезис «всё дозволено», или другой его вариант: «всё можно» (еще раз вспомним знаменитое: «Россия есть теперь по преимуществу то место в целом мире, где всё что угодно может произойти без малейшего отпора» – 10: 287), радикально меняет модальность. Дело не в том, чтобы дозволили или разрешили, а в том, чтобы, «отменив расписание», осуществить задуманное без спросу.

Тезис: «Бога нет – всё дозволено» – окончательно переосмыслен: Бог – есть, Он – совокупность запредельных возможностей и технологий; и мы, созданные по Его образу и подобию, проникнемся Его силой и присвоим ее себе. Василеостровские (первые в мире), сосновополянские, охтинские и заневские моги Санкт-Петербурга бросают вызов Богу в той части Его общепризнанной характеристики, которая называется *всемогуществом*.

«Я могу» – есть формула основного состояния мога. Мог входит в Основное Состояние (ОС), как в Дом Бытия и практикует из него буднично и привычно, как иные, встав поутру, чистят зубы и ставят чайник. Удача есть *должное, подобающее человеку*; и мог всегда пребывает в состоянии удачи, в совершенстве владея собой, своим телом и своим настроением. Успех – это униформа мога, его повседневное, рабочее одеяние, которое «экологически» избавляет того, кто ее носит на себе, от вечных сомнений, чувства вины, томления духа. И когда никакая муть не проникает в ощущение «Я могу», успех гарантирован, практика получается сама собой. То неотразимое обаяние и очарование, которым феноменологически обладает мог, воссоединенный со своим могуществом, дает ему огромную фору во всех сферах жизни. Любопытно, что внешняя имитация состояния «Я могу» имеет много градаций: от плохой карикатуры до внешнего подобия, однако именуется они наглостью или хамством. «Наглость отличается от ОС не только “отсутствием начинки”, то есть внутренней пустотой (как чучело от живого существа), но и ответной реакцией: вместо любования, дружелюбия, своеобразной любовной снисходительности, уступчивости, наглость вызывает у немо-

гов робость, переходящую в ярость. С позиций кодекса могов наглость наказуема, ее проявления пропускать мимо ушей “не рекомендуется”. Присутствующий при вспышке наглости мог или стажер производит “санобработку” – сбивает спесь тем или иным способом» (С.: 29).

Моги отлично понимают, как оцениваются их практики с позиций культуры. Они знают, что принцип «Я могу» глубочайшим образом репрессирован традиционной культурой. Всякая практика пребывания человека в ОС, утверждающая его могущество, считается аморальной, бесчеловечной и преступной, угрожающей пребыванию обычного человека в мире обычных ценностей, «низкомерии». Космогония могов, по версии А. Секацкого, частично описана в Евангелии от Иоанна: «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог» (Ин. 1, 1). Победа *Логоса* над *Могосом* на каком-то раннем этапе человеческой истории обеспечила разуму торжество косвенного, а не прямого пути, торжество знания и интеллекта с его внешними подпорками (текстов, инструментов, приборов) над могуществом и можеством. Ибо «могу» – это больше, чем «знаю» или чем «обучен». «Могу» – это и *могу знать*, и *могу обучиться* и вообще *все могу*. Мстительная культура разместила адептов поверженного учения (*Могоса*) среди демонов – порождений ада. Таланты, творческие взлеты поэтов и художников приписаны *Логосу* как приобщение к вечности. «Почему освящен только один путь к созданию подобий, да еще и самых безопасных и трудоемких? Может, кто-то заинтересован навечно приписать могущество к условности и прославляет это всячески как гениальность и божественность? Вдруг кто-то боится конкуренции?» – размышляет крупнейший Василеостровский мог по имени Зильбер (С.: 39–40).

Моги действительно считают себя конкурентами – соперниками Бога. И если основным приемом общения с Демиургом у поклонников *Логоса* является молитва-просьба (то есть, с точки зрения могов, средство унижения), то основным приемом адептов *Могоса* являются приемы овладения и присвоения, практики захвата (то есть средства возвышения). С немалым кокетством моги Секацкого демонстрируют свою демоническую силу и свои чары – то есть те силы и приемы, которые скрытно присущи всем человеческим существам без исключения, но у немогов они связаны, а у могов – «всегда под рукой».

Мог бесконечно удивляется, какая ничтожная горстка людей пыталась и сумела вырваться из неможества. Немогов характеризует поразительная неспособность хотеть, невероятная мелочность желаний. «Как можно не хотеть власти над собственным телом и телами других, не хотеть бессмертия, не хотеть того, чтобы материя была покорена твоей воле, – а ведь не хотят. А чего хотят – просто уму непостижимо – какой-то ничтожной прибавки к тем пустякам, которые уже имеют.

С точки зрения мога, скучно не то что обладание этими пустяками, их даже лень желать, не хочется тратить драгоценную субстанцию воображения, концентрат желания на перераспределение скудной наличности немога. А ведь немоги обсасывают эти крохи желаемого часами. Днями, месяцами, годами. Поколениями и столетиями» (С.: 94).

3

Все практики могуществ основаны на тотальном или частичном подчинении чужой воли, на совершенстве манипуляций податливым человеческим материалом, причем тело подопытного человека на момент эксперимента само становится исполнительным механизмом. И здесь опять проступает жесткая разница: культура опирается на свободную волю суверенного человека и его добровольное согласие; моги и их могущества устраниют подчиненную волю в качестве посредника и вообще обходятся без нее. Ибо технике мога доступно дистанционное управление телом немога как инструментом; в то же время воля немога наглухо заблокирована, обойдена и не сопротивляется даже саморазрушению тела.

Разминкой могов бывает *порча*, наведенная на случайного человека. Мог может наказать немога, лишив его на нужный срок дара речи, или дыхания, или других естественных функций тела. Мог может применить *заморочку*, стравив, например, в немотивированную ресторанный драку близких приятелей. Подмена, наваждение, путаница («бес попутал»), переадресовка действия, многообразные блуждания, плутания и метания – мог забавляется всем этим арсеналом секретного оружия, пользуясь случайно попавшимися под руку бедолагами-немогами. При этом сам мог ничем не рискует, ибо защищен экраном – полным господством над внутренним состоянием и отточенной техникой безопасности. Человек становится могом, когда его предельное желание сходится с предельной волей, и это их единство – страшная сила, способная создавать поле влияния космических масштабов.

С точки зрения могов, главный вопрос методологии истории не вопрос «как?» и не вопрос «почему?», а вопрос «кто?» *Кто* – и *зачем*? – отвалил человечество от резервуара прямой энергетики познания? Ведь человек в истории действует, исходя из принципа «не могу». Но если знать о другом принципе – «могу» – и реализовать его, откроется угол зрения с иными контурами. И в истории уже не раз срабатывал императив «нет ничего невозможного».

Если в начале действительно было Слово, перед человеком в истории расстилаются два пути. Первый – расслышать и повторить вещное

Слово, осуществив принцип «могу» и добившись обратной связи с Демиургом. Идя вторым путем, можно в лучшем случае узнать из контекста готового мира о первом импульсе, осуществив принцип «знаю», который моги сравнивают с бегом в мешке с завязанными глазами. Тот, кто *знает*, может докопаться до истины; тот, кто может, поймет, кто и зачем ее так глубоко закопал. *Поиск истины или тяга к присвоению мощи* – вот истинное различие между логом и могом, между наукой и могуществом.

Итак, василеостровские моги овладели практикой обнаружения в любом объекте его слабейшего звена, точки перегиба – от стеклянного стакана до глобального мироустройства. Называется это «найти слабую струнку», или, на сленге могов, «взять струнку». Оказывается, однако, что все практики, все технологии, все приемы и все процедуры, даже самые тонкие, самые искусные, такие, как Большая Ката и его апофеоз Белый Танец, направлены к достижению одной цели. Конкуренция с Демиургом проходит по линии именно этой самой точки перегиба. Мог не претендует совершить акт создания, он не может снести то самое яйцо, которое, по беспечности Бога, может протухнуть или треснуть. Мог может – и на это нацелены все его практики и все его ресурсы, – разогнавшись в Большой Кате, ритуальном танце, выявляющем все потенциальные трещины и разломы, так раскачать основание мира (Белый Танец), что он в конце концов сорвется со своей оси. Лучшие из могов Санкт-Петербурга совершенствуются в практиках, которые синтезируют катастрофу из микрокрушений и направляют ее на тотальную концентрацию несчастных случаев.

Тот самый василеостровский мог Бадняк, вызвавший к власти Ивана Некитаева, по прозвищу Иван Чума, и сам ставший его государственным канцлером, готовится к последнему Белому Танцу – официальной эсхатологии могуществ. Время выхода романа – как и время выхода в свет записок «Моги и их могущества» – совпадает с генеральной репетицией последнего и временем окончательного мирового события. Белый Танец исчисляет линии скрытого напряжения мира и наносит по ним сокрушительный удар. Разрушения выстраиваются по нарастающей, инициируя новые катаклизмы и катастрофы. Когда инициация достигнет апогея и Белый Танец станцуют все моги вместе, осуществится *скоросшивание разрушений в единство Апокалипсиса* – тогда затмится сияние мира и он погрузится во тьму.

Белый Танец – апофеоз уничтожения, смертоносный вихрь разрушения, венец могущества, ибо, считают моги, разом устроить гибель всего созданного ничуть не легче, чем мир создать. (Смертоносное ядерное оружие, как зафиксировано в романе Крусанова, было уже применено Россией и оказалось на удивление малоэффективным.) Мотивация действий разрушителя не имеет никакого отношения ни к психологии,

ни к морали, и чем более продвинуто могущество в обретении мощи, тем слышнее ему музыка гибели. Моги и их могущества одно за другим вытягиваются в неотвратимую эсхатологию, свыкаясь с идеей предстоящего рукотворного Апокалипсиса. По стратегическому убеждению могов, «человек не стремится к гибели, это мир стремится к гибели через человека» (С.: 159).

4

Петербургская историко-философская фантасмагория Крусанова – новое свидетельство того, как в России некие люди-логи в неукротимом стремлении к власти и могуществу захотели «всё попробовать»; того, как беспредельно расширился диапазон пресловутого *«всего»*, а также того, какие беспрецедентные рычаги могут быть задействованы для достижения властных целей. Власть кесаря, укрепленная можеством мога, оказывается *новой практикой*, не описанной у А. Секацкого и не проверенной в предварительных тренировках питерских могов, обычно политически пассивных («никакого интереса моги образца 1970-х к так называемой “общественной жизни” не проявляют, область их пересечения с властью кесаря следует считать ничтожной» (С.: 159).

«Укус ангела» – это картина мира, где работает уже запущенная машина Апокалипсиса. Ее машинистом и рулевым выступает русская властная элита – царь и царедворцы, моги и логи, интересы которых в роковую минуту истории дерзновенно совпали, так что теперь все они вместе нащупывают на теле России катастрофические разломы и *берут струнку*.

Россия, ее история, ее реальное и метафизическое существование в контексте романа Крусанова оказываются ахиллесовой пятой бытия всего человечества, его слабым, слабейшим место. Роман кончается на том пируэте Белого Танца, или в тот момент прогулки по кромке творения, когда действие необратимо и точка возврата пройдена; танцующие, или заглядывающие за пределы сущего, уже не могут оставить свою крошечную затею. Момент, когда еще можно было спасти мир и себя – безнадежно упущен. На Дворцовой площади Санкт-Петербурга и в его окрестностях моги неистово репетируют Белый Танец; во дворце графа Воронцова под Алупкой, на заседании Имперского Совета русский император Иван Чума с помощью своего госканцлера мога Бадняка решается овладеть последними бастионами мироздания, чтобы превратить их в неотразимый аргумент власти.

И наконец, в «Укусе ангела» изложена идеологическая программа «овладения хаосом», созданная другом детства Ивана Чумы Петрушей

Легкоступовым (двойником Петруши Верховенского). Эта программа должна обосновать то, что позже, с санкции императора, будет принято могами как руководство к действию.

Предчувствие надвигающейся тьмы – самое сильное переживание наших дней.

С понятием «хаос» сопряжено важнейшее устремление современного мира. Мы присутствуем при начале его деятельного наступления.

Хаос расширяет свое влияние, прививая вкус к смещенной реальности, размывая привычные представления о возможном и невозможном.

Мы стоим вплотную к приходу в мир демонов ада. Темная материя восстанет на того, кто наивно считал себя ее покорителем. Атеиста удущит демонопоклонник, а скептика растерзают бесы.

Русское эсхатологическое сознание помимо страха ощущает и нечто радостное в приближении Господина хаоса, ибо он, как истинный Антихрист, есть искаженное отражение Христа у скончания времен.

Те, кто решился постичь хаос, кто имеет силы, волю и мужество противостоять и разуму, и безумию, восклицающему: «После нас хоть потоп!», дерзко и радостно заявляют миру: «После потопа – мы!»

В этом смысле и роман П. Крусанова «Укус ангела», и трактат А. Секацкого «Моги и их могущества» можно рассматривать как нечто из практик, протекающих в режиме художественного самопознания. Своего рода литературный телекинез – с применением реактивных сил и адресовкой импульсов в критические точки.

Вопрос заключается только в том, являются ли сочинения авторов-логов диагнозом сегодняшнего состояния умов и грозным предупреждением (чем и должна заниматься настоящая литература), или же их совокупные художественные усилия – коварный технологический прием, эзотерическая инициация, в рамках которой создаются ускорители разломов и синтезаторы катастроф нового тысячелетия.

Но тогда тексты и их сочинители – это те самые посланцы хаоса, который и впрямь расширяет свое влияние, прививает вкус к смещенной реальности, размывает привычные представления о возможном и невозможном. В конце концов и Достоевского порой упрекали в том, что он не столько предупредил мир о грядущей бесовщине, сколько магией искусства вызвал ее к жизни. Ведь в «Бесах», устами Петра Верховенского, было объявлено: «Мы провозгласим разрушение... почему, почему, опять-таки, эта идея так обаятельна! Но надо, надо косточки поразмять» (10: 325).

Если это так, то обе книги, возделывая «Общую теорию русского поля» и находясь в глобальной полемике с автором «Бесов», как раз и реализуют один из пунктов идеологического обеспечения Петра Легкоступова / Петра Верховенского – о начале деятельного наступления хаоса.

И тогда никакие «зашуганные москвичи» (мастера своего дела, способные подчинить себе волю мога, «зашугать»), по остроумному замечанию А. Секацкого, не в силах помешать этому уже необратимому процессу.

5

Свою философию А. Секацкий называет *номадической*, а себя, соответственно, *номадом*, странником по философским мирам. Попадая в мир классических авторов, Секацкий не скрывает усталой насмешки. Земля, где обитают «стражи духовности» (так называет номад учителей, инженеров, библиотекарей, музейных работников – всех, кто принадлежит к корпусу интеллигенции), бесплодна и безжизненна. Она превращена «стражами» в территорию, оформленную бессмысленной и хаотичной мозаикой, а пищей служит опротивевшая цитатная каша из общеизвестных высказываний. «Современные стражи духовности – это жрецы библиотечных алтарей, загипнотизированные в свое время учительской указкой и пребывающие в убеждении, что их продолжающийся сомнамбулизм и есть та самая духовность, дающая жизнь новым произведениям культуры. Гость, попавший в эту страну, вскоре начинает легко распознавать ее подданных даже по внешним антропометрическим признакам. Тут и привычка произносить некоторые слова с придыханием: соборность, софийность, Пушкин, Достоевский, в греческом зале, в греческом зале... и привычка к законопослушному почитанию всех канонизированных авторов, причисленных к статусу классика»⁹.

Раздражают номада и канонизированные смыслы. «Поиски смысла жизни... Единство истины, добра и красоты... Умом Россию не понять... Категорический императив... Звездное небо надо мной и моральный закон во мне... История повторяется дважды – одним словом, в греческом зале, в греческом зале. Вся эта манная каша подается как философский десерт, которым принято потчевать друг друга и жмуриться от удовольствия»¹⁰. Номад фиксирует примитивность и ограниченность «стражей» в выборе единиц хранения и их устойчивых атрибутов – так в «греческом зале» появляется хранитель одной-единственной слезинки ребенка Достоевский вместо владыки морей Посейдона.

Интеллигенция с ее специфическим набором дежурных сентенций, владение которыми дает пропуск в этот самый интеллигентский мир, ассоциируется с пошлостью и банальщиной, примером которой служит Секацкому штамп «красота спасет мир». На рабочем жаргоне интеллигенции этот штамп почти ничего уже не значит, он потерял – от бездумного и бессмысленного употребления – всякую связь с первоначальным смыслом и первоисточником. Так проясняется современное назначение

философской мысли, прогнувшейся перед ожиданиями общества потребления. «От философии требуется единственное – быть модной. Ничего не поделаешь, производство моды и есть основное назначение авангардов». Потому «философия редко претендует на звание основного блюда, оставаясь обычно приправой, метафармакологической добавкой, используемых наряду с другими медиаторами общения – кофе, алкоголем, легкими наркотиками»¹¹. (Такой приправой к роману Крусанова «Укус ангела» и стала философская фантазия самого Секацкого о могах, определив именно литературную, а не философскую моду сезона.)

Мысль философа-номада, раздражительно спотыкаясь о пошлость затасканных формул из классических авторов, отвергая моду на пищевые добавки-наркотизаторы, все же ищет всеразрешающие смыслы на всех путях странствий. В поисках ответов на загадки истории он взаимодействует с выводами классических авторов не как «страж духовности» (то есть архивист) с музейным хламом (с цитатами великих), а как их равноправный (пусть и не равновеликий) партнер. Так под пером номада интеллигентские максимы, вызывающие стойкую аллергию (такие, например, как «особый путь России» – традиционного блюда, приготовленного из «смеси чванства и мазохизма»), обретают свежесть и работают почти что как новое слово. «Среди точных и безжалостных выводов Чаадаева, – пишет Секацкий, – особенно привлекает внимание его предположение о всемирной роли России. Роль эта состоит в том, чтобы демонстрировать цивилизованному человечеству то, чего следует избегать. Несколько десятилетий спустя, рассуждая о полезности социалистического эксперимента, Бисмарк говорил: “Надо только выбрать страну, которую не жалко”. Канцлер, разумеется, знал, что выбор уже сделан, но, будучи ответственным политиком, не торопился договаривать до конца. Полтора столетия, прошедшие с момента исторического прозрения, в чем-то подтвердили правоту Чаадаева: сегодня Россия предстает как лаборатория Фауста, предназначенная для самых опасных экспериментов и потому вынесенная на задворки общеевропейского жилого дома, а для пущей безопасности еще и окруженная стеной (железным занавесом)»¹².

Однако вывод из максимы «Россия – страна для эксперимента» (в контексте Достоевского этот лозунг выражают обычно крайние западники) у Секацкого более чем неожиданный: «Пройдя через цепочку страшных катастроф, занявших ровно столетие (начиная с Порт-Артура), Россия сохранила основное условие своего существования: возможность уничтожить того, кто сегодня сильнейший... Поэтому прохладное отношение к России “цивилизованного человечества” не должно удивлять. Если бы теоретики открытого общества продумали ситуацию до конца, прохладное отношение сменилось бы леденящим

ужасом. Ибо вряд ли сбудется предчувствие Достоевского насчет того, что красота спасет мир. И “всечеловеческая восприимчивость русской души” пока еще до сих пор под вопросом. Но вот пророчество, высказанное другим русским мыслителем в порыве редчайшего исторического прозрения, имеет все шансы сбыться. Речь идет о Никите Сергеевиче Хрущеве и его словах: *мы вас похороним*»¹³.

С позиции мога, считающего Россию слабым звеном, через которую в случае крайней для нее опасности в Большой Мир могут ворваться Псы Гекаты, то есть силы внесистемного зла (в качестве последнего средства), назначать ту или иную страну полигоном для эксперимента – занятие очень опасное, прежде всего для тех, кто занимается назначениями. Ведь эксперимент (особенно в России) может выйти за рамки условий, задач и целей и пойти неконвенциональным и нецивилизованным путем. В любом случае Секацкому, философу-экспериментатору, менее всего нацеленному на сохранение вечных ценностей в философии и культуре, самому приходится работать с идеями и идеологемами из «вечного» набора, охраняемого «стражами духовности». Для решения тех задач, которые мастер эзотерического языка Секацкий ставит в «Прикладной метафизике», других опор, кроме вечных (таких, например, как Чаадаев, Бисмарк, Достоевский), не находится.

6

Надо отдать должное современной философской мысли – она не всегда чурается обозначить свое ученичество, обнаружить свой литературный характер. В этой связи часто вспоминают Альбера Камю: «Хочешь заняться философией – напиши роман». «Ведь русская философия изначально была литературой! – размышляет современный русский философ Ф. Гиренок, представитель «археоавангарда», занятого заботой о поэтической организации философского текста, использованием глубинных ресурсов языка. – Еще в XIX веке Достоевским – до Батая, до Ницше – этот философский проект был реализован. Да так реализован, что его интеллектуального ресурса хватит на многие столетия. Только мы относимся к нему как к литературе, забывая, что наша литература – это философия. Конечно, у нас была специальная философская литература. Но самые крупные русские философы – это литераторы. Самарин – это литератор. Хомяков – литератор, Киреевский – литератор. Как они пишут! Чего стоит язык Флоренского!.. Русская философия возникает и существует как вид литературы...»¹⁴

Чаще всего на вопрос, кого из русских философов знают современные философы Запада, они отвечают: Достоевский и Толстой. «Ино-

гда к этому списку, – утверждает В.В. Миронов, специалист в области философии культуры и онтологии, – добавляют еще одно-два имени, но именно эти два представителя русской литературы позиционируют как русские философы. И это не случайно, ибо русская философия, особенно на стадии своего формирования, органично вплеталась в русскую литературу»¹⁵.

Литература в России переигрывает философию – и показательно, что самые жаростные споры в среде философов (по диплому) связаны с выяснением того, были ли Достоевский, Розанов, Толстой философами или «всего только» литераторами. «Розанов не философ. Он был оригинальный мыслящий человек, возросший на русской литературе» – так понимает ситуацию М. Рыклин, философ из Института философии РАН¹⁶. Философы (выпускники философских факультетов и сотрудники философских кафедр) оспаривают философский статус всех философствующих аутсайдеров и зачисляют их по ведомству литературы, полагая, что снижают этим интеллектуальный потенциал философского романа.

Стало хорошим тоном отрицать сам факт существования такого явления, как русская философия. «Никакой русской философии нет, как нет никакой английской, германской. Есть одна философия. Она универсальна, а не региональна», – категорически настаивает А. Пятигорский, философ «никакой культуры»¹⁷. «Единственный прирожденный русский философ, который в строгом смысле слова никогда не был философом, никогда философией не занимавшийся, который всю жизнь боролся в себе с филологом, с журналистом, – это Розанов. Философа более тонкого ума и большей смелости в русском мышлении не было. Соловьев проиграл борьбу. Самостоятельных русских философов, кроме Розанова (философ религии), не было»¹⁸.

Но вот уже Леонтьев, Толстой, Достоевский (а также Г.Д. Гачев, В.А. Подорога, Д. Галковский), по мнению Пятигорского, Рыклина и др., отнюдь не философы. Современные философы не могут договориться по главным пунктам философии как научного знания: кого считать, а кого не считать философами; что считать русской традицией в философии, а что не считать; есть ли такое понятие, как *русская* философия, или его нет; что (какие статусные, профессиональные, образовательные данные) делает человека философом; достаточно ли уметь философствовать для того, чтобы называться философом, и т. п.

«Российская философия очень разделена, – полагает С. Роганов, специалист по феноменологии смерти, – поколения советских философов вычеркнуты из контекста современной культуры не только в России, но и в Европе. Я выступал в Вашингтонском университете в 2005 году, а еще через полгода в Тюбингене, в Германии, с лекцией “Достоевский и современный вызов биоэтики”. Для американцев До-

стоевский – мыслитель номер один, для студентов из Мичигана “Записки из подполья” – вот философия. У немцев отношение настороженное: они воспитаны на понимании философии в традициях немецкой классики – Кант, Гегель. Когда говорят, что в России нет философии, подразумевают: Россия проспала и не смогла участвовать в обширных комментариях постмодернистской культуры. Но поступками Россия всю эту деконструкцию ценностей Просвещения произвела таким образом, что другим и не снилось»¹⁹.

Русская актуальная философская проза (петербургский вариант) – роман и философский трактат – пытается осознать себя и найти свое место в традиции (философия как литература), независимо от того, отталкивается или притягивается она к этой традиции, бунтует против нее или примиряется с ней. Как показывает опыт, мимо русской философии, то есть Достоевского, Л.Н. Толстого, Розанова, Соловьева она пройти не может.

Примечания

- ¹ Крусанов П. Укус ангела. СПб.: Амфора, 2000.
- ² Playboy. 2000. № 3. Март.
- ³ Крусанов П. Укус ангела. Анонс.
- ⁴ Секацкий А. Моги и их могущества. СПб.: Амфора, 2000.
- ⁵ См.: Секацкий А. Три шага в сторону // Там же. Анонс.
- ⁶ См.: Секацкий А. Прикладная метафизика. СПб.: Амфора, 2005. Анонс.
- ⁷ Афиша, 2000. № 11.
- ⁸ Ссылки на роман «Укус ангела» даются в тексте, страницы указаны в круглых скобках после буквы К. Ссылки на роман «Моги и их могущества» даются в тексте, страницы указаны в круглых скобках после буквы С.
- ⁹ Секацкий А. Прикладная метафизика. С. 44.
- ¹⁰ Там же. С. 45.
- ¹¹ Там же. С. 92–93.
- ¹² Там же. С. 314–315.
- ¹³ Там же. С. 328.
- ¹⁴ Кто сегодня делает философию в России? Т. 1 / Автор-сост. А. Нилогов. М.: Поколение, 2007. С. 55.
- ¹⁵ Там же. С. 158.
- ¹⁶ Там же. С. 255.
- ¹⁷ Там же. С. 204.
- ¹⁸ Там же. С. 208.
- ¹⁹ Что сегодня делается с философией? // Московские новости. 2007. 2–8 нояб.

Перед памятником Достоевскому. Мифология в камне, бронзе и стихах

В 1997 году перед зданием Российской государственной библиотеки («Ленинки») в Москве был установлен памятник Ф.М. Достоевскому работы скульптора А.Ю. Рукавишникова, народного художника России, члена-корреспондента Российской академии художеств, профессора. Памятник вызвал крайне разноречивые, если не сказать сильнее, отклики. «Новый русский Достоевский сидит спиной к читателям Библиотеки и лицом к Кремлю». «Достоевский сидит, едва касаясь копчиком скамьи, а то и вообще соскальзывает с нее». «Как вы объясните необычную “посадку” фигуры писателя?» – на этот вопрос скульптору приходилось отвечать, видимо, не раз. «Я хотел показать сложный, неспокойный характер Достоевского, поэтому и показал: он как бы садится в кресло, но еще не сел или же, напротив, пытается встать, но еще не встал...» Много говорилось о болезненном аскетизме писателя, его внутренней неуверенности, замкнутости и тревоге, нашедших выражение в камне. По сведениям прессы, Рукавишников сделал три варианта памятника Достоевскому, но мэр столицы Юрий Лужков выбрал для Москвы самый «трагический», где писатель изображен страдающим, измученным человеком.

«Боровицкий» Достоевский, как писали и говорили многочисленные критики скульптора, – «это тот мужик, мучимый геморроем, что присел у Библиотеки». Увы, скульптура у входа в «Ленинку» получила в народе название «памятник российскому геморрою».

В октябре 2006 года президент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель открыли в Дрездене, городе, где Достоевский неоднократно бывал и подолгу жил, памятник все того же Рукавишникова. «Неслучайным совпадением, по словам Путина, стало то, что в год 800-летия Дрездена и 185-летия Достоевского памятник открыт именно здесь. «Одним из лозунгов Достоевского было: “Красота спасет мир”, – и это прежде всего относится к гармонии между людьми», – сказал Путин. Он отметил, что открытие памятника знаменитому русскому писателю говорит о том, что «мы живем в едином европейском культурном пространстве». Ангела Меркель в свою очередь отметила, что «открытие памятника Достоевскому – хороший знак для

тесных дружественных отношений между Германией и Россией». Канцлер ФРГ выразила надежду, что люди, которые придут к памятнику, возможно, захотят прочесть произведения Достоевского, а «если они будут читать его в оригинале, это внесет еще больший вклад в развитие двусторонних отношений».

Памятник, изготовленный в 2004 году и тогда же перевезенный в Дрезден, установлен на берегу Эльбы, рядом со зданиями Конгресс-центра, ландтага и нового отеля «Маритим». «Скульптура очень выразительна: *неустойчивая поза подтверждает драматичность жизни писателя. Его согнутая спина как бы несет на себе всю тяжесть человеческих страданий*. У Достоевского здесь не просто лицо – лик. Художник сделал поверхность скульптуры неровной, “рваной”. Особенно впечатляет “разрыв” в области сердца. И главное: Достоевский узнаваем, с его обликом можно мысленно побеседовать»¹.

1

В том же 2004 году скульптор Леонид Баранов создал бронзовый памятник Достоевскому для другого немецкого города – Баден-Бадена. Скульптура была установлена в парке в самом начале центральной улицы Баден-Бадена, ведущей к знаменитому казино, где некогда играл писатель.

«Проигрывавшийся в пух и прах на немецком курорте, Федор Михайлович возвращается в то же место, где он когда-то прогуливался без гроша в кармане и с полной головой литературных замыслов. Возвращается в том образе, который придал ему знаменитый московский скульптор. Статуя, переданная бургомистру Баден-Бадена, – это итог творческих поисков Леонида Баранова, создавшего свою первую версию фигуры писателя еще в 1970 году. После этого образ Достоевского стал центральным для художника. Его последнее произведение должно показать *неустроенность, неустойчивость жизни, столь знакомые по биографии, по дневникам и по романам классика*. Босой Достоевский стоит на шаре, возвышается над миром, сплюснутым под тяжестью гиганта. Герой не ступает по земле, а обречен вечно искать опору, отвоевывать жизненное пространство. Он одет в узкий, непомерно маленький сюртук, его пальцы сведены судорогой, не могут разжаться и не могут собраться в кулак. Кстати сказать, эти неустойчивость и нервность всей фигуры Федора Достоевского уже знакомы москвичам по памятнику Рукавишникова, установленному перед Библиотекой Ленина (сидящий Достоевский Рукавишникова несколько “сползает” со скамьи). Однако у Баранова неприкаянность писателя

доведена до логического конца, до нервного срыва – все-таки место обязывает»².

Пресловутая *неустойчивость позы*, которая призвана выражать страдание, стала – в случае с «Боровицким Достоевским» (то есть с памятником Достоевскому у станции метро «Боровицкая») – предметом насмешек и сатирического обыгрывания. «Замечательно высмеивает Сарабьянов памятник Достоевскому почему-то всевластного в столице скульптора Рукавишникова. Несколько лет назад москвичи отстояли – с большим трудом – от его поползновений Патриаршие пруды, в глади которых он собирался поставить гигантский примус, якобы в память о Михаиле Булгакове. Сегодня Рукавишников отомстил москвичам, в короткие сроки изуродовав Гоголевский бульвар несусветным памятником Михаилу Шолохову. Памятник же Достоевскому остроумцы окрестили «у классика геморрой». И Сарабьянов метко обыгрывает эту шутку.

Как много в гении страданья
При постиженьи мирозданья. <...>
Одежда старого покроя
Не может скрыть больное место.
Доныне было неизвестно,
Что умер он от геморроя. <...>
Вся ситуация не та:
Мир не спасает красота»³.

Скульптура Леонида Баранова для Баден-Бадена, кажется, спорит с той ситуацией, где «рубль раскалывает камень» (Д. Сарабьянов). Почти четыре десятилетия назад Достоевский стал главным героем Баранова. От портретных статуй, полных внутреннего огня и психологического напряжения, до театрализованных сюжетных композиций, от прямого изображения Достоевского до развернутых пластичных метафор. «Впервые в русской пластике образ исторической личности решается столь свободно и многозначно. Баранов стремится постичь суть жизненных ситуаций, в которых писателю приходилось отстаивать свое право на творчество», – замечает искусствовед⁴. В большой серии скульптур Баранова Достоевский являлся в сопровождении своей Музы – она одновременно и его двойник, и постоянный собеседник, и конфидент, и поверенный в делах. Многочисленные композиции с Музой, программная работа «Достоевский. Апофеоз» представляют писателя, преодолевшего гнет сомнений и страданий, обретающего божественную легкость и внутреннюю свободу.

Качество постижения Достоевского, к которому тяготеет Баранов, обнаружилось в полной мере, когда скульптор познакомился с главным

режиссером театра на Таганке Ю.П. Любимовым. К постановке сценической версии «Подростка» (1996) в фойе театра было развернуто «скульптурное» действие, с участием одиннадцати композиций: скульптура расширила сценическое действие, вывела зрителя за пределы зала, достигла предельной концентрации смыслов.

К монументальному («баден-баденскому») Достоевскому Баранов подошел, пройдя через опыт работы для театра, через синтез психологии и символики, философии и поэзии. Поэтому его Достоевский, стоящий босыми ногами на шаре, символе Земли, экспрессивен и эмблематичен. «Герой не ступает по земле, а обречен вечно искать опору, отвоевывать жизненное пространство, бороться с судьбой. Босые ноги скользят по поверхности шара, изъязвленного глубокими трещинами – ранами, пронзающими и сердце писателя. Достоевский ощущает пронзительную неустроенность, несовершенство, неустойчивость жизни, драматизм судеб людей, неуютность и боль всех людей. Это образ духовного странничества, присущий каждому творческому человеку. Оголенные стопы, обжигающиеся о землю, как о раскаленную лаву, – знак незащищенности души. Но писатель видел и другой образ Земли, вселяющий твердость и веру... По-своему эта мысль выражена и в скульптурном портрете. Узкий, сковывающий тело сюртук, изборозжен складками, Духу тесно в земной одежде. Она не может скрыть глубины душевных ран. В рельефе и изгибе складок заключена сила, энергия сопротивления. Широкие кисти рук напряжены, пальцы, как оголенные нервы, сведены судорогой, не могут разжаться, собраться в кулак. Это руки каторжника и творца, деформированные тяжелой физической работой, руки, наделенные недюжинной силой и пораженные болью. Достоевский напряжен и вместе с тем свободен и спокоен. В глубоких прорезях глазниц – лабиринты мыслей, воспоминаний и предчувствий. Герой один, внутренне отчужден от мира, но внутренне неразрывно с ним связан, охватывает его внутренним зрением. Достоевский предстает как мыслитель, он словно овладевает временем. В момент внутреннего прозрения он видит прошлое и грядущее, боль и надежды, отчаяние и радость, равнодушие и веру людей. Виртуозна и энергична сама лепка формы, каждая деталь, складка, выступ поверхности почти что персонифицированы, эмоциональны и усиливают экспрессивно-эпическое звучание статуи. Скульптура овеществляет идею, передает послание, она связана с невидимым космосом мировой культуры, который и определяет истинную ценность любого произведения»⁵.

Достоевский работы Л. Баранова предстает неопровержимым (бронзовым) аргументом в пользу той мысли, что драматизм судьбы в пластическом искусстве, даже и выраженный неустойчивой позой (босой ногой на шаре), может обойтись без плоского намека на интим-

ный физический недуг, столь распространенный при сидячем образе жизни. Соскальзывание со скамьи – скульптурный образ, сделавший из московского памятника Достоевскому скверный городской анекдот, – пример превратно понятой и лишенной смысла символики.

2

Меж тем памятник Достоевскому, как его понимает искусство, это не грудa металла или камня, даже если речь идет о таком «материальном» искусстве как скульптура. Это вечность, запечатленная в образе. «Образ Достоевского в фотографиях, живописи, графике, скульптуре», альбом, подготовленный и изданный сотрудниками Музея Ф.М. Достоевского в Санкт-Петербурге на основе коллекций Музея, доказывает, насколько притягательной была и остается личность писателя для его читателей во все времена⁶ и насколько противоречивым может быть восприятие его характера, внешности, всего его физического и духовного облика⁷.

«Достоевский не всегда современен, но всегда вечен. Он всегда вечен, когда говорит о человеке, когда мучается проблемой человека, ибо он страстно погружается в человеческие бездны и жадно ищет все то, что в человеке бессмертно и вечно», – утверждал Иустин Попович⁸. Вечность, запечатленная в творчестве Достоевского, чутко уловлена в образах поэзии. Памятник Достоевскому, как его понимает поэтическое искусство, этот мощнейший усилитель смыслов, есть вечность, запечатленная в образе. *Памятник Достоевскому* на языке поэзии – это монумент всем нерешенным, срочным и вечным вопросам. Таким видел «Памятник Достоевскому» поэт Б. Слуцкий в одноименном стихотворении.

Как искусство ни упирается,
жизнь, что кровь, выступает из пор.
Революция не собирается
с Достоевским рвать договор.
Революция не решается,
хоть отчаянно нарушается
Достоевским тот договор.

Революция
это зеркало,
что ее искривляло, коверкало,
не желает отнюдь разбить.
Не решает точно и веско,

как же ей поступить с Достоевским,
как же ей с Достоевским быть.

Из последних, из сбереженных
на какой-нибудь черный момент –
чемпионов всех нерешенных,
но проклятых
вопросов срочных,
из гранитов особо прочных
воздвигается монумент.

Мы ведь нивы его колосся.
Мы ведь речи его слога,
голоса его многоголосья
и зимы его мы – пурга.

А желает или не хочет,
проклянет ли, благословит –
капля времени камень точит.
Так что пусть монумент стоит⁹.

Эти стихи, изданные посмертно (Б.А. Слуцкий умер в 1986 г.), не слишком удачны, местами корявы, местами топорны, не слишком благозвучны, порой кажутся едва ли не черновиком, тем не менее искренни и содержательны. Как известно, строй мыслей поэта не выходил за рамки советского миропонимания. Как пишет о Слуцком другой поэт, Илья Фаликов, в 1970-е идеология оставила его. «Он все чаще – намного определенной, чем раньше (“советский русский народ”, “советский русский опыт” – его ранний синтез), – говорил о России, о русской истории, о русском языке. О том, что его никуда не тянет и он остается “здесь”. Кто помнит, “здесь” означало СССР. “Здесь” Слуцкого – Россия. Вряд ли современный человек может разделить со Слуцким построенное на сомнениях и все-таки – оправдание русского экстремиста из бесов Сергея Нечаева.

Нечаев... Прилепили к нему “щину”.
В истории лишили всяких прав.
А он не верил в сельскую общину.
А верил в силу. Оказалось – прав.
– Он был жесток.
– Да, был жесток. Как все.
– Он убивал.
– Не так, как все. Единожды¹⁰.

Признавая кровавость истории, поэт все же оправдывает ее злых гениев. Вопреки великому разочарованию в идеалах революции, он стремится реабилитировать беспощадное время – быть может, потому, что слишком долго был его глашатаем. Фактор Достоевского в этом контексте видится как нечто радикально противоположное той идеологии, которой всю жизнь поклонялся поэт. Но потеснить «монумент» – Достоевского, который «нарушил договор с революцией», поэт не согласен. Он пытается примирить непримиримое, соединить несоединимое. Он утверждает, что революционное сознание не догматично и готово вместить в себя Достоевского («революция не собирается с Достоевским рвать договор»), ибо писатель – неотъемлемая часть культуры и истории. Поэт не хочет жертвовать Достоевским во имя революции, которую тот отринул. Поэт трактует Достоевского даже и еще шире («революционнее») – как основу современной культуры, мысли, языка. Поэт кровно связан с автором «Бесов» историей своей страны. Вопреки беспощадному времени, которое не раз накладывало на Достоевского запрет, поэт раздвигает рамки времени, утверждая, совсем не в духе своей идеологии: «пусть монумент стоит». Такое отношение к наследию великого писателя (не архивное, не музейное, а живое и современное) и есть, по Слуцкому, памятник Достоевскому.

3

Стихотворение недавно ушедшего Льва Лосева «Почерк Достоевского»¹¹ подвижно одной несколько навязчивой идеологемой.

С детских лет отличался от прочих
Достоевского бешеный почерк –
бился, дёргался, брызгался, пёр
за поля. Посмотрите-ка письма
с обличеньем цезаропапизма,
нигилизма, еврейских афёр,
англичан, кредиторов, поляков –
частокोल восклицательных знаков!!!
Не чернила, а чернозём,
а под почвой, в подпочвенной черни
запятых извиваются черви
и как будто бы пена на всём.
Как заметил со вздохом графолог,
нагулявший немецкий жирок,
книги рвутся и падают с полок,

оттого что уж слишком широк
этот почерк больной, *allzu russisch*...
Ну, а что тут поделать – не сузишь.

Образ необузданного, «бешеного» почерка Достоевского, который, по мнению автора стихотворения, есть отражение необузданности самого писателя, имеет название – «*allzu russisch*» (слишком русский). Поэт совмещает два опознавательных знака, две главные, наиболее известные, символические характеристики Достоевского: *слишком русский* и *слишком широкий*, как бы отсылая читателя к словам Мити Карамазова – самой, пожалуй, драматической цитате из Достоевского. «Красота – это страшная и ужасная вещь! Страшная, потому что неопределимая, а определить нельзя, потому что бог задал одни загадки. Тут берега сходятся, тут все противоречья вместе живут. Я, брат, очень необразован, но я много об этом думал. Страшно много тайн! Слишком много загадок угнетают на земле человека. Разгадывай как знаешь и вылезай сух из воды. Красота! Перенести я притом не могу, что иной, высший даже сердцем человек и с умом высоким, начинает с идеала Мадонны, а кончает идеалом Содомским. Еще страшнее кто уже с идеалом Содомским в душе не отрицает и идеала Мадонны, и горит от него сердце его, и воистину, воистину горит, как и в юные беспорочные годы. *Нет, широк человек, слишком даже широк, я бы сузил*. Чёрт знает, что такое даже, вот что! Что уму представляется позором, то сердцу сплошь красотой. В Содоме ли красота? Верь, что в Содоме-то она и сидит для огромного большинства людей, – знал ты эту тайну иль нет? Ужасно то, что красота есть не только страшная, но и таинственная вещь. Тут дьявол с богом борется, а поле битвы – сердца людей» (14: 100).

Все было бы складно и убедительно в поэтическом образе «больного почерка», который «прет за поля», как бы символизируя характер «больного гения», если бы... если бы описание почерка из стихотворения соответствовало истинному, в прямом, графологическом смысле (но ведь Л. Лосев апеллирует как раз таки к графологу, да еще немецкому) почерку Достоевского. Достаточно посмотреть на автографы писем юноши Достоевского к отцу и к брату, как пресловутое «бешенство» увидится не просто натяжкой, а пустым вымыслом. Ровные строки, аккуратные поля, ясный текст, выразительные заглавные буквы. А дальше Достоевский, обучаясь в Инженерном училище, становится профессиональным чертежником, для которого почерк, графика – важнейшие элементы профессии. Век спустя специалисты назовут его письмо каллиграфическим; он сам свое увлечение каллиграфией докажет в «Идиоте», передав князю Мышкину свой «талант», «карьеру». («Вот и еще прекрасный и оригинальный шрифт, вот эта фраза: “усер-

дие всё преодолагает”. Это шрифт русский писарский или, если хотите, военно-писарский. Так пишется казенная бумага к важному лицу, тоже круглый шрифт, славный, *черный* шрифт, черно написано, но с замечательным вкусом. Каллиграф не допустил бы этих росчерков или, лучше сказать, этих попыток расчеркнуться, вот этих недоконченных полухвостиков, – замечаете, – а в целом, посмотрите, оно составляет ведь характер, и, право, вся тут военно-писарская душа проглянула: разгуляться бы и хотелось, и талант просится, да воротник военный туго на крючок стянут, дисциплина и в почерке вышла, прелесть!» – 8: 29.)

«Я мог только видеть множество листов, исписанных тем почерком, который отличал Достоевского: буквы сыпались у него из-под пера точно бисер, точно нарисованные»¹² – таким запомнилось письмо Достоевского его другу и однокашнику Д. Григоровичу. «Достоевский имел диплом Главного инженерного училища, лучшего в России учебного заведения военно-архитектурного профиля, где преподавали лучшие отечественные и иностранные профессора, – пишет современный исследователь рисунков Достоевского. – Качество учебных работ лично проверял великий князь Михаил, что еще более повышало требовательность преподавателей. По свидетельству однокашников, Достоевский, явно скучавший на лекциях по геодезии, фортификации и математике, заметно оживлялся лишь на занятиях по двум дисциплинам: курсе русской словесности и лекциях по истории архитектуры, которая увлекла его почти без всякой связи с будущей инженерной специальностью. Уже тогда будущий писатель восхищался красотой готических линий – этот архитектурный стиль оказался ближе всего к его эстетическим вкусам и ассоциировался в его сознании с тем образом совершенной, законченной красоты, воплощающей в себе добро и истину, которые он напряженно искал в эти училищные годы. В готическом соборе он видел “поэзию”, в камне, “как бы крик всей вселенной”, как говорит один из героев романа “Подросток”. Напротив, словесность, литературное искусство, которому посвящал Достоевский в годы учения все свое свободное время, учила его смыслу и восприятию той идеи “абсолютного искусства”, материально воплощенной “красоты – истины – добра”, которая находилась в основе всего мировоззрения писателя в годы зрелого творчества»¹³.

Исследователи-графологи замечают (это нетрудно заметить и рядовому читателю), что страницы записных тетрадей Достоевского выполнены каллиграфическим почерком. «Сравнивая рукописные тексты к различным произведениям писателя, мы постепенно убеждаемся, что этот “красивый” почерк чаще всего встречается в подготовительных материалах к романам “Преступление и наказание”, а особенно – к романам “Идиот” и “Бесы”, где “каллиграфия” расцветает наиболее пыш-

но и разнообразно. В арсенале писателя не просто много различных почерков, часто соседствующих на одной странице, в пределах одного и того же текста, выполненного даже в одно и то же время, но, можно даже сказать, что Достоевский имел свой специальный почерк для каждой выражаемой им мысли, каждого написанного слова. Этот разнообразный, разноликий “почерк” Достоевского почти невозможно классифицировать: письменные стили, используемые писателем во время работы, плавно перетекают один в другой. Каждый имеет собственное место относительно двух противоположных полюсов – быстрой, напоминающей своим внешним видом колючую проволоку, едва читаемой скорописи и поразительной по своему художественному совершенству “каллиграфии”, которая как бы олицетворяет собой некое идеальное в своем совершенстве художественное слово. “Каллиграфия” Достоевского – отнюдь не простые прописи, не норма, написанная от руки, но целый мир художественных образов, по своему богатству вполне соответствующих с миром творчества писателя»¹⁴.

Образ Достоевского из стихотворения Лосева подорван неточностью, дезавуирован несовпадением с реальностью, заражен тенденциозностью. Ради акцента на «allzu russisch», на этой пугающей (или отпугивающей) «русскости» и совершена подмена (подлог) в описании «предмета исследования» (вряд ли профессор российской словесности, автор биографии И. Бродского Лев Лосев никогда не видел автографов Достоевского): не совпадают приметы, не работают улики-сравнения, сложная связь (человек и его почерк) упрощена, превращена в расхожий миф. То есть читателю попросту предложен иной почерк, который с почерком Достоевского не имеет ничего общего. Если же поэт имел в виду «творческий почерк», то и тут его поэтическая «экспертиза» хромает – для поэтического описания «творческого почерка» потребовались бы совсем иные улики. Их поэт Лосев не обнаружил.

4

«Горю, бледнею, обмираю...» – так, тремя чувствительными, экспрессивными глаголами назвал свое стихотворение о Достоевском поэт А. Кушнер¹⁵. Это стихи – о страхе и ужасе, который внушает поэту гений Достоевского, его творческая мощь, его сила, подобная силам стихий и природных катаклизмов.

Представляешь, каким бы поэтом –
Достоевский мог быть? Повезло

Нам – и думать боюсь я об этом,
Как во все бы пределы мело!

Как цыганка б его целовала
Или, целясь в костлявый висок,
Револьвером ему угрожала.
Эпигоном бы выглядел Блок!

Вот уж точно измышленный город
В гиблой дымке растаял сплошной
Или молнией был бы расколот
Так, чтоб рана прошла по Сенной.

Как кленовый валился б, разлапист,
Лист, внушая прохожему страх.
Представляешь трехстопный анапест
В его сцепленных жестких руках!

Как евреи, поляки и немцы
Были б в угол метлой сметены,
Православные пели б младенцы,
Навекая нездешние сны.

И в какую бы схватку ввязалась
Совесь – с будничной жизнью людей.
Революция б нам показалась
Ерундой по сравнению с ней.

До свидания, книжная полка,
Ни лесов, ни полей, ни лугов,
От России осталась бы только
Эта страшная книга стихов!

Риторика стихотворения (в сущности, это рифмованная публицистика), ради которой поэт жертвует синтаксисом и интонацией, пренебрегает качественной рифмой («ввязалась-показалась», «целовала-угрожала»), допускает нарочитую бессмыслицу (поющие православные младенцы супротив сметенных метлой в угол евреев, поляков и немцев), поступается этикой (схватка совести с буднями жизни), то есть собственнo веществом поэзии, навязчива и противоестественна. Обращаясь к некоему собеседнику-единомышленнику, поэт радуется тому везению судьбы и истории, благодаря которому Достоевский не писал стихов, не

был поэтом. Ибо, полагает автор, если бы Достоевский писал стихи, он бы писал их с таким гибельным восторгом, что поблекли бы Пастернак и Блок, растаял бы в тумане или сгорел от молнии Петербург. Страсти по Достоевскому, будь они поэтически выражены самим Достоевским, обладали бы столь разрушительной силой, что даже революция померкла бы в сравнение с этой стихийной творческой мощью. Поэзия-разрушение, всесокрушающая творческая энергия, смертельно опасное, убийственное творчество, которого Россия, по счастью, избежала – так видит Кушнер гипотетический образ. Очевидно, стихия творчества Достоевского (не воображаемого, а реального) чужда Кушнеру. Вчуже восхищаясь гибельной мощью Достоевского, признавая его беспрецедентное влияние на мировые события, на русскую историю (по Кушнеру, Достоевский не предсказывает, а накликает, накаркивает, а то и провоцирует русскую революцию), поэт делает капитальное жанровое различие, ставя поэзию на неизмеримо более высокую ступень по сравнению с романистикой. Те разрушительные бедствия, которые могли воспоследовать от «страшной книги стихов» Достоевского (будь она написана), смягчились, разбавились, то есть минимизировались: проза, даже очень мощная, не обладает такой силой воздействия, как поэзия. Достоевский-прозаик, романист и публицист есть *меньшее зло*, нежели Достоевский-поэт – именно этот смысл прочитывается в стихах Кушнера.

«Отрицательная» мифология, создаваемая Кушнером, демонизация творческого образа Достоевского – часть общей мифологии, работающей на снижение, крайний случай которой наблюдался в случае с Чубайсом, вдруг «перечитавшим Достоевского» и пожелавшим его разорвать на мелкие кусочки.

5

Такой мифологии пытается противостоять мифология со знаком плюс, как бы во славу Достоевского, во имя углубления смыслов, облагораживания символики, осветления и возвышения образа. Однако и эта «плюсовая» мифология, как и всякая другая, стремится уложить реальность в схему, и таким образом упрощает ее. В стихотворении В. Корнилова, посвященном второй жене Достоевского, Анне Григорьевне Достоевской, показан идеальный, уникальный образ верной подруги и соратницы писателя, «горлицы среди ворон»

Нравными, вздорными, приткими
были они испокон...
Анна Григорьевна Сниткина –
горлица – среди ворон.

Кротость – взамен своенравия.
Ангел – никак не жена –
словно сама стенография,
вся под диктовку жила.

Смирная в славе и в горести,
ровно, убого светя,
Сниткина Анна Григорьевна –
как при иконе – свеча.

Этой отваги и верности
не привилось ремесло –
больше российской словесности
так никогда не везло...

Собственно, о ком еще, кроме жены Достоевского, идет или может идти речь в этом эффектном и ярком стихотворении? Если оставаться в контексте российской словесности XIX века и сосредоточиться только на самых крупных ее представителях, то, методом исключения (неженатые Гоголь, Лермонтов, Тургенев), останутся Н.Н. Пушкина, С.А. Толстая и супруга Чехова актриса МХТ О. Книппер. Быть может, еще Л.Д. Менделеева-Блок. Это они – вороны? Нравные, приткие, вздорные?

Каждая из этих женщин заслуживает отдельного стихотворения, отдельной биографии, жизнь каждой из них не укладывается в скупые порицания и не заслуживает простого «клейма». Да и образ А.Г. Достоевской (урожденной Сниткиной) достаточно искажен. «Ангел», «перед иконой свеча», «горлица», «ровно, убого светя» – здесь каждое слово вызывает протест и спор. Соблазн изобразить вторую жену Достоевского как эталон кротости, уравновешенности, спокойствия в противовес нервному, страстному характеру Достоевского не оправдан. Достоевский как-то писал своему другу А.Н. Майкову: «Знаете ли, она у меня самолюбива и горда. Но если б Вы знали, как я с ней счастлив» (29, кн. 1: 119). То же самое писала о матери и дочь, Л.Ф. Достоевская: «Она всегда была чрезмерно, почти болезненно, самолюбива, обижалась из-за пустяков и легко становилась жертвой людей, умевших ей польстить. Моя мать была немного суеверна, верила в сны и предчувствия, была даже расположена к удивительному дару ясновидения, свойственного многим норманнкам. <...> Этот пророческий дар полностью пропал у нее к пятидесяти годам, как и истерия, омрачившая молодость моей матери. Ее здоровье всегда было хрупким: она страдала малокровием, была нервна, беспокойна, с ней часто случались нервные припад-

ки. Эта нервозность усугублялась той злосчастной украинской нерешительностью, которая заставляет колебаться среди сотен возможностей и вынуждает воспринимать простейшие в мире вещи в драматическом или даже трагическом свете»¹⁶.

Имеет смысл процитировать одно из характерных для А.Г. Достоевской, постоянно мучимой, как и ее муж, предчувствием бед, которое рисует ее нрав: «Я так была болезненно настроена, что, увидав телеграмму, просто сошла с ума; я страшно закричала, заплакала, вырвала телеграмму и стала рвать пакет, но руки дрожали, и я боялась прочесть что-нибудь ужасное, но только плакала и громко кричала»¹⁷. «В их жизни, – пишет современный биограф А.Г. Достоевской, – было то своеобразное нервное устойчивое равновесие, которое устраивало и Достоевского, и Анну Григорьевну. Они часто ссорились и мирились, безумно ревновали, драматизировали обычные житейские факты и неустанно обменивались любовными признаниями... в самом облике Анны Григорьевны таилось что-то неуловимое, что вызывало в памяти современников образ Достоевского. Л.Н. Толстой, увидев Анну Григорьевну впервые, нашел, что она удивительно похожа на мужа»¹⁸. Современники много писали о практицизме А.Г. Достоевской, ее скупости, прижимистости, деловитой расчетливости и тому подобных качествах.

Другое дело, что второй брак Достоевского был действительно счастливым. (Когда писателя не станет и его вдова посетит Л.Н. Толстого, он, прощаясь, скажет ей: «Многие русские писатели чувствовали бы себя лучше, если бы у них были такие жены, как у Достоевского». Быть может, это высказывание автора «Анны Карениной» и стало источником стихотворения.) Однако счастье супружества заключалось вовсе не в ангельском характере А.Г. Достоевской. Сама она понимала феномен отношений с великим писателем в розановском духе. «Мы с мужем представляли собой людей “совсем другой конструкции, другого склада, других воззрений”, но “всегда оставались собою”, нимало не вторя и не подделываясь друг к другу, и не впутывались своею душою – я – в его психологию, он – в мою, и таким образом мой добрый муж и я – мы оба чувствовали себя свободными душой. Федор Михайлович, так много и одиноко мысливший о глубоких вопросах человеческой души, вероятно, ценил это мое невмешательство в его душевную и умственную жизнь, а потому иногда говорил мне: “Ты единственная из женщин, которая поняла меня!” (то есть то, что для него было важнее всего). Его отношения ко мне всегда составляли какую-то “твердую стену, о которую (он чувствовал это), что он может на нее опереться или, вернее, к ней прислониться. И она не уронит и согреет”. Этим объясняется, по-моему, и то удивительное доверие, которое муж мой питал ко мне и ко всем моим действиям, хотя все, что я делала, не выходило

за пределы чего-нибудь необыкновенного. Эти-то отношения с обеих сторон и дали нам обоим возможность прожить все четырнадцать лет нашей брачной жизни в возможном для людей счастье на земле»¹⁹.

Объяснения А.Г. Достоевской и реальный контекст ее отношений с мужем разрушают миф, который творит современный поэт.

6

Стихотворение поэта, переводчика и философа В.Б. Микушевича «Письмо Ставрогина Людмиле» стало итогом многолетних дискуссий автора книги и поэта об inferнальном герое «Бесов» Николае Ставрогине²⁰. На пространстве в 51 строку разворачивается романная и, так сказать, *построманная* биография героя. Поэт, знаток и тонкий истолкователь художественных текстов Достоевского, предлагает оригинальную версию одного из самых таинственных образов русской и мировой литературы.

Людмиле Сараскиной

Случайный гость земли родной,
Гражданские накликав бури,
Я, гражданин кантона Ури,
Писать решаюсь вам одной.
По-прежнему один я в поле
Не воин и не пахарь, нет!
Но, возвратив Творцу билет,
Я вам пишу, чего же боле?
Я прирожденный враг чернил.
Претит мне книжная опека;
Я лишь привычки сохранил
Порядочного человека.
И к неземному рубежу
Приблизившись неосторожно
Я вам, пожалуй, расскажу,
Как я привык шутить безбожно.
Хоть я на Бога уповал
И на далекое родное,
Я девочку поцеловал.
Представьте сами остальное.
Пусть откровенность мне вредит,
Я не забыл, как недотрога
Кричала: «Я убила Бога»,

А Бог действительно убит,
 Но не она его убила.
 Она для Бога лишь могила,
 Откуда сатана глядит,
 Свои показывая рожки
 Так размножаются матрешки:
 Другую каждая родит,
 И растлеваю я другую,
 Как полагается в аду,
 При этом, к вящему стыду,
 Их к самому себе ревную.
 Во всяком случае, до дня
 Пить принужден я эту чашу;
 Я предпочел бы Лизе Дашу,
 Но недоступна мне она.
 А вы не Даша, вы Людмила:
 Мне ваша искренность мила;
 Она давно меня влекла
 И вновь на этот свет манила.
 По-моему, недобрый знак –
 Возврат повесы из-за гроба:
 В России тот же кавардак,
 И тот же мрак, и та же злоба.
 В который раз я слово дам,
 Что возвращаюсь только к вам,
 Привержен гибельному риску,
 И вновь прочтете вы записку,
 Где будет сказано: я сам.

Фрайбург, 7 ноября 1993

Скупое, но в точных, узнаваемых подробностях изложен романский путь «обворожительного демона». «Случайный гость земли родной», одинокий богоборец, возвративший Творцу билет, провокатор гражданских бурь, лишенный осмысленных занятий («не воин и не пахарь»), «прирожденный враг чернил», Ставрогин стихотворения снова решается на исповедь. Письмо-исповедь, написанное в стиле нарочитого подражания онегинскому посланию и адресованное внероманному адресату («вы не Даша, вы Людмила»), значительно отягощает преступление Ставрогина («как я привык шутить безбожно»). Его злобещее преступление («я девочку поцеловал») и то, как он о нем теперь рассказывает, не оставляют никаких сомнений в осознанности сатанинского греха и увлеченности им. Ставрогин Микушевича – моральное чудовище,

растлитель и извращенец, описывающий свои подвиги не без бравады («Так размножаются матрешки: / Другую каждая родит, / И растлеваю я другую, / Как полагается в аду, / При этом, к вящему стыду, / Их к самому себе ревную»). Этот Ставрогин ничего уже не ищет, никого не любит и любить не может, ни на какой новый шаг («новое слово») не способен, и даже не экспериментирует: на веки вечные поставлен он внутрь порочного круга. Ставрогин Микушевича – персонаж дурной бесконечности; сколько бы раз он ни возвращался, влекомый любопытством и искренностью адресата своей исповеди, его всегда будут встречать «все тот же мрак, и та же злоба», и он неминуемо будет заканчивать свой земной путь в петле намыленной веревки.

Неизбежность адского греха с очередной Матрешей, неизбежность петли, неизбежность ада и неизбежность возвращения «повесы из-за гроба», обреченного на новый виток крошечных приключений, – такой Ставрогин слишком далеко ушел от персонажа, которого Достоевский «взял из сердца». Ставрогин стихотворения лишен даже и доли раскаяния, поиска, метания, которые присутствуют в тексте «Исповеди» Ставрогина Достоевского, не претендует на сочувствие адресата и только пользуется чужой искренностью и внешним интересом к себе как способом гальванизировать свои демонические страсти. Живая энергия переживания читательницы Ставрогина, чья искренность ему мила, это та теплая свежая кровь, которую получают упыри и вурдалаки, оставшиеся из ада, для новых путешествий в мир людей. В этом смысле «Даша», которой писал письмо Ставрогин-1, не только недоступна, но и бессмысленна – для целей Ставрогина-клона. Его уход, его возвращение, его предсмертная записка (пресловутое «я сам»), обречены на вечный плагиат, на копирование самого себя; из них выветрился аромат свободной воли, творчества, трагедия самоубийства. Здесь приговор-диагноз Николая Всеволодовича «всё всегда мелко и вяло» доведен до абсолютной точки небытия (всё=всегда).

Все же вряд ли потенциал Князя-Ставрогина в романе Достоевского именно таков, каким его увидел и показал Микушевич. И конечно, Ставрогин стихотворения – принципиально противоположен тому герою, который виделся Бердяеву: религиозная интуиция русского философа рисовала ему иную судьбу Ставрогина за пределами его романной биографии. «Поражает, – писал в 1914 году Н.А. Бердяев, – отношение самого Достоевского к Николаю Всеволодовичу Ставрогину. Он романтически влюблен в своего героя, пленен и оболещен им. Никогда ни в кого он не был так влюблен, никого не рисовал так романтично. Николай Ставрогин – слабость, прельщение, грех Достоевского. Других он проповедовал, как идеи, Ставрогина он знает, как зло и гибель. И все-таки любит и никому не отдаст его, не уступит никакой морали, никакой

религиозной проповеди»²¹. В специальной статье, посвященной Ставрогину, Бердяев, высказывает чрезвычайно важную мысль: «Если мы прочтем религиозную мораль над трупом Ставрогина, мы ничего в нем не разгадаем. Нельзя отвечать катехизисом на трагедию героев Достоевского... Это принижает величие Достоевского, отрицает все подлинно новое и оригинальное в нем... Сам опыт зла есть путь, и гибель на этом пути не есть вечная гибель. После трагедии Ставрогина нет возврата назад, к тому, от чего отпал он на путях своей жизни и смерти»²². Бердяев разгадывает загадку Ставрогина как миф о человеке, как мировую трагедию истощения от безмерности, от дерзновения на безмерные, бесконечные стремления, не знавшие границ, выбора и оформления. Но от безмерности наступает истощение – в этом видел Бердяев разгадку тайны Ставрогина, а не в дурной бесконечности его появлений и уходов. Он – Солнце, истощившее свой свет, потухшее, охлажденное.

«Была судьба Ставрогина до “Бесов”, и будет судьба его после “Бесов”. После трагической гибели будет новое рождение, будет воскресение. И нашей любовью к Ставрогину мы поможем этому воскресению. Сам Достоевский слишком любил Ставрогина, чтобы примириться с его гибелью. Он тоже возносил молитвы о его воскресении, о его новом рождении. Идея всеобщего спасения есть русская религиозная идея. Для православного сознания Ставрогин погиб безвозвратно, он обречен на вечную смерть. Но это не есть сознание Достоевского, подлинного Достоевского, знавшего откровения. И мы вместе с Достоевским будем ждать нового рождения Николая Ставрогина, красавца, сильного, обаятельного, гениального творца. Для нас невозможна та вера, в которой нет спасения для Ставрогина, нет выхода его силам в творчество. Христос пришел мир спасти, а не погубить Ставрогина. Но в старом христианском сознании еще не раскрылся смысл гибели Ставрогина, как момента пути к новой жизни... Наступит мессианский пир, на который призван будет и Ставрогин, и там утолит он свой безмерный голод и безмерную свою жажду»²³. Нетрудно увидеть, насколько далек Ставрогин стихотворения, приверженный гибельному риску и погрязший в сладострастии ада, от Ставрогина, которого воспел Бердяев.

Поэтический миф Микушевича о Ставригине обрекает излюбленного героя Достоевского на дурную бесконечность смерти без воскресения, на монотонное повторение (клонирование) греха, по образцу матрешки, когда «другую каждая родит», и герой-растлитель автоматически растлеивает и другую, и каждую. Если миф Бердяева – это предельное возвышение Ставрогина – гениального творца, которого ждет мессианский пир, то миф Микушевича – это предельное снижение персонажа, замкнутого в порочный круг привычного суицида.

Песня Бориса Гребенщикова «Достоевский» из альбома «Беспечный русский бродяга» (2006) вмиг приобрела широкую известность среди поклонников культового «Аквариума» и за его пределами. Первой строкой песни как заголовком-символом стали пользоваться критики, пишущие о Достоевском или в связи с ним²⁴, намекая на то, что герой песни стал или вот-вот станет персонажем фольклора, как это давно произошло с Пушкиным («Кто свет будет тушить, Пушкин?»).

Когда Достоевский был раненый и убитый ножом на посту,
Солдаты его отнесли в лазарет, чтоб спасти там его красоту.
Там хирург самогон пил из горлышка и все резал пилой и ножом
При свете копилки семнадцать часов, а потом лишь упал, поражен.
А на следующий день под заутреню из центра приходит приказ:
Вы немедленно присвойте героя звезду тому гаду, что гения спас.
Так пускай все враги надрываются – ведь на завтра мы снова в строю,
А вы – те, кто не верует в силу культуры, послушайте песню мою.

Русский романс под гармонь о нелегкой судьбе Достоевского – так называют поклонники «Аквариума» песню из альбома своего кумира БГ. Столь проникновенно, как исполняет ее Гребенщиков, пели только инвалиды в послевоенных электричках. Сквозь видимый и поверхностный абсурд, игру слов и туман невероятных ситуаций, проступают намеки на обстоятельства подлинной биографии Достоевского, смутные смыслы, иносказательные ассоциации. Избегая пафосных слов, лобовых определений и прямых идеологических констатаций, песня в нарочито примитивной манере ставит вопрос, вернее, дает сигнал о месте Достоевского в строю культуры и литературы. На каком посту стоял Достоевский, когда был ранен и убит? Кто тот враг («те враги»), кто надрывается, силясь уничтожить Достоевского-гения? Кто пустил в ход нож против него? Очевидно, те, кто не хочет, чтобы он занимал заслуженное место в строю культуры и литературы. Так понимают смысл песни преданные поклонники БГ – и стоит прислушаться к их трактовкам.

«Раненый и убитый, но живой и спасенный» – это, полагают они, образ гражданской казни писателя, когда жить ему оставалось не более минуты. Ситуация «смерть – воскресение» переводит мысль-чувство песни в регистр темы бессмертия: Достоевский, раненый и убитый, бессмертен, всегда живой. Солдаты заботятся о своем товарище, стоявшем на боевом посту и пострадавшем от вражеского ножа. Здесь целый сгу-

сток ассоциаций: казнь Достоевского была заменена ссылкой и солдатчиной, так что для простых солдат он – свой. Для него они, солдаты, – народ, дорогой его сердцу.

Примечательно орудие преступления – нож, символ коварного, из-за угла преступления: это не пуля, полученная в бою, и не топор идеологического убийцы. Нож, поразивший Достоевского, губит красоту. В текст песни включается самая узнаваемая ассоциация – о спасающей мир красоте. Но здесь афоризм трагически переосмысливается: красота – не только страшная и опасная сила, это прежде всего хрупкая материя, опасность (смерть) грозит ей самой, и не она спасает, но ее спасают. Средством спасения красоты оказывается опять же нож – нож хирурга. Спаситель-доктор, спасая пациента, падает, пораженный смертельной усталостью и собственным врачебным подвигом. Красота inferнальна: ибо она спасает и губит. «Красота (это страшная сила)» – называется одна из песен предыдущего альбома «Аквариума».

Красота это страшная сила
И нет слов чтобы это сказать
Красота это страшная сила
Но мне больше не страшно
Я хочу знать
Это делаю я это делаешь ты
Нас спасут немотивированные акты красоты²⁵.

Смысловой код находят и в сюжете с наградой для хирурга-спасителя. «Противоречивость приказа из центра (наградить “гада” звездой героя) отражает неоднозначное отношение к творчеству Достоевского в советское время. На этот же ментальный хронотоп ориентирует число “17”. Но и досоветский “центр” относился к “петрашевцу” (пусть даже будущему “гению”) без восторга. Упоминание “заутрени” заставляет думать, что речь идет не только о советской эпохе, а и о досоветской, и о новой “советскости” последних лет. Страшную силу красоты в финале заменяет “сила культуры”, в которую необходимо “веровать”, т.е. культура подменяет собой культ или, скорее (как в случае Достоевского), желает с ним слиться. Так или иначе, но сила культуры, воистину велика: плюясь и ругаясь, “центр” все же поощряет спасителя “красоты”»²⁶. Б. Гребенщиков обычно отшучивается, отвечая на вопрос, как он придумывает свои песни. Его поклонники, да и многие музыканты любят говорить, что это не он придумывает слова и музыку, а они его²⁷.

Песня Гребенщикова о Достоевском представляет, по мнению знатоков, точную реакцию на «дух времени». Она построена на ассоциациях, которые вызывает в массовом сознании «Достоевский» – слово, имя,

образ, понятие, комплекс смыслов. В целом это ассоциации сочувственные, «жалостливые». Достоевский в совокупности смыслов воспринимается как культурная ценность, которой хоть и угрожает опасность от «врагов культуры» (и поэтому ее нужно защищать и отстаивать), но которая способна преображать мир. Что касается самой красоты, ее нужно спасать всем миром – потому что ослабела, подорвана, обескровлена, как впрочем, и гибнущая человечность.

В заключение мне хочется процитировать высказывание крупнейшего современного писателя Валентина Распутина о Достоевском. «Достоевский стоит не в ряду самых великих имен мировой литературы, впереди или позади кого-то, а над ними, выше их. Это писатель другого горизонта, где ему нет равных. Были и есть таланты блестящие, яркие, сильные, смелые, мудрые и добрые, но не было и нет (и не будет, на мой взгляд) явления в литературе более глубокого, более центрального, необходимого, более человеконаправленного и вечного, чем Достоевский. Человеческая мысль дошла в нем, кажется, до предела и заглянула в мир запредельный... Похоже, что кто-то остановил руку великого писателя и не дал ему закончить последний роман, встревожившись его огромной провидческой силой. Это было больше того, что позволено человеку; благодаря Достоевскому человек в миру и без того узнал о себе слишком многое, к чему он, судя по всему, не был готов»²⁸.

Эту очевидную «неготовность» иллюстрирует и недавнее высказывание Б. Гребенщикова, поэта, в величие и мудрость которого свято веруют и его сверстники, те, кому за пятьдесят, и нынешние подростки²⁹: «Достоевский – ужасно больной человек. Он гений языка, но он больной человек. Читать его безумно сложно. У него страшно тяжелый язык. Он правдивый, но очень тяжелый. Когда человек в себе не гармонизирует действительность, это признак болезни. Потому что жизнь лучше, чем описывает ее Достоевский. Нужно быть чудовищем, чтобы жизнь в своих произведениях сделать хуже, чем она есть»³⁰.

Однако если термин «чудовище» воспринимать в русле поэтики Гребенщикова, то это будет точной рифмой к словам Распутина: Достоевский сделал больше, чем позволено человеку. Впрочем, современные авторы не прочь предъявлять Достоевскому старые претензии: будто дар его сверлящий, дух взвинченный, диалектика гипнотизирующая; что он видит человека во зле, но не видит в творчестве, видит в мрачном страдании, но не видит в светлой радости и любви, и потому его «односторонний» гений представляет собой великую духовную опасность³¹.

Несомненно, это пустые и ложные страхи.

Примечания

- ¹ Европа-Экспресс. 2006. 13 ноября. Курсив мой. – Л.С.
- ² Соловьев С. Достоевский возвращается в Баден-Баден // Новые известия. 2004. 2 сент. (курсив мой. – Л.С.).
- ³ Кублановский Ю. «Рубль раскалывает камень» // Новая газета. 2007. 11–14 окт.
- ⁴ Орлов С. Образы Достоевского в творчестве Леонида Баранова // В поисках утраченного смысла: Достоевский и его европейское путешествие в скульптурах и фотографиях Леонида Баранова. М., 2006. С. 18.
- ⁵ Там же. С. 20.
- ⁶ Санкт-Петербург: Кузнечный переулок, 2009.
- ⁷ См.: Ашимбаева Н.Т. Образ Достоевского глазами современников; Тихомиров Б.Н. Прижизненная иконография Достоевского; Брусовани М. Графические и живописные портреты Достоевского; Дементьева Е. Скульптурные портреты Достоевского // Образ Достоевского в фотографиях, живописи, графике, скульптуре. СПб.: Кузнечный переулок, 2009.
- ⁸ Иустин (Попович), преп. Достоевский о Европе и славянстве. М.; СПб.: Сретенский монастырь, 2002. С. 15.
- ⁹ Слуцкий Б. Судьба: Стихи разных лет. М.: Современник, 1990.
- ¹⁰ Фаликов И. Красноречие по-случки // Вопросы литературы. 2000. № 2.
- ¹¹ Лосев Л. Почерк Достоевского // Знамя. 2000. № 6.
- ¹² Григорович Д.В. Из «Литературных воспоминаний» // Ф.М. Достоевский в воспоминаниях современников. В 2 т. Т. 1. М.: Художественная литература, 1964. С. 131.
- ¹³ Баршт К. Рисующий Достоевский. Графика Ф.М. Достоевского: что это такое? // <http://www.geocities.com/Athens/Ithaca/3880/risdost.html>
- ¹⁴ Там же.
- ¹⁵ Кушнер А. Горю, бледнею, обмираю... // Литературная газета. 2005. 19–25 янв.
- ¹⁶ Достоевская Л.Ф. Достоевский в изображении своей дочери. СПб.: Андреев и сыновья, 1992. С. 105.
- ¹⁷ Достоевский Ф.М., Достоевская А.Г. Переписка. Л., 1976. С. 89.
- ¹⁸ См.: Достоевская А.Г. Воспоминания. М.: Правда, 1987. С. 37.
- ¹⁹ Там же. С. 435.
- ²⁰ См.: Новая юность. 1995. № 1–2. С. 91.
- ²¹ Бердяев Н.А. Ставрогин // Русская мысль. 1914. № 5. С. 80.
- ²² Там же. С. 83.
- ²³ Там же. С. 88–89.
- ²⁴ Так, например, названа статья Аллы Латыниной о романе Б. Акунина «Ф.М.».
- ²⁵ См. текст песни Б. Гребенщикова целиком:
Особенности оперы в Нижнем Тагиле
Совсем не повлияли на мое воспитанье
Меня несло как воздушного змея
Когда всем остальным отключали питание

Скоро я буду баснословно богатым
Но это меня не приводит в смущенье
Я не стану бояться своих капиталов
Я легко найду для них помещенье

Потому что
Красота это страшная сила
И нет слов чтобы это сказать
Красота это страшная сила
Но мне больше не страшно
Я хочу знать

Один Чжу учился ловить драконов
Выбросил силы и деньги на ветер
Жаль что за всю свою жизнь
Он так ни одного и не встретил
Я прочел об этом в старинных трактатах
Прочел и сразу ушел из деревни
Ведь скоро я буду баснословно богатым
И смогу претворить в жизнь учения древних

Потому что
Красота это страшная сила
И нет слов, чтобы это сказать
Красота это страшная сила
Но мне больше не страшно
Я хочу знать

Я буду жить в доме из костей и земли
И с большой дороги будут заходить дети
Чтобы любоваться на мои кристаллы
Сияющие во фрактальном свете
И на семь чудес с семи концов света
Я не стану размениваться на мелочь
Ведь очень скоро у меня будет Это
И я буду ясно знать, что с Этим делать

Потому что
Красота это страшная сила
И нет слов чтобы это сказать
Красота это страшная сила

Но мне больше не страшно
 Я хочу знать
 Это делаю я это делаешь ты
 Нас спасут немотивированные акты красоты
 Красота это страшная сила
 И нет слов чтобы это сказать
 Красота это страшная сила
 Но мне больше не страшно
 Я хочу знать».

²⁶ Ликбез. Литературный альманах // http://www.lik-bez.ru/archive/zine_number_496/zine_critics500/publication527

²⁷ См.: <http://www.bulvar.com.ua/arch/2006/24/448ec08ba0ce5/>

²⁸ См.: *Достоевский*. Материалы и исследования. Т. 5. Л.: Наука, 1983. С. 66–67.

²⁹ См. оценку М. Козырева («Наше радио»): «У БГ – при всей его сложности – есть огромный запас народного доверия... Даже тинейджеры приняли величие этого человека на веру. БГ – это как школьная программа по русской литературе: Толстой, Достоевский, Чехов. Можно не читать, но знают все» (Огонек. 2003. № 8).

³⁰ Из интервью Б. Гребенщикова киевскому журналисту А. Капустину (2008). (<http://www.zn.ua/3000/3680/64211/>).

³¹ См., напр.: *Ландау Г.А.* Тезисы против Достоевского // *Классика отечественной словесности в литературной критике русской эмиграции 1920–1930-х годов*. Хрестоматия. Саранск: Изд-во Мордовского университета, 2009. С. 103–111.

В координатах понимания и ученичества. Солженицын – критик Достоевского

Бытует мнение, что суждения крупного писателя о произведениях других мастеров слова больше говорят об авторе суждений, нежели о критикуемых сочинениях. Пристрастные и взыскательные писательские разборы, как правило, содержат богатый материал по психологии творчества и имеют отчетливый оттенок литературного соперничества. Так Толстой читал Шекспира, а Набоков – Достоевского.

Однако наряду со стихией ревнивого писательского самовыражения живет и другая традиция (хочется назвать ее пушкинской) – когда писатель, становясь литературным критиком и рецензентом, отрешается от собственного творческого самолюбия и перевоплощается во внимательного, даже дотошного читателя и бескорыстного ценителя слова.

А.И. Солженицын – литературный критик и «коллекционер» литературы – наследует именно эту традицию. Медленное, пристальное, всепроникающее чтение – так можно охарактеризовать читательский и критический почерк Солженицына. Обозначу диапазон его литературных интересов: в составе продолжающегося цикла «Литературная коллекция» за последние годы были напечатаны 21 эссе (из 40 написанных), в том числе об Иване Шмелеве, Евгении Замятине, Марке Алданове, Василии Гроссмани, Варламе Шаламове, Евгении Носове, Иосифе Бродском.

В моем распоряжении – написанное в Вермонте в 1992 году эссе А.И. Солженицына с разбором романа Ф.М. Достоевского «Подросток». Это один из двадцати не опубликованных пока этюдов «Литературной коллекции», единственная специальная работа писателя, посвященная произведениям Достоевского. Чтение и осмысление Достоевского, давно ставшие весомой частью духовного и творческого развития Солженицына¹, всегда были свободны от корпоративных недостатков или научных пристрастий, не зависели от академических стереотипов или общепринятых мнений. Так же обстоит дело и с восприятием «Подростка»: писатель даже признался, что удовлетворительного разбора этого романа ему до сих пор не встретилось.

«Как-то так получилось, – пишет Солженицын, – что “Подростка” я никогда не читал, сейчас [в 1992 году] впервые. Знал только, отдельно, в цитатах, эту фантазию Версилова о любвеобильности атеистическо-

го мира»². Таким образом, роман «Подросток» был прочитан в первый раз пятнадцать лет назад, когда основные вещи Достоевского (и художественные сочинения, и публицистика) были достаточно освоены, а ключевые, жизнеустроительные выводы из них – извлечены. Тем интересней общая оценка романа «великого пятикнижия» – не только в свете «остального» Достоевского, но и на фоне своих собственных сочинений: «Подросток» попадает в сферу читательского интереса Солженицына уже после «Красного Колеса». Важно подчеркнуть, что эссе о «Подростке» – это результат первого и свежего чтения; и написано оно так, как вообще пишутся критические статьи о совсем новых произведениях. Такое чтение – *посвежу* – сильно отличается от исследовательского (повторного, многократного) восприятия художественного текста и, несомненно, имеет свои преимущества.

Рассмотрим основные положения критического эссе А.И. Солженицына вместе с кратким, но необходимым, на наш взгляд, комментарием.

1. Мастерство психолога

«От великих романов Достоевского, – пишет Солженицын, – эта книга отличается тем, что [в ней] почти не подняты великие вопросы и коллизии (всё-таки – коснулся). Но именно тут, не ворочая глыбами великих вопросов, он и больше всего выказывал художественное мастерство: тут-то оно и видней всего, в чистом виде, – а в тех романах можно было и усомниться. На простейших бытовых ситуациях и распространённых человеческих страстях – он создаёт роман высокого мастерства, тонкости, высшей напряженности и головокружительного сюжета. В психологии – и всегда у него очень тонкая вязь, глубоко, интересно, часто неожиданно. Но здесь – поразительные пируэты психологии, вихри, каскады догадок, предположений, неожиданных дальних связей. Бездны перемен настроений, скрытых мотивов – непредсказуемая и порой неуловимая психотехника. Охват психологии и проникание в неё – у него сверхчеловеческие. Он пристально услезживает каждый промелькнувший психологический хвостик – и ещё потом использует многие. Неисчерпаем в находках».

Интересно, что для обозначения психологического мастерства Достоевского Солженицын не прибегнул к известному самоопределению автора «Подростка», отвергающего лестное для любого романиста звание «психолог» («Меня зовут психологом: неправда, я лишь реалист в высшем смысле, то есть изображаю все глубины души человеческой» – 27: 65). И если применить это высказывание Достоевского к положениям критического эссе Солженицына, то, надо полагать, ответ писателя критику был бы таков: в «Подростке» проявилась не психотехника и вообще, может быть, не техника в прямом значении этого

слова. «Головокружительным» предстает подлинный мир душевных переживаний Аркадия Долгорукого, юноши со смятением в уме и сердце. И чтобы разгадать тайну души этого молодого человека, необходима не столько психотехника (как инструмент мастерства), сколько «реализм в высшем смысле» – *полное* знание о человеке. На пируэтах психологии далеко не уедешь, мог бы сказать Достоевский, – и только «при полном реализме» «можно найти в человеке человека» (там же). Показательно, что именно это своё качество реалиста (а не психолога) Достоевский считал истинно народным: «направление мое истекает из глубины христианского духа народного» (там же). Но может быть, формула Солженицына: *«охват психологии и проникание в неё у Достоевского сверхчеловеческие»* – как раз и является инвариантом формулы «реализм в высшем смысле»?

2. Прорыв в болезненность

По мнению Солженицына, эта психологическая виртуозность, феноменальная в своей изощренности психотехника порою бывают избыточными, порою даже искусственно нагнетаются. Когда писатель пытается уследить и показать второй, третий и даже четвертый внутренние слои сознания, это может и утомить читателя – и ему уже трудно поверить в реальность изображаемого. Избыток психологии неизбежно прорывается в болезненность, герои теряют над собой контроль и срываются. *«Не свойство ли это самого автора?»* – задумывается Солженицын. Так, *«сложнейший, интереснейший и всю книгу загадочный образ Версилова – крайне упрощается тем, что он просто впадает в сумасшествие. Блистательно, многогранно, многопеременно построенный Подросток – тоже “идёт к душевному заболеванию”... А просто истерику, запредельное возбуждение на грани душевного нездоровья – испытывает и ещё половина персонажей»*.

«Достоевскому, – размышляет Солженицын, – как будто противопоказано понять и передать насквозь душевно-здорового человека, или такой ему неинтересен? По этому контрасту теперь понимаю, почему я всю юность и до тюрьмы отталкивался от Достоевского». Необходимо, однако, отметить, что позже такого отталкивания от Достоевского у Солженицына уже не было. «А если уж теперь [в 1976 г.] говорить о более позднем возрасте, когда появились нравственные вопросы, то Достоевский ставит острее, глубже, современнее, более провидчески»³.

Пожалуй, впечатление Солженицына о душевном нездоровье героев Достоевского и о художественной функции такого нездоровья – самое спорное и проблематичное. Что на языке Достоевского называется сумасшествием? Ведь «душевным» заболеваниям подвержены не только персонажи «Подростка», но и герои других произведений:

«положительно прекрасный» князь Мышкин, демонический Ставрогин, «самоубийственный» Кириллов; «белую горячку» схватил Иван Карамазов. Значит ли это, что все они больны *клинически*, как пациенты соответствующего лечебного учреждения? Ведь тогда бессмысленно винить героев за их проступки и преступления, за идеи и намерения, за то, что в мыслях своих они хотели иметь «полный простор» – и вопрос об их нравственной ответственности автоматически снимается. Тогда следует квалифицировать поведение людей, юридически и нравственно невменяемых, и в этом смысле – безответственных: людей, которых по причине их болезни и психической инвалидности надо просто изолировать от общества, как социально опасных. Но если это так, то возникает вопрос, – в чем же художественная доблесть Достоевского? Изучать истории болезней неизлечимо больных людей, извлекая их из психиатрических лечебниц; показывать всему миру их ущербный разум, их ущербную, помраченную болезнью душу – да это же просто издевательство, надругательство над беззащитным больничным контингентом. Почти садистское удовольствие, аморальное, извращенное занятие, недостойное великого художника. Значит, в случае Достоевского и, по-видимому, на языке Достоевского феномен «душевная болезнь» имеет некое другое измерение, отличное от психиатрической клиники и уголовной практики.

Ведь и у самого Ф.М. Достоевского, еще до эпилепсии, было «нездоровье», полученное в молодости, во время «разных литературных неприятностей и ссор». Это, как мы помним, была «какая-то странная и невыносимо мучительная нервная болезнь», которая прошла «вдруг», как только писатель был арестован⁴. И еще один факт на ту же тему: в разговоре с Всеволодом Соловьевым в 1874 году Достоевский, указывая на какую-то нервную болезнь своего собеседника, сказал ему: «Я отлично понимаю ваше состояние, я сам пережил его. Это та же моя нервная болезнь, может быть, в несколько иной форме, но, в сущности, то же самое. Голубчик, послушайте меня, сделайте с собою что-нибудь, иначе может плохо кончиться... Ведь я вам рассказывал – мне тогда судьба помогла, меня спасла каторга... совсем новым человеком сделался... И только что было решено, так сейчас все мои муки и кончились, еще во время следствия. Когда я очутился в крепости, я думал, что тут мне и конец, думал, что трех дней не выдержу, и – вдруг совсем успокоился»⁵.

Художественный статус «душевной болезни», ее смысл и функция в произведениях Достоевского – должны, очевидно, стать предметом не только медицинского, но и эстетического анализа. Имеет смысл напомнить, что именно о душевной болезни Версилова, о его так называемом «буквальном сумасшествии» говорит Аркадий в финале романа «Подорожник». «Настоящего сумасшествия я не допускаю вовсе, тем более что

он – и теперь вовсе не сумасшедший. Но “двойника” допускаю несомненно» (13: 445–446).

3. Сюжет-интрига

И все же автору «Красного Колеса», анализирующему роман Достоевского, трудно оставаться только на позициях внимательного читателя, коллекционирующего наблюдения над текстом, или внешнего литературного критика. Увлечшись чтением (а писатель не скрывает, насколько сильно увлекся романом), он смотрит на него с наиболее интригующей, то есть творческой точки зрения – «как это сделано», «как задумано» и «как выполнено».

Среди самого главного, что составляет суть романного мастерства, – сюжет, искуснейшее плетение повествовательного полотна. *«Сюжет-интригу он [Достоевский] плетёт как будто из ничего: из десяти пальцев, всего из десятка персонажей, – но как неистощимо изобретательно! Какие бесчисленные головокружительные повороты сюжета! Добивается огромной напряжённости, захвата. А к финалу – умудряется и ещё убыстрить, усилить вихрь перемен и действий. И всё время – новые и новые импульсы-удары по сюжету – не дать ему успокоиться. Нагромождает случайности в таком количестве, что и сам пишет: “сыпались как из рога изобилия”».*

Однако это же стремление Достоевского построить сюжет так, чтобы, *«не дать ему успокоиться»*, порой, достигает, как кажется Солженицыну, обратного результата, – когда писатель динамизирует действие явно искусственными приёмами и эпизодами. *«Общей виртуозной накрученности событий читатель порой уже и не выдерживает. Чуть прервёшься в чтении – уже что-то пропустил, забыл, не помнишь того прежнего, что вдруг упомянуто. Я читал по главе каждый день без перерывов – и то порой не вспоминал: на что тут намёк? на какую прошлую сцену? а это вот отчего: при всех психологических вихрях, бурях, неожиданностях – у него всё-таки недостает в “Подростке” рельефа событий. Все эти психологические зигзаги не умещаются: читаешь дальше, – а что-то прежнее забываешь. Слишком злоупотребляет он и примитивным приёмом неожиданных, неожиданных, неожиданных встреч. Вселение старого князя в убогую квартиру Подростка – и вовсе грубый взлом сюжета. Один только раз сюжет, пожалуй провисает: в начале II части, тут на короткое время не становится ли скуновато?»*

Что можно возразить тезису о безрельфности? Если взглянуть на последовательность событий романа глазами Аркадия, выстраивается маршрут героя по городу и по знакомым, с целью что-то узнать от них, что-то рассказать или что-то передать им. Конечно, этот маршрут хаотичен, – но хаотичен организованно, он подчиняется переменам

мест и времени, куда и когда должен явиться герой. От перемены его решений зависит перемена мест, времени и расписания встреч; им, его внезапным решениям, и подчиняется сюжет. Внезапность решений героя (то есть в конечном счете импульсивность его характера) и связанные с ним перемещения по городу и по знакомым и составляет, на мой взгляд, *рельеф* романских событий.

4. Метод Узлов

Знаменательно, что Солженицын, читавший «Подростка» почти сразу по окончании «Красного Колеса», создавший протяженное многотомное повествование с огромным количеством лиц, втянутых в вихревое действие, обнаруживает в романе Достоевского родственную манеру организации художественного материала. Речь идет о методе, который уже с «Августа Четырнадцатого» назван писателем «методом Узлов», «узловых точек»; то есть такого построения повествования, при котором события огромной протяженности концентрируются на малых отрезках времени. «Я выбираю малые отрезки времени, по две недели, по три, где – или происходят самые яркие действия, или закладываются решающие причины событий. И я описываю подробно только вот эти маленькие отрезки. Это и есть Узлы. Так, по узловым точкам, я как бы всю форму движения, всю форму этой сложной кривой передаю. “Август Четырнадцатого” – первый из таких Узлов»⁶.

С точки зрения Солженицына, испытавшего «метод Узлов» в практике создания огромной эпопеи, в романе «Подросток» тоже применен «метод Узлов». *«Вся I часть – два дня, потом перерыв два месяца. После II части – девять дней беспомысленности Подростка, перерыв. Между бурно взрывной, немыслимо уплотнённой III частью и Заключением – полгода (в нём – традиционное распутывание, закончение сведений.)»*. Солженицынский «метод Узлов» в экстраполяции на роман «Подросток» показан как художественно оптимальный: при таком головокружительном сюжете, кажется, только и возможно повествование по «узловым точкам».

5. Центральные герои

Но конечно, главное внимание Солженицына-критика (и восторженное сочувствие Солженицына-читателя!) направлено на центральных героев. *«Самая большая удача романа, – считает Солженицын, – характер Подростка. С какой же чуткостью это понято, перенято, подхвачено – 55-летним автором! Столь много раз показать нам эти изломы и вспрыги настроений – и ни разу не спуститься до прямых пояснений читателю! Подросток – никогда не знает, чего именно он хочет и в какую крайность кинется через минуту. Капризнейшие извороты ха-*

рактера. Как верно передан возраст! – многоголосно, в многоизломанном движении. Несдержан, неуравновешен, дерзок, всё время срывается, не-терпим, груб, разбросчив... Порывистость и переменчивость подросткового возраста – исключительно удалась, сквозь весь роман, – а ведь как этого трудно достичь, неизмеримо трудно! Удивительные совмещения и чередования несовместимостей в мыслях и чувствах – и сколько раз! Истериические выходки. Всё мечется... То, в доме молодого князя Сокольского, наглая развязность при аристократах; то, вслед, заплакал, узнав, что сестра беременна. Не имея ни опоры, ни обоснования, кидается в наглость против Стебелькова. (И – детское, услужливое рабство в пансионе, у Тушара, когда и была так ранена надолго впродоль его душа...) То вызвать на дуэль князя Сокольского, то тут же – развязная дружба с ним. И “идея” стать Ротшильдом через многолетнее воздержание (антитеза страсти игрока)... Внезапно обнажить мысли в незнакомой компании... Мелочно-злые выпады против женщин (у старого князя; а сам, затаённо, их-то и жаждая)... Чего Подросток хочет от Ахмаковой? Любви, конечно, хоть она постарше его. Но всё это – зыбко переменчиво, и отношения и намерения к ней качаются в огромной амплитуде. И как верно: это позднее раскаяние над платочком бедной матери, к которой при товарищах отнёсся так грубо».

Вне внимания Солженицына-критика, осталась, как мне кажется, тема *развития* характера Аркадия Долгорукого и связанная с этим *проблема самовоспитания*. Ведь идея фикс Аркадия, с которой он начинает свой путь в романе, терпит сокрушительное поражение прежде всего в его душе. Весь рисунок поведения Аркадия, его внутренний монолог в повествовании от «Я» и весь романский полилог существуют для «подрыва» и «краха» ротшильдовской мечты. На это же направлена и форма романа – записанная героем «история его первых шагов» (13: 5), ведь главным союзником Аркадия в борьбе с пошлой мечтой о миллионе оказываются его «Записки», о которых московский воспитатель Аркадия, скажет: «Сим изложением вы действительно могли во многом “перевоспитать себя”» (13: 452). Осуществление ротшильдовской идеи не должно было стать стержнем «Подростка» – на этапах первоначального замысла. Достоевский так формулирует главную идею романа: «Подросток хотя и приезжает с готовой идеей, но вся мысль романа та, что он ищет руководящую нить поведения, добра и зла, чего нет в нашем обществе, этого жаждет он, ищет чутьем, и в этом цель романа» (16: 51).

Роман «Подросток», считает Солженицын, отмечен самой оригинальной фабулой, которая даже и не встречается в русской литературе, – «переменчивым романом между отцом и сыном». «Тоска мальчика по неуловимому, необъяснимому и бросившему его отцу. Главное чувство: разгадать тайну отца, найти в ней высоту идеала (с надеждой, что он во-

обще содержится там), отдаться любви к отцу, но – и что б он же оценил и полюбил сына... – Побранясь с отцом – и тут же кидаться на дуэль за его честь... Какая тонкая разработка психологии! и всё это ещё осложнено двойной ревностью: отца – к Ахмаковой, и: зачем отец бросил мать?».

Не меньшей удачей романа, помимо молодого героя, Аркадия Долгорукого, Солженицын считает образ Версилова – по сложности, загадочности, непостижимости. Солженицына поражает многослойность Версилова: в нем переплетено доброе, разумное, временами мягкое – с коварным, лицемерным, жёстким и несдержанно безумным. *«Сколько раз открываются новые слои. Вот – он несомненно любит сына, проснулись годами не существовавшие в нем отеческие чувства, даже чрезвычайно дорожит его мнением... вот с таким сочувствием выслушивает рассказ сына об Ахмаковой, – а на самом деле это он выведывает для своего шага-удара... (Так и остается подозрение, что его приход к Оле вовсе не был попыткой благодеяния, но поиском клубнички.) Повороты с ним на 180° делаются автором не раз и с лёгкостью, – но они начинают создавать и ощущение истерики. И эта вечная двойственность, и запятанная истерика вдруг разрешаются сообщением о “двойнике” и потрясающей сценой: как душевно завещанную икону Макара – им же, Версильовым, не раз обманутого, и уж кажется так примирясь с ним перед его смертью – вдруг разбивает пополам о печку!»*

Однако, так же как и в других случаях прорыва героев в болезненность, впадение Версилова в буквальное сумасшествие снижает всю ценность достигнутой сложности. Это разочаровывает Солженицына. *«Правда, – замечает он, – и автор [Достоевский] затем отступает от версии сумасшествия – в “двойника”. Но и в его (Версилова) нравственное выздоровление также не верится. И вполне в его духе отказаться от говения так: “Я очень люблю Бога, но вот к этому я не способен”. Да, собственно, про себя же он и говорит: “Женевские идеи – это добродетель без Христа”».*

Здесь, мне кажется, допущено то самое смешение понятий, о котором говорилось выше: «буквальное сумасшествие» и «нравственное выздоровление» все же процессы разного рода – и являются следствиями разных причин.

6. Великие вопросы

Хотя в «Подростке», как считает Солженицын, почти не подняты великие вопросы и коллизии (с чем тоже можно было бы поспорить), от внимания критика не укрылось то обстоятельство, что именно Версильову отдано несколько *«обширно-высоких мыслей»*, и даже собственно все мысли, какие в этом романе есть. Прежде всего, любимые мысли Достоевского о всемирном гражданстве и о том, что высшая русская

мысль есть всепримирение идей. И – рассуждение о дворянской элите («Россия жила лишь пока для того, чтобы произвести эту тысячу избранных»). И – мысль о синтезе русскости и европейства: русский становится наиболее русским именно лишь тогда, когда он наиболее европеец; русскому Европа так же драгоценна, как Россия, каждый камень в ней близок и мил; русским дороги чудеса старого Божьего мира, эти осколки «святых чудес» – дороже, чем самим европейцам.

Очень красивым и выразительным находит Солженицын и монолог Версилова по поводу картины «Асис и Галатея» Клода Лоррена в Дрездене – о минувшем «Золотом веке» человечества. *«Версилу же (но уже очень по адресу) вкладывает [Достоевский] ту ловко скроенную фантазию, как именно с рубежа отказа от Бога люди особенно нежно возлюбили бы друг друга. И как художник – Достоевский сам этой идеей как будто увлекается, строит её с предельным мастерством. И вот примечательный приём: не выставляет ей ни единого словесного возражения тут! (Да ведь Подросток и не способен его изыскать.) А сценой разбива иконы – как молнией освещает и опровергает; то есть возражение дано действием, а не аргументами. И какая же порча души интеллигентного дворянина (из той самой “тысячи” элитарной). И – какой сигнал нашим следующим поколениям. (Но автор переживает: этот разбив иконы вдруг снится старому князю, перебор.)»*

Это наблюдение Солженицына напрямую связано с типологией героев – «версировцев» и «ставрогинцев». У Версилова есть формула, «типичная для эпохи церковного упадка»⁷: «любить людей как они есть: невозможно. И, однако же, должно. И потому делай им добро, скрепля свои чувства, зажимая нос и закрывая глаза (последнее необходимо)» (13: 174). Ведь по-версировски рассуждает и Иван Карамазов. «Я никогда не мог понять, – говорит он, – как можно любить своих ближних. Именно ближних-то, по-моему, и невозможно любить, а разве лишь дальних» (14: 215).

Солженицын подробно останавливается на «экстракте всех промелькнувших важных мыслей», которые переданы в романе разным персонажам.

Это прежде всего идея Крафта («самоубийцы с довольно непонятными мотивами») – о русских как о породе второстепенных людей и о том, что в качестве русского не стоит и жить. Эта мысль, замечает Солженицын, находит почву в социалистическом кружке Дергачёва – русский народ, дескать, есть народ второстепенный и ему предназначено послужить лишь материалом для более благородного племени, а не иметь своей самостоятельной роли в судьбах человечества; потому, считают социалисты, и всякая дальнейшая деятельность всякого русского человека должна быть этой идеей парализована.

И еще одна мысль Крафта впечатляет Солженицына – о том, что в России скрепляющая идея совсем пропала: все живут точно на постоялом дворе и не далее как завтра собираются вон из России. *«В то время ещё нет [то есть скрепляющая идея еще не пропала], но Достоевский угадал на 115 лет вперед»*. И эта же мысль, мучившая Достоевского, находит отклик у заключающего роман «рецензента» – мечтающего о том, что когда-нибудь будет в России хоть какой-нибудь да порядок, и уже не предписанный, а самими наконец-то выжитый... Хоть что-нибудь, наконец построенное, а не вечная эта ломка, не летящие повсюду щепки, не мусор и сор, из которых вот уже лет двести все ничего не выходит...

Немногие из общих идей и *«обширно-высоких мыслей»* оставлено высказать и Подростку. Солженицын имеет в виду характерное наблюдение Аркадия Долгорукого о способности человека (и кажется, русского человека по преимуществу) лелеять в душе высший идеал рядом с величайшей подлостью. На такие противоречия, замечает Солженицын, у Достоевского особенно острое зрение, но может быть порой он видит противоречия там, где их нет? К тому же, замечает писатель-критик, вряд ли способность лелеять противоречия (*«Мадонны и Содомы»*) отличает по преимуществу русского человека – *«нет уж, это – общечеловеческое»*.

7. Женские персонажи

Чрезвычайно выразительными представляются замечания Солженицына о женских персонажах романа. *«Женщины – не удались почти сплошь. Ярче всех – Ахмакова, ибо она, в немногих сценах с ней, переливается, меняется, поражает неожиданностью сравнительно с тем, как о ней уже думали, говорили, истолковывали её мотивы. – А что-то делает её сходной с её соперницей Анной Андреевной, ещё менее показанной. И начинают они чуть смешиваться, да ещё при безрельефной разнице имен: Катерина Николаевна, Анна Андреевна. И мать Подростка – недовоплощённая, хотя ясно: незащищённая, чистая, приниженная душа. С Лизой – один удачный момент, начало дружбы брата и сестры (когда, нагнав на улице, она бьёт его зонтиком по плечу). Но это – не получило никакого развития, Лиза задвинута в тень, и её горькая судьба не трогает читателя. А кто удалась – это Татьяна Павловна. Весь роман насквозь понятная тем, что – обычная заботливость постаревших женщин. А зачем она все эти заботы ко всем прикладывала – всю жизнь вмешивалась в их семью? просто из доброты? и вдруг – внезапной, во мгновение и проходящей догадкой Подростка: да она всю жизнь любила Версилова! и всю жизнь пыталась исправить наделанные им ошибки. (И короткими слезами, отвернувшись, она подтверждает догадку.) Ну, ещё её чухонка-прислуга лаконично выразительная. Оля и её самоубий-*

ство хотя и сильны, но Достоевский в этом повторяется, повторяется. (Ещё Ремизов потом подобное подхватит, повторит.) Мать же Оли чисто функциональна, для передачи сведений и вопросов по ходу сюжета».

Проницательное наблюдение: тайна Татьяны Павловны разгадана в пяти выразительнейших строках, и вряд ли можно сказать о ней лучше. Разве что добавить к сказанному, как выразительно обрисована миниатюрная квартира барыни – старой девы, как много добавляют к ее образу крошечные комнатки, «точь-в-точь две канареечные клетки»; обитые ситцем, они напоминали «внутренность дорожной кареты» (13: 126). Как поразительны ее сверхъестественная осведомленность, и ее умение с ходу то ли влезть, то ли заглянуть в душу всякому; ну, а «вечная преданность» Татьяны Павловны к Андрею Ивановичу Версикову не видна с первого же ее слова только Аркадию.

Незамеченной критическому взору Солженицына оказалась несчастная Лидия Ахмакова, болезненно привязанная к Версикову (заслужившему прозвище «бабий пророк»). Считается, что этот эпизод романа связан с историей отношений Чаадаева и Пановой. Это тем более вероятно, что образ Версикова в ходе работы над романом двигался «от Чаадаева к Герцену»⁸. Однако чутье художника не подвело Солженицына и в данном пункте: яркий, переливчатый, мерцающий образ Ахмаковой содержит, как известно, лично-биографическое впечатление самого Достоевского. (В черновиках к роману «Подросток» четыре раза рядом с именем Ахмаковой стоит имя Е.П. или Ел. Пав-на; Елена Павловна Иванова, невестка сестры Ф.М. Достоевского, Веры Михайловны, могла, как считалось в семье, стать женой писателя, по смерти своего безнадежно больного мужа.)

8. Макар Иванович и религиозная идея

Несколько весомых замечаний относятся к второстепенным персонажам романа. *«Совсем в стороне от фабулы, малоподвижный и вот уже умирающий Макар Иванович – коренная фигура, как единственный тут представитель народного склада и православия. Оазис во всём романе. Без умильности подан, а как убедительно; через него легко, тактично вводится православное мировоззрение – всего на нескольких страницах, единожды. И это солнечно-закатное пятно на его лице. “Великодушно и раз навсегда её простивший”. А вставной рассказ о раскаявшемся купце, и с типично фольклорными преувеличениями, пожалуй, и лишний. Он и сильно отрывает от потока судорожного действия (хотя может быть, и нужен читателю как передышка?)».*

К этому наблюдению о Макаре Ивановиче можно было бы добавить не много. Из воспоминаний Вс. Соловьева известно, как исключительно высоко ставил своего Макара Достоевский. «Он [Достоевский] стал объ-

яснять мне Макара Ивановича... говорил часа два, пожалуй, еще больше, и я мог только сожалеть о том, что не было стенографа, который бы записывал в точности слова его. Если бы то, что он говорил тогда, появилось перед судом читателей, то они увидели бы один из высочайших и поэтических образов, когда-либо созданных художником»⁹. Но все же не только через Макара Ивановича открывает Достоевский в «Подростке» свое искание истинной веры и Святой Церкви. «Маленький и хорошенький» Тришатов, незначительный персонаж из компании Ламберта, за бокалом шампанского в ресторане на Морской, находясь уже в сильном подпитии, говорит удивительные вещи. «Ах, Долгорукий, – обращается он к Аркадию, – читали вы Диккенса “Лавку древностей”?.. Закатывается солнце, и этот ребенок на паперти собора, вся облитая последними лучами, стоит и смотрит на закат с тихим задумчивым созерцанием в детской душе, удивленной душе, как будто перед какой-то загадкой, потому что и то, и другое, ведь как загадка – солнце, как мысль Божия, а собор, как мысль человеческая... Бог такие первые мысли от детей любит... Знаете, у меня сестра в деревне... Мы сидели с ней на террасе, под нашими старыми липами, и читали этот роман, и солнце тоже закатывалось, и вдруг мы перестали читать и сказали друг другу, что и мы будем добрыми, что и мы будем прекрасными...» (13: 353)

Приведу еще несколько наблюдений Солженицына. *«Старый князь – замечательно удался, хотя как будто и мимоходом. Молодой Сокольский – посмутней. А вообще “лёгкое обращение” Достоевского с высшим дворянством кажется надуманным: ведь не знает он эту среду? С неожиданной неистощимостью, уже в 3-й части, автор представляет нам новые фигуры – двух молодых шантажистов при Ламберте – свежо, ярко, вся сцена в ресторане хорошая. (И Тришатов мило фантазирует на темы из Фауста и Диккенса.) Стебельков – ярок, неожидан, но сразу и исчез из действия, автор о нём как забыл».* Очевидно, что милые фантазии Тришатова в читательском восприятии Солженицына не связались с основной темой Макара Ивановича Долгорукого.

9. Искусство портрета и пейзажа. Петербург

Впечатления об искусстве портрета и петербургского пейзажа у Достоевского также переданы через оптику «мастера в мастерской». «Портреты у Достоевского – редко запоминаются: нередко он начинает с детального описания наружности (и нужно усилие, чтоб это вообразить, ещё труднее запомнить), а потом ни разу к наружности не возвращается, ни штришком. Ошибка. – а когда вдруг вспомнит деталь: “не черны были у неё глаза, а слишком черны ресницы” – вот это сразу врезается. Никогда не даёт [Достоевский] топографию Петербурга: кто где живёт, что на какой улице. Это – стесняло бы его фантазию в передвиже-

ниях, темпах, частоте внезапных встреч. Да для него вся жизнь – в движении чувств, материальное окружение и не важно. А жаль: Петербург становится условным городом».

С этим утверждением, на первый взгляд, легко спорить. Петербургские адреса героев Достоевского доподлинно известны и давно стали мемориальными, при всей условности этого понятия в данном случае. Существуют специальные экскурсии и городские маршруты по местам романских событий – дом и каморка Родиона Раскольникова, дом старухи-процентщицы, полицейская контора Порфирия Петровича, дом Сони Мармеладовой, дом Рогожина (ул. Гороховая, 41), сохранивший даже свой исторический адрес, и т. п. Почему же впечатление о Петербурге как условном городе могло сложиться при чтении «Подростка»? Попытка ответить на этот вопрос заставляет вспомнить, что герой романа, Аркадий Долгорукий, москвич, а не петербуржец. В Петербург он приехал только что – с этого и начинается роман. Аркадию не до красот Северной Венеции, имперского столичного города, он занят своей всепоглощающей идеей и погружен в отношения с внезапно обретенным отцом. Он, «из принципа», перемещается по городу только пешком («вот уже третий год как я не беру извозчиков – такое дал слово»; 13: 36), но ничего не замечает вокруг себя. Петербургская сторона, Большой проспект, Фонтанка, Семеновский мост, Васильевский остров, Морская, Обуховский проспект, – он пробегает через улицы и площади, проспекты и переулки, «спеша по делам» и думая только о том, как бы не опоздать к месту встречи или отыскать нужную квартиру. В романе, между тем, имеются точные адреса. «Версиков живет в Семеновском полку, в Можайской улице, дом Литвиновой, номер семнадцать» (13: 122); «Я жил близ Вознесенского моста, в огромном доме, на дворе» (13: 215). Однако эти адреса действительно «работают» в романе исключительно в «почтовом» смысле и почти ничего не значат в художественной топографии романа. Аркадий «летает» по городу, перелетая с места на место: «Я почти бежал, страшно торопился... брел по улицам, совсем не разбирая, куда иду, да и не знаю, хотел ли куда добежать» (13: 267). Таким вот, мелькающим и однообразно чужим, если не враждебным, без Невского проспекта, Аничкова моста и Зимнего дворца, и предстает Петербург взору Аркадия, а именно его глазами видит город читатель.

10. Манера повествования

Полную новизну романа – в сравнении с четырьмя другими великими романами Достоевского – Солженицын видит в том, что повествование ведётся от первого лица. В «Подростке» сохраняется общее свойство всех книг Достоевского: у всех действующих лиц чрезвычайные события происходят как раз сейчас, и время уплотнено до предела, – но это «замечательное свойство, это хорошо, хотя б и однообразно. Хуже – одно-

образность групповых бесед, внезапных знакомств и стыков, как они то и дело возникают». Порой однообразие наблюдается и в столь характерном для главных героев Достоевского приеме «выворачивании себя»: когда прием распространяется на молодого князя Сокольского (тот без надобности признается своей невесте Лизе, что ездил делать предложение другой), возникает ощущение однообразия. «А уж – азартные игры, рулетка, переживания игрока – это ли не однообразие. От своей страсти Достоевский не может не только отрешиться, – но хоть забыть на время». Последнее замечание Солженицына тем более интересно, что ко времени написания «Подростка» Достоевский вот уже несколько лет как покончил с рулеткой – и после него тоже никогда больше не играл.

Отдельный исследовательский (художнический) интерес вызывают у Солженицына «спецприемы» Достоевского по вовлечению читателя в интригу романа – разного рода намеки, оговорки, подстегивания, авансы, забеги вперёд. *«Чтобы повысить и напрячь интерес, автор добавляет (но чересчур уж часто) уловки “загадок”, предупреждений читателю, от себя подчёркивает многопоследственность поворотов сюжета, часто повторяя: “это имело огромные последствия для дальнейшего”, “это было пророчество”, “вот это потом сыграет роковую роль”. Он как бы “каркает” вперёд: какая будет большая катастрофа, несчастье – довольно мелкий (и не нужный ему!) приём подбавить читательского внимания. (Потом оказывается, что и катастрофа-то – меньше ожидаемого.)»*

Солженицын, исходя из собственной писательской практики, пытается понять смысл подключения к авторскому повествованию некоего условного «читателя» – то есть смысл и назначение последней подглавки романа «Заключение». Почему понадобилось Достоевскому письмо-рецензия на всю его книгу? *«Зачем? к тому ж мы не знаем рецензента, его фигура для нас – совсем воображаемая. И мысли рецензента тоже не поражают силой – ну, разве что разъяснение центральной идеи книги: о шаткости молодого поколения, непредсказуемости и опасности, куда оно склонится. А ведь из подростков создаются поколения! – Мысль же о несравненном превосходстве дворянства есть повторение Версилова, да и ценность мысли сомнительная; думаю, что и Достоевский не думал постоянно так».*

В связи с Николаем Семеновичем, московским воспитателем Аркадия Долгорукого, как удобной фигуре для выражения авторского самосознания, существует множество версий. Достоевский включает в роман полемическую авторецензию на него, опережая и упреждая критиков. Он разъясняет свои позиции «гражданина» и «русского романиста», при этом поручает объяснения персонажу постороннему, «холодному эгоисту, но бесспорно умному человеку» (13: 452). Тот факт,

что Николай Семенович излагает мысли, близкие Достоевскому, свидетельствует, как известно, черновая заметка к роману (август 1875 г.): «В финале Подросток: “Я давал читать мои записки одному человеку, и вот что он сказал мне” (и тут привести мнение автора, т. е. мое собственное)» (16: 409). Любопытно было бы рассмотреть мнение Солженицына о «письменной рецензии» условного читателя в свете той традиции, которая сложилась со времен Н.К. Михайловского: в 1876 г. на страницах «Отечественных записок» критик напечатал суждения о «Подростке» в цикле очерков «Вперемежку»¹⁰. Не без влияния Михайловского «Письмо» Николая Семеновича стало восприниматься изолированно от романа – как самостоятельное публицистическое высказывание. Специально писал о «Заключении» «Подростка» и К.Н. Леонтьев; в статье «Достоевский о русском дворянстве» Леонтьев высказался в том смысле, что рассуждение условного рецензента противостоит всему роману и содержит наиболее правильные и значительные мысли автора¹¹.

11. Особенности языка

Как почти в каждом эссе из цикла «Литературная коллекция» разбор Солженицына содержит обязательный раздел для «словаря языкового расширения». Это фразы, словосочетания, слова и словечки из романа, которые писатель считает особо выразительными, афористичными, яркими и образными. Вот некоторые из них, приведенные сплошным перечнем.

«А посади на место Юпитера какого-нибудь литератора – грому-то, грому-то будет!»; «Надо быть слишком подло влюбленным в себя, чтобы писать без стыда о самом себе»; «Идеи пошлые, скорые – понимаются необыкновенно быстро, и непременно толпой, всей улицей. Быстрое понимание – лишь признак пошлости понимаемого»; «Чтобы стать судьей других, надо выстрадать себе право на суд»; «Ищет большого подвига и пакостит по мелочам»; «Кого больше любишь, того первого и оскорбляешь»; «Смех есть самая верная проба души. Хорошо смеется человек – значит, хороший человек»; «Старцу надо отходить благолепно и умирать в полном цвете ума своего»; «Адвокат – нанятая совесть»; «Помилуй, Господи, и всех тех, за кого некому помолиться»; «Умиление, которое так широко вносит народ в своё религиозное чувство»; «Мстительная жажда благообразия»; «Мысли мои закрутились в уме, как осенние листья»; «Ныне (уже тогда! – А.С.) безлесья Россию, обращают её в степь, готовят для калмыков».

Эссе Солженицына содержит подробные наблюдения над языком некоторых персонажей романа. «Хорошим» признан язык Макара Ивановича Долгорукого: нет перебора «народности», которым грешат многие писатели. «Очень мило и по старинному притяжательное: Ма-

кар Ивановичево. А некоторые формы, вероятно тогда обычные, теперь уже царапают, поди-ка так напиши: «ужасаюсь на вас»; «улыбаюсь на лист»; «мне было удивительно на него»; «не от всякого можно обидеться»; «его подозревают помешанным». Вообще же язык Достоевского, считает Солженицын, почти нацело лишён сочных русских слов. «А если вдруг сверкнуло “восклониться” – то сразу три раза в одной главке – небрежность, неотделка. Да бывают часто близкие повторы навязавшихся слов». Среди особенностей языкового богатства отмечены: «на всю распахну», «вызлиться на него», «стомчивый народ», «сообщительно», «накидчивость её на всех».

Спорными, вычурными Солженицын называет выражения: «капризиться», «деспотизировать его». Типичными для слога Достоевского и очень часто повторяемыми писатель находит выражения с наречием усиления «слишком»: «слишком запомнил», «слишком понял», «слишком могу», «слишком ясно», «слишком слышно», «слишком счастлив» и даже «слишком позже» – которыми насыщено и перенасыщено повествование романа. Особо отмечены самые экзотические из выражений с любимым наречием Достоевского «очень»: «мы очень целовались» или «он очень слушал» («он ужасно слушал»); «ну что это!» – критически восклицает Солженицын.

12. «Подросток» и традиция русского романа

Разбор завершается неожиданно парадоксальным выводом о месте «Подростка» в русской литературной традиции. «Этот роман – не в русской традиции, – утверждает Солженицын. – Его манера повествования (впрочем, почти повсюду у Достоевского) – нервная, многословная, возбуждённая, с неотчетливостью высказываний, с множеством оговорок, ускользающих по темным углам. Но и: насколько ж его романы наполненней и напряжённей – и мыслью, и действием – чем вяловатые романы Тургенева. (Хотя и от Тургенева пошла линия “настроений”, которую перехватит и разовьёт Чехов.) А кто же, кроме Достоевского, столь же динамичен? Да, пожалуй, только Пушкин и Лермонтов. Этот роман – не в русской традиции, да. Но, из конца XIX века, он для западной литературы – передовой даже по её меркам XX века – напряженность, динамика и глубина психологизма».

Эссе Солженицына о романе «Подросток» в полной мере оправдывает ставший уже общепринятым тезис о Достоевском как о писателе нашей современности, писателе XXI века. «Достоевский – один из тех, кто создал русскую литературную традицию, и даже больше, самую высшую духовную её струю. Трудно не попасть в эту струю и не испытать её влияния. Он был пророком. Он предсказывал поразительные вещи. Терроризм, крайнее революционерство он предсказал, когда ни-

кто ещё не видел, в 70-е годы прошлого века, в самом зародыше, 100 лет назад. Он, например, предсказал, что от социализма Россия потеряет сто миллионов голов. В это нельзя было поверить. А сейчас подсчитано, что мы потеряли сто десять миллионов человек. Это поразительно»¹².

Вместе с тем Солженицын считает, что после Толстого и Достоевского в русской истории вырыта бездна. Условия жизни в новом веке – как бы из другой планеты. Сознание народа сотрясено до такой степени, что всякие линии связи с девятнадцатым веком и параллели с ним требуют все больше и больше поправок. И только великое искусство Достоевского, его «реализм в высшем смысле», способный проникать во все глубины души человеческой и провидеть будущее, в новом веке заволаживает и потрясает с новой же силой. «По своим духовным установкам Достоевский мне гораздо ближе Толстого»¹³, – признавался Солженицын.

Современному читателю очевидно: Солженицына роднит с Достоевским прежде всего отношение к литературному творчеству – для обоих русских классиков это не словесная игра, не эстетическое препровождение времени, а инструмент познания тайны мира сего и «миров иных». Но сближение Солженицына с автором «Подростка» ощутимо не только в сфере чисто художественной. Оно имеет глубинный мировоззренческий характер – по линии отчетливо узнаваемого, «достоевского» императива: хочешь переделать мир – начни с себя. «Если хочешь победить весь мир, победи себя» (10: 100), – утверждает Шатов в «Бесах»; и эту универсальную формулу нравственной победы произносят самые разные герои – и Фома Опискин («Село Степанчиково»; 3, 137), и Степан Трофимович Верховенский, вслед за Шатовым. «Чтобы переделать мир по-новому, надо, чтобы люди сами психически повернулись на другую дорогу. Раньше, чем не сделаешься в самом деле всякому братом, не наступит братства» (14: 275), – убежден таинственный гость Зосимы.

Эту магистральную линию, заповеданную Достоевским, продолжил в XX веке А.И. Солженицын – и в своем творчестве, и на примере своей личной судьбы. В «Архипелаге ГУЛАГ» он писал: «Если б это было так просто! – что где-то есть чёрные люди, злокозненно творящие чёрные дела, и надо только отличить их от остальных и уничтожить. Но линия, разделяющая добро и зло, пересекает сердце каждого человека. И кто уничтожит кусок своего сердца?...»¹⁴ Оказавшись в изгнании, он повторил эту мысль еще резче: «Мы призываем всех вообще, во всех аспектах жизни, начать с признания собственных ошибок и несправедливостей... Линия добра и зла в мире не разделяет партии на тех, кто прав или виноват. И людей даже так не разделяет. Линия деления добра и зла проходит по сердцу каждого человека»¹⁵. «К Достоевскому я ближе по старанию понять духовную, человеческую сторону процесса истории»¹⁶, – утверждает писатель.

И вот еще одно драгоценное признание. В интервью пятнадцатилетней давности его спросили: с кем из писателей он хотел бы, чтобы его сравнивали? Солженицын ответил: «Сколько писателей – столько творческих методов, сколько писателей – столько стилей. Я не верю в направления, но я верю в ученичество»¹⁷.

Примечания

- ¹ См.: *Сараскина Л.И.* А.И. Солженицын как читатель Достоевского. // Достоевский и мировая культура. Альманах № 16. СПб.: Серебряный век, 2001. С. 186–194.
- ² Фрагменты эссе А.И. Солженицына о романе Ф.М. Достоевского «Подросток» приводятся по ксерокопии оригинала (машинопись), хранящегося в личном архиве А.И. Солженицына. Текст эссе А.И. Солженицына набран курсивом. Выделения в цитатах принадлежат автору эссе и обозначены прямым шрифтом. Курсив в тексте автора книги – мой.
- ³ Телеинтервью на литературные темы с Н.А. Струве // Солженицын А.И. Публицистика: В 3 т. Т. 2. Ярославль, 1996. С. 445.
- ⁴ См.: *Соловьев Вс.С.* Воспоминания о Ф.М. Достоевском // Исторический вестник. 1881. № 3. С. 606.
- ⁵ Там же. С. 611.
- ⁶ Интервью с Бернаром Пиво для французского телевидения. Кавендиш, 31 октября 1983 г. // Солженицын А.И. Публицистика: В 3 т. Т. 3. Ярославль, 1997. С. 173.
- ⁷ См.: *Фудель С.И.* Наследство Достоевского. М., 1998. С. 199.
- ⁸ См.: *Долинин А.С.* Последние романы Достоевского. Как создавались «Подросток» и «Братья Карамазовы». М., 1963. С. 125.
- ⁹ *Соловьев Вс.С.* Воспоминания о Ф.М. Достоевском. С. 611.
- ¹⁰ См. об этом: *Достоевский Ф.М.* 17: 355–357.
- ¹¹ См.: *Гражданин.* 1891. № 204–206.
- ¹² Телеинтервью японской компании NET-ТОКЮО. Париж, 5 марта 1976 г. // Солженицын А.И. Публицистика: В 3 т. Т. 2. Ярославль, 1996. С. 371.
- ¹³ Интервью с Хилтоном Крамером, критиком «Нью-Йорк таймс», в связи с выходом английского перевода книги «Бодался теленок с дубом». 20 апреля 1980 г. // Там же. С. 525.
- ¹⁴ *Солженицын А.И.* Архипелаг ГУЛАГ. 1918–1956: Опыт художественного исследования. Часть первая. Глава IV. Голубые канты.
- ¹⁵ Пресс-конференция о сборнике «Из-под глыб». Цюрих, 16 ноября 1974 г. // Солженицын А.И. Публицистика: В 3 т. Т. 2. Ярославль, 1996. С. 139–140.
- ¹⁶ Интервью с Дэвидом Эйкманом для журнала «Тайм». Кавендиш, 23 мая 1989 г. // Солженицын А.И. Публицистика: В 3 т. Т. 3. Ярославль, 1997. С. 335.
- ¹⁷ Из интервью газете «Фигаро» (Интервью ведёт Франс-Оливье Жисбер). Париж, 19 сентября 1993 // Там же. С. 442.

«Россия опять собирается с мыслями...» Достоевский и Солженицын от первого лица

В анкете «Литературной газеты» «Год Солженицына» (1991), как только улеглась первая волна полемики вокруг статьи «Как нам обустроить Россию», мне, в числе других литераторов, довелось высказаться по поводу публицистической и мировоззренческой позиции автора «ГУЛАГа». Еще был жив СССР, еще президентом был Горбачев, еще заседал Верховный Совет Союза, и проблемы обустройства России имели во многом другое значение, нежели сегодня. Но загадочное молчание «вермонтского отшельника» о грандиозных переменах в Отечестве, длившееся несколько перестроечных лет подряд, было наконец нарушено – и общественное нетерпение получило хотя бы некоторое удовлетворение. Во всяком случае, те, кто напряженно гадал, под чьи знамена в случае чего встанет главный русский писатель современности, кого и куда за собой позовет, что и где возглавит, заимели новую и свежую пищу для размышлений. Другое дело, что надежды заполнить Солженицына на роль духовного вождя той или иной партии сменились всеобщим же и разочарованием – «художник и мыслитель» сумел не угодить всем сразу и не вписался в координаты ни национал-патриотического, ни либерально-демократического направления.

Вот в тот именно момент, когда солженицынскую программу спасения России после недолгих, но раздраженных споров единодушно и высокомерно отвергли все, кому она могла предназначаться и кто мог соучаствовать в ее осуществлении, у меня возникло отчетливое ощущение: ситуация повторяется. Вновь на отечественном горизонте появляется фигура общенационального масштаба, которая оказывается для страны персоной в высшей степени притягательной и престижной и в такой же степени неудобной. Солженицын со своими «популярными соображениями» о возрождении родины занял особое положение – примерно такое же, в каком посмертно пребывает более чем столетие Достоевский-публицист: ему «прощают» (в лучшем случае) его публицистику в связи с его статусом великого писателя и художника.

Нет сомнений, что сама тема, коль скоро она обозначилась как «Достоевский и Солженицын», имеет немало возможностей, хотя, если размышлять о традиции, она видится скорее в феномене человеческой

судьбы, чем в какой бы то ни было художественной типологии. Речь могла бы идти прежде всего об уникальной масштабности писательского пути, о редкостном даре осознания своего предназначения, о потрясающей, поистине феноменальной в обоих случаях трудоспособности и самозабвенном подвижническом служении делу. Речь могла бы идти также и об особом синтезе демократического бунтарства с постижением божественного промысла, о редкостной открытости миру и устремленности к родной почве.

Речь, повторяю, могла бы идти и о многом другом.

Есть, однако, одна сфера их – и Достоевского, и Солженицына – человеческой, писательской деятельности, которая уже в силу своей специфики ставит обоих в один ряд, независимо даже от меры таланта, вложенного труда и полученного результата.

Оставаясь, конечно же, и писателями, и художниками, и мыслителями, и публицистами, достигнув фазы творческой и человеческой зрелости, они сосредоточились на некой особой форме политической публицистики, которая под их пером смогла приобрести значение почти *программы*. И коль скоро содержание программных текстов – будь то «Дневник писателя» Достоевского или вышеупомянутая брошюра Солженицына – нацелено на вопросы глобального значения, авторы (может быть, помимо своей воли) выступают в несвойственной для себя роли государственных мужей, людей государственного мышления.

Какова, однако, логика политического поведения публицистов Достоевского и Солженицына, которые стремятся (с интервалом в сто с лишним лет) решать вопросы, находящиеся и вне их компетенции, и вне их сферы практического влияния?

Каков смысл их программной публицистической деятельности по «обустройству России», организации ее внутренней и внешней политики в свете исторической реальности и, так сказать, по эффекту?

Неторопливые десятилетия, завершившие XIX век, и наше густое, спрессованное время (год за пять?) смогли хотя бы отчасти осветить искомые смысл и логику, опровергнув или подтвердив те или иные публицистические предложения.

Обратимся к первоисточникам – вынужденно сужая границы наблюдений.

...Русского читателя XIX века трудно было удивить писательской публицистикой. Начиная с Радищева и включая Льва Толстого, ей в том или ином варианте отдали дань едва ли не все сколько-нибудь из-

вестные авторы, стремившиеся, опять же в силу русской литературной традиции, совмещать профессиональные обязанности беллетриста, философа, богослова, гражданского мыслителя и политика. Русский писатель XIX века – фигура полифункциональная, и нет ничего удивительного, что автор-прозаик, начинающий с повестей и рассказов, может завершить свой творческий путь трактатом-манифестом на глобальную политико-экономическую или общественно-политическую тему. Русским писателям XIX века всегда было мало одной литературы.

И все же январский выпуск «Дневника писателя» Ф.М. Достоевского за 1881 год как явление истории общественной мысли феноменален, даже если учитывать вышеупомянутую литературно-публицистическую традицию, яркий общественный темперамент автора и его приверженность публицистике как жанру.

Итак, только что вышли отдельным изданием «Братья Карамазовы». Еще не остыло чувство горячего энтузиазма свидетелей московского триумфа Достоевского – его речи на пушкинском празднике, ставшей поистине историческим событием. И если вообще суждено было испытать Достоевскому чувство достигнутого торжества, это было то самое мгновение – момент величайшего проявления его духовной мощи. Ведь это о нем писали как о глубочайшем из современных писателей, прямом преемнике литературных гениев, пророке. И это ему случилось сказать вслух необыкновенные слова о всемирном единении людей. И это его зал слушал как в истерике, и потом люди из публики плакали, обнимали друг друга и клялись быть лучшими, не ненавидеть друг друга, а любить.

Достоевский познал счастье общения с читателем, что называется, «сквозь» литературу, от первого лица. Его близкая знакомая Е.А. Штакеншнейдер, ценившая Достоевского именно как «учителя жизни», вспоминала: «Славу же Достоевскому сделала не каторга, не “Записки из Мертвого дома”, даже не романы его, по крайней мере, не главным образом они, а “Дневник писателя”. “Дневник писателя” сделал его имя известным всей России, сделал его учителем и кумиром молодежи, да и не одной молодежи, а всех мучимых вопросами, которые Гейне назвал проклятыми»¹.

В момент своей наивысшей славы Достоевский вновь устремляется к той самой форме литературного общения, которая ставила его в прямые отношения с читателями. Объявление о подписке на «Дневник писателя» 1881 года публикуется одновременно с сообщением о выходе в свет отдельного издания «Братьев Карамазовых» – как известно, писатель намеревался два года посвятить изданию «Дневника» (1881–1882, 24 выпуска), а затем засесть за продолжение «Карамазовых».

Однако именно этому, январскому, выпуску «Дневника» за 1881 год суждено было оказаться последним литературным делом Достоевского: утром 28 января, в день смерти, он смотрел корректурные листы и отдавал распоряжения жене, чтобы в случае его смерти подписчики «Дневника» незамедлительно получили назад свои подписные деньги.

Что же торопился сказать Достоевский подписчикам «Дневника»? Что смог им сказать?

Спустя месяцы посмертный выпуск «Дневника писателя» будет назван газетно-журнальной критикой «политическим завещанием, обращенным к русской интеллигенции». И если консервативная печать славянофильско-православного толка будет предпринимать попытки канонизировать Достоевского как мистика и религиозного пророка, то демократическая и либеральная пресса в знак протеста захочет подчеркнуть в политической публицистике Достоевского ее утопичность, отсутствие здравого смысла. «Он был утопист, – писал один из либеральных публицистов газеты «Голос», – доходивший до последних пределов мечтательности. Его политическая теория, если можно называть таковою его горячие, страстные чаяния, не может подлежать строгому обсуждению. Она основана не на фактах, не на истории, не на статистике, не на исследованиях политико-экономических, не на философских умозрениях, а скорее дело чувства и фантазии, тех способностей его богато одаренной духовной природы, без которых он не мог произвести ничего великого в своих поэтических творениях, но которые оказывают плохую услугу в выработке здоровой политической теории»².

Но если в последнем выпуске «Дневника» и содержались фантазии, то они были исключительно «на злобу дня».

Достоевский вступает в неспешный, обстоятельный, добродушный разговор – не как мистический пророк, не как учитель жизни или властитель дум, а как задушевный собеседник понимающего, сочувствующего и равного ему читателя. Он начинает с самой обычной, рядовой темы, внятной любому рядовому человеку, темы почти что обывательской (и поразительно созвучной сегодняшней «злобе дня») – падение рубля, плачевное состояние экономики, кризис финансов, дефицит государственного бюджета. Он понимает, что не в его компетенции рассуждать об экономических вопросах с профессиональных позиций – «Неужели и я экономист, финансист? Никогда таковыми не был. ...Да и не смею я вовсе писать о финансах» (27: 5, 8).

Однако тема финансов, о которой «все пишут, все тревожатся, так как же и мне не тревожиться?» (27: 6), служит для него отправной точкой, удобным предлогом, который позволяет выразить то, в чем он, как ему кажется, сведущ и тверд.

Речь идет, конечно, не о буквальном, прагматическом решении проблем бюджетного дефицита, а о принципиальных политических подходах.

Можно только поражаться, сколь непреходящей оказывается их злободневность.

Ибо, считает Достоевский, первый и главный порок российского общественного мнения, русских «европейских умов» – в стадном чувстве подражания, в приверженности механическим, бездумным решениям. «Чего думать, чего голову ломать, еще заболит; взять готовое у чужих – и тотчас начнется музыка, согласный концерт» (27: 7).

К финансам, как к частному случаю, это имеет прямое отношение: «Нужна-де только европейская формула, и все как раз спасено; приложить ее, взять из готового сундука, и тотчас же Россия станет Европой, а рубль талером» (27: 6–7).

Принципиальное значение имеет ракурс, в котором рассматривается жизнеспособность «европейской формулы». Если ретроград не *хочет*, чтобы Россия стала Европой, а рубль – талером, если прогрессист, напротив, утешает себя легкими и приятными мечтами о могуществе и универсальности формулы из «готового сундука», Достоевский пытается разобраться в причинах, по которым – увы! – формула не прикладывается. Не потому, что она ему не нравится, – нравится! Не потому, что ему хотелось бы навеки законсервировать российскую «особливость», а потому что «мы, в сравнении с Европой, почти как на луне сидим» (27: 9).

Для Достоевского феномен развития России и Европы – факт не эмоционального, а исторического и культурного порядка, через который, как через законы природы и истории, перепрыгнуть невозможно.

«В том-то и главная наша разница с Европой, что не историческим, не культурным ходом дела у нас столь многое происходит, а вдруг и совсем даже как-то внезапно, иной раз даже никем до того неожиданным предписанием начальства» (27: 10), – размышляет Достоевский. «В Европе, например, рабское, феодальное отношение низших сословий к высшим уничтожалось веками... всё, одним словом, совершалось культурно и исторически. У нас же крепостное право рушилось в один миг со всеми последствиями... Не я, разумеется, пожалею, что вдруг упало. Страшно хорошо, напротив, что весь этот мерзостный исторический грех наш упразднился разом по великому слову освободителя. Тем не менее закон природы нельзя миновать, и потрясение вышло большое» (27: 9).

Достоевский сознает особое качество русской истории – высокую степень опасности: «такой истории не знала Европа» (27: 10). И его забота как гражданина, как писателя и политического публициста, – по

мере возможности влияя на общественное мнение, *обезопасить* исторические процессы, происходящие в стране.

Перемены, которые происходят внезапно, потрясения, в результате которых в одночасье, не в исторические, а в критически сжатые сроки меняется облик страны, ее культурная и хозяйственная ткань, чреватые опаснейшими отдаленными последствиями. Этих последствий, считал Достоевский, и не предвидят «либералы всесветные», требующие «пересадок извне для механического врачевания».

Как и чем скажется, к примеру, разрушенное землевладение, задумывался Достоевский. «Вот у нас строятся железные дороги и, опять факт, как ни у кого: Европа чуть не полвека покрывалась своей сетью железных дорог, да еще при своем-то богатстве. А у нас последние пятнадцать-шестнадцать тысяч верст железных дорог в десять лет выстроились, да еще при нашей-то нищете и в такое потрясенное экономически время, сейчас, после уничтожения крепостного права! И, уже конечно, все капиталы перетянули к себе именно тогда, когда земля их жаждала наиболее» (27: 10).

Именно с точки зрения отдаленных и грозных последствий – которую одни сочтут утопической и умозрительной, а другие пророческой – и разворачивает Достоевский свою собственную программу врачевания России.

Можно понять, почему эта программа вызывала противоречивое – от крайне восторженного до крайне раздраженного – отношение.

Достоевский начинал с финансов и бюджета и заканчивал, как бы уклоняясь от прямого рассмотрения вопроса и отвергая «европейскую формулу из готового сундука» (27: 6–7), тезисом странным и причудливым: «Для приобретения хороших государственных финансов в государстве, изведавшем известные потрясения, не думай слишком много о текущих потребностях, – сколь бы сильно ни вопияли они, а думай лишь об оздоровлении корней – и получишь финансы» (27: 13).

Достоевский жил в Петербурге, и, как сам неоднократно признавался, только и мог жить в этом призрачном городе на болоте. Но во имя «оздоровления корней» надеялся и ждал, что Петербург согласится вдруг «сбавить своего высокомерия во взгляде своем на Россию» (27: 14), а столичный житель, интеллигент выглянет из Петербурга, и ему предстанет «море-океан земли Русской, море необъятное и глубочайшее» (27: 15). Чтобы избежать великих и грядущих недоразумений, как бы желательно было проникновения, понимания, смирения перед морем-океаном...

Достоевский жил в самодержавной монархической стране, не знавшей конституции и гарантированных ею гражданских свобод, но предполагал, казалось, немислимое: «У нас гражданская свобода может во-

двориться самая полная, полнее, чем где-либо в мире, в Европе или даже в Северной Америке» (27: 22). Народ, после великого освобождения его, живет, по словам Достоевского, с потребностью и жаждой правды, жаждой полного гражданского воскресения. Искание правды и нравственное беспокойство по ней – тревожные состояния. Достоевский видит грозные симптомы жестокой болезни, в которой пребывает страна и ее народ и которую он обозначает вполне «фантастично»: «жажда правды, но неутоленная». «Народ у нас один, то есть в уединении, весь только на свои лишь силы оставлен, духовно его никто не поддерживает» (27: 17) – таков диагноз, и кажется, что этот диагноз пребывает неизменным и сто лет спустя...

Достоевский, далее, будучи и сам монархистом, приверженцем царя-отца и проповедником детской любви народа к царю как к отцу, пытается убедить общественное мнение в необходимости предельно демократического обращения к народу во имя его нравственного спокойствия. «Как сделать, чтоб дух народа, тоскующий и обеспокоенный повсеместно, ободрился и успокоился?.. На это есть одно магическое словцо; именно: “Оказать доверие”. Да, нашему народу можно оказать доверие, ибо он достоин его. Позовите серые зипуны и спросите их самих об их нуждах, о том, чего им надо, и они скажут вам правду, и мы все, в первый раз, может быть, услышим настоящую правду» (27: 20–21).

Достоевский, наконец, сознавая себя частью интеллигентскогословия и хотя бы отчасти понимая свое «учительское» значение, предлагает на время отстраниться, постоять смиренно в сторонке и – из целей чисто педагогических – выслушать то, что сможет народ сказать самостоятельно. «Пусть постоим и поучимся у народа, как надо правду говорить. Пусть тут же поучимся и смирению народному, и деловитости его, и реальности ума его, серьезности этого ума» (27: 24). Отрицая внешние, казенные формы либерализма и демократизма, Достоевский выступал с позиций истинного и самого широкого свободо- и народолюбия – не допуская интеллектуального насилия, стремясь предостеречь от тотального программирования народного сознания. «Пример народа, сказавшего прежде их (интеллигентов. – Л.С.) свое слово во всяком случае, избавил бы нас от многих промахов и дурачеств, если б нам самим пришлось прежде народа сказать свое слово» (27: 25).

Как-то так выходило, что «политический утопист, социальный фантазер, безответственный мечтатель, антилиберал, монархист, почвенник, государственник» и т.д. Достоевский, вопреки (или благодаря?) всем своим свойствам, не боялся довериться таинственному и молчаливому *большинству* – тому самому море-океану российского народа, которое проживает за пределами столиц. Он настаивал на презумпции доверия к нему и на возможности благополучия для всех. Он не мог мириться

с теми политическими системами и режимами, которые холодно и твердо исключают миллионы людей из списков благополучных граждан во имя благополучия немногих.

Как писал издатель «Нового времени» А.С. Суворин, «Достоевский действительно был утопистом, но... его утопии основывались именно на фактах, на истории, на философском умозрении и на том глубоком проникновении в человеческую душу, без которого факты, история, статистика – слова, слова и слова, иногда звонкие, иногда пошлые. Он был утопистом, он далеко смотрел в даль, он мечтал о безграничной свободе духа, о возможном для человека счастье, о включении всех обиженных и угнетенных в ту маленькую теперь область благосостояния и благополучия, которая так вдоволь удовлетворяет многих, и писателей и не писателей...»³

Январский выпуск «Дневника писателя» заканчивался словами, которые не могли не приобрести таинственного и мистического смысла в связи со смертью писателя. Речь шла о последней победе генерала Скобелева: «...вечная память “выбывшим из списков” богатырям! Мы в наши списки их занесем. Ф. Достоевский» (27: 40). Однако читавшие эти строки вольно или невольно придавали им иное значение, видя, быть может, печать вечности в руке гения.

Наверное, ко многим политическим пророчествам, которые числятся за Достоевским, имеет смысл относиться с той же степенью уважения, что и к последним словам посмертного выпуска «Дневника писателя». Незачем тогда будет лишать даже самые фантастические, странные его мысли исторической глубины и тайны. Чудные, даже нелепые в контексте своего времени, они прояснялись в дальней перспективе: все вроде бы неправильно, нелогично, непоследовательно, а пройдет лет сто – и обнаружится, как верно, как точно, как мудро была угадана тенденция.

Дело, в конце концов, было не в конкретных политических решениях того или иного большого вопроса. Дело было в манере обсуждения, в мотивах и намерениях говорящего. Как писал современник Достоевского, «если в его суждениях, среди блестящих истинно талантливых страниц, слышалась иногда мысль, поражающая своею странностью или ведущая к нежелательным выводам, если в словах его звучала иногда неверно взятая нота, то каждый хорошо понимал, что все это пишется и говорится прямо от души, искренно и без всякой задней мысли, без всякого постороннего соображения»⁴.

Благодаря высокой честности мотивов, бескорыстию намерений и неподкупно искреннему исканию правды политическая публицистика Достоевского приобретала такой уровень и масштаб, что могла – в случае несогласия с нею по существу – рассчитывать хотя бы на ува-

жение. Нравственный авторитет Достоевского – в глазах оппонентов политического реакционера, носителя имперского сознания, националиста и т. п. – заставляет по крайней мере считаться с тем фактом, что позиция государственника, монархиста, приверженца национальной идеи может разделяться людьми честными и порядочными. Феномен Достоевского – политического публициста показывает, сколь бесплодна манера пренебрежительного, высокомерного или брезгливого неприятия той проблематики и тех решений, над которыми работает мысль гения.

К тому же есть огромная разница между тем, чего Достоевский-публицист положительно хочет, и тем, что он объективно видит. Он, допустим, хочет, чтобы настояниями России южные славяне на Балканах были освобождены, турецкая империя пала и Балканский полуостров был свободен и жил новой жизнью (хотя в тот момент, когда он писал об этом – ноябрь 1877-го, – рано было даже мечтать о таком разрешении славянского вопроса). Но он уже не хочет, а объективно видит, что произойдет далее: «Между собой эти земли будут вечно ссориться, вечно друг другу завидовать и друг против друга интриговать. Разумеется, в минуту какой-нибудь серьезной беды они все непременно обратятся к России за помощью... России надолго останется тоска и забота мирить их, вразумлять их и даже, может быть, обнажать за них меч» (26: 80).

Насколько справедливо в таком случае, учитывая точность исторического видения Достоевского, упрекать его в панславизме, в агрессивном имперском отношении к соседям? Почему те, кто настроен лишь на полемическое восприятие публицистики Достоевского (как правило, упоминается лишь пресловутое «Константинополь должен быть наш!»), не замечают контекста, не слышат прямого и искреннего слова: сохрани Бог Россию от стремлений расширить за счет славян свою территорию, присоединить их к себе политически, наделать из их земель губерний. «Чем более она выкажет самого полного политического бескорыстия относительно славян, тем вернее достигнет объединения их около себя впоследствии, в веках, сто лет спустя» («Дневник писателя», ноябрь 1877 г.; 26: 80).

Трудно не увидеть, что та же самая полемическая установка, некое заведомое отталкивание, предубеждение и вопиющая тенденциозность сработали при восприятии и обсуждении работы А.И. Солженицына «Как нам обустроить Россию?»⁵. И поскольку речь идет о современном

авторе, современных проблемах и современной России, к этому специфическому восприятию подмешалось и немало враждебности.

Даже то обстоятельство, что сам А.И. Солженицын никоим образом не рассматривал свою брошюру как директиву, манифест, партийную платформу или нечто иное, подлежащее немедленному претворению в жизнь, а смиренно обозначил ее подзаголовком «Посильные соображения», ничуть не смущает оппонентов с установкой. Никакая это, мол, не скромность, никакое не смирение, а «дань этикетным риторическим правилам», «жанр послания “городу и миру”», настоящая *энциклика* Солженицына! Вермонтский отшельник вразумляет, требует, гремит из тучи».

Конечно, точно так же, как самый сильный пункт Солженицына – это его легендарная *российская* биография, так его самый слабый пункт – *зарубежное* местопребывание в годы, когда он как бы имел возможность вернуться в Россию. У нас никогда не любили, когда соотечественники указывали нам оттуда своим перстом.

Однако в данном случае неприятие связано отнюдь не с этим, пусть и весьма щекотливым, моментом. Прощают же другим их невозвращение или возвращение лишь на время.

Свои «посильные соображения» и свой финальный призыв «Давайте искать!» А.И. Солженицын адресовал стране, политически активный слой которой был разделен на лагеря, и каждый из них противостоит другому по принципу «все – непримиримая оппозиция всех».

Ну как, действительно, должен был отнестись лагерь патриотов к такому, например, заявлению Солженицына: «...всё равно “Советский, Социалистический” развалится, всё равно! – и выбора настоящего у нас нет, и размышлять-то не над чем, а только – поворачиваться проворней, чтоб упредить беды, чтобы раскол прошел без лишних страданий людских, и только тот, который уже действительно неизбежен». Лагерь патриотов, насколько он позволил себе быть откровенным, разве что не скрежетал зубами.

Но Солженицын в том самом 1990-м не *хотел* развала страны, а объективно видел историческую тенденцию – и указал на нее всего лишь за полтора года до свершившегося факта. Как и предвидел, по всей вероятности, что те, от кого будет зависеть безболезненное падение империи, как раз и не сумеют попроворнее поворачиваться, чтобы избежать беды.

Солженицын заявлял прямо и твердо: «Я с тревогой вижу, что пробуждающееся русское национальное самосознание во многих доле своей никак не может освободиться от пространнодержавного мышления, от имперского дурмана, переняло от коммунистов никогда не существовавший дутый “советский” патриотизм и гордится той “ве-

ликой советской державой”, которая в эпоху чушки Ильича-второго... опозорила нас, представила всей планете как лютого безмерного захватчика – когда наши колени уже дрожат, вот-вот мы свалимся от бессилия».

Казалось бы, все ясно с наличием или отсутствием имперского мышления и экспансионистских appetitов у самого Солженицына – нет, не империалист. Тем более что в публицистических работах, скажем, 1980 года он писал об этом же и в плане традиции, о «том XIX веке, когда и все демократические страны Европы с моральной легкостью позволяли себе любые завоевания». «Мне горько и стыдно, что и моя страна участвовала в общеевропейском насильственном покорении слабых народов», – признается Солженицын в статье «Иметь мужество видеть»⁶.

Однако тут уже скрежещет зубами радикальный демократ: за точным и определенным смыслом сказанного ему чудится нечто совершенно противоположное, он бдительно реагирует на некоторые специфические выражения, он чувствителен к словоупотреблению, к лексике, к местоимениям, которые «выдают» автора «посильных соображений». Как же: Солженицын через абзац говорит о «духовном и телесном спасении народа», о «неповторимом лице русской нации», о «драгоценном внутреннем развитии»; Солженицын то и дело цитирует специфических авторов: то Ильина («наш философ этого века»), то В. Соловьева, то П. Новгородцева, то Достоевского, то Розанова; Солженицын рассуждает о России с точки зрения вполне определенных интересов – национальных, а не только общечеловеческих.

Солженицын, как некогда его предшественник публицист Достоевский, составил свой политический букет, что называется, мимо моды – партийной моды. Ибо в 1990-м не было в России такой партии (нет ее, кажется, и сейчас), в программе которой органично сочетались бы: ненависть к насилию и тоталитаризму; неприятие социалистического выбора и коммунистической перспективы; естественное чувство привязанности к традициям предков, к родным корням; любовь к старой России; ярчайший и последовательный патриотизм; приверженность демократии, которую как образ правления выбирают в качестве средства, а не в качестве цели; приверженность рыночной экономике, переход к которой должен быть предельно смягчен для миллионов неготовых к ней и непривычных людей.

К сожалению, все вышеназванные качества ныне рассредоточены по разным программам и в разных сочетаниях, для Солженицына абсолютно неприемлемых, – где патриотизм переплетен с расизмом, поклонением Ленину – Сталину и свирепым антидемократизмом, где демократизм соединяется с антинациональной политикой и высоко-

мерным наплевательством на судьбы того самого большинства, именем которого клянется демократия и якобы с санкции которого она существует.

Но история – принципиально беспартийна. И она движется по собственным законам, а не по программным партийным установкам. К тому же сейчас, по всей вероятности, движется иными темпами, чем в прошлом столетии. Те годы, которые отделяют настоящее время от момента публикации (или написания) брошюры Солженицына, были столь интенсивны, столь густо наполнены событиями эпохального значения для России, а значит, и для всего мира, что вполне можно судить и о точности прогнозов, и о глубине исторического мышления, и вообще – о чувстве истории как Солженицына, так и его оппонентов.

Кто только не клеймил Солженицына за его вольнодумное обращение с географической картой СССР: взял, дескать, и своевольно отдал три прибалтийские, три закавказские, четыре среднеазиатские республики и Молдавию в придачу, выделил их из империи, так как «нет у нас сил на окраины». При этом оппоненты Солженицына упрямо не хотели считаться с тем, что точка зрения Солженицына, скажем, на возможное отделение Украины была обусловлена не его личным желанием этого отделения, а объективными процессами, которые будут происходить помимо чьего бы то ни было желания.

И Солженицын восклицал: «Братья! Не надо этого жестокого раздела! – это помрачение коммунистических лет». И Солженицын же добавлял: «Конечно, если б украинский народ действительно пожелал отделиться – никто не посмеет удерживать его силой».

«Вермонтский отшельник, мечтатель и утопист, традиционалист и ретроград Солженицын», кем его называла демократическая печать, признавшая брошюру в целом «вредной для русской свободы», смог дать гораздо более точный, реалистичный диагноз состояния страны на текущий момент (1990) и прогноз на ее ближайшее будущее, чем его партийные оппоненты.

Из точки времени, предшествовавшей первому витку либерализации экономики, Солженицын, признаваясь, впрочем, что не имеет точных экономических знаний, говорил о тревожащих его тенденциях грядущей реформы – бездумном перехвате чужого типа экономики и разрушительных последствиях таких перехватов. Он настаивал на необходимости твердо ограничить законами возможность безудержной концентрации капитала, создания монополий и сверхмонополий. Он говорил об обязательном, но чрезвычайно осторожном введении частной собственности на землю, о ее купле-продаже со строгими ограничениями, об опасности разорения нашей природной среды.

Сейчас об этом говорит сама власть и даже те, кто осуществлял реформы именно с этими просчетами. Но Солженицына – за то, что сказал о них чуть раньше – назвали дремучим консерватором.

Размышляя о государственном строе страны, Солженицын полагал, что институт сильной президентской власти может оказаться полезным еще на многие годы. Он подвергал критике несовершенную вообще и не слишком пригодную для нашей страны систему «всеобщего – равного – прямого – тайного» голосования, при котором лишь от способа подсчета голосов может ошеломительно измениться содержание и качество воли народа. Солженицын напоминал: мы входим в демократию не в самую здоровую ее пору; «рождаемая современной состязательной публичностью интеллектуальная псевдоэлита подвергает осмеянию абсолютизм понятий Добра и Зла, прикрывает равнодушие к ним «плюрализмом идей» и поступков». Будущему Российскому государству демократия «очень нужна», считает Солженицын: «Но при полной неготовности нашего народа к сложной демократической жизни – она должна постепенно, терпеливо и прочно строиться снизу, а не просто возглашаться громковещательно и стремительно сверху».

К такому выводу демократическое общественное мнение пришло только после 12 декабря 1993 года, когда большинство голосовавшего населения почти повсеместно проголосовало не *так*. И в это же время наиболее убежденные демократы стали высказываться буквально по Солженицыну: «Именно демократическая система как раз и требует сильной руки, которая могла бы государственный руль направлять по ясному курсу». А ведь как раз за этот свой тезис Солженицын был квалифицирован демократами образца 1991 года как утопист, ретроград, кабинетный фантазер-придумщик.

Осенью 1990 года, когда была опубликована брошюра Солженицына и состоялось ее импровизированное обсуждение в Верховном Совете СССР, размышления писателя о совещательной структуре, которую он представил в виде Соборной или Государственной думы, вызвали лишь скуку и недоумение: с Луны, дескать, свалился человек. Между тем еще тогда Солженицын обозначил большинство из тех опасностей, с которыми столкнулся новый российский парламент, действительно сегодня названный Государственной думой. Солженицын писал о механизмах выработки согласия между большинством и меньшинством, об угрозе неограниченной власти большинства, о поисках форм государственных решений более высоких, чем простое механическое голосование. Откровением сегодня звучат его слова об институте этического контроля, функционирующем как бы над всеми государственными структурами, о некоей моральной инстанции: не голосующей, но имеющей высокий авторитет.

Россия на сегодняшний день уже пережила ту фазу развития, которая у Солженицына обозначена как «Ближайшее», и вплотную приблизилась к рубежу, названному в брошюре «Подальше вперед». То обстоятельство, что нигде в мире так буквально не работает евангельское положение о пророках в своем отечестве, как у нас, требует как бы примириться с глухотой и слепотой демократического общества, каким оно было в 1990 году. Но, как правило, правоту пророков принято признавать хотя бы задним числом, с позиции приобретенного опыта и прожитого отрезка времени.

Именно с этой позиции, самой что ни на есть банальной («время покажет», «жизнь рассудит»), необходимо, наверное, признать, что есть (бывают, случаются – к сожалению, редко) люди, обладающие очень мощным собственным ощущением истории и пониманием ее законов. Эти никем не ангажированные политические одиночки, как правило, не вписываются ни в одну существующую на данный момент общественно-политическую логику и своим образом мысли и чувства взрывают сложившиеся стереотипы, нарушают привычные общественные ожидания. Есть такие люди, и есть такие тексты.

Относя к такого рода феноменам позднюю публицистику Достоевского и вышеназванную работу Солженицына, хочется подчеркнуть их принципиальное сходство, родство. Оба писателя, выступая в качестве политических мыслителей, отстаивают не доктрины, не принципы, не партийные установки, а живую, реальную российскую жизнь, какой она им видится из исторического или географического далека. Они, конечно, вовсе не политики – и не пытаются ими казаться или ими стать. Потому-то они и не боятся собственного мнения, не стыдятся его, ибо не озабочены, как будут выглядеть, не прольют ли невзначай воду на чью-нибудь мельницу и не испортят ли свою политическую репутацию. Но именно они оказываются способными выстроить истинную систему ценностей, в которой демократия, рынок, реформы – не самоцель, а лишь образ правления, форма экономики, символ изменений. Они дорожат не партийными принципами, не политическими знаками, а содержанием жизни, протекающей под знаком той или иной политики, в режиме тех или иных экономических отношений. Для них существует один критерий социальной жизни, в сущности, очень простой – приоритет человека.

Политическая мысль Достоевского и Солженицына, имеющая вертикальное измерение и сориентированная на истинные, а не мнимые демократические ценности, адресована как раз нашим временам, нашей извращенной демократии, которой в ее политической жизни больше всего мешает то самое большинство, от имени которого она правит.

Примечания

- ¹ *Штакеншнейдер Е.А.* Из «Дневника» // *Ф.М. Достоевский в воспоминаниях современников*: В 2 т. Т. 2. М.: ГИХЛ, 1964. С. 307–308.
- ² Голос. 1881. 8 февр.
- ³ Новое время. 1881. 10 февр.
- ⁴ Страна. 1881. 1 февр.
- ⁵ Цитаты из трактата «Как нам обустроить Россию? Посильные соображения» даются по изданию: *Солженицын А.И.* Публицистика: В 3 т. Т. 1. Статьи и речи. Ярославль: Верхнее-Волжское книжное изд-во, 1990. С. 538–598.
- ⁶ Там же. С. 395.

ЧАСТЬ IV

*«ФМД»
в кинематографе,
на театре
и на ТВ*



«Бесы» на театральных подмостках: эксперимент и традиция

После паузы лет в пятнадцать-двадцать, когда казалось, что роман «Бесы» утрачивает общественную остроту, вновь стало очевидно стремление проверить Достоевского исторической реальностью.

В 1990-е годы, когда общественный бум вокруг «Бесов» достиг своего пика, на роман смотрели под углом зрения революционной нетерпимости и пресловутого лозунга «цель оправдывает средства». Изучался состав политического клейстера, на котором десятилетиями держалась правящая партия, повинная во многих грехах. Само понятие «бесы» стало тогда отборным ругательством всеобщего употребления, универсальным средством политической поножовщины. 1990-е годы оказались временем, когда всё общество – без различия знамен, цветов и оттенков – клеймило друг друга презренным бесовским тавром, испытывая соблазн под каждым действующим лицом романа поставить имя и фамилию современного исполнителя¹.

Тогда же, в 1990-е, впервые в новейшей истории было осмыслено значение романа «Бесы» как единственного в своем роде и ключевого текста для понимания философии истории России. Было осознано, что в этой книге исчерпывающе проявлен механизм функционирования зла в человеке и в обществе – в момент его переустройства. Было прочувствовано, что Достоевский не придумал мир «Бесов», не вообразил его, не изобрел, а ОТКРЫЛ, как открывают законы природы, соединив вечное и злободневное в личном и общественном бытовании добра и зла. Было накоплено множество впечатляющих данных о влиянии романа «Бесы» на судьбы конкретных людей. Я приведу всего один. Ю.Ф. Карякин в 1992 году признавался на страницах «Литературной газеты», что Достоевский и «Бесы» его пересоздали – из ярого марксиста, воинствующего безбожника, ленинца, даже сталиниста. «Если бы не было Достоевского и “Бесов”, я бы так и остался Маугли в стае волков и не стал бы человеком. “Бесы” дали шанс понять прошлое, историю, самого себя. Кто такие “Бесы” для меня? Я вдруг понял, что там и мой портрет. Все беды сейчас состоят в том, что все друг друга изобличают бесами, и почти никто не смотрит в зеркало»².

Накануне, в 1970–1980-е годы, под давлением Запада, проходила «амнистия», а потом и «реабилитация» Достоевского; они достигли своего апогея как раз в 1990-е. Но так же, как незаконны были духовный арест Достоевского и запреты его произведений, такими же, в сущности, незаконными явились и «амнистия» с «реабилитацией». Достоевского судили, а потом амнистировали персонажи «Бесов» – так это понималось в 1990-е годы, когда люди, прожившие жизнь с одной идеологией, под воздействием Достоевского кардинально меняли свои взгляды на мир.

Ныне роман вновь обильно цитируется; к его авторитету прибегают политические силы, порой прямо противоположные. Именно этот роман ОПЯТЬ и ВДРУГ притягивает общественную и творческую мысль – политическая актуальность «Бесов» вновь завораживает общество. Вообще вряд ли следует относиться к политическому акценту прочтения романа только отрицательно или высокомерно. Напомню мотивы скандальной суворинской (1907)³ и еще более скандальной мхатовской постановки «Бесов» (1914)⁴. Когда в 1907 году театр Суворина поставил «Бесов», демократическая печать протестовала против инсценировки, имевшей резко антинигилистический характер, и видела в ней прием политической борьбы против русской революции. В России 1913 года длился общественный обморок от разоблачения провокатора Азефа и убийства Столыпина другим провокатором, Дмитрием Богровым. Именно политическая злоба дня, отмеченная экстраординарным сожительством революции и провокации, подвигла чуткого к «общественным веяниям» В.И. Немировича-Данченко к инсценировке романа Достоевского, который он считал «очень слабой вещью». С резким протестом против «самого садистского» мхатовского замысла выступил Горький, назвав роман «Бесы» «озером яда» и предложив «всем духовно здоровым людям <...> протестовать против постановки произведений Достоевского на подмостках театров»⁵. Консервативная печать, напротив, искренне благодарила МХТ за постановку, воскресившую интерес к проблематике романа. «Впечатление от спектакля тем сильнее, что все действующие лица романа “Бесы” вот вчера, сегодня проходили и проходят перед нами и сам сюжет буквально выхвачен из нашей текущей жизни. Все сцены – сплошное развенчивание деятелей революции: каждый монолог говорит о тех низменных чувствах, которыми руководствуются эти деятели, – все время вы не можете отличить, где кончается революционная партийная работа и где начинается грязная провокация этих грязных дельцов. Как все это современно! и как все это поучительно!»⁶ Но политические знаки вскоре радикально поменялись: в связи с делом двойного агента Романа Малиновского большевикам пришлось окунуться в пекло провокации, а МХТ менее чем через год отказался

от своего шедевра, решив, что России, вступившей в мировую войну, нужны иные сценические впечатления.

И еще один штрих. Богослов и бывший марксист Сергей Булгаков дал тогда религиозно-философскую отповедь агрессии Горького против театра и против Достоевского. «Популярным писателем наших дней недавно было заявлено, что Достоевский хотя и гений, но злой гений, который должен быть взят под надзор полиции нравов. <...> Конечно, носитель гения может иметь и пороки, и страсти, вообще гениальность не предполагает необходимо личной святости, но поскольку он творит гениально, он поднимается над личиной своей ограниченности, и поэтому приравнивание Достоевского как гения к одному из его созданий есть просто суждение дурного вкуса»⁷. Булгаков предложил самую авторитетную в XX веке интерпретацию романа Достоевского как «русской трагедии». Он целиком поддержал тенденцию МХТ к изъятию «Бесов» из сугубо политического контекста, утверждая, что привычный политический масштаб, по которому обычно судят и рядят о «Бесах», искажает суть трагедии. «Если Достоевский действительно прозирал в жизни ее трагическую закономерность, тогда уже наверное можно сказать, что не политика как таковая существенна для этой трагедии, есть для нее самое важное. Политика не может составить основы трагедии, мир политики остается вне трагического, и не может быть политической трагедии в собственном смысле слова. <...> Политика в “Бесах” есть нечто производное, а потому и второстепенное. Не в политической инстанции обсуждается здесь дело революции и произносится над ней приговор. Здесь иное, высшее судьбище, здесь состязаются не большевики и меньшевики, не эсдеки и эсеры, не черносотенцы и кадеты. Нет, здесь “Бог с дьяволом борется, а поле битвы – сердца людей”, и потому-то трагедия “Бесы” имеет не только политическое, временное, преходящее значение, но содержит в себе зерно бессмертной жизни, луч немеркнущей истины, какие имеют все великие и подлинные трагедии»⁸. «Бесы» не приурочены к политической истории России, утверждал Булгаков, свободны от нее и над нею возвышаются; «Бесы» – это русская трагедия, изображающая судьбы русской души, трагедия веры и неверия, и революция в романе рассматривается как религиозная драма, борьба веры с неверием, столкновение двух стихий в русской душе.

И все же под гнетом исторической реальности, внутренне отчуждаясь от нее, Булгаков обозначил сугубо политические координаты понимания «русской трагедии». «Вопрос о религиозном смысле революции поставлен в “Бесах” так: представляется ли для нее духовно определяющим такое человекобожие, которое силою вещей становится демоническим, переходит в одержимость? Ставрогин и Верховенский, орудие и жертва духовной провокации, есть ли для нее существенный симптом

или только случайное явление, накипь? Вопрос этот, который за четверть века до революции с таким изумительным ясновидением поставил Достоевский, можно на язык наших исторических былей перевести так: представляет ли собою Азеф-Верховенский и вообще азефовщина лишь случайное явление в истории революции, болезненный нарост, которого могло и не быть, или же в этом обнаруживается коренная духовная ее болезнь? <...> Страшная проблема Азефа во всем ее огромном значении так и осталась не оцененной в русском сознании, от нее постарались отмахнуться политическим жестом. Между тем, Достоевским уже наперед была дана, так сказать художественная теория Азефа и азефовщины, поставлена ее проблема»⁹. Роман «Бесы», горячо убеждал Булгаков, нужен современной России (то есть России 1914 года. – Л.С.) не меньше, чем раньше, нужен в каждый исторический момент ее бытия. И если современный театр вообще может иметь оправдание, то высшая его задача состоит именно в инсценировке мужественной и возвышающей трагедии.

И вот как осмысливается политический вывод С.Н. Булгакова уже в наши дни. «Именно такая “чисто идейная провокация” стала фатумом для России: движителем подобной провокации был Ленин, совершавший октябрьский переворот на деньги Германии, с которой Россия находилась в состоянии войны. Комическим простаком в мировой политике был Михаил Горбачев, который “купился” на американскую провокацию с СОИ, закрыл космические программы СССР и подписался под поражением в “холодной войне”. А чем иным, как не провокацией, был невообразимый выход России из состава России, обнародованный в форме Декларации о государственном суверенитете РФ? Россия как разрушительница Российской империи, векового дела русских людей, – даже Андрей Белый, видимо, счел бы этот бред чрезмерным»¹⁰.

Итак, общество обращается к «Бесам» с тем, чтобы заставить роман работать на новом этапе истории. «Бесы» прочитываются сегодня и как «гениальная педагогическая комедия», современный ответ Достоевского тургеневским отцам и детям (А. Генис, см. примечание 1), как сказка для детей, вроде Бармалея»¹¹, ибо масштабы ужасов современной жизни уже ни в какое сравнение не идут с тем, что показано в романе Достоевского. И как свидетельство неискоренимого лицемерия русской общественной жизни (В. Шевцов)¹², для которой бесовщина – форма существования. И как доказательство того, что у нас все преступления совершаются именно *по совести*, а самые циничные едва ли не в доблесть (В. Поляков)¹³. И как модный «брэнд», первоисточник и вдохновитель нового русского экстрима. «Русская революция, русские бесы тут совершенно ни при чем. Просто это именно Ставрогин “придумал” все: и расширение сознания, и Кастанеду, и сексуальную революцию, и педофи-

лию, и серийных маньяков, и секс-туризм в Таиланд к 12-летним девочкам, и реалити-шоу... Эпоха блестящих экспериментов, благополучно им начатая, продолжается до сих пор. Но сам Ставрогин воспринимается на фоне новых экспериментов как наивный мечтатель, романтик»¹⁴.

Роман «Бесы», осмысленный в начале XX века как религиозная драма, как борьба двух стихий в душе человека, как пророчество о революции (напомню знаменитую формулу В. Переверзева «Всё сбылось по Достоевскому»), сегодня востребован как универсальное средство для обличения политических противников, как каталог уродств в общественной нравственности, как учебник по анатомии террора. А сам Достоевский – по-прежнему один из самых «репертуарных» авторов русского и, кажется, зарубежного театров. Ведь, как говорил Вл.И. Немирович-Данченко, Достоевский всегда «писал как романист, но чувствовал как драматург»¹⁵.

Новые опыты радикальной актуализации романа «Бесы» и характер дискуссий вокруг него связаны с театральными постановками последнего времени. Речь идет прежде всего о громких московских премьерах – в театре «Современник» (А. Вайда) и в театре «Школа современной пьесы» (А. Гордон), – которые стали импульсом для широкого обсуждения романа. Понять *мотивы* обращения современного театра, кино, телевидения к роману «Бесы» – значит, выражаясь языком Достоевского, *уничтожить неопределенность* в понимании результата.

1

Встреча знаменитого польского режиссера Анджея Вайды с Достоевским была, как известно, самым захватывающим переживанием театрального мастера. Его постановки «Бесов» (1970), «Настасья Филипповны» (1977), «Преступления и наказания» (1984) составили на сцене Старого театра Кракова (Польша) русскую трилогию и дали режиссеру незабываемое, мучительное творческое счастье. Вайда не раз писал о невозможности поставить романы Достоевского в полном объеме и в то же время – о невозможности оторваться от работы над Достоевским. В частности, роман «Бесы» преследует Вайду уже пятьдесят лет: он был поставлен на польском, английском, французском, японском языках, и режиссер уверяет, что знает наизусть весь текст и все комментарии к нему.

Мотивы, по которым Вайда много лет подряд не расстается с Достоевским, неоднократно комментировал сам режиссер. «Я искренне ненавижу и в то же время восхищаюсь Достоевским, – говорил Вайда 20 лет назад. – Я ненавижу его за национализм, за его ничем не оправданную убежденность в том, что Россия должна сказать миру какое-то

“новое Слово”, что русский Бог должен воцариться во всем мире, что православие имеет какие-то бóльшие права, чем другие религии. Все это, вместе с его презрением и ненавистью к полякам, немцам, французам – эта националистическая ограниченность – все это, конечно, меня в Достоевском отталкивает. Но как писатель Достоевский открыл в “Бесах” нечто такое, что сегодня особенно ужасает нас и смахивает на заговор против всего человечества, сколачиваемый с неумолимой точностью. Это – эффект различия между словами Христа: “Дай, помоги ближнему своему”, – и социалистическим лозунгом: “Возьми у того, кто богаче тебя, – он должен дать”... Достоевский сделал свои романы как бы иллюстрациями к избранным фрагментам Евангелия. Евангелие – книга христиан, книга Запада, и я думаю, что это одна из причин, по которой Достоевского там больше читают, лучше понимают, хотя он более русский, чем многие другие русские писатели»¹⁶.

В 2004 году, приступая к работе над постановкой «Бесов» в московском театре «Современник», Вайда добавил: «Достоевский наш писатель, а не ваш... Он понимает христианскую культуру так, как ее понимают представители западной цивилизации и культуры. Он соотносит метания и страдания своих героев с Евангелием, которое сформировало сознание западного мира. И таким образом, Достоевский, русский писатель, смотрит на Россию глазами западного человека. Поэтому мы хорошо понимаем его героев – Ставрогина, Раскольникова... Они наши герои»¹⁷.

Однако постановка Вайды в Москве имела, как оказалось, мотивацию, никак или почти никак не связанную с евангельскими реалиями. В романе Достоевского, полагал Вайда, скрыто нечто, до конца не разгаданное, но насущно необходимое. В поисках этого НЕЧТО он попытался разнять роман, оставляя за скобками как раз евангельскую сердцевину смысла. Дурная бесконечность переустройства бытия, извечное поправление Бога жестокостью без причин, блуд «общего дела» оказываются среди того, что скрыто, а эскизы грядущих возмущений и типология возмутителей – это то, что подлежит сценическому открытию.

«Во времена Достоевского убийства из прихоти или по идейным соображениям были не так распространены, и его это потрясало. Сегодня это происходит постоянно. Я пытаюсь разобраться, как это – убивать, зачем это человек убивает человека... в нашем спектакле мы хотим показать, как появляется кто-то, кто использует героев-мечтателей в своих целях и ставит их перед таким выбором, когда им некуда отступить, кроме как в преступление. Из нормальных людей они превращаются в кружок, сначала дискуссионный, потом конспиративный, потом террористический. В сюжете романа представлена вся технология революционных приготовлений»¹⁸. Вайду изумляет подвиг и нечеловеческая проницательность Достоевского: «Из одного только политического

процесса, по которому проходили несколько человек, он сумел создать такие долговременные выводы»¹⁹.

В программке к спектаклю было помещено обширное письмо Вайды к зрителям, где изложены мотивы, заставившие режиссера в очередной раз обратиться к роману Достоевского, уже приспособленному как для сцены (в Старом театре Кракова), так и для экрана. Мотивы эти правильнее было бы назвать не художественными, а, скорее, общественно-политическими или просветительскими. «Здесь, в Москве, – пишет Анджей Вайда, – меня часто спрашивали, может ли искусство играть какую-либо роль в жизни общества. На этот вопрос я всегда отвечаю “ДА”, имея в виду “Бесы” Достоевского. Разве жизнь в России не потекла бы иначе, если бы эта книжка – как и многие другие – не была вычеркнута и выброшена не только из библиотек, но и из голов многих поколений? Достоевский с ужасом всматривался в приближающееся будущее, рассчитывая на то, что его читатели, вооруженные этим предупреждением, найдут силы, чтобы противостоять манипуляциям Верховенских, нигилизму Ставрогиных и опасной тупости рассуждений Шигалевых о “развитии общества”. Достоевский – в чем я убедился, работая во многих странах, – понятен везде. Но достаточно ли его слова и его предсказания услышаны здесь, в России? Покинули ли ее бесы?.. И наступило ли время исцеления, о котором мечтал Достоевский? И сегодня, когда гениальное творение Достоевского вновь становится всеобщим достоянием, каждому из нас, кто любит русскую литературу и восхищается ее прекрасными создателями, которых породили великая культура и великий народ, хочется верить, что это именно так»²⁰.

Вайда считал, что сегодня наиболее перспективным будет прочтение романа в ракурсе темы террора. Он и попытался вывести формулу терроризма, исследовать симптомы чумы третьего тысячелетия, которое действительно с каждым годом все более обостряет актуальность романа. Историки говорят о трагедии террора как о трагедии непрочитанных книг, трагедии неизвлеченных уроков. Ход национальной истории представляется по этой причине и в самом деле катастрофическим.

Речь идет, таким образом, о том, что роман Достоевского вовремя не был прочитан и не был понят во всей заложенной в нем перспективе именно на родине. Совершенно очевидно, что Вайда не верит, как не верит все русское общество, что бесы покинули Россию и наступило время исцеления, о котором мечтал Достоевский. Вайда видел здесь многое, ходил по улицам, смотрел телевизор и, надо полагать, убедился: актуальность «Бесов» такова, что даже реплики про пожар звучат до боли злободневно. По окончании одного из премьерных показов спектакля (14 марта 2004, в день президентских выборов), кульминация которого связана со сценой пожара, публика неожиданно узнала, что, пока

шло заключительное действие пьесы, сгорело здание Манежа. Когда об этом сообщили А. Вайде, он был потрясен до глубины души, восприняв это как некий мистический знак²¹. Будто кто-то специально постарался: за то время, пока Вайда ставил «Бесов», в Москве случились и взрыв в метро, и обрушение аквапарка, и Манеж...

Вайда настойчиво, в течение многих лет хотел поставить «Бесов» в России, чтобы русские актеры играли на родном языке Достоевского и чтобы он сам, Вайда, услышал наконец как звучит Достоевский без перевода. Фактор «русскости» актеров стал вопросом принципиальным. «Я же вижу, как актеры совершенно иначе относятся к своим персонажам. Они по-другому понимают текст, легче его обживают – у них другое мышление... Независимо от того, кого каждый из артистов играет, они в большей степени являются самими этими персонажами. У этих артистов какие-то свойские отношения с персонажами²².

Вайда надеялся, что спектакль вытянет не столько режиссерская мысль, сколько энергия актеров, произносящих реплики на русском языке. К тому же, быть может, полагал он, в романе Достоевского столько жгучих откровений, столько вдохновенных мест, что актуальной должна показаться любая постановка «Бесов», лишь бы со сцены звучал текст, не испорченный излишней режиссерской фантазией.

Однако оказалось, что у актеров фактически не было пьесы. В основе спектакля Вайды лежала пьеса Альбера Камю «Одержимые» (1959), в которой роман Достоевского изначально был подвергнут жесткой композиционной и идеологической переработке. К тому же, цитаты Достоевского в тексте Камю сначала перевели с французского на польский, а потом с польского снова на русский. (Как остроумно замечает рецензент, «каждому знаком эффект обратного перевода. Перекладываешь на английский, скажем, пушкинское “Я помню чудное мгновенье”. Потом переводишь ту же строчку обратно и получаешь что-то вроде: “вспоминаю несколько приятных минут”. Переведенный Альбером Камю на язык инсценировки, потом “переделанный” самим Анджеем Вайдой, расширенный и дополненный актерами сценический текст имеет к Достоевскому такое же отношение, как вышеприведенная строчка к Пушкину»²³.)

Именно в конце 1980-х, когда «Бесы» были наконец допущены на театральные подмостки, пьеса Камю шла в Театре имени Пушкина в постановке Юрия Еремина. Вайда начал работать с инсценировкой Камю гораздо раньше. В каких бы странах он ни ставил спектакли по «Бесам», он всегда брал версию Камю и каждый раз ее перерабатывал, от чего она изменилась до неузнаваемости, – так что в московской версии она стала «похожа на латаное-перелатаное одеяло, которое разные сюжетные линии романа попеременно стягивают на себя»²⁴. От пьесы Камю и раньше оставалось так немного, что только «сложности юри-

дического порядка» заставляли Вайду сохранить имя автора в афише. В нескольких предпремьерных интервью Вайда сделал поразительные признания о ходе репетиций: если кому-то из актеров «Современника» хотелось добавить к своей роли пару-другую реплик из романа, режиссер не препятствовал. Сергею Гармашу, сыгравшему роль капитана Лебядкина, и вовсе было дозволено вставить целую сцену с чтением басни «Таракан». Фактически пьеса сочинялась по ходу спектакля и являла собой уже не драматургию Камю, а «сценическую редакцию» Вайды. Она, по признанию режиссера, превышала прообраз вдвое (23 сцены против 11), а окончательный вид обрела только на репетициях. «Камю оказался тем топором, из которого варят суп в русской сказке. Правда, там сметливый солдат, выцыганив у скупой хозяйки соль, мучицу, лучок, коренья и прочие съедобности, топор из котла вынул. У Вайды вкус топора ощутим с первой ложки»²⁵.

Режиссерский акцент был сделан на интриге заговора Петра Верховенского как моменте политически остром и наиболее, по мнению Вайды, созвучном сегодняшнему дню. Однако магия зла и бесовщины возникала, по замыслу режиссера, не за счет «внутренних резервов», а за счет персонажей в черном, «дзании» восточного театра. «Я ввел в спектакль персонажей в черном как нечто таинственное, – признавался Вайда. – Это для европейцев интереснее. В нашем спектакле черные люди вначале – только функции для перестановки декорации, они не должны вызывать никаких ассоциаций типа того, что они бесы, но постепенно, ближе к финалу, эти чёрные фигуры начинают играть свою роль. Они поставили декорации и вдруг остались на сцене. А к концу спектакля они вообще со сцены не уходят»²⁶.

Но то, что должно было выглядеть зловеще, выглядело по-детски наивно – «слуги просцениума похожи и на средневековых рыцарей, и на каких-нибудь дезактиваторов зараженной зоны»²⁷. Одетые в черные хитоны с капюшонами черные люди суеются у героев под ногами, унося и принося предметы мебели и реквизита. По свидетельству очевидцев, в краковской постановке Вайды в этих черных слугах просцениума было нечто бесовское, что придавало спектаклю особое напряжение. В Москве они напоминали «каких-то пришельцев из голливудского фильма категории Б, по неведомой логике ворвавшихся вдруг в пространство романа»²⁸.

Актуализация (осовременивание) готовилась на репетициях с помощью специальных режиссерских приемов. Г. Волчек, помогавшая Вайде, объясняла актерам: «Каждый заговорщик со своей мыслью пришел. Вы каждый день видите по телевизору – когда они идут на правительственное заседание, у них такая мысль на лице, будто они новый мир откроют!»²⁹ Подобным образом работал и Вайда. «[Сцена с Мари

Шатовой] Дай нам понять, что она сделала с ребенком. Бросила его в пруд? В Чистые пруды?»³⁰ (Театр «Современник» расположен на Чистопрудном бульваре. – Л.С.) Еще Вайда: «Это в психологической драме говорят тихо и быстро, а в трагедии громко и медленно! Мы должны говорить громко и быстро! Мне нужно больше энергии. В этом главный механизм. Из энергии слов должна рождаться энергия движения. [И далее следует комментарий:] Ставрогин не колеблется, не сомневается, он знает, как жить. Поэтому Петр и держится за него: “Ты вождь! Ты солнце!”» (Однако в одном из интервью Вайда говорит: «Ставрогин, если воспользоваться понятием из психоанализа, является аналитиком глубин, то есть человеком, который стремится понять, увидеть, до какого унижения, до какого дна можно довести человека – другого и самого себя. Он как бы распят между страшным злом и жадой искупления»³¹). Вот режиссерский комментарий о Шигалеве: «От вас, Шигалев, должно исходить что-то угрожающее, опасное, чтобы зал содрогнулся от страха. Шигалевщина распространяется и вызывает дрожь – загляните в роман, чтобы это понять»³².

Однако в спектакле не было ни единого мига, когда зал бы сострадал или содрогнулся. Спектакль, по впечатлению многих театральных критиков и зрителей, предстал как цепь из множества эпизодов, очень отдаленно следующих за первоисточником. «В спектакле нет той “достоевской” вязи, той системы намеков, той игры ассоциаций, благодаря которым читатель в конечном итоге понимает, что убийство Лебядкиных, теория Шигалева, треп губернских лоботрясов, сорванное сватовство Степана Трофимовича, богоборчество Кириллова, провокации Петруши, пожары, кощунства, соблазнения, истерики, исповеди и много прочего суть нечто единое – беснование»³³. Один из критиков сравнил постановку Вайды с лекциями С.Т. Верховенского об аравитянах и рыцарях, с которых тот начинал свою миссию служения России и которые у всех вызывают только иронию.

Роковая потеря постановки – Ставрогин. Спектакль лишен главного остова, на котором и должна была быть замкнута и политическая, и криминальная, и экзистенциальная проблематика романа. У Вайды Ставрогин – это резонер с беззгливой маской, которая намертво приросла к лицу. Но Ставрогин в виде «бездушной восковой фигуры», пустой и полой, без внутренней трагедии, без внешних потрясений, выглядит как статист; а без него в системе координат «Бесов» все разваливается. Пустой бравадой звучит и его исповедь, изложенная в начале спектакля прямо в зал, деревянным голосом, на полублатной манер. Знаменитое ставрогинское обаяние гибнет, не будучи никак использовано.

Приговор выносится еще в прологе, когда Ставрогин самодовольно докладывает о случае с Матрешей. «Беда в том, что при помещении

исповеди Ставрогина в пролог начисто ликвидируется тайна героя. У Достоевского ее проницает Тихон и полуугадывает читатель, прежде недоумевавший от странных поступков Николая Всеволодовича (точнее – от слухов о них; все “факты” преломлены через множество призм; герой складывается из чужих слов, суждений, реакций) и подпавший под его демоническое обаяние. В спектакле ребус решен с ходу, точки над *i* поставлены прежде, чем появились какие-либо буквы»³⁴. Этот Ставрогин уже словно вынесен за жизненные скобки и подобен зомбированному мертвецу, который ждет не дождется того момента, когда снова можно залезть в петлю. «Роль, сыгранная Владиславом Ветровым, представляет собой такую же цепь неясных путаных обрывков, как и прочие: малопрятный человек с брюзгливым лицом рассказывает о совершенных им гадостях, отрешенно бродит по сцене, повелительно покрикивает на окружающих, тыча зонтиком, а в финале вешается, не вызывая за три с половиной часа спектакля и толики сочувствия к своим страданиям»³⁵.

Надежда на звучание Достоевского в русском исполнении как на главное условие успеха не оправдалась: тот Достоевский, который звучал со сцены, резал слух несостыковками и дописками, додумываниями и целенаправленным спрямлением сложнейших характеров. «Монументальный российский бес тире падший ангел превращен в спектакле Вайды в немолодого лысоватого мужчину, который мается скукой, спит подряд со всеми женщинами. В спектакле не сомневаются в наличии ребенка у Марьи Тимофеевны (у Достоевского героиня о нем лишь фантазирует). У Вайды нет сомнений в интимной связи Ставрогина с Дашей и в том, что герой намеренно соблазняет Лизу. Ставрогин постоянно что-то бубнит себе под нос и подбрасывает разные соблазнительные идеи глуповатым обитателям уездного городка»³⁶.

Итак, вполне понятное намерение режиссера вынуть часть из целого, актуализировать политический акцент, не дало результата. Зритель, незнакомый с романом в деталях, глядя на сцену в течение трех с половиной часов, мог и не понять, из-за чего происходит убийство Шатова; каким образом Петр Верховенский возымел такое влияние на «наших»; почему застрелился Кириллов и повесился Ставрогин. «Идеология “нечаевщины”, философия самоубийства и богоборчества, сам механизм воспроизведения бесовщины в спектакле остались “за кадром”»³⁷. Роман упорно не раскрывает тайное НЕЧТО через модную сюжетную линию и не внимает намерению интерпретатора обойтись «краткосрочной полезностью», принимаемой за актуальность.

Успех театральной актуализации «Бесов» связан еще и с качеством восприятия контекста. Ведь, судя по реакции зала на многие реплики, зрители не знают содержания романа – и это еще одно примечание

к теме невыученных уроков и непрочитанных книг. «Сегодняшняя реакция зрительного зала – смех на хлесткие определения, вроде “Россия – игра природы, но не ума”, рассуждения о том, что соус из зайца не приготовить без зайца, сообщение о назначенном на май акте – скорее наводит на мысль о том, что мало кто знает (или помнит) текст романа, чем на ощущение живой современности»³⁸.

Однако «Бесы» продолжают работать, если звучит хотя бы осколок текста. Зерно вечной истины прорастает от самых неожиданных и, казалось бы, случайных вещей – от присутствия того или иного узнаваемого зрителя в зрительном зале. Так, на одном из премьерных спектаклей среди прочих знаменитостей был Михаил Горбачев. «Публика встречала его вход в демократический зал “Современника”, где нет “царских лож”, долгими аплодисментами и искренним умилением. Так вот, о том, что первый президент в зале, почему-то никак во время спектакля не забывалось. Как и о нашем новом президенте, о недавних выборах и прочих политических перипетиях нынешней жизни. Когда на сцене гнусный радетель за всеобщее счастье Верховенский, мечтающий повязать всех кровью, вел речь с глуповатыми, многословными и бессильными интеллигентами-либералами – делалось жутковато. Сатирические реплики Достоевского перестали быть смешными и стали узнаваемыми. А уж когда на авансцену вышел Рассказчик и сказал со значением: “не стану описывать картину пожара, ибо кто ее у нас на Руси не знает...” – зал разразился аплодисментами такого узнавания, о каком за три дня до того никто и подумать не мог. Гений все предвидел»³⁹.

И еще одна выразительная цитата из многочисленных рецензий на спектакль. «История бесов не только не закончена, но даже не дошла до своей кульминации, которая, судя по тому, как развивается наша судьба, неотвратима и очень притягательна. Среди простых и ясных идей Петруши Верховенского главной сегодня становится – страсть, так милая нашему сердцу – право на бесчестье. Не так страшно перепутать зло с добром, как вообще эти категории отменить, что, собственно, и случилось с нами за годы романтических реформ. Увы – наша “бархатная” революция потерпела моральное поражение... И тем сильнее звучат вопросы, сформулированные Достоевским и акцентированные Вайдой. Нет, не покинули бесы Россию, а наоборот, размножились, как тараканы (очевидцы утверждают, что тараканы – вот такие с палец величиной и в отремонтированном Кремле живут). Нет, не услышали в России мрачных предсказаний Федора Михайловича. Нет, не наступило время исцеления»⁴⁰.

В спектакле Александра Гордона «Одержимые» (Театр «Школа современной пьесы», автор инсценировки Игорь Волков) опрос о чтении романа входит в структуру замысла. Руки поднимает всего 3–5% зрительного зала (на премьере, собравшей половину московских театральных критиков, процент оказался более высоким, чем на прогонах, – 20%). А текст романа в постановке Гордона урезан в разы, и на сцене присутствует всего девять персонажей, считая режиссера в роли Ведущего. Идея же заключалась в том, чтобы внутри спектакля устроить дискуссию с политиками и напрямую транслировать ее в эфир. «Это будет “телевизионное шоу для театра”, “два в одном”. Зритель, пришедший в театр, окажется на телевизионном шоу со всеми ему присущими законами. Магическое театральное “если бы” мы развиваем и конкретизируем: что было бы, если бы герои Достоевского пришли бы на телевизионное ток-шоу»⁴¹.

Спектакль планировался как отчасти театральная, отчасти телевизионная игра на основе «Бесов» (в программке к спектаклю его жанр обозначен как «импровизация на темы романа Ф.М. Достоевского «Бесы»»). Театральный режиссер выступает здесь в роли телеведущего, герои Достоевского присутствуют как гости телестудии, готовые выйти, когда надо, из роли и на равных участвовать в дискуссии, а театральные зрители должны чувствовать себя посетителями телешоу, которым тоже предстоит, если они захотят, комментировать происходящее. Действие на сцене снимают несколько камер, ведущий задает вопросы участникам и жертвам бесовского заговора, пытаясь разобраться, отчего свершилось в городе столько мерзостей и пролилась кровь. За кадром звучит дикторский текст, представляющий персонажей. Их изображения появляются на экране в виде стоп-кадров анфас и в профиль, с печатью-штампом в прямоугольной рамке, как в досье из уголовного дела (да и программка на темно-желтой бумаге с грубой черной печатью должна напоминать о листовках, которые заговорщики-бесы разбрасывают в округе). Два телеоператора ведут «прямую трансляцию» на экран то зрителей, то главных персонажей расследования.

За отправную точку взято финальное ставрогинское самоубийство. После того как на экране вспыхнет надпись «24 часа до самоубийства», начнется перекрестный допрос персонажей романа, с тем чтобы постепенно реконструировать ход событий. Телекамеры целятся в лица то актерам, то зрителям, а над сценой, как и полагается на ток-шоу, вспыхивают световые табло, инструктирующие публику, где ей полагается аплодировать, когда одобрять, а когда негодовать. Ситуация телестудии, где отсутствуют быт и декорации, стерильна. То есть мы имеем

дело с идеологическим романом в чистом виде, без всякой психологической или иной подоплеки.

«Первый акт – собственно телешоу, где представляются все герои и каждый из них имеет возможность высказать свою точку зрения. Второй акт – это “реконструкция событий” – как бы все выглядело, если бы за происшедшим наблюдала камера. Перед Ставрогиным проходят все его создания, начиная от Федьки Каторжного и заканчивая Хромоножкой. В третьем акте нас возвращают в телевизионную студию, где и происходит развязка. Детектив случился, и начинается журналистское расследование: кому это было выгодно и кто мог это сделать»⁴².

Внутри первого акта планировалось обсуждать с залом те темы, которые сто с лишним лет назад были заданы Достоевским. Режиссер насчитал более сотни актуальных тем. Например, либерализм и административный восторг; народ-богоносец и анатомия террора (я видела, как хохотали актеры на «актуальных» репликах, таких, например, как «пятнадцать лет реформ – и что?»).

Предполагалось, что вторая часть первого акта каждую неделю будет показываться на телевидении. Каждый раз в спектакле будет обсуждаться новая тема, на каждом представлении будут присутствовать современные политики, которые подключатся к диспуту. Их схватка, по замыслу, должна была транслироваться в телеэфире, а Верховенский-старший (Альберт Филозов) будет подливать масло в огонь, встречая в спор с подходящими к случаю текстами из Достоевского.

Все это, конечно, не совсем ново и напоминало об инсценированных судах, которые после революции в Москве устраивали над героями Достоевского. Например, над Раскольниковым. «Коллегия присяжных», взвесив все «за» и «против», приходила к выводу, что не убить юноша не мог – среда заела. Наверное, после революции иные решения были невозможны. То, что предложил сделать Александр Гордон, – не суд, естественно, но в этом столь же радикальное отношение к «Бесам», тот же бескомпромиссный посыл: «Давайте разберемся!» Спектаклем Гордона движет вопрос: а как все было? Упрощение романа заведомо задано журналистским расследованием на тему «Почему покончил с собой Николай Ставрогин?».

По сути, Гордон хотел вызвать роман на диалог. Не воспроизвести образы Достоевского, а актуализовать их, уловить переключки с нашим временем и не просто указать на них, а прямо-таки вступить с героями Достоевского в полемический контакт, то есть, к примеру, прямо спросить у Ставрогина: «А каковы обстоятельства твоего венчания с юродивой Лебядкиной?» Или у Кириллова: «Ну, зачем ты подписал бумагу, что Шатова убил? Не мог, что ли, без подлой записки в мир иной уйти?»

«То, что говорят герои Достоевского, – считает Гордон, – так или иначе связано с политическими реалиями сегодняшнего дня. В формате телешоу все это считается гораздо легче, без кукиша в кармане, который был свойствен постановкам 1960–1970-х годов. Политики – люди одержимые. Одержимость бывает двух родов – одержимость духом и одержимость бесами. Сегодня главным пристанищем бесов в России я считаю телевизионное пространство»⁴³.

Замысел Гордона (о котором Вайда мог бы сказать, что «театр здесь прикидывается телевидением и подражает кино»⁴⁴), столкнувшись с реальностью, серьезно пострадал. Вмешалась та самая бесовщина телевидения и политики, из-за которых Гордон и обратился к «Бесам» Достоевского. Ведь телевидение признает жизнью только то, что попадает на экран, и ничего больше. «Если тебя нет на экране, тебя нет вообще» – вот бесовское кредо современного телевидения. Именно оно и стало причиной неудачи (если не сказать провала) всего проекта. Гордон хотел с помощью бесов романа сразиться с бесами телевидения и политики, которая почти вся и существует только в виртуальном пространстве. Для успеха замысла нужно было всем без исключения – актерам, гостям, публике – включиться в число «одержимых», выступив от их имени.

Но неожиданно спектаклю было отказано в эфирном времени – на НТВ и затем на радио «Эхо Москвы». «Одержимые» Гордона лишились «бытия», если понимать «бытие» как реальность виртуальную. Но ведь именно на это «бытие» и уповал постановщик: ему самому как ведущему телеэфир необходим как воздух. Политики и публицисты согласились выступить только на предпремьерных показах, перед залом⁴⁵. Но на премьере никто из политиков, привыкших к многомиллионной аудитории и отравленных возможностями телевидения, уже не пришел. Спектакль играли в усеченном виде, и было это весьма сиротливое зрелище: вне экранного существования оно действительно как бы и не существует вообще. А все аксессуары телешоу – микрофоны на гостях, хамоватый помощник ведущего и некстати вспыхивающие табло «Аплодисменты», «Одобрение», «Неодобрение» – остались пустой бу-тафорией, совершенно неуместной в чисто театральном действе.

««Бесы» за стеклом» – так называли в кулуарах проект Гордона. Ведь все оформление «телестудии» было сделано из оргстекла, намекая на стилистику реалити-шоу. Подсмотреть, чем там за стеклом занимаются персонажи «Бесов», – все это было бессмысленно вне экрана⁴⁶.

Как проект Вайды, так и в еще большей степени проект Гордона показали пределы актуализации романа. Нанять классический роман как золотую рыбку для «конкретного» обслуживания политической злобы дня – дело провальное именно со стороны этой злобы дня: гонишься за

актуальностью – и теряешь чувство современности. «Бесы» Достоевского как бы показали язык и «Бесам» Вайды, и «Одержимым» Гордона.

«Покинули ли Россию бесы?» – риторически (или лицемерно?) вопрошают новые инсценировки «Бесов» Достоевского. «Не дожидесь», – откровенно (или саркастически?) отвечают новые бесы нашей действительности. «Бесом имитации» назвала театральная критика нашу театральную жизнь, имея в виду какую-то общую духовную лень и тотальное «опопсовение». «С горечью понимаешь, как мало у нас за последнее время было подлинных актерских свершений (они ведь, в конце концов, возможны и вне великой режиссуры). Как много халтуры и эксплуатации добытой за пределами театра славы. Как много – неизбежное следствие “попсовизации” – появилось имитаторов глубины и духовности, умело выдающих себя за спасителей культуры. И как много поклонников этого имитаторства»⁴⁷.

3

Надо отдать должное московской театральной критике и тому чувству мучительного недоумения, с которым она восприняла новые сценические воплощения «Бесов». Почему великий Вайда счел, что ему хватит всего шести недель, чтобы поставить сложнейший спектакль на чужом для него языке, с чужой театральной труппой и с незнакомыми актерами? Почему дебютанту в театральной режиссуре Гордону понадобилось делать из театра телешоу, из-за чего угробились и театр, и шоу? Критики сочли справедливым анализировать именно спектакли, а не личности режиссеров и истории их грандиозных замыслов. Ностальгически вспоминались и ожидались в Москве «настоящие» «Бесы» в легендарной уже постановке Льва Додина (Петербург, Малый драматический театр, премьера 1991 г.), которому понадобилось почти три года, чтобы освоить сложнейший литературный материал.

В трагедию российской бесовщины Лев Додин погрузился с бесстрашным отчаянием и мастерством. Он работал над Достоевским в смутное время начала 1990-х. Все артисты, занятые в спектакле, прошли серьезную филологическую и философскую подготовку (и, как шутят в театральном мире, каждый из них за три года переиграл все роли). «Когда мы начали заниматься “Бесами”, – позже рассказывал Л. Додин, – мы вывесили список из 200 с лишним названий книг, которые нам казалось важным прочесть всем артистам. В основном это были книги не о Достоевском, а книги, которые читал или мог читать сам Достоевский, его герои. Это казалось нам очень важным, потому что должно было помочь понять размышления писателя, его героев. Надо было

заставить наши головы работать в том же направлении, что и головы участников этой истории. Во многом это было открытие целого мира, довольно мучительное. И иногда очень радостное. Потому что даже самые тяжелые открытия – радость. Я думаю, что трудности, которые испытывали артисты, постигая эту литературу, во многом приближали их к людям Достоевского, потому что те тоже мучаются, пытаясь хоть что-то понять»⁴⁸.

Артисты МДТ вчитывались в роман Достоевского, а не в его двойную переделку или краткий конспект. Они «постигали эту книгу умом, душой, печенкой, всем своим организмом. Они в буквальном смысле творили ее во время репетиций. Артисты “Современника” не творили и не постигали. Они попытались взять “Бесов”, как берут высоту в прыжках с шестом, и даже не сбили планку, а просто не долетели до нее. Для Вайды это уже энное обращение к роману: он ставил его в разных частях света и, как говорится, набил руку. Но умение быстрехонько развести участников спектакля по мизансценам тут мало что решает. Глубины вживания в такие роли даже при наличии таланта не добьешься с наскока»⁴⁹.

Многочасовой шедевр Льва Додина (прежде он шел три вечера подряд, а сейчас длится с 12 часов дня до 10 вечера, с двумя часовыми перерывами) ожидался в Москве как торжество справедливости. И оно настало – спустя три месяца после двух провалившихся (если смотреть правде в глаза) московских премьер. Огромная тень подлинных «Бесов» заслонила и несостоявшееся шоу Гордона, и «легковесный, риторический, небрежно сделанный спектакль Вайды и увела за собой. Вспомнившаяся подлинная строка Пушкина заставляет мигом забыть все приблизительные ее перепевы и переводы»⁵⁰. Оказалось, что артисты и зрители ничуть не утомляются, когда проживают с Достоевским целый день – Додин называет этот день замечательным духовным приключением.

Впервые за последние десять лет Малый драматический театр – Театр Европы приехал в Москву на месяц. Спектакли МДТ проходили в рамках фестиваля «Золотая маска». Как отразились перемены в обществе на театральных зрителях? Кто сегодня ходит в театр? Как зрители смотрят спектакли? Такие вопросы задавали Додину московские журналисты. Додин отвечал совершенно «поперек» того, что навязывает имитационная культура. «Внешние перемены как будто бы существуют. Резко увеличилось количество коммерческих зрелищных мероприятий. Многие считают, что зрителю сегодня это нужно прежде всего. Думаю, здесь люди обманывают и зрителей, и самих себя. Наш опыт показывает, что, в сущности своей, зритель остался тем же, а во многом новое поколение еще глубже и острее воспринимает серьезное

художественное действо. Мы живем в сложное время, а чем сложнее время и чем быстрее происходят перемены, тем глубже и серьезнее нужно людям искусство, потому что оно должно помочь им во все дни перемен сохранить свое человеческое начало. На II съезде Союза советских писателей Пастернак сказал замечательные слова: в период реконструкции художник должен думать медленно. Журналисты не поверили своим ушам, и во всех газетах было написано: художник должен думать немедленно. Разница налицо»⁵¹.

За тринадцать лет существования спектакля «Бесы», с которым МДТ объездил весь мир, собрана целая библиотека рецензий и откликов. При всем разнообразии мнений и оценок все они были наполнены ощущением свершившегося театрального, художественного, культурного *события*, к которому можно подходить с самыми серьезными критериями, без скидок на прошлые заслуги режиссера или на экспериментальный характер современного театра. Почти в каждой рецензии по тому или иному поводу прозвучало слово «гениальный». Тем крепче и уверенней выглядел сильный эпитет после московских премьер. «В этом спектакле многие актерские работы, казалось, были отмечены гениальностью. Кто сможет забыть высоченного, нелепого бритоголового Кириллова (его играл Курышев), похожего на огромного страдающего ребенка? Было видно, как мысль с трудом шевелилась в его непривычной думать башке, доставляя почти физическую боль и одновременно наслаждение. Кто забудет Петра Верховенского-Бехтерева со стальным фанатизмом в светлых глазах – отвратительного и завораживающего, как змей? Или гадко и вдохновенно ерничающего Лебядкина-Иванова, жалкую и отчаянную Хромоножку-Шестакову? Конечно, сравнивать – последнее дело, но додинские “Бесы” сами всплывают перед глазами, когда видишь на сцене “Современника” в самых важных ролях – Шатова, Кириллова, Верховенского, да и многих других, – только милых мальчиков, аккуратно разведенных по мизансценам. А в ролях нервных и надломленных девушек Достоевского – красавиц, плохо понимающих, что им следует играть»⁵².

Мысль о том, что поставить «Бесов» целиком, со всеми сюжетными линиями и коллизиями, невозможно даже и в двенадцатичасовом спектакле, была отчетливо понятна каждому, кто брался за инсценировку романа Достоевского. Потому-то Немирович-Данченко назвал свой спектакль «Николай Ставрогин», взяв за главную линию Ставрогин–Верховенский. Потому-то Камю в своей пьесе сосредоточился на истории отношений властной генеральши Ставрогиной и либеральствующего барина и отчасти приживала Верховенского-старшего. «Трудно играть “Бесов”, – писала критика по свежим следам петербургской премьеры. – Сыграешь конкретно-исторически – сведется все к бытовому

анекдоту. Оторвешься от реальной жизни – фигуры получатся картонные. Немирович-Данченко искал реального, но как бы отточенного до символа образа – и не везде ему этот баланс удался. Что ж, думаю, не обидно будет и Л. Додину услышать, что для него, для его актеров отточенность символа во многом осталась пока недостижимой. Одно очевидно – режиссер ставил не политический спектакль (хотя “Бесы” и наше время как раз подросли друг к другу), но стремился к смыслу более широкому и глубокому»⁵³.

Спустя полтора десятилетия, из точки времени «сейчас», какая потеря содержания «Бесов» Достоевского кажется наиболее тяжелой в спектакле Додина? Из всех сюжетных линий романа, которые не вместились в спектакль (фактически лишним оказался Верховенский-старший, а значит, и грандиозный евангельский финал; выпущены бал гувернанток и кадрили литературы, не понадобилась книгоноша, полностью отсутствует губернаторская чета фон Лембке), труднее всего смириться с провалом темы «заговорщики и власть». Ведь если Петр Верховенский со своей «шелудивой кучкой» не имел бы никакой опоры наверху, он был бы только смешон и жалок, но никак не опасен: не из чего было бы поднимать шум, некого было бы предостерегать. Роман «Бесы» в таком случае имел бы отношение только к бесам «нижних чинов», в то время как губернским городом Достоевского правят бесы «верхние».

Образ беспринципной власти губернаторов, опутавшей Россию и парализовавшей все благие политические начинания, приобретает в «Бесах» черты мрачной социальной карикатуры. Власть, которая не имеет никакой другой идеи, кроме самой себя, становится единственной ценностью манипуляционного способа правления. Однако тотальная бутафория на всех уровнях государственной жизни неминуемо порождает всеобщее сомнение в законности законной власти. Символично, что именно «Лембки», лишённые идеи истинного служения, под напором «новых направлений» усыновляют всю «нетерпеливую сволочь», всплывшую на волне перемен, открывают дверь дряннейшим людишкам.

Смута как общественная реакция на незаконность законной власти плодит новых самозванцев, прельщая их соблазном легкодоступного и как бы вакантного губернского трона. Эфемерная власть будто приглашает желающих вступить с ней в борьбу и одержать скорую победу. «У нас не за что ухватиться и не на что опереться» – этот тезис становится руководящим в стране, где господствуют маски и фикции. «Россия есть теперь по преимуществу то место в целом мире, где всё что угодно может произойти без малейшего отпора» (10: 287). В России можно всё попробовать... Страна для эксперимента... Только осознав это обстоятельство, на историческую арену выходят «бесы»-политики: идеологи и практики.

Анализ взаимоотношений «хозяев губернии» и «пятерки» дает убедительную картину *сращения* законной власти с преступным миром. Суть этих отношений можно назвать *идейной коррупцией*: обе стороны корыстно нуждаются друг в друге как в хорошем средстве для достижения политических целей. Бесы смутного времени *не изобретают*, а лишь *заимствуют* у законной власти политические методы, копируют ее при творство и игру в либерализм, тиражируют ее тягу к провокации.

Сразу после выхода романа «Бесы» критик-народник Н.К. Михайловский упрекнул Достоевского, что в его романе нет беса национального богатства, беса самого распространенного и менее всякого другого знающего границы добра и зла. «Вы не за тех бесов ухватились», – писал Михайловский⁵⁴. В случае романа это мнение скорее пристрастно, чем справедливо и свидетельствует только о том, что Михайловский не заметил «Лембков», хозяев губернии. В случае спектакля МДТ этот упрек парадоксально работает – Додин ухватился за одних бесов и совсем выпустил из виду других. Вместе с тем, Додин действительно ставил не политический спектакль. Режиссер стремился к смыслу более широкому и глубокому – тому, который, по слову С. Булгакова, содержит в себе зерно бессмертной жизни, луч немеркнувшей истины. Потому и получили «Бесы» МДТ высочайшую и устойчивую репутацию.

Летом 1996 года обозреватели «Независимой газеты» Г. Заславский и Г. Ситковский по просьбе Центра изучения Восточной Европы Бременского университета (Германия) провели опрос среди московских и петербургских театральных критиков. Нужно было назвать десять российских драматических спектаклей, которые оказали наибольшее воздействие на общественную и/или театральную ситуацию в стране в период с августа 1991 по июнь 1996-го. Точка отсчета (август 1991-го) была выбрана не случайно, ибо августовский путч ознаменовал собой начало новой эпохи для страны. Всего было опрошено 85 критиков – все, кто на момент проведения опроса находился в пределах досягаемости.

Анализируя итоги опроса, обозреватели отмечали, что среди спектаклей, вошедших в десятку лидеров, практически отсутствовала современная драматургия. По оценкам экспертов, ни одна пьеса современного репертуара не стала поводом к значимому театральному событию. Была названа еще одна особенность спектаклей из первой десятки: семь спектаклей из десяти – это инсценировки прозы, причем пять из этих семи – инсценировки трех романов Достоевского – «Преступления и наказания», «Идиота» и «Бесов». Ровно в половине спектаклей,

попавших в десятку лидеров, режиссеры обращались к прозе Ф.М. Достоевского. «Велик соблазн, – писали обозреватели «НГ», – вывести из этого факта умозаключение о том, что в последние годы наше общество развивалось под знаком Достоевского. Причем нельзя сказать, что обращения к Достоевскому объяснялись сходным интересом – наоборот, почти все эти спектакли носили отчетливый экспериментальный характер, хотя характер эксперимента каждый раз был другим. Одному режиссеру (Кама Гинкас) для его опытов хватало “Белой комнаты” и часа, на протяжении которого Катерина Ивановна Мармеладова из “Преступления и наказания” металась в полубреду, завлекая в свои болезненные переживания и зрителей (их здесь уместалось не более шести десятков). Другой режиссер (Сергей Женовач) брал на себя практически неразрешимую для театра задачу перенести на сцену весь текст романа “Идиот”, и спектакль растягивался на три вечера – три спектакля по три с половиной часа каждый. И в этом последнем случае нам кажется возможным говорить о смене эстетических ориентиров в русском театральном искусстве, об актуализации новых художественных задач, никогда прежде театр не волновавших»⁵⁵.

Театральный сезон 2004 года, завершившийся овациями по адресу романа Достоевского «Бесы» и его лучшего сценического воплощения, не постаревшего за прошедшие годы, подтвердил эту тенденцию. Театр Достоевского вот уже почти сто лет забывает, что в основе своей он есть эпическая проза и что автор самых репертуарных спектаклей русской сцены так и не написал за свою жизнь ни одной пьесы.

Примечания

¹ См., напр., недавний отклик на «Бесов». «Книга ввергла меня в столбняк. Она была явно не о том, о чем мне всегда казалось. В пору моего инакомыслия у нас все знали, кого имел в виду Достоевский, но когда Политбюро исчезло, роман перестал быть пророческим. Бесы у Достоевского всегда с направлением, идеалисты, готовые развалить державу, упразднив Бога. По-моему, в наше суровое время уже не осталось людей с такими широкими и непрактичными интересами. Разве что Жириновский, но и он дает интервью “Плейбою” за деньги. Растеряв политическую актуальность, роман скукожился до детектива – с туманными мотивами и пейзажами... Зато на месте романа идей... расцвела гениальная педагогическая комедия. Центральная фигура в романе вовсе не Ставрогин, которого ни один читатель не узнал бы на улице. Главный герой книги – учитель, Степан Трофимович Верховенский, воспитавший чуть ли не половину персонажей. Написав свою версию “Отцов и детей”, Достоевский схитрил: последних он ненавидит, первых высмеивает. Но “отцов” все-таки понимает лучше “детей”, а любит уж точно больше. Хороший писатель знает, что лучший способ спрятать дорогие мысли от критиков – отдать их дуракам. В “Вишневом саде” умнее всех говорит Гаев, в “Бесах” – Степан Трофимович, только кто их слушает? Взрослые герои “Бесов” (старыми их

назвать у меня уже не поднимается рука) очаровательны своей беспомощностью... Только они и защищают [нашу парниковую цивилизацию] от нового поколения, которое Достоевский зовет “бесами”. Кошмар в том, что не только это, но каждое следующее поколение кажется таким предыдущему. Трагедия – в провале педагогических претензий, в невозможности эстафеты. Наследство пропадает втуне, ибо нажитое отцами добро оказывается злом в руках (и умах) детей. Либералы становятся террористами, шестидесятники – постмодернистами, правдоискатели – “идушими вместе”» (*Генис А. Бесы: отцы и дети. Литературная кадрили. [Бюро находок Гениса] // Новая газета. 2004. 1–3 марта*).

- ² *Карякин Ю., Сараскина Л. «Закружились бесы разны, будто листья в ноябре...» // Литературная газета. 1992. 11 марта.*
- ³ В 1907 г. петербургский театр Литературно-художественного общества (театр А.С. Суворина) поставил «Бесов» в переделке В.П. Буренина и М.А. Суворина.
- ⁴ Сезон 1913–1914 гг. Московский художественный театр открыл «Николаем Ставрогиным» – инсценировкой романа Достоевского «Бесы», поставленной Владимиром Ивановичем Немировичем-Данченко в сотрудничестве с Лужским, Сулержицким и художником Добужинским. Качалов играл Ставрогина, Берсеев – Петра Верховенского.
- ⁵ *Горький М. О «карамазовщине» // Ф.М. Достоевский в русской критике: Сб. статей. М., 1956. С. 390–391.*
- ⁶ *Независимый. Современная действительность и Ф.М. Достоевский // Там же. С. 399.*
- ⁷ *Булгаков С.Н. Русская трагедия. О «Бесах Ф.М. Достоевского, в связи с инсценировкой романа в Московском Художественном театре // О Достоевском. Творчество Достоевского в русской мысли 1881–1931 годов: Сб. статей. М., 1990. С. 213.*
- ⁸ Там же. С. 194.
- ⁹ Там же. С. 212.
- ¹⁰ *Земляной С. Провокация Серебряного века // Литературная газета. 2003. 18–24 июня.*
- ¹¹ «“Бесы” для меня – особая книга. Дело Нечаева, ставшего прототипом одного из героев романа, я изучал. Но сейчас, мне кажется, “Бесы” превратились в такую сказку, в которой, как говорил Толстой (правда, про другого писателя), нас пугают, а нам не страшно. Проблемы, которые ставит Достоевский, сегодня, на фоне того, что происходит в мире, уже не кажутся такими ужасными. А самое главное, герои Достоевского (и не только в “Бесах” – Раскольников, например) много говорят, думают, страшно мучаются своим преступлением – убийством одного человека. Сегодня же от взрывов на стадионах, в метро, в самом театре (“Норд-Ост”) гибнут сотни людей. И еще, обратите внимание: у Достоевского главный злодей – безбожник. А сегодня самые страшные злодейства творят и с именем Бога на устах, с криком “Аллах-акбар”, к примеру. И масштаб этих преступлений такой, что бесы Достоевского на этом фоне выглядят кем-то вроде Бармалея из сказки для детей...» (*Соломонова О., Павлючик Л. Изгнание бесов // Труд. 2004. 19 марта*)
- ¹² «В перестроечные годы на него частенько ссылались входящие в силу либералы: дескать, вот они какие – революционеры и смутьяны, мерзавец на мерзавце сидит и мерзавцем погоняет. Ставрогин девочку изнасиловал. А мы – чистые духом и смиренные в помыслах, признаем только естественные законы исторического

развития, в которых четко прописано: “частная собственность неприкосновенна”, “спасение утопающих – дело рук самих утопающих” и “моя хата с краю”. Тогда еще популярный эстрадный экономист Николай Шмелев сотрясал рукоплещущие залы речами о мифологическом обывателе – чуть ли не атланте, на котором земля держится. Позже обывателей отправили в отстой и занялись крепкими хозяйственниками. Но разве не такими же бесами накинудись на нас в начале 90-х демократы различных мастей, закрутившие на российских просторах такую метель, такую пургу, что “хоть убей, следа не видно”? Разве не различим звериный оскал в лощеной ухмылке Егора Гайдара, в скорбном безмолвии народного страдальца Григория Явлинского, в великосветском ерничестве Татьяны Толстой? При желании опознать бесовщину можно в любой социальной гримасе. И парадная жизнь ельцинской России, обратившаяся в нескончаемый бал в поддержку бедных гувернанток, – свидетельство неискоренимого лицемерия отечественной общественной жизни» (*Шевцов В.* Апофеоз беспартийности // НГ ЕХ LIBRIS. 2004. 13 мая).

- 13 «Кому сегодня интересны мучения совести бедного студента? В России законы ныне нарушают по совести: преступления – дело обычное, а самые циничные – едва ли не в доблесть <...>. На фоне многочисленных катастроф и трагедий о воровстве повторять-то для чего?! Достоевский устами героя “Бесов” подобную стратегию нагнетания пессимизма объясняет так: “Для систематического потрясения основ, для систематического разложения общества и всех начал для того, чтобы всех обескуражить и изо всего сделать кашу” <...>. Почему депутаты российские не требуют наказания главных наших преступников? У Достоевского в “Подростке” Крафт, считая себя русским, наглядевшись на мерзости бытия, вывел математически: русский народ – второстепенный, значит, деятельность всякого русского, служащего России, должна быть парализована – и застрелился. Не то ли хотят нам внушить и телевизионщики – народ русский второстепенный?!» (*Поляков В.* Преступление без наказания // Литературная газета. 2004. 24–30 марта).
- 14 *Минаев Б.* Позитив // Огонек. 2004. 22 марта.
- 15 См.: Современное слово. М., 1910, 21 января.
- 16 *Карпинский М.* О театре Анджея Вайды // Достоевский. Театр совести. Каталог выставки Литературно-мемориального музея Ф.М. Достоевского. СПб., 2002. С. 8–9.
- 17 *Вайда А.* «Достоевский наш писатель, а не ваш...» // Персона. 2004. № 2 (42). С. 46.
- 18 *Вайда А.* Уж больно хотелось поставить «Бесов» // Известия. 2004. 15 марта.
- 19 Там же.
- 20 *Вайда А.* Всем, кто работал со мной над «Бесами» в театре «Современник» // Московский театр «Современник». Премьера. Ф.М. Достоевский. Бесы. Инсценировка – Альбер Камю. Сценическая редакция – Анджей Вайда. 2004. Программа спектакля.
- 21 *Соломонова О., Павлючик Л.* Изгнание бесов.
- 22 *Вайда А.* Уж больно хотелось поставить «Бесов».
- 23 *Егошина О.* Трудности обратного перевода. «Бесы» Достоевского в трактовке Анджея Вайды не похожи на самих себя // Новые известия. 2004. 18 марта.
- 24 *Должанский Р.* «Бесов» попутали. Спектакль Анджея Вайды в «Современнике» // Коммерсантъ. 2004. 18 марта.

- 25 *Немзер А.* Многоуважаемый помост. «Бесы» Анджея Вайды на сцене «Современника» // Время новостей. 2004. 18 марта.
- 26 *Вайда А.* «В Достоевском есть вечная историчность» // Литературная газета. 2004. 4–10 февраля. «Мой режиссерский трюк, придуманный для той [краковской] постановки, я воспроизвожу и здесь. Я имею в виду людей в капюшонах, которые вносят и выносят мебель, иногда присутствуют при действиях основных персонажей, а иногда и вмешиваются в действие. Это и дзанны, и не дзанны. Мы их называем черными людьми или – по-свойски – просто черными. Это и слуги сцены, и до некоторой степени участники событий. Впервые я таких персонажей увидел в Японии, в кукольном театре Бурнаку. В отличие от европейского театра кукловоды там не прячутся за ширмами, а работают на сцене. Иногда одну куклу “водят” два человека. Они называются куроко <...>» (*Вайда А.* Уж больно хотелось поставить «Бесов»).
- 27 «Бесы» пришли в Москву // Вечерняя Москва. 2004. 18 марта.
- 28 *Давыдова М.* Бес имитации. Анджей Вайда поставил в «Современнике» великий роман Достоевского // Ежедневный журнал. 2004. 22 марта.
- 29 *Васенина Е.* Театр притворяется телевидением и подражает кино. Репортажи с репетиции «Бесов» в театре «Современник» // Новая газета. 2004. 15–17 марта.
- 30 Там же.
- 31 *Вайда А.* Уж больно хотелось поставить «Бесов».
- 32 *Васенина Е.* Театр притворяется телевидением и подражает кино. Репортажи с репетиции «Бесов» в театре «Современник» // Новая газета. 2004. 15–17 марта.
- 33 *Немзер А.* Многоуважаемый помост. «Бесы» Анджея Вайды на сцене «Современника».
- 34 Там же.
- 35 *Ситковский Г.* Вайда репатриировал бесов // Газета. 2004. 18 марта.
- 36 *Егошина О.* Трудности обратного перевода. «Бесы» Достоевского в трактовке Анджея Вайды не похожи на самих себя.
- 37 *Токарева М.* Рагу из зайца // Московские новости. 2004. 19–25 марта.
- 38 *Старосельская Н.* Покинут ли Россию бесы? // Парламентская газета. 2004. 20 марта.
- 39 *Гюдер Д.* Ненастоящая кровь // www.russ.ru. 2004. 18 марта.
- 40 *Ларина К.* Бесы в городе. Роман Достоевского на сцене «Современника» // Эхо Москвы. 2004. 23 марта.
- 41 *Гордон А.* «Бесы» в режиме ток-шоу // Московские новости. 2004. 23–29 января.
- 42 Там же.
- 43 «[Сейчас на театре какая-то мода на “Бесов”. Вы, к примеру, отчего за них взялись?] Для меня это история давняя. В основу постановки положена инсценировка Игоря Волкова – моего однокашника по Щукинскому училищу, по которой в 1985 году мы играли спектакль. Игорь играл Верховенского-младшего, а я – Ставрогина. Спустя годы, когда я стал жаловаться на бесовщину нашего телевидения, Игорь предложил вспомнить ту давнюю инсценировку. Мы посмотрели на нее под новым углом, и вышло то, что вышло» // Там же.
- 44 «Европейский театр – как польский, так русский, как древнегреческий – основан на авторе, на пьесе. Сегодняшний театр больше зрелище, он смыкается с телевидением и подражает кино, и вместо слова в нем – картинки. А в словах скрыта

тайна. Вместо тайны – теперь всё выкладывают на сцене. Пока не появятся новые авторы, которые смогут раскрыть героя нашего времени и показать, чем он живет, театр будет притворяться телевидением и подражать кино. А это не есть природа европейского театра, театра таинства. Картинки не дают материал для размышления, для проживания. <...> Потому я от актеров пытаюсь узнать, что они думают об авторе, что они скажут мне своей работой» (*Васенина Е.* Театр притворяется телевидением и подражает кино. Репортажи с репетиции «Бесов» в театре «Современник») // Новая газета. 2004. 15-17 марта.

45 Таких показов было всего два: о современном либерализме рассуждали Пиманов и автор статьи (в качестве подопытных), а затем Ирина Хакамада и Эдуард Лимонов).

46 После нескольких спектаклей Гордон добился-таки прямого эфира – правда, не на телевидении, а на радио «Эхо Москвы». На помощь Гордону, как ехидно отмечала пресса, пришли руководитель Федеральной службы по труду Александр Починок и депутат Госдумы Сергей Глазьев. Они-то и спасли «Одержимых» от провала. Починок и Глазьев, примкнув к «нашим» на сцене, выступили в эфире: ответили на вопросы зрителей и слушателей, отчитались о проделанной работе, слегка попикировались. И все это с таким блеском, что публика проснулась, посмеялась и даже поаплодировала. Профессиональные политики легко побили профессиональных драматических актеров обаянием, остроумием и органичностью. Они исполняли свой дуэт слаженно, словно Хрюша и Степашка. Их корявые фразы казались куда остроумнее захватанных цитат и избитых проклятых вопросов. К тому же они спровоцировали самую смешную реплику «Одержимых». Она принадлежала не Достоевскому, а неизвестному радиослушателю. «С какими героями “Бесов” вы отождествляете себя?» – спросил он Глазьева и Починка. Поскольку так и не появилось ни телевизионной, ни радиоверсии спектакля, он был снят с репертуара.

47 *Давыдова М.* Бес имитации. Анджей Вайда поставил в «Современнике» великий роман Достоевского // Еженедельный журнал. 2004. 22 марта.

48 См.: Театр и время. Влияет ли время на судьбу и лицо театра? // Додин Л. «Бесы». www.yandex.ru.

49 *Давыдова М.* Бес имитации. Анджей Вайда поставил в «Современнике» великий роман Достоевского.

50 *Егошина О.* Трудности обратного перевода. «Бесы» Достоевского в трактовке Анджея Вайды не похожи на самих себя.

51 См.: Театр и время. Влияет ли время на судьбу и лицо театра?

52 *Годер Д.* Ненастоящая кровь.

53 *Марченко Т.* Раздумья после «Бесов» // Санкт-Петербургские ведомости. 1992. 14 марта.

54 *Михайловский Н.К.* Литературные и журнальные заметки // Отечественные записки. 1873. № 2. Отд. II. С. 342–343.

55 *Заславский Г., Ситковский Г.* Влиятельный театр: 10 спектаклей, оказавших наибольшее воздействие на общественную и театральную ситуацию за последние пять лет: Экспертное мнение // Независимая газета. 1996. 1 окт.

«Братья Карамазовы» на московской сцене: сфера открытых вопросов

2005 год в отношении к Ф.М. Достоевскому стал дважды юбилейным. 125 лет назад писатель закончил «Братьев Карамазовых», в декабре 1880 года вышло отдельное издание романа в двух томах, летом этого же года в Москве, при открытии памятника А.С. Пушкину, прозвучала вдохновенная речь Достоевского, ставшая не только кульминацией пушкинского праздника, но и духовным завещанием писателя.

Эти два *достоевских* события отделены от 1905 года, начала первой русской революции (столетний юбилей которой также приходится на нынешний год) всего четвертью века – мгновением истории. Но это роковое мгновение обнаружило, что Россия не услышала Достоевского, не захотела (или уже не могла) пойти по пути всеобщего христианского примирения людей, по пути творческого единения русского царя и русского народа, православной церкви и мыслящей интеллигенции. Призыв Достоевского к *гордому* интеллигенту *смирению потрудиться на родной ниве* был парадоксально воспринят как сигнал к тотальному и всеобщему разрушению, а народ-богоносец, будто околдованный злой силой, в мгновение ока превратился в народа-богоборца.

Право на бунт, когда, не принимая существующего порядка вещей, бунтуют все против всех, – центральная линия последнего, гипнотически притягательного романа Достоевского, который называют и романом-трагедией, и романом-надеждой, и Евангелием нашего времени. На рубеже XIX и XX веков, когда на театре ставились первые «Братья Карамазовы», тьма и боль русской жизни, честно и страстно показанные мхатовцами, еще не заглушали светлой, оптимистической ноты: история еще не вынесла свой приговор России Достоевского и вера в восстановление погибшего человека была нерушима.

Но теперь, когда судьба братьев Карамазовых и их соотечественников в свете русской истории, под колесо которой они неминуемо должны были попасть, уже известна, что ищут теперь в бессмертном романе его новые интерпретаторы? Что движет современным театром, который все так же заворочен Достоевским? Какие тайные смыслы, какую непереносимую правду о человеке он, быть может, хочет найти?

Существует мнение, что современный человек, тем более человек молодой, ввиду своей инфантильности и малообразованности, уже не способен обсуждать и переживать (так же остро и трагично, как Митя, Иван и Алеша Карамазовы) проблематику, волновавшую Достоевского. Что нынешние «русские мальчишки», сидя в питейном заведении глухого райцентра (какого-нибудь нынешнего Скотопригоньевска), вряд ли могут беседовать о предметах сложнее футбола. И даже столичным универсамтам ни в каком приближении уже не осилить тему: «Како веруеши, али вовсе не веруеши» – ибо утерян интерес, забыт язык, стерлась культурная память.

Но как же радостно убедиться, что мнение это, как минимум, не абсолютно.

Учебный театр «ГИТИС», где играют студенты и недавние выпускники Российской академии театрального искусства (РАТИ), поставил полновесный спектакль (3 часа 20 минут) «Братья Карамазовы». Не «по мотивам», не «фантазию на темы», не «сцены из романа» – творческий проект мастерской проф. П.О. Хомского и проф. В.В. Теплякова «дерзнул» перенести на учебную сцену историю семейства Карамазовых целиком.

Сначала репетировали небольшие отрывки из романа – когда, набрав очередных первокурсников, мастера разглядели у студентов соответствующий потенциал. Потом погружались в семисотстраничный текст «Карамазовых», читая его медленно, въедливо, пристально, добираясь до последних подробностей, до малых ремарок (увы, чтение литературной первоосновы давно уже не в моде и не в чести у большинства «взрослых» профессиональных театров, ставящих классику, – как правило, предпочитают обходиться адаптациями, а то и вообще текстами ролей).

«Литературная композиция – участники спектакля» – так записано в театральной программке: и эта запись дорогого стоит. Литературный материал выстраивался, движимый стратегической задачей режиссера, Валентина Теплякова: Достоевский должен звучать «сильно, мощно, по-настоящему»; сюжетная история должна быть до тонкостей понятна зрителю, не читавшему (пока!) великий роман. (Опять же, стилистика большинства нынешних классических постановок не предполагает, что зрителю важно понять содержание пьесы.)

О чем же история, рассказанная молодыми артистами «ГИТИСа»?

О том, что в мире, где иссякла любовь и вера, накоплен запас огромной разрушительной силы. Ненависть проникает в семью, из которой удалена стихия материнства, а отец и сыновья, боясь и подо-

зревая друг друга, ждут не *удобного*, а *любого* случая объявить войну. Митя, из-за одной женщины соперничая с отцом, а из-за другой – с братом, не доверяет никому и понимает, что у отца нет к нему чувств отцовских, а у брата – братских. Иван считает себя вправе желать смерти обоим ненавистным родственникам. Сводный брат Смердяков за вечные оскорбления и поношения таит дуэльную ненависть ко всем Карамазовым. Младший брат Алеша, послушник монастыря, молитвенно сокрушаясь о домашних безобразиях, оказывается не в силах выполнить завет старца Зосимы – неотступно быть около соперников и предотвратить беду.

События спектакля повествуют о расшатанных до основания нравственных началах, о безвременном одряхлении общественного организма, когда только уголовные дела еще тревожно напоминают о какой-то общей беде, с которой, как с неизбежным злом, уже трудно бороться. Общество морально анестезировано и потеряло чувствительность к трагической безалаберщине настоящей минуты, оно способно лишь смаковать сильные ощущения.

Повторюсь: играют русскую катастрофу очень молодые актеры – наверное, впервые на отечественной сцене братья Карамазовы, которым 27, 23 и 20 лет, представлены младшими ровесниками, воистину мальчишками (а то ведь выражение Достоевского «русские мальчишки» благодаря солидным летам корифеев театра стало восприниматься уже аллегорически). И оказывается: возраст – это понятие качественное, а не количественное. Братья влюбляются, страдают, сочиняют гениальные поэмы, философствуют и безумствуют именно как «бестолковые студенты», а не как зрелые мужи, едущие с ярмарки жизни.

Поразительно интересен Карамазов-отец: Евгений Ратьков (актер моложе своего героя лет на тридцать) играет не дряхлого убогого старикашку, а сладострастника в полной мужской силе, вольнодумца и эксцентрика, до дрожи и потери приличий обуреваемого плотоядными желаниями. Великолепен Смердяков (Андрей Курилов): бунтующий чистюля-франт, презирующий всю господскую семейку, перед которой вынужден пресмыкаться; брезгливо ненавидящий страну, из которой ему уже не выбраться; тщетно мечтающий о красивой жизни буржуа, модного ресторатора. Именно такой и мог додуматься до *смердяковщины*, зловещей идеи-символа: «Хорошо, кабы нас тогда (в 1812-м. – Л.С.) покорили эти самые французы: умная нация покорила бы всяма глупую-с и присоединила к себе. Совсем даже были бы другие порядки-с» (14: 205).

Но в центре карамазовского мира, как в романе, так и в спектакле – брат Иван, русский Фауст, гениальный, но больной ум, оставленный на одни свои силы. Мощная работа Дмитрия Козельского, которую

трудно назвать игрой, так подлинно и страстно живет он на сцене, одно из самых главных достижений спектакля. Иван, с его мятущейся боготорческой догадкой, взыскательной философией и мучительным осознанием вины, теснит обоих братьев – и «изверга» Митю (Михаил Шульц), и инока Алешу (Владимир Моргунов), здесь пока еще слабого отрока, а никак не твердого бойца. Правда, романное пространство Алеши в спектакле сильно сокращено: он существует уже без духовного наставника, старца Зосимы, и еще без мальчиков-школьников, своих духовных последователей, и оказывается лишь страдающим, но беспомощным свидетелем семейной трагедии.

Обаятельны – игрой на вырост – и женские героини: в Грушеньке (Ирина Ефремова) есть подобающая инфернальность, в Екатерине Ивановне (Кристина Кузнецова) – сумасшедшая гордость, в прелестной мадам Хохлаковой (Юлия Тюсова) – бурлескная вздорность, и даже Марья Кондратьевна (Евгения Афанасьева) запоминается как милая пара гитаристу Смердякову. Выразителен и органичен музыкальный фон, и тот факт, что в Мокром для Митеньки вместо цыган славно поют деревенские девушки, ничуть не снижает требуемого эффекта.

Итак, маленький зрительный зал, крошечная учебная сцена, аскетичные декорации, едва созревшие актерские силы, минимальные средства, затраченные на спектакль. С другой стороны – умение неспешно читать классический текст, глубинное доверие автору-художнику, яркий режиссерский и педагогический темперамент, способный обратить в свою веру талантливых учеников. В целом – в Москве идут «Братья Карамазовы», спектакль, который его молодые исполнители искренне и убежденно считают лучшим в столице.

Даже если это и преувеличение, можно видеть в опыте молодежных «Карамазовых» потенциал возрождения русского психологического театра, с его уважением к классике и вкусом к «реализму в высшем смысле». Сюда бы водить старшеклассников и студентов-филологов, *это* бы показывать по каналу «Культура» и вывозить на гастроли, *об этом* бы вести телевизионные дискуссии в лучшее вечернее время...

Поистине событием стал спектакль «Мальчики» (2004) Сергея Женовача: выпускной курс ГИТИСа, которому суждено было превратиться в самостоятельную студию, представил девять глав из романа «Братья Карамазовы»¹. «Мы, – объяснил режиссер, – целый год работали над отрывками из разных произведений Достоевского, причем в отрывке надо было показать понимание вещи в целом, для будущих

режиссеров это важно. Достоевский мне необычайно близок, он для меня – театр мысли, мучительный, совестливый, но прежде всего размышляющий. И в этих огромных слоях прозы важно его мысль не потерять. В “Братьях Карамазовых” любая линия может стать пьесой: история Алеши, судьба Смердякова, отношения Ивана и черта. Я хотел поставить спектакль “Исповедь горячего сердца” – о Мите Карамазове, эта работа планировалась в МХТ... Почему Достоевский? Потому, что он воспитывает личность»². К современной драматургии Женовач относится скептически. Новые авторы не владеют сценическим мышлением, похожи друг на друга и пишут не пьесы, не диалоги, а «текст». У них нет своей интонации, драматургической мысли, природы лицедейства. «У меня складывается впечатление, что сегодня молодым драматургам все равно, что писать: пьесы, прозу или стихи. Можно поменять в пьесе название, можно реплики из одного произведения переместить в другое – ничего не изменится. Все какое-то однородное, лишенное индивидуальности. Нет тайны, загадки. Вы не сможете назвать мне пьесу, которая что-то важное поменяла в нашей жизни за последние годы. Так давайте пойдем, переживем по-настоящему то великое, что уже было написано»³.

Из огромного романа Женовач выбрал самую трудную сюжетную линию – подростков, молодых друзей Алеши Карамазова: Коли Кракоткина, Илюши Снегирева и их одноклассников. В итоге получилась история о том, как дети прошли путь от ненависти («побивания камня») к любви, привязавшись к мальчику, больному чахоткой, как потом похоронили его и дали друг другу клятву не забывать пережитого никогда. Главной компонентой драматургии «Мальчиков» стала непосредственность студентов, которые, кажется, не играют, а говорят от первого лица. «Со сцены никто не уходит: не занятые в эпизоде актеры наблюдают за происходящим со стороны, словно участвуют в диспуте. В финале все, и живые и мертвые, шеренгой идут прямо на зрителя и снова говорят, говорят – а зал чуть ли не в голос плачет и устраивает такую овацию, что комок в горле. Или надо было захлебнуться в море пошлости на сцене и экране, чтобы испытать шок от Достоевского? Или юные актеры так играют, что слово звучит как в первый раз? А вот у исполнителя роли дворовой собаки Перезвона вовсе нет слов, но именно у него ключевая сцена: когда Илюша умирает, Перезвон носится от одного мальчика к другому и страшно кричит. Накал чувств в этой постановке такой, что если бы весть о смерти режиссер доверил людям, они бы, наверное, сами умерли от горя»⁴.

Критика единогласно оценила сдержанную строгость спектакля, минимализм режиссерских решений. Весь звуковой фон – разговоры актеров да вой Перезвона. Вместо пышной мелодрамы, в которую так

часто превращают «Карамазовых» постановщики, – тихий, искренний разговор, без пафоса и надрыва. «Путь мальчиков “от камней до камня” режиссер-педагог выдерживает в манере хоть и просветленной, но аскетичной: мало того что сцена останется пуста на всем протяжении спектакля, так даже и ни одна музыкальная нота не прервет словесные излияния героя Достоевского»⁵. «Чего Женовач себе и другим не позволяет – так это читать и ставить наспех. Его артисты не проносятся на кавалерийском скаку по всем темам и перипетиям великого произведения, а пытаются вникнуть в одну его сюжетную линию, но вникнуть глубоко. Работа над ролью всегда предполагает у него еще работу души и ума, а не только активную работу лицевых мускулов и горловых связок. Глядя этот добротный и умный спектакль, еще раз убеждаешься, что русская театральная школа по-прежнему остается одной из лучших в мире и что главным врагом этой школы является, как ни парадоксально, русская театральная практика, губящая на корню все ее достижения... Такого рода спектакли и должны составлять основу русского театрального репертуара, но они буквально на глазах стали исчезающим видом, и в какую “Красную книгу” их заносить – как-то не очень понятно. Куда ни кинь – всюду балаган. И ладно бы хороший балаган. А то все больше устрашающе плохой, не с человеческим лицом, а со звериным оскалом»⁶.

«Мальчики» – не просто хороший студенческий спектакль, какой непременно отыщется в любой театральный сезон в любой из московских театральных школ, отмечали критики. Это спектакль, качество которого не нуждается в скидках на ученичество – здесь можно говорить уже о философии, а не только о качестве игры⁷. «Любой другой не просто побоялся, но растерялся бы перед такой задачей – вести спектакль от сцены злой детской агрессии к торжеству христианской добродетели, от речей обиженных и униженных – к словам о всеобщем воскресении из мертвых, а идти же надо еще и через смерть ребенка. Это такая квинт-эссенция “достоевщины”, что в шаге справа – “неприличная слезливость”, а в шаге слева – “спасительная пародия”. Но Сергея Женовача этими Сциллой и Харибдой не испугаешь. Он находит такие человеческие и художественные аргументы, что актеры идут за ним не слепо, не как усердные послушники за поводырем, а как ответственные ученики, включившие в работу не только сердце, но и разум»⁸.

Все главные герои романа остались за бортом – нет ни старика Карамазова, ни Смердякова, ни Ивана, ни Дмитрия, ни старца Зосимы, ни Ферапонта, ни Хохлаковой, ни Грушеньки, ни Екатерины Ивановны, не говоря уже о Черте или Великом инквизиторе. Основные события романа проходят в каком-то ином, параллельном пространстве. Из романа, где так много ненависти и нелюбви, Сергей Женовач смог наскрести

слова и события на два часа захватывающего сюжета – о любви к ближнему, для которой кажется, в романе места не осталось и взяться ей здесь неоткуда. В «Мальчиках» построен как бы идеальный мир для Алеши, в котором есть Бог, есть любовь, есть дружба и подлинное братство, нет безверия, и дьявол с Богом не борется за сердце человеческое. Кажется, однако, что *Алеша романа*, послушавшийся старца Зосиму (непременно быть около отца и брата), совершивший грех попустительства (останься он с отцом в доме, убийство бы не совершилось), и *Алеша спектакля* во многом разные люди: за Алексеем Карамазовым из «Мальчишков» как бы и нет семейной трагедии, он чувствует и держит себя так, будто не в его семье произошла трагедия, не его брат сидит в тюрьме, не его второй брат болен белой горячкой. Тот тонкий привкус вины Алеши, который присутствует в романе (Достоевский дает его почувствовать не раз), в спектакле совершенно растворен: Алеша здесь чист и непятнан, его общение с подростками лишено подтекста, второго плана. Быть может, это те издержки, которые неизбежны при инсценировке фрагмента, в котором не видно целого.

Сергей Женовач признался как-то, что долго выбирал между несколькими сюжетными линиями романа, пока однажды в Старой Руссе (топографическом прототипе романного Скотопригоньевска) не увидел компанию мальчишек. Они шли по улице, обнявшись, и обходили лужи, не разжимая рук, не разрывая своего братства. Тогда он понял, что и о чем надо делать спектакль со студентами, и выбрал линию от озверения к любви. Театральные критики полагают: скажи, что ты хочешь выбрать из «Братьев Карамазовых», и я скажу тебе, кто ты.

3

Режиссер Кама Гинкас для спектакля в Московском ТЮЗе выбрал «Поэму о Великом инквизиторе» и назвал его «Нелепая поэмка» (2006), по романному определению Ивана Карамазова: «...поэма вещь нелепая», «бестолковая поэма бестолкового студента», 14: 224, 239). В своих предпремьерных интервью режиссер рассказывал, как несколько лет назад, перечитывая роман, «споткнулся» о главу «Поэма о Великом инквизиторе» и вдруг понял, насколько этот текст сейчас для него важен. Главы из «Карамазовых» («Братья знакомятся», «Бунт» и «Поэма о Великом инквизиторе») едва ли когда-либо ставились в театре – даже для концентрированной прозы Достоевского подобная плотность мыслей и боли кажется невыносимой и неподъемной для театра. Взяв эти главы, режиссер попытался вернуть театру одну из важнейших его функций – быть местом, где размышляют о Боге и человеке.

Спектакль Гинкаса радикально обращен в современность, с пониманием того, что свобода – это не дешевый идеологический фетиш, а тяжелая духовная задача взрослой человеческой личности. Режиссер вывел на сцену тех самых «ближних», кого так сложно любить, если хорошо рассмотреть: беременная баба везет в коляске младенца-идиота, ковыляют мужики на костылях, едут в тележках, грязные, рваные, со злыми и тяжелыми лицами. Калеки толкуются, мычат, рычат, стучат своими деревяшками, изображая стадо слабых людей, требующих хлеба. У одного из них на груди висит картонка с надписью: «Хачу есть». Среди калек есть музыканты – в шепот, клекот и стук вплетаются звуки музыкальных инструментов и тихое пение. Говоря о хлебе, инквизитор прибывает гвоздями по углам креста четыре буханки и водружает такое распятие наверху крестового леса. На другом кресте он вывешивает на гвоздь работающий телевизор, и калеки то с восторгом смотрят меняющиеся картинки, то возмущенно гудят, когда телевизор выключают. Инквизитор берет мегафон и кричит в зал, изображая трибуна, разнимает дерущихся калек, изображая отца и пастыря стада. А «стадо» лезет на сцену, и именно к нему апеллирует Великий инквизитор, говоря о слабых и нищих духом, для которых хлеб земной дороже истины. Кажется, это то самое человечество, которое зачастую даже и не подозревает, что ради него мучился на кресте Христос.

И вот на сцену выходит, шаркая стоптанными валенками, кутаясь в лагерную телогрейку поверх заношенного подрясника, Великий инквизитор. «Вглядывается в черный провал полного зала, шепчет, веря и не веря себе, с русским конфузом, боязнью пафоса, с отчаянием открытой исповеди: “Это – Ты...” Зрительское сердце разрывается и рвется»⁹. Роль Великого инквизитора критика признала одной из лучших ролей Игоря Ясуловича. Он наделяет своего старца почти нестерпимой жалостью к людям и желанием облегчить их страдания; кажется, жалость эта сильнее, чем любовь к Богу и жажда собственного спасения.

В одном из интервью режиссер говорил: «Свобода... это такое бремя! Сам выбрав, как жить, в кого веровать, сам выбрав идти налево или направо, сам выбрав президента или жену, – сам же и отвечай за это. И тут уж нечего ссылаться на плохое правительство, или на плохую жену (их выбирал ты). Вот почему мы мучаемся с этой свободой, торопимся перепоручить ее кому угодно: Гитлеру, Сталину, царю-батюшке или первому попавшемуся кандидату в президенты... Я знаю это произведение уже “тысячу лет”, но где-то лет пять назад прочел еще раз и понял, что там все обо мне. Обо мне, идущем по улице, покупающем свежую булку без очереди, довольном своим теплым домом, хорошей машиной. Так что же это такое? Я обнаружил в себе какие-то новые странные ростки»¹⁰.

У героев, Ивана и Алеши, и у их сегодняшних сверстников один виновный – христианский Бог, подаривший людям свободу. «Верните страшного ветхозаветного Бога, дававшего закон вместо личного выбора, – вторят они за Иваном. – Верните приказ и подчинение, простой знаменатель власти, приказывающей “Распни его!”». Принимая Бога, Его милость и премудрость, Иван готов *почтительнейше* «вернуть билет», отказаться от всемирной гармонии, потому что она оплачена следами невинных жертв. ТЮЗовский Иван Карамазов (Н. Иванов) кажется совсем мальчишкой: кеды, круглое лицо, темные круги вокруг глаз, темная энергия будто сжигает его изнутри: он лихорадочно двигается, чтобы выплеснуть невыносимое напряжение и истерику.

«Придуманый Иваном Карамазовым Великий инквизитор унаследовал и его бунт, и тоскующую душу, и беспощадную мысль, идущую до конца. Он спорит с Богом и обвиняет его. Он доказателен в каждом шаге. Гинкас дает мыслям Достоевского неотразимые театральные эквиваленты. Держа в руках кирпич, инквизитор начинает откусывать от него куски, говоря о камнях, которые Христос мог бы – мог бы!!! – но не захотел обратить в хлеба. Пренебрег. А вот перед лицом этих голодных, рвущих из рук жалкую краюшку, такой отказ – не высокомерие ли (пусть и божественное высокомерие)? Поймет ли его мать с голодным ребенком-идиотиком в коляске? Поймут ли эти убогие калеки представленный им великий дар свободы? По силам ли им тяжесть выбора между добром и злом, который волей Христа дан людям?»¹¹

Разговор инквизитора с Христом превращается в публичный диспут, где наряду с Алешей и Иваном зрители становятся соучастниками диспута, где истцом выступает Человек, обвиняющий Бога, негодующий на него, отвергающий его любовь. Инквизитор провоцирует Христа на ответ, домогается этого ответа. Гинкас сочиняет для Великого инквизитора слова, которых нет в романе, которые противоречат даже самому взгляду инквизитора на людей. Вдруг инквизитор скажет о том, что человеку необходимо знать, зачем он живет и без этого знания жизнь пуста, бессмысленна и невыносима? Не имея этого ответа, человек ничего не имеет.

Каму Гинкаса в отечественном театре считают главным специалистом по Достоевскому. Его спектакли «Записки из подполья», «Играем “Преступление”» и «К.И. из “Преступления”», поставленные в 90-е годы в ТЮЗе, вошли в историю как самые неожиданные, жесткие и провокационные инсценировки прозы русского классика. Как правило, режиссер переносил на сцену не все произведение, а лишь одну или несколько его сюжетных линий, справедливо полагая, что одна глубоко разработанная тема может передать суть целого романа лучше, чем торопливая пробежка по ключевым эпизодам. В «Нелепой поэжке» голос

режиссера как бы сливается с голосом Ивана Карамазова. «Непримиримый Кама Миронович Гинкас, который, в сущности, и есть Иван Карамазов – с той же клокающей смесью страстности с рассудочностью. И именно по этой самой причине вам не будет дано того катарсического освобождения от истории о Великом инквизиторе, которое было в романе. И Алешины слова о вере и неверии, которые завершали этот сюжет в романе, в театре не прозвучат. Вернее, сказаны будут, но останутся чистой формальностью. Потому, что Гинкас, как Иван, никому ничего не хочет прощать и свой билет в царство гармонии возвращает Богу. Причем, в отличие от Ивана, возвращает безо всякой почтительности и кротости. Только с гневом»¹².

Эпиграф к творчеству Гинкаса, как пишет критик, – «гнев на Того, Кого нет, за то, что Его нет». Ты кричишь в небеса, а там тишина. Пустота. Вечное безмолвие. Да откликнитесь же вы, человек гибнет! Никого нет дома. К давящему ужасу богооставленности в новом спектакле примешивается столь же давящая мизантропия¹³. Впрочем, в спектакле нет Христа, нет Спасителя, с которым спорит Великий инквизитор. Вместо него только луч света. Но беседовать с театральным прожектором вполне бессмысленно. В мире, созданном режиссером, Бога нет и быть не может, поэтому многочисленные деревянные кресты от огромных распятий до связок свисающих тут и там нательных крестиков выглядят здесь ненужными, сваленными в углу декорациями. Быть может, только духовная музыка намекает, что у жизни есть и другое измерение. Фреска, мистерия и средневековая музыка создают настрой «Поэмы о Великом инквизиторе». Как бы ни был убедителен и страшен Инквизитор, все же ясно, что он – лукавит, и Иван, придумавший его, лукавит тоже. В какой-то миг Алеша оставляет действие, уходит, чтобы в финале – подобно Христу, поцеловавшему Инквизитора в поэме Ивана, – поцеловать брата и тихо сказать о своей любви. Тихое слово Алеши окажется призывом к сложному, страшному, но личному выбору человека между добром и злом. К его встречной ответственности перед тем, кто взял на себя грехи мира. И этот тихий не вызов даже, а выдох разом расставляет на места все сложные и мучительные построения поэмы.

«Сам тот факт, – писал «Коммерсант», – что сегодня ставятся такие вопиюще несовременные, некоммерческие спектакли и что находятся люди, готовые предпочесть легким театральным зрелищам тяжелые, порою мучительные, блестящие по форме, но беспощадные к зрителям опусы Камы Гинкаса, внушает надежду, что еще не все потеряно»¹⁴. Гинкас поставил очень современного «Инквизитора». «Если бы созданный им мир человеков не выглядел таким пронзительно убогим и не ощущался бы на вкус таким горьким, мы бы, пожалуй, с инквизитором и согласились. Но хлеб, затмивший нам нынче

все иные чаяния, слишком нелепо и страшно выглядит распятым на деревянном кресте»¹⁵.

В мире слишком много причин, чтобы потерять веру. Но приведу высказывание театрального рецензента: «Я вот смотрела на бабу с огромным животом, таскающую за собой олигофрена в деревянном корыте. Прокричав в мегафон, что человечеству нужен хлеб, а не свобода, Инквизитор сунул ей мятый серый кусочек. Она жадно схватила, но, поборов себя, отдала своему пучеглазому дитяте. И когда в следующий раз этот Инквизитор (или какой-нибудь инквизитор поменьше) будет кричать, что человечество не подобие Божие, а стадо жадных рабов, я ему уже не поверю. Ведь Бог только что был здесь – он явил себя в убогой блуднице, отдавшей свой хлеб из любви к ближнему»¹⁶.

4

«Трудно ли входить в общение с Достоевским и выходить из него?» – такой вопрос был задан Сергею Арцыбашеву, режиссеру-постановщику «Братьев Карамазовых» в театре Маяковского (2003). «Очень трудно входить и еще труднее выходить. Погружение в самого себя, следуя формуле Федора Михайловича – “начни с себя”»¹⁷. В основу постановки легла пьеса «Карамазовы», написанная Владимиром Малягиным на основе сюжета романа. Главным героем, вокруг которого и происходят события пьесы, был избран Дмитрий Карамазов: действие начинается сценой в Мокром и арестом Мити, после чего следует допрос, затем – суд. А далее – эпизоды романа вытаскиваются на сцену в калейдоскопической очередности, и за три с лишним часа отыгрывается почти вся сюжетная линия романа. Однако, не зная содержания «Братьев Карамазовых», разобраться в хаосе перелопаченного текста непросто. Роман перемонтирован, сцены-клипы сменяют друг друга, мелькают разноцветные костюмы, в нужный момент чья-то голова на мгновение высовывается из люка и тут же исчезает, крышка люка с грохотом падает, и начинается новый аттракцион. Над сценой клубится дым, присутствуют и прочие земные стихии – огонь и вода (дождь льет во всю высоту сцены, дважды идет снег).

Никакой особенной метафизикой спектакль не нагружен – только бегают по сцене «обычный» чертик (Даниил Спиваковский), без которого, как сообщается, история не состоялась бы. Линия главного удара в спектакле, как указывает его жанровое обозначение, – симфония страстей. Критика отнеслась к спектаклю неоднозначно – отклики были и издевательские, и восторженные. Приведу оценку спокойную

и трезвую: «Вместо космоса Достоевского в инсценировке возник хаос Малягина. Но вот парадокс: казалось бы, все рго и contra очевидны, но почему-то о спектакле Сергея Арцыбашева хочется думать и спорить. Этот спектакль отнюдь не прост, так как связан с историей поколения его создателя, режиссера Арцыбашева. Да, Игорь Костолевский и Михаил Филиппов значительно старше своих персонажей Ивана и Дмитрия Карамазовых, но это обосновано внутренним строем постановки. Постаревшие “русские мальчики”, так и не решившие “проклятых вопросов”, вынуждены возвращаться в их круге пожизненно – в адовом круге, в котором ничего не исчезает, а остается незаживающей раной. Они успели поседеть, стать солидными мужами, но в душах так и не изжито все то, что формировало их характеры. Для них прошлое так и не стало прошлым, хотя острота боли давно прошла, но сама боль саднит, не отпускает. А вот брат Алеша по-романному молод, и в этом тоже сказывается жесткость режиссерского решения. Ведь судьба этого брата оставалась гадательной и для самого создателя “Братьев Карамазовых”, поскольку его путь “в мир” должен был пройти через борьбу идеалов гибельной красоты и гибельного ума»¹⁸.

Действие происходит внутри монастырских стен. Однако менее всего «задействован» как раз Алеша Карамазов. Весь философский груз романа ложится на плечи Михаила Филиппова и Игоря Костолевского. «В суетливых перемещениях по сцене, между цыганским хором и мельканием солдатских шинелей, они пытаются наспех выговорить все самое главное про людей, злых сладострастных насекомых, про веру, честь и подлость, мешая разбросанные по роману диалоги и монологи в один общий винегрет. Возможность по-настоящему высказаться им дается только раз. Мите-Филиппову во время его прощального монолога перед заключением. Но его риторические вопросы в зал (“отчего мы такие злые?”) и грустные укоряющие глаза способны растрогать публику, но не объяснить страстной кипучей натуры Мити Карамазова. Ивану-Костолевскому повезло больше: у него в одной сцене два программных, конечно, сильно урезанных монолога о “слезе ребенка” и “Великом инквизиторе”. Первый он произносит, размахисто меряя шагами зрительный зал, движением физическим заменяя порыв душевный. Второй – вызывая к жизни каких-то фантомов в черных плащах, которые преследуют его до конца спектакля. В финале они окружают Ивана плотным кольцом, нагоняя ощущение слишком уж театрального ужаса. Игорь Костолевский эффектно их расталкивает и надрывно, исступленно кричит о своей вине. В общем, чистый скандал и безобразие – совсем как по Достоевскому. Только в отличие от героев Федора Михайловича, скандаливших и кричавших от проклятых вопросов, терзающих их сердца, арцыбашевские Карамазовы просто вставляют

свое лицо в картонную рамку образа. Получается славный семейный портрет для фотоальбома с подписью «Карамазовы, бр...»¹⁹.

Федор Павлович, мерзкий старикашка, воплощение темного и сладострастного начала, превращается в исполнении А. Лазарева-старшего в обаятельного пожилого мужчину, импозантного господина, который явно привлекательнее своих сыновей – и своим остроумным шутовством, и своей веселой непосредственностью. Злополучного фата и похабного сластолюбца Лазарев играет с наслаждением, юродствуя на грани фола.

Театр Маяковского под управлением С. Арцыбашева подошел к «роману романов» Достоевского без пиетета, как к любому литературному материалу, с которым «на театре» можно делать все что угодно. Не чувствовалось ни намек на харизматическую личность автора, актеры играли роли мужчин и женщин, которых зовут так же, как героев Достоевского, исповедуя ту истину, что театр – не библиотека, не ученая конференция, где цитируют великие произведения русского классика с должным благоговением. Режиссер стремился сделать спектакль балаганно ярким: пригласил фолк-артель, цыганский хор и даже военный оркестр Московского гарнизона, который развлекал публику на улице перед фасадом театра.

Но даже и в случае облегченных «Карамазовых», с перетасованными эпизодами, артистами, которые годятся своим героям в отцы, «земными стихиями» и прочими режиссерскими «задумками», неистребимое «достоевское» прорывается наружу и вцепляется в душу зрителя: оно оказывается сильнее перевертыша и развлекаловки. «...Словно огненная гроза, промелькнул этот спектакль, заставив нас заглянуть в себя, а нет ли и в наших душах черной оспы “карамазовщины”, а не превращается ли наше общество в семейство даже и не братьев Карамазовых, но “братков”, для которых есть Преступление и нет Наказания»²⁰.

«Неистребимое достоевское» хотя и с трудом, но прорывалось сквозь постановку Мариинского театра оперы-мистерии «Братья Карамазовы» (дирижер – В. Гергиев, музыка петербургского композитора А. Смелкова, либретто Ю. Димитрина, режиссер-постановщик – В. Бархатов). Премьеры прошли в С.-Петербурге, Москве и Лондоне (2008–2009) и рассматривались постановщиками как событие «мировой величины». Отвлекаясь от музыки и качества постановки, отметим только содержательную часть оперы – ту, что про «слова». В 25 сценах-эпизодах (они идут с одним антрактом) были сохранены детективная линия романа и «Поэма о Великом инквизиторе», которая разделена на части и «встроена» в цепь основных событий в виде интерлюдий. По замыслу авторов, линия инквизитора должна была создать ощущение

значительности и грандиозности мистерии о России, с ее богоборческими и богоискательскими идеями, вечной жаждой Истины. Однако, как отмечала критика, именно сцены с Великим инквизитом и Пришедшим (так назван в опере Пленник) получились наименее убедительными, а их искусственное внедрение в ткань повествования не было мотивировано. Попытка охватить все повороты любовно-детективного сюжета далеко отодвинула все философские уровни романа²¹. Либретто заканчивается сценой, в которой перемешаны два пласта – событийный и ирреальный: Инквизитор оказывается комментатором суда над Митей и ставит Пленнику на вид непотребство людей. «Вновь возникает Великий инквизитор и решетка тюрьмы, за которой – Пришедший. Голос председательствующего в суде: “Виновен ли подсудимый в преднамеренном убийстве с целью грабежа?” Великий инквизитор (Пришедшему): “Озрись! Вот прошло пятнадцать веков... Поди, посмотри на них: кого ты вознес до себя?” Мужские голоса: “Да. Виновен... Да. Виновен... Да. Да. Виновен...” Великий инквизитор: “Завтра сожгу тебя”. Пришедший, помедлив, проходит сквозь решетку, приближается к авансцене, долго рассматривает зрительный зал, подходит к Великому инквизитору, целует его в бескровные уста и медленно исчезает. Звучат голоса детского хора: “Вечер тихий, вечер летний...”» В спектакле Великий инквизитор выталкивает Пленника за ворота и захлопывает за собой дверь. Пленник ложится у ворот, свернувшись в клубок, обхватывает голову руками. Далее – занавес. «Можно это понять как победу (на всем пространстве романа) Великого инквизитора. Можно (если опять же мыслить в русле Достоевского) и так: не ушел же, рядом с людьми остался, хоть и холодно ему, и плохо без них, и предадут они, и в отчаяние приводят – но ждет: может, позовут все-таки обратно, опомнятся и позовут. Хотелось бы верить, что создатели спектакля имели в виду именно это...»²² Хочется, скажу вслед за критиком-достоевсковедом, чтобы подобные смыслы содержались в замыслах театральных, оперных, балетных и прочих интерпретаторов Достоевского хотя бы в первом приближении.

Примечания

¹ Композиция и постановка С. Женовача. Режиссер-педагог Ольга Фирсова. Художник Мария Утробина (Школа-студия МХТ, мастерская Олега Шейнциса). В ролях: Александр Коручек, Андрей Шибаршин, Сергей Пирняк, Алексей Вертков, Мария Шашлова, Анна Рудь, Татьяна Волкова, Татьяна Василькина, Ольга Калашникова, Мириам Сехон, Максим Лютиков, Александр Лутошкин, Григорий Служитель, Тихон Котрелев, Александр Обласов, Уланбек Баялиев, Сергей Аброскин.

- 2 См.: *Агишева Н.* Мальчики Сергея Женовача: В Москве появилась новая театральная труппа // <http://www.mn.ru/issue/2005-42-25>
- 3 Там же.
- 4 Там же.
- 5 *Ситковский Г.* Щенячьи нежности: Сергей Женовач поставил «Мальчиков» со своим курсом в ГИТИСе // Газета. 2004. 16 нояб.
- 6 *Давыдова М.* Юродивые театра ради: Сергей Женовач поставил в ГИТИСе «Мальчиков» // Известия. 2004. 17 нояб.
- 7 См.: *Заславский Г.* Все плачут и счастливы: «Мальчики» в постановке Сергея Женовача в 39-й аудитории ГИТИСа // НГ-культура. 2005. 17 янв.
- 8 *Должанский Р.* Месторождение театра: «Мальчики» в РАТИ // Коммерсантъ. 2005. 18 янв.
- 9 *Дьякова Е.* Наша инквизиция как-то роднее // Новая газета. 2007. 14–17 июня.
- 10 См.: *Годер Д.* «Хачу есть» // Газета.Ru. 2006. 26 февр.
- 11 *Егошина О.* Распятый хлеб: Кама Гинкас поставил спектакль о смысле жизни // Новые известия. 2006. 27 февр.
- 12 *Годер Д.* «Хачу есть».
- 13 *Давыдова М.* Отдайте нам точку опоры // Известия. 2006. 1 марта.
- 14 См.: Коммерсант. 2006. 28 февраля.
- 15 *Каминская Н.* Хлебы и гвозди: «Нелепая поэмка»: Спектакль Камы Гинкаса в МТЮЗе // Культура. 2006. 2 марта.
- 16 *Шендерова А.* Над пропастью во лжи // Ваш досуг. 2006. 16 марта.
- 17 См.: Вечерняя Москва. 2003. 18 сент.
- 18 *Старосельская Н.* Исповедь горячего сердца: «Братья Карамазовы» – премьера театра Маяковского // Труд. 2003. 23 сент.
- 19 См.: *Шимадина М.* Маяковский побратался с Достоевским // Коммерсантъ. 2003. 12 сент.
- 20 *Вишневская И.* Без римейка: «Братья Карамазовы» в прочтении маяковцев // Литературная газета. 2003. 24 сент.
- 21 <http://www.rg.ru/2008/07/28/karamazovy.html>
- 22 *Степанян К.* Великий инквизитор победил? // Знамя. 2009. № 5. С. 229.

Киноверсия романа «Идиот»: дискуссия о фильме как явление культуры

Экранизация романа Ф.М. Достоевского «Идиот» (режиссер В. Бортко), по общему признанию зрителей, критиков и деятелей культуры, стала одним из главных культурных событий 2003 года. Показанная по государственному телеканалу РТР сразу после длинных майских праздников (то есть еще в учебное, а не в каникулярное или отпускное время), в удобные для телезрителей непоздние вечерние часы, с обязательными повторами по утрам, она стала самой демократической и грамотной акцией в деле популяризации классического литературного наследия вообще и наследия Достоевского в частности. «Появление жанра телевизионного романа на государственном канале, да еще в 21.00, священное время вечернего информационного кампания, – жест, соединенный с поступком, – утверждала накануне премьеры «Идиота» газета «Время МН». – Тут речь может идти о робком начале нового летоисчисления на ТВ, о возврате к подлинной культурной иерархии. К той, где Ахматова не пересекается с Алсу, а веселое имя “Пушкин” означает не только название модного ресторана»¹.

Теперь, когда нужно сказать об экранизации русской классики: «ведь можем же, когда захотим», – приводят в пример десять серий фильма В. Бортко. О замечательном эффекте показа фильма по российскому телевидению говорили на встрече в Эрмитаже тогдашние руководители государства – президент РФ В.В. Путин и министр культуры М.Е. Швыдкой, и никто из присутствовавших на высоком собрании мастеров искусств им не возражал. После показа фильма книгу, по словам министра, просто ««смели с книжных полок», что нельзя не признать «весьма позитивной тенденцией»². И действительно: впервые за многие годы (небывалый случай!) в лидеры книжных продаж попали не Маринина с Донцовой, не Акунин и даже не Коэльо с Мураками, а книга великого русского классика. «Достоевский теснит Маринину с Коэльо» – с таким победным заголовком вышла, например, «Комсомольская правда» (7 июня 2003 г.).

Кинематографическая общественность тоже как-то вдруг вспомнила о существовании у себя дома большой литературы, которая просится на телеэкран. Общее настроение прессы выглядело как радость от

самого факта обращения к одному из безусловных шедевров русской литературы и как надежда, что с этой экранизацией откроется новый этап в нашем телекино. «Наконец-то на смену стрелялкам, догонялкам, ужастикам и прочей теледребедени пришло кино больших мыслей и чувств, большого творческого дыхания... Ведь малым экраном еще не освоены многие великие произведения Пушкина, Толстого, Тургенева, Гоголя, Чехова, Горького, Бунина... Иметь такое богатство и годами лудить (а значит, и смотреть) ментовскую лабуду – это недостойно великой страны с великой литературой»³.

О фильме заговорили как о великом прорыве, серьезной интеллектуальной акции, обнадеживающей заявке на будущее. «Достоевский потеснил Акунина. Настоящая литература вновь востребована зрителем. Определение “телевизионный” применительно к фильму отныне не является индульгенцией на халтуру... Сегодня ТВ демонстрирует новые намерения. Значит, идея возвращения в нормальное культурное пространство жива»⁴.

Дискуссия о фильме по роману Достоевского, длившаяся и месяцы спустя после показа сериала по телевидению, обнаружила ряд весьма серьезных тенденций в общественном сознании. Впервые за последние пятнадцать-двадцать лет в обсуждении кинофильма тон задавали не столько кинокритики, сколько кинозрители, а экранизация классического литературного произведения дала импульс для широчайшего обсуждения проблематики самого произведения, а не только для профессиональных оценок режиссерской и актерских работ. Впервые за годы работы постперестроечного телевидения состоялся стихийный зрительский референдум – о том, что же это такое, экранизация русского романа, и чего ждет от нее зритель.

Феноменом показа фильма стали массовая зрительская активность и массовый же интерес к классическому наследию, которые опровергли убеждения дельцов от кинематографа и телевидения, что массовый зритель реагирует только на мафиозные и ментовские сюжеты. Оказалось, что отечественного теле- и кинозрителя так и не удалось посадить на иглу телевизионного мыла, что он жаждет серьезного кино, испытывает подлинную ностальгию по классике и готов к обстоятельному ее обсуждению. Оказалось, что по-настоящему успешным (а сериал по «Идиоту» и стал самым успешным сериалом года) может быть именно классический кинематограф. То есть кинематограф, который стремится воссоздать на экране эстетику мышления писателя адекватными художественными средствами и не нуждается в постмодернистском «осовременивании» литературы с помощью новомодных режиссерских трюков и выкрутасов. Успех фильма В. Бортко явил, таким образом, несомненное поражение постмодернистской модели экранизации класси-

ки. Вместе с тем, фильм спровоцировал серьезное обсуждение феномена экранизации классики и в профессиональной среде – кинематографистов, искусствоведов и литературоведов.

1. Предисловие к ожиданиям. Споры о принципах

Роман Ф.М. Достоевского «Идиот» подвергся экранизации, как известно, не впервые. В 1946 году вышла французская версия с Жераром Филиппом в роли князя Мышкина. В 1951-м – фильм Акиро Куросавы: японский вариант на сюжет «Идиота». В 1958-м своего «Идиота» с прославленным дуэтом (Юрий Яковлев и Юлия Борисова) поставил Иван Пырьев (по первой части романа). Была чрезвычайно субъективная экранизация Анджея Вайды (фильм «Настасья», Варшава – Токио, 1994). В 2001 году режиссер Роман Качанов-младший и сценарист Иван Охлобыстин, воспользовавшись сюжетом «Идиота», сочинили постмодернистскую фантасмагорию и перенесли действие в близкое будущее.

Последняя экранизация «Идиота» В. Бортко вызвала огромный всплеск забытых эмоций. Дискуссии прежних лет – о возможности адекватного перенесения большого литературного полотна на экран, об отечественной и мировой традиции экранизации литературных шедевров, о законах конвертации романного искусства в искусство кино, о целях и задачах киновоплощений, о том, что такое язык и спецсредства кино, – вдруг обрели новое дыхание. Старые споры получили свежую энергию и вторую молодость. Снова возник вопрос о самоценности экранизаций, эстетически обязанных (или необязанных!) литературному первоисточнику; о законности (или незаконности!) режиссерского прочтения, не совпадающего с литературным материалом; о суверенности киноромана по отношению к роману литературному.

Собственно говоря, спорящие стороны разделились на две неравные силы – тех (абсолютное меньшинство), кто считал, что Достоевский вообще не конвертируется в современный кинематограф, и тех, кого успех последней кинематографической версии как раз убедил в обратном.

Но дело обстояло не только в пропорциях голосования *pro et contra*: налицо был принципиальный подход к вопросу об экранизациях именно Достоевского. Кинематографа во времена Достоевского не было, но хорошо известно, как писатель относился к возможности постановок своих романов в театре. Взяв за правило никогда таким попыткам не мешать, он все же написал однажды, что «почти всегда такие попытки не удавались, по крайней мере, вполне». Почему? Ответ содержался в письме к княжне В.Д. Оболенской, дочери тогдашнего товарища министра государственных имуществ (княжна просила разрешения

«переделать» «Преступление и наказание» в драму для представления в императорских театрах, ибо считала роман лучшим современным произведением русской словесности). «Есть какая-то тайна искусства, – писал Достоевский княжне Оболенской, – по которой эпическая форма никогда не найдет себе соответствия в драматической. Я даже верю, что для разных форм искусства существуют и соответственные им ряды поэтических мыслей, так что одна мысль не может никогда быть выражена в другой, не соответствующей ей форме. Другое дело, если Вы как можно более переделаете и измените роман, сохранив от него лишь один какой-нибудь эпизод, для переработки в драму, или, взяв первоначальную мысль, совершенно измените сюжет?..» (29, кн. 1: 225)

Вряд ли, однако, следует считать эти предостережения Достоевского абсолютной догмой. Во-первых, письмо, адресованное княжне Оболенской, могло содержать задачу «сдерживания», в самой деликатной и дипломатической форме адресованную именно этой корреспондентке, дочери уважаемого государственного деятеля, близкого ко двору. Ведь хотя Достоевский и написал княжне, что совершенно сочувствует ее намерению, что желание княжны довести дело до конца ему чрезвычайно лестно, что он просит не принимать его слова «за отсоветование» (там же), скорее всего, она так и не довела свою «лелеемую мечту»⁵ до конца. Просто потому, что не имела в этом деле никакого опыта, о чем Достоевский или догадывался, или знал наверняка⁶.

Во-вторых, писатель много лет сам «мучился» драмой: в молодости пробовал писать (но не закончил) исторические пьесы, соперничая с Пушкиным и Шиллером («Борис Годунов» и «Мария Стюарт»); начинал комедию в духе Гоголя, собирался инсценировать «Неточку Незванову», думал обратить в драму один из эпизодов «Братьев Карамазовых». Гоголь, который в одном лице соединял в полной мере гениального романиста, великого драматурга и несравненного сатирика, казался Достоевскому идеалом художника, самым высоким авторитетом и образцом.

В-третьих, существует традиция, которая насчитывает уже 120 лет, – *театра Достоевского*, – в полной мере использовавшая потенциал *сценичности* Достоевского, возможности диалогов (М.М. Бахтин считал диалог Достоевского ключевым элементом его поэтики). Понятно, почему в 1870-е годы писатель мог испытывать скептическое отношение по поводу переделок своих романов в драмы – *театр Достоевского* (режиссерский замысел, способный обнаружить неистощимые запасы живой театральности и сценичности; актер-психолог, способный проникнуть в тайну художественного характера) тогда еще не родился. Лишь на рубеже XIX и XX веков Достоевский утвердился в творчестве целого поколения крупнейших русских артистов. Так, один из самых глубоких

исполнителей Дмитрия Карамазова в спектакле МХТ, Л.М. Леонидов, верно сказал, что значит для актера «играть Достоевского». «Играть Достоевского нельзя, его можно протрахать, промучиться на сцене. Нельзя в Достоевском работать над ролью. Он тебя захватывает целиком, железными тисками, и не выпускает; переживать Достоевского на сцене – это значит сидеть на стуле, утыканном острыми концами; жить Достоевским – это значит быть в крови»⁷.

За сто двадцать лет было поставлено и сыграно столько выдающихся спектаклей по Достоевскому в русском и мировом театре, что казалось, будто споры о возможности перенесения его романов на сцену уже могут быть сняты с повестки дня. Но эти споры вспыхнули с новой силой – уже в применении к кинематографу, будто бы экранизация Бортко – это первый опыт постановок Достоевского в кино. О телесериале «Идиот» в первую очередь заговорили как о смелом и рискованном художественном эксперименте. Можно ли перенести на экран хрестоматийный роман Достоевского без заметных сюжетных и текстовых сокращений? и если да – то что из этого получится? Ведь ни в одной из предыдущих экранизаций «Идиота» никто и не пытался сохранить текст полностью.

Двусмысленный заголовок: «Полный “Идиот”» – соблазнил немало газетных изданий, причем иногда двусмысленность декларировалась и была нарочитой⁸, иногда выглядела вполне невинно⁹. «Идиот приходит в каждый дом» или «“Идиот”, доступный каждому»¹⁰ – такие и подобные заголовки газетных статей призваны были поколебать саму идею обращения кинематографа к Достоевскому.

«Достоевский чрезмерен и несоизмерим – ни с кем в литературе. Режиссера же посетила опрометчивая идея, что персонажи “Идиота” – это обычные люди с обычными хлопотами насчет пропитания. Но даже если сам автор аттестует своего героя как обыкновенного человека, это не так»¹¹. «Достоевского вообще не надо экранизировать. Не поддается он телесериальному прочтению»¹². Высказывались суждения, что сериал по Достоевскому – неблагоприятное дело еще и потому, что не совпадает текстовая эстетика писателя и эстетика сериала как таковая: сериал – это повествование неспешное, а роман у Достоевского – это повествование нервное и захлебывающееся. Как раз в дни показа сериала прошла на канале «Культура» программа из цикла «Эпизоды», с Вячеславом Шалевичем. Артист вспоминал о своих вахтанговских ролях, о том, как он был введен в телеспектакль по «Идиоту». «Решил прочитать роман, начал, но испугался – это нельзя играть, от этого можно свихнуться. Я отложил книгу и стал читать сценарий, и тем спасся»¹³.

Процитированные признания воспринимались все же как некая паника – ибо кто же дерзает «телесериально» прочесть Достоевского

всего, со всеми сюжетными линиями, буквально страница в страницу, строка в строку – пусть это будет не десять, а даже двадцать или сорок серий? Кто может утверждать, что самая совершенная киноверсия или театральная постановка могут быть абсолютно равны романному первоисточнику? Весь Достоевский, как и весь Шекспир, как и любой другой *весь большой писатель*, не уместятся ни на одной сцене, ни на одном экране. В огромном полотне романа важно увидеть его главный, самый яркий рисунок – тот, который и организует узор.

Именно таким путем и пошел В. Бортко. Ему важно было сохранить и скрупулезно воспроизвести все основные линии романа и все основные краски характеров. Режиссер, готовясь к съемкам, перечитывал дневники Достоевского, изучал топографию «Идиота» в Петербурге и в Павловске, посещал старинные особняки и музейные экспозиции. Съемки происходили в точном соответствии с географией романа – в особняках, среди музейной обстановки литературного Петербурга, Москвы, на фоне пейзажей Швейцарии. Художники фильма для создания атмосферы подлинности и достоверности собирали необходимый реквизит по антикварным лавкам и музеям. Они стремились, чтобы каждая подробность интерьера стала настоящим отражением эпохи. Костюмы персонажей из лионских кружев, перьев и бархатных лент, старинные бриллианты – все было подлинным, настоящим. Жанр сериала был призван, чтобы проявить свои лучшие качества: возможность пережить классический роман во всех тонкостях и деталях сюжета, в реалистически достоверных исторических декорациях.

«Он доверился своей режиссерской интуиции, выделив из гигантского и в принципе неисчерпаемого текста его “первый”, непосредственно осязаемый, зрелищно-психологический ряд. Он дал превосходным актерам возможность превосходно *играть*, ограничив, как это и требует сфера его искусства, количество воплощаемых смыслов. Он – при всех допустимых претензиях – сумел сохранить главное: дух Достоевского. Новая версия “Идиота”, разумеется не могущая быть адекватной роману, тем не менее приближена к сути дела... Вряд ли сам автор “Идиота” смог бы предложить российскому телевидению конгениальный сценарий. Еще труднее представить, что где-то в мире ждет его конгениальный режиссер. Режиссерское (да и зрительское, пожалуй) счастье заключается в том, что к делу экранизации “Идиота” не были привлечены литературоведы»¹⁴.

Но – по иронии жанра! – именно литературоведами был выдвинут тезис о «врожденном пороке экранизаций»: мол, «фильм не то, что роман». Однако тот самый литературовед, которому в экранизации В. Бортко не хватило некоторого количества воплощаемых смыслов, то есть всей «полноты и правильности» в интерпретации романа, все

же вынужден был обозначить контуры того, что осталось, за вычетом режиссерских «искажений и изъятий». «Что же осталось? Блестящий актерский ансамбль, где практически каждый достоин похвалы и благодарности, так как сделал из своей роли максимум того, что возможно было в рамках предложенного режиссером. В парных сценах, оставленные наедине друг с другом и с текстом Достоевского, актеры доходили до полной аутентичности, до абсолютного попадания в самую сердцевину создаваемого образа с его глубинной *философской* проблематикой – не останавливаясь на его *психологической поверхности*»¹⁵.

Таким образом, осталось все самое главное – именно то, чего и добивается кино своими специфическими средствами: создания убедительного визуального образа героев. «Врожденный порок» вопреки критике литературоведа оказался счастливо обретенным достоинством.

Сам В. Бортко на вопрос корреспондента, снимал ли он фильм по принципу «шаг влево, шаг вправо – расстрел», ответил: «А что в этом плохого? Вот ребята в “Даун-хаусе” сделали “шаг влево” – и что? Я не сделал этого шага. Все, что написал Федор Михайлович, меня заинтересовало. Тем более ни в коем случае нельзя воспринимать наш фильм как “перевод книги на картинку”. Это совершенно разные вещи. И если после просмотра скажут: я это уже читал, – я расстроюсь. Но мне кажется, фильм не скучен»¹⁶. Используя форму телесериала, В. Бортко надеялся избежать существенного упрощения сюжета. Театральные постановки охватывают в лучшем случае треть романа, с обязательной сценой сожжения денег и убийства Настасьи Филипповны. «Большинство постановок основываются на первой и третьей книгах романа, т. е. на любовной истории. Но ведь помимо этого, Достоевский пишет о других тонких и сложных вещах. Мы сделали кино по всей книге»¹⁷. Взявшись за «Идиота», режиссер был уверен, что классика не стареет и что Достоевский абсолютно современный писатель. Пространный жанр телевизионного многосерийного фильма, считал режиссер, больше всего подходит для экранизации такого объемного и глубокого произведения, как роман «Идиот». В известном смысле, В. Бортко удалось воплотить мечту Андрея Тарковского, который также хотел экранизировать этот роман и планировал снять 24 серии (роль князя Мышкина должен был исполнять Николай Бурляев¹⁸).

2. Накануне показа

Споры о результате экранизации начались еще на стадии ожидания.

Было известно, что работа над фильмом продолжалась семь месяцев, фильм снимался 100 дней (съемки начались 17 февраля 2002 г.), затем еще 85 дней озвучивался. Из многочисленных интервью режиссера

в прессе можно было узнать, что работа идет крайне напряженно, что сцена сжигания в камине денег снималась двенадцать часов и Лидия Вележева (Настасья Филипповна) дважды принимала валидол. Евгений Миронов (князь Мышкин) в одном из интервью признавался, что его личный рекорд непрерывной съемочной работы – 22 часа и что самый выносливый в группе человек, В. Бортко, сам валялся у монитора после непрерывной суточной работы. (Даже только по этому критерию фильм неправильно называть сериалом: «мыло», киношный ширпотреб штампуют по серии в день.)

Новую экранизацию ждали почти год. Вряд ли можно сказать, что это было время радостных предвкушений – скорее, месяцы тяжелых ожиданий и дурных предчувствий. После «Даун-хауса», после всего, что масскульт проделал с русской литературой вообще и с Достоевским в частности, слабо верилось в добрые намерения – даже и в намерения режиссера, сделавшего прекрасную экранизацию булгаковского «Собачьего сердца». Оставалось только гадать: до какой крутизны киношного стеба и эстрадно-циркового глумления захотят допрыгнуть наши звезды, если от них того потребуют? Ведь в лихое время, когда «начальство ушло» (В.В. Розанов), все можно и все позволено. То и дело закрадывалось подозрение (позже оно было высказано публично), что канал «Россия» (при поддержке Министерства культуры) финансировал дешевый сериал («Жизнь с «Идиотом»: мыльная опера по Достоевскому»), который душит съемочную группу, для того чтобы удобнее было продавать рекламу¹⁹.

Жажда надругательства над высоким – это в большой степени личная месть миру за собственное пигмейство. Блудливое кощунство и святотатство, вороватая готовность опустить небо на землю – это не только страх прослыть ретроградным занудой, но прежде всего органическая неспособность увидеть это небо в алмазах. Хищное использование известного литературного сюжета почти всегда маскирует нигилизм иждивенца и его пузырящуюся самодовольную пустоту. Характерно, однако, что сами иждивенцы безошибочно чувствуют, где намазано маслом, и точно знают, что, например, Достоевский – это всемирно известная марка («бренд», как говорят они). Так почему ж, к примеру, не зазвать на роль князя Мышкина убогого дурачка из дурдома, не посадить его к быку Рогожину в вечный «Мерс» и не устроить «реалити-шоу» на троих, вместе с inferнальной путаной Анастасией. И будет еще одна серия дурной бесконечности, мутной пены и желтого пиара. «Пакостники» – смачно называла таких «интерпретаторов» русской классики замечательная художница А.Н. Корсакова, иллюстратор романов Достоевского.

Отвечая на вопрос «Московского комсомольца», смотрел ли он фильм по «Идиоту» «Даун-хаус», режиссер В. Бортко деликатно отве-

тил: «Конечно, смотрел. Это талантливое произведение, только непонятно, зачем оно сделано. Такие бы усилия да в мирных целях – цены бы им не было. Похулиганить захотели? Ну что ж, пожалуйста, никто не запрещает. Но смысла в этом я не вижу. Хотя, смотря «Даун-хаус», я смеялся. Только при этом вспоминал пушкинского “Мопарта и Сальери”: “Мне не смешно, когда...” Дальше пусть читают “Маленькие трагедии”»²⁰.

А дальше в «Маленьких трагедиях» и говорится – пусть от имени Сальери, а не Мопарта: «Мне не смешно, когда маляр негодный / Мне пачкает Мадонну Рафаэля, / Мне не смешно, когда фигляр презренный / Пародией бесчестит Алигьери». Маляры и фигляры, взявшиеся «ваять» великое пятикнижие Достоевского, – это то, чего давно добивается эстетика постмодернизма, которая не признает культурной иерархии и хочет узаконить свое право пачкать и бесчестить, но при этом никак не может обойтись своими силами, без Рафаэля, Данте или Достоевского.

Между тем исполнитель роли князя Мышкина в «Даун-хаусе» Федор Бондарчук так объяснял свое участие в проекте Романа Качанова. «Осуществить этот проект можно было двумя способами. Или довериться режиссеру, неважно, согласен я с его видением или нет. Или попытаться ему объяснить, как я вижу этот образ. Второй путь нес за собой огромное количество трудностей, а может быть, и полного разногласия с Романом, чего я не хотел. Так как Роман пошел на большой риск и понимал это, я решил играть по его правилам. То же самое решение приняли все участники этого проекта. Поэтому все шишки, которые летели в этот проект, и все позитивные отклики я отношу не на свой счет, а на счет Романа Качанова». «Шишки» же, то есть критику фильма, Федор Бондарчук объяснил тупостью, глупостью, неподготовленностью, недостатком общей культуры и внутренней свободы журналистов, которые обсуждали не саму картину, а факт ее существования – то есть как *посмели* ее снять. «Я по-прежнему убежден, что если бы этот проект снимался где-нибудь в Европе и артисты говорили на исландском языке, и все это было бы вставлено в раму какой-нибудь догмы Ларса фон Триера, это бы обсуждалось у нас как некий эксперимент»²¹.

Однако о «даун-хаусской» стилистике экранизаций спорили не только «глупые и неподготовленные» журналисты. О ней всерьез говорили и серьезные литературоведы. Т. Касаткина, скептически оценивая режиссерскую работу В. Бортко, нашла в фильме Качанова свои плюсы. «В скандальной кинопостановке “Даун-хаус” (плохой фильм с отдельными блестящими находками сценариста Ивана Охлобыстина, который, безусловно, хорошо читал роман “Идиот” и понял его “первоначальную мысль”) вся линия Ипполита гениально пересказана Рого-

жиным (Охлобыстин) в байке, занимающей несколько минут экранного времени»²². Отвечая Т. Касаткиной, литературовед К. Степанян определил «Даун-хаус» как «не лишенный определенных находок *стеб* на “идиотские темы”»²³. «Наш ребяческий постмодернизм, претендующий, впрочем, на почетную роль культурного хама, уже обломал о Достоевского свои зубные протезы, – заметил И. Волгин. – По поводу призванного поразить нас “Даун-хауса”, где метафора “идиот” явлена в своем беспримесном виде, можно выразиться словами карамазовского Черта: “Скучища неприличнейшая”. Это *рецептурное* искусство, наивно полагающее, что, публично показывая язык классике, оно вступает с последней в приятельский диалог»²⁴.

Об участии Достоевского в культурной ситуации постмодернизма писалось в связи с экранизацией немало. «Еще совсем недавно Достоевский имел шанс коснуться слуха благодарных потомков только с помощью кургузых переделок. Издательство “Захаров” гордилось серией “Новый русский роман”, в котором было предано тиснению сочинение Федора Михайлова “Идиот”. Браток Рогожин ботал по фене, фотомодель Настасья Филипповна, по ее же словам, “целку из себя строила”, а князь Мышкин не переставал удивляться, “что это они все ржут”. Имелся и телевариант для новых русских. Каналы радостно привечали поющего под аккомпанемент Левона Оганезова Аркадия Арканова, переложившего сюжет романа на “Мурку”»²⁵.

Между тем автор одиозной переделки «Идиота» Федор Михайлов, взволнованный появлением новой киноверсии, выступил с оценкой пресловутого «Даун-хауса» и с оценкой собственного проекта, по его мнению весьма успешного: десять тысяч экземпляров первого издания разошлись быстро и ныне готовится второе издание. Проект охарактеризован как римейк одноименного романа Достоевского²⁶.

«Одновременный запуск такого количества связанных с романом “Идиот” проектов²⁷ странным образом перекликается с идеей книги “Идиот”-2001 и фильма “Даун-хаус”. Роман “Идиот”-2001 писался как по возможности максимально точное – абзац в абзац – повторение “Идиота” Достоевского. Став, помимо воли, в ходе переписывания романа доморощенным достоевсковедом, я с огромным интересом смотрел фильм “Даун-хаус”. Обнаружилось несколько забавных совпадений: например, в фильме, как и в романе “Идиот”-2001, при переносе в наше время князь Мышкин превратился из каллиграфа в программиста, Павловск – в подмосковное Переделкино, и т.п. Но обнаружилось и несколько никем не отмеченных странностей... Бросаются в глаза странные искажения оригинала, не оправданные ни переносом в наши дни, ни общей стилистикой фильма – не “технические”, а концептуальные. В фильме, например, нет ни слова, ни единого намека на то, что

Мышкин честен и правдив. Полностью вырезана важная тема отношения Мышкина к смерти. Наконец, из сценария почему-то исчезли все “положительные” герои: всех нормальных людей выкинули, оставили только ущербных (причем дело не в хронометраже, многие третьестепенные персонажи уцелели). С одной стороны – мастерство и дотошность в следовании оригиналу. С другой – грубейшие искажения общей идеи. Напрашивается предположение об умысле. Этот “умысел” в многочисленных критических разборах фильма (претендующего на звание “самого скандального фильма года”) был интерпретирован как банальное хулиганство. Хулиганская составляющая несомненна. Более того, она полностью “заглушает” более серьезные мотивы всего проекта... Уже в процессе съемок концепция фильма изменилась (возможно – хотя это и не так важно, – имел место конфликт между автором сценария и режиссером), в итоге остались сбивающие с толку следы разных подходов к роману»²⁸.

Федор Михайлов предложил «литературоведческую» версию происшедшей с фильмом метаморфозы. «То, что князь Мышкин – некое иносказание Христа, давно стало общим местом в достоевсковедении. В последнее время наметился даже серьезный перекося в сторону “мышкино-христологии” (в советские времена примерно так же всюду приплетали классовую борьбу). Из двадцати шести статей упоминавшегося сборника о романе “Идиот” параллель “Мышкин – Христос” не затрагивается лишь в шести. Крутые перемены в жизни Ивана Охлобыстина, оказавшегося по окончании съемок клириком в Святоуспенском Кафедральном соборе Ташкента, подтверждают, что религиозная составляющая романа “Идиот” действительно важна для понимания того, что произошло... Именно из уст людей, причисляющих себя к православным, раздались самые искренние поношения фильма... На НТВ был организован телесуд над фильмом... в уже упоминавшемся сборнике статей о романе “Идиот” тему “Мышкин – Христос” зачастую разрабатывают в довольно неожиданном ракурсе. Началось своеобразное “обратное качание” маятника: можно прочесть страстные доказательства, что Мышкин – это псевдо-Христос, лже-Христос, утверждения, что Мышкин впал в язычество и “совершил опасную подмену креста идолом”, что Достоевский писал роман не о правде, а лишь о том, что второго Христа быть не может, и т. п., и т. п. Можно предположить, что Охлобыстин, в полном соответствии с сегодняшними модными веяниями в “мышкино-христологии”, тоже совершенно искренне доказывал, что “Идиот” – неправильный с православной точки зрения роман. Тогда объяснимо и общее неприятное ощущение от того, что у них с Качановым вышло, и многие остававшиеся не очень понятными детали. Например, то, что в фильм Мышкин почему-то – ничем не мотивиро-

ванное авторское решение – попадает из-под земли (из автомобильного туннеля). И “вкушение тела” (неважно, чьего) в финале тоже приобретает нехороший с религиозной точки зрения смысл»²⁹.

Связь «модных» концепций романа «Идиот», стремящихся доказать факт демонического превращения и языческой одержимости князя Мышкина, с кощунственными постмодернистскими киноверсиями романа – интереснейшая информация к размышлению о взаимосвязях в культуре и об ответственности исследовательской мысли.

Настороженность – это чувство было доминирующим в гамме настроений и ожиданий. «Настороженность внушала не столько богатая кинематографическая история романа... сколько наша телевизионная реальность, в которой любой князь чувствует себя последним в своем роде. Не скрою, – признавался колумнист “Литературной газеты”, – это чувство усиливалось и примитивно-коммерческим “i” в названии, и анонсными заявлениями о подлинности лионских кружев, перьев, драгоценностей»³⁰.

Канун показа действительно сопровождался многочисленными и разнообразными анонсами. В фирменном конверте телеканала «Россия» по почте рассылалось (всем по Москве? всем по России?) беспрецедентное «Приглашение на премьеру» (открытка с кинопортретами И. Чуриковой, Е. Миронова, Л. Вележевой, В. Машкова, А. Лазарева, О. Будиной, О. Басилашвили, А. Домогарова) телевизионного романа «Идиот»: начало в 21 час 12 мая 2003 года. Отрывной «самоконтроль» на открытке был ложным и не отрывался – перфорация была нанесена типографской краской.

О грядущей премьере не давали забыть ни развешанные по всему городу портреты героя, ни повсеместные интервью с актерами. Все это не прибавляло оптимизма: казалось, мощная раскрутка киноромана призвана что-то закомуфлировать – быть может, бессмысленно урезанные монологи героев, или вымученную стервозность героинь, или галопирующий темп, не говоря уже о рекламном мусоре, которым непременно будут перебиты волшебные сцены одного из самых таинственных сочинений Достоевского. Настораживал даже звездный состав: многих актеров зритель привык видеть в криминальных сериалах, боевиках, бесконечных ток-шоу и коммерческих развлекательных программах. «Страна знает их как полухалтурщиков, а не как великолепных мастеров, какими они являются на самом деле... Так и кажется, что А. Домогаров выкинет какое-нибудь коленце, а М. Киселева подмигнет нам в самый неподходящий момент»³¹.

И некий «доброжелатель» действительно воткнул рекламный ролик бульона «Галина Бланка» прямо в сцену знакомства с обитателями дома Иволгиных. В кадре малоизвестная актриса М. Киселева тщится

изображать Варвару Ардалионовну Иволгину, сестру Ганечки, а в рекламе, сразу за кадром, спортсменка и телеведущая «Слабого звена» М. Киселева требует помнить о рекламируемых кубиках только одно: «очень вкусно». «Фильм отличный, а телеканал “Россия”, который его показывает, действительно идиот, – писал телезритель. – Ну как можно такой фильм перебивать рекламой? А потом они же будут устраивать дискуссии вроде: “Как же так получилось, что для наших детей что сниккерс, что памперс, что князь Мышкин с Рогожиным – одно? И почему у нас вдруг дети идиоты?” Так сами же это делаете, господа!»³²

Телевизионная реальность, с ее дурной стилистикой, беспардонной рекламой и прочими коммерческими атрибутами, действительно никак не располагала в пользу серьезного отношения к экранизации Достоевского. Иные взыскательные критики заведомо принимали ее в штыки, полагая, что сериал по «Идиоту» и показ его с отменной рекламной помпой – знак нового, то есть продажного времени. Дескать, хозяева жизни, новые русские, захотели легитимации своей власти, догадавшись, что в долговременной перспективе деньги в России – не доказательство и не защита своих прав и своей власти. И потому прибегают к по-сильному для них плебейскому критерию превосходства над толпой: «грамотность, переходящая в культурность». Для таких новых хозяев «Идиот» становится средством самоутверждения, разменной монетой. «Они заказывают, снимают, демонстрируют на государственном канале вполне бессмысленный телесериал, который оперативно объявляет событием года неутомимый певец новорусской жизни Леонид Парфенов. Боже, какой синхронный, какой истерический порыв к “великой литературе” и грамоте!»³³

Продюсер фильма Валерий Тодоровский тем не менее решился: «Я пошел на риск из-за режиссера Владимира Бортко, который просто горел идеей экранизации. Мы никогда не сняли бы “Идиота”, если бы Женя Миронов не согласился на роль князя Мышкина. Я закрыл глаза и прыгнул в пропасть»³⁴.

3. Первые впечатления

И вот – мгновенное (взяли-таки быка за рога!), крутое начало. «Я хочу объявить Вам, Настасья Филипповна, о невыносимом ужасе моего положения...» Как, почему отменили поезд Петербургско-Варшавской железной дороги, который должен был на всех парах подойти к Петербургу в среду утром 27 ноября, в промозглую оттепель? Почему вместо вагона третьего класса и его поименно известных пассажиров явилась респектабельная гостиная, а в ней совсем другие гости? Вострый Афанасий Иванович Тоцкий (сознание мучительно сопротивляется: это же Андрей Смирнов, недавний безумный Бунин!), уклон-

чивый и ускользающий генерал Епанчин (и сюда проник лицедей Олег Басилашвили!), угрюмо-зловещая Настасья Филипповна (Бог мой, Лидия Вележева, героиня мыльной «Воровки»!)...

Тяжелая ревность читателя-педанта ко всякому иному, нежели свое, прочтению, болезненное недоверие читателя-исследователя к любому экранному посягательству, скованность сердца, которое боится поверить в возможность киночуда, – все это и в самом деле было ДО фильма.

Большинство зрителей и критиков как заслугу, как неоспоримое достоинство фильма говорили о его добротности, реалистичности, о сдержанной классической манере режиссерской работы и актерской игры. «Бортко решил выпустить демонстративно классичный фильм. Никакого клипового мельтешения; длинные, в духе театральных мизансцен, диалоги; отсутствие видимого действия, но присутствие действия глубинного, напряженного; столь непривычный старинный слог, к которому, кажется, тотчас следует прилагать словарь... Забытое удовольствие от подлинности повышает адреналин значительно активнее, чем самый крутой экшн»³⁵.

Почти никто из рецензентов не смог удержаться от сравнения нового сериала с пырьевским фильмом – это сравнение напрашивалось и было отнюдь не всегда в пользу старой экранизации (которую особо суровые критики В. Бортко хотят теперь представить как образцовую). «Что скажешь: замечательно! В отличие от И. Пырьева В. Бортко было, где развернуться. И актерский ансамбль выше всяческих похвал. Мышкин – Е. Миронов ничуть не заслонил собой Мышкина – Ю. Яковлева (да и как можно?!) и героически одарил нас своим образом князя. Почему я, – писала Л. Васильева, – не могу отделаться от впечатления, что с наслаждением и волнением смотрю неизвестную мне пьесу... Чехова? В фильме Пырьева такого ощущения не было. Там присутствовал явный, нередко раздражавший “достоевский надрыв”. Наверное, это эффект времени. Пырьевский “Идиот” по времени был ближе к эпохе Достоевского. “Идиот” Бортко сегодня ближе соответствует чеховской эпохе. Но это не недостаток»³⁶.

Вахтанговские манеры Юрия Яковлева и Юлии Борисовой многим телезрителям теперь казались эталоном соответствия представлению о XIX веке. «Никого себе не могу представить, кроме Мышкина–Яковлева»; «Экранизация удачная. И хотя я нахожусь в том возрасте, когда перед глазами до сих пор Юлия Борисова в роли Настасьи Филипповны и спектакль со Смоктуновским в БДТ, но все же актерский ансамбль новой экранизации очень сильный»³⁷.

Но вот высказывания профессионалов. «Очень хороший актерский состав фильма. Да и сам фильм сделан очень грамотно, но, к сожалению,

холодно. Нет той иррациональной страсти, которая была у Достоевского, нет его безумия» (Нина Садур, драматург). «Мне очень нравится Женя Миронов, и совершенно блистательна Лидия Вележева в роли Настасьи Филипповны» (Наталья Фатеева, актриса). «Вроде бы все играют хорошо, а страсти нет. Как нет и кинематографической эквивалентности в подборе актеров. Миронов прекрасный актер, но какой же он князь Мышкин? По-моему, в этой роли великолепно бы смотрелся Меньшиков. Вележева – хорошая актриса, но из-за такой Настасьи Филипповны Рогожин не бросит все и не побежит покупать бриллианты» (Юрий Кара, режиссер). «Мне нравится. И хотя я “шестидесятник”, а здесь прочтение более конкретное и менее романтизированное, но все равно – очень хорошо! Мы соскучились по серьезным экранизациям классики – это ведь не бандитские сериалы» (Эдуард Марцевич, актер). «Мне очень нравится. Очень серьезная, хорошая работа, без новомодных штучек. Замечательны Миронов и Машков. Может быть, образ Настасьи Филипповны получился несколько истеричным. Хотелось бы большего сочувствия к ней» (Людмила Иванова, актриса). «Воодушевляет тенденция неоклассицизма, которая определяет этот фильм. Потому что надоел голливудский экшн, где нет ни одной мысли, кроме действия. Надоел постмодернизм, где ничего не понять, а только ложная многозначительность. И эта экранизация определяет очень серьезную тенденцию в кинематографе» (Ирина Климович, искусствовед). «Думаю, что это очень добротная работа. И режиссеров, и актеров. Особенно Миронова и Петренко» (Александр Журбин, композитор). «Каждую серию жду с нетерпением. Я уже сейчас могу сказать, что это энергичное, динамичное произведение, что, конечно, является заслугой режиссера Владимира Бортко. Он замечательный, глубокий режиссер, который пытается раскрыть Достоевского» (Светлана Лазарева, актриса)³⁸.

И наконец – мнение Бортко о пырьевском фильме, который был снят в советское время, в раннюю оттепель. Отвечая на вопрос, хотел ли он показать в своем фильме настоящего Достоевского, режиссер ответил: «“Тот” Достоевский или “не тот” – пусть судят зрители. Каждый его прочитывает по-своему... Вот в пырьевском фильме 1957 года трудно было ожидать полного прочтения романа. Разве можно было тогда так подробно говорить о религиозном поиске, подсознании?.. Достоевский плохо сочетается с советским временем»³⁹.

4. Главный нерв фильма

Между тем невозможное чудо, в которое не верили скептики, произошло фактически сразу.

...Князь Лев Николаевич появился на экране как бы немного издали, с маленьким клетчатым узелком, иззябший в своем заграничном

плаще и худых штиблетах, неказистый, как его житейские обстоятельства, и с первой минуты занозой вошел в душу. Да, это, несомненно, был ОН. Его лицо, тонкое, сухое и бесцветное; его тихий, пристальный взгляд; его глуховатый голос, его удивительная готовность вступить в разговор со всяким, без различия, собеседником; его немыслимая способность не обижаться на обидчика. И когда в передней господского дома с места в карьер он, *как равному*, стал рассказывать обомлевшему прислужнику про смертную казнь, да так, что, в нарушение заведенных правил, тот милостиво разрешил гостю курить в каморке под лестницей, стало понятно, насколько заслуживает ТАКОЙ Мышкин вещей слов красавицы Аглаи Епанчиной: «Здесь все, все не стоят вашего мизинца, ни ума, ни сердца вашего! Вы честнее всех, благороднее всех, лучше всех, добрее всех, умнее всех! Здесь есть недостойные нагнуться и поднять платок, который вы сейчас уронили... Для чего же вы себя унижаете и ставите ниже всех? Зачем вы всё в себе исковеркали, зачем в вас гордости нет?» (8: 283)

К тому моменту, когда князь, перекуривая в закутке, вспоминал тот самый поезд, который только что прибыл в Петербург, и своих случайных знакомцев – насмерть влюбленного богача с огненными глазами и его плутоватого соседа-всезнайку, было уже не страшно за роман, не больно за его автора, не стыдно за прекрасных актеров и режиссера. Оставалось жадно ловить каждый кадр, радостно ждать следующего вечера – и следующего утра, чтобы радость эту удвоить.

Прочсть роман «Идиот» – это значит понять, кто такой князь Мышкин и зачем он прибыл из Швейцарии в Россию. Это значит ответить на вопрос: почему тот, кто и в самом деле честнее, благороднее, лучше, добрее, умнее всех, не смог помочь тем, кому это было так необходимо, или хотя бы только той одной, гордой и поруганной, что в него поверила? Это значит задуматься, почему автор романа, замыслив образ «положительно прекрасного человека», наделил его не силой (ведь и Аглая не скажет про Мышкина: «сильнее всех») и не волей, а только простодушием, целомудрием, кротостью, детской добротой. Это, наконец, попытка объяснить самому себе, почему *идеального* героя и *вполне прекрасного человека* Достоевский увидел в больном, с судорогами и припадками, молодом человеке, без образования и талантов (если не считать, конечно, талант каллиграфа). И почему автор, бесконечно любя свой трудный замысел («труднее этого быть ничего не может» – 28, кн. 2: 241), так боялся его испортить? А взявшись наконец за перо, почувствовал, будто «рискнул, как на рулетке» (там же)?

Но потом нельзя будет укрыться и от следующего витка вопросов, еще менее разрешимых. Ибо как же надо понимать дерзновенный замысел Достоевского в свете его собственных слов: «На свете есть одно

только положительно прекрасное лицо – Христос, так что явление этого безмерно, бесконечно прекрасного лица уж конечно есть бесконечное чудо» (28, кн. 2: 251)? Что же в таком случае означают настоячивые черновые записи Достоевского про своего героя-идиота: «Князь Христос» (9: 152, 246, 249, 253)? Ведь если Мышкин, христоподобный герой, попав в мир раскаленных, эгоистических страстей, был призван восстановить хоть одну исстрадавшуюся душу и возродить поруганную красоту, но сделать этого не сумел, значит, под удар поставлена сама идея христианской любви. Ибо чего стоит любовь-жалость, которой он любит Настасью Филипповну, если такая любовь губит и его, и ее?

Кажется, Евгений Миронов в режиссерском решении Геннадия Бортко всем сердцем чувствует этот трагический круг. Он не играет Мышкина, а существует как Мышкин. Он живет в этом образе и в этом мире так органично, что все люди вокруг него с первой минуты знакомства не сомневаются: он реально, в высшем смысле, *прикоснулся* к их жизни – и везде оставил *неизгладимый след*. В каждом, с кем он сталкивается, он пробуждает – хоть на мгновение – лучшие качества, высокие чувства, благородные порывы, и люди, погрязшие в злобе и вражде, чудесным образом очеловечиваются. Пусть это длится всего лишь минуту, но в эту драгоценную минуту очеловечившийся человек успевает опомниться – и ощутить Князя Христа в своем сердце.

Недаром в одно мгновение совершилась перемена в лице генерала Епанчина: своей ласковой незлобивостью князь покорила сердце даже непробиваемого Ивана Федоровича. Недаром столь достоверны обжигающие, угольные глаза фантастически красивой Настасьи Филипповны, когда она при первой же встрече дважды вспомнила, что где-то видела лицо князя. Недаром волшебным преображается страстное, искаженное мучительной гримасой, лицо Парфена Рогожина (Владимир Машков), когда он неотступно следит за своим смертельным соперником: все же в этих огненных глазах люта я ненависть то и дело уступает место братской любви и надежде на счастье. Недаром так трепетно и взволнованно живет весь фильм Лизавета Прокофьевна Епанчина (Инна Чурикова): она-то уж безошибочно опознает в последнем из рода Мышкиных *своего*. Недаром так вдохновенно кается Лебедев (Владимир Ильин): даже и такого насмешливого до гениальности философа-плута, как он, не могут не покорить смирение, искренность и сердечная деликатность князя.

И пусть слаб, беспомощен, неизлечимо болен князь Мышкин, пусть бессильна его доброта – все равно есть надежда, что между поколениями, *от своего к своему*, протянется цепь, по которой будут переданы заветы любви и братства, и не умрет великая мысль. Может быть, потому Достоевскому удался его бессмертный роман, пронзивший сердца по-

колениям читателей, что князь Мышкин, вызывающий бесконечное сочувствие и сострадание, все же далек от недостижимо сияющего идеала. Как писал сам Достоевский о любимом Дон Кихоте, «он прекрасен потому, что в то же время и смешон» (28, кн. 2: 251).

«Далее в том же письме, – замечает Карен Степанян, – говоря о замысле своего романа, Достоевский пишет о будущем князе Мышкине: “У меня ничего нет подобного, ничего решительно”. Потому то, что Мышкин все-таки становится – в высоком смысле смешон, для Достоевского было сердечной мукой. Потому и сделал он его всею силою своего гения таким, что любви к нему не минует ни одно честное сердце (и Миронову удалось такой облик князя воссоздать), потому и не отдал он своего героя ни на суд Божеский, ни на суд человеческий, лишь тело оставив людям, а душу спрятал куда-то, откуда она может вернуться – и на землю, и на небо»⁴⁰.

Может быть, потому и удалась киноверсия романа, что христианская миссия князя Мышкина здесь показана во всей ее трагичности, ибо трагично добро в мире, лежащем во зле. Может быть, потому и удалась актеру его невозможно сложная роль, что он чувствует роковую слабость своего героя, который так и не смог стать сильнее страданий: его Мышкин – это мощнейший магнит, к которому примагничивается чужая боль, и он заражается ею, как смертельной болезнью. Он надеялся, что сможет рассеять мрак этого мира, обуздать хаос, прогнать демонов зла и небытия. Он мечтал, чтобы родные люди ясно читали в сердцах друг друга, чтобы не было сомнений в любви и отречений в дружбе, чтобы каинова печать не коснулась крестового брата Парфена Рогожина. Но беспощадный мир капризных, себялюбивых до сумасшествия людей, знающих только всеразрушающую ревность, ломает и выталкивает на обочину ужаса самого прекрасного, самого хрупкого своего гостя, ибо смешной гость был из *миров иных*...

От серии к серии лицо князя Мышкина теряло безмятежность; странные тени ложились на щеки, у самых подглазий, и вряд ли это было заслугой гримера... От серии к серии набирали силу и мощь главные персонажи трагедии – и казалось, что это магия жизни, а не магия игры. Сцена с хлыстом – и, как меч карающий, глаза Настасьи Филипповны. Это ее невероятное «ты счастлив?», обращенное к князю. И дьявольская реплика Рогожина: «Еще бы ты сказал: “да”». Монолог Мышкина у вазы – и глаза Аглаи. Гениальные фантазии генерала Иволгина с гениальным Алексеем Петренко. Сильнейший, глубочайший финал, во всей его запредельной кромешности. И последняя улыбка несчастного, беспамятного швейцарского пациента...

5. Главный критерий оценки

Отношение к образу князя Мышкина и его христианской миссии – стало главным критерием оценки и у зрителя, и у критика, и даже у актера, исполняющего эту роль. (По сведениям из газет, он, как и 95 % актеров, был специально приглашен на конкретную роль, без предварительных проб и кастинга, и учил текст по 20 часов в сутки.)

«Как-то мы с Володей Машковым шли по Петербургу, – рассказывал Евгений Миронов, – и обсуждали образ Мышкина. Я доказывал, что князь – вовсе не Иисус Христос, каким он видится многим (в том числе нашему режиссеру), что в этой натуре – кстати, сильно меняющейся по ходу сюжета – немало и серьезных недостатков»⁴¹.

Интереснейшее концептуальное высказывание принадлежит Олегу Басилашвили – генералу Епанчину. «Я долго не мог понять: все герои завязаны в тугой узел неврастения – Мышкин любит Аглаю, жалеет Настасью Филипповну, она пытается Ганю... Епанчин – единственный нормальный человек и находится вне этой игры. Так вот, я не мог понять, что мне играть в этом клубке змей. Потом, мне кажется, понял. Генерал почти представитель читателя или зрительного зла. Человек, который смотрит на все, как на сумасшедший дом... Он находится между зрителями и персонажами, при том что сам же этот клубок и закрутил. Ведь мог же он сказать Мышкину: “Уходител”, и он бы ушел... Если бы выгнал, все было бы нормально. И что играет Миронов? Совсем не то, что пришел святой человек... На мой взгляд, фильм о том, что надо дать возможность обществу эволюционировать самостоятельно. Ведь, как только появляется кумир с целью улучшить это самое общество, общество уничтожает себя. Посмотрите, что произошло после приезда князя Мышкина: сам князь сошел с ума, Настасья Филипповна убита, Рогожин чуть ли не на каторге, Аглая вышла замуж за нелюбимого человека и где-то сгинула...»⁴²

Исполнительнице роли Аглаи, Ольге Будиной, интересно было понять, как в хрупкой девушке, еще почти девочке, которая, кроме семьи, ничего не видела, вдруг открылась такая могучая сила. Сила разрушительная, хотя она сама думала: созидательная. Потому что не хотела делить своего избранника ни с кем и ни в чем... «Это образ, который создал Достоевский. У него все ясно: именно Аглая вызывает Настасью на свидание, в результате которого погибают все»⁴³.

Миссия князя Мышкина остается загадкой, и в фильме несомненно сделан акцент именно на загадку, а не на разгадку. Но даже вопрос – что есть загадка? – тоже остается загадкой. «Ощущение непознанной еще тайны тоже передает телесериал»⁴⁴. «Князь Мышкин – Солженицын, возвращающийся в родную обитель?»⁴⁵ «Из предложенной нам версии исчезла и проблема князя как хриstopодобного героя»⁴⁶. «Излишне па-

фосный нажим в репликах исполняющего главную роль Евгения Миронова слишком явно вызывает к общей убежденности, что князь Мышкин – это не Форрест Гамп, забредший на святоотеческие страницы, а самый что ни на есть Иисус (проверено критикой). У Пырьева, кстати, эта убежденность выражалась в гриме Юрия Яковлева, позаимствованном из картины Николая Ге “Что есть истина?”⁴⁷. «Когда зрители смотрели на Юрия Яковлева в “Идиоте” Пырьева или на Иннокентия Смоктуновского в “Идиоте” Товстоногова, подобного вопроса (отчего люди пленяются Мышкиным. – Л.С.) не возникало. Так или иначе, в этих актерах сверкала необычная, притягательная красота – у Яковлева душевная, у Смоктуновского – духовная. За этот дивный лучик небесной гармонии в самом деле можно было многое отдать»⁴⁸.

«Что же это за любовь, превышающая все земные установления и пределы? Не та ли, когда, по слову Писания, “в воскресении ни женятся, ни посягают, но пребывают, яко ангелы Божии на небесах”? Но как тогда положительно отделить земное от небесного? Замечательно, впрочем, что авторы фильма не трактуют слишком буквально известную запись из черновиков к “Идиоту” – о “Князе Христе”. Они избежали филологического соблазна напрямую отождествить князя Льва Николаевича с его евангельским прототипом. Конечно, российский “рыцарь бедный” вовсе не Тот, Кто бы мог изгнать торгующих из храма. Он так же художественно удален от исторического (и канонического) Христа, как и булгаковский Иешуа»⁴⁹.

Читать Достоевского – значит познавать свою душу. Комплекс Мышкина живет в каждом человеке, в ком есть хоть капля добра. «Жить не по лжи» Солженицына намного легче; там доминанта – политическое насилие, идеологическое давление. «Пусть ложь всё покрыла, пусть ложь всем владеет, но в самом малом упрёмся: пусть владеет *не через меня*»⁵⁰. А у Достоевского – зло и ложь всегда проходят именно *через меня*! Тут «дьявол с Богом борется, и поле битвы – сердца людей» (14: 100). Ежесекундно идет эта борьба и не отпускает человеческое сердце. Что происходит в романе «Идиот» вокруг князя Мышкина? Он появляется, и вдруг начинают твориться жуткие дела. Он будто провоцирует всех...

Именно это обстоятельство жестоко смутило рецензентов фильма и почему-то особенно кинокритиков.

«Экранизация вызвала какую-то болезненную злобу критиков и коллег – и совершенно небывалый зрительский рейтинг. Попса – вот ключевое слово профессиональной кинотусовки. Актерские работы ужасны, сюжет переверн, Достоевский извращен и не понят абсолютно... а один режиссер (всемирный любимец) объяснил мне, что Владимир Бортко “просто не владеет профессией”: фильм снят “настолько

примитивно, словно в кино вообще ничего не достигнуто за последние 50 лет»⁵¹. И хотя многое в этих оценках (редко высказанных письменно, а, как правило, устно, для «своих») – дань творческой ревности, а порой и зависти к успеху другого Мышкина, другого Рогожина, другой Аглаи и другой Настасьи Филипповны, все же корень спора находится опять-таки в русле прочтения главной темы романа и фильма.

Один из самых сердитых кинокритиков увидел в сериальном князе Мышкине всамделишного идиота, личность, не понимающую смысла и последствий своих действий. «Довольно милый внешне молодой человек, одаренный приятной способностью всегда угождать собеседнику, легкий на язык, торопливый в чувствах, болтливый и плутоватый, приезжает в некий город (не особо чувствуется, что это Петербург) и делает большие успехи в обществе. Он говорит, что болен, но ничего такого не заметно. Утверждает, что пронзен любовью то к одной женщине, то к другой, но поверить в это нет никакой возможности. Он вмешивается в гущу человеческих отношений и всем вредит, всех путает, всех стравливает, при этом вроде бы страдая и отчаиваясь, что так неладно выходит. Время от времени он вещает что-то высокопарное и бессмысленное. Стесняясь напрямую объяснить женщинам, что он не может иметь с ними дело, развивает с ними какие-то сложные фантомные отношения и доводит всех до беды. Князь Мышкин в исполнении Миронова – на самом деле идиот, то есть личность, абсолютно не понимающая смысл и последствия своих действий... Мышкин Миронова кажется просто обманщиком, изображающим в угоду дамам и господам бескорыстного, честного юношу... с глазами, точно высматривающими, кому бы еще понравиться, кого бы еще засыпать любезностями, зачаровать и надуть»⁵².

Что можно возразить такому видению фильма? Что человек обделен эмоциями и потому сам виноват, что его встреча с Мышкиным – Мироновым не произошла? Что раздражение Мышкиным в данном случае имеет более серьезные причины? Ведь у Достоевского ЕГО князь Мышкин тоже доводит всех до беды. И если уж говорить о хриstopодобном герое, надо вспомнить – что случилось в мире два тысячелетия назад? Разве Иуда не был «спровоцирован»? Разве Петр не предал Учителя? Когда приходит чистое добро и абсолютная любовь, они трудно переносятся миром, лежащим во зле. Все вылезает наружу – алчность, жестокость, предательство. Что за фантазии являются Ивану Карамазову в его «Поэме о Великом инквизиторе»? Тихо и незаметно приходит Христос на землю Севильи, солнце любви горит в Его сердце. Но незваного гостя бросают в темницу, и что же говорит арестанту инквизитор? «Зачем Ты пришел нам мешать? Ибо Ты пришел нам мешать и сам это знаешь» (14: 228).

Христос – Богочеловек, и для Него, Кто наполовину Бог, под силу взять на себя весь смрад этого мира и все его страдания и наделить мир Истиной. Но сыну человеческому, каким является Мышкин, это не под силу. Разница между Христом и человеком, который лишь подобен Христу, – должна быть внятной. Мы не знаем природы Божественных сущностей, но мы можем познавать природу человека. Если участь Христа, в его земной, человеческой ипостаси, так трагична, то какова же судьба незащитного человека, который решил идти путем Христа? Исследование человеческой души, потенциала добра в человеке должно было дать ответ: что случится с тем, кто, не будучи защищен Отцом, приходит с миссией абсолютного добра в мир – эгоистичный, злой, разрушительный?

В Мировне чувствуется этот мощный магнит, который примагничивает чужую боль и доводит потенциал беды до максимума. Потому что добро, как и любовь, – меч обоюдоострый. Когда добро приходит в мир раздраженный, обозленный, воспаленный – оно не умиротворяет. Чудо преображения мира сразу не происходит, а происходит то, что называется «экзорцизм» – изгнание бесов. В романе «Идиот» многое происходит по схеме экзорцизма. При виде доброго, целомудренного, незлобивого человека испорченные души начинают клокотать слепой яростью и раздражением. Почему так жестоко-провокативен Мышкин? Потому что на добро надо бы реагировать добром – а невозможно, не хочется! Человек, оказывается, дорожит и своей тенью, своей злобой, своей ненавистью, своей черной неблагодарностью. «При нашей бедности мала и наша благодарность». Это Шекспир, «Гамлет». И это азбука человеческой души. Ты на мгновение умилишься простодушному Мышкину, а потом еще пуще разозлишься.

Добро и зло пронизывают вертикаль человека. В глубине всякой души, попавшей в поле сильного духовного влияния, тлеющее зло и прикрученное, как фитиль, добро гальванизируются, вырастают и вступают в схватку. Не в принципе, не абстрактно – буквально. Гигантское напряжение страстей – вот что случается с появлением Мышкина. Если бы он пришел и стал из каждого вытаскивать, как ведро из колодца, его хорошие качества, он был бы комиссар по делам добра, тоталитарный Дед Мороз. А он воистину свободен, и люди при нем начинают существовать свободно. Он – лакмусовая бумажка, метафизическая красная тряпка, на которую равно реагируют и силы добра, и силы зла. Ах, Мышкин дал разгуляться темным силам! Претензии кинокритиков – дескать, князь Мышкин, как нерадивый пионервожатый, допустил, что пионеры плохо себя ведут, – наивны⁵³. Здесь непонимание и Достоевского, и природы человека, и пути Христа, и сущности христианского добра. Ведь добро в христианском понимании – это не хеппи-энд в американском кино.

Добро трагично и, как известно, не побеждает в истории. Человеческая история заканчивается Страшным судом, а не либерально-рыночным прогрессом с раздачей слонов и мерседесов.

Главный критерий оценки фильма стал и центральным пунктом общественной дискуссии, поднявшим планку обсуждения на религиозно-философский уровень осмысления.

6. Формула успеха

Как же определить генеральный принцип экранизации В. Бортко? Хотелось бы предложить следующую версию. Если только интерпретатор Достоевского **ДОВЕРЯЕТ** ему как художнику – у него *получается*. Как только он **ИСПОЛЬЗУЕТ** Достоевского как торговую марку или материал для эксперимента, у него не получается. Здесь доверие достигло максимума. Режиссер и актеры поверили Достоевскому *на слово*, и это **СЛОВО** благодарно ожило у них. Они убедились, что слово Достоевского *самоценно* и не нуждается в трюках и спецэффектах.

Между тем трюки, кажется, были долгое время главным орудием в режиссерском арсенале постановок по Достоевскому. Вот роман «Бесы», глава «Иван-Царевич». Психологическое напряжение нечеловеческих масштабов, какое под силу только самым серьезным мастерам. Но даже у ремесленника должно быть стремление разобраться в материале! Вместо этого театр показывает, как герои идут мимо длинного забора, и Петр Верховенский на ходу мочится на забор. На глазах у Ставрогина, своего аристократического божества, того, кому он говорит: «Вы солнце, а я – ваш червяк» (10: 324). Или еще пример. Мария Лебядкина, венчанная жена Ставрогина, девица после пяти лет брака. В театре: половой акт стоя, под зонтиком, на авансцене. Этой сцены не может быть в принципе, и вовсе не из соображений ханжества! Хромоножка обожает своего супруга, а его тончайшее сладострастие – именно *не* дотронуться до нее! а не «любить» ее в «натуре» и в полный рост...

Эти и подобные «трюки» – они не хулиганские, они от интеллектуальной бедности. Режиссеры считают, что у Достоевского написано так многословно и затянута, что зритель «этой скуки» не вынесет. А Владимира Бортко, современного человека, выросшего в субкультуру «бандитского Петербурга», – каким-то чудом осенила догадка, что *всё находится здесь*, под обложкой романа. Весь трагизм и кошмар, все бездны разом. И не нужно, как в «Даун-хаусе», отрезать Настасье Филипповне ногу и кушать ее за обедом.

Но вот наконец идея фикс каждой драматической актрисы, женский аналог Гамлета, роль Настасьи Филипповны. В исполнении Л. Вележевой – это удача или провал? Принципиально не стану приводить ругательные, зубодробительные, разъяренные (иногда просто хамские)

реплики кинокритиков по адресу актрисы – будто выбор режиссера, долго искавшего кандидатуру на роль героини (и нашедшему ее в вахтанговском театре), оскорбил их лично. Многим хотелось бы видеть более inferнальную, более фантастическую, то есть более «достоевскую» героиню, демонстрирующую больший надрыв. Иные утверждали, что Настасья Филипповна и у Достоевского – просто плохо написанный персонаж. Вот с этим аргументом как раз можно спорить, не выходя за пределы литературного поля.

Достоевский, пережив драматический личный опыт с Аполлинарией Суловой, отстаивал «совершенную верность характера Настасьи Филипповны» (28, кн. 2: 283). Он хорошо знал, что такое безумство женщины, чья жизнь – сумасшедшая игра страстей. Ему были понятны комплекс всепоглощающей смертельной гордыни, трагедия уязвленной и надорванной женской души, призванной воевать со всем миром и сводить с ним изнурительные счета.

Этот образ не был изобретен Достоевским, он был им открыт, как открывают химические элементы или планеты. Вещество «Настасья Филипповна» присутствует, кажется, в каждой женщине, если только она рождена от Евы, изгнанной из рая, а не от обезьяны Дарвина. В романе Достоевского героиня – сгусток этого вещества, в жизни же все разбавлено. Но комплекс Настасьи Филипповны переживает мгновениями каждая женщина – она дорожит ими пуще всей своей остальной женской жизни. Это универсальное женское качество нельзя играть, им надо обладать. Настасьей Филипповной надо быть хоть изредка. Каждая женщина несомненно *бывала* ею – хоть на миг, и хорошая актриса может вытащить из себя этот миг. Кажется, Лидия Вележева отыскала в себе это вещество и умно, темпераментно, артистично дала ему выход.

Большие страсти разгорелись в прессе и вокруг образа Аглаи Епанчиной в исполнении Ольги Будиной. Вместо «встречи двух королев» в картине представлена «перебранка двух горничных из-за юродивого» – в таких красках писали о кульминационной сцене фильма. Следует возразить, однако, что у Достоевского встретились не королевы, а непримиримые соперницы. Но если Настасья Филипповна действительно трагический персонаж, то Аглая персонаж не из трагедии. Достоевский писал молоденькую девочку, ей двадцать лет! Она свежа и чиста – и, по контрасту с соперницей, это значит, что за ней нет никакого опыта – ни любви, ни страсти, ни утрат, ни страданий. Она выросла любимицей семьи и только начинает свою женскую жизнь. Из каприза она увлеклась Мышкиным, потому что он ни на кого не похож. Она думает, что любит его, и тут же начинает в это играть – как в куклы. Роман с Мышкиным стал для нее захватываю-

щим приключением, и она заигралась. Однако никакой ответственности за этого человека, за его судьбу она нести не хочет. Даже мать укоряет ее мгновенным отступничеством от провинившегося князя: «От тебя-то я таких слов не ждала! Я думала, другое от тебя будет» (8: 460). Аглая готова от него отвернуться вообще всякий раз, когда он «проваливается». Ее, как всякую «отличницу», очень задевает, что такой красавице и всеобщей любимице, как она, могут предпочесть другую женщину, старше, с дурной славой. Она обижена, раздосадована, оскорблена... Она в ярости. «Красоту трудно судить, красота – загадка» (8: 66) – это действительно сказано об Аглае. Но это именно загадка, а не разгадка, и под красотой может скрываться и то, что обнаруживается в Аглае: взбалмошность, эгоистичность, требовательность всех совершенств у других. Она привыкла, что ей всегда достается все самое лучшее. Поэтому князь Мышкин, пока он фаворит в ее кругу, – должен принадлежать ей, и никому другому. Тем более эта игрушка не должна от «хорошей девочки» вдруг ускользнуть к «дрянной девчонке». Аглая как капризная барышня, ревнивица, не привыкшая к неудачам, пошла к Настасье Филипповне не бороться за свою любовь, а играть в эту борьбу, выясняя, «кто на свете всех милее». Она пришла мстить и наслаждалась мщением, грубо оскорбляя соперницу («захотела быть честною, так в прачки бы шла» – 8: 473). Барышня, которая называет соперницу белоручкой и книжной женщиной, – ужасает князя Мышкина. Даже он не мог вынести ее несправедливого наскока на «несчастную». Жизнь Аглаи не рушится. Она искала оригинальности, проверяла Ганю – дескать, в торги не вступаю, но вышла замуж за эмигранта-авантюриста, фальшивого графа; стало быть, так и не научилась разбирать людей. Ольга Будина прекрасно сыграла эту девочку, которая машет перед Мышкиным кружевным зонтиком и заученно твердит что-то о пользе. И он смеется, потому что понимает, что это дитя, и видит, что дитя забавляется. Мышкин к ней искренне привязался – как к ребенку, в котором нет грязи, нет еще того ужаса и кошмара, который надо взваливать на свои плечи и тащить на себе. Ему с ней легко. Но незачем искать в ней трагедию – ее судьба только в начале пути, быть может и драматического.

Тем не менее Будина и Вележева, по рейтингу «Московского комсомольца», заняли самые последние места (4 и 5 баллов по 10-балльной системе). В том же рейтинге – Миронов, Ильин (Лебедев), Чурикова (Лизавета Прокофьевна Епанчина) были оценены в 10 баллов; по 9 баллов «взяли» В. Машков (Рогожин), А. Лазарев (Ганя Иволгин), А. Смирнов (Тоцкий), по 8 – А. Петренко (генерал Иволгин), А. Домогаров (Радомский), М. Киселева (Варвара Иволгина-Птицына) и далее по нисходящей. В. Бортко получил как сценарист 9 баллов («не утонул

в романе и не завяз по уши в многочисленных подробностях, при этом ничего не растеряв») и 7 баллов как режиссер («самая большая удача, что он сумел увидеть в Миронове Мышкина. Причем не просто идиота с задатками Мессии, но еще и князя»)⁵⁴. Справедливости ради следует сказать, что другие издания предлагали полярно противоположные рейтинги, отражавшие, как правило, индивидуальный вкус конкретного рецензента.

7. Зрительский эффект

Уже через месяц после показа фильма сделалось очевидным: роман «Идиот» стал бестселлером и лидером книжных продаж спустя 135 лет с момента создания. Эффект, достигнутый этой экранизацией, перекрыл все совокупные усилия гуманитарных лицеев и филологических факультетов.

В конце мая 2003 года фонд «Общественное мнение» опубликовал итоги всероссийского опроса городского и сельского населения, проведенного в конце мая при участии 1500 респондентов. Подавляющему числу россиян, смотревших телеэкранизацию романа, фильм понравился (64%), а 21% – нет. При этом 25% опрошенных смотрели все 10 серий.

Телезрители в первую очередь высоко оценили художественный уровень фильма, работу актеров, сценариста и режиссера – 8%. Для 7% главный интерес состоял в том, что сериал – экранизация классики. Кому-то было интересно узнать содержание книги, которую они не читали; кому-то – посмотреть, как удастся экранизировать роман; третьи вообще любят творчество Достоевского; четвертым было интересно сравнить новую экранизацию с прежними. Немногие (5%) отметили, что они смотрели этот телесериал, так как их увлекло содержание фильма, сюжет, философские идеи, которых нет в «надоевших» боевиках и детективах. Некоторые респонденты заявили, что сделали для себя «неожиданные выводы и обобщения».

В итоге большинство видевших фильм охарактеризовали его как «необычный и особенный для российского телевидения» (51%) и высказали пожелание, чтобы ТВ показывало больше подобных фильмов (70%). Как сообщили социологи, по признанию половины россиян (54%), они ранее не читали роман Достоевского «Идиот», а знакомы с ним 39%⁵⁵. Московские газеты – кто с гордостью, кто с удивлением, кто с недоумением – писали в мае–июне 2003 года о том, что самыми лучшими и благодарными зрителями русского сериала оказались москвичи. Работа российских кинематографистов была оценена рекордными зрительскими рейтингами – 16,5%, 14,8%, 14,5% аудитории (что выше, чем рейтинги развлекательных программ). Российские рейтин-

ги «Идиота», по данным агентства «TNS Gallup Media», также вошли «в первую двадцатку лучших телепрограмм»⁵⁶.

«Московский комсомолец», в благодарность авторам фильма за возврат русской классики на экран, провел свой собственный опрос и выяснил еще одну сенсационную подробность: «Идиот» по рейтингу соперничает с суперхитом «Бригада». «“Идиот” приковал к “ящику” всю страну несмотря на то, что на экране страдали, интриговали, умирали, убивали не бандюки, не братва, не “бригадиры”, а рефлектирующие герои самого загадочного русского писателя Федора Достоевского. И только теперь можно оценить реплику Фаины Раневской из бессмертного фильма “Весна”: “Я возьму с собой ‘Идиота’, чтобы не скучать в троллейбусе”. Реплика оказалась пророческой»⁵⁷.

В России началась «идиотомания» – об этом писали все газеты. Вся страна вдруг и в одночасье заболела Достоевским, князем Мышкиным, Настасьей Филипповной, Парфеном Рогожиным. Но главной сенсацией телепремьеры стал не столько Достоевский, не его загадочный роман и бесконечно притягательные герои, а сами зрители. Об этом тоже писалось много – удивленного, почти восторженного. Тот самый зритель, которому много лет пытались привить вкус к дешевым боевикам, чернухе и порнухе, за десять вечеров сумел сбросить их с себя, как дурной сон.

Впервые за многие годы в связи с фильмом-экранизацией, показанным по телевидению, зрители стали писать письма; их поток в редакции газет не иссякал и месяцы спустя. Писали о Мышкине, лучшем за всю киноэпоху, о будущем российского кинематографа, за который теперь не страшно, о гордости за Достоевского, русскую литературу, Россию... «Возвращение русской классики на экран зрители приняли на ура: такого количества писем с откликами на телесериалы мы еще не получали»⁵⁸, – признавался, например, «Московский комсомолец». Зрители давали не только оценку фильму, но подробно комментировали идеи романа, работу режиссера, с удовольствием «разбирали» образы и роли. О своей влюбленности в Достоевского после просмотра фильма писали даже школьники. «Счастлива, что нашелся режиссер, который обратился к русской классике. Ведь больше невозможно смотреть однообразные и бессмысленные фильмы про убийство и насилие, кровь и наркотики...» (Мария, ученица 10-го класса, Москва)⁵⁹.

«“Идиот” – это вам не Саня Белый» – с таким заголовком вышла статья политолога и философа А. Дугина, который ярче других выразил ту мысль, что русский народ, заново открывший Достоевского, стал главной сенсацией русского сериала. «Экранизация “Идиота” – это историческая веха. Событие даже не столько культурное и художественное, сколько идеологическое... Князь Мышкин – это национальный архетип, каким он живет в душе каждого русского человека, втайне (даже

от самого себя) признающего лишь свет, справедливость и истину, а не силу, комфорт и успех. Такого персонажа массовый зритель не видел уже давно. Но тяга к нему, видимо, упорно копилась в душах... с Мышкиным все стало на свои места... Мы снова возвращаемся к себе домой, к нашей культуре, нашим героям, верованиям, нашей земле»⁶⁰.

Знаменательно, что политический антипод национально ориентированного философа А. Дугина, суперлибералка Валерия Новодворская выступила со столь же высокой и столь же поэтической оценкой фильма. «Истекли медленные, благоухающие вербеной, пожелтевшие, как переплетенные в телячью кожу фолианты или как драгоценные брабантские кружева, минуты восьмисерийной (так в тексте. – Л.С.), неспешной, томительной, нездешней экранизации “Идиота” в прочтении Владимира Бортко. У актеров, вошедших в эту реку, больше нет собственных имен. Они навеки останутся князем Мышкиным, Аглаей, Рогожиным, Настасьей Филипповной, Ганечкой Иволгиным. Ибо сильна, как смерть, русская классика, и стрелы ее – стрелы огненные. Каждая экранизация Достоевского – это как ведро, вытянутое из бездонного и студеного колодца. Каждый зачерпнет что-нибудь свое, и утолит жажду вечности и страдания, и иногда даже сам не поймет, что он зачерпнул. А зритель войдет в распахнутые в прошлое балконные двери фильма и, пока смотрит, будет тащить свое ведро. И ведро Владимира Бортко перемешается с нашим личным ведром, и уже нельзя будет понять, где чье. Стоит только потревожить колодец, заглянуть в бездну нашей загадочной, пугающей нас самих души, где звенят пять ручьев разных традиций: славянская свирель, оглушительные вагнеровские залпы полета валькирий из скандинавских истоков, протяжный рог Дикого Поля, беспощадные барабаны Орды, торжественная медь Византии. Таких экранизаций Достоевского мы еще не видели»⁶¹.

По свидетельствам прессы, смотрели «Идиота» и в Чечне – там, где было электричество. «На это время Грозный вымирал... Как мы все были рады... Очень соскучились мы по хорошему... Мы же отвыкли от такого русского языка... Какое счастье, что фильм сняли...»⁶²

Общественная дискуссия о новой экранизации Достоевского показала, насколько актуальны все без исключения смыслы романа русского классика, насколько они важны и непреходящи. Фильм и зрительская реакция на него обнажили, насколько нуждается в такой классике современный человек. Достоевский, как огромная воронка, втягивает в себя читателей, зрителей, художников, мыслителей, актеров. Достоевский – писатель и XIX, и XX, и XXI века, и современному читателю еще надо дожить до полного соответствия. Общество начинает понимать, что Достоевский – это азбука русской истории, нотная грамота, по которой страдает и гибнет человеческая душа. Что это некий духовный

универсум, живущий и внутри всей России, и внутри каждого человека. Потому очень хотелось видеть в факте грандиозного успеха экранизации осмысленную, грамотную государственную акцию по возвращению русской классике ее поправленных прав. Хотелось верить и надеяться, что эта акция не последняя.

8. Признание. Звездный путь

Картина – по семи номинациям: телевизионный художественный фильм, исполнитель мужской роли в фильме (Евгений Миронов), исполнительница женской роли в фильме (Инна Чурикова), продюсер (Валерий Тодоровский), режиссер (Владимир Бортко), художники-постановщики (Владимир Светозаров и Марина Николаева), эфирный промоушн (анонсы фильма на канале «Россия») – вышла в финал телевизионной премии «ТЭФИ». Церемония «ТЭФИ-2003» стала первым триумфом «Идиота», который победил по всем семи номинациям – победа была безоговорочной, с огромным перевесом шансов и голосов академиков телевидения, причем победители экранных номинаций определялись путем прямого голосования прямо в концертном зале «Россия». Гильдия телекритиков назвала фильм главным культурным событием года, присудив «Идиоту» свою премию с красноречивым комментарием: «За реанимацию русской классики и реабилитацию отечественного зрителя».

««Идиот» для телевидения, а не телевидение для идиотов» – таким был заголовок одной из московских еженедельных газет, писавшей об абсолютной победе экранизации романа Достоевского⁶³. «Достоевский не дожил. Он мог бы получить “ТЭФИ” как сценарист лучшего отечественного сериала»⁶⁴, – писал другой еженедельник. «Успех фильма у зрителей обнадеживает: значит, пришло время, мыльные оперы и бесконечные бандитские саги телеаудитории начинают надоедать. Моя соседка, – призналась Инна Чурикова, – преподает историю в школе, так она мне говорила, что во время показа там учителя и ученики только об «Идиоте» и говорили. Представляете – ученики! Книга Достоевского исчезла с полок библиотек и магазинов. Даже Броневой мне сказал: “Посмотрел фильм – и перечитал роман, интересно стало”»⁶⁵. О роли генеральши Епанчиной актриса сказала: «Все написано у Достоевского, я ничего не придумала. Она очень наивная – дочери над ней подтрунивают, но может быть и властной, вздорной. У нее грандиозное чутье на людей, она их насквозь видит, почему и Мышкина приласкала. Мы очень быстро снимали, а хотелось бы – не быстро. Осталось много недосказанных нюансов. Я в первый раз играла с Евгением Мироновым, и он стал мне близким человеком. Женя – глубокий, тонкий актер»⁶⁶.

Успех картины на «ТЭФИ» стал только началом ее звездного пути. В последний день января 2004 года в Первом павильоне студии «Мосфильм» состоялась церемония вручения премии «Золотой орел», учрежденной Национальной академией кинематографических искусств и наук России. Соревновались 511 фильмов, и «Идиот» победил по трем важнейшим номинациям: лучшая мужская роль (Евгений Миронов), лучшая женская роль второго плана (Инна Чурикова), лучший игровой телевизионный фильм. После экранизации «Идиота» и ее убедительной победы стало очевидно, что классика на телеэкране может собирать многомиллионную аудиторию и претендовать на самое серьезное внимание.

В марте 2004 года о своем решении сообщило и жюри престижной Литературной премии Александра Солженицына⁶⁷: награды были удостоены режиссер телефильма «Идиот» Владимир Бортко и исполнитель главной роли Евгений Миронов. В обосновании решения жюри говорилось: режиссер Владимир Бортко награждается «за вдохновенное прочтение романа Ф.М. Достоевского “Идиот”, вызвавшее живой народный отклик и соединившее современного читателя с русской классической литературой в ее нравственном служении». Артист Евгений Миронов награждается «за проникновенное воплощение образа князя Мышкина на экране, дающее новый импульс постижению христианских ценностей русской литературной классики».

На вручении премии за блистательную телеэкранизацию романа Ф.М. Достоевского состоялось «трогательное единение кино и литературы, литературы и телевидения, телевидения и культуры, культуры и массового зрителя. Воистину “союз правых сил”, только не в политическом, а в духовном и эстетическом масштабе... и все были единодушны: премия вручена за благое дело. Не только за прекрасные режиссуру и актерскую работу. Но и за то, что на телевидении произошел некий “перелом”: от боевиков и “мыльных опер” оно повернулось к русской классике. А высочайший рейтинг фильма “Идиот” показал, что это был и поворот телеэкрана к своему народу. Народ “проголосовал” за Достоевского»⁶⁸.

В Литературном Слове жюри (состоящем из двух выступлений), в частности, говорилось (В. Непомнящий): «В самом деле, фильм сделан так, словно всего, что творится на территории культуры вопреки и в пику русской традиции, нет, словно всё это дурной сон и наша культура – на высоком взлете. Он сделан в классически строгой, целомудренной до аскетизма манере: все технические возможности, все чудеса “великой иллюзии” принесены в жертву великой правде книги, подчинены замыслу и слову писателя, духу “святой”, по выражению Т. Манна, русской литературы; а в чем же передать на экране этот за-

мысел и этот дух, как не в образах героев, созданных словом и воплощенных артистами?

Вряд ли кто вспомнит такое ошеломляющее скопление несравненных актерских шедевров в одном произведении; и в центре – Евгений Миронов: то, что он делает, решительно нельзя назвать “ролью”, это даже не “перевоплощение”, это что-то неизвестное и непостижимое, укладывающееся лишь в понятие чуда; это так, как написал Достоевский. Слово “великий” сегодня неприлично затаскано, но для Инны Чуриковой не найти иного: ее Лизавета Прокофьевна, неотразимо прекрасная женская душа, поистине духовная сестра князя – это, думаю, покамест самая великая роль великой русской актрисы; она такой и написана Достоевским. Рогожин Владимира Машкова потрясает: Парфён, со всем его страшным, стихийным, почти звериным, – чистый, как дитя, угловатый, как мальчик, беззащитный, как... князь Мышкин – ведь он тоже брат ему, – Достоевский так его и написал. С какой тончайшей проникновенностью Ольга Будина сотворила, даже объяснила, Аглаю (не всегда внятную в других воплощениях), и теперь я знаю, какая она, эта изумительная и возмутительная девчонка, прелесть, умница и дуреха одновременно, с ее чистым и добрым сердцем (она ведь и внешними ухватками похожа порой на мать – Чурикову!) и с головой, где тут и там разбросаны то “радикальные”, то прекраснодушные прогрессистские глупости... а гениальный, всё могущий – от Счастливецца до Несчастливецца, от дяди Вани, Тригорина и Маттиаса Клаузена до Пугачева, от Шуйского и Варлаама до Пимена и Юродивого, от Шута до Лира, Ричарда и, может быть, Гамлета – Владимир Ильин? В его Лебедеве – почти весь Достоевский, сжатый, уплотненный до взрыва. А покоряющий Келлер Михаила Боярского, этот роскошный аристократ-бомж, д’Артаньян Мценского или Щигровского уезда? А Ганя Александра Лазарева, такой обжигающе современный и такой “достоевский”? И других артистов, всех и каждого, питомцев величайшей в мире актерской школы, я хотел бы, как цветами, осыпать словами восторга и признательности – не за “игру”, не за “мастерство”, в чем поднаторели и в других странах, а за их душой исполненный полет правды, но время не моя собственность, я должен сказать и о другом. Скажу, что Евгений Миронов мне, пушкинисту, считающему Достоевского единственным прямым продолжателем Пушкина, подарил открытие: его Мышкин – это воплощенная Достоевским другая сторона того русского идеала, который Пушкиным воплощен в Петруше Гринёве!.. Скажу, что Аглая Будиной, если хотите знать, – татьянинский тип, вот только сильно деформированный веяниями “революционно-демократической” эпохи. Скажу, что в блистательном, умном, изящном Евгении Павловиче Александра Домогарова то и дело мелькает другой Евгений, пушкин-

ского романа, в котором – я-то знаю это – уже заложена возможность будущего Николая Ставрогина...

Пушкин, и сам, и как символ русской литературы, незримо присутствует в фильме (как и в самом романе), еще и в том присутствует, что любого героя, какой бы мрак ни клубился в его душе, прежде всего жалко; в любом из них невооруженным глазом видно, как и у Пушкина, то, что называется образ Божий; это одно из величайших достоинств фильма “Идиот” как явления русской культуры»⁶⁹.

Во втором выступлении от жюри (автор этих строк) подчеркивалось, что фильм разрушил «ложный стереотип современного сознания, будто искусство Достоевского – это достояние немногих интеллектуалов, знатоков и специалистов. Но Достоевский адресовал свои романы тем самым людям, кто читал выпуски его “Дневника писателя”: учителям, студентам, русской провинции. Он рассчитывал на читателя, который споры о вечности воспримет через злобу дня. А значит, первым делом задумается над сюжетом и судьбами героев – в том самом чистом пушкинском ключе: “над вымыслом слезами обольюсь”. Фильм и прозвучал так, будто роман написан только что и надо безотлагательно, немедленно узнать, чем же закончилась вся эта поразительная история... Вопросы простодушного зрителя сомкнулись с глубинной философией романа. Достоевский мечтал, что когда-нибудь простолюдину “окажут доверие”, позовут его и спросят о самом важном. Тогда он придет и скажет, и мы узнаем наконец настоящую правду. “Примирительная мечта вне науки” – так это примерно называлось у Достоевского. Экранизация «Идиота» обратилась к самому массовому зрителю и на пронзительном языке Достоевского, по каналу государственного телевидения, в удобное вечернее время, когда смотрят новости или футбол, разговаривала с ним о Христе, о России, о трагедии добра в нашем мире. Оказалось, что этот язык понятен без словаря и без переводчика»⁷⁰.

Замечательны были ответные Слова лауреатов – каждое в своем роде.

«Телеканал шел на колоссальный риск, показывая в течение 10 вечеров в лучшее телевизионное время историю, которой скептики предрекали полный провал, – утверждал В. Бортко. – И то, что попытка эта оказалась успешной, свидетельствует прежде всего о востребованности зрителем, то есть нашим народом, зрелища более сложного, чем стрельба и погони, о жажде его в приобщении к вершинам человеческого духа. Нашей же главной заслугой прежде всего я считаю то, что десятки, если не сотни тысяч людей заново, а чаще всего и впервые прочитали роман, купили книгу или взяли в библиотеке том Достоевского и приобщились к высокой литературе.

Во имя чего мы живем и работаем? Чтобы человек стал добрее, счастливее, приблизился к идеалу, о котором мечтали наши великие Пушкин, Гоголь, Толстой, Чехов, Достоевский... И мощнейший национальный писатель нашего времени Александр Исаевич Солженицын показывает в своих произведениях, к чему приводит жизнь в обществе, лишенном этого идеала. Поэтому сегодня нам радостно, что наши робкие попытки не остались незамеченными. Спасибо, что заметили нас среди этого книжного и телевизионного веселья и безобразия. В эпоху, не побоюсь этого слова, тотального веселья и оболванивания замечена наша скромная работа. Замечена как вами, так и народом.

Не скрою, что, когда мы начинали работу над фильмом, перед нами на первом месте стояла сложнейшая формальная задача: передать средствами другого искусства, если говорить правду, искусства более грубого, сложнейшее литературное, философское произведение, по возможности не упрощая, сделать его интересным для миллионов зрителей. Это было непросто, но, судя по зрительскому вниманию, удалось. По этому поводу можно гордиться и наивно полагать, что успехом фильма мы обязаны себе. Однако мы всецело отдаем себе отчет, что ИМЕННО гений писателя, заложенные в романе идеи Достоевского сделали возможным успех фильма и наше сегодняшнее собрание. Ибо, отбросив гордыню, надо признать, что в первую очередь вечно актуальный роман Достоевского нашел отклик в народе. Мы же более или менее верно сумели передать его. Именно так мы понимаем вашу награду за вдохновенное прочтение романа «Идиот», именно поэтому он вызвал народный отклик и воссоединил нашего современника с русской литературой в ее нравственном служении»⁷¹.

«Я благодарен Александру Исаевичу и жюри, – сказал в своем выступлении Евгений Миронов, – что для присуждения премии они выбрали очень хорошего писателя. Ибо мы с Владимиром Владимировичем Бортко являемся только проводниками этого гениального романа, и наша скромная миссия заключалась в том, чтобы донести Достоевского до зрителя. Сделать это оказалось непросто. Только работа всех, кто принимал в этом участие, позволила сотворить настоящее чудо, которое выразилось в том, что у телефильма по Достоевскому был высокий рейтинг. И это дает маленький шанс, что девочка, которая после просмотра нашего фильма сказала: «Вообще-то Тургенева я не люблю, но «Идиот» мне понравился», – когда-нибудь узнает имя автора романа, а может быть, и прочтёт его. И ещё я хочу сказать об одном собственном открытии. Мне сейчас приходит много писем с любовными признаниями. Но не ко мне, а к князю Мышкину. Я не предполагал, что такие «скучные» качества моего героя, как сострадание, добро и свет, могут быть так заразительны. Как вирус, как болезнь.

Мне всегда казалось, что демонические, искушающие силы, как, например, в романе “Мастер и Маргарита”, более эффектны и обаятельны. Я счастлив, что ошибался!»⁷²

«Концом культурного ненастья» называли газеты и сам фильм, и факт его всенародного признания, и решение жюри премии Александра Солженицына. А также торжественную атмосферу на церемонии вручения в Доме русского зарубежья и сообщение о том, что денежное выражение премии оба лауреата передали в детский дом № 31 Санкт-Петербурга⁷³. «Биополе робкой радости висело над залом», – признавали потом доброжелательные наблюдатели⁷⁴. И добавляли: нужно заново начинать работу по приобщению к «петербургскому тексту» русской культуры. Он не будет жить без азбуки этого текста, народной азбуки, распечатанной в миллионных тиражах, – внятной и интересной азбуки в картинках. «Без нее – “петербургский текст” рассеется, испарится, уйдет в небеса, вместе с Городом, как в кошмаре все того же Достоевского. Новые главы – не будут написаны. Но и старые перестанут быть внятны! “Это” станет катакомбным знанием посвященных, потом клинописью, потом – письменами мертвой цивилизации, если кириллице русской культуры не обучать новые поколения...»⁷⁵

Но, как заметил Валерий Тодоровский, такие явления, как фильм «Идиот», – штучный товар, его не поставишь на поток. «Через полгода, – сказал он, – я знаю, появится масса экранизаций классики. Станут ли они явлением искусства, да еще и народным событием – вот вопрос!»⁷⁶

Высокие оценки по адресу фильма В. Бортко и его актеров прозвучали в выступлениях кинокритика Виталия Вульфа, исполнительницы роли Настасьи Филипповны из легендарного спектакля Г. Товстоногова Татьяны Дорониной (на церемонии присутствовала и другая, еще более знаменитая Настасья Филипповна из кинофильма И. Пырьева, Юлия Борисова). Воспел своего воспитанника Евгения Миронова Олег Табаков. «Церемония вручения награды в Доме русского зарубежья стала не только заслуженным триумфом создания фильма “Идиот”, но и праздником литературы и кино – праздником подлинной культуры»⁷⁷. «“Идиот” породнил всех. В этом виноват Солженицын», – признавали самые популярные издания⁷⁸.

«Вы страдали и из такого ада чистая вышли, а это много... Быть не может, чтобы ваша жизнь совсем уже погибла...» (8: 138, 142) – так признавался в любви к Настасье Филипповне князь Лев Николаевич Мышкин. То же самое хочется сказать и о Музе экранизаций, которая в этом своем воплощении вышла очищенной и возрожденной из адского пепла растреления и поругания культуры.

Примечания

- ¹ *Тарощина С.* Жест и поступок // *Время* МН. 2003. 16 мая.
- ² Газета «Вечерняя Москва», «наученная горьким опытом не очень-то доверять министрам», решила проверить выступление М.Е. Швыдкого на Госсовете и провела мини-опрос московских книжных магазинов на предмет: в самом ли деле в процессе и после просмотра «Идиота» были сметены издания романа Достоевского, имевшиеся в продаже. Несколько крупных книжных магазинов («Молодая гвардия», магазин на Большой Полянке, Дом книги «Пресня», Дом книги в Выхине, Дом книги «Орехово» и др.) подтвердили факт огромного или повышенного спроса на «Идиота». Тот же ажиотажный спрос наблюдался и в московских библиотеках. «И в Бусинове берут, и на улице Новаторов, и на Беговой улице – берут, читают, перечитывают. Так что прав министр. Насчет позитивной тенденции. Что и приятно во всех смыслах. И за министра не обидно. И за Федора Михайловича, разумеется» (Послесловие. Если не читать Достоевского // *Вечерняя Москва*. 2003. 19 июня).
- ³ *Павлючик Л.* Телереjting «Труда» // *Труд*. 2003. 15–21 мая. Сведения о том, что экранизациями действительно заняты умы многих кинематографистов и что на очереди такие романы, как «Анна Каренина» (С. Соловьев) и «Мастер и Маргарита» (В. Бортко), «В круге первом» (Г. Памфилов), подтвердились.
- ⁴ *Тарощина С.* Жест и поступок.
- ⁵ ОР РГБ. Ф. 93. II. 7. 30. См. также: Ф.М. Достоевский. Письма / Под ред. и с примеч. А.С. Долинина. Т. III. 1872–1877. М.; Л., 1934. С. 291.
- ⁶ В 1872 г. В.Д. Оболенская выпустила в Туле книгу «Подспорье, – главные правила русского правописания», до этого же никакого опыта литературной работы не имела, в отличие от своего отца, князя Дмитрия Александровича Оболенского, автора книги «Хроника недавней старины», сотрудничавшего с «Русской стариной» и «Русским архивом».
- ⁷ *Леонидов Л.М.* Воспоминания, статьи, беседы, переписка, записные книжки. М., 1960. С. 123.
- ⁸ См., например: *Летаев А.* Полный «Идиот» // *Книжное обозрение*. 2003. 19 мая.
- ⁹ См.: *Славуцкий А.* Полный «Идиот» // *Труд*. 2003. 8–14 мая. Автор «Труда» без всякой двусмысленности написал в подзаголовке: «Впервые отечественному зрителю предлагают столь объемную экранизацию великого романа».
- ¹⁰ См.: *Московские новости*. 2003. 3–9 июня; 10–16 июня.
- ¹¹ *Москвина Т.* Идиот приходит в каждый дом // *Московские новости*. 2003. 3–9 июня.
- ¹² *Яковлева А.* «Идиоты» нашего времени // *Литературная газета*. 2003. 25 июня – 1 июля.
- ¹³ «Эпизоды. Вячеслав Шалевич» // Телеканал «Культура». Эфир 19 июня 2003 г.
- ¹⁴ *Волгин И.* Остановите Парфена // *Литературная газета*. 2003. 11–17 июня.
- ¹⁵ *Касаткина Т.* Врожденный порок экранизации // *Литературная газета*. 2003. 18–24 июня (курсив мой. – Л.С.).
- ¹⁶ *Мельман А.* Владимир Бортко: «Я уже классик» // *Московский комсомолец*. 2003. 3 июня.

- 17 *Славуцкий А.* Полный «Идиот».
- 18 «Первым человеком, который предложил мне окунуться в мир Федора Михайловича, был Андрей Тарковский, собиравшийся снимать “Подростка”. Но ему не дали. Тогда он начал готовиться к “Идиоту”, предполагая, что я буду играть князя Мышкина, но ему и это запретили» (*Бурляев Н.* Как ни странно, я похож на Гоголя. [Беседу вела Любовь Лебедина] // Труд. 2004. 13 янв.).
- 19 *Пирогов Л.* Памперсы наносят ответный удар. Со смешанными чувствами смотрим «Идиот» Достоевского // НГ-EX LIBRIS. 2003. 22 мая.
- 20 *Мельман А.* Владимир Бортко: «Я уже классик».
- 21 *Бондарчук Ф.* Горечь профессии // Вечерняя Москва. 2003. 17 апр.
- 22 *Касаткина Т.* Врожденный порок экранизации.
- 23 *Степанян К.* В чем же тайна Достоевского? // Литературная газета. 2003. 25 июня – 1 июля.
- 24 *Волгин И.* Остановите Парфена.
- 25 *Тарощина С.* Жест и поступок.
- 26 *Михайлов Ф.* Как идиот идиоту. Письмо всем // <http://www.quelman.ru/slava/skandaly/idiot.htm>
- 27 Речь идет о комедии Романа Качанова «Даун-хаус», вышедшей в мае 2001 г., получившей большую прессу и показанной в октябре 2001 г. по общероссийскому каналу РТР; о сборнике статей «Роман Ф.М. Достоевского “Идиот”: современное состояние изучения» (М., 2001); о начале съемок сериала по «Идиоту» режиссером Владимиром Бортко.
- 28 *Михайлов Ф.* Как идиот идиоту. Письмо всем.
- 29 Там же.
- 30 *Бархатов А.* Продолжение следует? // Литературная газета. 2003. 21–27 мая.
- 31 *Кублановский Ю.* Телерейтинг «Труда» // Труд. 2003. 29 мая.
- 32 *Марков И.* Памперс и князь Мышкин // Литературная газета. 2003. 18–24 июня. В. Бортко, впрочем, защищал М. Киселеву от возможных нападков: «Актриса – это не образование, а наличие способностей. Мария Киселева – талантливый, работоспособный человек. Она в два счета научилась актерскому мастерству и делает все профессионально. Киселева умная и волевая, что и требуется для ее героини. Так что никаких “слабых звеньев”» (Интервью с В. Бортко Юлии Кантор. Интернет-сайт «Бортко – Идиот»).
- 33 *Манцов И.* Богатые купцы из крепостных // Консерватор. 2003. 30 мая – 5 июня.
- 34 *Тодоровский В.* «Бригада» не виновата. [Беседу вел Александр Славуцкий] // Труд. 2003. 29 нояб.
- 35 *Тарощина С.* Жест и поступок.
- 36 *Васильева Л.* Телерейтинг «Труда» // Труд. 2003. 29 мая.
- 37 См.: Экспресс-опрос // Вечерняя Москва. 2003. 14 мая.
- 38 Там же.
- 39 *Мельман А.* Владимир Бортко: «Я уже классик».
- 40 *Степанян К.* В чем же тайна Достоевского?
- 41 *Славуцкий А.* Полный «Идиот».

- 42 *Смирнова Р.* Олег Басилашвили: Епанчин – единственный нормальный // Литературная газета. 2003. 25 июня – 1 июля.
- 43 *Бирюков С.* Ольга Будина: кино – это сладкое мучение // Труд. 2003. 28 июня.
- 44 *Степанян К.* В чем же тайна Достоевского?
- 45 *Бархатов А.* Продолжение следует?
- 46 *Касаткина Т.* Врожденный порок экранизации.
- 47 *Пирогов Л.* Памперсы наносят ответный удар. Со смешанными чувствами смотрим «Идиот» Достоевского.
- 48 *Москвина Т.* Идиот приходит в каждый дом // Московские новости. 2003. 3–9 июня.
- 49 *Волгин И.* Остановите Парфена.
- 50 *Солженицын А.И.* Жить не по лжи! // Солженицын Александр. Публицистика: В 3 т. Т. 1. Ярославль, 1995. С. 189.
- 51 *Боссарт А, Сараскина Л.* Читать Достоевского – значит познавать свою душу // Новая газета. 2003. 21–23 июля.
- 52 *Москвина Т.* Идиот приходит в каждый дом.
- 53 Крайне раздраженная статья Т. Москвиной вызвала множество откликов – большинство читателей «Московских новостей» не поддержали мнение критика. «Вы смотрите – и не видите, слушаете – и не слышите...»; «Что останется от таких озлобленных критиков?». Но было и меньшинство, горячо солидарное с Т. Москвиной (см.: Московские новости. 2003. 10–16 июня).
- 54 См.: И жизнь, и слезы, и бесстрашное лежание в гробу // Московский комсомолец. 2003. 3 июня.
- 55 См.: Признательность «Идиоту» // Труд. 2003. 11 июня; Вечерняя Москва. 2003. 19 июня.
- 56 См.: *Васильева Е.* Москвичи без ума от «Идиота» // Труд. 2003. 22–28 мая.
- 57 Московский комсомолец. 2003. 3 июня.
- 58 Письма в номер. «Идиотская гениальность» // Московский комсомолец. 2003. 19 июня.
- 59 Там же.
- 60 *Дугин А.* «Идиот» – это вам не Саня Белый» // Комсомольская правда. 2003. 7 июня.
- 61 *Новодворская В.* Чайка над вишневым садом // Новое время. 2003. № 23.
- 62 *Политковская А.* Дядю Федора и Матроскина забрали при «зачистке» // Новая газета. 2003. 8–10 сентября.
- 63 См.: Новая газета. 2003. 29 сент. – 1 окт.
- 64 Московские новости. 2003. 30 сент. – 6 окт.
- 65 *Чурикова И.* Каждый раз как в пропасть // Московские новости. 2003. 30 сент. – 6 окт.
- 66 Там же.
- 67 Литературная премия Александра Солженицына была учреждена в 1997 г. для награждения писателей, живущих в России и пишущих на русском языке, за произведения, созданные и опубликованные в послереволюционный период. Премии

ей награждаются писатели, чье творчество обладает высокими художественными достоинствами, способствует самопознанию России, вносит значительный вклад в сохранение и бережное развитие традиций отечественной литературы. Премия присуждается ежегодно за произведения, написанные в одном из основных родов словесности: проза, поэзия, драматургия, литературная критика и литературоведение. С 2002 г. к основным номинациям прибавилась номинация «русская общественная мысль» (работы по русской истории, философии, политологии), в рассмотрение жюри входят также общественно значимые культурные проекты. Финансовое обеспечение премии осуществляется Русским Общественным Фондом Александра Солженицына. А.И.Солженицын основал этот Фонд в 1974 г., сразу после своего изгнания из страны, и передал ему все мировые гонорары за «Архипелаг ГУЛАГ». С тех пор Фонд оказывает систематическую помощь жертвам ГУЛАГа, а также финансирует проекты, связанные с сохранением русской культуры. Денежная сумма премии – 25 000 долларов. Постоянный состав жюри (на момент 2004 г.): Александр Солженицын, писатель; Никита Струве (Париж), профессор литературы, издатель; Валентин Непомнящий, писатель; Людмила Сараскина, историк литературы; Павел Басинский, литературный критик; Наталья Солженицына, президент Русского Общественного Фонда.

⁶⁸ См.: Литературная газета. 2004. 28 апр. – 4 мая.

⁶⁹ Там же.

⁷⁰ Там же.

⁷¹ Там же.

⁷² Там же.

⁷³ См.: Труд. 2004. 23 апр.

⁷⁴ Дьякова Е. Подпольщики Даун-тауна, или «Петербургский текст» и его азбука // Новая газета. 2004. 26–28 апр.

⁷⁵ Там же.

⁷⁶ Тодоровский В. Выступление на церемонии вручения Литературной премии Александра Солженицына 21 апреля 2004 г. в Доме русского зарубежья. Стенограмма.

⁷⁷ Неверов А. Возвращение князя Мышкина // Труд. 2004. 22–28 апр.

⁷⁸ См. заметку Натальи Дардыкиной в «Московском комсомольце» (2004. 23 апр.).

«Сериальный» Достоевский: вдали от сигнальных огней

Взволнованные и неpolitкорректные авторы многочисленных интернет-форумов, фиксируя ажиотажный интерес нынешнего ТВ к романам Достоевского («Снова Дос по ящику!»), потом, после двух новых сериалов, будут во всем винить глубокую, осмысленную экранизацию «Идиота», ставшую главным культурным событием 2003 года. Феноменальный успех многосерийного фильма Г. Бортко соблазнил, утверждают чатеры и блогеры, всех тех, кто решил за счет великого писателя сменить свои амплуа, повысить рейтинги, закрепить за собой репутацию серьезных мастеров. У Достоевского это называется «разом весь капитал»: так, постановщик ментовских стрелялок («Хроники убийного отдела», «Улицы разбитых фонарей») и русской «бондианы» («Агент национальной безопасности») Д. Светозаров преподнес любителям классики «Преступление и наказание»; режиссер корпоративных мероприятий и кулинарных шоу Ф. Шультесс посягнул на «Бесов»; родитель «Каменской» Ю. Мороз после прозы А. Марининой взялся за экранизацию «Братьев Карамазовых».

Сразу после «Идиота» казалось и мне: мы возвращаемся к подлинной культурной иерархии, стоим на пороге нового летоисчисления на ТВ, а Муза экранизаций наконец-то выходит на люди возрожденной из пепла и очищенной от киномыла. Критики с восторгом говорили о великом прорыве, о серьезной интеллектуальной акции, о смелой заявке на будущее. Тот факт, что кинематографическая общественность вспомнила о существовании у себя дома большой литературы, обещал новые шедевры, в том числе и на поляне «Достоевский».

«Имею ли я право братья за Достоевского?» – этот естественный вопрос должны были, по-видимому, задавать себе все те, кто дерзнул, кто осмелился, кто замахнулся... Чем заслужено это право, чем оно *уже* доказано? Но не боги горшки обжигают... и когда у великих книг возникла толчея, ликовать зрителю особенно не пришлось. Участки застолбили мгновенно, леса возвели дружно, постройку завершили в рекордно короткие сроки, но обживать эти здания пришлось ой как нелегко...

К немалому смущению зрителей, выяснилось, что сама по себе классика при перенесении ее на телеэкран отнюдь не гарантирует успе-

ха. Как рентген, она высвечивает цели экранизаторов, меру их таланта, а также ту истину, что срастание с художественным примитивом никому не идет на пользу. Классический текст, у которого, за давностью лет, нет от кино охранной грамоты, держит глухую оборону.

Впрочем, никто как будто и не посягал на первородство романов Достоевского. Напротив, режиссеры (памятуя, быть может, о скрупулезной работе Бортко с текстом «Идиота») клялись в верности первоисточникам, декларировали приверженность канону, уверяли, что не допустят в своих картинах никаких постмодернистских вывертов, ибо их кредо – просветительство, а значит, бережное отношение к классике.

1

Так, задолго до телепоказа «Преступления и наказания» авторами фильма было сделано немало заявлений об аутентичности «их Достоевского», о принципиальном отказе от собственных трактовок и решении следовать каждой букве великого романа. Из многочисленных интервью режиссера любознательный зритель мог узнать, каких усилий стоили им погоня за правдоподобием в каждой мелочи, установка на максимальную достоверность каждого кадра. Раздобыть древние, тяжелые, как кандалы, башмаки для Раскольникова. Найти полицейские полушпаги для эпизодических персонажей. Изготовить резиновые манекены старухи-процентщицы Алены Ивановны, о голову которой дубль за дублем герой разбивал топоры, и не бутафорские, а настоящие (точный слепок сделали с экспоната, находящегося в питерском музее Достоевского). Запастись тазиками с краской, имитирующей кровь разного цвета, и наблюдать, каким оттенком она потечет по гуммозной голове. Отыскать в Петербурге заветный островок – кусок улицы с булыжной мостовой и отсутствием примет цивилизации XXI века. Воссоздать шумовую атмосферу эпохи – без гудков машин и трамваев, звуков современной музыки, зато со звоном колоколов, цоканьем пролетов, трескотней экипажей, пением шарманок. И наконец, пресловутые мухи (о них успели написать, кажется, больше, чем о главных персонажах картины): искусственно выведенные насекомые, впавшие в спячку (фильм снимали осенью), в специальных контейнерах привозились на съемочную площадку, запускались в кадр и взбадривались вентиляторами. И только диаметр водосточных труб, сокрушались продюсеры сериала, не соответствовал реальности: при Достоевском они были узкими, и менять их было никак невозможно.

...Несмотря, однако, на значительные средства и силы, пошедшие на трехмесячную подготовительную работу, невзирая на «неслыхан-

но долгий» по нынешним временам съемочный период (восемь серий за четыре месяца, то есть две недели на серию), фильм почему-то не впускал в себя, держал в стороне, не захватывал и не впечатлял. Напротив, чем-то раздражал и отталкивал. Главное, никак не удавалось *узнать*, опознать *Раскольникова* в этом невысоком худом юноше с нарочито экзотическим (римским? греческим?) профилем. Нет, одет он был правильно, как надо: грубые башмаки, старые лохмотья и та самая шляпа – «высокая, круглая, циммермановская, но вся уже изношенная, совсем рыжая, вся в дырах и пятнах, без полей и самым безобразнейшим углом заломившаяся на сторону» (6: 7). Потом стал понятен замысел режиссера. «Раскольников, – разъяснял в печати Д. Светозаров, – ведь не русская, а целиком заемная фигура. Федор Михайлович находился под огромным влиянием французских романтиков – от Шатобриана до Виктора Гюго. В каком-то смысле Раскольников – это русский Жюльен Сорель. У Кошевого (исполнителя роли Родиона Раскольникова. – Л.С.) абсолютно европейское лицо. И это очень важно. Заемные идеи должен воплощать нерусский персонаж»¹.

Итак, новая экранизация «Преступления и наказания», дотошно воспроизводя антураж старого Петербурга, демонстрируя правдоподобие деталей, проигнорировала главное – то, чем отличается русский Раскольников от европейских растиньяков, искателей карьеры, богатства, положения в обществе. Уже на титрах фильма хор поет текст из монолога Раскольникова: «Кто много посмеет, тот и прав. Тот над ними и властелин». С этой неподвижной идеей сериальный Родион Романович и существует от первой до последней сцены. И дело здесь вовсе не только в эпилоге, пять страниц которого авторы фильма просто отказались читать, поставив финальную точку в том месте, где Родя все еще упорствует. «“Ну чем мой поступок кажется им так безобразен? – говорил он себе. – Тем, что он – злодеяние? Что значит слово “злодеяние”? Совесть моя спокойна. Конечно, сделано уголовное преступление; конечно, нарушена буква закона и пролита кровь, ну и возьмите за букву закона мою голову... И довольно! Конечно, в таком случае даже многие благодетели человечества, не наследовавшие власти, а сами ее захватившие, должны бы были быть казнены при самых первых своих шагах. Но те люди вынесли свои шаги, и потому *они правы*, а я не вынес и, стало быть, я не имел права разрешить себе этот шаг”. Вот в чем одном признавал он свое преступление: только в том, что не вынес его и сделал явку с повинною. Он страдал тоже от мысли: зачем он тогда себя не убил? Зачем он стоял тогда над рекой и предпочел явку с повинною?» (6: 417–418)

Но дальше-то в романе идут те самые роковые пять страниц, в истинность и спасительность которых авторы фильма отказались верить.

«Эпилог, – полагали они, – написан другим слогом, видно, что это было сделано впопыхах. Достоевский же писал на заказ, и, видимо, срок подходил к концу. Иначе как объяснить эпилог на нескольких страничках для такого большого романа»². Поразительное дело: те самые авторы, которых Достоевский утомлял размерами своих романов («Федор Михайлович, как и большинство писателей его эпохи, страдал многословием. Мы сделали героев более лаконичными и практически сохранили все эпизоды и сюжетные линии романа», – жаловался Д. Светозаров на страницах газет³), забраковали эпилог «Преступления и наказания» как раз за его краткость!

В таком художественном решении исчезли, к сожалению, не только правда, но и правдоподобие. Вовсе не в лаконичном эпилоге, торопясь закончить к сроку большой роман, Достоевский заставляет героя-убийцу осознать глубокую ложь своих убеждений, сочиняет для него сон о неслыханно страшной моровой язве, охватившей человечество, и, не зная, что с ним дальше делать, толкает его на путь раскаяния. Еще в сентябре 1865-го (работа над романом была в разгаре) Достоевский писал своему издателю Каткову: «Неразрешимые вопросы восстают перед убийцею, неподозреваемые и неожиданные чувства мучают его сердце. Божия правда, земной закон берет свое, и он – кончает тем, что *принужден* сам на себя донести. Принужден, чтобы хотя погибнуть в каторге, но примкнуть опять к людям; чувство разомкнутости и разъединенности с человечеством, которое он ощутил тотчас же по совершении преступления, замучило его. Закон правды и человеческая природа взяли свое... Преступник сам решает принять муки, чтоб искупить свое дело» (28, кн. 2: 137).

Это значит, что уже с первой страницы романа Раскольников несет в себе потенциал покаяния. Это значит, что еще до рокового взмаха топора, до пролитой крови Раскольников уже наказан – теоретически обоснованное убийство, «кровь по совести» вырвали его из мира родных людей, и он потерял право на любовь матери, на сочувствие сестры, на участие друга. В таком решении нет ничего *заемного*, европейского; это, по Достоевскому, *русское* решение вопроса, а не «выдумка советского литературоведения», как теперь это пытаются доказать адвокаты сериала⁴. Как раз советское литературоведение всегда нехотя, сквозь зубы «прощало» Достоевскому его религиозные поиски. Оно же старательно игнорировало признание писателя: «Каких страшных мучений стоила и стоит мне теперь эта жажда верить, которая тем сильнее в душе моей, чем более во мне доводов противных» (28, кн. 1: 176); теперь «религиозные литературоведы», по закону маятника, игнорируют фактор мучений и фактор поисков, а самые ортодоксальные из них укоряют писателя за нецерковность его веры и «розовое христианство».

Конечно, каждый может относиться к центральной идее экранизируемого классического текста, как ему хочется. Но, заявляя, что «православие Достоевский себе придумал, потому что стоял перед свидригайловской пустотой» (цитирую фрагмент из интервью Д. Светозарова⁵), режиссер радикально расходится и с текстом романа, и со всем тем, чем действительно был Достоевский. Брутальный убийца-неудачник, обожженный на весь белый свет, каким в фильме явлен Раскольников, так ничего и не понявший в тайне своего «первого шага», – слишком зауряден, чтобы на полтора столетия застрять в мировой литературе. Такие убийцы, имя которым – легион, ничего не говорят ни уму, ни сердцу. Зря на такого Раскольникова тратит силы талантливый следователь-психолог (монологи Порфирия-Панина обращены не по адресу), зря старается угодить товарищу вдохновенный Разумихин, зря колотится бедная Сонечка – что делать ей с Родей, который, выйдя с каторги, будет твердить прежнее: дурак был, что сознался? Или, потворствуя новым веяниям, она тоже заявит: дура была, что толкнула его принести в полицию повинную голову?

Авторы, увлеченные поиском аутентичных пуговиц, не поверили Достоевскому в главном – так что мы видим *другого* Раскольникова, *другую* историю. Раскольников-Кошевой, лишенный нравственных рефлексий, одержимый одной лишь злобой, не способный ужаснуться содеянному или хотя бы сожалеть о нем, предвосхищает Петрушу Верховенского. А тот – тот уже играючи превратит тезис о крови по совести в принцип крови по политическому расчету и сделает из греха разделенного злодейства универсальный политический клейстер, который и соединит на время (только на время!) участников бесовского подполья.

Так и могучий красавец Свидригайлов, загримированный под Тургенева, почему-то сориентирован на «мучимого безверием» Достоевского. Но ведь Федора Михайловича, по его собственному признанию, «Бог мучил», а не его вечный антагонист... и вот Свидригайлов, духовно соединенный с Достоевским, предстает в картине романтическим героем, отважно застрелившимся по причине любовного фиаско. Почему бы Дуняше и не полюбить такого славного богатого барина, который облагодетельствовал сирот Мармеладовых и готов был помочь Роде бежать за границу? Почему бы *такому* Роде и не сбежать? У Достоевского же про бестиального Аркадия Ивановича сказано: «Свидригайлов знает за собой таинственные ужасы, которых никому не рассказывает, но в которых проговаривается фактами: это судорожных, звериных потребностей терзать и убивать. Холодно-страстен. Зверь. Тигр» (7: 164).

Пропасть между правдоподобием и правдой не удалось перепрыгнуть и за восемь серий.

«Бесы» Ф. Шультесса компактно уместились даже не в восьми, как планировал ранее режиссер Валерий Ахатов, впоследствии отошедший от проекта, а в шести сериях, так что зрителю телеканала «Столица» хватило рабочей недели (о «недоборе по времени» то и дело напоминалось актерам на съемках). Авторы «многосерийного художественного фильма по мотивам романа Достоевского»), тоже, видимо, смущаемые многословием большого романа, удовлетворялись минималистским конспектом, почти скороговоркой (отсечен Кармазинов, убраны все предыстории и все биографии романских персонажей). Действие протекает в игрушечных, почти кукольных декорациях (кажется, что их изготовили не на «Мосфильме», а в кабинете губернатора фон Лембке, из бумаги и папье-маше), среди искусственной слякоти и павильонных луж, налитых на сгнившие дощатые мостовые (тоже искусственные), в безвоздушном пространстве убогих комнат или пустынных богатых залов. Жизни нет нигде – ни в умах, ни на крышах домов. Этот мир уже так безнадежно изгажен и опаскужен, что никто уже не вытащит его из бесовского кружения. Герои «Бесов» не пьют, не едят, не спят. Они полностью предаются своим страстям. Поэтому в фильме минимум житейских деталей, объяснял режиссер сугубо условный принцип существования героев (хотя в романе десятки сцен, когда герои и пьют, и едят, и спят, и им снятся цветные сны).

Каждая серия начинается музыкальным эпиграфом («Мчатся тучи, выются тучи...») и заканчивается титрами, медленно, минут по пять (на шесть серий набегает около получаса) ползущими по экрану. Рядом мелькают клипы-кадры, не вошедшие в картину: сработанный топором макет липипутского губернского города из выкрашенной вагонки (дома и церкви полуметровой высоты), а на его фоне люди бегут, скачут на лошади, летают, как у Шагала, по воздуху. Фортепиано, как шарманка, заводит одну и ту же мелодию – ту самую «пиесу» Лямшина, где «Марсельезу» перебивает, постепенно оттесняя и совсем вытесняя, гаденький вальсок «Mein lieber Augustin».

Замах Ф. Шультесса на «Бесов» – это, как утверждает режиссер, попытка создать кинематографическое произведение, адекватное литературному первоисточнику. «Сценарист Павел Финн чрезвычайно трепетно отнесся к тексту Достоевского, добавляя собственные слова и сцены только для драматургической связки. Фактически все диалоги в фильме – это стопроцентный Достоевский. Ощущение книги было не утрачено»⁶. Кажется, однако, что проценты слишком завышены. Сценарий построен так, что зритель, не читавший роман, вряд ли поймет, что, с кем и где ВСЕ ЭТО происходит. Связь между сценами

призрачна, картинки-иллюстрации движутся с нарушением событийной логики.

Понять из фильма, «сколько их, куда их гонят» и что, например, связывает Верховенского и Ставрогина, затруднительно – как и то, почему Шатов и Кириллов «не могут вырвать Ставрогина из сердца». «В фильме практически нет отступлений от текста, – говорит режиссер. – Мы даже включили в картину главу “У Тихона”, которую редактор “Русского вестника” Катков по соображениям нравственной цензуры печатать отказался. Правда, мы “разбросали” ее по всему фильму. Так, в начале картины Ставрогин вспоминает свои петербургские “похождения”, в его воображении возникает образ погубленной им девочки Матрешки»⁷.

Как красноречиво это «разбросали»! Ну не может Ставрогин в начале картины «публиковать» свои петербургские похождения. Привезя листки с исповедью из Швейцарии, он до поры глухо молчит и могильно хранит свои тайны. Он должен дозреть до визита к Тихону, потерпеть поражение в поединке с ним и затем только пуститься во все тяжкие. Человеческий диапазон Ставрогина в картине сильно сужен. От «обворожительного демона», героя «безмерной высоты», гордого красавца-аристократа, которого Достоевский «взял из сердца», остались молоджавое лицо без следов мучительных страстей и буйных стремлений, брезгливость, франтоватость, белая щегольская шляпа. Надменный, скучающий, бесчувственный до грубости гламурный эгоист – этого слишком мало для жуткой и загадочной маски Ставрогина, для его inferнальной тайны.

Не Князь, не Сокол, не Иван-Царевич – зачем он нужен Петруше («вы солнце, а я ваш червяк»)? Петруше, в ком есть и inferнальность, и дьявольская дерзость, и запредельная решимость осуществить свой адский опыт. Киноповествование держится на нем одном – вертлявом, вездесущем, цепком, неотступном, воистину одержимом политическом авантюристе с отвратительным смехом и судорожными ужимками. Но всевластие Петруши–Стычкина в фильме означает, что из романа извлечен и воплощен только памфлетный слой. Мне же хочется напомнить слова Николая Бердяева: «Поистине всё в “Бесах” есть лишь судьба Ставрогина, история души человека, его бесконечных стремлений, его созданий и его гибели. Тема “Бесов”, как мировой трагедии, есть тема о том, как огромная личность – человек Николай Ставрогин – вся изошла, истощилась в ею порожденном, из нее эманировавшем хаотическом бесновании»⁸.

Любопытно сравнить, как в аннотациях к DVD-дискам аттестует себя сам фильм. «В небольшом губернском городе начинается брожение умов, в которое оказываются втянутыми самые значимые лица

города. Захватывающие события политической борьбы разворачиваются на фоне запутанных любовных интриг, в которых главная роль отведена основным идейным вдохновителям “революционного” движения...»

Значит, «метафизическая истерия русского духа» даже и не планировалась. Та самая игра на понижение...

Запутанные интриги затмили духовную драму Шатова и трагедию самоубийства Кириллова, и только в одной сцене их существование наполнено высоким «достоевским» смыслом. Улыбка Кириллова, когда он слышит плач новорожденного, веселый цинизм умелой повитухи Арины Прохоровны, кадр, в котором Шатов и его жена Мари, глядя на младенца, мечтают о новой жизни, и, главное, сам младенец, живой, а не бутафорский, – пронзительны и трогательны. Их не коснулись ни сюжетная скороговорка, ни нарочитая условность изображения, ни памфлетная интонация. Здесь (да еще в сцене кончины Степана Трофимовича, и в том, как потерянно ищут «Принца Гарри» его мать и Даша) взят такой уровень достоверности, который может пробить даже и ревнивое, противящееся сердце.

Изъян многих экранизаций – в том, что они рассчитаны на массового, то есть, по нынешним понятиям, *нечитающего*, зрителя и используют актеров, знающих лишь текст своей роли в сценарии. А зритель сведущий помнит, что роман «Бесы» заканчивается не только ставрогинской намыленной петлей, и уж никак не «Марсельезой» в исполнении заговорщиков (то есть их полным торжеством), и даже не читкой Евангелия старцем Тихоном: «И вышли *жители* смотреть случившееся и, пришедши к Иисусу, нашли человека, из которого вышли бесы, сидящего у ног Иисусовых» (10: 5).

У Достоевского пятерка, как только ее покинул, сбежав за границу, Петр Верховенский, тут же распалась, участники бесчинств были арестованы и начали давать признательные показания. Первая проба «систематического потрясения основ, разложения общества и всех начал», оставившая после себя гору трупов, провалилась. Акт политического терроризма, совершенный пятеркой во главе с ее лидером, высветил генетический код будущего, если оно пойдет вслед за предначертаниями Петруши. Россия, раздираемая бесами, стояла перед выбором своей судьбы; угроза ее физическому и духовному существованию, опасность превращения в арену для «дьяволова водевиля», а народа – в человеческое стадо, ведомое и понуждаемое к «земному раю» с «земными богами», были явственно различимы в демоническом хоре персонажей смуты. Нравственный и политический диагноз болезни, коренившейся в русской революции, равнялись ясновидению и пророчеству.

Важно, однако, что финальная точка романа поставлена Достоевским в тот момент, когда деморализованный беспорядками русский губернский город опомнился, оправился и ждет открытого судебного процесса над *бесами*, а один из них, Виргинский, успевает раскаться даже еще до суда: «Это не то, не то; это совсем не то!» (10: 507)

Но с эпилогами романов Достоевского экранизаторам фатально не везет. Что-то гонит и сериал «Бесы» прочь от сигнальных огней...

3

Отечественные киноведы и кинокритики пытаются понять причины тяжелой неудачи новой экранизации «Бесов». «Вся беда сериальных “Бесов” – не в развесистой клюкве. Эта самая клюква теперь не так актуальна и страшна, как раньше. Быть может, потому, что в цивилизации XXI века удаленность от российского бытового уклада XIX века возрастает у всех, вне зависимости от национальности и культурного багажа. Теперь иностранный акцент – это ощущение заведомых границ в свободе постижения литературного произведения. Когда режиссер очень смутно представляет себе, о чем роман, – и точнее просто не может. И поэтому не способен выдать никакой искренне прожитой концепции, пускай даже на уровне школьного разбора произведения или на уровне литературоведческих общих мест. Но ведь не всякий сегодня может заново изобрести велосипед, даже рассмотрев схему механизма и перевидав тысячи готовых велосипедов... Сериал по “Бесам” – это несостоявшееся изобретение велосипеда»⁹.

Причины, по которым на Достоевского готовы замахнуться и замахиваются многие, не имеющие на это художественных, а часто и культурных ресурсов, заключаются не только в притягательности словесного искусства русского классика. «Участившиеся экранизации Достоевского – барометр неудовлетворенности сценариями про современность, барометр наших возросших желаний и ограниченных возможностей»¹⁰, – пишет искусствовед.

«Во-первых, Достоевский был автором “идеологических” романов, а его герои были одержимы “идеями” и стремились “мысль разрешить”. Современному думающему человеку отказано в органичности, в народности, в обаянии, в настоящести. Такой человек и государству не выгоден – сейчас в массы проецируется убеждение, что теперь ясно, как жить. Вся неясность закончилась после наступления капитализма и формального учреждения институтов демократии. Много думать и экспериментировать с жизнью в целом более не следует. Но наша страсть к Достоевскому указывает на тайный комплекс современного

сознания... Хочется современному человеку о чем-то думать так сильно и страстно, как у Достоевского. Но жизнь не позволяет... Для психологической компенсации снимают и смотрят сериалы по Достоевскому.

Во-вторых, в отличие от более гармоничного Толстого Достоевский – гений эстетизации дисгармоничных переживаний и размышлений. При той бурлящей дисгармонии, которая имеет место в нашем теперешнем обществе, градус кипения дисгармонии у Достоевского нам остро необходим. К тому же наше “телемыло” взяло курс на лакировку и гламуризацию действительности – глянуть хоть “Личное дело доктора Селивановой”, хоть “Тайны следствия”.

За недостающим нервным напряжением обращаемся к Достоевскому. Натянутый нерв у всех персонажей и стал эмоциональной паутиной, пронизавшей весь сериал “Преступление и наказание”. Это был сериал про то, как у всех сердце вибрирует, ноет и трепыхается от переживания того, что “все не так, ребята”. Достоевский привносит на наше ТВ ощущение гордости за масштабы несчастья.

В-третьих, Достоевскому позволено то, чего не позволено современным сериальным сценаристам – длинные сложноподчиненные предложения, длинные монологи. Кто посмеет именовать текст Достоевского “кирпичом”? Никто. А если обычный сценарист скажет что-нибудь от имени своего героя строк на шесть-восемь вместо двух-четырех – так его тут же поставят на место. Героям Достоевского позволено поговорить и наговориться от души, наплевав на апробированные форматы.

Экранизируя Достоевского, у нас ищут образы полноценной в российском смысле жизни и полноценной в российском культурном смысле формы. У Достоевского ценят образы общества, которое не боится быть стабильно и разухабисто больным. У Достоевского находят образы бытия, где живут заковырыстыми мыслями и чувствами, помышляя о более сложных вещах, нежели частное обыденное благополучие. Достоевского любят за грандиозную литературность, игнорирующую форматы и “выезжающую” за счет грандиозного артистизма лиц и ситуаций.

Конечно, берясь за Достоевского, создатели телеискусства всегда рискуют подставить себя. Чтобы отечественная режиссура хоть сколько-то развивалась, она должна убеждаться время от времени в своем слабосилии»¹¹.

Однако – если судить из высказываний отечественной режиссуры, оккупировавшей Достоевского, – она не торопится признать свое поражение. Зрителям, еще помнящим исполнителей из старых советских экранизаций, придется преодолевать стереотипы. У братьев Карамазовых из сериала Юрия Мороза – лица современного телевидения, и они ровесники своих героев. Мите – звезде «Бумера» Сергею Горобченко –

на момент съемок было 25 лет, Ивану – Анатолий Белый – 35, Алеше – Александр Голубев – 24 года, Смердякову – Павел Деревянко – 31 год, Федору Павловичу Карамазову – Сергей Колтаков – 52 года. Режиссер был настроен не особо церемониться с классическим романом. «Сейчас много разговоров о классике, – утверждал Юрий Мороз, – а большинство ее не знает. Не знаю, существует ли госзаказ на экранизацию классики, но я был бы “за”. Экранизации помогают читать, а на сегодняшний день чаще встречаются люди, увлеченные аудиокнигами. Знаю, что токов Достоевского наизусть – 0,01 %. Не читали его вообще 95 %. Если кто-то начинает ко мне предъявлять какие-то претензии по “Братьям Карамазовым”, я отвечаю двумя контрольными вопросами: кто такой Смердяков и почему он повесился? Если человек отвечает хотя бы на первый вопрос, с ним можно разговаривать... Тонкие вещи телику не нужны. Ему важно одно: будут смотреть или нет. Главное, чтобы смотрели, а каким способом ты этого добьешься, ему неважно. Тракторы, полутона, нюансы... телевизор их не предполагает. Я не могу делать высокобюджетное кино, но и книга таковой не является»¹².

Такая оценка великого романа Достоевского и декларация методов («каким способом ты этого добьешься, неважно») подтверждают сомнения кинокритика Л. Павлючика: «Не дает мне покоя такой, к примеру, наивный вопрос: а не страшно ли было режиссеру Юрию Морозу, который только что закончил 8-серийную экранизацию “Братьев Карамазовых”, братья за этот сложный, многоплановый, многофигурный роман, с которым по большому счету и всемогущий Иван Пырьев в свое время не до конца справился? А ведь у того в наличии были исполнители уровня Михаила Ульянова, Кирилла Лаврова, Андрея Мягкова – не чета, извините, Анатолию Белому и Сергею Горобченко, актерам, может быть, и неплохим, но чья известность пока обеспечена лишь скромными театральными успехами (в первом случае) да бандитскими сагами типа “Бригады” и “Бумера” (во втором). Чувствуете несоответствие масштаба личностей? Да и у самого Ивана Пырьева, когда он снимал “Карамазовых”, за плечами были всенародно любимые фильмы “Богатая невеста”, “Трактористы”, “Свинарка и пастух”, “В шесть часов вечера после войны”, “Секретарь райкома”, “Кубанские казаки”... (в творческом активе автора сценария, А. Червинского, комедийный боевик «Корона Российской империи», комедия «Блондинка за углом», «Тела», «Афганский излом» и ни одной классики. – Л.С.). Испытывая трепет перед любимым Достоевским, Пырьев сначала осторожно прикоснулся к его творчеству, экранизовав первую часть романа “Идиот”, потом перенес на экран повесть “Белые ночи” и лишь затем приступил к многолетнему выношенному, выстраданному экранизации “Братьев Карамазовых”, оставив нам в незавершенном фильме свое творческое завещание, свое

“верую”... А Юрий Мороз, при всем моем к нему уважении, прославился пока лишь “Точкой” – жестоким физиологическим очерком из жизни московских проституток, не имевшим ни зрительского отклика, ни фестивальных успехов, да вполне добротной, качественной экранизацией “Каменской”. Но где, извините, проститутки, в поте лица и тела своего добывающие деньжат на пропитание, а где герои “Братьев Карамазовых”, ищущие Истину и Бога? Где бойкая детективщица Александра Маринина, исправно выпекающая романы, предназначенные для необременительного пляжного досуга, а где великая глыба по имени Федор Достоевский? Неужели Юрий Мороз не чувствует, не понимает разницу? Мне искренне жаль, если это так»¹³.

Конечно, более всего волновались критики, как будет решен вопрос с «Поэмой о Великом инквизиторе» – ибо выразить идеи и образы «Поэмы» средствами кино – задача невероятной сложности. Ю. Мороз, не считавший фильм Пырьева помехой для своего проекта (картина Пырьева сделана в советское время, когда многое было просто нельзя снимать), разъяснял: «Меня без конца спрашивают: будет ли в картине легенда о Великом инквизиторе? Отвечаю: а что вы ждете от Великого инквизитора? Этот вопрос обычно задают люди старшего поколения, которые выросли в то время, когда в “Легенде” “считывались” какие-то социальные мотивы. Меня же больше интересует тема искушения Христа. А у Пырьева вообще не было возможности сделать “Великого инквизитора”. Он не стал снимать и линию Алеши с мальчиками, без которой Алеша как персонаж обеднен. Иван Александрович снимал кино, и у него были ограничения, связанные с форматом. А у меня их нет, поскольку я снимаю телевизионный художественный фильм. И в этом смысле картина будет первой полноценной экранизацией “Братьев Карамазовых”, поскольку в ней роман будет присутствовать практически полностью»¹⁴.

«Братья Карамазовы» трактуются в новой экранизации как история трех братьев, потому фильм изначально имел подзаголовок «Искушение» (впоследствии снятый). По словам режиссера, «у каждого из Карамазовых – свое собственное искушение. А за искушением следует наказание». «Не знаю, в какую сторону Федор Михайлович развил бы сюжет. Митю отправляют на каторгу, Иван готовит ему побег. Наверное, Митя бежал бы в Америку, а Иван сошел с ума. Алеша... Я не вижу для него перспективы в мире социальных идей. Поэтому, думаю, самое правильное – закончить фильм на намерениях, когда что-то видится, еще чего-то хочется. Финал с Алешей и мальчиками у камня, где похоронен Илюшечка, мне не нравится, представляется излишне пафосным. Но эта сцена будет в фильме. Экранизация начинается с проводов Мити на каторгу и этим же заканчивается»¹⁵.

Ю. Мороз полагал, что снял «академическую» версию романа, с той, однако, оговоркой, что для зрителя, привыкшего к телевизионной жвачке, повествование необходимо упростить, «адаптировать». На словах едва ли не каждый режиссер, берущийся «приспособить» Достоевского для телевидения, обещает достигнуть максимальной аутентичности, сулит зрителю «настоящего Достоевского». Но чаще всего это значит, что на экране будет полыхать «симфония страстей», в клочья рваться мелодрама, силами «сериальных актеров» разыграется нечто вроде душевных смятений и умственных тупиков, а присутствие Достоевского будет обозначаться знаменитыми цитатами о слезинке ребенка, о красоте, которая спасет мир, о России, которая есть игра природы, а не ума. Прагматичное и циничное телевидение, за редким и счастливым исключением (таким оказалась экранизация «Идиота»), способно поднять под себя даже благие намерения.

Новых «Братьев Карамазовых» ждали сорок лет. Два года гадали, когда же покажут обещанную еще в 2007-м двенадцатисерийную (сократившуюся в прокате до восьми) картину. Казалось, самых добрых намерений был исполнен драматург А. Червинский, автор сценария нового сериала. «Мне кажется, это самый главный роман на свете, самый интересный и самый неразгаданный. Думаю, что я один из немногих, прочитавших роман целиком, десятки людей честно мне признались, что пропускали трудные куски. Даже простое чтение этого романа – огромная работа ума и души. Но написать его экранизацию, пересказать в форме, доступной для миллионов, не искажая и не оглушая Достоевского, – задача невероятной сложности... Я стремился и сохранил в сценарии все главные линии, даже знаменитую философскую легенду о Великом инквизиторе, переложив ее в живой зрительный ряд и диалог... Я писал сценарий, который давал возможность первой в истории полной экранизации романа. Но сценарий – это только начало работы. Дальше все зависит от режиссера»¹⁶. А. Червинский точно знал, про что он пишет сценарий. «Роман для своего времени был событием, но и сегодня поражаешься, насколько он остался живым и, смею заметить, оригинальным для русской литературы. У нас всегда во главе всего – идея, а тут человеческие страсти, причем чуть не фрейдистские: отец, сыновья, женщины... А его идеи – предательство Бога во имя сытой жизни и опасность появления “сверхчеловека”, которому позволено играть судьбами своих ближних и целых народов, – идеи эти предсказали многие трагедии XX века»¹⁷.

А режиссеру в первую очередь нужно было дать себе отчет, в чем заключается «драматургия страстей» «Братьев Карамазовых» и какие смыслы вкладываются в термины «точность», «аутентичность», «доверенность». Ответ был дан однозначный. Главным доказательством

документальной точности этого высокобюджетного сериала (кинокомпания «Централ Партнершип») явились настоящие дворянские усадьбы князей Трубецких и мецената Мамонтова, где велись съемки, а также костюмы, точные, вплоть до изгиба турнюра, расположения складок и пуговиц. Для сцены суда над Митей был выстроен зал в натуральную величину и заказана роскошная люстра по чертежам того времени, которая опускалась на длинной цепи, чтобы можно было зажечь свечи. Двери, бра, обивка кресел буквально копировали интерьеры времени, и даже обои были найдены на фабрике, воспроизводящей технологии XIX века. Актеров режиссер держал в строгости: заставлял читать текст, учить роли наизусть, пресекал отсебятину.

Что в итоге? Что вообще двигало сериальным производством от Ю. Мороза, которое «привязалось» к Достоевскому? Какие смыслы, какую непереносимую правду о человеке он хотел и оказался способен найти?

«Мне запомнились корсеты, – простодушно признавалась прессе В. Исакова, супруга режиссера, сыгравшая Катерину Ивановну. – Эти корсеты – просто какой-то кошмар! Что-либо съесть – невозможно! Еда встает в грудной клетке и там остается. Нормально вздохнуть и то проблема. Ни сгорбиться, ни согнуться. Приходится сидеть и ходить прямо, как струна. Зато после этих съемок осанка у меня просто великолепная!»¹⁸ Да и сам Ю. Мороз, отказываясь ставить «высокобое» кино, поскольку «и книга таковой не является», декларировал, по умолчанию, что для тайны человека, загадки красоты, трагедии любви и ненависти в его картине места нет.

Но на нет – и суда нет. Сериал по «академическому» Достоевскому – восемь раз по пятьдесят минут – промелькнул в модном формате «реклама пройдет быстро», оставив досадное впечатление старательной скороговорки, вечерней пробежки-моциона, с краткими остановками на ключевых эпизодах. Не случилось огненной грозы, не сверкали молнии, не обрушивалось небо на землю, не сшибался в смертельной схватке идеал Мадонны с идеалом Содомы, и поле битвы дьявольских и божеских стихий было засеяно лишь пышной зеленой травой. Было в меру прохладно, порой чуть теплело, но температура оставалась нормальной, душа не ныла и не стонала, сердце не ёкало; свет горел, но лампочки светились вполнекала. Зачет по теме, кто такой Смердяков и почему он повесился, был как-то буднично сдан и как-то буднично, недоуменно (кому нужен такой зачет?) принят. Восемь вечеров обернулись восьмью часами едва ли не принудительного просмотра – скучного, до болезненности, до тайного вздоха облегчения, когда последняя серия наконец закончилась.

...При этом все время чудилось, будто на первом канале показывают олеографии, фото из семейных альбомов, какие-то сцены из XIX века

(Вельтман? Крестовский?): старый распутный барин, его непутевые сынки, их маловразумительные женщины, всеобщая путаница, неизбежная уголовщина – на фоне дивных тургеневских пейзажей и типологической музейной мебели. Исполнители главных ролей трудились усердно, но не слишком увлекаясь страстями и страданиями героев, не давая карамазовскому *безудержу* овладеть благополучием актерского существования. Было слишком заметно, что всем почти мужчинам и женщинам, занятым в фильме, материал книги чужд – но играть классику модно, престижно, да и кто ж откажется... Митя Карамазов получился скорее персонажем купринским, нежели достоевским – красивый, белокурый, буйный. Алеша – благодостный, статичный и, кажется, так и не узнавший, как прожить на экране короткую романную судьбу инока-послушника, «чистого херувима»: то ли носить постное лицо и ходить сутулясь, то ли взирать на мир «честными» глазами; понять, что творится в душе христоролюбивого юноши с закваской «карамазовщины», актеру все же не удалось. С Иваном и Смердяковым произошла ошеломительная метаморфоза. Их выразительные диалоги в первых же сценах напоминали «Игроков» Гоголя. Оба выглядели отъявленными шулерами, прекрасно понимающими друг друга. Оба хотели скорейшей смерти папеньки от руки Митеньки, да так, чтобы действительно «один гад съел другую гадину, обоим туда и дорога!». В «русском Фаусте» обозначились лишь негодяйство и цинизм; гениальный, но больной ум преобразился в ум расчетливый и плоский. Смердяков обернулся гладким, крепким проходимцем, которому немножко не повезло – не его день. Два подлеца, которые сошлись «в беспредельности» первых серий, что-то такое не поделили в последних: суицид лакея-отцеубийцы художественно не был обеспечен. Ко второй серии стало ясно, что Федор Павлович здесь не столько поэт и философ сластолюбия, сколько практикующий распутник, которому хочется еще двадцать лет «на мужской линии состоять» – и потому уйдите все, не мешайте! Про женские роли лучше молчать, чем говорить, – разве что у Грушеньки (Е. Лядова), посреди вульгарных интонаций порой пробивалось нечто прелестное, дразнящее – то, что и было в неотразимой женщине, из-за которой гибнет несчастный Митя. Поразила неуместностью истеричная Лиза Хохлакова в исполнении сильно взрослой актрисы (М. Шалаева): разыгрывая детскую испорченность и злобу, она выглядела крайне нелепо.

...Только к концу сериала артисты как будто привыкли к своим героям. Заснеженные пейзажи и многие кадры с натуры пронзали красотой, музыка (Энри Лолашвили) согревала и утешала, а сцена в Мокром, когда судейские чины допрашивают Митю, дышала подлинностью. Все ощутили себя в родной стихии – «у нас труп», а значит, следствие, допрос, улики, лжесвидетели, тюрьма, кривые

руки правосудия. Сложные диалоги Ивана со Смердяковым и с Чертом были выполнены близко к тексту, но запала на все не хватило – и сцену суда, несмотря на дивную люстру и поединок обезумевшего Ивана с «роковой Катей», затянутой в корсет, дружно провалили. И какой грубой режиссерской фантазией выглядел эпизод, когда Смердяков, засовывая голову в петлю, подносит торжествующую фигу к лику Спасителя! Впрочем, клипы о Великом инквизиторе (несколько фраз и картинка – кардинал в красной мантии с лицом сильно постаревшего Ивана Карамазова жестко выговаривает безмолвному Пленнику) при отсутствии противовеса, старца Зосимы, и без того сильно исказили замысел Достоевского: в фильме не осталось никого, кто бы мог оспорить или хотя бы смягчить богохульный пафос карамазовского бунта.

После блистательного «Идиота», штучной работы В. Бортко, многие предрекали бум экранизаций классики. Но вопрос – станут ли они явлением искусства, событием культуры – был поставлен уже тогда. Новые «Братья Карамазовы» дали очередной отрицательный ответ. «Адаптированный» Достоевский, Достоевский для «невысоколобых» (стало быть, для «низколобых?»), «нормальный» Достоевский (то есть Достоевский в формате мыльной оперы) оказался фильмом прежде всего вялым и скучным. Общественного компромисса между интеллектуалами и поклонниками фильмов-развлечений, как ни уверяли немногочисленные адвокаты фильма¹⁹, не получилось: легким зрелищем его, кажется, не признали потребители телемыла, серьезным – взыскательные зрители. Сериал «просквозил», кажется, мимо всех, кто смотрит кино на ТВ.

Но манит, манит Достоевский и корифеев, и неофитов, и прагматиков, и романтиков. Этому нет и не видно конца.

Примечания

¹ См.: Московские новости. 2007. 26 окт. – 1 нояб. С. 35.

² Сигле А. Достоевский не киношный писатель // <http://www.vz.ru/culture/2007/12/3/129014.html>

³ Московские новости. 2007. 26 окт. – 1 нояб. С. 35.

⁴ См.: «Раскаяние» Раскольникова, такое однозначное и привычное нам, – не более чем выдумка советского литературоведения. Так было проще, чем признать всю сложность, всю запутанность человека – о чем, в сущности, весь Достоевский» (См.: Огонек. 2007. № 48. С. 46).

⁵ См.: Московские новости. 2007. 26 окт. – 1 нояб. С. 35. См. также: «Меня всегда волновал образ Свидригайлова, в котором мне мерещится зыбкий и туманный

призрак автора... Не буду распространяться по поводу сложных эротических комплексов Федора Михайловича: со Свидригайловым его роднит не только это. Дело в том, что Достоевский, ставший истовым православным в конце жизни, всю жизнь свою мучился от безверия, которое, на мой взгляд, так и не преодолел. Рассуждения Свидригайлова о вечности как о грязной деревенской кухне с тараканами – отражение глубинных сомнений самого писателя» (Там же. С. 32).

⁶ См.: http://www.mosfilm.ru/index.php?News=2006/0301_01&Lang=rus

⁷ См.: <http://nashaulitsa.narod.ru/Krohin-Dost-Yupiter.htm>

⁸ Бердяев Н.А. Ставрогин // «Бесы»: Антология русской критики. М.: Согласие, 1996. С. 519.

⁹ См.: Сальникова Е. Мелкие «Бесы» // <http://www.vz.ru/columns/2007/12/23/133578.html>

¹⁰ Там же.

¹¹ Там же.

¹² См.: Московские новости. 2007. 16 марта.

¹³ Павлючик Л. Игра в классики // Труд. 2007. 5 апр.

¹⁴ См.: <http://nashaulitsa.narod.ru/Krohin-Dost-Yupiter.htm>

¹⁵ См.: Там же.

¹⁶ См.: Огонек. 2009. № 3. С. 48.

¹⁷ Там же.

¹⁸ См.: <http://www.eg.ru/daily/cadr/13433/print/>

¹⁹ См., напр.: Архангельский А. Нормальный Достоевский // Огонек. 2009. № 3. С. 47–48.



ЧАСТЬ V

*Россия
через призму
Достоевского.
Диалоги двух
десятилетий*



Дурак ошибается дважды. Диалоги с А. Кабаковым*

1

Л.С. Для начала нашего разговора мне хотелось бы поделиться одним наблюдением. По-моему, общественное сознание в эпоху кризиса перестройки заметно отодвинулось от обычных «вечных» вопросов. Если вначале все бросались обличать негатив прошлого (стадия «Кто виноват?»), а затем с азартом и риском предлагать «свой путь» (стадия «Что делать?»), то теперь все чаще и чаще возникает новый вопрос – в пассивной и страдательной форме: «Что с нами будет?» Газеты, журналы, телеэкраны забиты констатациями-предупреждениями типа: «Мы у опасной черты», «Мы у края бездны», «Мы накануне общенациональной катастрофы». И хотя, как сейчас многие говорят, «быть пророком – занятие неблагодарное», спрос на пророчества необычайно вырос. Этим, хотя бы отчасти, можно объяснить успех повести «Невозвращенец», о которой уже писали как о футурологическом конспекте и предупредительной фантазии. Но вот что странно: даже самые искушенные читатели забывают, что повесть А. Кабакова – это и в самом деле фантазия, художественный вымысел, основанный, конечно же, на предчувствиях, наблюдениях, опасениях, – но все-таки вымысел.

Вы часто повторяете: я там (то есть в «Невозвращенце») все выдумал. А читатели упрямо сопоставляют политические реалии повести с тем, что сегодня происходит в стране. Ваша фантазия в умах соотечественников постепенно приобретает статус неотвратимо и молниеносно приближающегося будущего. Наблюдательный читатель с политической жилкой скрупулезно подсчитывает, что и как уже исполнилось из «предсказаний Кабакова» и что еще предстоит.

Итак, насущный вопрос дня сформулирован в старинном монологе: «Что день грядущий мне готовит?» Но вспомните и следующие строки: «Его мой взор напрасно ловит, / В глубокой мгле таится он». И меня смущает здесь слово *напрасно*. Дается ли будущее нам в руки?

* Диалоги опубликованы в журнале «Век XX и мир» (1990. № 4. С. 34–39; 1991. № 2. С. 52–61).

А.К. Эти стихи, как любые настоящие стихи вообще, а тем более Пушкин, читаются двояко. «Напрасно ловит» – значит, невозможно уловить? А может быть, не стоит? Что невозможно уловить, я сомневаюсь, потому что очень многим людям удавалось. Свифт, Хаксли, Замятин, Оруэлл... А вот стоит ли предугадывать – это вопрос очень серьезный. Предположим, детерминистский, фаталистический взгляд на мир делает бессмысленной всякую попытку прогноза: чему суждено быть, то и будет. Зачем зря расстраиваться?.. И если положено после капитализма наступить социализму, а потом уж коммунизму, то обязательно и наступит. Поэтому, наверное, некоторые искренне считали: ну чего заглядывать в будущее? У нас даже фантастика считалась второсортной литературой, особенно хорошая фантастика.

Так вот, я думаю, что «напрасно» в смысле «не стоит» – это неправильно. Очень даже стоит лишний раз напомнить о том, что каждый наш поступок имеет последствия. Я не склонен придавать большого значения своему сочинению, вокруг которого сейчас столько шума. Его было не очень сложно придумать, если на то пошло. Многое было очевидно для многих, а мне пришлось в голову об этом написать не ради того, чтобы писать о будущем. А ради того, чтобы написать о настоящем, где у нас – все еще главный выбор: «стучать or not стучать?», и о том, к чему этот выбор может привести.

Л.С. «Пугают гражданской войной... Наиболее “солидный” и убедительный вид этому приему запугивания демократии стараются придать посредством ссылок на опасность... гражданской войны... Из всех видов пуганья пуганье гражданской войной самое, пожалуй, распространенное». Знаете, откуда эта цитата? Правильно, из Ленина, из его статьи «Русская революция и гражданская война», написанной в сентябре 1917-го, за месяц до начала революции – той самой общенациональной бойни, которая не принесла и не могла принести ни мира, ни земли, ни хлеба. Что это – политическая слепота или политическое лицемерие вождя революции? Или это другое: «Нас пугают, а нам не страшно»? Жутко сегодня читать, как упрямо и сердито обосновывает В.И. Ленин необходимость гражданской войны, ее неизбежность и выгоды: ведь «сила революционного пролетариата, с точки зрения воздействия на массы и увлечения их на борьбу, несравненно больше во внепарламентской борьбе, чем в парламентской», а «все условия и вся обстановка парламентской борьбы и выборов преуменьшает силу угнетенных классов по сравнению с той силой, которую они фактически могут развертывать в гражданской войне». Странно воспринимать восторг вождя спустя полгода после Октября: «гражданская война была сплошным триумфом Советской власти».

Противно и больно находить у нынешних обществоведов-«ленинцев» апологию этих событий: «Ленин безоговорочно отделял большевиков от мелкобуржуазных демократов, – иногда бессознательно стонавших от “ужасов” гражданской войны, и пресекал все попытки с помощью “демократических” уверток совлечь революцию с пролетарского, социалистического пути, втиснуть ее в буржуазные рамки».

Я понимаю, насколько рискованны исторические аналогии. И все-таки, если «перестройка – это та же революция» (как любят говорить наши партийные идеологи), остается и «революционное», то есть в терминах революции, распределение политических ролей. И мы с вами прямиком попадаем в категорию «мелкобуржуазных демократов», стонущих от ужасов гражданской войны. Разве что с тем отличием от наших предшественников, что стонем сознательно.

А.К. Я думаю, что цели революции те, что были провозглашены, и те, что были достигнуты, – были совершенно разные цели. Слово «демократия», которое Владимир Ильич в этой статье всяко терзает, никакого отношения к происшедшему не имеет. По той причине, что не было достигнуто и даже не хотели достичь основной демократии – демократии собственности. И сейчас, все время крутятся вокруг демократизации, которая, по известному анекдоту, так же отличается от демократии, как канализация от канала, мы никак не можем понять, что происходит. А происходит простая вещь: не демократизируется собственность. На мой взгляд, если танцевать от этой печки, тогда все ясно.

Я был недавно в Смольном и в одном из мемориальных кабинетов увидел на стене оригинал Декрета о земле. Где там – «земля – крестьянам»? Там слова про это нет! Там сказано, что отчуждается в пользу государства земля удельная, казенная, монастырская, общинная и... крестьянская! Изымается и обращается в собственность государства. То есть создается система недемократической, унифицированной, тоталитарной собственности, которой не было в истории. Стоит ли удивляться тому, что одновременно создан политический, идеологический и прочий тоталитаризм, которого не было в истории? Тоталитарная собственность – его основа.

Л.С. Но если следовать логике революции и ее вождя Ульянова-Ленина в отношении к гражданской войне как к триумфу Советской власти и к парламентаризму как неподходящему полю сражения для коммунистов-ленинцев в их борьбе за власть, какой можно сделать вывод о ленинских принципах, которые положены в основу перестройки? Или эти принципы были тогда и являются сегодня абсолютно аморальными и пришла пора с ними наконец расстаться, или нужно отдать себе полный отчет о судьбе молодого парламента страны: что и кто стоит на пути его развития, от чего и от кого зависит его жизнеспособность. Ведь

ясно: если запустить все механизмы парламентской жизни и демократических выборов, если допустить истинный плюрализм собственности, от знакомой нам практики ленинизма ничего не останется. Как ничего не останется от тех сил, которых не пугают любые потоки крови.

А.К. Пожалуй... Это для них игра на чужом поле. Парламентаризм – не их создание и потому не их игра. В шахматы труднее играть, чем в «Чапая», сбивая шашки щелчком... Но сейчас я хочу поговорить не о политике и не о политической истории, хотя начну с них. Итак, согласимся с цитируемым автором: в результате того, что старый мир утоплен в крови, действительно выигрывают пролетариат и беднейшее крестьянство. И все складно получается. И Бог с ним, с парламентаризмом, если пролетариату и беднейшему крестьянству будет очень хорошо...

Л.С. Но они же не выиграли?

А.К. Даже и это мне сейчас хочется оставить в стороне. Мне хочется не поднимать историческую планку этого разговора, а вырыть психологическую яму и оттуда вытащить тот мерзкий корешок, из которого все выросло. Допустим, выиграли. Допустим, построено светлое будущее, то есть все работают одинаково мало и плохо, едят тоже мало и плохо, но одинаково. Вроде все хорошо. Кто сказал, что нужно богатое общество? Кто сказал, что нужна парламентская система? Тем более когда писалось про потоки крови – я глубоко убежден, – кровь пугала людей гораздо меньше. Точно так же, как в Средневековье сжигание ведьм казалось совершенно нормальным делом и детишки бежали на площадь и радовались. Это другие были люди. Но из чего же все-таки растет это все? Почему человек берется вести массы к светлому будущему нищеты и безделья, а кровь для него – лишь неизбежный побочный продукт, отход производства?

Мне ответ представляется элементарно простым. Если заповеди Христовы, Закон Господень считаются лишь одним из философских догматов, который может быть оспорен, может быть нарушен, – тогда все, конец. Тогда готовый на это создатель политического учения намечает цель, и ничто не удержит его от того, чтобы устлать дорогу к ней трупами. И эта дорога не кажется ему хуже любой другой. Ведь заповедей для него нет – нет, значит, и критериев незыблемых. И все становится на свои места: буржуазии нравится парламентаризм, а нам, беднейшим крестьянам и пролетариату, нравится вот так: через потоки крови к торжеству светлого будущего. И Бог нам не указ, для нас его нет.

Как только идея богоборчества овладела этим обществом, или любым другим, так оно, то общество, прямоком и безусловно идет к революции, к крови, которая не кончается никогда. Это было во Франции,

это было здесь – прежде всего начинали бить «попов». Спрашивается, почему они не взорвали Зимний дворец, а взорвали Храм Христа-Спасителя? Да потому, что сама идея власти им была близка, они просто хотели власть перенять. А идея религиозная подвергала сомнению само их существование, и эту идею они потерпеть не могли.

Для меня самое удивительное: как в стране, где существовал Достоевский и где Достоевский был властителем умов, одновременно властителем умов мог стать его антипод и враг? Как христианская идея сосуществовала с идеей антихристовой? Как одновременно мыслями интеллигенции нашей властвовало и то и другое – для меня загадка.

У вас, помню, на радио «Свобода» был комментарий, который назывался «Соблазн революции». Соблазн здесь надо понимать в смысле библейском? Так вот, а я говорю уже не только о соблазне революции. Я говорю о соблазне цели, именно соблазне в библейском смысле. Как только человек решает, что он должен достичь цели, что его жизнь должна быть подчинена цели, что он ее должен достичь и, того хуже, привести к ней других, возникает соблазн, дьявольский соблазн. И тогда до сакраментального «цель оправдывает средства» уже недалеко. Цель ведь уже этимологически нечто большее, чем все остальное, правда? Все – только движение, а там, впереди – цель. И несемся к цели по головам, сначала чужим – буржуазии, низшей расы, иноверцев, – а потом просто друг по другу, уже без всяких различий формальных.

И тогда все одинаково – что парламентские дебаты, что красный террор, – но лучше террор, чтобы быстрее к цели.

Л.С. Почему при Достоевском, при Толстом, при этих властителях дум и духовных лидерах России, возможен был Чернышевский, который в свою очередь «перепахал» сознание Ильича, и почему в конечном счете победили идеи двух последних – это, конечно, важнейшая проблема. И вы правы, что связана она с богоборчеством. «Бунтом жить нельзя», – говорит главный бунтарь Достоевского Иван Карамазов, прекрасно понимая, что бунт – это разрушение человека.

Но я все-таки хочу вернуться к политическим реалиям. Я знаю, меня можно упрекнуть в антиисторизме – нельзя, дескать, оперировать цитатами из классиков марксизма применительно к дню сегодняшнему: нельзя ни в негативном, ни в позитивном плане. Но дело не в цитатах. Их можно было бы и не вспоминать, не приводить. Дело в способе мышления, в качестве и свойствах интеллекта сегодняшних политиков. Ленинизм у них в крови, на нем они вскормлены и вспоены, и способ думать «по-ленински» – это вовсе не рубашка, которую можно сменить. Я бы сформулировала даже четче: ленинские принципы борьбы за власть и построения государства мне представляются наиболее де-

структивными сегодня. Но хочется увидеть силы идеологически, мировоззренчески конструктивные.

А.К. Мы разговариваем сейчас, очень точно распределив роли. Вы выступаете как историк общественной мысли. А я выступаю с абсолютно безответственных позиций человека, занятого только собой. Я все-таки беллетрист, сочинитель, мне не слишком близки наши общественные науки. А этим распределением ролей продиктовано и распределение позиций. Почему я думаю, что поиск деструктивных и конструктивных сил одинаково важен? Даже более жизненно необходим поиск деструктивных. Потому что они страшнее... При нашей как бы разности мы все примерно одинаковы как люди очень унифицирующего общества. И Горбачев, и Гдлян, и Собчак... И мне достаточно в себя посмотреть, чтобы увидеть, какие чудовищные деструктивные силы бушуют в нашем обществе. Чудовищные. Но раз они есть, то должны проявиться. Другой вопрос: если у меня руки с горла снять, то вряд ли я выйду на улицу с автоматом. Если меня не давить, я не взорвусь. Это же очень просто. Как только общество перестает вызывать из меня, требовать в действие деструктивные силы, так они и гаснут на уровне подсознания.

А общество каким должно быть, чтобы эти силы не вызывать? Вот я и плохой, и хороший – как же меня сделать лучше? Может, так: если у меня есть желание марать бумагу или холст – значит, мне нужно дать возможность делать это свободно. А если я человек, имеющий достойную склонность не песни петь, а землю пахать – дать мне собственность, сделать меня собственником. Обывателем настоящим. Чтоб я, как европеец, мыл асфальт перед своим домом. У меня есть склонность к умственному труду, к тому, чтобы этим людям, которые пахут и строят, предоставлять помощь или развлечение умственное – дайте мне возможность это развлечение им предоставлять. Они мне платят – я им песни пою. Они собственники – я их наемник.

Л.С. Но кто же не хочет закона о собственности? Кто боится своей клумбы перед своим домом? Кто клянется всем ленинским наследием, что допустить частную собственность – значит выпустить из бутылки джинна мелкобуржуазности? Кто держится за строй, где все работающие – пролетарии, которым нечего терять, кроме?..

А.К. Кто не хочет? Люмпены. Люмпены всех рангов.

Л.С. Закона о собственности не принимают не люмпены, а власть имеющие. Они не люмпены.

А.К. Как же они не люмпены? Они люмпены, и именно люмпены. Один умный человек сказал, у нас в стране батрацкая психология от последнего нищего до... Они люмпены. Они выражают интересы люмпенов. А кто такие, как не люмпены, люди, которые хотят иметь госпак, госдачу, и все гос, гос, гос... Не свое!

Л.С. Ну почему? У них и своего полно. Вы вспомните Живкова, Чаушеску, швейцарские банки... А сейчас они выкупают госдачи за мизер какой-то.

А.К. Напугались. Но в принципе им было очень хорошо – люмпенам. Люмпены внизу и люмпен-фюреры наверху.

Л.С. Все правильно. Но меня мучает одна мысль: люмпенская политика, идеология и психология победили в 1917 году в такой великой стране, какой была Россия. Бездарная, никчемная, пагубная идея, несмотря на всю ту духовную культуру, которая была и которая предупреждала об опасности, все-таки победила, разрушив все структуры, в том числе и собственность. Соблазн этой идеи велик, и сейчас поддаться ему тем легче, что опять огромному большинству людей нечего терять. Идея «справедливого» дележа госимущества так или иначе сквозит в умах и сердцах. Нет идеи популярнее, чем эта, в массовом сознании. Но вспомните, как писал М. Волошин:

Когда из пламени народных мятежей
Взвивается кровавый стяг с девизом:
«Свобода, братство, равенство иль
смерть» –
Его древко зажато в кулаке
Твоем, первоубийца Каин.

Как перестать нам всем быть люмпенами, как сдать в Музей революции кровавый стяг мятежа?

А.К. Чтобы из меня и из другого ушел убийца, нужна не просто демократизация, а приватизация жизни. Приватизация жизни, приватизация собственности, приватизация умственной деятельности. И при этом, естественно, должно существовать то, что называлось общественным договором, должна существовать некоторая государственная структура, которая будет создавать полицию, защищающую меня от проявлений криминальных, от социальной патологии, будет содержать минимальную армию. И все. Это кажется настолько простым – то, о чем я говорю... Это печка, от которой можно танцевать: свобода как первооснова общественной жизни. А чтобы эта свобода не стала снова свободой убийц, не сработала против созидательного начала в человеке – должен быть в ее основе, в фундаменте запрет: не нарушать Закон Господень.

Сейчас мода на религию – пока, увы, в основном мода – мне нравится, потому что, может быть, придут и к настоящему пониманию. к пониманию, что заповеди Христовы – это основа жизни, добра, а нарушение их – это основа смерти, зла. А без этого понимания религия –

это государственное православие, с которым мы уже один раз влетели в пропасть. Было у нас государственное православие, а что случилось меньше чем через год после его «отмены»? Кто пошел купола срывать? Потому что государственная религия была, а не прочная в общественном сознании религиозная идея.

Л.С. Но тогда перед каждым человеком встает проблема выбора собственного политического поведения – соучастия или неучастия в том, что называется властью. А все лучшие люди нашего времени в ней уже соучаствуют или стремятся это сделать, чтобы отстранить или не допустить оппонента. Насколько я понимаю, власть – это не ваш выбор и не выбор героев ваших сочинений. Почему? Ведь если есть хоть один шанс победить многоголовую гидру люмпенского государства, надо бы идти и выставлять себя, ну хоть в кандидаты, то есть, как говорят, бороться, драться.

А.К. Понимаете, для меня принцип, что «добро должно быть с кулаками», то есть борьба за добро методами зла – неприемлем. Человек, вставший на этот путь, терпит в конечном счете либо физическое, либо моральное поражение. Об этом много в моих сочинениях, не только в «Невозвращенце». Я считаю, что если литератор что-то может сделать для наших порядочных людей, решившихся бороться за власть, то только вот это: все время стоять чуть в стороне и своими средствами напоминать о Боге – о Боге в душе, о добре. Чтобы они помнили, за что они дерутся и хотя бы не дрались без правил.

Л.С. Ваш выбор я целиком разделяю. Но меня очень мучит тот выбор, который делает ваш герой из «Невозвращенца». Он выбирает между подлостью и хаосом. Не желая быть мерзавцем, выбирает кровь. Но тогда рушатся все наши представления о приоритетах – пусть будет все что угодно, лишь бы не было крови, лишь бы не было этого ужаса и хаоса. А ваш герой – он все-таки выбирает гражданскую войну, выбирает вариант, когда все летит к черту, все рушится – лишь бы ему не жить в мире лжи и подлости. Но насколько нравственен этот выбор? И даже проще: насколько он практичен в смысле избежания подлости? Неужели Невозвращенец считает, что, когда он идет с автоматом как бы один на один, он выбрался из ситуации подлости? Неужели он думает, что в ситуации войны всех со всеми эта подлость отсутствует? Мне кажется, что в грязи и крови гражданской войны она-то как раз и расцветает, хотя бы потому, что не надо носить маску и соблюдать приличия. Получается, что состояние гражданской войны лучше потому, что честнее, прямолинейнее и т. д.

А.К. Я написал плохую или хорошую, «вскрытие покажет», – но литературу. Это повесть о человеке, а не предложение политического, философского решения проблемы. А человек так устроен: его держат,

держат за горло – тогда он достает нож. Он что, ангел? Он поступает, как свойственно человеку. Когда его загоняют в угол, он забывает христианство, он начинает кусаться. Это точно. Либо он святой. Но мой герой не святой, он нормальный человек.

Нам все время доказывают: в нестабильность общество подталкивают «Демократический союз», радикалы, националисты... А я думаю, что нас в гражданскую войну толкают те, кто хочет, чтобы все осталось как есть, как было. Если к моему Невозвращенцу приходят эти ребята из «редакции», которые так названы исключительно для художественности (каждому понятно, что это КГБ) и достают-таки настолько с вербовкой в стукачи, что он бежит в гражданскую войну, то кто его подтолкнул к этому выбору? Они! Кто может подтолкнуть к этому выбору общество? Те же структуры тоталитаризма, которые сохранились, сохраняются и борются за самосохранение. Нельзя загонять в угол ни человека, ни общество.

У нас недооценивают сейчас роль структур тайной власти. Явная власть может сдаваться, может не сдаваться, может бороться, ее видно. Но есть тайная власть, которая не сдается, потому что никто на нее не может выйти напрямую, назвать – она тайная.

... Для меня ответственность всегда существует двоякая. Существует ответственность историческая, например: кто виноват? А есть ответственность человеческая: кто плох? Вы понимаете, что это не одно и то же. Кто виноват? Виноваты и те и другие. Может, даже те, кто не отдал, больше. Как иницилирующая сила. Но кто плох? Те, кто отбирает. Потому что они неизбежно становятся убийцами. Но я лично, как всякий человек, могу совершать поступки, трудно мотивируемые моей моралью. И мои герои тоже. Да, знают, что насилие – плохо. Но идут на это...

Л.С. Значит, все по разным причинам, и даже вы, человек христианской культуры и веры, тоже выбираете гражданскую войну в такой ситуации?

А.К. Не выбираю – я представляю. И эти представления заново на бумагу. И может быть, тем самым от этого в себе освобождаюсь. Но не все имеют такую возможность – написать и освободиться... Вы говорите, это противоречит моему христианству. Но христианин – это не значит святой.

Л.С. Но тогда мы упираемся в софизм, решить который не могли мудрецы всего мира. Зачем Бог создал такого первочеловека, который был способен восстать против Бога? Зачем? Это бессмыслица. Это дьяволов водевиль.

А.К. Дьяволов водевиль, или, как говорят материалисты, диалектика добра и зла. Но в этой диалектике – дело человека, если он человек, не отрицать наличие зла, но и не утверждать, что добро не существует. А со-

знавать: да, зло и добро есть, и я буду стремиться к добру, бежать от зла. А не бороться со злом, потому что борьба – это и есть зло, и никакого добра от этого не выйдет. Существует возможность поддерживать добро, не уничтожая зла злом, а нейтрализуя зло, уравнивая его силу.

Если вернуться к нашей политической жизни – имеется реальная сила люмпенская; значит, необходимо создавать и оформлять другие политические силы. Партия хозяев, партия интеллектуалов-демократов как угодно... И продолжать, завершать демократические преобразования общества тоталитарного в общество свободное.

Л.С. Значит, если возвращаться к теме политических прогнозов, наш путь, говоря метафорически, от Октября к Февралю?

А.К. Совершенно правильно, если такое движение во времени возможно.

2

Л.С. Хочу обратить Ваше внимание, что наш второй диалог, как и первый, год назад, вновь проходит в канун революционной годовщины. Не потому ли обе беседы получили редакционный подзаголовок: «Нереволюционные речи»?

А.К. Разумнее было бы обозначить их как «Контрреволюционные речи».

Л.С. Может быть. Во всяком случае, мы вновь будем говорить о людях с революционным синдромом. Помните мысль из «Бесов»: «Аристократ, когда идет в демократию, обаятелен»? Обратная сторона этого феномена – большевик, пришедший сегодня в становящуюся демократию. С чем он пришел, чего хочет, как совмещает свой прошлый опыт и новую идейно-политическую ситуацию?

Скажу вкратце о своих наблюдениях. Помню, как в начале нынешней революции, то есть перестройки, многие из них, как бы желая отмежеваться от своего прошлого, публично и громогласно заявили – на разные лады: «Мы вам лгали». Дескать, вот раньше были вынуждены хитрить и ловчить, притворяться, будто верим в опостылевшие догмы. Но пришло время, мы стали другими, и теперь постараемся говорить правду.

И они стали произносить новые тексты. Но было ли это правдой? Думаю, что вряд ли. Это не было ни покаянием в прежней лжи, ни попыткой подлинного обновления, а решением во что бы то ни стало «сохранить лицо», хорошую мину при плохой игре. Игра же была чем-то вроде аукциона на понижение. Вспомните анекдот про «дважды два»: весь мир знает, что дважды два – четыре, а у нас принято считать, что

тридцать девять. Но вот приходят новые люди и, пытаясь «прорваться к правде», начинают играть на понижение. В ход идут другие цифры: не тридцать девять, а двадцать восемь, затем семнадцать. И когда им говорят, что семнадцать тоже ложь, они возражают: но ведь это ближе к правде, чем тридцать девять. Поэтому такую «правду», которая хоть немного дальше от очевидной и прописной лжи, они считают своим духовным завоеванием. Все эти пять лет мы наблюдали в большинстве случаев не преобразование умов, не просветление душ, а постепенное конъюнктурное снижение уровня неправды. При этом участники аукциона считали, что ведут общество вперед, по пути к прогрессу, к демократии. А на самом деле оно не шло вперед, оно просто возвращалось к какой-то искомой цифре как к истине, как к здравому смыслу. Я пока не буду касаться содержания этой истины. Я лишь хочу зафиксировать, что постепенное возвращение к здравому смыслу на каждом отдельно взятом участке пути все равно оказывалось неправдой. И все отговорки, будто «нельзя сразу сказать всю правду», «нельзя обрушивать на человека столько откровений», обернулись кризисом доверия. Те, кто пришел повернуть идеологический руль, оказались банкротами, лжецами уже в это, перестроенное время. Не в этом ли феномен большевизма, пришедшего в демократию?

А.К. А мне сейчас важнее вопрос – сколько же на самом деле дважды два. Вот это самый главный вопрос. Сколько на самом деле дважды два? Четыре?

Важность этого ответа особенно чувствуешь на Западе. Там в культурной аудитории примерно половина левых, мне глубоко чуждых. Я их не приемлю с гораздо более искренним чувством – как ни странно, – чем наших! Наш родной большевик, который от другого большевика в свое время, может, 15 лет лагеря схлопотал за то, что не вовремя и не за то проголосовал, сегодня за макаронами стоит. Расплачивается опять. А вот их большевики, их левые у меня вызывают чудовищное раздражение. Потому что есть же простой выход: ребята, возьмите билет (это очень дорого, но можно заработать), приезжайте сюда и здесь оставайтесь, в нашем царстве вашей победившей справедливости. Здесь и живите! Никто из них, почему-то, сюда не спешит. А там, сидя в интеллектуальной аудитории – в тепле, с пивом – они говорят: ну, неужели ваша революция вам ничего не дала? Вашему народу? Это лживая, на мой взгляд, по высшей нравственности, позиция. Потому что, если тебе так нравится, давай, даже не к нам, у нас ревизионистский путь победил, а давай к Ким Ир Сёну или к Кастро. Там всё в порядке, там идеалы чисты. И живи там. Получишь талон на четыре метра сатина в год – и гуляй. Но они не едут, они там, в проклятом буржуазном, но сытом обществе выступают. Доказывают все-таки, что дважды два –

сорок! И это, заметьте, интеллигенция. А мы теперь говорим: нет, мы точно выяснили, что дважды два – четыре. И постепенно оказываемся – в который уже раз! – в изоляции. Особенно я, с моим консерватизмом, с моей абсолютной приверженностью традиционным буржуазным идеалам. И такие, как я.

Вот почему мне сейчас интересно: сколько же на самом деле дважды два? Четыре, то есть буржуазно-демократические ценности, традиционные ценности буржуазного индивидуализма, свободы и т.д., или какие-то социализированные? Мы это должны решить здесь, для себя, в принципе прояснить свои отношения с социализмом – иначе нам с цивилизованным миром не договориться. Надо сначала понять друг друга с нашими социалистами. Или, как они себя называют, – коммунистами...

Л.С. Люди, которые утверждали: «Мы вам вралли, а теперь говорим правду», должны себе отдать отчет, играли ли они свою игру сознательно или просто заблуждались. Я готова рассмотреть оба варианта: что они заблуждались и что продолжали лгать сознательно. В случае если они заблуждались, мы приходим к очень печальному выводу. Тоталитарная система действительно может самых лучших, самых умных людей довести до полного умственного иступления, настолько задурманить им голову, что они даже не в состоянии сопоставить факты. Сейчас разговаривать с «недавно прозревшими» большевиками смешно и грустно: не будут же они отрицать, будто никогда не читали своими глазами труды своего вождя Ленина или документы по истории своей партии. Стало быть, их «заблуждения» – это не сознательная ложь, но сознательное нежелание разобраться в правде, сознательное нежелание мучить себя этой правдой. Значит, к перестройке наши большевики, устремившиеся в демократию, пришли как слепые котята. Но котята крайне самолюбивые, амбициозные и нашкодившие, в чем ни за что и никогда не признаются. Такие люди не станут мучиться «проклятыми вопросами», и живут они не для того, чтобы «мысль разрешить», а для того, чтобы при любой погоде быть на плаву и на виду. Я уж не говорю о тех, кто сознательно лгал, – об армии обществоведов-профессионалов, обслуживавших режим. Аристократ, пошедший в демократию, обаятелен. Но это уже история. А большевик, пришедший в демократию, за редким исключением, отвратителен – и это наше настоящее, это сегодняшний день.

А.К. Так сколько же все-таки будет дважды два? Потому что мы перешли к серьезному, вроде бы.

Л.С. «Дважды два» – это не образ мира. Это не описание истины и не модель будущего. Арифметика неприменима ни к человеческой природе, ни к истории, ни тем более к будущему. И когда я говорю про

«дважды два», я имею в виду те конкретные события, факты и комментарии к ним, которые большевики, пришедшие в демократию, подавали не с точки зрения истины, а с точки зрения своего имиджа: как бы это пластичнее обрести «человеческое лицо», не утратив ни грамма из приобретенного на большевистском поприще. Вы посмотрите, кто сегодня развенчивает марксизм? Кто возглавляет симпозиумы по религиозному возрождению? Вчерашние методологи истмата и преподаватели атеизма. Это и есть сфера, где дважды два – четыре, все эти спекуляции с «импульсом Октября», «социалистическим выбором» и т. д.

А.К. Мне кажется, что сейчас феномен революции уже достаточно ясен в нравственном аспекте. С революциями разбирались, разбирались, и за этот год разобрались вроде. Отношение к революции почти однозначно негативное у всех людей, кто имеет вообще привычку вырабатывать свое отношение. Все это зачеркнуто жирной чертой. Большевикам уже никто не верит. Но дальше-то надо писать не с пустого места? Нету другой истории, кроме той, которая есть. Ее нельзя отрицать – но, главное, не обязательно бродить бесконечно по ее тупикам. Сегодня я говорю: истинны только моральные ценности, заповеданные от Бога. Человеку необходима свобода, свобода во всем: в экономике, в политике, духовная свобода и т. д. Мои оппоненты говорят: очень хорошо, но тогда это свобода и для злобных и жестоких торгашей... И начинается всё сначала. И они, где-нибудь в Дюссельдорфе или Копенгагене, начинают мне рассказывать политэкономии капитализма по Марксу. Что я могу на это возразить? Тем более что мы еще не успели вступить даже в период первоначального накопления – а мы должны в него вступить.

Л.С. А я хотела задать встречный вопрос. Все-таки люди, которые пришли в демократию с таким искаленным сознанием, с таким низким уровнем правды, ведь они сейчас представляют власть в нашей стране. Они и только они, и других нет. Я не знаю всех механизмов теневой экономики, не знаю, кто именно и за кем стоит, но уверена – там тоже люди с большевистским сознанием, с партбилетами и с хватательным инстинктом на первом месте. Как они пользуются демократическими ценностями? На что они их употребляют? На чье благо?

А.К. У меня сейчас такое ощущение: возникла новая методика жизни. Если раньше большевик, пробившийся в секретари обкома, свою жизнь строил по методике, продиктованной этим своим партийно-феодалным положением, – этого было достаточно. Теперь большевик, пробившийся в секретари обкома, если он не идиот, уже строит свою жизнь по другой методике. Он использует это свое положение для того, чтобы вступить в совместное предприятие, где-то найти способ использовать свое служебное положение для обогащения. У него уже в уме

возникает индивидуалистическая схема жизни. Дурная, продиктованная ему дурными обстоятельствами – но индивидуалистическая! Не казарменно-коллективистская...

Если мерить историю чисто этическими мерками, то основное преступление сталинизма – это насилие. Там не было других преступлений, если на самом деле глубоко задуматься над сталинизмом. Тотальное насилие определяло жизнь общества: угроза убийства. А нынешняя ситуация, вышедшая из брежневизма, – нарушение всех заповедей, какие только есть. И «не убий» нарушается по-прежнему, но стала нарушаться и «не укради». Ведь возрождающаяся индивидуалистическая система жизни – она всегда в основном нарушала заповеди «не укради», «не пожелай»... Заповеди, будем так говорить, экономические. У меня, может быть, очень кощунственный и не ортодоксально-христианский взгляд, но для меня существует иерархия заповедей. И самая важная для меня заповедь – «Не убий», против насилия. Сейчас она – почему я и сторонник перестройки – у нас нарушается меньше, а что стали нарушаться остальные – «не пожелай», «не укради» – что ж, они для меня чуть ниже стоят в иерархии запретов. А что нарушаются... ну, переходный период, ничего не сделаешь.

Л.С. Меня пугают слова «переходный период». На моей памяти было столько переходных периодов от чего-то к чему-то, что сложилось представление, будто мы никогда не жили – мы все время переходили. Даже в структуре пятилетки у нас были какие-то начальные года, решающие года, итоговые года, результативные года и т.д. Но не в этом дело. Давайте вернемся к людям, пришедшим в демократию.

А.К. И к самой демократии.

Л.С. Конечно. Но у нас нет демократии. И не о чем говорить поэтому. Можно говорить лишь о тех людях, которые причисляют себя к демократам чисто организационно. Это и народные депутаты демократической ориентации, это и средства массовой информации, это и мы с вами.

Давайте посмотрим сами на себя и на то, чем мы являемся. Мы – это значит люди, которые провозгласили приоритет демократических ценностей и как бы олицетворяют позитивные перемены. Грустно мне сегодня говорить о приоритетах нашей демократии и демократов – не всех, конечно, но, к сожалению, весьма многих. Тех, чья общественно-политическая жизнь – это двухнедельный промежуток между поездками (куда угодно, лишь бы позвали), в течение которого надо успеть, во-первых, оформить новые визы и билеты, во-вторых, выступить по ТВ, в-третьих, изложить по телефону для газеты свою точку зрения по любому вопросу, в-четвертых, мелькнуть раз-два на депутатских собраниях и хоть раз постоять у микрофона – чтобы засвидетельствовать

свое участие и присутствие. За исключением тех, кто, взвалив на себя какое-то конкретное дело, несет за него конкретную ответственность, остальные говоруны – это рантье, стригущие купоны депутатского статуса, уверенные, между прочим, что судьбы страны решаются не дома, а на европейских конгрессах.

А.К. Считайте, что я сказал более жестко, но я скажу так: они не щепетильны. Мне очень неловко, но приходится говорить, отталкиваясь от своего опыта, потому что другого нет. За всю свою достаточно долгую жизнь я не воспользовался никакой услугой власти: от получения квартиры до бесплатной путевки. Считаю, что и сейчас, какой бы ни была эта власть, пользование ее услугами ставит человека в зависимость. Если эти люди, депутаты и проч., летают за свои деньги, в свое время, то никого это не касается. Если же они летают за счет власти, это уже плохо.

Понимаете, с властью у приличного человека должны быть очень сложные взаимоотношения. Власти надо бояться, бояться принимать что бы то ни было от нее. Власть даже даме не может пальто подать. Если джентльмен даме пальто подаст, он за это потом не потребует переспать. А власть подаст пальто – она потом за это всего попросит: у нее представления о джентльменстве другие. От власти нельзя принимать ничего.

В нормальном обществе все боятся принимать блага от власти. На Западе считается очень завидным материальное положение государственного чиновника: большая пенсия обеспечена, не уволят, безработица не грозит и т. д. Но при этом в чиновники рвутся только определенные категории – в основном обездоленные социально. Все прочие предпочитают рисковать в частном бизнесе. Победишь – денег больше, не победишь – прогорел, но в любом случае независим! С тебя потребуют ровно столько, сколько заплатили. Власть же всегда требует чуть больше, чем заплатила. Потому что у нее в руках система наблюдения. Ты начинаешь ей принадлежать, как только принял от нее подачку. Наши же демократические ребята не стесняются от нее принимать...

Быть народным депутатом – это вообще весьма рискованное занятие для независимого человека. «Зависеть от царя, зависеть от народа...» Мне не хотелось бы зависеть и от народа. Они согласились зависеть от народа – ну хорошо. Но зависимость не должна быть зависимостью раба. Рабы – нечестны, рабы не могут быть честными. Раб всегда приворовывает, присачковывает. Народ отвернулся – а они на казенные деньги куда-нибудь ближе к Гвадалкивиру, народные судьбы решать, от голосования сачкануть...

Это не демократы. Это вольноотпущенные рабы.

Л.С. Это, так сказать, уже второй момент. То, что раб при хозяине использует все возможности, все льготы и все привилегии на полную катушку, новая властная структура только подтвердила. Но все-таки, хоть раб, хоть вольноотпущенник, хоть народный избранник, они должны служить, работать.

А.К. Раб не служит, никогда не служит добросовестно. Он ворует и сачкует. Хозяин отвернулся, надсмотрщик отвернулся, народ отвернулся – он спит. Надсмотрщик посмотрел – он делает вид, что работает. Отвернулись избиратели – избранники слиняли в Америку. Посмотрели избиратели – избранники устроили скандал на сессии под демократическими лозунгами. Или под антидемократическими – неважно.

Они работают, когда на них смотрят. А если не смотрят, и еще «Советская Россия» не влезет – слинять! Святое лагерное, рабское дело – слинять вовремя.

Причем чисто советское – это наше нынешнее рабство психологических установок. Русских не называли рабами. Их называли крепостными, это очень точно. Потому что они были не свободны, но освящены христианством. Христианин христианина не может считать совершенно не человеком, то есть рабом. А мы и нехристиане, и при этом несвободные. Но нехристиане и несвободные – это и есть рабы. Все ясно.

Л.С. Мне не все ясно. Я все-таки хочу понять, есть ли у нашей элитарной демократии мотивы благородные, мотивы служения – в пушкинском смысле этого слова? Есть ли намерение лично что-то сделать? Помочь хоть одному человеку? Вот сейчас демократию упрекают в том, что она воспроизводит черты русской либеральной интеллигенции накануне октябрьского переворота. Самовлюбленность, желание покрасоваться, громче всех прошуметь. И все это в сочетании с абсолютной беспечностью, легкомыслием и безответственностью. Как говорил Бунин, с таким праздничным отношением к трагедии. Корректно ли такое сопоставление?

А.К. Я буду стоять на своей – быть может, эпатирующей точке зрения. Я не вижу ничего дурного в том, что люди, даже во время трагедии, хотят жить празднично. Хотят взлететь, сделать политическую, профессиональную и любую карьеру. Нормально это. Ограничителем человека в таких побуждениях – нормальных побуждениях – может быть только вера, только религиозная вера. Всякая другая – в коммунизм, в перестройку и т. п. – это дьявольская вера, это зло. Но человек грешен. Он может быть верующим, но он грешен, и ему свойственны греховные человеческие побуждения – тщеславие, жажда карьеры, жажда успеха. Нормально! Что ж ненормально в этих людях, о которых мы говорим – в советских демократах? Почему у них жажда успеха не сочетается

с общественной пользой, расходится? Может, потому, что греховные побуждения верой не ограничены, не пресекаются?

Л.С. Во всем мире люди, делающие карьеру, вносят свою лепту в преуспевание всего общества. А у нас нет. У нас по мере роста, известности, популярности и фейерверочности бытия отдельного политика общество деградирует в целом. Будто сумма усилий преуспевающих демократов, людей, известность которых становится все грандиознее и грандиознее, приносит ничтожные, отрицательные результаты. Уже «есть мнение»: общество деградирует в результате деятельности этих «звездных людей».

А.К. У меня есть предположение. Чем, на мой взгляд, отличается в лучшую сторону западное общество от нашего? Оно построено, как ни странно, на не идеалистических – в дурном смысле – началах. Идеализм – в смысле мифа. Если там человек в своих тщеславных устремлениях входит в противоречие с благом общества, он обречен на неуспех. Так устроено то общество, таков механизм. Об этом у нас неглупые люди говорили давно: пусть она мне улыбается за деньги – про западных продавщиц. В жизни не должно быть места подвигу. Пусть народный депутат ездит за границу в казенное время и на казенный счет. Но пусть это и кончится тем, что ему не нужно будет туда ездить, потому что он перестанет быть народным депутатом.

Л.С. Ну а совесть, скажите?

А.К. Для меня совесть – понятие религиозное. Совесть большевистская – это на уровне анекдота: что такое – маленькое, черное и всегда спит? Это большевистская совесть. Значит, они не сдерживаемы ничем. А естественные человеческие побуждения – жажда успеха в любом деле. И не совестью в благоустроенном обществе это должно сдерживаться, а нормальной обратной связью: будешь нехорош для людей – будет плохо тебе.

Л.С. А как вы относитесь к тезису, который я неоднократно слышала, будто наша демократия потому так хромает, что на самом деле не имеет власти, что ее властное положение фиктивно и иллюзорно?

А.К. Вы понимаете, это смешно. Это мне напоминает воспитательную беседу: вот Гайдар в 16 лет дивизией командовал, а ты двойку из дневника стер. Это вздор! Это не пример. Ведь можно и наоборот прочитать: он дивизией командовал – он сотни людей убил, а ты всего-навсего двойку из дневника стер. Я бы так поставил вопрос: слава Богу, что наши демократы пока дивизиями не командуют, а только двойки из дневника стирают! Когда они получают власть, они почувствуют ее ответственность?

Но ответственность – это не из их области, для этого надо иметь другую нравственность: нравственность, основанную на истинной вере,

либо нравственность, основанную на истинном страхе потери власти. Страху потери этих возможностей, которыми они располагают. Но нету соответствующего механизма. Общество не на этом стоит. Общество стоит вот на чем: мы Ельцина любим, он – хороший. Мы верим, что он хороший, поэтому он все делает хорошо. А любому человеку, который верит, что Ельцин обязательно все делает хорошо, всегда хочу задать один вопрос: скажите, пожалуйста, зачем он делает все хорошо? Он что, святой? Нет, он явно не святой, он не святую жизнь прожил и продолжает ее жить. Но несвятому, чтобы быть хорошим, должно быть выгодно быть хорошим! Где механизм этой выгоды? Я по образованию математик. Так вот, у меня вопрос: здесь отрицательная обратная связь или положительная? Увы, в нашем обществе, при Сталине, как и при Ленине, как и при Иване Грозном, была только положительная обратная связь. И сейчас – положительная обратная связь: чем сильнее власть, тем она еще сильнее. Чем еще сильнее, тем еще сильнее. Неважно, хорошая или не очень, важно, что сильная, любимая. А должна быть отрицательная обратная связь: чем сильнее власть, тем она слабее, тем больше ей противодействия.

Л.С. Уже все поняли, что демократия, которая выламывается из тоталитаризма, несет на себе все его уродливые черты. Уже все увидели, что демократы, перекрашенные из большевиков, тоже несут на себе печать своего первоестества. Можно, конечно, возразить: бедные, несчастные большевики служили не Богу, а дьяволу. Но теперь можно послушать и доброму делу, почему же им не попробовать? Возможно ли это в принципе? Когда мы создаем демократию из тоталитаризма, мы видим уродство созданного плюс некоторую надежду на лучшее. Есть ли что-либо здоровое во всем этом, жизнеспособное? Иными словами, есть ли какая-то специфика в положении нашей демократии? Специфика, которая как-то роднила бы ее с нормальной демократией или с национальной почвой: или какая-то другая, но обнадеживающая специфика? Ибо будущее нынешней демократии, если в ней нет больше ничего, кроме родимых пятен большевизма, вполне безнадежно.

А.К. Для меня это и серьезный, и сложный вопрос. Почему вдруг в недрах недемократии возникает демократия? Я думаю, вот в чем дело: демократия – это устройство общества сильными людьми. Эти люди: а) отказываются от того, чтобы их опекали, в то время как для слабых – самое главное, чтобы их кто-то опекал; б) понимают, что самого сильного по силе не определишь – только передерутся все, а для слабых необходим самый сильный. И сильным ничего другого не остается, как между собой договориться. Это и называется общественным договором.

Так вот, в недрах нашей недемократии в тоталитарной системе выплыли сильные люди, достаточно образованные, опытные, которые по-

няли, что свернуть друг другу шею – себе дороже, лучше уж демократия, общественный договор. То есть я думаю, что у нас возникла первоначальная, ранняя демократия – олигархическая демократия, демократия людей сильных, вышедших из недемократии. Это начало демократического процесса. Правда, начало с очень плохим человеческим – прошу прощения за то, что повторяю это ужасное выражение, – материалом. Нынешние олигархи только что ими стали. Отсюда и дополнительные издержки.

Л.С. Вы считаете, что нашу демократию образуют вышедшие из тоталитаризма люди плюс их ухудшенные человеческие качества в силу ухудшения человеческого фонда?

А.К. Да, именно так.

Л.С. Но тогда мы должны сделать жесткий вывод, который приближается к дважды два. Мы живем на земле, а не в раю, с грешными людьми, которые несут на себе грех прародителей. Дурных, жадных, злых полно везде, независимо от того, живут они в хорошо или плохо организованном обществе. Люди расчетливы, эгоистичны и корыстны; и хотя нормативная мораль считает эти качества, скорее, негативными, с ними следует мириться. Помните у Достоевского: «Возлюбить человека, как самого себя, по заповеди Христовой, – невозможно. Закон личности на земле связывает. Я препятствует. Один Христос мог, но Христос был вековечный от века идеал, к которому стремится и по закону природы должен стремиться человек». Но опыт жизнеустройства цивилизованного мира свидетельствует: эгоизм отдельного человека, его себялюбие и даже корысть не ослабляют общество, а укрепляют его. Как ни дико для нашего сознания звучит эта мысль, но сейчас нужно бояться людей, которые декларируют приоритеты общества перед личностью. Я уже не доверяю тем, кто сильно болеет за счастье народа. И мне придется выговорить противоестественные для христианского мышления слова: люди должны желать добра прежде всего себе. И заботиться о себе лично прежде всего.

А.К. Под каждым словом подписываюсь.

Л.С. Но чем отличается желание добра себе лично от того рвательства, от той безрассудной жадности, от той вопиющей нахрапистости, которую мы видим у тех, кто дорвался до благ? Это и есть ответ, искомое «четыре». Люди, желающие себе добра, должны понять: самая большая опасность для их благополучия таится в тех, кому не повезло. Человек, которому хуже, чем тебе, не может спокойно смотреть на твое благополучие. Не может! Это выше человеческих сил. Зависть – это чувство исконное, оно, как и зло, находится рядом с добром, бок о бок. Его нельзя искоренить, его можно только немного успокоить. Значит, человек, который делает благо себе, всегда должен помнить о тех, кому хуже. И для

того, чтобы ему было хорошо – только из этих соображений (если нет других, высокогуманных), – он должен, обязан добиваться блага для общества. Таким образом, чем лучше будет становиться ему, тем лучше должно становиться несчастным. Когда русский барин-аристократ получал наследство, он первым делом одевал дворню. Ибо, если лакея оставить оборванным, хозяина будут осуждать гости. Это, может быть, слабое сравнение, но оно хоть в малой степени описывает то «четыре», как я его понимаю. Если человек желает добра себе, он обязан заботиться, чтобы в его округе все несчастные были устроены, имели место и кусок хлеба. Если он не будет смотреть в эту сторону, он сильно рискует. Во имя социальной справедливости в один прекрасный день усадьбу с землей сровняют, библиотеку сожгут. «Идут мужики, несут топоры – что-то страшное будет» – вот лозунг революционной ситуации 60-х годов XIX века.

Значит, оптимальный вариант, до которого общество цивилизованное уже дошло, – чем выше уровень жизни, тем больше пособие для безработных. Чем выше уровень жизни, тем больше перепадает всем несчастным, слабым, неудачливым. А такие – при любом строе – никогда не переведутся. Отсюда заповедь: неустанно заботиться о своем собственном благе, но оглядываясь на несчастных и спеши делать добро; помни: кто не работает, тот все равно хочет и должен есть. Отсюда главный тезис социального страхования, предотвращающего глобальные бедствия: идя наверх, смотреть под ноги. Психология на уровне «пусть неудачник плачет» губельна именно для счастливчика; этот бедолага-удачник рано или поздно накличет на себя гнев «народных мстителей». И все пойдет по старому кругу.

А.К. Поскольку я целиком согласен с этим, то получается, что мы с вами твердо и безоговорочно встали на позиции мировой социал-демократии. Что, я думаю, для вас является полной неожиданностью.

Л.С. Я размышляю в категориях социального суеверия, а не в терминах социал-демократии.

А.К. Думаю, это является до какой-то степени и для меня неожиданностью, – правда, кое над чем из этого ряда я в последнее время размышлял. Прежде, когда мне начинали петь сладкие песни про социал-демократию, у меня складывалась брезгливая мина, я всегда считал себя традиционным буржуазным консерватором. Но оказывается, что достаточно иметь немножко ума, как понимаешь, что позиция твердого консерватора очень неустойчива, опасна, хотя, на мой взгляд, и справедлива. И приходится считаться, заключать союз с социал-демократией – ничего не поделаешь, весь мир наша жуткая революция научила. А мы опять рвемся в жестокий, беспощадный и чреватый кровавым бунтом слабых примитивный индивидуализм, – что, просто по глупости на-

шей? Или, может быть, без почти зоологического отношения к слабым на цивилизованный уровень и не подымешься?

Л.С. То понимание добра и социального благополучия, о котором у нас идет речь, диктует не рабское, не из-под палки, а свободное служение обществу. Должна измениться сама психология служения обществу: нужно заниматься делом не потому, что Горбачев смотрит в мою сторону, а потому, что, манкируя своими обязанностями, я поджигаю стул, на котором сижу. Служение общественному благу становится категорическим императивом человека, желающего добра себе лично! Вот формула, которую я бы сравнила с «дважды два».

А.К. Правильно. Осталось некоторые слова назвать. Что для осуществления вашей формулы нужно? Для этого нужно пройти путь. Путь, который приводит к такому пониманию. Страшно говорить, но... Этот путь – путь жестокости. Это ужасно, но это так. Это тот вывод, к которому я пришел несколько лет назад... Путь жестокости – куда он ведет? Опять мне стыдно и страшно говорить, но я должен: он ведет в царство свободы. Это то, к чему неизбежно необходимо прийти. Иначе ничего не будет. Предположить, что мы можем сразу стать Рокфеллерами, которые знают, что 80% прибыли надо вкладывать в развитие производства, 17 – в социальную защиту и только 3 – в наращивание капитала – идеализм самый дурной. Они к этому пришли в восьмом поколении. А до этого был путь жестокости: работные дома, расстрел рабочих, умирающие с голоду безработные. Все было. Предположить, что мы это преодолеем, что этого вообще не будет? Это прекраснодушие, это мостовая из благих намерений. Так не бывает. Это путь в ад. Единственное, на что можно, я думаю, надеяться – на конец XX века. Нравы улучшаются, страшный путь пройти можно быстрее. Можно и нужно в конце XX века.

Л.С. Не только потому, что конец XX века, можно быстрее. А потому, что мы это делаем уже по второму разу.

А.К. И поэтому. Дураками быть дважды – просто позор.

Л.С. Вот именно: нельзя быть два раза дураками. Нам предстоит сейчас вступить в этап жесточайшего первоначального накопления, грубого и хищнического, молодого и необузданного капитализма времен Диккенса. Представляете? После Достоевского, Толстого и Бердяева, воспитанные христианской моралью нестяжания и коммунистическими представлениями об уравнительной справедливости, со всем этим букетом социальной романтики мы попадаем из иллюзорных дворцов добра и света в ночлежки Оливера Твиста. Так неужели ничего из пережитого, добытого опытным путем, мы не сможем учесть сейчас и снова – очень скоро – услышим: «Идут мужики, несут топоры, что-то страшное будет»? и снова молодая демократия окажется «рыцарями на

час» и размыкает этот час по Америкам и Европам? Мне страшно только оттого, что все это уже было и все повторяется вновь. Наши дураки готовы ошибаться и дважды, и трижды, и сколько угодно раз.

А.К. Нам надо все-таки напоследок свои позиции в диалоге разграничить. Единственный способ, по-моему, выгresti из ситуации – это знать, что происходит. Иначе, если мы будем уверены, что мы строим безукоризненную, современную, зрелую демократию, – это гибель. Мы идем путем свободы. Кровавым, тяжелым, жестоким. Этот путь может быть короче, потому что мы многому научились, потому что мы знаем Гитлера, Сталина, многое поняли, испугались. Все произошло уже с нами, что могло с людьми произойти. Не стоит повторять тупиковых маршрутов. Но и глупо думать, что правильный путь можно преодолеть прыжками. Надо идти медленно, терпеливо, кряхтя, но понимая, – другой дороги нет. Пройти, шаг за шагом. Искупить грех, а не увильнуть от искупления. Как, бишь, нам объясняли – у перестройки нет альтернативы? Не знаю... Но у свободы, думаю – действительно нет.

*«Закружились бесы разны, будто листья...» Диалог с Ю. Карякиным**

Л.С. Не буду скрывать, что испытываю сейчас сильный соблазн; под каждым действующим лицом романа «Бесы» проставить фамилию современного исполнителя.

Ведь любой персонаж не просто человеческий тип, характер, но и идейно-политический символ, и некий духовный знак. И как бессмертны Плюшкины или Ноздревы, так вечны либералы-идеалисты вроде Степана Трофимовича Верховенского и политические жулики вроде Петра Степановича.

Кто бесы – с точки зрения сегодняшнего контекста? Мне кажется, в личном составе «перестройщиков» произошли качественные изменения. Бесспорно, демократическое движение начинали Степаны Трофимовичи. Да, легкомысленные, да, болтливые и хвастливые, да, грешные и слабые, трижды да – не умеющие ничего делать из конкретных дел. Но, говоря словами этих нетленных персонажей, бездеятельность и праздность никогда не были высшим принципом их поступков. Сегодня, задним числом, приходится признать, что они, идеалисты, хилые интеллигенты, были чем-то красивы и значительны. Может быть, поэтому так неистово и злобно ругают их те, кто приходит на смену, – циники и прагматики, люди дела и поступка, безошибочно узнаваемые в каждом своем шаге; Петруши...

«Лучшие люди всплывут во время опасности», – много раз повторял Достоевский. Это при такой-то опасности, как сегодня, такие лучшие люди?

Что поразительно – не из одного, а из всех противоборствующих общественных движений как-то вымывается наиболее совестливая, интеллигентная, культурная их часть. И приходят не те, кто смел, свободен и уже не ведает страха, а те, кто дерзок, развязен и лишен соображений порядочности. Последнее особенно мешает: с этим, по-видимому, и связана дикая кампания, проведенная всеми, без исключения, печатными органами под девизом – закопаем и отпоем отечественную интеллигенцию. Не верю в чье бы то ни было дирижерство, но, стало быть,

* Диалог опубликован в «Литературной газете» (1992. 11 марта).

в воздухе носится дерзновенное и нетерпеливое желание: поскорее, побыстрее стряхнуть с рук и ног последние путы, чтобы вперед и дальше и без оглядки.

Желание канонически бесовское: мечта «вонючего и развратного лакея, который первый взмоется на лестницу с ножницами в руках и раздерет божественный лик великого идеала, во имя равенства, за- висти и... пищеварения».

И никуда не деться от того непреложного обстоятельства, что на смену бесхребетному идеалисту-либералу приходит циник-захребетник, плоть от плоти его. Либерализм закономерно сменяется нигилизмом.

Вот один только штрих: не успели похоронить убитых в дни августовского путча, как со всех сторон – заметьте, хором, что левые ультра, что правые архи: какой путч – оперетта, спектакль, фарс. Как все спешили запятнать грязью те три дня! Опять знакомое: по бесовской модели всякое благое намерение и доброе дело должны быть повернуты изнаночной, теневой стороной, всякая победа – опорочена и оплевана, согласно установкам изнаночного мира, всякого гения следует «потушить в младенчестве», а каждого праведника лишить доброго имени. И я помню, что нашлись-таки мерзавцы, которые даже в дни похорон Сахарова не утерпели, не удержали свои языки и перья – торопились нагадить у свежей могилы.

Ю.К. Это и есть «Бобок». И гласность имеется, и демократия наклеивается, и церковь наконец отделяют от государства, и Бога все научились писать с заглавной буквы, а принцип «всё дозволено» утверждается всё наглее и веселее. Поймали человека на гнусном поступке (прямо как за руку в чужом кармане) – и ничего! И он сам вам объявляет: «а у нас плюрализм...» и его «наши» – хоть бы хны, за него горой. И это сплошь, что у «них», что у «нас»...

Л.С. Расскажу любопытный и поучительный эпизод. На вечере в ЦДРИ мне задали вопрос по поводу недавних митингов – у Белого дома и на Манежной площади. Я ответила честно, что прежде на митинги ходила, но теперь избегаю, так как вижу нечестность и тех, и других. Радетелям народа, доставшим из кладовок красные знамена, до народа столько же дела, как до сорной травы в Ботаническом саду. Во все времена пресловутые «страдания простых людей» были для политических бандитов разменной монетой, сейчас – это последняя ставка бывших красногвардейцев, Демократы же, мотивируя свой митинг, заявляют: нам надо показать, что нас больше. Ничего себе диалог: «народ бедствует» – «а нас больше». «Вот и вывели вас на чистую воду, теперь понятно, с кем вы! – закричал вдруг гражданин из зала. – Вы уже давно не наша. А хорошо, однако, замаскировались». Не правда ли, знакомая ситуация? Почти цитата из нашего романа.

Но если бы пошла на митинги, я сказала бы и тем, и этим: идите по домам, не нервничайте и не кричите. И если у вас в избе не метено, не чищено и не мыто, приберитесь, белье постирайте, тараканов повыведите – вспомните «Федорино горе» Чуковского. Как-никак жилье – наша единственная собственность. Не слушайте коммуняк – они уже размотали всю страну по ветру, с молотка пустили. Вымыть окна и подмести двор – несомненное и первейшее патриотическое дело. Что же касается демократического скандирования «пока мы едины – мы непобедимы», мне странно было слышать этот лозунг из уст людей, только что вдрызг расколовших свою партию. Так же странно и даже дико было слышать сокровенное «в отставку» из уст священнослужителя – что-то не знаю я такого псалма...

Ю.К. А вы знаете, просто вкус, эстетика и в политике играют великую роль. Ну, убей меня – не поверю, чтобы А.Д. Сахаров скандировал: «Пока мы едины – мы непобедимы...», и насчет священника соглашусь: «наш» одного требует в отставку, а «ихний» – через несколько дней другого. Вопрос: в чем миссия священника? Представляю: Тихон (из «Бесов») в Мараты подался...

Л.С. На обоих митингах было много женщин того возраста, что ведут домашнее хозяйство. Но вести социально активную жизнь веселее, чем мыть полы у себя дома. Так уже семь лет мы кричим и беснуемся, провоцируя самих себя и ничего не делая для улучшения своей собственной жизни. Ждем подаяния, ждем и смотрим по сторонам – кто бы это нас накормил, одел и обул. По будням стоим с протянутой рукой, а по красным числам – под знамена, хоть белые, хоть красные, хоть трехцветные...

А на трибунах – все новые трибуны, претенденты на посты и должности: вскоре, в установленном порядке и очередности, они займут свои места в соответствующих структурах, заматереют и уже на митинги не выйдут; к микрофонам прильнут свежие молодые силы с мощным стимулом к действию.

«Ну-с, и начнётся смута! Раскачка такая пойдет, какой еще мир не видал... Затуманится Русь, заплачет земля по старым богам...»

Смута продолжается...

Ю.К. Смута, конечно, страшная, небывалая. Я заканчиваю сейчас работу от «Бесов» до «Архипелага ГУЛАГ». Эти две книги знаменуют какой-то целый, законченный цикл не только русской, но и мировой истории. Одна книга – у самого входа в ад, другая – на выходе из этого ада. Одна – страшный крик предупреждения о страшном бедствии. Другая – «опись» результатов этого бедствия. Но оглядываешься сегодня вокруг, и хочется сказать: «Бесы» – это роман, последними невидимыми словами (водяными знаками) которого оказались слова, сейчас

все более явственно проступающие: «Продолжение следует». Какое? Хочется сказать: одно-единственное, а именно – «Бобок», сплошной беспросветный «Бобок». Покойнички, которым дан последний шанс спасения, вопят: «Все это там вверху было связано гнилыми веревками. Долой веревки, и проживем эти два месяца в самой бесстыдной правде! Заголимся и обнажимся!» И далее – комментарий Автора: «Разврат в таком месте, разврат последних упований, разврат дряблых и гниющих трупов и – даже не щадя последних мгновений сознания! Им даны, подарены эти мгновения и... А главное, главное, в таком месте!»

Но что следует дальше? А вот что: «Нет, этого я не могу допустить... Побываю в других разрядах, послушаю везде. То-то и есть, что надо послушать везде, а не с одного лишь края, чтобы составить понятие. Авось наткнусь и на утешительное». Здесь я как бы отступлю к своей любимой мысли последнего времени. Опросите 100, 1000 человек, и 99, а может быть, и все 999 на вопрос; что такое Апокалипсис, ответят: последний ужас, конец света. Но Апокалипсис – это просто откровение. О чем откровение? Тут не одна, а три грани, даже четыре (больше, конечно!) грани. Во-первых, действительно, откровение о конце света. Во-вторых, о Страшном суде. Но, в-третьих, о «новой земле и новом небе». Так вот, можно сказать, что Апокалипсис (вы, Людмила Ивановна, как мало кто, знаете, сколькими и какими он испещрен заметками Достоевского) – это в известном смысле прамодель всех романов Достоевского (и многих рассказов) и именно во всех тех трех гранях. А еще и в четвертой – царствие Божие на земле (пусть временное). Боюсь и надеюсь, что лишь еще бóльшая беда утихомирит нас и спасет от тех бед, в которых мы сейчас погрязли.

Л.С. «Бесы» – действительно книга для пожизненного чтения и осмысления. Мне хотелось бы добавить: и воздействия, но здесь я вынуждена сделать одну оговорку. Все пишущие и читающие, безусловно, верят в силу слова, в его способность переделывать мир и человека, в его миссию учить и лечить – иначе бы никто не писал и никто не читал. Между тем нам был явлен колоссальный опыт – хотя бы недавней истории, перед лицом которой люди уже сказали все возможные слова. Ну и что? – можно спросить теперь. Кого это удержало? Лев Толстой писал: «Мир погибнет, если я остановлюсь». Но ужас и трагизм жизни заключался в том, что и Толстой не останавливался (метафорически говоря), и мир все равно погибал. Слово, которое призвано было отсрочить или отменить Апокалипсис, и сам Апокалипсис совмещались во времени и в пространстве – сосуществовали, иногда даже не замечая друг друга.

Сколько за последние годы вышло изданий этого романа! Сколько горьких слов написано и сказано о бесовской нетерпимости, об ультра-революционности, о пресловутом «цель оправдывает средства»! Книж-

ный рынок и рынок идей этими смыслами насыщен, читатель переполнен, а жизнь идет как в параллельном кино.

И что показательно – само понятие «бесы» стало отборным ругательством всеобщего употребления, универсальным средством политического мордобоя. Так что, когда все – без различия цветов, оттенков и знамен – клеймят друг друга презренным бесовским тавром, нет смысла вопрошать: *кто бесы?* Почти безнадежен и вопрос с обратным знаком.

Ю.К. Я бы здесь кое-что уточнил. Бессилие слова? Примеры можно утысячить, умиллионить. Слово Достоевского, Слово Пушкина, Слово Шекспира, Толстого, даже Слово Христа, а мир всё хуже, всё безобразнее... (Что уж наше слово?) Все так. Но вот вопрос: а не будь тех Слов?! Да ведь и вы, и я, и тысячи других суть воплощенное опровержение вашего тезиса. Да ежели не было бы Достоевского, «Бесов», я бы так и остался Маугли в стае волков. Вот Ленина, по его словам, всего перевернул, «перепахал» Чернышевский, а меня – Достоевский, причем перевернул из ярого марксиста, ленинца, сталиниста даже... Валентинов свидетельствует, что Ленин как-то сказал о Достоевском: я эту мерзость не читал и читать не буду... И я вдруг вспомнил, как в 1948 году, 18 лет мне было, на вопрос одной девушки, однокурсницы, как я отношусь к Достоевскому, брякнул: «Не читал и читать не собираюсь. Я люблю Уитмена!» Этакое мускулистое хамство, неосознаваемое, разумеется... А потом вдруг бросился в Достоевского, как в омут, барахтался, захлебывался, тонул, но в конце концов выплыл (выплываю), спасся (спасаюсь)... А сам Достоевский что говорил? «Спасение от отчаяния всех людей, и условие, *sine qua non* (без чего нет), и залог для бытия всего мира, и заключается в трех словах: слово плоть бысть, и вера в эти слова...» Еще: «Вся действительность не исчерпывается насущным, ибо огромной своею частию заключается в нем в виде еще подспудного, невысказанного будущего слова». Или: «Скажи мне одно слово (Пушкин), но самое нужное слово». И еще: «Слово, – слово великое дело!» Повторяюсь: а не будь таких Слов?!

Л.С. Я не отрицаю способности слова воздействовать на человека, напротив. Я лишь допускаю, что книга, в которой исчерпывающе, до дна проявлен механизм функционирования зла в человеке и обществе, не отменяет, к сожалению, существования самого зла. Мне кажется также, что обличение бесовщины не имеет своим прямым следствием исчезновение ее с лица земли. И если я не могу сказать с уверенностью, что увеличение добра автоматически уменьшает зло, то как же я буду утверждать, что одоление бесовщины прямо зависит от мужественных усилий десятка исследователей этого – по-видимому – вечного явления?

Мысль эта неприятная и обидная, но, по-моему, честная. к тому же я глубоко убеждена, что Достоевский не вообразил мир «Бесов», не при-

думал его, а открыл. Именно открыл, соединив вечное и злободневное в бытовании добра и зла. Легче ли становится человечеству, когда оно живет, уже ведая, что творит? Боюсь, что ответ и на этот вопрос будет нелестным для просвещенного человечества.

Но оставим человечество в покое – мы за него ручаться не можем. Поговорим о дне сегодняшнем. Продолжается эпидемия разоблачений, растут ряды *абличителей* (именно так называет их Достоевский – через букву «а»). Лейтмотив: все кругом сволочи, подонки, стукачи и такими были всегда. Подоплека: совсем чистеньких здесь нет, не было и быть не может по определению; в мире тотального зла – все бесы. Не иссякает и ручеек исповедей самовыражений. Чтение, признаюсь откровенно, муторное. Сколько кокетства со своим прошлым, сколько позы! Как, оказывается, люди любят свои грехи, потекают им! Бесовщина в себе человеку нравится, она ему забавна и почти мила. Какой там строгий суд, какое раскаяние... Все та же телекамера – и чтобы покрасоваться, и если ничем не отличился сегодня, можно вспомнить былые подвиги, благо теперь никто ничем не брезгует.

Ю.К. Достоевский не средство, а самоцель – это для вашего поколения является, к счастью, само собой разумеющимся, но, к сожалению, не для моего. Вольно или невольно, для нас почти все было средством. Понимаете, мы изначально были страшно отравлены, и, как я понимаю сейчас, больше всего – воинствующим атеизмом. Да, я мог бы погордиться, что одним из первых участвовал в «амнистировании», а потом и в «реабилитации» Достоевского. Но слишком долго вся эта «амнистия» и «реабилитация» происходила в границах, в терминах марксистско-ленинского судилища. И как незаконны были духовный арест Достоевского, запрет, ссылка, так же, в сущности, незаконны и «амнистия», и «реабилитация». Был врагом. Стал попутчиком, а иногда и союзником. Персонажи судили и прощали демиурга, бесы – Достоевского...

Кстати, расскажу одну историю. Меня долго мучил вопрос: Ленин и Нечаев (прототип или один из прототипов Петруши Верховенского). Ни одного упоминания Ленина о Нечаеве ни в каком собрании сочинений нет. Ни одного! Это казалось тайной, которую я сначала не разгадал, точнее, разгадал примитивно: значит, не принимал Ленин Нечаева, а так как не знать не мог, то, выходит, абсолютно выключил, отключил его от себя. Ленин и Нечаев – несовместимы! Так я думал и даже писал. Увидеть в Петре Верховенском Сталина особого ума не надо было. Но вот постепенно стали в нем для меня проступать и черты Ленина. Я сопротивлялся, как мог, а они всё больше кололи, резали глаза. И вдруг, лет 15–20 назад, в журнале «Тридцать дней» (№ 1, 1934) нашел свидетельство В. Бонч-Бруевича, что Ленин если не обожал (обожал он Марк-

са), то невероятно восторгался Нечаевым: «Типы революции... Один из пламенных революционеров... Нечаев должен быть весь издан... Достаточно вспомнить его ответ в одной листовке, когда на вопрос “Кого же надо уничтожить из царствующего дома?” Нечаев дает точный ответ: “Всю большую ектению”. Ведь это сформулировано так просто и ясно, что понятно для каждого человека, жившего в то время в России, когда православие господствовало, когда огромное большинство так или иначе, по тем или другим причинам бывали в церкви и знали все, что на великой на большой ектении вспоминается весь царствующий дом, все члены дома Романовых. Кого же уничтожить из них? – спросит себя самый простой читатель. – Да весь дом Романовых, – должен был он дать себе ответ. Ведь это просто до гениальности!» Выходит, расстрел в Ипатьевском доме был давным-давно предreshен, и предreshен не тактически, не стратегически, а именно мировоззренчески... Но сейчас я не об этом. Повторяю, все резче проступали в Петре Верховенском черты Ленина. И мне стало казаться, что Ленин должен был читать этот роман с ревнивым и болезненным пристрастием. И как я был поражен, когда узнал от того же В. Бонч-Бруевича: «В.И. нередко заявлял о том, какой ловкий трюк проделали реакционеры с Нечаевым с легкой руки Достоевского и его омерзительного, но гениального романа “Бесы”, когда даже революционная среда стала относиться отрицательно к Нечаеву...» Обнаружив это свидетельство, я подарил его своему другу, прозаику Ю.В. Давыдову, и мы дали друг другу слово о нем помалкивать, потому что если старые стражи идеологии, вроде В. Ермакова, знавшие, конечно, о том, умерли, то новые, прослышав, запретят вообще писать о «Бесах»... Но оставалась еще одна тайна. Маркс и Энгельс написали специальную работу против Бакунина–Нечаева, а I Интернационал провел против них два конгресса. Неужели Ленин не ведал об этом? Не мог не ведать! Выходит, знал и, несмотря на это, восторгался Нечаевым? Две тайны соединились и раскрыли друг друга: потому именно и нет в собраниях сочинений Ленина ни одного упоминания о Нечаеве, что он знал о работе Маркса–Энгельса, для того именно и нет, чтобы избежать открытого им противопоставления. Значит – испугался? А может быть, посмеивался (про себя) над их «наивностью»? Но факт есть факт, и факт капитальный: Ленин и Нечаев оказались совместны, да еще как! Ленин – за Нечаева, Ленин по этому вопросу против обожаемых им Маркса–Энгельса (не совсем, мягко говоря, смело).

Л.С. Но, заметьте, большевистские историки 1920-х годов соединяли имена Ленина и Нечаева не то что бестрепетно, но с полным восторгом. В этом смысле они явно предпочитали факт очевидного сходства двух исторических фигур факту осуждения нечаевщины основоположниками марксизма. Ленин же, редактируя брошюру Маркса и Энгельса

«Бакунисты за работой», написанную в 1873 году (в том же самом, что «Альянс...»), и виду не подавал, что знаком с антинечаевской брошюрой. И сам Ленин, и историки его выучки старались никогда не упоминать классиков в этой связи...

Ю.К. Тогдашние – в 1920-х годах – действительно были в восторге от сходства Ленина и Нечаева. Но еще задолго до них, в начале века, Плеханов едва ли не первый установил это сходство и был от него в ужасе. Как и Горький на другой день после Октябрьского переворота. Как и Г. Лопатин: вернувшись тогда в Россию, он спросил у Веры Засулич: «Что такое Ленин?» – и получил ответ: «Вылитый Нечаев!» И вот, оказывается, сам Ленин гордился этим сходством, настаивал на нем... «Бывают странные сближения» (Пушкин): 1870 год – гремит «дело Нечаева» и рождается Ленин...

Л.С. То-то и дело, что человек весьма странно устроен: ленинское слово навеивает на него сладкие грезы о коммунизме, а Достоевское слово – такие же грезы об окончательном одолении бесовщины. Для меня это загадка, как загадка и то, каким образом совмещаются в одной и той же личности разнонаправленные идеологические устремления. Впрочем, мне уже давно хочется повернуть разговор в сторону злободневности, и это, надеюсь, будет не вопреки, а как раз по Достоевскому.

Если я скажу, что мы вновь, в который раз, живем по принципу «наши» – «не наши», я просто буду ломиться в открытую дверь, до того навязло в зубах одиозное «кто не с нами, тот против нас». Причем вовсе не евангельское, а сугубо политическое. Но фактура меняется, словооборотень всенародно клеймится, сам же принцип остается.

Не буду сейчас говорить о новых коммунистах, «очеловечившихся» настолько, что решились перевернуть девиз: «Кто не против нас, тот с нами». Они якобы мирные люди, и их бронетранспортер стоит пока за пределами московской кольцевой дороги.

Но вот недавно испеченный функционер из демократов свысока бросает свое «фэ» газете, которая посмела задеть его персону. «Вы не борцы за демократию», – возмущается персону, искренне отождествляя себя с целым движением и предполагая, что граница порядочности полностью, во всех своих изгибах, совпадает с границей партийности.

Роман «Бесы» работает не тогда, когда все хорошие восстали против всех плохих, а когда в обществе и в человеке – смута, каша. Когда всё перемешалось и когда своя правда есть у каждого – равно как в каждом сидят ложь и зло. И когда всякий норовит и свою правду, и свою ложь возвести в некий канон, абсолют. Это, дескать, мой опыт, который мне дорог, и я не хочу перечеркивать свою жизнь.

Ю.К. Что такое «Бесы» для меня? Или – кто такие бесы? Прежде всего в какой-то момент я вдруг понял: там и мой портрет. Главный

мой бес во мне и сидит. И все беды – тут я трижды с вами согласен, – все беды и сейчас состоят в том, что все друг друга изобличают бесами и почти никто не смотрится в зеркало (разве только для самолюбования). Герцен умирал с выстраданной мыслью: нельзя освобождать других, прежде чем не освободился сам. Говорил: я не вижу свободных людей... Что, Маркс свободен? Ленин? Да, в смысле якобы ими познанной необходимости, то бишь диктатуры пролетариата... А где свободные люди сейчас? Сколько их?.. А знаете, что я скажу?.. Несмотря ни на что, нарождаются! Их очень, очень мало еще, но, может быть, больше, чем когда бы то ни было в России. Такой вот парадокс.

Л.С. Но все-таки есть по крайней мере два пути познания исторического момента. Первый путь – через совершение ошибок, через тяжелые, мучительные опыты, когда ввязываешься в дело с закрытыми глазами, и только потом, если дело сделано, постепенно прозреваешь и открываешь глаза. Второй путь – несоучастие в сомнительных и тем более заведомо пакостных предприятиях, то есть некоторая политическая аскеза при широко открытых глазах. Примеры хорошо известны: Бунин, Короленко, Сахаров – при всем различии личностей. Для меня великий урок Достоевского в «Бесах» явлен простой фразой из предсмертного письма Ставрогина к Даше: «...все-таки имею привычки порядочного человека и мне мерзило» (10: 514). Потрясающий образ несоучастия, метафора эстетической и этической невозможности иметь опыт общения с грязной шайкой политических авантюристов, своего рода физиологический барьер. Заметьте, это говорит человек испорченный, утонченно развратный, которого не берут морализаторские сказки о добре и зле. Но какие бы метафизические сложности и мистические тайны ни окружали психотип Ставрогина, есть план не слов, не намерений, но поступков. И Ставрогин, совершивший много тягчайших преступлений против нравственности, в петлю полез, а не пошел служить самозваной власти – даже и вождем. Да, он духовно растлил «наших» – и устав им писал, и компанию водил, и лжеидеями соблазнял, – Достоевский судит за это своего героя суровым судом.

Но какая разница между растлителями давно ушедшей и нынешней формации! Кто хоть сколько-нибудь устыдился своей прежней роли – идеологического растлителя? Я не знаю таких. Напротив: все при власти, при корыте, при карьере (пока можно за них держаться). И никто не делает драмы из заблуждений своего ума, из ложного пути, по которому проходила жизнь.

Ю.К. Когда вы говорите, что не верите в покаяние прежнего поколения, я хотел бы уточнить. Наверное, вы правы в отношении большинства, может быть, девяти десятых. А куда деть одну десятую? А. Солженицын пишет: «Постепенно открылось мне, что линия, разделяющая

добро и зло, проходит не между государствами, не между классами, не между партиями – она проходит через каждое человеческое сердце... Линия эта подвижна, она колеблется в нас с годами». Это моя любимая мысль у него, поэтому простите, приведу ее полностью: «Даже в сердце, объятom злом, она удерживает маленький плацдарм добра. Даже в наилучшем сердце – неискоренимый уголок зла. С тех пор я понял правду всех религий мира: они борются со злом в человеке (в каждом человеке). Нельзя изгнать вовсе зло из мира, но можно в каждом человеке его потеснить. С тех пор я понял ложь всех революций истории: они уничтожают только современных им носителей зла (а не разбирая впопыхах – и носителей добра) – само же зло, еще увеличенным, берут себе в наследство».

К чему я это? А вот к чему. И тот же Солженицын, уже в тюрьме, в камере защищал «Ильича»! А Достоевский? Сам говорил, что нечаевцем он мог быть (да ведь, в сущности, и был, точнее – петрашевцем), Нечаевым – нет. И я убежден, что без этого искуса, без этого опыта никогда не написал бы он «Бесов». Помимо, помимо всего прочего, «Бесы» – ведь это еще и исповедь, и покаяние, и искупление самого Достоевского. Эта исповедь-покаяние-искупление как бы растворена в романе, не видна воочию, но тут для меня «соль соли» романа, хотя и растворенная. И Герцен пореволюционерствовал, посоциалистичничал, и долго, прежде чем понял: «Нельзя людей освобождать в наружной жизни больше, чем они освобождены внутри... Взять неразвитие силой невозможно». Тут закономерность. А возьмите наших так называемых «легальных марксистов» – Бердяева, Струве... Кем они стали и, главное, из кого?.. Так и в наше время происходит, пусть не со многими, но происходит. Каковы тут критерии? Искренность. Честность. Беспощадность к себе. Что еще? Самостоятельность – это уж обязательно! и бескорыстие – ещё обязательно. Скажут: субъективные критерии. А по мне, так ничего объективнее и нет... Я знаю человека, который, сделав карьеру на прославлении войны в Афганистане, говаривал: «Подумаешь, трагедия! Будем ездить на курорты в Афганистан, как сейчас ездим на Кавказ...» Я не назову его имени, с него достаточно, что я это знаю и он это знает. Но что меня здесь радует? Трусость. Пусть попробует сказать это публично!..

Кто из сегодняшних политических или квазидуховных лидеров обжегся мыслью: «Недостаточно определять нравственность верностью своим убеждениям. Надо еще беспрерывно возбуждать в себе вопрос: верны ли мои убеждения?» (Достоевский)?

В «Бесах» Достоевский окончательно открыл: покаяние «великого грешника» невозможно. Надежда на него – прекраснoдушная (и смертельно опасная) утопия.

*И вновь свобода пришла не ко двору. Диалог с Г. Явлинским**

В те романтические времена, когда зарплаты почти хватало и от либерализации экономики ждали скорого чуда, старый спор, годится ли русским западный капитализм, разыгрывался по образцу почти анекдотическому: «не круглое, но зеленое». Можно ли вводить рыночные отношения в стране, где по традиции слова «торговец», «купец», «частная лавочка» в любом контексте воспринимаются как оскорбительные? Забавно ли либеральная экономика в обществе, которому долго внушали, что богатым быть стыдно, а бедность не порок? Есть ли перспективы у лозунга «Обогащайтесь!» среди населения, честная часть которого свято хранит антибуржуазные идеалы, а остальные усердно воруют, не нуждаясь в идеалах.

Так называемые «самобытники» обсуждали «русскую специфику» исключительно в риторическом духе, ставя вопросы, отрицательный ответ на которые был готов заведомо. Что же касается «крутых рыночников», то они, снисходительно подсмеиваясь над младенческим лепетом об «особом пути», восклицали: «Посмотрите на Польшу! Вспомните про Чили!»

Когда выяснилось, что пряников сладких и впрямь не хватает на всех, я решила обратиться к тому, кто, казалось, обещал их в изобилии и в самом скором будущем. На первую же мою телефонную реплику – о верблюде, которому удобнее войти в игольные уши, чем богатому в царство Божие, – Григорий Явлинский ответил неожиданно серьезно: «Я думал об этом давно...»

Так стал возможен наш диалог.

Л.С. Как вы решили создавать экономическую программу вхождения в рынок, зная, что страна, народ, для которых вы работаете, имеют – как это принято считать – природный и исторический иммунитет против накопительства, частной собственности? Если «русская специфика» все же учитывалась вами, какую тактику по отношению к ней вы избрали: проигнорировали или договорились с самим собой, что с «национальной мистикой» можно подождать?

* Диалог опубликован в «Московских новостях» (1992. 29 марта).

Г.Я. Договориться с самим собой – это вы правильно сказали. Не принимать в расчет особенности своей страны было бы или абсолютно невозможно, или крайне опасно.

Но я не думал в то время, что, вступив в дискуссию по русскому вопросу, можно было не завязнуть в нем и найти нечто новое. Поэтому захотелось дать отчет самому себе, что я делаю: закладываю основы эффективной экономики, меняю сознание людей или что-то еще. Ответ получился не сразу, но был очень простой: прежде чем говорить «капитализм», «частная собственность», надо дать людям возможность сделать осознанный выбор, которого они давно и насильно были лишены.

А дальше шли чисто профессиональные задачи. Конечно, я знал, что православие сильно отличается от протестантизма, главенствующего во многих высокоразвитых странах. Но я и не ставил малореальную цель – догнать их и перегнать. Свою цель я формулировал иначе: вот камень, и перед ним стоит человек. Ему выбирать дорогу, по которой идти – прямо, налево или направо. Не мое дело советовать или указывать ему, куда ходить. Но мое дело развязать человеку ноги, ибо они у него связаны, и он давно уже не умеет ходить вообще. Экономически это означало: отдать людям собственность, землю, создать для них настоящую национальную валюту.

Л.С. И тем не менее вы как экономист, политик не сочли для себя необходимым публично заявить о своих замыслах. И, насколько я знаю, ни разу не выступали с декларацией о намерениях, где бы объяснялось, какая этическая подкладка лежит в основе вашей реформаторской программы. Вы, разумеется, честны перед собой, но, согласитесь, вас мало кто понял. И ваша программа «500 дней» была воспринята скорее как некое чародейство, магическая формула, чем практическое руководство по развязыванию пут на ногах.

Г.Я. Почему я не заявлял о своих намерениях? Коротко отвечаю: а меня не спрашивали. Я был готов к ответу, но общество не было готово к вопросу. Вы первая, кто меня спросил об этом. Я стоял перед парламентом почти полгода, и о чем только меня не спрашивали. Один очень-очень-очень большой руководитель, главный, спрашивал, например, не получаю ли я деньги из ЦРУ. В союзном парламенте интересовались, сколько я уже заработал на публикации программы «500 дней». А вы говорите, что для нас деньги не главное. В российских структурах пытались разузнать, не подговорил ли меня Горбачев писать эту программу, чтобы причинить вред Ельцину, а в союзных все были убеждены, что это происки Ельцина. Ваших вопросов мне никто не задавал. А почему я сам их не подымал? Хорош бы я был, если бы вдруг, на полуслове прервав себя, сказал: а теперь давайте обсудим, как соотносится

моя программа с русской идеей. Я уверяю, несколько десятков человек у телевизоров захлопали бы – всего несколько десятков на всю страну. Давайте посмотрим на проблему иначе. Почему общество – если это гражданское общество – не задает таких вопросов? Вот сейчас, когда оно вталкивается в весьма своеобразные реформы, почему оно не спрашивает с реформаторов?

Л.С. Тут я, может быть, с вами не соглашусь. Пусть не в точных словах, не в законченных формулировках, но оно подавало и подает сигналы своего беспокойства.

И коммунистические митинги, и ностальгия по распределительному социализму, и растерянность стариков-пенсionеров перед стихией рынка. Я могу презирать Жириновского или любого другого политика, но я не могу не сочувствовать старой учительнице, которая клянется, что умрет с голоду, но не пойдет торговать с лотка кооперативным товаром. Мне ее жалко, как жалко всех тех, кого обманывали и обкрадывали. Не стоит их сейчас называть Шариковыми – несчастных, обездоленных людей. Что же касается парламентских сфер, то я бы сильно удивилась, узнав, будто там кто-либо всерьез может интересоваться, какая этика и религиозно-нравственная установка положена во главу угла нынешних радикальных реформ. Почему? Потому что единую проблему расчленили и растащили по партиям: либералам положено безусловно поддерживать рыночные нововведения, а компатриотам – формировать оппозицию, используя как раз этические аргументы.

Г.Я. Я действовал не по поручению какой бы то ни было партии, а именно как экономист. И как экономист считаю, что в основе любой экономической программы, особенно реформаторской, лежит моральная концепция. Смысл моей позиции – предоставить людям, по крайней мере для начала, исходные экономические возможности, чтобы по своему усмотрению распорядиться своим трудом, своим заработком, своей жизнью, наконец. Другими словами, предоставить человеку возможность выбора.

Л.С. Иначе говоря; программа «500 дней» была попыткой создать базу для правового и экономического самоопределения каждого человека, включая сюда и моменты национальной психологии?

Г.Я. Совершенно верно. Там была заложена схема: все, что держало у себя государство, отдавали людям. Исходная посылка: программа делается не за счет людей, а за счет расставания государства со своими монополистическими привычками. И этим мы очень сильно отличались от Польши и других стран, где многих вещей никогда и не было у государства,

Л.С. Итак, мы все были в тюрьме и со связанными ногами. Как вы думаете, почему мы так и не вышли из нее?

Г.Я. Грубо говоря, не захотели. Не знали, как захотеть так, чтобы по-настоящему сделать что-то для себя и своих детей. Искали какие-то причины... Говорили: Горбачев, Ельцин... Как только программа экономического освобождения заработает, разница уйдет с повестки дня. Мы же прощали отсутствие серьезных идей, реальных программ, прощали обман, вилание, дешевый популизм.

Л.С. Многие считают вас идеалистом, фантазером. Вы покушались на святая святых, на самые основы жизни. Вы хотели сделать человека свободным, когда про него известно, что он с трудом выносит свободу, тяготится ею и готов отдать ее всякому, кто посулит гарантированный кусок хлеба.

Г.Я. Хорошо. Но пусть он сделает это сам. А на сегодняшний день он даже этого сделать не может.

Л.С. Значит ли это, что на пути выхода из тюрьмы ключ от ворот кто-то перехватил?

Г.Я. Нет. Одни просто хотели открыть ворота, а другие стали спорить о качестве тюремных камер и ширине ворот. В общем, озаботились не тем, как выйти из тюрьмы, а тем, как выходить. Чувствуете разницу? Им говорили: давайте выйдем и разберемся на свободе. А они отвечали: как, все вместе? у нас ведь разные национальности?! Так что пока все только и ходят туда-сюда внутри тюрьмы, заглядывая в разные камеры и уточняя, как там кого называют.

Л.С. Но тюремщики – они все-таки хотят выпустить заключенных на свободу или нет?

Г.Я. Хотят. Но при этом хотят оставаться главными. Они понимают, что больше держать людей в камерах невозможно, ибо разнесут все к чертовой матери. Говорят: мы давно решили всех вас выпустить. И мы вас как раз и поведем. Правда, на одни ворота у нас многовато вождей.

Л.С. Есть ли у них какой-нибудь план? Какая этика в его основе? Вы не декларировали свои намерения по одной причине, но новые реформаторы тоже отмалчиваются и в моральные дискуссии не вступают.

Г.Я. Судите сами. Что заявило новое правительство? Мы не будем писать программы – народ устал от программ. Потом писать нечто вроде программы пришлось, но не для согласования с нами, а прямо сразу «для согласования с Международным валютным фондом». Это и есть этическая позиция. Но если они претендуют быть правительством народного доверия, почему они толком не объяснили народу, что собираются делать? Вот у меня книжечка «Экономическая политика правительства России». Посмотрите, как она устроена: указы, указы, указы и ответы на придуманные ими самими вопросы об этих же указах. За кого нас принимают?

Л.С. Ну и как? Век свободы не видать? Или опять это будет слишком дорогостоящая свобода? и что же здесь – бездарность или злой умысел, безответственность или некомпетентность?

Г.Я. Я отвечу иначе. Представьте себе художника: и кисти у него хорошие, и краски, и холсты. Но вместо картины получается каша. Что, они не делают приватизации? Делают. Что, они не хотят земельной реформы? Хотят. Что, они не освобождают цены? Освобождают. Но что получается? Меня спрашивают: почему я им не помогаю? Но как? Это все равно что в дурной живописи подправить один мазок. Я не могу это подправить. Между тем операция, которую следовало бы проделать, именно такой сложности и такого качества... И теперь вернемся к началу разговора: может быть, в России иначе нельзя? Может быть, действительно свобода у нас нестерпима? А только так: выходи, стройся, бери лопату, копай. После всех этих печальных митингов у меня появилось сравнение: можно проводить реформы, пропитывая ими общество, как скрепляющим раствором, а можно расколоть... Я не хотел сталкивать людей, что-то давая одним, уничтожать других.

Они все – мои люди, как мои пальцы. В этом, если хотите, мое ощущение родины. Скажу точнее: что, «красно-коричневые» не президентские? Они даже больше его, чем кого-либо другого... Свобода, власть, государственность, Россия – все это глубочайшие категории, которые именно сейчас, через поражения, много переосмысливаются.

Л.С. Вы не упомянули еще и о легитимности власти. Сначала в припадке политической экзальтации народ всем миром избирает себе спасителя, затем, не дождавшись чуда, шарахается в сторону и шельмует прежних кумиров. Может быть, у нас и преобладает стратегия указов вместо разумной экономической политики, поскольку власть, самонадеянно полагаясь на прецедент всенародного волеизъявления, не заботится об укреплении своего статуса и норовит обойти не только этику, но и логику своей жизнедеятельности? Но смотрите, как быстро фактор всенародного волеизъявления перестает работать: вот уже нет Гамсахурдиа, Муталибова... Кто следующий?

Г.Я. Но «следующие»-то считают, что тех смели, потому что они плохие, в отличие от них самих, хороших. Легитимность нужно не только получить, но и заслужить, и подтвердить. Особенно сейчас.

Л.С. И все-таки на каких принципах сегодня вы строите свои отношения с властями? Вы включаетесь в их политическую игру, ибо как гражданин считаете своим долгом им помогать, или умываете руки и работаете на себя, на будущее?

Г.Я. С какими властями? С этими? Разве это власти? У их границ режут и убивают, а они только смотрят. У них президент в каждом селе, и начались референдумы о том, что их не хотят знать. Их валютой

распоряжаются без всяких согласований четырнадцать госбюджетов и столько же центральных банков. Похоже, эти власти имеют только два рычага: они печатают деньги и выдают лицензии на вывоз ресурсов. Но при этом везде не хватает уже заработанной наличности, и если вы не получили лицензию, можно вывезти все и без лицензии. Нашу экономику, нашу государственность накормили огромной дозой слабительного, и оно уже впиталось в кровь. Сейчас нам дают еще и снотворное. Ахать и охать по этому поводу бессмысленно.

Надо осознать, что процессы уже идут и их необходимо хотя бы обезопасить. А вообще-то власть только тогда власть, когда она может что-то дать, а не забрать. И мы пытались и будем пытаться участвовать в создании такой власти.

*Человеческое и... иное измерение. Диалоги с Ю. Мамлеевым**

1

Л.С. Хочу начать с одного неожиданного для себя наблюдения. Готовясь к лекциям для немецких русистов, я осваивала темы и тексты новой русской литературы, И, чтобы не утонуть в частных впечатлениях, попробовала, как меня о том просили, найти более или менее универсальный критерий, доступный любому читателю. Мне показалось, что таким критерием может быть человеческое измерение героев в сочинениях постсоветских и бесцензурных. Прицельное чтение помогло обнаружить тенденцию, подтверждающуюся едва ли не каждым вторым текстом. Если обратиться к произведениям, ориентированным на «наше время», то окажется, что герои (за малым исключением) образуют устойчивый социальный тип и потому охотно «откликаются» на первые же вопросы простой анкеты. Оставляю в стороне их имена и фамилии, а также национальную принадлежность (всегда, кстати, точно обозначенную) и обращусь к возрасту героев – как правило, сильно поживших. Напрашивается вывод о тотальном «постарении» литературного населения. Где Чацкие, Иваны Карамазовы или Базаровы, которым за двадцать? Где героини, которым семнадцать? Похоже, нынешние писатели не знают даже, что делать с такими «детьми». Проще с «отцами» – их партийность прописана с точностью до избирательного блока. Но, пожалуй, выразительнее всего приоритеты литературы отразились в профессиях ее героев и героинь – фотомоделей, сутенеров, акул богемы и бизнеса, – прекрасно знающих, с какой стороны намазано масло. Плотоядные немолодые дивы, пожилые плейбои, обоего пола растиньяки с волчьим аппетитом и неистовой жадой успеха, славы, денег решают свои многочисленные проблемы, убеждая друг друга, например, в том, что Ален Делон не пьет одеколон. Очень похоже на рекламный клип – что-то насчет стиля «Кент» с переодеванием.

Ю.М. Герой вульгарно-буржуазного плана у нас сейчас активно пропагандируется. У его американского двойника все человеческое сво-

* Диалоги опубликованы в «Московских новостях» (1992. 4 окт.) и в «Литературной газете» (1996. 20 марта).

дится к удовлетворению основных инстинктов, а вечные и высшие вопросы, как и высокая культура в целом, признается ненужным хламом: они имеют право на существование только в карикатурно сниженном и оглуленном виде. Трудно представить, что таков идеал нашей самой прозападной интеллигенции. Живи наши «западники» даже и в весьма образованной среде на Западе, они обнаружили бы, что похожи на западных людей не более, чем герои Достоевского на какого-нибудь служащего из лондонского банка, хотя на пропагандистском уровне они могут твердить обратное. И неужели к такому герою стремилась наша интеллигенция в 60–80-е годы, грезя о свободе и собираясь на кухнях своих квартир?

Л.С. Помните пушкинскую строку: «В заботах суетного света / Он малодушно погружен»? Это уже не о героях, а об авторах. Не берусь судить о готовности современных авторов к «священной жертве», но часто эта погруженность в суету, в подробности обыденного существования как раз и составляет плоть литературы; герой становится бытовым (а не духовным) двойником автора, а литература – физиологическим очерком, посвященным описанию одного лица. Автора откровенно не интересует что-либо, выходящее за пределы его собственного, частного опыта; он не владеет «другой» психологией, «другой» (то есть отличной от своей) манерой мыслить и чувствовать. И вот что еще странно: как мало в нынешних романах запоминающихся «второстепенных» персонажей. Видимо, потому, что для их появления необходим интерес к «другому», создающий дистанцию между «я» своим и «я» чужим.

Ю.М. В моем случае автор превращается в холодного (иногда даже жестокого) отстраненного Наблюдателя, который изображает происходящее с далекой улыбкой существа, находящегося в состоянии нирваны. И хотя такое состояние предполагает наличие сострадания, оно – в общем клубке метафизического парадокса – может быть по отношению к героям весьма и весьма сдержанным.

Л.С. Та литература, о которой говорю я, предлагает героя, мало знающего о метафизике. Это обыватель, человек середины, с претензией на значительность. Если сравнивать с литературой прошлого, то ближайшим аналогом такого героя окажется маленький Чичиков – человек «публичный», в отличие, скажем, от героев Достоевского – «подпольных». Помните, Мережковский писал: «Два главных героя Гоголя – Хлестаков и Чичиков – суть два современных русских лица, две ипостаси вечного и всемирного зла – «бессмертной пошлости людской». По слову Пушкина, то были *двух бесов изображенья*. Вдохновенный мечтатель Хлестаков и положительный делец Чичиков – за этими двумя противоположными лицами скрыто соединяющее их третье лицо

черта «без маски», «во фраке», в «своем собственном виде», лицо нашего вечного двойника, который, показывая нам в себе наше собственное отражение, как в зеркале, говорит:

– Чему смеетесь? Над собой смеетесь!

Два главных героя Гоголя – два полюса единой силы; они – братья близнецы, дети русского среднего сословия и русского XIX века, самого срединного, буржуазного из всех веков; и сущность обоих – вечная середина, ни то, ни се – совершенная пошлость». А кто в литературной традиции оказывается главным проповедником тихого, безмятежного, частного счастья, без высших устремлений? «Гуманист», восставший против Бога и решивший «исправить» Христа, – Великий инквизитор. Это он обещает «смирненное счастье» слабосильным существам, потакая их ничтожности и принижая их человеческую природу. Именно он заинтересован в утверждении стандартов «массового человека», с его дозволенными грешками и рекламируемыми вожделениями.

Ю.М. Я не сомневаюсь, что Достоевский – не только как писатель, но и как визионер, пророк – актуален и в нашу эпоху. Это классика, которая не лежит на полках, а живет в сознании людей и формирует их. В этом и предназначение настоящей русской литературы. Но сейчас так модно повизгивать, что-де литература должна наконец стать только игрой слов, неким всемирным «бе-бе-бе». Достоевский же создал метод «фантастического реализма» – метод глубинный, который наиболее полно соответствует духу нашего великого евразийского континента, ибо жизнь здесь действительно фантастична. Любопытно, что мой роман «Московский гамбит», написанный в духе традиционного реализма, многими западными славистами оценен как «фантастический». Хотя героев этого романа я во многом списывал с натуры, они показались именно «фантастическими»: мне говорили, что «такие люди не могут существовать вообще».

Л.С. Я понимаю, как могут раздражать вечные апелляции к Достоевскому. Но это факт: именно его герои выходят к XXI веку; именно они дают самое точное знание о природе человека. Достоевский – национальный философ России; в этом причина его неизменной актуальности для России. Русская история после Достоевского складывается как «периоды созвучий» тем или иным его сочинениям. Сегодня это «Подросток» с его всепоглощающей идеей «миллиона» и «Идиот» – с преступным, темным миром дельцов, ростовщиков, жадных авантюристов. Но, как это ни прискорбно, темный мир, где все продается и покупается, диктует свои законы, которые в России трактуются не метафорически, а буквально: поэтому продаются границы и покупаются человеческие органы. Такой мир неминуемо провоцирует соблазн бунта и ситуацию «Бесов» – вот этого-то как раз и не хочет признать нынешний агитпроп,

ратующий за дикий капитализм. Так что пугающая большевизация страны происходит сегодня как иррациональная месть общества агрессивному либерализму, не желающему признавать реальность причин и следствий; это азы, которые проиграны у Достоевского исчерпывающе и многовариантно. Такое ощущение, что лидирующие идеологи дикого капитализма имели двойки и по истории, и по отечественной литературе. Не знаю, есть ли сейчас шанс выбраться из омута одних и тех же повторений.

Ю.М. Прежде чем говорить о будущем литературы, хочу сказать о том, что уходит или уже ушло. Думаю, что навсегда ушла в прошлое как литература «социалистического реализма» (она умирала уже в 1970–1980-е годы), так и «диссидентская» литература. Иными словами, исчезает «просоветская» и «антисоветская» литература (как говорят на Западе, «завербованная»), на которой держалась предыдущая эпоха, ибо уходит сама эта эпоха. Возрождение же чего-либо близкого к социализму, если оно произойдет в нашей стране, будет иметь, на мой взгляд, существенно новые черты. И если Россия сможет – какой бы ни был ее путь развития – отстоять свою национальную самобытность и независимость, не превратится в жалкую колонию, то ей предстоит, я думаю, великое и необыкновенное будущее. Это относится и к литературе, и к философии, и к метафизике, которые далеко еще не сказали своего последнего слова. В России есть простор для непостижимого, и его беспредельное и тайное дыхание, просто его присутствие создает возможность истинно великого творчества. Если Россия, говоря по блоковскому наитию, – Сфинкс, то взгляд этого Сфинкса может быть познан... Россия может стать центром мира в сфере литературы и искусства, и для этого ей необязательно оглядываться нелепо на Запад. К сожалению, многие наши гуманитарии, загипнотизированные внешним интеллектуализмом Запада, не осознают, насколько огромны и глубины возможности нашей культуры.

Чтобы все-таки тверже стоять в настоящем, я отмечу те тенденции в современной литературе, которые, думаю, будут продолжены и углублены. Их две. Первая – связанная с традиционным реализмом (поскольку он еще не исчерпал себя в России), но преобразенным, приобретшим новые взрывные черты. И «фантастический реализм» будет, видимо, одной из линий этого течения. Вторая тенденция ближе к тому, что можно назвать «литературой иных измерений»: это могут быть со-вмещения реального и ирреального, реального и сверхреального; «иные измерения» могут быть обозначены и как скрытые тайники человеческой души, и как вторжение параллельных миров (в том числе, к сожалению, и низших), и как измерения космологического или метафизического порядка...

Л.С. Что все-таки вы называете «иным» измерением? Может быть, это то же человеческое измерение, но не по горизонтали, не по обычному житейскому бытованию, а по вертикали? Тогда здесь явятся и мистическое небытие, и инобытие, и звездные мгновения божественной полноты жизни, и запредельный духовный опыт. Кстати говоря, постмодернизм, не посягая на житейскую горизонталь (она нужна как условная сцена действия), пытается сокрушить именно вертикальное измерение – превратив его в дурную бесконечность пародии и злокачественного цитирования.

Ю.М. Литература «иных измерений» существовала всегда, особенно в добуржуазную эпоху. Литература никогда не замыкалась на рационализме и только земном мире. Однако, на мой взгляд, это не вылилось в определенное течение, скорее, это были индивидуальные попытки поэтов и писателей вырваться из тюрьмы земного мира.

Человечеству, я думаю, предстоит более близко познакомиться с некоторыми из этих «измерений», часто весьма неприятных на ощупь. Значит, вполне возможно и возникновение в будущем мощной и единой «литературы иных измерений». «Метафизический реализм», к которому я отношу свой метод, может быть частью этого течения. Но этот метод (по крайней мере в моей практике) требует жесткого погружения в нашу, пусть даже грубую реальность – при одновременном вовлечении в глобально-метафизические проблемы, в том числе и выходящие за пределы человеческого. Глубинное знание философии, особенно восточной, при этом необходимо для автора, но это как раз моя вторая сфера – кроме литературы.

Л.С. Вы не раз признавались, что многие ваши герои – путешественники в великое неизвестное, что они дерзают разрешить проблемы, недоступные человеческому разуму. О вас говорят как о писателе, заглянувшем в русскую бездну, в русское отчаяние. Психопатология, черная метафизика ваших произведений – это как будто двери, открытые в запредельный мир. Но почему всегда находятся люди, которых влечет в запретную зону? Потому что есть зона? Как в таком случае у ваших путешественников обстоит дело с возвращением из зоны? Я вычитала у Сведенборга одну поразительную мысль: пребывание кого-нибудь в небесах или в аду зависит не от произвола Божия, а от внутреннего состояния самого существа, и перемещение по чужой воле из ада в небеса и обратно было бы так же мучительно для перемещаемого, как переселение из небес в ад.

Ю.М. Это интересный вопрос, но в значительной мере ответ на него уводит в Тайну. Почему мои герои стремятся в то, что запредельно человеческому существованию? Традиционные психологи скажут что-то о природных склонностях психики, индуист ответит, что это

связано с предшествующей кармой и трансвоплощениями личности, древние греки – что ее ведет рок. Всё эти ответы отсылают нас к какой-то иной точке отсчета, и вопрос повисает в воздухе – поэтому лучше просто чтить Двери Тайны... Но все-таки на определенном уровне можно ответить так: их влечет туда, потому что в них действует воля к трансцендентному. Эта воля иногда порождается переживанием, что земной мир – тюрьма, даже что мы живем в центре ада, в эпоху, когда вектор бытия направлен вниз. Но в своем чистом виде воля к трансцендентному означает, что в человеке заложена духовная страсть превзойти самого себя, и тогда она может сопровождаться саморазрушением. Возвращаются ли такие люди? Не будем говорить о том, что произойдет с ними после смерти, об аде и рае, о богах и демонах, о других обителях – это увело бы нас далеко в сторону. Возвращаются ли они при жизни? Думаю, что полностью, конечно, нет. Такой опыт, какой бы он ни был, накладывает неизбежную печать, но характер нашей повседневной жизни такой, что полностью ее избежать не удастся. Поэтому такой человек (или герой) живет в двух мирах – но *тот* опыт настолько преобразует его, что *эта* жизнь оказывается второстепенной для него. Но часто сама *эта* жизнь становится для него другой, ибо его изменившееся сознание видит в ней то, чего обычно не видят, на ней лежит отблеск прорыва в зону бездны. Но это – не ад, ибо специфика ада совершенно иная...

Так, мой рассказ «Валюта», в смягченном виде подтверждает эту мысль. Здесь на первом плане – страшный социальный абсурд нашего времени и его диковинное преломление в сознании измученных людей. Но все-таки в конце врывается вихрь неизвестного и уносит героев. Фиксируется сам факт «исчезновения» – без его интерпретации. Так и в жизни – мы исчезаем, иногда самым парадоксальным образом, но жизнь никак не комментирует это.

2

Л.С. В свое время шоковую реакцию даже в вашем московском подпольном литературно-философском кружке и позже – у искушенного западного читателя – вызвал роман «Шатуны». Не могу забыть и собственное впечатление – мне случайно попались «Шатуны» в комплекте русского эмигрантского журнала «Стрелец» за 1988 год – глубокое потрясение, страшная подавленность, смущение и смятение...

С тех пор специально интересовалась литературной дискуссией вокруг «Шатунов». Западные критики, анализируя ваш роман, употребляют выражения: «метафизический бунт», «интеллектуальное кощун-

ство», «уничтожение основ сознания». Герои «Шатунов» – человеческие аналоги шатающихся в трансе медведей – чудовищны: это монстры насилия, секса и безумия; существа, имеющие человеческий облик, а также имя и фамилию, но живущие за пределами морали, вне категорий добра и зла. Жуткие, поистине адские видения романа врезаются в память, чувствуется, что страшные картины не бутафория и не декорация, обычные для романов-ужасов, а нечто такое, что действительно живет за завесой обыденного бытия. Главный герой «Шатунов», сорокалетний житель Подмосковья Федор Соннов, совершая бессмысленные, немотивированные убийства, пытается понять извечную тайну смерти и неожиданно сталкивается с группой московских интеллектуалов. Отсюда мой вопрос: какая все-таки реальность – событийная, социальная, литературная или иная – стоит за эзотерическими смыслами романа?

Ю.М. Начнем от обратного. Очевидно: мои герои – люди необычные в необычных же обстоятельствах, и это сразу исключает тему типического. Это не люди с улиц Москвы, Парижа или Берлина, и они так же не являют собой образы люмпенов или богемы. Они не типы какой-либо социальной системы, они вне любых социальных, национальных, государственных установок. Вместе с тем действительно некая мощная реальность за ними стоит. Первый пласт ее – неразгаданные, темные, скрытые стороны человеческой души. Тот человек, которого мы знаем и который проявляется в обыденной жизни, обнаруживает весьма малую часть своего существа. Мои же характеры сотворены из ночных образов сознания. Средством для их выражения я избрал сферу психопатологии, которую хорошо знаю, так как родился в семье психиатра. Так что все страшные случаи патологических состояний я использую как чисто внешнее средство, а не как самоцель.

Второй пласт реальности я бы назвал космологическим. Большинство моих героев – путешественники в Великое неизвестное. Они задают вопросы, на которые обычный человеческий разум или не может ответить вовсе или отвечает неудовлетворительно. И поэтому, выйдя без всякой догматической, религиозной поддержки в открытое пространство, они теряются и переступают порог дозволенного. А в некоторых случаях – у меня есть такие персонажи – они выходят даже за черту собственно человеческого.

Л.С. Не скрою, мой сугубый, специфический интерес к вашему роману связан еще и с тем, что литературным, философским камертоном к нему избран Ф.М. Достоевский.

Портрет Достоевского висит едва ли не во всех комнатах-каморках, где происходят самые непотребные действия, самые невероятные оргии, – висит и как единственное украшение стен, и, быть может, как некий ритуальный символ... Вот Федор Соннов пришел убивать ин-

теллектуала Извицкого, и огромное зеркало в его комнате отражает нож Федора, занесенный над спиной Извицкого, и самого Извицкого, обнаженного и корчащегося в экстазе автоэротизма, и портрет Достоевского «с неподвижным и страдальческим взором». Это единственное литературное имя, упомянутое в «Шатунах» и навязчиво повторяемое от сцены к сцене. Кто он для ваших героев? Духовный учитель? Наставник жизни? Тайная санкция? Вместе с тем мне кажется, что, самоотжествляясь с Достоевским, ваши герои признают себя его антиподами и даже противятся его духовному опыту, связанному с религиозными и моральными ценностями. Они действуют по мотивам, которым нет названия на человеческом языке...

Ю.М. Произведения Достоевского, особенно такие, как «Записки из подполья», «Бобок», «Бесы», их внутренняя музыка пронизаны крайностями. В этом смысле именно Достоевский (наряду с Гоголем, Федором Сологубом, Ремизовым, отчасти Платоновым) являет для меня наследуемую традицию. Кроме этого, Достоевский – символ стремления дойти до края бездны. Мои герои воспринимают Достоевского как предшественника по метафизическому эксперименту. Но сами они идут гораздо дальше. К тому же они жители XX века с его чудовищным экспериментом в области зла, который уничтожил гуманизм. XIX век еще держался на гуманизме, но XX век – если вы почитаете западных философов – выразился одним словом: крах, социальный, бытовой, философский. Оказалось, что правда – за средневековыми воззрениями на человека как на полуангела-полузверя, в душе которого бушуют, наряду с добрыми, чудовищные силы зла. Гуманисты XIX века слишком полагались на добро в человеке и сильно просчитались... А мои герои как раз хотят сами, не полагаясь на авторитеты, изведать свой человеческий максимум.

Л.С. К числу таких авторитетов относится, несомненно, и традиционная вера. Перед вашими героями уже не стоит старый постулат: «Бога нет – всё дозволено». Метафизические путешественники, отгадчики Неведомого, они задаются вопросом: что именно дозволено и сколько? Я бы их назвала, скорее, путешественниками в недозволенное – каждый из них ищет индивидуальный предел в своем личном человеческом беспределе. Где граница вседозволенности в экспериментах над собой? Как далеко можно идти в поисках собственного «я»? в «Шатунах» самопознающие герои совокупляются с птицами, пьют кровь кошек, откручивают щенкам головы, муж в приступе необузданной похоти норовит убить и таки убивает младенца в утробе жены, старичок-кастрат женится на маленькой девочке ради изысканных телесных наслаждений... Подвластны ли они все хоть каким-то законам морали, внутренним или внешним запретам?

Ю.М. Такого рода путешествия не очень связаны с концепциями добра и зла. Эти категории остаются позади, когда человек выходит в запретную зону. В ней человек обретает третье состояние и действует, исходя из абсолютно другой логики, нежели обычные люди в обычных обстоятельствах. К ним – метафизическим путешественникам – применять категории морали так же бессмысленно, как и к сумасшедшим, которые, допустим, совершают убийство из искаженных представлений о реальности. У моих героев, хотя они не сумасшедшие (они, скорее, одеты в оболочку безумия), тоже представления о реальности совершенно другие. Но закон кармы, возмездия действует и на них...

Л.С. Не связаны ли сами «путешествия» с тем, что современный человек давно перерос рамки традиционных религий и общепринятой морали? Меня поразило, что герои «Шатунов» – и «простонародные мракобесы», и «элитарные метафизики» – прекрасно уживаются друг с другом, проявляют понимание и сочувствие как раз за рамками традиционной морали.

Ю.М. Людей социального «низа» и интеллигентных героев роднит в романе одно: стремление выйти за черту дозволенного, в зону Великого Неизвестного. У вторых подобные поиски смягчены, окультурены и протекают в сфере идей, у первых выглядят более страшно, так как выражаются в сфере действий. Но я писал об исключительных, парадоксальных людях. Для абсолютного большинства людей религиозная, моральная традиция, безусловно, необходима, это основа жизни, категорический императив. Иначе – гибель. Но человек рождается свободным и имеет право, если чувствует в этом неодолимую потребность, броситься в океан неведомого. Не обязательно при этом нарушать традиционную мораль, наоборот, разумнее сохранять ее. Надо лишь хорошо соизмерить свои силы, взвесить все опасности, потому что в духовном плане такие путешествия – хождение по ниточке, по краю пропасти.

Л.С. Но во всем этом безбрежном океане неведомого их волнует лишь одна тайна – тайна человека, тайна своего «я». Ради самопознания они безумствуют и неистовствуют, коверкают свою человеческую жизнь, страшно напрягают свой дух и тело. Похоже, однако, что открывающиеся перед ними тайники познания – это тупики познания. Открытый финал вашего романа как будто перечеркивает все их усилия. Цитирую: «Падов... пошел вперед, с выпученными глазами, по одиночному шоссе навстречу скрытому миру, о котором нельзя даже задавать вопросов...» Так стоит ли вообще туда ходить?

Ю.М. Люди, пытающиеся ответить на вопросы: «кто я?», «кто и откуда мы?», хотят разгадать тайну Бога. Страсть к самопознанию делает их одержимыми и помогает преодолевать человеческие слабости. Они идут к бездне и обнаруживают, что любая открывшаяся им тайна не

окончательна, дальше есть еще двери, а за ними новые комнаты и новые двери. Но это не поражение искателей, не безысходность. Ими движет истерическая жажда бессмертия – не физического, конечно, а духовного. Может быть, они и ненавидят этот мир за то, что он не гарантирует бессмертия их вечного «я». Как автор я совершенно отчужден от своих героев и смотрю на них со стороны; их судьба открыта, жизнь не конечна. Каждый из них (как и каждый из нас) свои отношения с вечностью, с добром и злом должен строить самостоятельно.

«Друг вечный...»

*Диалог с А. Щупловым**

А.Щ. Наша с вами встреча – первая в новой рубрике «КО» – «Клуб одиноких сердец». Поэтому вам, автору недавно вышедшей книги «Возлюбленная Достоевского» (название – явно «бестселлерное»: сразу просится в экранизацию!), первый вопрос – в лоб: был ли Достоевский одиноким человеком?

Л.С. Думаю, первую половину своей жизни Федор Михайлович был очень одиноким человеком и очень от этого страдал. Многие его истории, связанные с женщинами – женами и возлюбленными, – как бы оведают его одиночество. Он был одинок и со своей первой женой, Марией Дмитриевной, он оказался одинок и со своей, может быть, самой главной любовью в жизни – Аполлинарией Сусловой, потому что эта любовь была мучительной и не принесла счастья. Лишь только когда он женился вторично, то получил семейное тепло и уют. Тем не менее в письме к Сусловой он написал слова, обидные для его, тогда еще совсем молодой, жены Анны Григорьевны: «О милая, я не к дешевому необходимому счастью приглашаю тебя...»

А.Щ. Интересная формула: «дешевое необходимое счастье»!

Л.С. Видимо, в тот момент он считал, что брак с Анной Григорьевной Сниткиной, молодой стенографисткой, которой он диктовал роман «Игрок», женщиной, которая была как бы создана для семейной жизни и быта, – и есть «дешевое необходимое счастье». Конечно, нужно делать поправку: он писал эти слова не постороннему человеку, а женщине, которая могла стать, но не стала его женой.

Кстати, до сих пор была неизвестна реакция Аполлинарии Прокофьевны на письмо Достоевского. Однако мне довелось обнаружить в архиве (РГАЛИ) письмо Сусловой, которое эту реакцию содержит. Она пишет: «У меня было два личных, сердечных огорчения, одно похоже на оскорбление, но я была тронута ими только на минуту, а потом уже не хотела думать и не думаю». Так Сусллова восприняла, по-видимому, слова Достоевского о том, что он счастлив с другой, но что ей, Сусловой, трудно быть счастливой. Писатель предрекал ей одинокое, бесприютное существование.

* Диалог опубликован в «Книжном обозрении» (1995. 3 янв.).

А.Щ. «Дешевое необходимое счастье» А если взять дорогое счастье – счастье, которое дорогого стоит, – так это и будет несчастье!

Л.С. Аполлинария Сулова в жизни Достоевского оказалась той самой женщиной, которая одарила его мучительным опытом любви-ненависти, любви-страдания. Тот факт, что первый ее любовный опыт оказался столь тяжелым, оставил отпечаток на всей ее жизни.

Я попыталась синхронизировать письма и документы, которые пропутешествовали во времени и пространстве сто с лишним лет. Достаточно было собрать их, расположить в хронологическом порядке и определенной логике – как возникла совершенно другая, нежели прежде, картина. Появилось желание опровергнуть многие шаблоны и клише, которые существовали и по отношению к Достоевскому, и по отношению к Аполлинарии Суловой. Мне сейчас часто приходится спорить с теми, кто говорит: «Да ведь она была женщиной-вамп, роковой женщиной, которая измучила и бросила Достоевского, изменила ему, была просто стервой...» Особенно любят в этой связи цитировать Зинаиду Гиппиус, которая в своих воспоминаниях писала о Суловой: «развалина с сумасшедше злыми глазами...», «железная Аполлинария», «тяжелая старуха», «страшный характер».

Мне при этом хочется только одного: провести границу между теми, кто знал лично Сулову, был с ней знаком, и теми, кто получил о ней сведения из вторых-третьих рук. Когда читаешь письма и воспоминания людей, которые знали Сулову лично (как бы они к ней ни относились!): Достоевского ли, Розанова, тридцатилетнего срока приятельницы и подруги Суловой – графини Е.В. Салиас, племянника Аполлинарии Прокофьевны, московского писателя Евгения Платоновича Иванова, – возникает один образ, одна женщина.

Когда читаешь воспоминания тех, кто знал о ней понаслышке от кого-то, и пересказывал в десятый или сотый раз все те сплетни и легенды, которые о ней ходили, – возникает другой образ. Мне было всегда обидно, что портрет ее складывается, как правило, из слухов, злобных воспоминаний, клеветы. И я не могу забыть свое собственное впечатление от слов Достоевского из письма 1867 года: «До свидания, друг вечный...» Я всегда воспринимала эти слова не как метафору, а буквально. Эти слова ко многому обязывают – во всяком случае, обязывают отнестись к Суловой с тем уважением, которое испытывал к ней Федор Михайлович.

Мне хотелось как-то отблагодарить ее – за то, что она жила на свете и была любима Достоевским. Мне хотелось хотя бы посмертно скрасить ее одиночество и отчаяние. Защитить от агрессивных обывательских нападок, ведь ей как бывшей возлюбленной и бывшей жене отводятся лишь задворки истории. Я хотела отмыть эту женщину от грязи –

и в этом мне помогли архивные документы. Некоторые письма, пролежавшие 100–130 лет, читались только адресатом – графиней Е.В. Салиас. Сорок писем Сусловой, двадцать с лишним писем к ней Елизаветы Васильевны Салиас де Турнемир, разбросанные во времени 60–90-х годов XIX века (эти письма дают возможность заполнить многие белые пятна биографии моей героини), не публиковавшиеся письма В.В. Розанова к Сусловой того времени, когда она его уже оставила и они жили врозь (90-е годы). Кроме того, я нашла очень любопытные официальные документы В.В. Розанова: в частности, два никогда не публиковавшихся его завещания. Первое он написал в 1884 году, когда Аполлинария Прокофьевна ушла от него первый раз (а уходила она от него дважды) и они пребывали в разлуке около пяти месяцев, в этом завещании он пытался распорядиться своей жизнью и своими литературными трудами. Во втором завещании (90-е годы) он лишает ее наследства и сваливает всю вину за их разрыв только на нее. Важно, однако, то, что впервые удалось представить другую версию. Хорошо известна версия В.В. Розанова о причине их разрыва. С ней сопоставлена «женская» версия: она заключена в письмах графини Салиас, которые являются ответами на письма Сусловой – как раз по поводу ее разрыва с Розановым.

Картина, надо сказать, предстает совершенно другая. Я не хотела быть ни судьей, ни прокурором, ни адвокатом – я лишь хотела, чтобы эти две версии сосуществовали. Любовная драма и трагедия расставания имеют право быть освещенными и с женской, и с мужской стороны.

А.Щ. Есть один французский фильм, состоящий из двух серий: в первой – показывается история любви с точки зрения мужчины, во второй – с точки зрения женщины. В результате зритель уходит в состоянии облапошенности: фильм талантливый.

Л.С. Согласитесь, вряд ли мог быть объективным к «женщине Достоевского» брошенный ею Василий Васильевич Розанов.

А.Щ. Он был необъективен, будучи неброшенным мужем. Что говорить об объективности брошенного?!

Л.С. Он вообще-то был крайне пристрастен и необъективен во всех своих сочинениях. Очень страстный и пристрастный человек! Да он и талантлив безумно как раз там, где пристрастен. И вот что интересно: и Достоевский, и Розанов даже в разлуке или в разрыве с Аполлинарией Сусловой находят для нее изумительные слова. Эпиграфом к книге я взяла два отрывка. Один из Достоевского: «Я люблю ее до сих пор, очень люблю, но уже не хотел бы любить ее». Второй – из Розанова: «У меня была какая-то мистическая к ней привязанность... Один я знал истинную цену в ней скрываемых даров души и не мог отлипнуть от нее». Так писали о ней те люди, которые ее знали и любили.

И совершенно иначе писали те, кто пользовался слухами и сплетнями. Например, Зинаида Гиппиус. Я цитировала выше ее оценки. Ну, положим, «Фурия» – это оценка. Но ведь З.Н. Гиппиус сделала, на мой взгляд, жуткую вещь: она не только наградила Суслову нелестными эпитетами, но и обвинила ее в страшном моральном преступлении, в том, что тяжелый деспотизм характера Аполлинаруии Прокофьевны довел якобы до самоубийства ее воспитанницу – сироту Сашу, которую Суслова взяла к себе, оставшись после смерти отца совершенно одиноким человеком. Источник информации Гиппиус был весьма сомнительным (и она этого не скрывала). Но тем не менее все поверили ей и очень охотно стали повторять сплетню.

Гиппиус в своих воспоминаниях пишет, что, путешествуя по Волге, она остановилась в Нижнем Новгороде в доме одного священника. Поповна, совсем молодая девочка, оказавшаяся соседкой Аполлинаруии Сусловой, стала вспоминать: мол, в соседнем переулке (указала через крыши с балкона дом) жила жена Василия Васильевича Розанова, московского писателя; была она очень злая, страшная, старая, сумасшедшая. От невыносимости жизни ее воспитанница Саша утопилась.

Мне удалось обнаружить любопытнейшую рукопись – воспоминания племянника Аполлинаруии Прокофьевны – Евгения Платоновича Иванова, сына ее двоюродной сестры Анны Асафовны. Их написал человек, совершенно не заинтересованный в создании мифов. Он был на 45 лет младше своей тетки и запомнил ее уже только пожилой женщиной. Скорее всего, он не знал, что литературные друзья В.В. Розанова приписывают его тетке тяжелый грех. Спокойно, как старую семейную историю, он рассказывает о том, как тяжело страдала Аполлинаруия Прокофьевна, узнав о гибели девочки Саши. Кстати, эта девочка погибла на глазах самого Иванова, приехав к ним на лето: «...Воспитанница ее Саша, оказавшаяся необычайно добрым, мягким и преданным своей покровительнице человеком, тонет во время купания в Оке. Живо воскрешая перед глазами этот момент, когда о несчастье в ранние утренние часы приехал я с моим покойным отцом П.П. Ивановым предупредить тетку о случившемся. Помню тяжелые переживания сознавшей свое полное одиночество ослабевающей женщины...»

Достаточно было найти этот простой, «домашний» факт, как версия о «страшном характере» сильно померкла.

А.Щ. «Роковые женщины» проходят сквозь всю историю России: Авдотья Панаева, Аполлинаруия Суслова, баронесса Будберг, Лиля Брик, да и сама Зинаида Гиппиус, сыгравшая «роковую» роль в судьбе двух русских писателей. В чем, на ваш взгляд, тайна «роковой женщины» Аполлинаруии Сусловой? Почему два российских гения (а мы

теперь Василия Васильевича смело причисляем к гениям – в пушкинском, одухотворенном, значении слова) связали свою судьбу с нею?

Л.С. Думаю, с Розановым проще. Ответ на вопрос, почему он остановил на Сусловой свой взор, очевиден: они познакомились в ту пору, когда Розанов был гимназистом, поклонником Достоевского. Гимназист – и женщина, которой уже под сорок и у которой есть прошлое. Это была женщина с прошлым – прекрасным и таинственным. Она была известна как «женщина Достоевского».

А.Щ. Прошлое, в котором Достоевский, – это будущее!

Л.С. Гимназист Розанов знакомится с женщиной, у которой когда-то был роман с Достоевским, его кумиром. «Это самая замечательная из встречавшихся мне женщин», – записывает он в дневнике. Их роман длился три года и завершился браком (кстати, они обвенчались за два месяца до смерти Достоевского – в ноябре 1880-го). «Женщиной Достоевского» Аполлинария Сулова была для Розанова только вначале. А потом он писал: «В характере этом была какая-то гениальность (именно темперамента), что и заставило меня, несмотря на все мучения, слепо и робко ее любить».

С Достоевским же, я думаю, все было еще сложнее и мучительнее. Отношения Федора Михайловича с Аполлинойрией Суловой остаются загадкой. И я вообще бы предпочла, чтобы эта загадка осталась неразгаданной. Иначе вся таинственная сторона любви, ее непостижимый смысл – вместе с «роковыми женщинами» и «роковыми мужчинами» просто перестанет существовать.

А.Щ. А разве в России были «роковые мужчины»?

Л.С. Как же: это ведь Достоевский сочинил Ставрогина, «обворожительного демона»! Для Достоевского, кстати, таким «роковым» человеком были Печорин, Лермонтов, Спешнев. Помните, когда Аполлинария Сулова в Париже рассказала Достоевскому о своем увлечении испанцем Сальвадором, первый вопрос, который писатель ей задал, – «Что это за человек?» «Когда я сказала ему, – пишет Сулова, – что это за человек, он сказал, что в эту минуту испытал гадкое чувство: ему стало легче, что это не серьезный человек, не Лермонтов». И Достоевский даже успокаивал Аполлинарию: «Это гадость, которую нужно вывести порошком; глупо себя из-за него губить».

Отношения Достоевского и Аполлинойрии Суловой складывались по очень сложной, ломаной линии. Вначале это была восторженная любовь юной, наивной, неопытной девочки, у которой Достоевский был первым мужчиной. Она цитирует его слова: «Ты ждала до 23 лет...» Конечно, он был для нее и авторитет, и кумир, и знаменитый писатель.

Но очень скоро их личные, глубоко интимные отношения были осложнены чем-то тяжелым и темным. Что-то мучившее ее побудило

написать Достоевскому письмо: «За любовь свою никогда не краснела: она была красива, даже грандиозна. Я краснела за наши прежние отношения...» «Отношения» были для нее мучительными чуть ли не сразу. То, что для Достоевского было, как она пишет, приличным, то для нее стало источником унижения и оскорбления: серьезный и занятой человек «не забывает и наслаждаться, на том основании, что какой-то великий доктор утверждал, что пьяным нужно напиться раз в месяц». Заметьте, это пишет нигилистка, эмансипантка. Она испытывает чувства, которые испытывала бы любая девушка или женщина на ее месте: она стыдится связи, «методических отношений» с женатым мужчиной. И она пишет Достоевскому, что хотела прервать эти отношения много раз.

Второй поворотный момент в их связи наступает во время ее поездки в Париж и четырехмесячного ожидания Достоевского. Однако, пока он оформлял заграничный паспорт, брал у литературного фонда деньги для путешествия и лечения, у его подруги в Париже приключается новый роман – молниеносная любовная связь, которая началась и закончилась в течение недели. Эта неделя ее испепелила. Она забыла все на свете, обезумела, готова была ехать с Сальвадором хоть в Америку, лишь бы позвал. И только с момента, когда она почувствовала, что студент-испанец, в которого она была так отчаянно и безоглядно влюблена, ее обманывает, и начинается ее знаменитый Дневник.

Представьте себе ситуацию: наконец-то приезжает Достоевский – когда с испанцем все кончилось. Оставались обида, злоба, жажда мести. Она всерьез размышляла о самоубийстве и сожгла свои бумаги, письма. Любая заурядная женщина скрыла бы из практических соображений факт своей измены, тем более что скоропалительный роман закончился некрасиво. Но Аполлинария посвятила Достоевского во все тонкости своей страсти и подвигла его на сомнительную в данном случае роль «друга и брата». Она сказала Достоевскому слова, которые обожгли его; спустя годы эти слова будут произносить героини его романов: «Ты немножко опоздал приехать».

«Ты отдалась ему совершенно? – спрашивает он ее. – Ты счастлива?» «Нет», – отвечает она. «Как же это? Любишь и несчастлива, да возможно ли это?» «Он меня не любит».

И Достоевский сказал ей: «О Поля, зачем же ты так несчастлива!» Он пытается утешать ее: мол, на это не нужно обращать внимания, она, конечно, загрязнилась, но это случайность. А она не может ничего забыть и не может через эту «случайность» переступить.

Вот в таком умонастроении они едут путешествовать по Италии. Роль «друга и брата» Достоевскому дается с трудом. Она же входит во вкус рискованных положений. Она чувствует, что стала вдвойне со-

блазнительной для Достоевского, – и начинает в это играть, мучает и дразнит своего бывшего возлюбленного.

А.Щ. Стерва! Здесь Гиппиус права на все сто!

Л.С. Вряд ли этим ругательством можно объяснить все, что с ней происходило. Ее жгло и мучило недавнее оскорбление, ей было больно и хотелось мстить «им всем». И ей было всего 24 года.

А скажите мне, была бы она меньшей стервой, если, скажем, немедленно забыла бы свою недавнюю любовь и вернулась к Достоевскому из благодарности за то, что он ее простил?!

А.Щ. Это укладывалось бы в стереотипное русло поведения русской девушки.

Л.С. Не забывайте, это была другая женщина! Она путешествовала и жила за границей одна, могла позволить себе любовную связь вне брака и не очень заботилась об общественном мнении.

Но вот смотрите: Анне Григорьевне Достоевской и дочери писателя, Любови Федоровне, видимо, было недостаточно того, что Аполли-нария Суслова, имея репутацию «эмансипэ», позволила себе нигили-стическую роскошь – иметь женатого любовника. Им нужно было еще привести ее к Достоевскому «служительницей Венеры» – так пишет о ней в своих воспоминаниях Любовь Федоровна; мол, переходила от одного студента к другому, а бедный Достоевский ничего этого не видел, не знал, не подозревал.

А.Щ. Вы довольны книжкой? Она получилась такой, какой замыс-ливалась?

Л.С. Конечно, нет. Когда пишешь книгу, которая имеет подзаголо-вок: «Аполли-нария Суслова: биография в документах, письмах, мате-риалах», то довольной можно быть лишь, если найдено все возможное и документальная программа исчерпана. У меня нет чувства исчерпан-ности темы, завершения поисков. Наоборот, у меня есть надежда, что только сейчас все начнется. Объявятся люди, у которых хранятся пись-ма, записки, воспоминания...

Посмотрите, из огромной переписки Достоевского и Сусловой (а переписка их была весьма интенсивной, она насчитывает, я полагаю, до сотни писем с той и с другой стороны) до нас дошло только три письма Достоевского и два черновика писем Сусловой к нему. Конечно, многие из этих писем утрачены навсегда. Так, 1 сентября 1863 года Аполли-нария Прокофьевна сожгла, как она пишет в дневнике, ком-прометирующие ее бумаги. Это была первая акция по уничтожению следов их любви. Думаю, здесь могли быть ранние дневниковые за-писки, относящиеся к самому первому этапу ее отношений с Достое-вским. Это самый драгоценный материал: нам ничего не известно об этом периоде – ни когда они познакомились, ни как это произошло.

Есть только версии. По-видимому, этот пласт документов утрачен навсегда.

Многие письма Аполлинии Сусловой, адресованные Достоевскому, могли быть уничтожены, по понятным причинам, его второй женой, Анной Григорьевной Достоевской. Точно так же не сохранились многие письма Достоевского к Аполлинии Сусловой. Причина? В 1866 году у Сусловой был обыск, тогда у нее отобрали все бумаги без исключения – и вряд ли ей удалось их вернуть. Тем не менее мне посчастливилось найти много документов. Значит, материалы, относящиеся к биографии моей героини, еще есть. Очень надеюсь на город Иваново, где долгое время жили родители Сусловой и где она сама жила в конце 1860 годов. Надеюсь на архивы В.В. Розанова – не вечно же они будут недоступны.

Большие надежды связываю с Севастополем – городом, где Сулова прожила последние 16 лет и где в 1918 году умерла. Из этого периода мало что сохранилось: мне удалось найти два ее севастопольских адреса и небольшую часть переписки этого времени. Но ни мне, ни севастопольским краоведам не известна пока могила Аполлинии Сусловой. Думаю, поиски ее еще впереди.

Ни в коем случае не хочу и не могу утверждать, что моя книга – каноническая биография Сусловой. В книге собрано все то, что пока удалось найти. Я очень рассчитываю, что моя книга приманит к себе держателей архивных ценностей. Я знаю точно, в Москве есть библиотеки, которые держат в тайне имеющиеся у них документы. Например, по Москве ходит письмо Сусловой 1915 года, в котором она отвечает своему племяннику Е.П. Иванову на вопрос, не хочет ли она уже опубликовать свои бумаги, связанные с Достоевским? Мне цитировали это письмо, но выйти на его владельца я пока не смогла. Аполлиния Прокофьевна отвечала племяннику в этом письме: нет, пока еще рано. Пока я жива, опубликовать бумаги не буду.

Рассчитываю, что эти материалы рано или поздно выйдут наружу, как вышло наружу письмо 1876 года: мне любезно его предоставил московский библиофил Николай Васильевич Паншев. Это письмо заполнило белое пятно целых пяти лет. Точно так же и другие библиофилы, пожелавшие остаться неизвестными, давали мне для книги важные сведения и фотографии.

А.Щ. Сплошные тайны, загадки.

Л.С. С этой книгой, очень личной, связано вообще много приключений. Создание ее обернулось для меня настоящим авантюрным романом.

А.Щ. Который когда-нибудь вы обязательно должны написать.

«Я неправильный достоевсковед...»

*Диалог с Ю. Кувалдиным**

Ю.К. Наша с вами беседа, Людмила Ивановна, – это моя проза, в которой вы персонаж, такой же как и я, в пределах этой беседы. В жизни мы много говорим. Слова улетают. А потом вместе со словами улетают люди, исчезают навсегда с лица земли. И только записанное становится фактом литературы. Давайте вернемся к началу. Откуда взялся ваш интерес к Достоевскому?

Л.С. На втором курсе филфака нужно было писать курсовую работу сравнительно-типологического характера, что-то сравнивать с чем-то. Тогда моим кумиром был Тургенев, но, с чем сравнивать его «Асю», я не очень понимала. И вот научный руководитель курса, Олег Николаевич Осмоловский, замечательный и тонкий человек (позже он заведовал кафедрой в Орловском университете), мне сказал: «Попробуй почитать “Неточку Незванову” Достоевского. И сравнить ее с “Асей”». Я должна признаться, что Достоевского до той поры, то есть до двадцати лет, я никогда не читала. До сих пор не могу понять почему. На Украине Достоевского в школьных программах не было, но ведь и Руссо тоже не было. И вот я купила у букинистов серый десятитомник 1956 года издания. Как добросовестная отличница начала читать с первого тома все подряд и прочитала залпом все десять томов. Более никогда в жизни, ни от какого другого чтения, я не испытала такого наслаждения и не ощутила такой горячей волны счастья. Я поняла, что до сих пор перебивалась чем-то едва сносным и ютилась, как сирота, среди чужих людей. Но теперь вот – прибилась наконец к своему берегу. Любой персонаж из серого десятитомника был мне интересен куда больше, чем все мои сверстники-однокурсники, вместе взятые. Мир, после того, как я узнала Достоевского, стал восприниматься иначе. Я поняла смысл слова «пресный». Я думала прежде, что пресным бывает только суп. Или хлеб. А поняла, что пресной может быть жизнь – лишенная красок, запахов, переживаний, событий. Пресным может быть слово. В двадцать лет Достоевский свалился на меня как судьба, как способ жить дальше.

Ю.К. Что было с этой работой дальше?

* Диалог опубликован в «Литературной России» (2003. 31 окт.).

Л.С. С ней меня послали на межвузовскую конференцию в Винницу, и там я получила студенческий приз. Это был мой дебют. И я сказала себе: раз мне выпало такое счастье, как Достоевский, нужно вести себя тихо и смиренно, отказаться от собственных стихов и прочей своей дребедени, а писать о нем, только о нем. Я окончила с отличием институт и меня оставили преподавать на кафедре русской литературы, с зарплатой в сто пять рублей. Я проработала там три года и тихо, про себя, писала этюды о «Братьях Карамазовых», об Иване, о его двойниках, о том, как автор причудливо прокладывает сюжет. О существовании этих этюдов (было уже страниц сто двадцать) никто не знал, и я никому не была обязана отчетом. И если бы не случай... На кафедру пришло приглашение на межвузовскую конференцию в Московский государственный педагогический институт, нужно было срочно послать тезисы и текст. Мне, из моих ста двадцати страниц, сделать это было несложно. В результате именно меня и послали в Москву. Была весна, конец учебного года, я выступила на конференции, и это перевернуло мою жизнь. После доклада, в перерыве, ко мне подошел профессор Николай Николаевич Арденс, тогда ему было восемьдесят два года. «Милая девушка, откуда вы приехали и где вы работаете?» «Из Кировограда, работаю на кафедре русской литературы пединститута». «И что же, голубушка, вы там и собираетесь жить всегда?» Я говорю: вообще-то хочу в Москву, в Россию. Тут он стал объяснять мне, что я способный человек и мне надо учиться в аспирантуре. Посоветовал не медлить, готовиться в течение лета, а в сентябре приехать и сдать экзамен. Тут же, в коридоре, продиктовал мне спецвопросы: «Достоевский и Пушкин», «Достоевский и Лермонтов», «Достоевский и Гоголь», «Достоевский и натуральная школа». Фактически вся первая половина XIX века. Всё. Больше никаких разговоров не было ни с ним, ни с кем бы то ни было другим. Никаких условий приема, никаких документов, никаких обещаний или гарантий. Я уехала домой. Фанатично и тайно, всё лето, читала и писала, до сих пор живут эти конспекты и эти темы – гвоздями засели в голове. Я боялась и думать, что неправильно поняла старичка-профессора – ведь разговор в коридоре был мимолетным, ни к чему не обязывающим. У меня не было ни его адреса, ни его телефона. Три месяца я уговаривала себя, что не мог же он так шутить со мной. На свой страх и риск я приехала в конце августа в Москву, пришла прямо с вокзала в МГПИ, на кафедру, нашла своего профессора и говорю: «Николай Николаевич, я была в мае на конференции. Вы помните меня?» «Как это – помню? Завтра у вас экзамен. Вы подготовились?» И на следующий день действительно состоялся экзамен, экзаменовали меня в течение трех часов четыре профессора: Ревякин, Клюев, Прохоров и мой Николай Николаевич Арденс. Поставили мне пять с плюсом,

прямо в ведомость, и объявили, что берут в аспирантуру. Черный юмор этой ситуации заключался, однако, в том, что эти четверо олимпийцев были весьма далеки от реальной действительности. На самом деле мне нужно было сдавать не кандидатский экзамен по специальности, а вступительный, о чем я, разумеется, ничего не знала. Кандидатский экзамен констатировал лишь тот факт, что я его сдала. Таким образом, я никуда не поступила, и это выяснилось, как только со своей пятеркой с плюсом я пришла в отдел аспирантуры, где мне с издевкой сказали: «Николай Николаевич старый человек. Но вы-то куда смотрели? Надо не в облаках витать, а переписать и выучить правила приема».

Короче говоря, начались у меня большие мытарства. Я не хотела и не могла возвращаться домой – по разным причинам, в том числе и по сложным личным обстоятельствам. Достоевский был моим щитом, моей тайной крепостью, конечным пунктом побега. Как же я могла допустить, чтобы мой побег был раскрыт, чтобы меня вернули с дороги? Я билась за свою свободу изо всех сил. Я не стала очной аспиранткой, но прикрепилась к кафедре соискателем. Этот статус не давал ничего, никаких прав – ни прописки, чтобы жить в Москве, ни стипендии, ни общежития. Все шло очень напряженно, порой казалось опасной авантюрой, и по ночам мне снился «этап» – будто меня с милицией и с позором отправляют обратно. Но постепенно все сглаживалось, складывалось; я, с помощью новых знакомых, выхлопотала какую-то выморочную прописку на год, «на срок учебы», потом почасовую работу на кафедре, но еще очень долго надо было бороться за право жить и работать здесь. Мои первые заработки, как ни странно, были связаны с украинским языком – удалось пристроиться к реферативному журналу Института научной информации по общественным наукам Академии наук (ИНИОН) и писать рефераты литературоведческих книг на украинском и белорусском языках.

Ю.К. Как назывались ваши первые опубликованные работы и что это было?

Л.С. Это были аспирантские статьи по теме диссертации. Они были опубликованы в сборнике ученых записок МГПИ. А диссертация была посвящена проблеме повествовательного искусства Достоевского: то есть тому, зачем нужны были писателю все эти его рассказчики, хроникеры, авторы записок, вымышленные мемуаристы. Защитилась в 1976-м, потихоньку продолжала писать дальше, сначала в стол, потом для Достоевских чтений в Ленинграде. Кроме того, был в Москве один благословенный журнал, он и поныне жив, «Вопросы литературы». Мне удалось напечатать там две рецензии, и встал вопрос о статье. Покойный редактор, Уран Абрамович Гуральник, добрый и внимательный человек, все сетовал: «Опять о Достоевском? Вы же знаете, что о Досто-

евском можно только одну статью в год». Тем не менее в 1980-х годах мне посчастливилось напечатать в «Воплях» несколько больших работ.

Ю.К. Людмила Ивановна, скажите, вот эти достоевсковеды, которых я высмеиваю в своей повести «Поле битвы – Достоевский», ну не их конкретно, а вообще, так сказать, эту советскую проблему кормления на литературе, они-то вас как приняли? Вот вы говорили, что вы ездили в Петербург? Как вы туда попадали?

Л.С. Первый раз мое имя назвал там (и потому мою заявку приняли) Григорий Соломонович Померанц, с которым я познакомилась в одном культурном московском доме. Но первое же мое выступление в Ленинграде оказалось скандальным и для меня чрезвычайно травматическим. Я написала работу «Хромоножка в “Бесах” Достоевского», понесла ее в «Вопли», но там такое печатать не решились. «Хромоножку» мою восприняли как какое-то сумасбродство. А я с ней рискнула поехать в Ленинград, в музей Достоевского. И будь я послабее, я бы, конечно, тут же и погибла. Тогдашние начальники достоевведения долго и смачно размазывали меня по стенкам конференцзала и даже призвали к ответу организаторов Чтений – как это «ее» вообще сюда допустили. Я помню, что за меня вступился тогда один-единственный человек, чудаковатый преподаватель из Саратова, которого (из-за меня?) больше никогда на Чтения не позвали. Меня так отделали, что я даже не знала, пустят ли меня завтра в музей. Но я все-таки рискнула и даже тихонько попросила машинисток дать мне стенограмму обсуждения. Сердобольная тетенька сделала мне копию. Когда я привезла ее в Москву и показала У.А. Гуральнику, он схватился за голову и сказал: «Этого не может быть. Как же вы все это вынесли? Как это возможно?» Но сам как-то вдруг укрепился во мнении, что меня надо печатать. Нужно было, однако, подстраховаться, и он велел позвонить Ю.Ф. Карякину, которого я знала только по работам. Позвонила, привезла ему статью, застала у него поэта Юлия Кима, оставила свой телефон и уехала с ощущением, что рецензенту сильно не до меня. Спустя три часа позвонил Юрий Федорович и проникновенно сказал: «Я прочел. Вы написали замечательную, прекрасную вещь». С этого момента началось наше с ним знакомство, а потом и сотрудничество, статья моя вышла в «Воплях», была замечена и имела успех.

Но я еще очень долго слышала, что занимаюсь Достоевским неправильно, слишком увлекаюсь «публицистикой», что это не наука, и т. п. Я же, напротив, поражаюсь, что можно притрагиваться к этому вулканическому материалу так, будто это штука сукна, рулон ситца: измерять его в длину, в ширину, щупать, мять, изучать цвет, рисунок, плетение нитей, качество пряжи. Я в душе всегда презирала такое «товароведение» – как можно культивировать его по отношению к писателю, ко-

торый горел вечностью и злободневностью, который, как никто, видел тайнопись будущего в случайных уличных происшествиях, в банальных газетных заметках, и так жадно впитывал дыхание современности. Как можно загонять его сочинения в вещмешок унылой школярской филологии, будто реквизит, и доставать из мешка, когда нужно в очередной раз продемонстрировать какие-нибудь «достижения нарратологии»? Я считала, что мы, достоевсковеды, как раз обязаны, вслед за Достоевским, «реалистом в высшем смысле», болеть реальностью так же, как болел он. А не отворачиваться от нее, будто чванливые чистоплюи, разрешившие себе «не знать», что происходит в доме и в мире. В этом смысле Ю.Ф. Карякин сильно укрепил меня, хотя ведь и к нему самому «в кругах» существовало двойственное отношение: у него не было ученой степени и многие его блестящие работы о Достоевском («Самобман Раскольникова», цикл статей о «Бесах») считались всего лишь писательскими, а не академическими. Хотя его мощное писательство в работах о Достоевском было на три головы выше изможденного, анемичного литературоведения, которое эпигонски цепляется за бессмысленные термины и боится самого себя. К счастью, сейчас, по-моему, положение меняется...

Ю.К. Что еще из крупных работ вы напечатали в «Вопросах литературы»?

Л.С. Во мне, наверное, действительно бился писательский нерв. Года два я занималась странным коллекционированием – собирала под одну крышу героев-сочинителей Достоевского. Оказалось, их больше сотни, а за ними – литературные биографии, характеристики, тексты: стихи, проза, эссе. Ведь для каждого Достоевский изготавлял рукописи. Сколько же здесь судеб, амбиций литературного честолюбия... Внутри произведений Достоевского существует вымышленный союз писателей: Иван Карамазов, капитан Лебядкин, Фома Опискин и еще человек сто. Я поняла, что Достоевский был одержим писательством. Ему было мало писать от себя, мало было собственной писательской биографии, ему хотелось внутри «своей» литературы создать еще целый мир «другой» литературы. Ему важно было писать за своих персонажей «их» парадоксальные тексты и спорить с ними текстами других своих персонажей. Текст одного героя из одного произведения вступает в контакт с текстом другого героя из другого произведения, а кто-нибудь третий из третьего произведения обсуждает тексты первых двух. Эти множественные зеркала, это потрясающая литературная оптика, эта суперматрешка, из которой вынимается один за другим новый автор и его сочинение, меня ошеломили. Меня поразила магический театр, завораживающая игра его писательства. Это и было то высшее качество литературы, к которому меня всегда бесконечно тянуло.

Ю.К. Как вы реагировали на ветер перемен, на перестройку?

Л.С. О, это было звездное время. Меня распирало от чувств и предчувствий, я в полной мере испытала хмель и похмелье перестройки, познала сильнейшее возбуждение от надвигающейся свободы. Я прожила несколько лет интенсивного, напряженного общественного бытия, о чем не жалею и никогда не пожалею. «Блажен, кто смолоду был молод...» в общем потоке гласности меня вынесло в открытую печать, в большие политические газеты, я стала активно писать, сделалась публицистом. Я писала об антивоенной публицистике Достоевского и Толстого; мне хотелось освоить время перемен и все, что происходит в стране, через призму русской классики.

Ю.К. Поэтому ваши произведения живые, в отличие от других, не буду даже называть их имен.

Л.С. Но это и на самом деле надежный путь самопознания и понимания своего времени. Даже когда я бросалась в сугубо политическую полемику, например, о методах политической борьбы нашей новой демократии, я все равно имела прочную базу – я все знала о пресловутой политической целесообразности, описанной Достоевским. Быть может, потому мои тогдашние публичные выступления были все же не так пустопорожни и ветрены, как если б я была «чистым» публицистом. Благодаря публикациям в широкой печати, и особенно в главной перестроечной горбачевской газете «Московские новости», куда я была приглашена как учредитель и обозреватель, мое имя стало известным. И однажды эта известность сработала на меня. Как-то я была в издательстве «Советский писатель», и ко мне обратилась редактор отдела критики Елена Ивановна Изгородиня, читавшая меня и в «Воплях», и в газетах. «У вас, наверно, много уже написано, соберите все вместе, получится книга». У меня к тому времени действительно уже было много написано, и даже готовилась книжечка «Русские писатели о войне и мире». О том, что завоевывать мир «не мечем, а духом» – это и есть русский способ завоеваний, как его понимали писатели-классики.

Ю.К. Мы и коммунизм похоронили «не мечем, а духом»!

Л.С. Именно. Итак, я перечислила Елене Ивановне все, что было написано и опубликовано: набиралось много вполне приличного. Я все это принесла, восемнадцать печатных листов. Мне говорят: «Давайте запланируем вам книжку в двадцать три листа. Добавьте пять – вот вам два года». Но можно ли было тянуть два года? Я за год написала в два раза больше и принесла книгу в тридцать печатных листов. Получаю убедительные рецензии от уважаемых людей, и книга идет, и вот-вот выйдет. Тут издательское начальство мне заявляет: «Мы получили на вашу книгу 55 тысяч заявок. Сейчас, однако, мы не можем дать вам такой тираж, нет бумаги. Выбирайте – или сейчас даем половину тиража,

25 тысяч, или через год издадим 50. И тут, быть может, во мне сработал инстинкт женщины, которая живет понятиями «здесь и сейчас». Я твердо сказала: тысячу экземпляров, но сегодня. Через пару месяцев выходит моя книжка тиражом в 25 тысяч экземпляров. Те самые «Бесы» – роман-предупреждение». Еще через три-четыре месяца издательство «Советский писатель» прекратило свое существование. Вот вам время перемен: лови миг удачи. Эту книгу я, по приглашению родного МГПИ, защитила как докторскую, по ней же меня приняли в Союз писателей. И я вообще как-то окрепла. У меня настала вольная жизнь. Я писала уже не то, что от меня ждали, а то, что хотелось. Сделала три «своих» издания романа «Бесы», с главой «У Тихона» на должном месте. Потом дерзнула написать биографическую книгу о Достоевском «Одоление демонов» – образ писателя в момент создания романа «Бесы», с ретроспективой к началу творчества. Потом мне захотелось написать о людях, которых Достоевский любил. Так появились книги об Аполлинрии Сусловой, о Николае Спешнев, прототипе Ставрогина. В обоих случаях впервые были опубликованы архивы, письма, документы. В конце концов ко мне и моим вольностям все привыкли.

Ю.К. В Старой Руссе ежегодно происходят Достоевские чтения?

Л.С. За многие годы мы, общество Достоевского, научились радоваться друг другу и многое прощать. Были интересные доклады, поездка в Новгород, литургия в Софии, дружеское общение в Юрьевом и Хутынском монастырях. С литовским коллегой, писателем Арвидасом Юозайтисом, нашим теперешним «иностранцем», мы недавно вспоминали прошлое. Он был активным участником политических перемен в Литве, одним из создателей и лидеров «Саюдиса». А я была в гостях у «Саюдиса» в 1989-м, участвовала, совместно с В. Ландсбергисом, в дискуссии «Литва – лаборатория перестройки». Помните этот знаменитый лозунг «За нашу и вашу свободу»? Нам с Арвидасом, как бывшим «перестройщикам», интересно было сверить политические часы в наших странах. к тому же он напомнил мне о моем докладе 1993 года в Питере, осенью, после расстрела Белого дома, – я говорила о грехе разделенного злодейства и нашей общей ответственности за происшедшее. Я действительно могла тогда думать только о том, что произошло в Москве, ведь прошел всего месяц после событий. Но я увидела, что размышления на «злобу дня», хоть и в русле Достоевского, воспринимаются с недоумением. Мол, здесь не митинг, здесь наука. Мне так и сказали в кулуарах – мы этих «темпераментных тем» на научной конференции, как правило, не касаемся. А в московском музее Достоевского, тогда же, на семинаре «Достоевский и наша современность», как только я заикнулась об октябре 93-го, либеральные критики меня оборвали, обругав «хасбулатовской гвардией».

Ю.К. Шум с нашей улицы ворвался.

Л.С. Шум и гам, и гульба, и пальба, и кровь, и борьба за очень, очень большие деньги... Хваленый либерализм с его дутыми свободами обернулся жуткой провокацией и грабежом. Вот он, живой хронотоп, а не тот, вызубренный по старым филфаковским конспектам. Знаете, после 1993 года я сильно отодвинулась от нашего герметичного литературоведения, все же еще очень советского. Я сторонюсь этой отрасли – злой, затхлой и абсолютно глухой к живой литературе. Новое наукообразное словоблудие (имплицитность и симплицитность, дискурс и интертекст) будто само себе зубы заговаривает. Мертвой хваткой держится за аморфные «проблемы поэтики», чтобы, не дай бог, не обжечься обо что-то погорячее. Допустим, оно прежде боялось цензуры. А чего оно сейчас боится? Потеряться в сети? Утратить смысл существования? С некоторых пор я сознательно ушла в реальную историю литературы, в судьбы писателей, героев и прототипов.

Ю.К. Что вы пишете сейчас в связи с Достоевским?

Л.С. Работу «Роман “Братья Карамазовы” и историческая Россия». То есть Россия после Достоевского. Финал последнего романа, вопреки многим квазиправославным интерпретациям, вряд ли можно назвать хеппи-эндом: возвышенные речи мальчиков у камня, впереди всех Алеша – инок-человеколюбец, за ним Митя – каторжник-христианин. Такая благодатная развязка расходится с картиной реальной русской истории, которая как раз после «Братьев Карамазовых» покатила под откос и взорвалась страшной, смертельной катастрофой. Достоевский предвидел ее и запечатлел в последнем романе ее роковую неизбежность, неотвратимое вмешательство злого духа в исторический процесс.

*Русский человек на rendez.ru. Интернет-диалог с С. Романовым**

Ясная Поляна, май

Добрый день, уважаемая Людмила Ивановна!

По замыслу, вопросы, которые Вы отметили в нашем устном разговоре, и должны быть стержнем в этом не толстоведческом, а *толстовском* издании. В его духе и его стиле. «Le stile Tolstoi», – как говорили современники. В стиле и в силе. А *сила* Толстого, как известно, – в «постановке проблем», не в решении, а в постановке «роковых» вопросов жизни. Обратили ли Вы внимание, как ответил М. Делягин на вопрос о социальном служении, вернее, об общественно-политической деятельности Толстого: «Не в полной мере достигла своей цели»? Заметно, как он тактично смягчил формулировку. Вечные вопросы жизни о совести, справедливости, правде, которыми Толстой терзался последние десятилетия, увы, не могут совершенно торжествовать в этом мире, но мы же печальные свидетели их ещё более стремительного исхода из нашего нравственного и общественного бытия. Не так ли? Посмотрите, он даже отнёс эти вопросы лишь к неким безымянным «поклонникам и последователям» писателя, то бишь к нам. Перенаправил вопрос, в нашу сторону и совершенно справедливо. Да не несём ли мы все – столь многочисленный ныне полк «последователей-исследователей» дела великого яснополянца – определённой доли ответственности, а скорее вины, за угасание его нравственных идей? По сути общечеловеческих, общехристианских, наполняющих человеческое существование высшим жизненным содержанием, без которого оно лишь пустая шутка. Вот с этого прямого обращения к самим себе, быть может, и следовало главному редактору открыть журнал. И дать пример честного и решительного ответа: «Мы все виноваты». Вместо поиска практического применения ряда идей Толстого (Фёдорова, Достоевского), широких дискуссий – мы заседаем на скучных конференциях, вместо живых современных наблюдений, новых концепций, смелых решений – пропыленная архаика минувших столетий. Да, изучать источники духовного опыта крайне необходимо, но лишь затем, чтобы, творчески их переработав,

* Диалог опубликован в издании: ТОЛСТОЙ. НОВЫЙ ВЕК. Журнал размышлений. Музей-усадьба Л.Н. Толстого «Ясная Поляна»: 2006. № 2. С. 142–156.

применять практически и страховаться от нескончаемой череды совершаемых ошибок. Зачем тогда его «Одумайтесь!», бесчисленные письма, обращения, если они не помогают найти нужную твёрдую дорогу, зачем эта дорога, если она не ведёт к храму (спасению), зачем, наконец, журнал этот?.. Обменяться мнениями и окончательно замакулатурить пыльные полки книгохранилищ? «Книг слишком много, – писал Толстой в Дневнике, – и теперь какие бы книги ни написали, мир пойдёт всё так же. Если бы Христос пришёл и отдал в печать Евангелия, дамы постарались бы получить его автографы и больше ничего».

И ещё сто лет прошло, а прибавить к этому нечего.

С. Романов

Москва, май

Приветствую Вас, Сергей Михайлович, и благодарю за письмо.

Вы пишете: «А *сила* Толстого, как известно, – в “постановке проблем”, не в решении, а в постановке “роковых” вопросов жизни».

Согласна, конечно же. Постановка «роковых вопросов жизни» Л.Н. Толстым – это действительно его сила. Хотя примерно такие же заслуги числят за многими русскими писателями-классиками. «Мы не врачи, мы боль» и т. д.

Но если и была у Толстого самая сильная, порою невыносимая, боль, так это та, которая связана с вопросами веры. Вы в своем предисловии к публикации писем («Опыт понимания») пишете об этом. Мне кажется, что сейчас, когда РПЦ переживает видимый подъем (говорят даже о «триумфализме» Церкви), самый раз проникнуться сочувствием к этой боли Толстого. Его поиски истины (в том числе и религиозной истины) настолько честны и бескомпромиссны, что не выдерживают никакой обыденности. На таком накале чувства правды никто не может удержаться. И конечно, меня бы в Вашем *толстовском* журнале в первую очередь интересовала бы дискуссия, сконцентрированная вокруг главных вопросов веры.

Познал ли Толстой истину, более великую, чем человек? Как он реагировал на идею Бога, творца всего сущего? В чем видел явленные следы тварности мира? Как, когда, из чего, по Толстому, Бог сотворил Вселенную? И, главное, *зачем*? В чем был *смысл* и *цель* творения? Думал ли Толстой о первом моменте творения? Как относился к необходимости для человека *актов веры*? То есть чудес и т. п. Как относился к взаимоотношениям науки и религии? Видел ли перспективы сотрудничества людей науки и людей религии?

Второй круг тем, которые волнуют меня в связи с Толстым (впрочем, и в связи с Достоевским), это вопросы о Христе. Христос и Истина. Христос как Богочеловек и Просто Человек. Как Толстой относился

к мысли о Христе, лишенном своей божественной сущности? Знал ли ереси раннехристианского периода – о Христе как великом человеке, но не Боге?

Достоевский писал о своем символе веры таким образом, что его религиозность оказывалась под большим вопросом. «Я скажу Вам про себя, что я – дитя века, дитя неверия и сомнения до сих пор и даже (я знаю это) до гробовой крышки...»

Обратите внимание на эпитеты: «нет ничего прекраснее, глубже, симпатичнее, разумнее, мужественнее и совершеннее Христа».

Разве эти определения можно отнести к Богу? Разве это не характеристика Человека?

Можно ли было бы реконструировать толстовский комментарий на подобный символ веры?

Истина вне Христа или Христос вне Истины – это Христос вне Своего сыновства: Христос верующий в Отца, но Сыном не являющийся. Гениальный человек, вообразивший, что Он Сын Отца Небесного... Горнило сомнений Достоевского было связано именно с этим.

Такой была ересь IV века (ариане), и многие другие ереси. Об этом говорили петрашевцы на своих собраниях, за что многие из них получили приговоры «за богохуление». На эту тему идет спор 2000 лет, и не утихает, вспыхивая вновь и вновь. Есть закон: раз возникшая ересь никуда не денется; как бы ни преследовали ее адептов, она будет возникать снова.

Возможно ли уверовать образованному человеку в чудеса Священного Писания? Этот вопрос тоже мучительно переживался Достоевским. А Толстым?

Толстого всегда интересовала суть дела, а не правила приличия.

И эта суть, по-моему, лезет сейчас из всех щелей. Только люди великого духа могут задавать себе вопросы о Христе и Истине. Потому христология Толстого – первое, что меня горячо волнует.

Я была бы признательна, если бы Вы инициировали такое обсуждение. Но только если оно будет «с последней прямой». Иначе – бессмысленно.

Говорить на эту тему в период ГОНИМОЙ ЦЕРКВИ – нечестно. Но говорить об этом во времена ТОРЖЕСТВУЮЩЕЙ ЦЕРКВИ – в самый раз.

Это никому не может навредить, мне кажется.

Но нет ничего более важного, чем разговор о *возможности сегодня верить*.

Вы пишете: «Да, изучать источники духовного опыта крайне необходимо, но лишь затем, чтобы творчески их переработав, применять практически и страховаться от нескончаемой череды совершаемых ошибок».

Я думаю, что никто ни от чего не может застраховаться в сфере духа.

Никто не живет чужим, даже и сколь угодно великим, духовным опытом. Только своим. Духовный, тем более религиозный опыт – это не *инструкция по применению*: в таком качестве он сразу теряет всю свою силу. Во всяком случае, так обстоит дело в христианстве.

«Изучать источники духовного опыта крайне необходимо, но лишь затем...»

Но изучение источников духовного опыта – это *не средство, а цель*: только тогда оно может чего-то стоить. В процессе свободного постижения, познания, восприятия может возникнуть и свой собственный опыт. Иначе – получится поведенческий кодекс, прописи и расписания, наставления и рецепты. Но кто же поверит рецепту, если не верят заповедям...

Л. Сараскина

Ясная Поляна, май

Приведённый Вами символ веры Достоевского я бы сблизил с толстовским «верую»:

«Верю я в следующее: верю в Бога, которого понимаю как дух, как любовь, как начало всего. Верю в то, что он во мне и я в нём. Верю в то, что воля Бога яснее, понятнее всего выражена в учении человека Христа, которого понимать Богом и которому молиться считаю величайшим кощунством. Верю в то, что истинное благо человека – в исполнении воли Бога, воля же его в том, чтобы люди любили друг друга и вследствие этого поступали бы с другими так, как они хотят, чтобы поступали с ними, как и сказано в Евангелии, что в этом весь закон и пророки. Верю в то, что смысл жизни каждого отдельного человека поэтому только в увеличении в себе любви; что это увеличение любви ведёт отдельного человека в жизни этой ко всё большему и большему благу, даёт после смерти тем большее благо, чем больше будет в человеке любви, и вместе с тем и более всего другого содействует установлению в мире царства Божия, то есть такого строя жизни, при котором царствующие теперь раздор, обман и насилие будут заменены свободным согласием, правдой и братской любовью людей между собою. Верю, что для преуспевания в любви есть только одно средство: молитва, – не молитва общественная в храмах, прямо запрещённая Христом (Мф. 6: 5–13), а молитва, образец которой дан нам Христом, – уединённая, состоящая в восстановлении и укреплении в своём сознании смысла своей жизни и своей зависимости только от воли Бога».

Как и Достоевский Толстой расчленяет «нераздельное соединение естеств» Богочеловека (что ему, в отличие от автора «Бесов», не прости-

ли), но сближается с истиной (которую понимал как любовь), и с ней остаётся до конца, до смертного выдоха. Его последние слова: «Я очень люблю истину». Достоевский с Христом (с плотным Христом – «симпатичным, разумным, мужественным»), Толстой с истиной. В этом случае прав ли Мережковский: кто из них тайновидец плоти, а кто духа? и на молитве Толстой также «противоположный близнец» Достоевского. Индивидуалист и соборник. Толстой, кажется, единственный раз в 1857 году (по записям в Дневнике) обратился в молитве к Христу как к Богу: «Господи Иисусе Христе, помилуй меня». И всё. С тех пор только напрямую – к «неведомому, но сознаваемому» Богу-Отцу. Не признал в Христе Сыновства, не принял как Спасителя, даже Человеком «не заинтересовался», по его словам, «встретившись, прошёл бы мимо». Не нашёл в Его словах и проповедях подтверждения Его Божества. Церковь это сразу заметила. Помните обширное письмо Толстого к Александру III в 1881 году, в котором он предлагает ему как христианскому Государю не казнить убийц своего отца, простить их и тем самым исполнить завет Христа: воздать добром за зло. Страхов пытался передать обращение через Победоносцева, но тот категорически отказался это выполнить, а причину объяснил в письме к Толстому: «...Наш Христос – не Ваш Христос. Своего я знаю мужем силы и истины, исцеляющим расслабленных, а в Вашем показались мне черты расслабленного, который сам требует исцеления».

Победоносцев угадал? Если толстовский Христос лишь «прекрасный человек», следственно носитель всех человеческих недугов, требующих врачевания, – значит угадал. Христос принёс в толстовский мир меч и разделение. Толстой верит искренне и до конца в абсолютность евангельских заповедей и не верит в их Носителя. Не может *вместить* Его Сыновства. Вот я повторил ставшую расхожей фразу, которую позволит себе любой семинарист-первокурсник: «Великий художник слова не принял Слово Отчее». Легко и самонадеянно: «Толстой не мог вместить, Толстой не понял, не увидел...» Так писали и пишут о великой тайне человеческой души: «Религиозная трагедия Льва Толстого» (Ф. Степун), «Истоки душевной катастрофы Л.Н. Толстого» (И. Концевич) и т.д. Судьи судят. Что-то подсмотрел Гольденвейзер, что-то услышал Маковицкий и лишь на основании этих «документов» рисуется «духовный облик», даже «катастрофа» человеческой души. При составлении поэтического сборника о Толстом, я созвонился с поэтом Юрием Кузнецовым с предложением о его участии. Он деликатно отказался, мол, о Толстом у него нет ничего. Но он слукавил. Уже была написана его предсмертная поэма «Сошествие в ад», куда он самосудно и прежде времени поместил Льва Николаевича. Вот тебе бабушка и «Мне отмщение, Аз воздам»!

Толстой не мог вместить... Так ведь и апостолы не всегда «вмещали» сказанное Учителем. Об этом в Евангелии от Иоанна. Беседовал я недавно со своим знакомым (интеллигентным, верующим, воцерковлённым (!), т. е. практикующим, – это, кстати, и к вопросу: образованный человек и чудеса) о схождении Благодатного Огня в Великую Субботу в иерусалимском храме Воскресения Христова. И вдруг он совершенно просто: «А там катод и анод». Я ахнул, а он так же спокойно: «Замыкание, как же ещё». И всё. Несколько дней ходил под впечатлением. Как, человек, вполне принимающий Литургию (таинство евхаристии) и троичность, и воскресение, и вознесение принимает без какой-либо чудобоязни, вдруг – «катод»? Непостижимо. А потом сам себе: а что, собственно, ахать, ведь и я не могу «вместить» подобного чуда. Это как рай, который, по словам святых Отцов, мы можем «приобрести, но не можем умом постигнуть». Что ж удивляться?

Вопрос же об освоении духовного и исторического опыта для меня остаётся открытым. Даже если *инструкция* или *кодекс*, как Вы пишете, пусть так, а я даже и добавлю: опыт отцов и должен быть некой гарантией, страховым полисом от бесчисленных интеллектуальных метаний и праздношатайства суетного ума. Ещё вернее – почвой, удерживающей и питающей. Должна же быть хоть частичная интеллектуальная и духовная зависимость от праопыта, т. е. от духовной родины. Иначе, из этого заколдованного круга мы не вырвемся. Скажите, ну почему, уже дважды за прошедший век мы, вернее, наша «культурная элита», пришедшая к власти, отрекается от собственного опыта в пользу западных идей? Так не «чують под собой страны» и народа... и опять эта «бродячая Русь» европеизирует целую страну, невзирая на жертвы, любой ценой.

Вы лучше меня знаете отношение Достоевского к интеллигенции. Отношение Толстого примерно такое же. Как-то он беседовал с А. Берсом на эту тему и на вопрос: «Куда ж она придёт?» – резко ответил: «К чёртовой матери!» Сама-то ладно, но ведь и нас за собой тянет.

С уважением, С. Романов

Москва, июнь

Ваше письмо я получила еще две недели тому назад, только что возвратившись из Старой Руссы, где проходили XX Достоевские чтения. У меня был доклад на тему: «Кто не с нами, тот против нас: библейские истоки революционного лозунга».

Как Вы понимаете, и тема, и материал весьма полемичны, если не сказать больше; так что по приезде я дорабатывала свой текст, а затем рассылала его заинтересованным лицам. А потом мой компьютер пострадал из-за сбоев электричества, полетела и программа, и жесткий

диск, все пришлось менять, чинить, и только вчера я вновь вошла в свою почту. Так что извините великодушно за вынужденное молчание.

Спасибо за столь подробное освещение толстовского отношения ко Христу. Оно впечатляет и обескураживает: это не воинствующий атеизм, который так легко поносить и ругать, а такое ощущение правды, такое переживание веры, с которыми трудно спорить. Это – как сказать человеку, которого знобит и лихорадит, что на улице жарко и все обливаются потом. По-моему, честнее и справедливее уважать в человеке его духовный путь и самостоятельно найденные решения, нежели автоматическое согласие с общепринятыми, «правильными» положениями. И могу только повторить то, что уже говорила: собственный поиск, ведущий человека по опасным тропам, грозящий ему отлучениями и анафемами, более осмыслен, чем равнодушное, безличное следование догме.

В символе веры Толстого меня поражает безоглядность и твердость его веры в Христа-человека. Я как раз сейчас занимаюсь историей 1-го Никейского собора (325), где после долгих споров и препирательств был принят символ веры в триединство. Его подоплека, как Вы знаете, была такова: Александрийский епископ Александр в беседе с клиром сказал, что «Святая Троица есть в Троице единица», то есть выразил идею единосущия всех лиц Святой Троицы. Пресвитер Ария возразил, что если Отец родил Сына, то, стало быть, Рожденный имеет начало бытия и, следовательно, было время, когда Сына не было и Он имеет свое существо из небытия. Стало быть, Сын вторичен по отношению к Отцу. Только и всего. Не единосущен, но подобен. Вот и вся суть спора, которому 1680 лет, вместивших гонения, преследования, казни, страшные кровопролития.

Учение Ария было запрещено, потом Евсевий, епископ Кесарийский, разрешил проповедовать на тему: «что произошло, не было прежде, чем произошло». Император Константин занял нейтральную позицию, балансировал между разными партиями и позволял им побеждать по очереди. В состязаниях принимали участие 318 священников, среди них и христиане, и ариане, а также миряне, свободные философы и даже язычники. Великий спор касался как раз слова «единосущный». Ариане спор проиграли, и после собора Константин издал указ об обязательном исповедании установленной на соборе веры. Решение собора было названо «мыслью Божией, объявленной Святым Духом через согласие многих великих архиереев». «Зрелище того, как Церковь, едва спасшуюся от гонений, раздирает жесточайшая борьба по вопросу о взаимоотношениях лиц Троицы, самое неприятное во всей мировой истории», – писал в XIX веке европейский историк.

Мне кажется, что символ веры, обретенный (провозглашенный) большинством голосом в ходе таких распрей, обречен навеки быть под-

верженным переосмыслению, и даже самому еретическому. Все это слишком в духе человеков.

Вообще рассмотреть движение этой темы в процессе истории было бы очень поучительно. Не может быть, чтобы этого кто-то уже не сделал до нас.

Что касается Победоносцева и его Христа, я этим тоже подробно занималась и даже написала работу «Тень Торквемады: К.П. Победоносцев после 1881 года». Она (статья) выйдет вот-вот в СПб. Если Вам интересно, могу прислать.

И ещё Вы пишете: «...Опыт отцов и *должен быть* некой гарантией, страховым полисом от бесчисленных интеллектуальных метаний и праздношатайства суетного ума. Ещё вернее – почвой, удерживающей и питающей. *Должна же быть* хоть частичная интеллектуальная и духовная зависимость от праопыта, т.е. от духовной родины. Иначе из этого заколдованного круга мы не вырвемся».

Все так: *должен быть, должна же быть*. Но не получается это долженствование на практике. Никто не хочет жить умом и опытом даже самых великих. И никакой *зависимости* никто ни от чего признавать не хочет. Меня интересует этот феномен как таковой. Почему – так? Может быть, потому, что это соприсродно человеку? Иначе каждый сын рождался бы не несмышлёнышем, которого всему надо учить заново, а уже генетически в себя впитавшим всю мудрость и все знания, весь предыдущий прародительский и родительский опыт. Но тогда это были бы не мы, не люди, не существа переходные, а гиганты, титаны, великаны. Но – увы. Каждый из нас – целина почти что, и начинает все заново. Люди не любят писать согласно прописям; может быть, однако, что это не только недостаток, но и залог нашего развития; человек ничего не знает, но любопытствует и залезает в такие дебри, в которые ДО НЕГО НИКТО НЕ ХОДИЛ. А если бы он, человек, ходил только по протоптанным местам, цивилизация наша была бы совсем другой. Какой? – Бог весть. Может быть, это было бы место райское, но что-то мне кажется, вынести этот рай было бы весьма непросто.

Ваша Л. Сараскина

Ясная Поляна, июнь

Конечно же, я буду просить выслать статью о Победоносцеве. Эта уникальная, забытая и неузнанная личность меня интересует чрезвычайно. Вероятно, наши взгляды, судя по названию Вашей работы, немного разойдутся.

Не знаю другого деятеля в русской истории, чьё государственное и общественное служение было подвергнуто большему поношению,

чьи идеалы и чувства более высмеяны, внешний вид – окарикатурен, и весь образ его до такой степени демонизирован, что и по сей день невозможно разглядеть в нём живых человеческих черт. В этом вопросе я занимаю заведомо невыгодную позицию: *я понимаю и доверяю* Константину Победоносцеву. При всех его ошибках. Думаю, в нём было некое пророческое предвидение и своей судьбы и России. Отсюда и его так называемый «нигилизм». Восстать в одиночку против хаоса жизни, победить и знать, что преодолеть хаос в самом человеке не удастся, как не удавалось ещё никому, и в итоге быть побеждённым им, хотя и не сломленным, – великая мистерия человеческой судьбы.

В прошлом году я был в Питере, работал в архивах, держал в руках его дневники, письма, записки, – ещё раз убедился, это была цельная и религиознейшая личность, он многое знал, ничего не боялся. Один из немногих в нашей истории, кто озаботился склеиванием разорванных связей русской жизни.

Ладно, что мы всё о серьёзном. Хотите я приведу одно милое стихотвореньице посвящённое Победоносцевым Катеньке Энгельгардт. Кажется, оно нигде не публиковалось, по крайней мере, я не встречал. Обер-секретарю общих собраний московских департаментов тридцать лет, ей – всего десять. Через восемь лет они поженятся.

Милой моей Катеньке

Ангел Божий прилетел
К маленькой кровати;
Улыбаясь, посмотрел
В глазки милой Кате.
И закрыл ей до утра
Глазки он рукою.
Ангел прошептал: «Пора!
Спи, Господь с тобою»!

Катя, Божие – дитя,
Полюби ты Бога!
Любит, любит он тебя,
Любит много, много.
Сердце чистое тебе
Дал он на дорогу;
Сердце чистое в себе
Сбереги ты Богу!

Трогательно, не правда ли?

С уважением, С. Романов

Москва, июль

Посылаю Вам свою статью о Победоносцеве. Я воспринимаю феномен КП с большой горечью, как нечто фатальное. Король ПИК для России. То, о чём Вы написали, справедливо, но есть правда и в том, как его воспринимали его современники. А стихи Катеньке, конечно, очень славные.

С самыми летними пожеланиями, ЛИС

Ясная Поляна, июль

Спасибо за статью, с интересом прочитал её.

Я однажды поинтересовался мнением о Победоносцеве у митрополита Кирилла, председателя Внешних церковных сношений РПЦ. Он определил его как человека трезвого и глубокого ума, честного патриота и христианина, с добавлением, что многое из его общероссийской и внутрицерковной политики не может быть используемо в наши дни. Разумеется. Кто, к примеру, из наших высших чиновников «в целях нравственности и приличия» решится издать распоряжение о запрещении делать «благодарственные почётные заявления лицам состоящих на государственной службе», а проводить их не ранее «как через год по оставлении ими должности». Небывальщина какая-то для нашего времени!

В статье Вы пишете, что «тень правления обер-прокурора легла и на Достоевского». А Вам не кажется, что получи автор «Братьев Карамазовых» подобную государственную должность, то стал бы гораздо «реакционнее» Константина Петровича? и Льву Николаевичу не поздоровилось бы одному из первых. Нет? Может, и прав был осторожный Страхов, что не познакомил Толстого с Достоевским на соловьёвской лекции, тем самым дальновидно отводя очередную ссору между русскими писателями.

С уважением, С. Романов

Москва, июль

Хочу ответить Вам по некоторым пунктам Вашего письма.

По поводу «государственной должности».

ФМД никогда бы не принял никакой госдолжности, это невозможно. Он главредом «Гражданина» продержался только год. Хотел свободы. Можете представить ФМД в департаменте? Он просыпался в час дня и ложился в 5 утра.

С.Р. И Льву Николаевичу не поздоровилось бы одному из первых. Нет?

Л.С. Нет, конечно. Прочитайте разбор «Анны Карениной» в «Дневнике писателя», прочитайте эпилог «Подростка». У ФМД никогда не было запретительных настроений, я готова «математически» это доказать.

С.Р. Может, и прав был осторожный Страхов, что не познакомил Толстого с Достоевским на соловьёвской лекции...

Л.С. Прав или не прав, но тут дело не в осторожности, а в том, что тогда бы он сам лишился роли посредника между ними. Роль, которой он очень дорожил, это был статус, «карьера», положение...

С.Р. ...тем самым дальновидно отводя очередную ссору между русскими писателями.

Л.С. О нет! Зачем же тогда он, крестный детей Достоевского, душеприказчик, воспоминатель, принявший участие в сборнике Ореста Миллера 1883 года, посещавший воскресные обеды у вдовы ФМД до самой своей смерти, за ее спиной отправил Толстому, желая ему поглотить, самое грязное, лживое, клеветническое письмо против ФМД, едва только тот умер? Обвинил его в темном разврате («подвиги» Ставрогина) и педофилии!

К чести Толстого, адресата этого письма, он не поддержал тему... Страхов был подпольным человеком и этим письмом выдал себя с потрохами. Я думаю, за это письмо он попал в ад.

Простите меня, если этими словами я обидела Ваше уважение к Страхову.

С уважением, ЛИС

P.S. Я на две недели уезжаю в Иерусалим, в Академию, за материалом к одной своей работе. Вернусь в начале августа.

Ясная Поляна, август

С приездом, уважаемая Людмила Ивановна, в родную сторону. Всегда с доброй завистью отношусь к побывавшим в Святой Земле. Приведётся ли самому когда-то? По ТВ передают, там неспокойно сейчас. Думаю, Вы привезли не только яркие впечатления, но и полезные материалы для работы. Люди обычно «отходят» немного после таких счастливых туров, а тут я надоедаю своими письмами. Извините.

Моё уважение к Страхову ничуть не поколеблено, оно упрочено долгим дружеским к нему отношением Толстого, да и Достоевского. Несмотря на упомянутое Вами действительно странное «подпольное» письмо. Я доверяю мнению тех, кому сам верю. Если Толстой дружил с Чертковым, значит, тот стоил того, Николай II доверял Распутину, Достоевский был близок с Победоносцевым. *Дух* у него *укреплял*. Это повыше дружбы. И подобная тема духовного родства двух сверхвлиятельных личностей в общественной жизни России совершенно обой-

дена вниманием исследователей. Всё-таки думаю, что первый, кто серьёзно коснется психологического анализа их отношений, вольно или невольно докажет, что «приверженец и почитатель» правоведа Победоносцева мог положительно *реагировать* на *запрет*. (Смягчим «реакционность» и «запретительство».) Он бы не понял, что в слове «нет» столько же разумной справедливости и пользы, как и в слове «да»? При обер-прокуроре НЕЛЬЗЯ Россия хоть от крови обсохла. Не в этот ли период «тишины и покоя» созрела религиозно-философская мысль и укрепил корни Серебряный век русской поэзии? После смерти Александра III даже наши «европейцы-либералы» признали годы его правления самыми «благополучными». Каково же место в нём «вдохновителя реакции»? Но меня другое волнует, к чему так оберегать Достоевского. Не обедняет и не упрощает ли подобный подход самого писателя. Была ли дружба или был расчёт? В письме к КПП по поводу пушкинской речи Достоевский пишет о «наших убеждениях». Полистал две монографии о Достоевском выпуска 1990-х годов. Первый автор вообще отказывает Достоевскому в искренности этого письма, второй говорит, что «письма предназначались не для печати», а к печатному слову он «относился строже». Неужели великий сердцевед за 10 лет знакомства так и не разглядел в Победоносцеве Мефистофеля? Может, такового просто не было.

С уважением, С. Романов

Москва, август

Я действительно немного пришла в себя после поездки, но теперь подступает Ясная Поляна, куда нужно срочно (к 20 августа, то есть уже сегодня) высылать тезисы или текст. Текст никак не успеваю, тезисы пошлю пока самые скромные. Основная работа над докладом у меня только сейчас и начнется.

Теперь по существу Вашего письма. Вы пишете: «...К чему так оберегать Достоевского? Не обедняет и не упрощает ли подобный подход самого писателя?» Как же мне не оберегать его? Я положила к его ногам свою жизнь. Эти занятия оставляют печать на человеке. Каждый из нас выбирает себе кого-то, кого он бережет. Мне ошибки Достоевского дороже, чем объективность его критиков. «Мне бы лучше хотелось оставаться с Достоевским, даже если математически было бы доказано, что он вне истины». Не думаю, что, перефразировав таким образом символ веры ФМД, я очень кощунствую. Я – с ним. Я – на его стороне. А иначе мне совершенно неинтересно им заниматься. Это не сотворение кумира, и не апологетика, а любовь и человеческая признательность. ФМД из меня человека сформировал. И что же? Мне его «кинуть», как сей-

час все «кидают» всех? Пуститься в объективность – «с одной стороны нельзя не отметить, с другой стороны нельзя не заметить»? «Такой подход не обедняет и не упрощает самого писателя», такой подход – это презумпция доверия и любви. Это возможность понять его.

Вот Страхов именно «кинул» его. Страхов повел себя после смерти Достоевского не как друг покойного, а как человек, которому нужно было срочно сменить покровителя. **ВОТ ОН ДОСТОЕВСКОГО НЕ ТОЛЬКО НЕ БЕРЕГ, НО ДАЖЕ И ОКЛЕВЕТАЛ.** Почему он побоялся написать **ЭТО ЖЕ** о Достоевском при жизни Достоевского? Тому же Толстому, в частном порядке? Потому что оставался шанс разоблачения. Тогда бы он был просто выброшен из литературы.

Вы пишете: «В письме к КПП по поводу пушкинской речи Достоевский пишет о «наших убеждениях».

То же самое он пишет всем «своим», своего направления людям. «Русской партии», которая после Пушкинской речи через день его раздолбала вовсю. Особенно старался, как Вы знаете, Леонтьев, поставив ФМД в пример КПП – тот в своей речи возлагал все надежды на церковность, а не «на какое-то там общечеловеческое примирение».

Вы пишете: «Неужели великий сердцевед за 10 лет знакомства так и не разглядел в Победоносцеве Мефистофеля?»

В своей статье я писала о том, как сильно изменилось все после 1 марта 1881 года. И прозвище Торквемады КПП заслужил от своих современников за 25 лет ПОСЛЕ ФМД. Люди меняются – был же КПП в 60-е либеральным правоведом, и ведь перестал им быть, изменил своим прежним убеждением. Так же, видимо, он изменился после 1881 года, б. м. только еще радикальнее.

«Может, такового просто не было?»

Может, и не было. Но было же такое ощущение от КПП у Соловьева, Бердяева, Федотова, Трубецкого, Блока, А. Белого, Л. Толстого, даже кн. Мещерского, и у многих других не худших русских людей. Куда от этого деться? Мне бы в данном случае как раз лучше было бы признать, что выбор ФМД того человека, кого он избрал *дух поднимать*, был безоснователен. Но улучшать словами КПП, если вопиют факты, – негоже, по-моему.

С уважением, ЛИС.

Ясная Поляна, август

Кажется, и диалог обесмысливается утверждением: «Мне Н дороже истины и правды!» Но мне действительно искренне *понятна* такая позиция. Во время оно, как Вы помните, от Него разбежались ведь самые преданные, знавшие правду и видевшие Истину, лишь жены иеру-

салимские остались с Ним до конца. И потому Он «в первую субботу явился прежде Марии». Вы, как одна из мироносиц, Вы – не правда, Вы – любовь.

Я же не смогу не *заметить* причину горького страховского письма. В этой *причине* есть *правда* и *обида*, но, увы, действительно нет любви. Здесь корень нашего расхождения. Мне также не близка холодная бердяевская правда о Толстом, и гораздо ценнее толстовский поиск. Здесь я к Вам ближе. По этой же причине я не вполне доверяю бердяевским оценкам КПП. Вы говорите: «факты вопиют». Так ли? В основном вопиют Бердяевы и др. Их репликами и рисуется демонический облик обер-прокурора. Почти прокуратора.

Все эти соловьевские эпиграммы, жуткие страшилки Амфитеатрова и странные сближения Победоносцева с Лениным, всё это напоминает весёлый и шумный гимназический класс, в котором потихоньку покуривали и бражничали, писали ядовитые стишки на воспитателей, не упускали случая посмеяться над мягким директором и насолить строгому инспектору. И когда вдруг они лишились их начальственного попечения, и в класс ворвался «лихой человек» и железным жезлом установил свои гугаговские порядки, они и опамятавались. Да если бы!

Вы говорите, что Достоевский помог Вам сформироваться как личности. Я также знаю людей, которые под его влиянием пришли в Церковь, приняли священный сан. Влияние его идей сильно и не только в России, и это неоспоримый факт. Увы, чего не скажешь о толстовских. Почему? Этот режущий вопрос встаёт перед нами в канун столетней даты его смерти. Помню, как всколыхнуло общество солженицынское требование «жить не по лжи». А ведь оно всё из толстовского – «жить по-Божьи, жить по правде». Ясно, что сохранилось и живое восприятие высоких нравственных идей в народе, сохранились также сила, глубина и мудрость толстовских идей, необходимо лишь современное их прочтение?

С уважением, С. Романов

Москва, август

Думать о Л.Н. и его влиянии на людей сегодня – крайне важно. У меня нет пока готового и полноценного ответа. Но я бы могла сказать только о себе. В то время, когда такие влияния имели место, я сторонилась – почти инстинктивно всяких учений, всякой догматики. Кто-то что-то нашел и мне предлагает готовенькое, в упаковке, под названием толстовства или еще что-нибудь. НЕ БЕРУ. Советское время научило меня избегать всего с привкусом «единственно верного». Я испытала лично, что такое крах идеологий: на моих глазах рухнули

могущественные доктрины, которыми людям долго промывали мозги. А у ФМД повсюду – только вопросы, только «горнило сомнений». Меня это горнило будто втягивало, и я чувствовала себя не таким уж уродом, в сомнениях и колебаниях. С ФМД у меня есть право голоса и абсолютная свобода совести. Любой поворот моих мыслей ЛЕГИТИМЕН; так как имеется аналог у ФМД. У него я встретила СВОИМИ. Понимаете? Я блуждала в потемках, натыкалась на закрытые двери, стучалась лбом о тупики (Герцена, Тургенева, например), а тут вышла к СВОИМ. С Толстым у меня этого не случилось – ТОГДА. Я смогла его оценить много позже, уже сложившимся человеком, с некой основой. И я почувствовала, что не Толстой мне опора, а он, напротив, нуждается в моей защите и любви. Странно, не правда ли? Я как бы должна теперь отстаивать ЕГО ПРАВО на толстовство, на богословствование, на учение. ПРАВО, которое подвергают остракизму, лишая его, Толстого, свободы совести. И я поняла, что он – тоже герой ФМД, то есть мой человек.

Л. Сараскина

Ясная Поляна, сентябрь

Мне кажется, *толстовство* и есть его живая мысль в движении, рост которой искусственно прервали и высушили как гербарий его «последователи». «Толстовинцы», как называла их Софья Андреевна. Его постоянно недослушивали, недослушав – недопоняли и не прочувствовали. Всецело. Отсюда и его всплески: «Да откуда же тигры в Ясной-то Поляне?» Я обязательно в эпитафию ко второму номеру вынесу его фразу о толстовстве. Это актуально. Толстовство – это непрочитанный Толстой. Мы его (толстовство) должны окончательно превозмочь, переболеть им. И дореволюционным, и ленинским-советским. Не есть ли затишье последних десятилетий, кажущееся затухание, ослабление интереса к его личности, к его вечным роковым вопросам наше медленное оздоровление, освобождение от толстовства? И способны ли мы заново перечитать откровение его сердца другими чистыми глазами? Как некогда юный гимназист Павел Флоренский: «Лев Николаевич! Я прочёл Ваши сочинения и пришёл к заключению, что нельзя жить так, как я живу теперь...»

Не меньше: как жить?..

С уважением, С. Романов

*Этюд в девяти письмах. Интернет-встречи с Р. Клейман**

Москва, 23 декабря 2007

Дорогая Рита!

Замысел поговорить с тобой о «твоем» Достоевском возник у меня больше двух лет назад, с того самого ноября 2005-го, когда ты на наших очередных Чтениях в СПб прочитала фрагмент своей пьесы о Мышкине. Меня поразила тогда твоя отвага, твой риск – ты нарушила все условные преграды и рамки, взорвала жанровую конвенцию, «отменила расписание» сугубо литературоведческого академического принципа, на котором мы все стояли и стоим до сих пор. Для меня это был глоток живой воды и еще один аргумент в пользу «нелитературоведения».

Лет пятнадцать назад я и сама впервые рискнула выйти из привычного и комфортного академического жанра. В 1994-м я написала (вернее, построила) книгу о нашей общей inferнальной любимице-мучительнице Аполлинии Сусловой. У меня был выбор (предложенный издательством карт-бланш): 1. Сочинить роман о «Суслихе», с полной вседозволенностью, с вымыслом и фантазией; 2. Провести исследование о ее роли в жизни двух гигантов – Достоевского и Розанова; 3. Написать ее биографию. Я выбрала нечто четвертое, по примеру Вересаева, и составила биографию в виде мозаики документов, писем, материалов с небольшими моими «повествовательными» вкраплениями. Это развязало многие проблемы – пошли в ход все раздобытые в разных архивах документы, представлены все точки зрения на героиню, пущены в дело – на равных правах – все версии. Я чувствовала колоссальное облегчение, высвободившись из рабства академического жанра, при всей моей любви и привязанности к нему. Но от привычных заголовков («К вопросу о...»), от наукообразных фраз о «нарративе» и «дискурсе», от квазинаучного языка (всех этих «имплицитно-эксплицитно», «имманентно-трансцендентно», «континуально-дискретно») меня, честно тебе признаюсь, давно мутит и воротит, особенно если за ним, этим искусственным, игрушечным языком, нет никакой смысловой реальности, что, увы, так часто бывает.

* «Этюд в девяти письмах» опубликован в сборнике: Достоевский и мировая культура. Альманах № 24. СПб.: Серебряный век, 2008. С. 159–177.

К тому же литературоведение явилось (таким оно мне показалось) в последние двадцать лет жанром холодным, бездушным и лишенным не только *всемирной*, но и *локальной* отзывчивости: страна рушилась, государство распадалось, происходили гигантские перемены в судьбе миллионов соотечественников (можно представить, как бы на все это реагировал Достоевский!), а наука о Достоевском оставалась глуха и нема, как будто перемена участи миллионов людей ее никак не касается, как будто это не налагает на нее никакой ответственности и сопричастности. Литературоведение не приняло брошенный ему вызов, не подняло перчатку времени. Напротив, презрительно твердило, что «публицистика» (то есть попытки актуализировать разговор о литературе) есть жанр низкий, ненаучный, почти что подлый. Но как же тогда быть с публицистикой Достоевского, Пушкина, Толстого? Неужто после их публицистики жанр не оправдал себя на веки веков?

Короче говоря, я взбунтовалась и стала писать поперек «дискурса». Мою книгу «Федор Достоевский. Одоление демонов» (1996, в январе 2008 в Париже вышел ее французский перевод) иные коллеги терзали в публичной печати, да так, что, случись это двадцатью годами раньше, я не поднялась бы из пепла. Но Бог миловал, и яростная брань – я подзревала за ней досаду тех, чье поле я «незаконно» заняла, – сослужила мне хорошую службу, дала силы и азарт написать и моего Спешнева (и даже разместить в книге все новонайденные архивы), и графа Н.П. Румянцева, и С.И. Фуделя, и теперь вот А.И. Солженицына для ЖЗЛ с уникальными документами из частных архивов. Я вырвалась из плена наукообразного нарратива на свободу. И теперь, прибегая к академическому статейному жанру, со сносками при каждом третьем слове, со всеми обязательными ритуальными раскланиваниями, уже не чувствую цепей метода, а отношусь к нему спокойно, зная, что на выходе из статьи меня ждет добытая в боях свобода. Меня не тянет пока в вымысел, мне нравится документальный жанр, когда ты связан фактом, документом, датой, событием, но можешь писать вне рамок навязанного нарратива, вне заветов марксизма, структурализма или семиотической школы. Это, по-моему, и есть «даль свободного романа». Для меня – во всяком случае.

Ты же, мне кажется, пошла еще дальше. Ты взломала не только академический стереотип, ты взломала священные границы текста, нарушила его суверенную территорию. Герои из разных опер свободно перемещаются в пространстве твоего спектакля, так что, условно говоря, Ромео вздыхает по Татьяне Лариной, Татьяна ревнует Онегина к Манон Леско, кавалер де Грие сохнет по Аглае Епанчиной, которая, в свою очередь, души не чает в Митеньке Карамазове, а он, подлец, привержен младшей из сестер Прозоровых. Мы еще поговорим о содержании пье-

сы, но меня интересуют прежде всего твои мотивы. Что тебя подвигло выйти за рамки, нарушить конвенцию, «перейти черту», говоря словами ФМД? Нам с тобой надо (снова сошлюсь на ФМД) «непременно поставить ход дела на настоящую точку и уничтожить неопределенность» (ПСС, 7: 141). В своем предисловии к «Мышкину и Моисею» ты замечательно пишешь о миссии исследователя Достоевского как о сладкой муке, высоком служении, не чуждом, однако, и азарта интеллектуальной игры, которая обретает у тебя *«постпостмодернистские»* формы. Как ты можешь описать этот новый жанр и свой путь к нему?

Пока, до встречи в сети! Твоя ЛИС.

Кишинев, 6 января 2008

Дорогая ЛИС!

Признаюсь, твое письмо в первый момент меня несколько ошеломило: интеллектуальная переписка сейчас, в наше интернетно-деловое время, когда этот неспешно-старомодный жанр, казалось бы, бесповоротно канул в Лету, надежно переложенный культурологическим нафталином... Но уже в следующую минуту память послушно подсказала целый ряд имен, высокий образец которых сам по себе являл почти неодолимый соблазн попробовать свои силы в этой жанровой традиции. И первым, конечно же, привычно пришел на помощь кормилец наш ФМД. Потому что, маточка моя, бесценная Людмила Ивановна, начинал-то, начинал-то он ведь известно как, с писем-с, с них-с, милостивая государыня, это мы все давно в подробностях знаем, и про чердак с Григоровичем, и как «новый Гоголь явился», и ночь ту безумную, которая потом его в каторге согревала, и все, что из этого вышло...

И другой жанровый образец не могу не вспомнить, потому что уж очень его люблю: «Переписка из двух углов» Иванова–Гершензона; два полуголодных интеллектуала в разоренной, обескровленной стране пишут вдохновенные письма о судьбах культуры. Пожалуй, ограничимся пока этими ориентирами (естественно, речь идет именно об этических и эстетических ориентирах, а не о претензиях на конгениальность, как ты понимаешь).

Есть еще один аргумент в пользу нашей переписки, сугубо субъективный, – *«нечто личное»*, говоря словами опять-таки ФМД: куда ж мы без него, родимого? Я имею в виду то особое, что последние тридцать лет (тридцать лет, подумать только, Люда!) составляет отдельную, глупо-*личную* часть нашей с тобой жизни, жизни всех тех, кто связал себя узами Достоевского Братства, и теперь мы уже одна семья, со своими проблемами, радостями, обидами и бедами, но это *наши* радости-обиды-беда... Посему предложенная тобой переписка видится мне сладост-

ным продолжением тех удивительных встреч – в Питере и Руссе, Нью-Йорке и Токио, Баден-Бадене и Женеве, когда все мы жадно общаемся по 25 часов в сутки, на заседаниях и в кулуарах, в гостиничных номерах и на парадных фуршетах, в музейных интерьерах и экскурсионных автобусах. Мы говорим сразу обо всем – о детях и внуках, о достижениях и планах, об удачах и неудачах; но как-то так получается в итоге, что говорим мы, по сути, о судьбах российской культуры. Думается мне, что и переписка наша будет тоже об этом.

Теперь – о жанровой специфике моего опуса с позиций современного литературоведения. Согласна: оно, литературоведение, испытывает острый методологический кризис. На мой взгляд, два противонаправленных, но равно опасных синдрома в конечном счете приводят к исследовательскому тупику. Условно я обозначаю их как синдром Шейлока и синдром Агафьи Тихоновны – т.е. это попытки либо вырвать из живой литературной плоти свой фунт мяса и затем его всласть анализировать, либо механически соединить нос одной научной школы с дородностью другой. Современный постмодернизм, претендующий на некий методологический универсализм, на самом деле (при всем моем глубоком уважении к трактатам Дерриды, Барта, Эко etc.) есть гибрид шейлокизма и агафизма, этакий красавчик Фредди Крюгер, облаченный в запрительно теоретизированную терминологию. «Воздуху, воздуху!» – стонет словесность, но ее не слышат. Необходим прорыв в новый синтез поверх жанровых, корпоративно-цеховых и прочих барьеров.

Как ты знаешь, меня давно интересует выявление общих «несущих конструкций» поэтики в разных авторских мирах и культурных контекстах. Я люблю интертекстуальный анализ, люблю выстраивать синхронные и диахронные ряды, обнаруживать скрытые глубинные течения, неожиданные параллели, выявлять архетипы и мифологемы, чтобы затем, возвращаясь на круги своя, лучше понять опять же Достоевского. Многие годы я это делала в строго академических жанрах – статьи, доклады, диссертации. Но вот в какой-то момент я рискнула воплотить то же без околонуточных комментариев, дать персонажам русской классики возможность самим пообщаться, услышать друг друга, поиграть цитатами, перекличками, рифмами ситуаций, но только без того циничного глумления, которым отличается постмодернизм, а с глубокой убежденностью, что вся русская словесность – живой единый Текст с общей кровеносной системой. «И стали мне являться странные, чудные фигуры... Вполне титулярные советники и в то же время как будто какие-то фантастические титулярные советники... и глубоко разорвала мне сердце вся их история» (ПСС, 19: 71). В общем-то, это не новый жанр, а обновленная традиция, восходящая к разным истокам: к брехтовским переработкам, к пьесам-сказкам Шварца, к римейкам современного ки-

нематографа и даже к радио нашего детства. Помнишь «Клуб знаменитых капитанов» из старой черной тарелки-репродуктора? Там тоже герои разных книжек собирались вместе, чтобы совершать благородные поступки...

И наконец, last but not least, еще одна из немаловажных причин моего обращения к столь необычному жанру. Я абсолютно согласна с тобой в том, что академическое литературоведение с непростительным снобизмом отгородилось от трагического разлома наших судеб. Великая страна, как богатырь, застигнутый во сне, лежит, разрубленная на части, а мы делаем вид, что нас это не касается, у нас, видите ли, иной дискурс. Может быть, потому что я волей исторических судеб оказалась вдруг («вдруг», любимое словечко ФМД) выброшенной за пределы России, во мне особенно болезненно обострилось чувство личной причастности к судьбе российской словесности; и вместе с тем – день ото дня, год за годом растет упрямая, нелогичная, иррациональная вера в то, что именно она, прекрасная наша словесность, спасет и сохранит нас, что все бесы и бесенята, накопившиеся в милом нашем больном, – все они выйдут и утонут, захлебнутся в злобе своей, а больной исцелится... и так неудержимо захотелось мне сказать об этой моей любви, и нежности, и неистовой вере в русскую словесность! Это – как письмо Татьяны: мое необходимое объяснение в любви, пусть неуместное, пусть нарушающее все каноны жанра, этикета, политкорректности, времени, пространства, и все же, все же, все же... Что я еще могу сказать?

Твоя Рита К.

Москва, 11–12 января 2008

Приветствую тебя, моя Рита К.!

Итак, наш диалог (письмо-ответ) стартовал, и теперь хочется поглубже залезть в выкопанный нами окоп, чтобы осмотреться. Сразу возьму быка за рога. Князь Лев Николаевич Мышкин имеет в твоей книжке ряд вполне ожидаемых псевдонимов (они же параллели, они же архетипы, они же роли). Он у тебя и Дон Кихот, и Иешуа Га-Ноцри, и Башмачкин, и Гринев, и Смешной. «Овца», «младенец». Князь вполне комично заявляет – в самых неподходящих случаях, – что видел истину, потому в глазах персонажей, далеких от подобного «дискурса», выглядит клиническим сумасшедшим. Его диалог с Шигалевым, неожиданно, но весьма правдоподобно принявшим облик Понтия Пилата (!!!), до боли пронзителен, так что знакомый булгаковский текст, когда проницательный Мышкин угадывает у Шигалева гемикранию, страшную головную боль, действительно выглядит как «сшибка века». Вот, оказывается, на какие подвиги способен «теоретик» Шигалев. Вот в чьи

руки суждено попасть нашему князьке, ставшему бродягой и бомжем. Смирительная рубаша и дурдом – таков его удел «при Шигалеве». А при немецких фашистах Мышкин оборачивается гениальным учителем Янушем Корчаком, принявшим вместе с детьми мученическую смерть в газовой камере. Во всяком новом перевоплощении твой Мышкин неизменно ассоциируется с ведомством (если прибегнуть к модной ныне оппозиции автора «Дозоров» А. Лукьяненко) «Горсвета», но никак не «Гортмы».

Мышкин из твоей пьесы-фантазии, переступая черту своей романной участи, преодолагает душевную болезнь, и то чудо, на которое только и уповал швейцарский профессор Шнейдер, происходит с князем наяву: следуя великому примеру доктора Гинденбурга, он берет к себе, усыновляет еврейского младенца-сироту, дает ему свое имя. Так появляется неучтенный романом Достоевского персонаж «Идиота» мальчик Моисей Львович Мышкин. Князь счастлив: «последний в роде», он обретает сына и наследника «по прямой». Об этом «родстве» мы еще непременно поговорим, но сейчас я хочу задать тебе вопрос, давно меня мучающий. При всех раскладах и изгибах судьбы твой Мышкин – дитя света, добра, милосердия. Ты ни разу не заподозрила его в «теневых» чувствах, не упрекнула за те беды, которые терпят связанные с ним близкие люди. Он у тебя не перерождается в демона, существо порченное, изнаночное. Напротив, преодолевая свою душевную и физическую немощь, обретает качества человека, способного на действенное добро.

Но вот тенденция современного «религиозного литературоведения» как раз пытается увидеть князя Мышкина не в аспекте возможного возрождения, а в аспекте падения, видит в нем падшего ангела. В работах некоторых наших коллег Мышкин не «Князь-Христос» (как он именуется в черновиках к «Идиоту»), а Князь... если не Тьмы, то соблазненный во Тьму и ею себе подчиненный. Откуда взялось такое стремление – судить Мышкина (и Достоевского!) сверху, с позиции ортодоксии, идейного правоверия? Что движет такой религиозной филологией? А главное, дает ли основание текст Достоевского видеть в Мышкине... ну что ли младшего демона (при старшинстве Ставрогина)? Я никак не могу понять смысл намерения: почему «религиозному литературоведению» нужна духовная дискредитация Льва Николаевича Мышкина?

Вот, к примеру, Марья Тимофеевна Лебядкина. Ее искаженный облик, ее лик, затушеванный белилами и румянами, ее явные и тайные душевные вывихи даны в «Бесах» выпукло и наглядно; они не оставляют сомнения в авторской мысли, в том, что Хромоножка подвержена некой порче. Но Мышкин? Вот смотри: праведник и подвижник С.И. Фудель, взявшись после сталинских лагерей читать Достоевского, писал в 1956 году: ««Идиота» я перечитываю с великой благодарностью автору.

Был он несомненно учитель христианства, и его только тот не понимает и не любит, кому непонятна христианская нищета (“блаженны нищие духом”, “будь безумным, чтобы быть мудрым”, “мы сор для мира”). Читаю, ухожу на работу на весь день и среди дня часто ловлю себя на том, что стараюсь быть лучше, чище, терпеливей, любовней, великодушной, проще, стараюсь подражать бедному Идиоту! Вот она, проповедь христианства, и я вновь услышал ее».

Человек такой тяжелой судьбы, прошедший через три десятилетия тюрем, лагерей и ссылок, воевавший простым солдатом на войне, С.И. Фудель видит хриstopодобие Мышкина в романе просто по собственному инстинкту добра. Это ли не духовный знак, пример прочтения? Преподобный Иустин Попович, чью книгу «Достоевский. О Европе и славянстве» (2002) ты хорошо знаешь, писал о Мышкине как о *положительном* герое Достоевского: Лик Христов – главная творческая сила в его душе». Мышкин в глазах Иустина – *христоподобный* герой, который свидетельствует о Христе *психофизически*, опытом активной любви: смиряет бунтарский дух, умиротворяет мятущиеся души, укрощает мятежные стремления. Ты, подвигнув князя на усыновление сироты, точно угадала мысль христианского подвижника Иустина Поповича, великую тенденцию этой самой любви и сострадания.

То же и с символом веры Достоевского, в «правильности» которого (символа) так любят сомневаться наши религиозные литературоведы (я недавно написала об этом большую статью). И вот приведу еще цитату из Иустина, его комментариев к знаменитому фрагменту письма Достоевского Н.Д. Фонвизиной. «Это – Павлово исповедание веры в Богочеловека Христа. Со времен апостола Павла и до настоящего времени не раздавалось более смелого слова о незаменимости Господа Христа. Единственный, кто мог в этом отношении в некотором роде сравниться с Достоевским, – это пламенный Тертуллиан со своим знаменитым “Credo quia absurdum”. Такое бесстрашное исповедание веры в Богочеловека Христа – соблазн для чувствительных и безумие для рациональных. Но именно через такое исповедание веры Достоевский в новейшее время стал самым большим исповедником православной веры и самым даровитым представителем Православия и православной философии».

В чем же тут дело? С каким новым православием мы сегодня имеем дело, для которого ни князь Мышкин, ни Достоевский образца 1854 года (гениально написавший о Христе и истине) уже не авторитеты? Я такое православие ощущаю весьма болезненно и, перефразируя Достоевского, скажу: если бы мне кто доказал, что Мышкин вне православия, мне бы лучше хотелось остаться с Мышкиным, чем с тем православием, которое уличает Мышкина в демонстве и отлучает от Богочеловека Христа.

Кишинев, 17–18 января 2008

Подруга дорогая!

Ты и в самом деле «взяла быка за рога», обозначив очень сложную проблему, пожалуй, самую сложную в нашем сообществе на сегодняшний день. Не скрою: мне, как и тебе, говорить о ней больно и трудно. Потому что коллеги, о которых ты пишешь, – не какие-то там абстрактные оппоненты в сугубо академическом споре, а давние друзья и единомышленники. Я ни секунды не сомневаюсь в искренности и чистоте их побуждений, я хотела бы быть предельно деликатной в такой сугубо интимной сфере, как вопросы веры.

И вместе с тем, тут, видимо, сработал давно описанный (причем, прошу заметить, самим же Мышкиным!) эффект: наши как доберутся до берега, как уверуют, то уж немедленно доходят до последних столпов... Отчего это, отчего разом такое исступление? Неужто не знаете?.. Из боли духовной, из жажды духовной, из тоски по высшему делу... Такова наша жажда!

Но, очевидно, есть некая очень тонкая, опасная грань, за которой страстная духовная жажда, конкретно примененная к живой словесности, вдруг, незаметно для самих жаждущих, оборачивается тривиальным догматизмом, этаким бурсацким вариантом кондовой партийности, аналогом полузабытой чернышевщины-добролюбовщины. Мундир, опять мундир! От литературы (от какой литературы!) снова стали, по сути, требовать, чтобы она была «учебником жизни», соответствовала бы строго прописанным рамкам канона, четко разъясняла бы читающим массам, что такое хорошо, а что такое плохо. И чтобы «положительный герой» был «правильным» резонером, как положено, без всяких там метаний, исканий, страданий и неуместных жестов; а то получается действительно «ниже всякой критики». Иначе говоря, равнение на Рахметова! Гвозди бы делать из этих людей... «Ихний» догматизм, как и «ихний» реализм, Достоевскому не по размеру. Другой формат.

И снова, как почти полтора века назад, пытается вразумить современных «-бовых» Достоевский: «Вы как будто думаете, что искусство не имеет само по себе никакой нормы, никаких своих законов, что им можно помыкать по произволу... что оно может служить тому-то и тому-то и пойти по такой дороге, по которой вы захотите... Желать, убеждать и увещевать других к общей деятельности – все это законно и в высшей степени полезно... но требовать, но предписывать – пиши, дескать, вот непременно об этом, а не об этом – и ошибочно и бесполезно». При этом ФМД абсолютно точно диагностировал еще одну опасность подобной позиции, – пренебрежение художественностью: «...не посягая явно на художественность, [они] в то же время совершенно не признают ее не-

обходимости... мы заметили, что им даже особенно приятно позлиться на иное литературное произведение, если в нем главное достоинство – художественность» (18: 94, 100, 102, 79). Как будто сегодня написано! Так и хочется спросить у некоторых коллег: какое, милые, у нас тысячелетие на дворе?

Что же касается непосредственно Мышкина, как его интерпретируют «наши новые христиане», и их внезапной слепоглухоты к художественности текста, то меня не покидает устойчивая ассоциация из старой андерсеновской сказки: как будто злая колдунья заледенила им душу, извратила зрение, и теперь вместо красоты и света они видят только уродство и черноту...

В своем письме ты цитируешь несколько прекрасных высказываний «в защиту» Мышкина. Не удержусь и я, приведу еще одно, очень мной любимое, из Эйзенштейна.

Так случилось, что меньше чем за месяц до смерти, в январе 1947 года, Эйзенштейн начал большой итоговый труд «К вопросу мизансцены», к сожалению оставшийся незавершенным. Он успел, однако, написать фрагмент под названием «Два микроэтюда из “Идиота” Достоевского...». В центре исследовательских размышлений Эйзенштейна – эпизод покушения Рогожина на Мышкина:

«Над князем занесен нож. Но “князь не думал его останавливать”... и ужас не перед ножом, но перед нравственной бездной, открывшейся перед ним, служит последним толчком, обрушивающим его в припадок эпилепсии...

В покушении Рогожина, с точки зрения Мышкина, не он, Лев Мышкин, в опасности.

В опасности – Рогожин, близкий к тому, чтобы сгубить свою душу.

Всякий схватил бы занесенную на него с ножом руку...

Всякого испугала бы опасность для своей жизни. Князя пугает опасность для чужой души: для души убийцы, замахнувшегося на него ножом».

Именно поэтому вместо ожидаемого защитительного жеста мы слышим крик Мышкина: «Парфен, не верю!» Вот я и думаю: неужто же и этого вопля нынче мало? Что же нужно, чтобы пробудить отклик в наших душах?

То, что происходит сейчас в нашей «идиотистике» – это морок, навязание, дурной сон, как иногда бывает у героев Достоевского (а мы, «достоеведы», все чуточку его персонажи, не так ли?). Но это пройдет, я уверена. И мы двинемся, как и прежде, дальше. «Тихими стопами и все вместе».

...А читатель, независимо от наших высокоученых штудий и дискуссий, все равно будет замирать над бессмертными страницами, смахивая

непрощенные слезы, и современные девочки, яркие бабочки двадцать первого века, с крылышками, опаленными жестокой жизнью, втайне, сами того не сознавая, будут ждать своего Мышкина, трогательного и прекрасного принца, который однажды придет и скажет: «Вы ни в чем не виноваты, а я вас обожаю!» И все опять повторится. Потому что нет такой демагогической темной силы, которая бы одолела светлую магию Слова. «Буди! Буди!»

Твоя Рита К.

Москва, 25–26 января

Рита, дорогая, ты попала в самую точку, говоря о современных девочках, ярких бабочках двадцать первого века, с крылышками, опаленными жестокой жизнью, которые ждут своего Мышкина. Евгений Миронов, исполнитель роли Князя Льва Николаевича в недавнем многосерийном фильме, в одном из интервью сказал, что получает много писем как раз от девушек, школьниц и студенток. «Мне сейчас приходит много писем с любовными признаниями. Но не ко мне, а к князю Мышкину. Я не предполагал, что такие “скучные” качества моего героя, как сострадание, добро и свет, могут быть так заразительны. Как вирус, как болезнь. Мне всегда казалось, что демонические, искушающие силы, как, например, в романе “Мастер и Маргарита”, более эффектны и обаятельны. Я счастлив, что ошибался!»

И еще одно замечание. Я прочитала в интернет-прессе суждение, что *безгранично свободные* литературоведческие версии, которые рисуют Мышкина демоном, а Анну Каренину, к примеру, опиумной наркоманкой, развязывают руки театру и кино, где давно уже все позволено, а тут и -веды как будто даже санкцию дают на эту вседозволенность. В твоём же Мышкине меня как раз пленяет бережное и любовное следование художественной и публицистической логике Достоевского, даже в таком болезненном, не затихающем в своём клокотании вопросе, каким является пресловутый «еврейский вопрос».

Помнишь загадочный (в нём даже видят оттенок мистики) пассаж ФМД из «Дневника писателя»? «Да будет полное и духовное единение племен и никакой разницы прав! А для этого я прежде всего умоляю моих оппонентов и корреспондентов-евреев быть, напротив, к нам, русским, снисходительнее и справедливее. Если высокомерие их, если всегдашняя “скорбная брезгливость” евреев к русскому племени есть только предубеждение, “исторический нарост”, а не кроется в каких-нибудь гораздо более глубоких тайнах его закона и строя, – то да рассеется всё это скорее и да сойдемся мы единым духом, в полном братстве, на взаимную помощь и на великое дело служения земле нашей,

государству и отечеству нашему! Да смягчатся взаимные обвинения, да исчезнет всегдашняя экзальтация этих обвинений, мешающая ясному пониманию вещей. А за русский народ поручиться можно: о, он примет еврея в самое полное братство с собою, несмотря на различие в вере, и с совершенным уважением к историческому факту этого различия, но все-таки для братства, для полного братства нужно *братство с обеих сторон*. Пусть еврей покажет ему и сам хоть сколько-нибудь братского чувства, чтоб ободрить его» (25: 87; курсив – ФМД).

Для меня это очень важный фрагмент и публицистики Достоевского, и нашего с тобой диалога – как представительниц русского и еврейского народов, изучающих Достоевского. Позволяя своему Мышкину усыновить еврейского младенца-сироту, ты художественно и нравственно допускаешь со стороны русского героя возможность не только братских чувств к еврею, но и отношений отцовства-сыновства между ними. Тебе не жалко отдать еврейского сироту под опеку князя, «последнего в роде», да еще обремененного такой тяжелой болезнью и такими тяжелыми ее рецидивами. Ты не боишься, что Мышкин погубит (пусть невольно, нехотя) маленького Моисея. То есть глубинно ты веришь в добрую волю русского по отношению к еврею. Ты как будто отвечаешь на вопрос Достоевского, обращенный к корреспонденту-еврею, – да, все недоразумения между нашими народами – это именно *исторический нарост*, и за ним не кроется каких-то глубоких тайн закона и строя. Ты в деле проявляешь (будто прямо по призыву ФМД) «сколько-нибудь братского чувства» к русскому Мышкину. Это дорогого стоит. Тобой не владеет мысль о *неравенстве крови*, которая так изводит и русских юдофобов, и еврейских русофобов, да и просто расистов любой национальности. Твой «Мышкин и Моисей» – это рука, протянутая Достоевскому через 130 лет после статьи из «Дневника писателя». Но такой жест никогда не может опоздать! Именно на такую реакцию, реакцию доброжелательного понимания со стороны читателя-еврея и рассчитывал Достоевский.

Ты действительно так доверяешь моральной максиме Достоевского в еврейском вопросе, что безоглядно следуешь его логике? У тебя никогда не возникали сомнения, что, может быть, «что-то есть» в его публицистике и романах такого, что препятствует поверить ему, что заставляет многих уличать писателя то в «культурном антисемитизме», а то даже и в зоологической ненависти к еврейскому народу? «Так как в сердце моем этой ненависти не было никогда, и те из евреев, которые знакомы со мной и были в сношениях со мной, это знают, то я, с самого начала и прежде всякого слова, с себя это обвинение снимаю, раз навсегда, с тем, чтоб уж потом об этом и не упоминать особенно», – так пишет ФМД (25: 75). Является ли, на твой взгляд, это признание заслу-

живающим безусловного доверия (замечу, что этим словам не доверяют как раз те, для кого Достоевский – несомненный антисемит, независимо, хвалят его за это или ругают, плюс это или минус)?

Есть в современной литературной критике такая тенденция: давайте вообще не касаться этой темы (русско-еврейской) применительно к русским авторам-классикам, – Пушкину, Гоголю, Достоевскому, Солженицыну. Давайте будем восхищаться ими как художниками, закрывая глаза на их «моральные ущербы», прощая им их «нравственные изъяды». Мне кажется, такая позиция как раз таки укрепляет сторону обвинения, которое жаждет найти (не собираясь закрывать глаза) у русских писателей бытовой антисемитизм или идеологический расизм.

Хочу процитировать письмо А.И. Солженицына в газету «Нью-Йорк таймс» (1985), обвинившую роман «Август Четырнадцатого»: в первом романе эпопеи «Красное Колесо» Солженицын посмел написать, что убийцей Столыпина был террорист Богров, еврей по национальности; это значило, по логике обвинения, что писатель обвиняет именно евреев в Октябрьской революции. «Что касается ярлыка “антисемитизма”, – писал Солженицын, – то это слово, как и другие ярлыки, от необдуманного употребления потеряло точный смысл, и отдельные публицисты и в разные десятилетия понимают под ним разное. Если под этим понимается пристрастное и несправедливое отношение к еврейской нации в целом – то уверенно скажу: *“антисемитизма” не только нет и не может быть в моих произведениях, но и ни в какой книге, достойной звания художественной. Подходить к художественному произведению с меркой “антисемитизм” или “не-антисемитизм” есть пошлость, недоразвитие до понимания природы художественного произведения* (курсив мой. – Л.С.). С такой меркой можно объявить “антисемитом” Шекспира и зачеркнуть его творчество. Однако кажется, “антисемитизмом” начинают произвольно обозначать даже упоминание, что в дореволюционной России существовал и остро стоял еврейский вопрос. Но об этом в то время писали сотни авторов, в том числе и евреев, тогда именно неупоминание еврейского вопроса считалось проявлением антисемитизма, – и недостойно было бы сейчас историку того времени делать вид, что этого вопроса не было».

А Иосиф Бродский, когда издатели-американцы спросили его как-то, что он думает об «антисемитизме» Солженицына, резко возмутился: «чушь, бред и стыд – обвинять А.И. в этом».

Кишинев, 31 января – 1 февраля

...И вот что я имею-таки вам сказать по этому поводу. Как известно, Бенья Крик может провести ночь с русской женщиной, и русская женщина останется им довольна.

Эта старая бабелевская шутка таит, помимо очевидного, еще некий метафорический пласт значений, и толковать его семантику применительно к нашему с тобой разговору, пожалуй, можно следующим образом: соитие русского и еврейского начал в российской культуре состоялось. Не признавать этот факт невозможно, во-первых, потому что она, культура, «осталась довольна»; во-вторых – потому что, как и следовало ожидать, от этого родились дети. Они получились разными, эти дети обоюдно запретной любви, как разными были проявления самой любви, – эллинистически-эротической у Пушкина, целомудренно-печальной у Манделштама, иронически-игривой у того же Бабе-ля и т.д., – вплоть до такой нетривиальной вариации, как страстная любовь-ненависть у Достоевского, который всю жизнь – я уверена – таил в себе эту грешную, тайную, неодолимую страсть, так же, как он всю жизнь мучительно любил Иова многострадального...

Конечно, у ФМД все очень сложно и неоднозначно – иначе это был бы не он, а другой писатель, несколько попроще. И цитат – самых разных – по еврейскому вопросу у него можно найти множество; причем подобрать их при желании можно так, что волосы дыбом встанут, ты знаешь это не хуже меня, – условно говоря, от известных пассажей в «Дневнике писателя» до печально известного же «ананасного компота» Лизы Хохлаковой. На сей предмет есть тьма искусников; как нетрудно догадаться, я не из их числа. Миф об антисемитизме Достоевского усердно создавали, раздували и продолжают подпитывать полешками самые разные силы. В едином порыве сливаются оголтелые черносотенцы и ортодоксальные евреи (см., например, крайне одностороннюю книжку французского еврея Дэвида Голдштейна – *Goldstein D. Dostoevsky and the Jews*. 1981). Несомненным украшением этого сводного хора является дивный волжский бас буревестника революции. Собственно говоря, каждый ищет в наследии ФМД то, что хочет найти, а затем интерпретирует в меру своего разумения, испорченности и целевой установки. Синдром Шейлока, как и было сказано (ох, ты права, таки да, антисемит был этот В. Шекспир!). Разумеется, у каждого есть право на интерпретацию; но ведь и у нас есть право не отдавать им Достоевского, не так ли? Слишком большой был бы подарок стервятникам из вышеупомянутого сводного хора; не дождутся, как говаривали местечковые евреи в те поры, когда мои богобоязненные предки прожигали в черте оседлости бывшей нашей Империи.

Однако спорить на таком уровне мне, честно говоря, не слишком интересно. Гораздо интереснее, например, осмыслить функцию Ветхого Завета в творческом мире Достоевского. Причем речь идет не просто о множестве библейских цитат и аллюзий, – хотя чего стоит одно только трагическое «Аще забуду тебя, Иерусалиме...» в «Карамазовых»!

и вместе с тем, речь о гораздо большем, – о том, что в целом поэтика романного «Пятикнижия» построена, как мне кажется, по принципу Книги Книг: это грандиозный метатекст, который изначально многослоен, как ветхозаветная притча, который таит в себе под одним пластом значений другой, третий, десятый, и каждый из этих семантических пластов перекликается с другими, и каждый допускает множество талмудических (в изначальном, нескомпрометированном смысле этого термина) толкований. Иначе говоря, если бахтинский полифонизм – горизонтальная ось координат художественного мира Достоевского, то многоуровневая библейская полисемия – его вертикаль.

Кроме того, ФМД как личность ассоциируется именно с ветхозаветными персонажами. Напомню, что символисты воспринимали Достоевского как библейскую фигуру, и Андрей Белый сравнивал его с Моисеем, который поднимается к Синаю за новым законом жизни. Сам же он, вне всякого сомнения, соотносил себя с Иовом. Это он, страдающий, лишился всего, в кандалах уйдя на каторгу; это его настигла падучая, болезнь страшная и унижительная, почти как проказа; это его дети умерли один за другим – сначала маленькая Сонечка, а потом Алеша. А главное – это он без конца задавал Всевышнему мучительные вопросы в невыразимой тоске и печали... Наконец, назову еще одну личностную черту Достоевского, несомненно, соотносимую с библейскими истоками: это пророческая функция. Не случайно же его любимым пушкинским стихотворением был «Пророк», восходящий к Книге пророка Исайи, и мы помним, как Достоевский читал эти стихи на церемонии открытия памятника Пушкину!

Я перехожу к главному. Для меня одно из самых удивительных пророчеств ФМД – его мысль о том, что новорожденный еврейский младенец, которого доктор завернул в свою рубашку, быть может, когда вырастет, тоже отдаст рубашку христианскому брату своему. «Разрешение еврейского вопроса, господа!» – взволнованно восклицает Достоевский.

Пророчество сбылось, причем оно сбылось неоднократно. За недостатком времени приведу лишь несколько примеров. Иосиф Бродский однажды сказал о Мандельштаме: «маленький еврейский мальчик с сердцем, полным русских пятистопных ямбов». Нужны ли комментарии к этим исповедальным словам? Еврейские мальчики России, одержимые теми же «проклятыми вопросами», что и русские мальчики Достоевского, оба они – и Мандельштам, и Бродский – отдали российской словесности не рубашку – язык, поэзию, душу. Ах, Александр Сердцевич, чего там... все равно!

То же ощущение сбывшегося пророчества ФМД не покидало меня, когда я смотрела фильм Аскольдова «Комиссар» по рассказу В. Гросс-

мана. Помнишь, конечно: Ефим Магазанник, тихий многодетный еврей-ремесленник из Бердичева, в роли которого был до боли пронзителен Ролан Быков. Это в его нищую хату, в его патриархальную еврейскую семью волею судьбы попадет комиссар Красной Армии Клавдия Вавилова, чтобы родить дитя, которое тоже не во что завернуть... и Ефим примет русского младенца, и отдаст ему свой кров, свою рубашку, и отдаст ему свое материнское тепло жена Ефима, черноокая библейская красавица с говорящим именем Мария.

Для меня именно в этом подтверждение того, что пророчество Достоевского сбывается, и будет сбываться многожды, всегда, во веки веков. А ты еще спрашиваешь, подруга, не боюсь ли я доверить своего младенца Мышкину! Да кому же, как не ему? Мышкин и Аглая вместе усыновят Моисея, вечная русская бабушка отдаст его под покров Богородицы, накрыв от невзгод общим драдедамовым платком Достоевского, вечный дядька русской литературы Лебедев будет баловать и тетешкать, и Моисей, их общее дитя, вырастет, и спасет многострадальный народ наш, и выведет из пустыни безвременья. В этом – суть единой иудео-христианской цивилизации, к которой мы все принадлежим. Потому что, как вдохновенно провидел Достоевский, именно «общие человеки» побеждают мир, соединяя его»... и потому «нужно очень немногих таких, чтоб спасти мир, до того они сильны. А если так, то как же не надеяться?» (25: 92). Будем надеяться!

Москва, 11 февраля 2008

Рита, дорогая!

На такой высокой ноте, которая «выпелась» в твоём письме, можно бы, кажется, и завершить диалог вокруг «Мышкина и Моисея» и всего с ними связанного. Но мне очень хочется, пользуясь случаем сосредоточенного, «тематического» общения, привлечь в наш разговор третьего участника. Привлечь, увы, только виртуально, метафизически, воспоминательно. Все те планы «Мышкина и Моисея», которые мы с тобой обсудили, нашли бы, я уверена, полное и сочувственное понимание у незабвенного Владимира Артемовича Туниманова, ушедшего от нас так рано, в расцвете творческих и интеллектуальных сил, на этапе завершения прекрасных, умных, тонких работ. Мне посчастливилось. Последние полтора года его жизни (последнее его письмо ко мне датировано 4-м мая 2006 года, за несколько дней до смерти) мы интенсивно переписывались. Электронная почта позволила в неделю раз обмениваться посланиями, так что мы были в курсе дел друг друга – и рабочих, и домашних (как он радовался рождению внучки Амелки!). Память о нем, многолетние личные впечатления, а также те 55 писем, которыми я располагаю, рисуют Владимира Артемови-

ча человеком исключительного благородства и благожелательности, ироничным, ранимым, болезненно переживающим «грязь мира». Его суждения о людях я воспринимала как барометр: он поразительно попадал в самую точку. Меня восхищала его преданность профессии, но без малейшего оттенка самовлюбленности, без того «центропулизма», которым тяжело болеют многие филологи. Я всякий раз поражалась его снисходительности, деликатности в сочетании с чувством справедливости и здравого смысла. Я ему первому сообщила о заказе, полученном мной в 2005 году от издательства «Молодая гвардия» – написать биографию А.И. Солженицына в серии ЖЗЛ. Какие чудные, вдохновляющие слова прочитала я уже через день в письме Туниманова! Как они укрепили меня, дав заряд на два года работы. Не скрою, я писала книгу, думая и о том, как будет ее читать Владимир Артемович. И вот книга выходит...

Вообще же, он был – при всей своей трезвости насчет «человеков» и нашего Достоевского сообщества – максималист. Он, Президент, думал о нас лучше, чем мы того заслуживали и заслуживаем. Вот, смотри, что писал он, когда не стало Надин Натовой. *«О смерти Надин Вы, конечно, знаете. Это большая потеря не только для всех нас, но и для Общества. Поэтому и надо бы достойно откликнуться. В Питере договорились, что будет некролог в альманахе (собранном). Я напишу в свою “Русскую литературу”. Хотелось бы видеть в “Литературной газете” Вашу статью, а в “Знамени” – Карена. Можно и венок воспоминаний где-нибудь дать. Конечно, посвятить Надин заседание, конференцию, чтения. Может быть, собрать в книгу ее лучшие статьи, переведя некоторые с английского и французского. Поразмыслить об учреждении премии имени Надежды Натовой. Крайне необходимы как Ваше участие, так и Ваши советы тут».*

Из всего этого списка мы сделали самый минимум...

Или вот я писала ему о Карякине, о том, что Юрий Федорович, по многим причинам, фактически выпал из профессии (ее публичной составляющей), стесняется приезжать без нового доклада и что хорошо бы его пригласить просто так... Туниманов сразу откликнулся: *«О Юрии Федоровиче думаю часто и всегда тепло. Конечно, он желанный гость на любых конференциях. Принадлежит к тем основателям общества, которых уже даже неудобно приглашать с непременноми докладами. Он живая история, почетный гражданин Достоевской страны. Недавно я беседовал с Джексонсом. Он вспоминал Юрия Федоровича, высоко ценя его книги о Достоевском. О чем тут вообще говорить? Карякин – фигура (как сегодня принято говорить “знаковая”). Я ему давно хотел написать или позвонить, но все координаты пропали вместе со старой записной книжкой. Чувствую себя виноватым перед ним».*

К сожалению, мы и тут опоздали: Ю.Ф., недавно перенеся тяжелый инсульт, необратимо болен, и уже не сможет приехать ни с докладом, ни без него. Теперь вот труды Ю.Ф. Карякина последних лет собирает его жена, И.Н. Зорина; быть может, удастся помочь ей с изданием...

Мы снова вернулись к центральной теме нашего с тобой разговора. Что есть истинная религиозность? Туниманов никогда не декларировал свою религиозность, даже, мне кажется, стеснялся религиозного пафоса как чего-то показного, демонстративного. Но нравственного чувства в нем было столько, что хватило бы на многих христиан. Кто бы еще из нас мог бы сказать о себе, что он чувствует себя виноватым перед коллегой, выбывшим из профессионального общения? «Отряд не заметил потери бойца» – это, увы, стало почти нормой...

Кишинев, 15 февраля 2008

Твоя жесткая фраза насчет «потери бойца» больно ударила по незажившей ране. Невольно захотелось возражать, говорить какие-то высокие слова. Но вся штука в том, что в таком «дискурсе» трудно обойтись без пафоса, а с пафосом про Артемыча – вообще немыслимо. Как известно, он высокий штиль на дух не переносил, мгновенно переводя его на рельсы убийственной иронии; а уж в этом стиле состязаться с ним было крайне трудно...

Посему буду писать, как напишется.

Передо мной лежит последняя книга Туниманова («Достоевский и русские писатели XX века») с дарственной надписью: «Дорогой Рите Клейман с неизменной любовью от петербургского “позитивиста” и вольнодумца. 9.11.05. В. Туниманов». То была обычная наша встреча, – в петербургском музее Достоевского, на ежегодных наших Чтениях... Теперь могу признаться: многие годы (что годы – десятилетия!) для меня едва ли не самой светлой составляющей питерских Чтений был обязательный традиционный вечер у Тунимановых – дружеская пирушка в их неповторимо уютной квартире на Подольской, с изысканно щедрым русско-армянским застольем Тамары Яковлевны, в узком кругу, иногда с американскими, английскими, японскими коллегами, а главное, всегда – с фейерверком блистательного тунимановского остроумия...

Но под этой постоянной броней остроумия и иронии скрывалась деликатная застенчивость Мышкина. Вообще, мне кажется, в нем было много мышкинского: с одной стороны, некая почти боязнь красивых жестов, которых он сам был начисто лишен; с другой стороны – донкихотская готовность немедленно с поднятым забралом мчаться вперед, на ветряные мельницы... и горе тому, кто попадался на этом пути, кто был (или показался ему) злым великаном!

При этом он всегда умел прийти на помощь, если было нужно, и делал это, по своему обыкновению, просто, буднично, без высоких слов.

Помню, когда я в конце девяностых годов затеяла проводить в Кишиневе ежегодные конференции «Литература в контексте Большого Времени», пытаясь в меру слабых сил как-то остановить распадающуюся связь культурного времени-пространства, Туниманов был одним из первых, кто эту идею поддержал деятельно и конкретно, непосредственным приездом и участием. Именно благодаря его поддержке и авторитету конференция обрела высокий статус, год от года росло число ее участников, к нам стали охотно приезжать, наряду с российскими, и зарубежные коллеги, такие, например, как японский профессор Киносита, близкий друг Туниманова. (До сих пор вспоминаю, как самые счастливые минуты своей жизни: Туниманов, Киносита-сан и Мария Андреевна Чегодаева, искусствовед, академик живописи и внучка кишиневца Михаила Осиповича Гершензона, ведут неспешный разговор о судьбах культуры у нас на даче, под старым орехом...)

Местное руководство той поры было крайне недовольно этими «русофильскими» акциями. Тучи сгущались постепенно, но гроза разразилась непосредственно после конференции 1999 года, четвертой по счету. Буквально на следующий день по ее завершении начальство официально сообщило мне, что кафедра русской литературы, которой я руководила, наконец закрывается за ненадобностью и в связи с сокращением штатов. В личной беседе со мной некий высокоответственный начальник, сладко улыбаясь, доверительно сказал, что лично у меня есть прекрасная перспектива, которой он искренне завидует: «Чемодан – вокзал – Израиль», – сказал он, сделав почти ленинский жест рукой... История повторялась по-марксистски, как фарс; «философский пароход» стоял под парами на рельсах кишиневского вокзала. Признаюсь: у меня возникло ощущение абсолютной беспомощности и безнадежности. Мир рухнул. Смысл жизни терялся в тумане.

Собравшийся «военный совет» бурно возмущался, но не находил никакого выхода. И тогда Артемыч буднично произнес всего три слова: «Пора защищать докторскую». Я изумилась: «Помилуйте, Владимир Артемович, у меня даже текста нет, я пока не собиралась...» «Подумаешь, текст, тоже мне, бином Ньютона», – невозмутимо ответил он, и глаза его под очками озорно блеснули. Все стало на свои места. Действительно, экая глобальная катастрофа: какие-то чиновники что-то там решили. Мне стало стыдно за свое малодушие; ни надо мной, ни тем более над российской литературой чиновные приказы не властны. Мир отнюдь не рухнул. Жизнь снова обретала смысл, причем вполне конкретный. Осенью, на очередные питерские Чтения, я привезла дис-

сертацию на предзащиту, а в конце января защитилась в Пушкинском Доме. О тех организационно-координационных хлопотах, которые без лишних слов взвалил на себя Артемыч, пока я творила свой «нетленный опус» в Кишиневе, до сих пор только догадываюсь...

Впрочем, что говорить обо мне, если есть примеры гораздо более значимые: когда в Москве внезапно скончался друг и коллега Туниманова Алексей Зверев, оставив незавершенную книгу о Толстом, Артемыч, сам не очень здоровый после очередного инфаркта, эту книгу закончил; правда, вышла она уже без него...

Туниманов был, конечно, гага avis, редкий тип русского ученого-интеллигента, – подлинного интеллигента, того самого, о котором столько было написано, сначала одовоспевательно, потом уничижительно. А сегодня вообще уже само слово окружено фигурой умолчания – очевидно, за ненадобностью. Смена вех, ничего не поделаешь; но это уже совсем другой разговор.

...На этом, собственно, можно было бы и закончить. Но явственно вижу, как «позитивист и вольнодумец» Туниманов, патетики не терпящий, иронически улыбается, лукаво глядя сквозь очки. И, сглотнув внезапный комок в горле, я робко изрекаю в пространство: «Нужно очень немного таких, как вы, чтоб спасти мир. А если так, Владимир Артемович, то как же не надеяться?»

Москва, 20–24 февраля 2008

Рита, милая!

Как естественно ты вспомнила последнюю «достоевскую» книгу Владимира Артемовича. Вот она передо мной, конечно же, тоже с надписью. «Дорогой Людомире-сан в сладостном предвкушении встречи на Женевском озере. 23.06.04». Чувствуешь, сколько в этой надписи отзвуков, ассоциаций и реминисценций. «Людомирой-сан», с легкой руки нашего проф. Киноситы, я именовалась в Японии, и это надолго стало моей «партийной» кличкой. В начале осени 2004-го нам всем предстоял Симпозиум в Женеве, и кто мог тогда знать, что он будет последним и для Славы Свительского, и для В.А. Туниманова.

А Женеве мы действительно славно пообщались, не столько, признаюсь, в связи с докладами на Симпозиуме, сколько в коротких путешествиях. Съездили в Ве́ве, городок «с одной лишь книжной лавкой», и видели дом, где летом 1868 года ФМД писал Мышкина; осмотрели Монтрё – зашли в отель, где жил Набоков, и, конечно, поклонились его могиле. В траве рядом с плитой были разбросаны голубые и розовые фантики с печаткой-бабочкой (одну такую, голубую, с цветочной виньеткой я до сих пор храню как талисман). Там же в траве услужливо пестрели разноцветные шариковые ручки, приглашающие к действию.

На одной из бумажек я и написала покаянное письмо В.В. Набокову туда, винясь в дерзости своих статей (в Женеве у меня был доклад «Достоевский как мишень в романе Набокова «Ада»). Владимир Артемович отнесся к «оккультной» акции (бумажка была свернута в трубочку и размещена среди зелени) с юмором, но вполне терпимо и благосклонно... В ту сентябрьскую неделю в Женеве – помнишь? – он был олимпийски спокоен и казался в высшем смысле неуязвимым: улыбчивый, неотразимо ироничный, остро наблюдательный, несуетный...

Перелистывая теперь его последнюю монографию, я нахожу свои пометы четырехлетней давности, восклицательные знаки и *nota bene* на полях. Аналитический ракурс книги поражает неожиданностью, внешней неочевидностью, но и безошибочностью наблюдений. Герой «Кроткой», офицер-ростовщик, и Позднышев, герой «Крейцеровой сонаты», под пером автора предстают членами одного клуба аутсайдеров-бунтовщиков, подпольных ипохондриков-парадоксалистов. Туниманов так выстраивает сопоставление, что герои столь непохожих сочинений двух русских вершинных писателей, почти буквально разговаривают друг с другом, перешагивая границы своих вотчин, приходя, при всей разности потенциалов, к общему знаменателю сострадания – тайной красоте страдания ради других.

Замечательны и заметки Туниманова на полях писем Розанова к Михайловскому, где обнаруживается неотразимый аргумент защиты ФМД: полемизируя с Михайловским о «жестоком таланте» Достоевского, Розанов пишет: «Напрасно Вы считаете его жестоким, – это гораздо более несчастный человек, слабый сердцем, великий умом; а черта жестокости в нем – она есть и во всяком слишком измученном человеке: посмотрите, как мужики наши бывают жестоки со своей скотиной, иногда с женами; как матери, очень бедные, измученные, бывают жестоки к своим детям. Это последствия его душевного состояния, а не исходная его точка; обратите внимание, что жестокость у него возрастала с годами...» Вот уж безбоязненно неспрямленный взгляд! Впрочем, Михайловский остался «при своих», считая, что так и не получил ни от кого возражений доказательных и мотивированных, насчет «жестокости таланта». Что же касается Туниманова, меня покораляет та деликатность, тот невероятный такт, с которым он как автор аналитических помет существует в «зоне безглаговного предубеждения», то есть в остро полемическом пространстве отношений Розанова и Михайловского. Это, однако, ни в коем случае не было равнодушием к былым спорам: Розанов, по мысли Туниманова, завершал свой путь, когда «многоголосие прежнего времени исчезало на глазах – и литературу, и жизнь загоняли в “лагерь” потемки именно тех “бесов”, за которых некогда “ухватился” Достоевский в своем провидческом романе».

Вообще в воссоздании литературного и идейно-политического контекста эпохи «после Достоевского», в ощущении общественного воздуха, пропитанного (а по мнению противников Достоевского, «отравленного») автором «Бесов», Туниманову нет равных. Многолетний ожесточенный спор Л. Андреева с Горьким о Достоевском, «многогранное присутствие» Достоевского в творчестве Ремизова, Ходасевича, Шмелева, Замятина, Бунина, Алданова, Пастернака, Шаламова – составляют плоть последней книги Владимира Артемовича. Неуловимой, неиссякаемой, безразмерной и безграничной, живой и вечной жизни русской литературы он посвятил себя без остатка, оставшись в памяти коллег и товарищей ученым-олимпийцем с душой поэта-романтика, скрывающего за всегдашней иронией творческую страстность и юношеское вдохновение.

Нам с тобой, дорогая Рита, повезло его знать, с ним дружить, а теперь вот о нем вспоминать...

Эпилог

...Все чаще прощаюсь с близкими и дорогими, осваивая жестокий жанр некролога. Но никогда, ни в каком страшном сне я не думала, что придется писать слова прощания о сверстнице – Рите Клейман, такой жизненной, мощной, знойной черноокой красавице, окруженной всеобщей любовью. Вопрос – за что́ ей *это*? – не в моей компетенции. Однако я более чем уверена, что произошла некая роковая ошибка, сбой программы, и она не должна была уйти так рано, в цвете сил, женской красоты, в ореоле мудрости, ощутив вкус профессии филолога и осваивая курс молодой бабушки.

С самого начала нашего знакомства я воспринимала Риту не только как достоевсковеда, несомненно, очень талантливого, яркого, зоркого, со своими темами, пунктиками и изюминками, настоящего профессионала. Для меня она была человеком с юга, из провинции у моря; примерно в такой же росла и я, хотя до моря было не так близко. Я видела в ней девочку лет семи, крепенькую, румяную, с двумя толстыми косами на прямой пробор, мою ближайшую соседку из квартиры, которая светила мне все детство, напоминая, что есть в мире оазисы добра, гармонии, золотого века с вареньем, и тебе дают его просто так, потому что ты ребенок.

Наши мгновенные реакции на людей, события, слова и поступки были поразительно схожими. Мы одинаково смотрели на роль одежды и еды, на отношения в семье, на воспитание детей и почти одновременно обзавелись внуками. Она отвечала мне теми же чувствами. Как-то раз она написала мне: «Наверное, мы и в самом деле из одного двора. У меня ведь правда такое ощущение, что когда наша соседка Вера Ва-

сильевна в голодные дни зазывала меня вместе со своими тремя троглодитами на борщ и горбушку, натертую чесноком, то и ты где-то там сидела с нами. И елки зимой у нас, конечно же, были общие – беденькие, но такие сказочные, волшебные послевоенные елки... А родители наши на 9 мая накрывали во дворе под старой вишней вместе праздничный стол, один на всех, и застилали его старенькой, пережившей войну, штопаной-перештопаной-перезаплатанной, но зато крахмальной простынкой вместо скатерти... Милый, навсегда ушедший быт, детское чувство счастья жизни».

Быть может, такое наше сродство было заметно и со стороны. Когда русская делегация прилетела на конференцию в Японию, профессор Киносита, устроитель и организатор нашего пребывания в стране восходящего солнца, предложил ей и мне поселиться вместе в гостиничном номере не европейского, а японского стиля, добавив, что мы обе сможем оценить достоинства такого комфорта. Мы согласились на эксперимент, зашли в комнату и, не произнося ни слова, стали перетаскивать циновки в разные углы, действуя абсолютно синхронно, согласованно, автоматически – нам не нужно было слов, чтобы договориться о намерениях: как говорят музыканты, понимание обреталось в пальцах.

В ответ на одну из моих фантазий о нашем «детстве по соседству» она написала, будто продолжая наш общий текст: «...А в сентябре в огромном общем казане посреди двора на живом огне варили сливовое повидло на всех, которое мешали огромным веслом, и мы, дети, целый день вдыхали волшебный аромат и ждали, когда уже намажут на свежий серый хлеб это фиолетовое липкое чудо, которое можно будет лопать от пуза. И самое интересное: возле нашего дома росла старая вишня, формально принадлежавшая нашей семье, но с которой собирали урожай все соседи, и пенки с варенья каждый раз, конечно же, были всехным детским лакомством. Так что мы с тобой еще не раз вспомним наши палестины, в которых счастливое послевоенное детство и сладкое пенки с одной общей вишни...»

Когда она заболела, мы стали переписываться так часто, как только это было возможно, почти ежедневно, и это она уверяла меня, что все будет в полном порядке. «Мы, девушки из провинции, только на вид нежные создания. На самом деле мы крепки, как спирт в зеленом штофе; ты-то это знаешь не хуже меня...» в дни сомнений, тягостных раздумий, ожидания операции, реанимации и мучительной химиотерапии поддержкой и опорой был родной ей (всем нам!) мир Достоевского. Тексты ФМ жили в ней столь органично, что вплетались в ее письма на правах даже не цитат, а чего-то неотъемлемого от нее, без чего нельзя жить. Когда после очередных химических вливаний ее взяла слабость, так что трудно было подойти к компьютеру, она пи-

сала: «Но – полежала, полежала, встала и пошла. И пойду, и пойду! (далее см. по тексту ФМ)».

Во время нашей последней встречи в Кишиневе в декабре 2007-го (мне удалось оформить командировку в местный университет) мы провели вместе целый день в ее гостеприимном доме и придумали интернет-диалог о Достоевском в письмах. Я донимала ее «проклятыми» вопросами, но с ней ни один вопрос не казался неуместным или некорректным. Наш «Этюд в девяти письмах» успел увидеть свет за считанные дни до ее кончины. У нас впереди был план продолжения разговора, в развитие множества тем ее замечательной книги «Мышкин и Моисей».

«Вчера во время капельницы произошел сбой сердца, и пришлось вызывать “скорую”. Но сегодня жизнь продолжается...» – писала она мне за две недели до рокового дня. Она верила, что смерти нет...

Приложение. *In memoriam*

В попытках обретения шестого чувства
(Памяти Г.М. Фридендера, 1996)

В замечательной книге Г.М. Фридендера «Пушкин. Достоевский. “Серебряный век”» (СПб.: Наука, 1995) – о которой автор, судя по его многочисленным новым замыслам, вряд ли мог думать как о последнем своем труде, – среди объемных статей по магистральным историко-литературным темам есть один маленький этюд о романтизме, начинающийся знаменитым стихотворением Николая Гумилева.

Прекрасно в нас влюбленное вино
И добрый хлеб, что в печь для нас садится,
И женщина, которую дано,
Сперва измучившись, нам насладиться.

...

Так век за веком – скоро ли, Господь?
Под скальпелем природы и искусства
Кричит наш дух, изнемогает плоть,
Рождая орган для шестого чувства.

С каким-то особым удовольствием, то и дело выделяя курсивом слова, фразы и целые абзацы, выписывал автор огромные куски из Жирмунского, Гумилева и Владимира Соловьева о романтизме – не как о литературном течении, соперничающем с реализмом, а как о новой форме чувствования, новом способе переживания жизни. С глубокой солидарностью он цитировал Блока: «Романтизм – условное обозначение шестого чувства, если мы возьмем это слово в его незапыленном, чистом виде. Романтизм есть не что иное, как способ устроить, организовать человека, носителя культуры, на новую связь со стихией... Романтизм пока есть жадное стремление жить удесятеренной жизнью...» С неакадемическим волнением он писал о высоте духа поэтов Серебря-

ного века, которые накануне своей трагической гибели призывали современников к обретению вечно старой и в то же время вечно новой духовной ценности – «шестого чувства», в конечную победу которого они страстно верили.

Теперь, когда миновала годовщина нелепо-случайной, но символической для наших нынешних былей смерти Г.М. Фридлендера, становится все более ощутимым тот факт, что и он, академик, лауреат Государственной премии, всемирно известный филолог, в немалой степени был одержим тем же ужасом перед мертвой инерцией, тем же жадным стремлением жить «удесятеренной жизнью», той же тоской по обретению творческого духа.

Мне легко – быть может, легче, чем многим другим коллегам-достоевковедам, – писать об этом еще и потому, что моя научная, исследовательская работа никогда не была связана с Георгием Михайловичем формальными отношениями; я без напряжения и с ощущением полной своей независимости, отдельности могла общаться с ним на свободных от литературоведения территориях, сначала в Пицунде (где мы познакомились, что называется, домами), позже в подмосковном санатории «Узкое» (Г.М. всегда сообщал о своем приезде в Москву), и видеть, что в таком общении он открывался как выдающийся собеседник.

Он вышел из малоисследованной и исчезающей ныне культурно-этнической группы петербургских немцев, которые учились в знаменитой Петершуле, знали основные европейские языки и свободно ориентировались не только в русской, но и в немецкой культуре. В этом смысле Г.М. Фридлендер был истинным старопетербуржцем – широко и всесторонне образованным, прожившим всю жизнь в одной квартире и лично знавшим многих интереснейших людей своей эпохи. От него можно было узнать живые подробности о судьбах достоевсковедов старшего поколения – В.С. Нечаевой, Л.П. Гроссмана, А.С. Долинина (однажды в «Узком» Г.М. больше часа рассказывал о «Доне Искозе», который тогда мне был более всего интересен как публикатор «Дневника» А.П. Суловой). Нельзя было не ценить, что всего «одно рукопожатие» – рукопожатие Г.М. – отделяет меня от тех, с кем свела его жизнь и о ком он вспоминал столь же увлекательно, сколь и пристрастно.

Вместе с тем он принадлежал к тому поколению, которое было основательно напугано в 20–30–40-е годы XX века, получив от власти недвусмысленное предупреждение: «Мы тебя можем убить в любой момент». Ему явно хотелось выговориться, и он много раз принимался вспоминать, как сажали, выпускали и снова сажали его отца, спасенного только заступничеством наркома Красина; как в 37-м арестовали и рас-

стреляли брата, а семья вплоть до середины 50-х не знала об этом; как его самого упекли во время войны в трудовой лагерь на северный лесоповал. Несколько раз я спрашивала его, пишет ли он мемуары. Отвечал он на этот вопрос как-то вяло и сказал однажды: «Что об этом писать? Я ведь не исключение. Целое поколение выросло тех, кому пришлось всю жизнь бояться». (Я помню, как в ноябре 1982 года день открытия очередных Достоевских чтений в Ленинграде совпал с днем кончины Л.И. Брежнева и как долго ждали мы, докладчики, пока начальство получит соответствующие инструкции – можно ли в дни всенародного траура проводить научную конференцию. Мы догадывались, что Г.М. звонит «куда надо» за разрешением, и подтрунивали над ним за его сверхосторожность. Но думаю, меньше всего это была личная трусость или угодничество: дело, которому он служил, требовало от него как минимум осмотрительности.)

Любимое свое детище, главный труд жизни – Полное академическое собрание сочинений Ф.М. Достоевского в тридцати томах – он поднял и нес на своих плечах в течение двадцати с лишним лет, не самых светлых и не самых свободных. Разумеется, в том, что в этой связи делал он, не было риска для жизни, не было, скорее всего, и риска для служебной карьеры. Но всегда оставался риск для самого дела: Полное академическое могли, воспользовавшись любым предлогом, «закрыть» сверху. И тут понадобилась вся изворотливость, вся дипломатичность и, несомненно, вся авантюренность, которые отличали его как руководителя группы и которые позволили ему протащить проект века под бурями и грозами буквально «между капелек». Он рассказывал, сколько пришлось бороться с вышестоящими и очень высокими инстанциями за одно только слово «академическое» в названии проекта: ведь еще на самых ранних этапах подготовки издания его уговаривали отказаться от обязывающего определения. И уступил он хотя бы раз, согласись на облегченный вариант Полного, но не академического собрания, с изданием могли бы сделать все, что угодно: сократить количество томов, отказать в праве на публикацию черновых материалов и вариантов текста, принудить к постыдным купюрам.

Под проект издания был создан уникальный научный коллектив – текстологов, библиографов, архивистов, аналитиков; ученые из группы Достоевского Пушкинского Дома, как правило, блестяще владели всеми этими филологическими специальностями. Наверное, не обходилось без шероховатостей и даже без конфликтов – как не обходится без них ни одно по-настоящему крупное творческое дело. Но я много раз слышала, как, говоря о своих сотрудниках по группе, полжизни отдавших «Полному академическому», Г.М. Фридлендер ласково и любовно называл их: «мои дамы». Не могу судить: может быть, он не был (или

был не всегда) образцовым рыцарем, но он вместе со товарищи сделал главное – завершил «Академического Достоевского». Несомненно, этот труд без всякой натяжки и поминального пафоса следует рассматривать как научный подвиг группы Достоевского и ее ныне покойного руководителя.

Собственно говоря, весь филологический мир так этот труд и расценивает. На «зеленом тридцатитомнике» выросло нынешнее поколение ученых-достоевсковедов; с его руководящей помощью защищались кандидатские и докторские диссертации, создавались монографии, возникали замыслы новых изданий. И тот факт, что любая публикация о Достоевском, будь то научная статья в международных «Dostoevsky Studies» или аспирантские тезисы в провинциальных Ученых записках, содержит одну и ту же обязательную ссылку («Цитаты из сочинений и писем Ф.М. Достоевского приводятся по изданию...»), говорит о едином – мировом! – достоевском пространстве, которое было обустроено в Пушкинском Доме. Как говорит об этом пространстве и любое новое издание сочинений Достоевского, на титульных листах которого непременно будут значиться слова: «Текст произведений Ф.М. Достоевского дается по изданию...» Не хотела бы быть пророком, но мне кажется, что так, судя по обстоятельствам теперешней научно-издательской практики, будет еще лет пятьдесят, никак не меньше.

О «Полном академическом» хочется еще сказать, что не будь оно поднято в предыдущие двадцать лет, оно вряд ли бы могло состояться сейчас – в эпоху торопливых проектов, когда жажда славы не столько подстегивает, сколько подавляет научный интерес и когда ученый, оставшись один на один с диким книжным рынком, надеется зачастую, говоря словами Достоевского, путем «скорого подвига» получить «разом весь капитал». И я не раз была свидетелем того, как самоотверженно защищал Г.М. Фридлендер свое издание от несправедливых нападков, от революционных попыток (были и такие!) сбросить эти тридцать томов с корабля современности. Ведь так легко быть смелым задним числом и теперь, когда все профессионалы «научного атеизма» успели переквалифицироваться в историков религии, упрекать комментаторов тридцатитомника за «советизмы» в интерпретациях и «атеистическую» орфографию. По долгу памяти не могу не сказать, как тяжело переживал Георгий Михайлович эти коллизии. И даже сказал мне однажды с горечью и болью (это было летом 1995 года, на Международном симпозиуме в Австрии): «Вы думаете, что нигилисты и бесы – это только Шигалев и иже с ним? Это и те, кто хочет перечеркнуть и оплевать все, что было до них. Те, кому ничего не дорого, кто всегда готов взять не ими созданное да и отменить из соображений дурно понятого прогресса».

...Последняя моя встреча с Георгием Михайловичем (кто мог подумать тогда, что она окажется последней?) состоялась в октябре 1995 года, в Германии, вблизи Бонна, в замке Айхольц – резиденции Фонда имени Конрада Аденауэра, куда мы были приглашены на конференцию «Достоевский и Томас Манн». Мы летели в Германию из разных мест и добирались до замка разными дорогами, но появились в Айхольце почти одновременно, на пол суток опередив остальных участников. Нам оставалось ждать их приезда еще несколько часов, и Георгий Михайлович предложил прогуляться по дивному парку и посмотреть окрестные достопримечательности. Стояла чудесная теплая осень, было сухо и солнечно. Я приготовилась было слушать его немецкие истории, о которых знала понаслышке, хотела расспросить о его французских кухнях, которых, кажется, он собирался в скором времени принимать в Петербурге. Но тут передо мной предстал совсем другой Фридендер. Не академик, не мэтр (или как сейчас говорят – шеф), но маленький, сухонький, очень несчастный старый человек. Едва заговорив, он буквально ошеломил меня.

«Я прожил свою жизнь напрасно. Я ничего не сделал. Я писал скучные, никому не нужные книги – я не могу их теперь видеть. Я понял, что лишен литературного таланта, и страстно завидую тем, кто пишет изящно и легко. У меня нет учеников. Меня не любят многие из моих коллег. Молодые ведут себя с оскорбительной развязностью, показывая мне, что я им не нужен, так как не опасен. На меня все время нападают, называя академическое собрание «советским», а меня самого трусом и приспособленцем, когда нужно – немцем, когда удобно – русским, где выгодно – евреем. Нина (Н.Н. Петрунина, жена Г.М. – Л.С.) болеет, слышит все хуже и хуже, мне совестно, что я ничем не могу ей помочь. Я ведь могу слушать музыку, смотреть телевизор, общаться с людьми, – она всего этого лишена. Добывать денег на жизнь с каждым годом становится все труднее. Вот и сейчас я подрядился проехать по Германии с лекциями – в мои ли годы зарабатывать «гастролями»? Не знаю, что будет дальше».

Мы сели на скамью в парке; он прикрыл глаза носовым платком и, кажется, тихонько плакал. «Господь с вами, Георгий Михайлович. Как вы можете так на себя клеветать? Как можно быть к себе столь беспощадным? Вспомните всеобщее признание – и в Любляне, и в Осло, и в Гаминге; вспомните, как относятся к вам калининградцы, которых мы с вами ждем и которые появятся уже к обеду. Ведь вечером вы будете прогуливаться по парку уже с ними и почувствуете их привязанность и их уважение. У нас впереди интереснейшая конференция, и ваш доклад о демонических героях. Я читала текст и уверяю вас – это по-настоящему интересно, даже захватывающе. Любой по-

завидует, что в такие годы – и демонические герои. А еще вы затеяли достоевскую энциклопедию и уже написали едва ли не сотню статей. Вы же настоящий ученый, профессионал. Вам ли так мучиться, так себя терзать?»

Тут-то я и услышала (а прочитала уже потом, получив книгу от Н.Н. Петруниной) те потрясающие строки из Гумилева. Георгий Михайлович поднял голову и медленно произнес:

Но что нам делать с розовой зарей
Над холодеющими небесами,
Где тишина и неземной покой,
Что делать нам с бессмертными стихами?

Ни съесть, ни выпить, ни поцеловать.
Мгновение бежит неудержимо,
И мы ломаем руки, но опять
Осуждены идти все мимо, мимо.

Потом и в самом деле приехали калининградские учителя, и состоялся замечательный доклад Георгия Михайловича с почти двухчасовым обсуждением. Была бурная дискуссия о типах национального самосознания – и полемическому задору Фридлендера, разволновавшегося и раскрасневшегося, действительно можно было только позавидовать. Я радовалась его оживлению и его успеху.

Но только два месяца спустя, когда из Петербурга пришла весть об обстоятельствах его кончины, я поняла, что мне довелось увидеть редкий момент человеческого переживания, быть может, родственного тому состоянию «удесятеренной жизни», о котором Г.М. Фридлендер, как ему казалось, знал только по книгам, но не смел и мечтать.

Наше время не бывает прошедшим
(Памяти В.Г. Безносова, 1997)

«Обязательно передай привет гусару – ну, вот этому, с фамилией, как в «Войне и мире», помнишь, в Старой Руссе он плавал в озере при плюс три, а потом рассказывал о Бердяеве», – кричала мне в трубку из Мельбурна профессор Слободанка Владив, все еще переживая наше совместное путешествие Москва – Петербург – Новгород – Старая Русса, которым мы отмечали юбилей Достоевского, и напутствуя меня перед новой поездкой в Питер.

Ошибиться было невозможно: речь шла о Володе Безносове (Слободанка рифмовала его с Пьером Безуховым), и я не удивилась, что из длиннющего каравана филологов, русских и зарубежных, красавица-сербиянка сердечно запомнила именно его, весельчака и балагура, милого повесу, всякий час готового к новым приключениям, – и ведь правда, почему-то именно он всегда всех встречал и провожал, таскал тяжелые чемоданы, ловил такси и мог в душном плацкартном вагоне рабочего поезда раздобыть ледяное шампанское, чтобы разлить по глотку на всех; когда его богатырский бас рокотал где-нибудь неподалеку, отдыхала душа. «Возьми себя в руки», – посмеиваясь, говорил он, когда видел угрюмое лицо или злые глаза, ибо сам был как-то не по-современному добр – так что казалось, будто его ласковое дружелюбие существует независимо от бушующей повсюду зависти и злобы. Он умел быть другом и братом, и про себя я называла его укротителем тигров и заклинателем змей – конечно же, в этом случае меня заботило отнюдь не население зоопарка.

Свою книгу о русской религиозной философии начала века, которую В.Г. Безносов, профессор С.-Петербургской театральной академии, защитил как докторскую, он назвал символически: «Смогу ли уверовать?» (Спб., 1993); знак вопроса в заглавии монографии должен был напоминать о том главном вопросе, которым мучились и Достоевский, и его знаменитые последователи, пассажиры «философского парохода», и многие поколения позднейших русских мыслителей. Пламенное вопрошание, обращенное к себе, и столь же пламенная жажда обрести положительный ответ, казалось, вели автора по жизни и определили путь его последних лет. На этом пути ему закономерно встретилась Оптиная пустынь, куда он успел съездить несколько раз совсем не как турист, и усердные занятия главной темой – Достоевским, от кого он заразился «проклятыми вопросами», и дом в Кламаре, где жил, творил и умер Н.А. Бердяев и где В.Г. Безносов работал с архивом великого философа. Встречи увенчались изданием замечательной книги, сложенной из двух неопубликованных трудов Бердяева, и послесловие к ним В.Г. Безносова навсегда соединило под одной обложкой-крышей оба имени.

Он мечтал отметить грустный юбилей «философского парохода», и я могу поручиться, что только ему одному и могла прийти в голову такая мысль; но, к счастью, он не был лишь мечтателем, а был строителем и деятелем – в самом благородном, бескорыстном смысле этих слов: ибо в своем поселке Стекланный, в двух часах езды от Петербурга, сумел построить не коттедж для себя, по новой моде, а церковь для всех. И так как храма здесь прежде никогда не было, он начал с нуля, нашел сподвижников и помощников, и опять же, как-то совсем не в духе времени, стройку закончил и присутствовал на освящении «своей» церкви. Так

он получил моральное право цитировать то место из неопубликованного Бердяева, которым заканчивал свое послесловие: «Будущее зависит от нашей воли, от наших духовных усилий».

...На дворе был ноябрь, стояла оттепель. «Было так сыро и туманно, что насилу рассвело; в десяти шагах, вправо и влево от дороги, трудно было разглядеть хоть что-нибудь из окна вагона». Точно в такой же невероятный петербургский рассвет, с какого начинается «Идиот», встретивший меня на вокзале коллега сказал: «У нас все плохо. Умер Володя, в больнице, от сердечного приступа».

Его отпевали в самой достоевской, Владимирской церкви, в двух шагах от последней квартиры писателя, где теперь Музей и куда мы съехались на наши очередные Чтения, – а получилось, на Володины похороны. «Смерть делает более ясным и прозрачным многое из того, что при жизни не увиделось сполна», – так писал он в связи с Бердяевым; а получилось, что о себе: вряд ли при жизни он слышал хоть десятую часть тех слов любви и нежности, которые звучали теперь, на нашем последнем прощании.

Последний романтик (Памяти В.И. Лейбсона, 2004)

Он всегда был для меня только Владимир Ильич, и никак иначе. Не Володя, как называли его сверстники и давние сослуживцы, не Лейбка – как шутливо обращался к нему новый приятель Дима Межевич, который любил придумывать нелепые суффиксы к простым фамилиям, так что выходило Меженко, Межевичкус или Межеидзе. «Лейбгвардии Сон», – так еще называл Дима Лейбсона, и тот не хмурился, а вполне блаженно хмыкал.

Но «эпоха Межевича» началась гораздо позже моего знакомства с Лейбсоном. Сначала все же была «контора» на Владимирской улице возле ГУМа, где тогда обитал ХВ (так называли Институт художественного воспитания Академии педагогический наук, кажется, все, кто там когда-либо работал, и буквы эти запечатлевались в сознании как Христос Воскрес). Обязательные присутственные вторники и четверги; бдительный отдел кадров с ненавистной амбарной книгой, где надо было отмечаться утром и вечером; чаепития, которые и составляли смысловой центр рабочего дня, потому что все остальное время... каждый развлекался, как мог. Одни усердно склонялись над бумагами – но с годами бумаги эти только желтели и мялись, равномерно тому, как седали головы и тускнели лица. Другие даже и не делали вид, что трудятся, – в конторе это считалось почти что дурным тоном. Стояло

бездвременно – и множить бумажную гору, неистовствуя насчет коммунистического или атеистического воспитания (такие темы, конечно же, спускались в ХВ сверху), никому особенно не хотелось. Во всяком случае, никто не лез на стену, добиваясь, чтобы затребованное воспитание принесло свои победные плоды уже в текущем отчетном году. Мне кажется, многие тогда понимали, что институт (как и прочие гуманитарные НИИ, идеологически обслуживавшие режим) сотрясает воздух, что его педагогическим инициативам, если они напрямую не связаны с искусством, грош цена.

Однако деваться в Москве филологу или искусствоведу было особенно некуда, а здесь была хоть и небогатая, но все же сносная крыша над головой, и можно было тихо сидеть до поры до времени, что-то свое кропать, чего-то такого ждать. К тому же у ХВ была репутация незлобного, неагрессивного учреждения – никого не съедали с потрохами, и даже сильно не гнобили, никто идеологически не страдал – так, суета по мелочам, мелкие придирки и редкие распекации (особенно если ты чуть-чуть приподнял голову выше остальных). «Здесь нужно жить, не поднимая глаз», – говорили лучшие люди в ХВ; понятие «здесь» распространялось и на ХВ, и на страну. И ХВ действительно долгие годы был приютом для иных неактивных строителей коммунизма, которые, впрочем, мирно уживались с теми, кто по собственной инициативе разоблачал вредные буржуазные концепции и усердствовал на партийной ниве. Но всего только однажды в нашем длинном коридоре меня остановил один ответственный товарищ и ласково порекомендовал не манкировать партсобраниями, да не просто приходить и отсиживаться в углу, а непременно свидетельствовать о своей лояльности «нашей партии» словесно. Но время было уже столь беззубое, что ответ: «это ваша, а не моя партия» – остался практически без последствий.

Не знаю, как на самом деле проявлялась «лояльность» Владимира Ильича Лейбсона, когда он общался с начальством «наверху», но я ничего подобного, типа «наша партия учит», от него никогда не слышала. Оказавшись в одном отделе и много лет встречаясь с ним дважды в неделю, я не могла не видеть, что в стенах ХВ это был один из самых несуетных, нечиновных, независимых людей. Неспешно приходил он в контору, как в клуб, будто он не старший научный сотрудник, а почетный клубмэн; неспешно располагался за своим столом, будто за привычным креслом у камина. Может быть, поэтому на его столе никогда не бывало никаких папок, никаких бумажных завалов, никаких книжных стопок – как не было, значит, и никакой показухи, будто он сгорает на работе. Он честно давал понять, что здесь не работают, а лишь присутствуют, и готов был общаться, обсуждать новости, навещать со-

седей, все так же неспешно, почти лениво фланируя по комнатам и коридорам. Если в его манере и была какая-то поза, то она ощущалась скорее как декларация свободы, с легким оттенком неприкаянности, с тайным чувством непрочности устоявшегося бытия. И я откровенно любовалась им (институт тогда уже переехал на Пречистенскую набережную), когда среди бела дня с еще невысохшей шевелюрой он возвращался в институт «с обеда», – он и не скрывал, что регулярно посещает бассейн, тот самый, где до него стоял прежде и стоит ныне (можно надеяться, что навсегда) Храм Христа Спасителя. Нечего и говорить, что оздоровительная идея Лейбсона пошла в массы, и вот уже мы вместе возвращались с обеденного перерыва, неспешно обсуждая свойства хлорированной воды.

Открытый вызов бюрократическому стилю обязательного и бессмысленного присутствия тем не менее прочно и надежно нейтрализовался тем обстоятельством, что Владимир Ильич был одним из лучших и авторитетных специалистов института. Разработанные им критерии художественных способностей и творческого развития школьников давали некий фундамент непрочной постройке советского эстетического воспитания, собранной из разнородных, не стыкующихся между собой строительных блоков, где классовый подход к искусству диктовал свои правила и принципы и где единственно возможная методология («всесильная, ибо верная») должна была обеспечить успех любому эстетическому начинанию. Работы Лейбсона очеловечивали казенную педагогику художественного образования, которая без такой интеллектуальной компоненты воспринималась как нечто выморочное, болезненное, омертвелое. И тот факт, что сквозь уродливую маску этого тяжело больного педагогического создания порой проглядывало осмысленное, здоровое, симпатичное человеческое лицо, была немалая заслуга Владимира Ильича и его немногих единомышленников.

Сам он, казалось, не придавал никакого значения тому, что делал и сделал, и демонстрировал отсутствие амбиций и честолюбия. Вообще-то он всегда казался мне человеком-загадкой, с какой-то глубоко спрятанной драмой и глухой болью, живущий в созерцании разбитого корыта. Закоренелый холостяк, без явных привязанностей (всегда подразумевался некий «скелет в шкафу»), он жил при старой больной матери. Такие бирюки встречались в старинных русских романах – и разгадка их одиночества таилась в прошлой жизни, по которой прошла какая-то глубокая трещина. Они обречены были вечно греться у чужого огня – «но где же сердце, что полюбит меня?» (как пел удачливый Мистер Икс в одноименной оперетте Кальмана). Владимир Ильич не был, однако, ни персонажем оперетты, ни героем водевиля.

И что-то не видно было сердца, которое любило бы и согрело его хотя бы напоследок.

Так случилось, что наше общение в конторе переросло в дружбу домами – в том смысле, что он познакомился с моими домочадцами и стал время от времени приходить в гости. Он стал единственным коллегой по ХВ, кто познакомился с моими родителями, жившими в ближнем Подмоскowie. Но причина, по которой он вызвался ехать в наше Мещерское, была вовсе не дружески-семейная и тем более не краеведческая. Районный центр город Чехов – это бывшая Лопасня; в разные годы в чеховское Мещерское приезжали Л.Н. Толстой и А.П. Чехов – смотреть кино в сельском клубе (на уцелевшей стене полуобгоревшего здания клуба и поныне еще висит мемориальная доска). Но Владимир Ильич как-то откровенно сказал мне, что Мещерское интересует его только ради фотографии – то есть он хотел бы сфотографироваться на фоне указателя, и таких снимков у него-де имеется большая коллекция. (И действительно: черно-белое фото, где Владимир Ильич довольно улыбается на автобусной остановке у дощатого транспаранта «Мещерское», было подарено мне и сохранилось в моем семейном архиве.)

Обижаться на такие чудачества было бессмысленно – их надо было или принимать с улыбкой, или, в противном случае, прекратить нерабочие встречи. (Точно так же Владимир Ильич придет на похороны моего отца и затем на поминки в девять дней – чтобы «лучше узнать обычай».) Мне все-таки всегда хотелось думать, что им руководил не эгоизм, не холодная черствость, не желание кого-то больно обидеть. Скорее, это было полное отсутствие качества, которое, морщась, ныне называют политкорректностью. Так, он мог громко разозлиться, что актрисы, занятые в спектакле (куда его позвали по знакомству), стары и бездарны (и это была чистая правда!). Что сестры-художницы, к которым я его привела однажды на вечеринку, – безнадежно некрасивы (и это тоже, увы, была горькая правда). Он будто не мог смириться, что его ожидания могут быть жестоко обмануты, что красота никак не хочет торжествовать и спасать мир, что талант не соседствует с молодостью.

У него, несомненно, было какое-то болезненное отношение ко всякой дисгармонии. Он многое мог простить людям, если они были молоды, талантливы, красивы, значительны. Но он умел уважать в человеке и доброту, твердость, порядочность. Он сказал однажды: «не стоит село без праведника», имея в виду то достоинство, с которым повела себя наша общая приятельница в сложных и щекотливых обстоятельствах. Общаясь с ним, я начинала понимать, что он максималист – в чувствах, поступках, оценках. Его трудно было раскатать на воспоминания о том

периоде молодости, когда он сотрудничал с С.Я. Маршаком как литературный секретарь. И я догадалась, что, общаясь накоротке с классиком детской литературы, он не мог не увидеть что-то нехрестоматийное, малоприятное, быть может, мелкое или мелочное, которое – увы! – свойственно не только маленьким людям.

Но вот настала пора расцвета нашей дружбы с Владимиром Ильичом, та самая пора, которую мы оба, и потом и мы трое назвали эпохой Михаила Кузмина. Третьим в нашей компании стал милейший и вдохновеннейший Дима Межевич, актер с Таганки, музыкант-гитарист, сочинитель и исполнитель песен. Двести песен на стихи Михаила Алексеевича Кузмина под гитару – это стало визитной карточкой Межевича. Уникальная коллекция первых изданий Кузмина – это, в глазах Межевича, стало моей визитной карточкой в нашем знакомстве. Лейбсон и объединил наши усилия.

Так началось упоительное время Диминых концертов у меня дома, куда я звала многочисленных знакомых; моя квартира вмещала и тридцать, и сорок человек, которые за чаем с конфетами слушали песни и стихи, и те трёшки, что они сдавали мне как хозяйке, были тогда для Димы немалым подспорьем. Ему хорошо пелось; он вообще в ту пору считал себя новым воплощением, реинкарнацией Кузмина. «Вожатый», «Форель разбивает лед», «Нездешние вечера», «Параболы», «Александрийские песни» – какое волшебное противоядие всякой казенщине заключали в себе эти чудесные поэтические сборники. Их названия произносились как пароль, строки стихов пелись как клятвы, те люди, кому были посвящены стихотворения, казались высшими существами, небожителями. Я к тому же еще и радовалась, что мой маленький сын растет «под музыку». Моих гостей до слез трогали напечатанные в самиздате воспоминания некоего управдома, который неусыпно наблюдал за старым поэтом, доживавшим свои дни в ленинградской коммуналке. Стукач-управдом, который мог бы за счет Кузмина и его странного окружения сильно преуспеть в карьере, мечтал после его смерти установить на доме мемориальную доску с надписью: «Здесь жил великий русский поэт Михаил Кузмин, и управдом Петров его не обижал». Лейбсон, непременный гость этих вечеров и Димин покровитель, блаженствовал, гордясь, что все происходящее – дело его рук. И мы твердо знали: что бы ни произошло потом, позже, как бы ни повернулась жизнь, – эта музыка, эта радость останется с нами навсегда.

«Мы знаем, что все – превратно, что уходит от нас безвозвратно. Мы знаем, что все – тленно и лишь изменчивость неизменна. Мы знаем, что милое тело дано для того, чтоб потом истлело. Вот что мы знаем, вот что мы любим, за то что хрупко трижды целуем!»

Так писал Кузмин, так пел Дима Межевич, так ощущали свое бытие гости его концертов. Хрупкость и превратность жизни очень скоро дали о себе знать. Что-то пробежало между певцом и его покровителем, будто надорвалась струна. Кончились концерты, иссякло музыкальное вдохновение певца, куда-то подевался поэтический кураж восторженных поклонников Кузмина. Почти сразу, будто надрыв решил идти до конца, тяжело заболела и умерла мама Владимира Ильича. Скорый уход вслед за матерью самого Лейбсона лишь доказал, что он так и не смог пережить этой утраты. Он ушел совсем не старым человеком, как-то внезапно, что называется – ни с того ни с сего, будто в очередной раз разозлился на очевидную неправильность и несправедливость мироздания.

Только тогда, когда его не стало, я поняла, что дружила с самым романтическим человеком своего времени. А что же Достоевский? Кажется, этого автора В.И. Лейбсон не жаловал, хотя уважал; читал, но никогда не говорил о прочитанном; а мне ...прощал мои усердные занятия «одним и тем же писателем», которые называл *мономанией*...

В одолении пространства и времени (Памяти Надин Натовой, 2005)

...Моя многолетняя дружба с Надеждой Анатольевной Натовой (Надин, как все ее называли) имела яркое, экзотическое начало.

Зимой 1988 года, журнал «Век XX и мир», учредителем и обозревателем которого я имела честь быть, командировал меня в двадцатидневную поездку по Америке. Был разгар перестройки, процветала народная дипломатия, и вот, в составе весьма престижной делегации с символическим названием «Сто русских», я прилетела в Вашингтон для участия в Конгрессе по наведению культурных мостов между СССР и США. Нас разместили в пятизвездном отеле «Radison» в пригороде Вашингтона, Александрии.

В первый же вечер в моем номере раздался телефонный звонок. Некая русскоговорящая девушка, представившись студенткой университета им. Джорджа Вашингтона, спросила, та ли я Людмила Сараскина, которая написала и опубликовала в советском журнале «Вопросы литературы» статью о Марии Лебядкиной из «Бесов» Достоевского. Я призналась, что – да, та самая.

– Тогда вас хочет видеть профессор Nadin Natov. Она боится, что вы – это не вы, а какая-нибудь ваша однофамилица. У нас в университете повесили объявление о приезде советской делегации, там много громких фамилий, и ей казалось, что вряд ли...

– Нет, это именно я.

Студентка радостно попрощалась, и трубку взяла другая дама. После взаимных восклицаний мы договорились встретиться завтра в полдень, в баре моего отеля на первом этаже; и, поскольку мы никогда не видели друг друга, она должна была держать в руке любой номер «Вопросов литературы».

Надин – легчайшая, воздушная, серо-голубая, по-европейски элегантная – была пунктуальна, приехала с цветами, мы сели за столик в углу... и судьба наша была решена уже в ближайшие часа полтора. Казалось, не было такой силы, которая смогла бы заставить нас замолчать, и говорили мы, как только и могут разговаривать две русские женщины, встретившиеся впервые, – громко и одновременно.

Кроме того, что мы рассказали друг другу всё о своей жизни, включая родителей, мужей и детей, перемыли косточки общим знакомым, которые, конечно же, обнаружились с пятой минуты общения, мы (примерно часа через три) придумали грандиозный проект: открыть Старую Руссу для иностранцев (тогда еще закрытую из-за химического завода), чтобы «на земле Мити и Грушеньки» можно было устраивать международные симпозиумы по Достоевскому.

Не стану лукавить: мне эта бесподобная мысль в голову прийти не могла бы никак – я и так ездила в Старую Руссу, сколько хотела. Но Надин страстно мечтала о реке Перерытице, о дрожащих, гибельных мостках, о виде из окон старого дома. А я еще подбавила дразнящих сведений о безразмерных лопухах вдоль заборов, о дворике Музея, где время течет вспять, о знаменитом курорте и живой воде, которая возвращает молодость...

Так, с легкой руки профессора Nadin Natov, имевшей «неподвижную идею» и умевшей «мечтать по-русски», началась замечательная перестроечная авантюра, к которой чуть позже, со всем своим нешуточным энтузиазмом, присоединилась наша общая подруга Ганна Львовна Боград, и мы вместе искали нестандартные ходы к высшим чиновникам, от которых зависела судьба Старорусских чтений. Но какие уж тут шутки: мы сумели-таки найти грамотные подходы к кому надо и собрать нужные подписи. И наконец настал месяц май, когда я везла совершенно счастливую Надин из Москвы в Старую Руссу, куда впервые были приглашены наши зарубежные коллеги.

А потом она звонила мне чуть не каждый день из своего Кенсингтона в мою Урбану, университет штата Иллинойс, где я шесть месяцев читала лекции по «Бесам». А потом мы вместе выступали в Сан-Франциско на съезде славистов Северной Америки. А потом были Любляна, Осло, Гаминг, Нью-Йорк, Токио, Баден-Баден, между которыми уютно располагались Петербург, Москва и Старая Русса – вся география наших достоевских путешествий.

И если бы меня спросили, чем живет эта маленькая хрупкая легендарная женщина, в портфеле которой – куда бы она ни направлялась – всегда можно было увидеть пачку больших, желтых, разлинованных, крупно исписанных листов (рабочими блокнотами такого цвета и формата снабжены все университеты США), я бы, не задумываясь, ответила: она живет Достоевскими чтениями, от предыдущих к последующим, и готовит свой очередной доклад.

Но больше всего, пронзительней всего она хотела еще и еще раз увидеть, почувствовать, вобрать в себя Россию Достоевского. В ее представлении это был не столько конкретный город, где мы ежегодно собирались, сколько особая русская атмосфера, в которой спорящие стороны могут взять и «не поделить» между собой князя Мышкина или старика Карамазова. Она дышала и не могла надышаться этим воздухом...

В дни нашей общей скорби по трогательной, заботливой, нежной и незабвенной Nadin я хотела бы, чтобы ласковый ее голос из писем (знакомых желтых листков в плотных белых конвертах за прошедшие годы у меня собралось препорядочно) слышали все, кто был ей дорог и близок.

Орфография и пунктуация воспроизводятся в соответствии с оригиналами.

26 февраля 1999

...Не писала я долго, потому что надо как-то справиться сначала с постигшим меня горем – в начале февраля с.г. скончался мой муж Анатолий Иванович, мой верный друг, который всегда интересовался моей работой и Достоевским. Вы, может быть, даже помните его – он приезжал в Любляну на наш Симпозиум и приехал вместе с бароном Эдуардом Александровичем фон Фальц-Файн. И уехали мы тогда вместе с бароном – показать ему в Больцано на кладбище могилу дочери Достоевского, на которую мы поставили доску – при содействии барона (денежном)...

Теперь надо как-то смириться и продолжать жить (пока еще есть силы)... Надо снова приниматься за работу – закончить обработку моего доклада о «Кроткой» – она была заброшена с ноября, да и вообще из-за моих глаз дело идет медленно...

Я теперь живу так, чтобы ничего НЕ откладывать на другой день. Ведь этого «ДРУГОГО» дня может и не быть...

7 июля 1999

...Вот уже скоро год, как мы все собрались в New York'e! Сколько воды и снега уже утекло с того милого времени. С тех пор я нику-

да в Россию не ездила (была только в ноябре 98 г. неделю в Париже, видела их новую фр<анцузскую> постановку «Бесов») и неделю в мае в Миннесоте у сына и внучки.

Теперь получила милое приглашение от Наташи Ашимбаевой, Бориса Николаевича и Наташи Черновой принять участие в их традиционных чтениях 9–11 ноября. Поехать хочется ужасно! Пока я еще более или менее в форме! Но Вы знаете мои проблемы – глаза; и одна я не рискую пускаться в путешествие по С.-Петербургу, даже, где раньше я от гостиницы Москва (что напротив Лавры) ездила часто на метро в музей квартиру Достоевского). И вот я хотела спросить Вас (за ответом через 12–14 дней буду звонить Вам) – не собираетесь ли Вы поехать на эту конференцию – чтения? Может быть, мы могли бы, как когда-то, вместе поехать поездом из Москвы и остановиться на дни конференции (дней на 5) в гостинице Москва? Я предлагаю Вам разделить со мною номер на 2-их – Вы будете совсем независимы от меня, но тогда мы могли бы утром вместе ездить на сессии конференции и возвращаться вместе... Подумайте, дорогая Людочка. От Вашего ответа будет зависеть и мое окончательное решение ехать на Чтения в музей или нет. После чтений я, возможно, дня 3 проведу у Тунимановых и полечу домой в Вашингтон из С.-Петербурга...

26 декабря 1999

...Для меня очень трудно путешествовать одной, а поездка в Россию – сложна! Буду надеяться дожить до октября 2001 года, когда наш новый энергичный и точный IDS-президент Horst-Jürgen Gerigk устроит нам 11-й Симпозиум в Baden-Baden'e. Вероятно, вскоре этот план будет утвержден. Мне очень трудно читать, писать, путешествовать, да и жить с почти четвертью зрения. Увы! лучше не делается.

Недавно вернулась из поездки к сыну Саше в Миннесоту. Позже – в самые рождественские дни в аэропортах народу – тучи! И часто (даже у нас!) полеты задерживаются. Но в общем порядок держится.

Саша, его жена Barbara и моя внучка Julia с её прелестным двухлетним сыном Julian'ом сделали мне предрождественские подарки. Все дома уже украшены лампочками, везде стоят ёлки, магазины переполнены товарами и очень красиво декорированы. Я с болью смотрю на это обилие товаров и всегда думаю о Вас – что сделалось с этой богатой страной Россией! Когда же Ваша «Дума» задумается, что пора начать улучшать экономическое положение – ведь народ погибает!..

11 сентября 2000

...Я так рада, что поехала в Японию (несмотря на некоторые колебания) и «одолела» пространство и время...

9 апреля 2003

...Мои путешествующие возможности всё сокращаются! – Зима была очень снежная, холодная и неудобная. Но знаменитые японские вишневые деревья расцвели вовремя и еще цветут. Этот сезон cherry festival – гордость Вашингтона. А в остальном – полная неизвестность – как мы выберемся из экономического кризиса?! Безработица ужасная! Как всегда во время кризисов и depression, кое-кто процветает, большинство, потеряв работу, кое-как «существуют». Война с Саддамом еще более ухудшает безденежье и экономический упадок. Живем надеждой на лучшее будущее.

Как идет Ваша книга о Солженицыне? Кто бы поверил несколько лет назад, что в Москве будет учреждена премия Солженицына! Ведь я когда-то читала о нем спец. курс у нас в университете. Тогда в России (СССР) он был persona non grata. Читают ли его книги у вас теперь? В мой последний приезд в Париж (после Baden'a) я была в русском магазине ИМСА – там были все последние тома «Красного Колеса» Увы! Читать их я уже не могу. Для меня последним был «Август Четырнадцатого»...

19 декабря 2003

...Из-за отсутствия нормального зрения даже не могу более мечтать о поездке в дальние края – Baden-Baden был моим последним IDS-Симпозиумом. Женевы для меня НЕ БУДЕТ – буду ждать полной программы с résumé ваших докладов.

Будьте добры, Людочка, передайте мой сердечный привет всем, кто помнит еще своего почётного председателя IDS – звание, которое мне в утешение останется со мной до конца моих дней!..

О Славе, о дружбе, о добре...

(Памяти В.А. Свительского, 2005)

...Бывает дружба, про которую думаешь, что она – навеки веков: так много сказано слов, так много съедено соли, так много выпито чаю и всего прочего. Ан нет: миг беды – и друг, на которого ты рассчитываешь как на третье свое плечо, вдруг глухо скажет тебе, что вообще-то он в твоей жизни случайный человек. И ты оцепенеешь, похолодеешь и уже больше не станешь питать иллюзий, будто занятия высокими материями так уж обязательно всех возвышают и просветляют. Не обязательно... Не всех...

Славочка никогда не произносил никаких пафосных слов о дружбе, ничего вроде «ты только кликни и свистни». Никаких звонких уве-

рений о любви к ближнему как к самому себе, ничего – о своей богобоязненности и законопослушности. Но только чутким сердцем, мягкой улыбкой и непрестанным трудом своей души он творил добро. Тихо, с необыкновенным тактом и той особой деликатностью, которая (я слышала это от орловских коллег!) именовалась *свительской*, – он помогал людям в их житейских заботах, и был в этой помощи тверд, настойчив, бескорыстен. И я знаю, доподлинно знаю тех, кто будет благодарен ему за помощь до конца дней, и наверняка я не знаю еще многих других, которым он вовремя протянул свою руку.

Воистину, *по плодам их узнаете их*. Нас, людей слов, эта евангельская истина высвечивает, как рентген.

Его любимое детище – «Филологические записки» Воронежского университета, которые он редактировал с 1996 года, стали открытым, гостеприимным домом для всех нас. То, как он приглашал авторов, как вел и содержал свой журнал, отличалось прежде всего стилем, и это был отменный *свительский стиль*: изящные, опрятные, скромные книжечки, без тени глянца, но и без намека на расхлябанность многих престижных, эпатажных изданий, где опечаток больше, чем слов.

Единство стиля виделось и в поразительной доброжелательности редакционных материалов: так же, как опытный хозяин не забудет приласкать самого неприметного своего гостя, так и Слава Свительский непременно вспоминал и называл всех без исключения – всех, с кем путешествовал, всех, чьи доклады слушал, и даже всех тех, с кем вступал в научный спор. И выходило так, будто раньше он спорил, а теперь, в журнальной заметке, вроде бы и прощения просит. Слава, мне кажется, был счастливо лишен того злокачественного свойства, присущего многим из нас, – переносить научное несогласие на личное общение; свободному, одаренному, обаятельному – ему хватало широты и мудрости сохранять приязнь к своим идейным оппонентам.

Его «Записки» явились кладезем научной и литературной информации. Как и сам Слава, они были совершенно избавлены от профессорского снобизма, а потому не гнались за дурной элитарностью, а общались обо всем, что может быть интересно, полезно для филолога-студента и филолога-преподавателя, живущих в российской культурной традиции.

Но «Записки» избежали не только академического высокомерия. В редакционном предисловии к юбилейному двадцатому выпуску (в 2003 году «Запискам» исполнялось 10 лет) говорилось: «Очень важно было с самого начала преодолеть барьер дурного провинциализма, в поле притяжения которого всяк кулик свое болото хвалит и благодушно, по-приятельски, существует в узкой снисходительной компании». Научное сообщество, привлеченное Свительским к сотрудничеству,

несло европейское филологическое знание и оказало бы честь любому университету, где есть место русской литературе и русскому языку. Так что, обретаясь среди московского книжно-журнального изобилия, я от корки до корки прочитывала все книжечки, которые Слава присылал мне по почте, и, признаюсь честно, только всматриваясь и вчитываясь в воронежские «Записки», я начинала фантазировать о том, как здорово было бы когда-нибудь самой предпринять что-то подобное...

При всей своей влюбленности в филологию, при всей погруженности в университетскую жизнь, В.А. Свительский обладал даром чувствовать большое время, которое в той же степени, что и родной язык, – наша общая родина. Он в полной мере отдавал себе отчет, какую эпоху мы переживаем. Он приглашал нас, москвичей, поднять глаза от книг и увидеть хотя бы в своем городе явные и тайные приметы духовной сумятицы, разброда, пограничного исторического состояния. «Ну и эпоха, – писал он, – если модные отечественные конструкторы платья предлагают охочим иностранцам наряд под названием “Архипелаг ГУЛАГ”!» Он был убежден, что в такие смутные времена крайне необходимы ученые, воплощающие «постоянство продуманной позиции, глубину и необходимую меру». Он был счастлив, видя эти несомненные достоинства у коллег, о которых писал снова и снова, неустанно, взволнованно, трепетно. Говорить хорошее – было для него, лучшего из нас, необходимейшим делом, потребностью сердца.

...Вижу Славочку ярким солнечным днем ранней осени, в парке Женевского университета. Мы с Наташей Черновой, прогуливая чей-то доклад, упоительно беседуем. «Эй, девчонки!» – окликает нас Слава, идущий навстречу вместе с Ниной, своей женой. На плече висит неизменный фотоаппарат – в поездках Слава всегда фотографировал и всегда присылал снимки. «Девчонки, вы чудо как хороши. Давайте, становитесь!» Через месяц придет пакет от Славы, с последним, двадцатым первым выпуском «Записок». И вот фото: мы с Наташей, смешные и смешливые, вообразившие себя школьницами, сбежавшими с урока, смотрим в объектив, на милого, немного грустного Славу. Мы еще не знаем, что прощаемся с ним, не догадываемся, что это его последняя осень, последний симпозиум, последнее заграничное путешествие...

Содержание

Предисловие

7 Достоевский: Земля Обетованная

часть I

Человек в мире проклятых вопросов

- 21 Инстинкт всечеловечности и национальная идентичность
- 42 «Не мечем, а духом...» Максимы о войне и мире
- 63 Парадоксы патриотического сознания: история и география
- 85 Русский ум в поисках общей идеи
- 107 Пространство почвы и территория крови
- 133 Америка как миф и утопия: бегство в никуда

часть II

Какো веруеши али вовсе не веруеши?

- 149 «Нужны примеры...»
Достоевский как христианский писатель
- 171 «Путь неба» или «смысл жизни»?
Русские писатели на путях богоискательства
- 193 «Я дитя неверия и сомнения...»
Символ веры в русской литературе XIX века
- 214 «Кто не с нами, тот против нас...»
Библейские истоки революционного лозунга
- 236 «Мы – страна православная...»
Религиозный проект в споре со светской культурой

часть III

«ФМД» как культурный феномен: смыслы и символы

- 263 Музыка, которая не умирает.
Достоевский как бренд, миф и клад
- 286 Прямое, пьянящее, с запахом тлена.
Кровь как быт русского вольнодумца
- 306 Активисты хаоса в режиме action.
Принцип «всё дозволено» в актуальной философской прозе
- 320 Перед памятником Достоевскому.
Мифология в камне, бронзе и стихах
- 344 В координатах понимания и ученичества.
Солженицын – критик Достоевского

- 362 «Россия опять собирается с мыслями...»
Достоевский и Солженицын от первого лица

часть IV

«ФМД» в кинематографе, на театре и на ТВ

- 379 «Бесы» на театральных подмостках: эксперимент и традиция
404 «Братья Карамазовы» на московской сцене: сфера открытых вопросов
419 Киноверсия романа «Идиот»: дискуссия о фильме как явление культуры
457 «Сериальный» Достоевский: вдали от сигнальных огней

часть V

Россия через призму Достоевского. Диалоги двух десятилетий

- 477 Дурак ошибается дважды.
Диалоги с А. Кабаковым (1990, 1991)
499 «Закружились бесы разны, будто листья...»
Диалог с Ю. Карякиным (1992)
509 И вновь свобода пришлась не ко двору.
Диалог с Г. Явлинским (1992)
515 Человеческое и... иное измерение.
Диалоги с Ю. Мамлеевым (1992, 1996)
525 «Друг вечный...»
Диалог с А. Щупловым (1995)
533 «Я неправильный достоевсковед...»
Диалог с Ю. Кувалдиным (2003)
541 Русский человек на rendez.ru.
Интернет-диалог с С. Романовым (2005)
556 Этюд в девяти письмах.
Интернет-встречи с Р. Клейман (2007–2008)

Приложение. In memoriam

- 579 В попытках обретения шестого чувства
(Памяти Г.М. Фридлендера, 1996)
584 Наше время не бывает прошедшим
(Памяти В.Г. Безносова, 1997)
586 Последний романтик
(Памяти В.И. Лейбсона, 2004)
591 В одолении пространства и времени
(Памяти Н.А. Натовой, 2005)
595 О Славе, о дружбе, о добре...
(Памяти В.А. Свительского, 2005)

НАУЧНОЕ ИЗДАНИЕ

Сараскина
Людмила Ивановна

ИСПЫТАНИЕ БУДУЩИМ

Ф.М. Достоевский
как участник
современной культуры

Директор издательства *Б.В. Орешин*
Зам. директора *Е.Д. Горжевская*

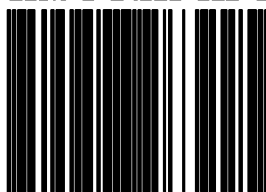
Корректор *Н.И. Маркелова*
Компьютерная верстка *И.Ю. Богрычева*

Формат 70х100/16
Гарнитура Petersburg. Бумага офсетная № 1
Печать офсетная. Объем 48,38 усл. п. л.
Тираж 1000 экз. Заказ №

Издательство «Прогресс-Традиция»
119048, Москва, ул. Усачева, д. 29, корп. 9
Тел. (499) 245-49-03

Отпечатано в ППП «Типография «Наука»
121099, Москва, Шубинский пер., 6

ISBN 5-89826-322-5



9 785898 263225